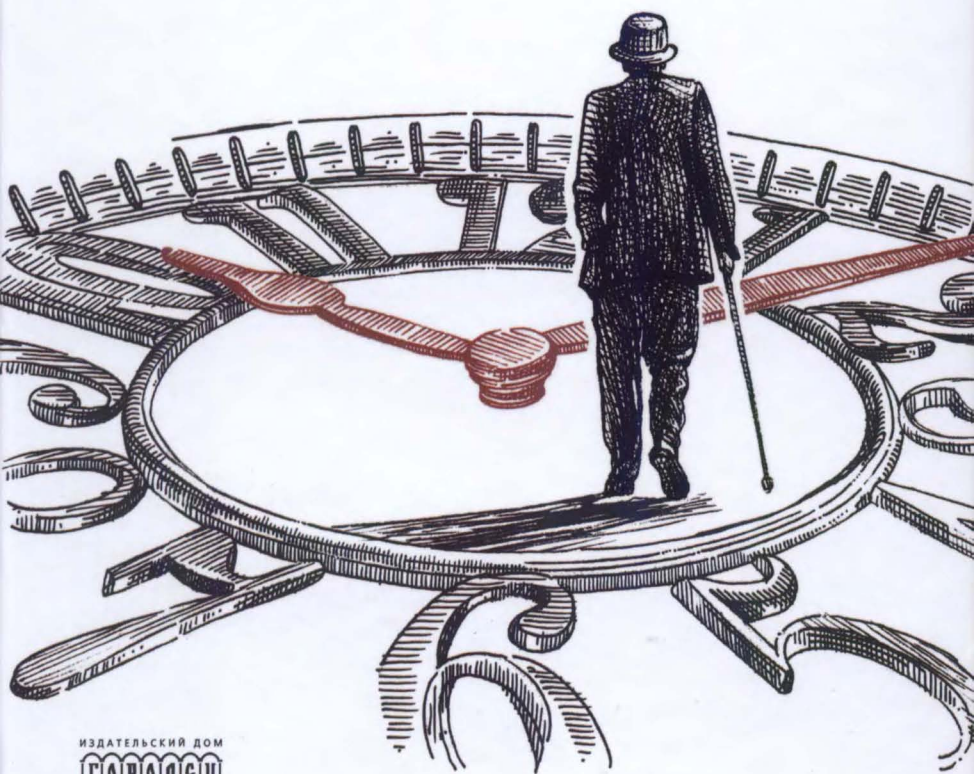


ПРОЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ
И ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Эжен Минковский



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ГОРОДЕЦ

Eugène Minkowski

Le TEMPS VÉCU

ÉTUDE PHÉNOMÉNOLOGIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIQUES

Quadrige
PRESSES
UNIVERSITAIRES
DE FRANCE

1995

Эжен Минковский

ПРОЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ГОРГОДЕЦ

Москва

2018

УДК 159.9
ББК 88.5
М61

Введение: *Ив Пелисье*

Послесловие: *Александр Минковский, Жанин Пийяр-Минковская*

Перевод с французского *Елены Пучковой и Татьяны Юшкевич*

Дизайн обложки *Кирилла Прокофьева*

Минковский Э.

М61 Проживаемое время. Феноменологические и психопатологические исследования. – М.: ИД «Городец», 2018. – 496 с.

Эжен (Евгений) Минковский (Minkowski, Eugène) (1885–1972) — выдающийся французский психиатр польского происхождения.

В марте 1915 года Минковский приехал в Париж, вступил во французскую армию. На войне начал писать заметки под общим названием «Смерть» («La mort»), которые позже в переработанном виде вошли в книгу «Проживаемое время» («Le Temps vécu», 1933).

Вслед за Бергсоном он развивает идею о том, что психопатологические феномены можно понять, исходя, с одной стороны, из феномена времени, поскольку «проживаемое время» есть, по сути, синоним самой жизни, «становления» в бергсоновском смысле, а с другой — из сопоставления нормального и патологического. Опираясь на идеи Бергсона и Гуссерля, он разработал своеобразный вариант философской антропологии, в основе которой лежит понятие проживаемого времени, и видел задачу человека в том, чтобы научиться спонтанно и свободно жить во времени. Минковский стремится определить природу различия между психикой больного и здорового человека. Исследование расстройства психики осуществляется психиатром путем «интуитивной симпатии», т.е. проникновения в сознание человеческой личности, что позволяет понять больного и правильно вести лечение. Наряду с таким интуитивным знанием необходим, по Минковскому, и феноменологический анализ самой структуры синдрома и бредовых идей, пространственно-временных отношений, в которых существует человеческое «я».

© D'Artrey, 1933

© Delachaux et Niestlé,
Neuchâtel, 1968

© Presses universitaires
de France, 1995

© ИД «Городец», 2018

ISBN 978-5-906815-27-9

ВВЕДЕНИЕ

Проживать время: Эжен Минковский

«Проживаемое время» — шедевральное произведение Эжена Минковского, в котором ему удалось раскрыть все богатство и благородство психологических описаний, проявить особую точность в подборе выражений и изящно применить их в этих описаниях. Более того, он в своем роде — первооткрыватель: воспитанный на нормах классической психологии, во время учебы Минковский больше внимания уделял представителям немецкой школы, затем попал под влияние идей Блейлера, а впоследствии сам стал признанным представителем всемирного культурного наследия. Будучи остро чувствующим философом, особо увлекаясь идеями гуманизма, он изучал труды Бергсона, Жане, Брентано, талантливо и разумно выдвигал феноменологические идеи вместе с Гуссерлем, взаимодействовал со многими современниками: Ясперсом, Куном, Виршем, фон Гибзаттелем и, в особенности, с Бинсвангером.

Однако Эжена Минковского нельзя классифицировать по какому-то одному отдельному аспекту: он не принимал во внимание психоаналитические концепции, недостатком которых считал их генетическую направленность и зависимость от каузального мышления. А его приятельские отношения с Бинсвангером и Медардом Боссом привели к тому, что для себя он определил собственную независимую позицию в изучении глубинной психологии.

Одно из важных направлений книги Эжена Минковского — оригинальное использование понятия «жизненного порыва», введенного Бергсоном. Именно порыв создает будущее, преобразуя его в нерушимое становление и наделяя более полным смыслом. Жизненный порыв — это, по сути, личный порыв. Будущее представляет собой надежду, которая приближается, на

основании чего мы получаем тот восхитительный урок этики, что согласовывает ход нашей жизни с плодами коммуникации с внешним миром, придавая всему этому форму проживаемого синхронизма или симпатии, которые поддаются анализу. Нам удалось соприкоснуться с психологизмом творческого гения Минковского. Это может показаться вполне логичным, особенно то, каким образом он признает, в рамках своего исключительно динамичного мышления, возможность существования некоторых излишне «формализованных» теорий. Достаточно посмотреть, как Минковский, приняв за основу противопоставление между синтонией и шизоидией, выведенное Блейлером, формулирует возможность возникновения тяги к религиозности или стремления вернуться к истокам. В данном случае прав Эй Анри, отмечавший глубочайшую значимость такого клинического подхода.

Конечно, у Минковского были предшественники. Он прочитал все, что заслуживало внимания, и смог выделить самое ценное, воплотив в своих работах отдельный принципиально новый предмет исследования. Проанализируем, например, каким образом он использовал для рассмотрения новой концепции времени введенное Жане понятие «презентификации».

Здесь логична отсылка к тексту Дильтея («Типы мировоззрения»), который как нельзя лучше объясняет проблематику феноменологии Минковского, а также и его рассуждения, связанные с этим.

В одном из классических документов 1894 года Дильтей говорит об изъяснительной психологии («которая может объяснить строение психического мира при помощи его элементов, его энергий и его законов точно так же, как физика и химия объясняют особенности материального мира») в описательной науке: ощущение внутренних состояний «является результатом проживаемого жизненного опыта и постоянно связано с ним. Особенный факт в данном случае коррелирует со всем многообразием психической жизни и присущим ей единством. Таким образом, отношения, связанные с целостностью психической жизни, подчеркивают ее ближайшее выражение». Очевидно, что Дильтей не признает предложенную Гербартом «физику души». Он предвидел феноменологическую теорию.

Усилие, которое следует приложить, чтобы понять, тем более не может быть в полной мере описательным и статичным,

как об этом говорил Ясперс. В качестве основы следует принять единственно верную феноменологическую реальность, направленную на поиск смысла, а не объяснений, для того чтобы выделить объекты сознания.

Этот анализ раскрывает расстройство, а также формирует и выражает его динамическую форму, являющуюся одновременно подвижной и упорной.

По мнению Минковского, структурная психопатология на первый план выводит скорее саму личность со всем ее жизненным многообразием, нежели какие-то психические соединения, уровень сложности и последовательность которых могли бы все объяснить. Минковский обучался по работам Блейлера: концепция аутизма, написанная им в 1911 году, достаточно хорошо структурирована, однако Блейлер сохранил большую часть теорий, основанных на идеях ассоцианизма. Минковский же смог развить его суждения о шизофрении (1927), приняв за основу теорию утраты контакта с действительностью и развитие патологического рационализма. Он признает позицию Бергсона, но не является ее слепым заложником.

Стиль его письма живой и открытый, это позволяет нам прикасаться к насущным явлениям, к различным формам их существования. Прежде всего феноменология интересуется не самим генезисом, а его сутью, самым основным. В «Трактате о психопатологии» вновь раскрывается необходимость выявления зависимостей, основанных на самой природе феномена, изучения их глубоких последовательных изменений и оценки особых категорий искривления сознания, причиной которого они являются.

В клинической практике нам следует избегать искушения наложения различных признаков друг на друга, для того чтобы достигнуть, вместе с самими феноменами, разрыва ощущений, резкого стирания признаков витального контакта с реальностью. «Проживаемое время» — это то, что люди проживают конкретно, просто, изо дня в день, это то, что отображает величие и неудачи, тонкости и непоследовательность мышления. Так, например, время, проведенное в депрессии, представляет для нас истинный калейдоскоп, возникающий по причине ограниченности мышления, сокращения расстояния между индивидами и предметами, перечеркнутым будущим и прошлым, обездвиженным и раздавленным чувством вины.

Невозможно измерить то, каким образом будет расценена значимость работы Минковского. Эта работа является одним из источников вдохновения Телленбаха, подвигнувших его на написание знаменитой «Меланхолии».

Обратимся к статье в «Journal de Psychologie» (№ 6, 1923), где рассказывается об одном из случаев меланхолической шизофрении. Это знаменитая история о «политике отходов»: пациенту, о котором идет речь, казалось, что все отходы, все сигаретные окурки, все куриные кости, все пустые бутылки, все овощные очистки и даже трупы предназначены для того, чтобы ввести их ему в брюшную полость. Кстати, помимо самой невероятной формальности поведения больного, странным нам кажется еще и строгая последовательность составления схем, основанная на проживаемом опыте пациента. В такой повторяемости отходов нет ничего, кроме особенного способа выражения, полностью захваченного болезненным эмоциональным состоянием, из которого исключен любой эмоциональный контакт. Будущее, как и настоящее, не имеет больше никакой ценности — только страдания и разрушение жизненных сил.

Дело в том, что интуиция, присущая живым существам, является не чем иным, как особым способом относиться к происходящему вокруг.

Дениз Оссон в своем труде «Травматическая дезориентация во времени и пространстве» изучает различные расстройства у людей, которые постепенно восстанавливают способность сознательного существования. Она подчеркивает значение механизмов разрыва и соединения, помогающих заметить именно феноменоструктуральный анализ. Минковский, рассуждая о сумеречном воображении, напоминает нам о том, что оно является неотделимым составным элементом, позволяющим регулировать наше отношение к существующей реальности: нереальное — это неотъемлемая часть реальности!

Таким образом, воображаемое раскрывает перед нами все жизненные феномены, а также обладает самым элементарным динамизмом.

Давайте еще раз обратимся к причинам.

Жизнь — есть движение, говорит Эжен Минковский; учитывая движущуюся реальность любого человека, следует остерегаться навешивания ярлыков, например, таких как «ассоцианизм» или «экзистенциализм». Причем сам он, человек, которого

мы с легкостью могли бы назвать врачом-философом, отрицает «заражение» психологии философией. Какими бы значимыми ни были рассуждения Гуссерля и Бергсона, он считает необходимым сохранить независимость психопатологии от других наук.

На самом деле нам следует вести речь об антропологическом подходе, вместо того чтобы называть все это феноменологией, бергсонизмом, экзистенциализмом или любым другим словом, известным каждому либо относящимся к чему угодно.

Минковский, к примеру, рассуждает о сходстве принципов между ближайшими сведениями (Бергсон) и видением основного (Гуссерль). «Обе эти точки зрения в некотором роде схожи, они закладывают основы антропологического направления, коим вдохновляется современная мысль, все более и более стимулирующая развитие всех наук, предметом изучения которых является человек, трансформируя их в различные гуманитарные науки» («Дань уважения Минковскому», Журнал Группы Франсуазы Минковска, 1965). В данном случае, речь идет прежде всего о том, чтобы создать учение о психопатологии, основанное на онтологии, а не о том, чтобы показать возможность возникновения антропологии психического заболевания. Психопатологический синдром ни в коем случае не может представлять собой набор различных, отдельно существующих симптомов, он является выражением глубинных изменений, характерных для личности в целом. Отсюда вытекает особая значимость понятия первичного расстройства при психозах, суть которого состоит в фильтрации симптомов, при этом их структурная организация имеет специальную иерархию клинических проявлений.

Именно антинозографическая точка зрения Блейлера дала ему возможность рассматривать личность человека целостно, охватывая все проявления вместе, на основании чего расценивать это как особый способ человеческого существования.

Хочу еще раз напомнить: Э. Минковский постоянно стремился к тому, чтобы оградить психопатологию от пристального контроля психологии. Однако смог ли он этого добиться?

В «Трактате по общей психологии» (1946), Морис Прадин возвращается к теории Минковского о том, что забывание прошлого является живым принципом памяти. «Нам кажется, что прошлое не просто предоставлено нам нашей собственной памятью каким-то простейшим способом». По большей части именно забывание, выступающее в качестве неясного сознания, возвышает нас

над самими собой. В данном случае речь идет о движущей силе скрытой памяти. Прошлое может лишь устареть...

Жан Сюттер также принял за основу концепцию Минковского, согласно которой «наша жизнь по большей части направлена в будущее»; его собственные рассуждения на этот счет были более глубокими и касались переоценки понятия «антиципации». «Для нас антиципация — это движение, позволяющее человеку всем своим существом вырваться за пределы настоящего, достичь ближайшего или отдаленного будущего, которое по большей части и является его собственным будущим».

В работе «О скачке идей» (1933) Бинсвангер по-дружески упрекает Минковского за то, что тот не слишком внимательно отнесся к феномену времени, в ущерб использованию понятия жизненного опыта. Хотя, по сути, для самого Минковского любое из этих понятий тесно связано с «проживаемым временем» и пространством.

Работа Минковского «Шизофрения. Психопатология шизоидов и шизофреников», появившаяся только в 1953 году, спустя двадцать лет после книги «Проживаемое время», считается одной из самых значимых среди многообразия научных трудов автора. Как и все прочие психиатры того времени, Минковский признает особую значимость, даже, можно сказать, считает ключевыми концепции Крепелина и введенное им понятие «раннего слабоумия». Однако он также обучался и на работах Блейлера, которого принято считать мэтром, признающим абсолютное верховенство естественных наук со свойственными им механизмами — эволюционизмом и ассоцианизмом. При этом Блейлер ввел одно из самых знаковых понятий современной психиатрии, понятие «аутизма», хотя сам он считал его всего лишь простым ослаблением возникновения ассоциаций. В перспективе развития структуральной психопатологии, Минковский описывает фундаментальный феномен утраты витального контакта, а также патологического рационализма, как чрезмерную тягу к пониманию размеров и количества, пространственное и излишне логичное мышление, скрупулезное составление расписания дня, часто встречающуюся потребность во властной организации. С другой стороны, если шизофреник продолжает поддерживать контакт с окружающей реальностью с должной эффективностью, то данный контакт лишен всяческой жизнеспособности, он характеризуется обесцвечиванием всех

окружающих явлений. В этом проявляется богатство и многообразие анализа, которым занимался Минковский.

Эжен Минковский, врач-психиатр, родился 17 апреля 1885 года в Санкт-Петербурге, в еврейской семье польского происхождения. Среднюю школу он закончил в Варшаве, там же несколько лет изучал медицину. После закрытия медицинского факультета отправился в Мюнхен, где завершил обучение в университете и получил степень Доктора медицины. Поскольку его диплом не был признан в России, он получает еще одну степень в Казани. Вернувшись в Мюнхен, Минковский решил изучать философию. Однако война 1914 года застала его врасплох, ему пришлось уехать в Швейцарию. Его супруге, Франсуазе Минковска, психиатру по специальности, удалось получить для мужа место добровольного ассистента врача в университетской клинике при госпитале Бурхельцли (Burghölzli), недалеко от Цюриха, где Блейлер разрабатывал свои концепции шизофрении. В марте 1915 года Эжен Минковский вступает в ряды французской армии, за доблесть и отвагу на фронте он награжден орденом. После окончания войны семья перебирается в Париж, но, чтобы иметь возможность продолжать медицинскую практику, ему приходится подтверждать свои дипломы во Франции (1926).

Как мы уже упоминали, Эжен Минковский — одновременно и врач, и философ, хотя он достаточно долго сомневался, по крайней мере в юные годы, какое направление все-таки выбрать, настолько сильно был увлечен философией. Даже сам он порой говорил, что его квалификация — врач-философ, таковым его зачастую и считали.

Сам же Минковский предпочитал рассуждать скорее об антропологии, нежели о психологии или нейропсихологии: он полагал, что именно антропология предоставляет нам исходные, ближайшие и неоспоримые сведения. Именно в антропосе скрыта «первичная межчеловеческая связанность».

«Психопатология, которую мы рассматриваем, — это психопатология, имеющая два голоса: она берет свое начало от случайной человеческой встречи». Отсюда понятно, почему Минковский не мог выявить противоречий между своими медицинскими и философскими увлечениями.

И в одном, и в другом случае ему отведена оригинальная позиция, в соответствии с его независимым сознанием, его беспокойством о человечестве и уважением к другим.

На протяжении всей своей долгой и плодотворной карьеры значительно чаще он пытался убеждать, а не побеждать. Имея твердые взгляды, что, безусловно, так, он не был при этом излишне принципиальным, не слыл догматиком. Достаточно долгое время его жизнь была нелегкой, ему приходилось работать в частных психиатрических клиниках, а также консультировать в больницах. Эжен Минковский не получил ни университетского признания, ни академических почестей — и это человек, который почти полвека оказывал влияние на развитие французской и международной психиатрии.

Первый руководитель группы и главный редактор журнала «Развитие психиатрии» («L'Évolution psychiatrique»), Эжен Минковский был участником всех крупных конгрессов и любых дискуссий, где разрабатывалась и развивалась современная психиатрия.

Во время Второй мировой войны Эжену Минковскому и всей его семье удалось избежать депортации. Испытания, перенесенные им в этот непростой период, значительно усилили такие черты его личности, как серьезность и доброжелательность. Он умер 17 ноября 1972-го, на двадцать два года пережив жену Франсуазу Минковска, с которой его связывала не только глубокая взаимная привязанность, но и неопиcуемая преданность работе.

О духовном развитии личности Эжена Минковского Жан Сюттер проникновенно писал: «Эжен Минковский мог смотреть, представлять себе что-то, действовать, только основываясь на созданную им самим шкалу ценностей, которую он применял на практике при любой возможности. В нем совершенно не было никакого скептицизма и уж тем более системного нонконформизма. Он был очарован феноменологией и постоянно обращался к ней. Благодаря своим познаниям в философии и великолепному владению немецким языком, он почерпнул для себя все то, что ему казалось там верным и плодотворным, при этом ни в одном направлении мышления его нельзя было упрекнуть в тяге к ортодоксальным взглядам. Сталкиваясь с чем-то неизвестным, неведомым, он легко мог признать это, но, чтобы найти выход, рассчитывал только на собственные силы, а не на какие-то источники со стороны. Кроме того, он не сдерживал порывы своего сердца, позволял себе доверяться интуиции, если ему казалось, что в какой-то ситуации следует руководствоваться не только разумом».

Уже давно Гастон Буассье выпустил восхитительную книгу о Цицероне и его друзьях, основанную на научных фактах.

Хотелось бы увидеть подобную книгу об Эжене Минковском. В ней мы могли бы отметить, что почти столетия он занимался интеллектуальной и профессиональной деятельностью, столкнулся и обменялся мнениями со всеми, кого психиатрический и философский мир считал знаковыми личностями или мыслителями: от Бинсвангера до Анри Барюка и Анри Эй, от Куна до Вирша, и со многими другими, которых он встретил на своем жизненном пути. У него были ученики и последователи. Зена Хелман, профессор из Лиля, работавшая вместе с семьей Минковских, часто вспоминала о том, что их мэтр, рассказывая об интеллектуальных событиях, отразившихся на его жизни, называл эссе «Опыт о непосредственных данных сознания» Бергсона и книгу «К феноменологии и теории симпатии и о любви и ненависти» Шелера (1913), переработанную и изданную в 1923 году под названием «Сущность и формы симпатии».

Хотя, возможно, это всего лишь несколько строк из предисловия к «Трактату о психопатологии», в котором содержится послание Эжена Минковского: «...жизнь проявляет себя сама как таковая: стычки, соревнования, враждебность, ненависть, все есть в ней; а люди, чтобы урегулировать конфликты, занимаются рукоприкладством, но не в этом заключено многообразие человеческой жизни. Это всего лишь один из ее аспектов, один из планов. В рамках этого плана тоже возникают позитивные факторы, по сути, они хотят смягчить ситуацию, ограничить негативное воздействие, однако такие позитивные критерии изначально превосходят рассматриваемый здесь план, запуская свои корни далеко вглубь, находя там истинный смысл существования. Кроме ежедневных рыночных отношений между людьми, существуют также единство, общение, родственная близость, солидарность между разными индивидами, которая отзывается эхом из глубины души каждого из них».

Вспоминая своих родителей, именитый педиатр Александр Минковский пишет: «Моя мать говорила: «Мы любим психические заболевания». [Вместе с отцом] они были просто увлечены этим. Их жизнь была похожа на сражение, такой же стала и моя, может, в некотором смысле даже вопреки моей собственной воле. Они никогда не говорили, что мне стоит быть увлеченным; это шло изнутри».

Ив Пелисье

*Почетный профессор Медицинского факультета
Университетского госпиталя «Неккер»*

БИБЛИОГРАФИЯ

- Fouks L., Guibert S., Montot M. La notion du temps vécu chez Minkowski. *Ann. Mid. Psychol.*, 1988, 146, n° 8, 801–809.
- Recueil d'articles (1923–1965) d'Eugène Minkowski. *Cahiers du Groupe Françoise Minkowska*. Au Livre psychologique, 1965.
- Minkowski E. *Le Temps vécu. Étude phénoménologique et psychopathologique*. D'Artrey, Paris, 1933; Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 2^e éd., 1968.
- Minkowski E. *Traité de psychopathologie*. PUF, Paris, coll. «Logos», 1966.
- Minkowski E. *La schizophrénie*. Paris, Desclée de Brouwer, 1953.
- Minkowski E. *Vers une cosmologie. Fragments philosophiques*. Aubier-Montaigne, Paris, 1953.
- Minkowski A. *Le vieil homme et l'amour*. Paris, Robert Laffont, 1994.

ПРЕАМБУЛА

*Взгляд в прошлое в связи с переизданием
«Проживаемого времени»*

Опережая «К космологии. Философские фрагменты» (1936) и являясь ее старшей сестрой, книга «Проживаемое время» вышла в свет в 1933 году, а затем была переиздана издателями Деляшо и Ниестле. Мне посчастливилось стать свидетелем того, как исполнилось одно из самых дорогих для меня пожеланий: узнать, что обе эти книги, распроданные за прошедшие годы, опубликованы еще раз. Как я уже писал в предисловии к переизданию «К космологии», вместе с «Шизофренией», которая впервые была напечатана в 1927 году, они представляют собой своего рода трехтомник, ставший основой всех моих последующих изысканий.

В 1933-м я совершенно не мог найти издателя. Мне пришлось печатать мои книги на свои собственные средства, обратившись за помощью к отцу. Только в типографии Ж.Л.Л. д'Арте согласились взяться за эту работу, они же отвечали и за продвижение книг. Тираж был тысяча экземпляров.

Господин Ж.Л.Л. д'Арте так страстно любил книги и литературу в целом, что не побоялся забросить успешную административную карьеру и занялся книгопечатанием в скромном издательстве, которое создал сам. Наш журнал «Развитие психиатрии», созданный практически сразу после окончания Первой мировой войны группой молодых психиатров, занимаясь поиском издателей, также вынужден был обратиться с просьбой в этот издательский дом. Я хочу вернуть долг чести, напомнив в преамбуле к переизданию моей книги об издательстве Ж.Л.Л. д'Арте и о человеке, который потратил огромное количество собственных средств, чтобы избавить

от материальных трудностей свой издательский дом и своих авторов. Скорее всего, без его помощи рукопись «Проживаемого времени» никогда бы не была опубликована.

Книга, которую мы с любовью представляем читателю, является переизданием первоначального текста, это не второе издание. Чтобы появилось второе издание, необходимо пересмотреть весь текст, внести коррективы в спорные моменты, с учетом новых сведений, собранных уже после первого издания. Мне кажется, пока я еще могу обойтись без внесения каких-либо корректив, так как по большей части это невозможно. И дело здесь вовсе не в том, что мне хотелось бы оградить себя от дополнительной работы; я руководствуюсь совершенно иными мотивами. В личностном плане этот источник прежде всего представляет собой единый блок, если можно так сказать; кроме того, безусловно, со временем, при работе над последующими книгами, мне приходилось возвращаться к тем или иным моментам, я старался углубиться в некоторые нюансы, сделать их более понятными, однако эта «ретушь» не изменила роль целостного первоначального «блока», который являлся фундаментом для моих последующих работ; многочисленные диалоги, множество книг, все это, несомненно, оказало влияние на мое мышление, но ничто не могло изменить мое сознание, руководствуясь которым я написал первоначальный текст этой книги, что отражено и в цитате из «Логика Пор-Рояля»¹, использованной мной в качестве эпиграфа к предисловию. В общем-то, я могу сказать, что данный источник является обобщением современного мышления, может, где-то более, а где-то менее глубоко рассмотренного, и все же, мне кажется, это достаточно легко заметить. Вопрос, с которым часто обращаются ко мне те, кто не смог достать эту, уже распроданную книгу («Когда же будет новая публикация «Проживаемого времени»?»), думаю, является свидетельством того, что от меня ждали именно ее переиздания.

¹ «Логика Пор-Рояля» — книга по дедуктивной логике, вышедшая в Париже в 1662 году анонимно под названием «*Logique ou l'art de penser*» («Логика или искусство мыслить»). До начала XIX столетия была самым популярным учебником логики, выдержала более 50 французских изданий, несколько английских и латинских переводов. Свое второе имя — «Логика Пор-Рояля» — книга получила по месту рождения — янсенистскому монастырю *Port-Royal des Champs*, где жили и работали ее авторы — французские ученые А. Арно и П. Николь. (Прим. ред.)

Самая характерная черта данного произведения отражена в его подзаголовке: «Феноменологические и психопатологические исследования». Исследования, тесно связанные между собой. Здесь, наверно, нужно кое-что объяснить. Подобная тенденция наметилась еще при издании «Шизофрении»: влияние на меня Анри Бергсона легко прослеживается в этой книге; понятие «эмоционального контакта» заменяется там более обширным понятием «жизненного контакта»; благодаря работам Бергсона, нам с моим рано покинувшим нас товарищем Рогде Фюрсаком удалось описать патологический рационализм, что стало своеобразным пропуском к пониманию способа существования больных шизофренией, а также их особого мира, специфика которого во многом превосходит простое перечисление общеизвестных симптомов. Феноменология Гуссерля со временем присоединилась к феноменологии Бергсона, так как обе они были основаны на рассмотрении ближайших сведений и незначительно отличались друг от друга.

Так нам удалось сделать шаг вперед, это позволило говорить о философской направленности современной психопатологии. Однако данный термин может привести к недопониманию явления. Некоторые специалисты, преданные тому, что принято называть «фактами», и гордящиеся тем, что слово «философский», на их взгляд, отчасти обладает уничижительным значением, откажутся от этого мнения и даже станут его критиковать. Они не учитывают того, что сведения, выставленные напоказ в психопатологии так называемого «философского течения», вовсе не абстрактны, они тоже являются «фактами», просто иного порядка; если кому-то так больше нравится: это факты, которые в любом случае дают нам возможность значительно приблизиться к пониманию миров, порой странных и недоступных для восприятия с первой попытки, миров, в которых живут больные, в первую очередь, страдающие психическими расстройствами. На основании этого, именно психопатология предоставила нам честь подвести меня самого, а также и моих коллег психиатров-философов, к живой реальности, раскрывающейся во время контактов с больными, освободив нас от засилья философии в чистом виде. При таком рассмотрении мое предисловие обретает принципиально иное значение. Дело в том, что ни при каких обстоятельствах не стоит пытаться просто и конкретно

противопоставлять сведения и методы, выделенные тем или иным философом в качестве значимых, соотнося их с областью психопатологии. Это непременно приведет к «гиперфилософичности» психопатологии, к опасности, которой я всячески пытаюсь избежать. О том же я постоянно напоминаю и моим младшим коллегам, только начинающим двигаться по этому непростому пути, объясняя, что подобные действия могут привести к полнейшей деформации психопатологии как науки. Истина и методы, которых следует придерживаться, существуют отдельно. Мне кажется, в наше время все сильнее и сильнее заявляет о себе новое мощное направление научной мысли, позволяющее осознать, что все отдельно существующие науки, объектом изучения которых является человек, имеют тенденцию к тому, чтобы превратиться в гуманитарные науки, и это не пустые слова. Я говорю об «антропологическом направлении». Центральным объектом наших исследований отныне является не просто индивид с его человеческим статусом, а человек вместе с его судьбой и призванием, которого мы изучаем в рамках философии, а также в рамках психологии и психопатологии, учитывая тот факт, что все эти дисциплины пытаются стать гуманитарными. Философы, чей «научный язык» достаточно часто непонятен нам, словно он существует как бы отдельно от нас, изучают человека со своих позиций, имея, кстати, больше возможностей, чем мы с вами, для того, чтобы указать направление движения вперед. В таком случае, почему мы не можем пользоваться источником, который принято применять в философии? Как раз наоборот: мне это кажется совершенно естественным. Повторю еще раз: речь не идет о каком-то точном и абсолютном копировании. Каждая область знаний обладает присущими ей особыми характеристиками, подчеркивающими ее значимость. Сведения и методы, которые, так сказать, были позаимствованы из философии, обязательно будут проявлять себя в образе, свойственном и типичном для нашей области знаний, что потребует от них многочисленных изменений, в силу чего они становятся для нас очень полезными и инструктивными. Именно эту направленность мне и хотелось подчеркнуть в подзаголовке «Проживаемого времени», именно этой направленности я остался верен в моей самой последней книге «Трактат о психопатологии», которая была опубликована в издательстве

«Университетская пресса Франции» («Presses universitaires de France») в декабре 1966 года.

Однако мне остается только надеяться, что, в отличие от ее автора, книга «Проживаемое время» сохранила свою первоначальную бодрость и актуальность, пожелать, чтобы ее путь был простым и легким, чтобы современный читатель принял ее хорошо.

Эжен Минковский

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Как бы мне хотелось, чтобы дебютные книги не были восприняты только лишь как незавершенная проба пера, когда авторы выносят на суд литераторов свои чувства, а затем, выслушав разные точки зрения, вновь принимаются за работу, чтобы довести свои творения до совершенства или до определенного уровня».

«Логика Пор-Рояля»

Проблема времени и пространства является центральной проблемой психологии, философии и, я бы сказал, всей современной культуры. Будучи генератором глубочайшего конфликта нашего существования, эта проблема в обязательном порядке должна быть проанализирована каждым из нас. Развитие техники и научные открытия стремятся победить время и пространство. Мы испытываем восторг, пользуясь постоянно появляющимися новинками технического прогресса, чем не можем не восхищаться. Однако подобное чувство благодарности нельзя назвать полным. Слишком часто мы испытываем глубокое отвращение, как если бы ритм жизни, навязанный развитием прогресса, жестоко давил на нас. Причина этого в том, что развитие прогресса ущемляет развитие прочих значимых человеческих ценностей. О, нет, не пытайтесь получать удовлетворение от того, что имеете. Иногда, чтобы обозначить одну из отличительных черт нашей эпохи, мы прибегаем к термину «варварская наука» и тут же с сожалением вспоминаем о возможности «сбавить темп» и о развлечениях в «старые добрые времена». Где-то в глубине души мы явно ощущаем растущее чувство протеста; нам вновь хочется отвоевать свое право на «время», право, которое, как оказалось, украла у нас современная жизнь.

А что бы мы могли сделать с этим отвоеванным временем? Впрочем, нужно ли на самом деле отвечать на данный вопрос, разве

недостаточно того, что он уже существует? Нужно ли на самом деле «знать», что мы сделаем с этим временем, дабы понять истинную цену «свободного времени», того свободного времени, которое не совпадает по значению с отдыхом, необходимым нашим утомленным мозгу и телу, и уж тем более не совпадает с понятием скуки, однако позволит нам полностью расслабиться, насладиться прелестями жизни, слиться с ней воедино, побыть наедине с самим собой, заглянуть внутрь своего существа, поразмышлять, в конце концов, да так, чтобы не было необходимости искать кого-то, кто объяснил бы нам смысл наших размышлений? Нет, определенно, нам не хотелось бы отвечать на этот вопрос, так как дать на него ответ — значит составить какую-то программу, создать что-то, что может быть выполнено быстрее или медленнее, и снова подтолкнуть технический прогресс, выковать еще одно звено связывающей нас цепи, исключить любую возможность ощутить что-то непредвиденное, неясное, чарующее, исключить сотворение свободного времени, в котором мы так нуждаемся.

Здесь наука встречается с техническим прогрессом. Будучи порождением абстрактного мышления, она оставляет в стороне количественный феномен, не подчиняющийся законам дискурсивного мышления. Применяя к изучению понятия «времени» те же методики, что и к интеллигибельному пространству, он лишает время внезапности и, как говорил Бергсон, нивелирует все его естественные богатства. По мере того как он развивается, как формулируются все более и более общие законы, он все больше отдаляется от живого источника, из которого возник, чтобы в конце концов прийти к концепциям, представляющим собой лишь конечное выражение этой «абстракции», вытекающей из реальной жизни. В таком случае, необходимость возвращаться в прошлое не ощущается. Развитие точных наук и технического прогресса заставляет нас испытывать восхищение, но никак не радость. Увы, ощущая последствия этого прогресса на себе, мы испытываем желание отвести взгляд от идеала скорости и от времени, заполненного до предела, так же быстро, как и от «четвертого космического измерения», чтобы иметь возможность дать задний ход, чтобы перевести взгляд на... Но на что же мы хотели бы его перевести? Тут важно не дать поспешный ответ. «На природу», — чуть было не сказал я, — при условии, что эта формулировка не будет воспринята буквально, что необходимость вернуться назад не будет заменена «программой», цель которой возродить «старые добрые времена» или возвратиться к более простой жизни; вот здесь мы как раз и рискуем попасть в свою собственную ловушку; в данном случае «вернуться

назад» — значит быть мгновенно поглощенным «прошлым», с исторической точки зрения, даже не попробовав проанализировать феномен времени, как если бы этот возврат в обязательном порядке должен быть связан с временным значением. На самом деле прошлое, когда оно еще было настоящим, ничуть не более притягательно, чем унылое настоящее; как мне кажется, о «старых добрых временах» мы говорим лишь потому, что, сами того не понимая, проецируем туда то, от чего хотим отказаться в нашем собственном настоящем. Более того — и этот аргумент, наверное, еще более значим: нам не удастся, ни при каких обстоятельствах, перенести в прошлое идеал, существующий в нашем воображении только в будущем, ибо это противоречит самой его сути. Нам не хочется ни отрицать, ни отрекаться, ни разрушать, ни двигаться назад — вот и еще одно доказательство варварства. Кроме того, уж не имеет ли наше желание попасть в прошлое одну-единственную цель: вновь прикоснуться к жизни и ко всему, что в ней есть «естественного» и «примитивного»? По сути — вернуться к первоисточнику, из которого ключом бьет не только сама наука, но и все прочие проявления духовной жизни, и, пока наука не подчинит их своим законам, успеть заново изучить основные виды примитивных, на наш взгляд, взаимоотношений среди всего многообразия феноменов, из которых, собственно, и состоит жизнь, посмотреть, нет ли у нас возможности добыть что-нибудь еще, что не было создано наукой, не бросаясь при этом ни в примитивный натурализм, ни в мистицизм, порой удаленный как от науки, так и от реальной жизни, и «рационально оценивая» изображения, что бы это ни было. Мы хотим посмотреть, не используя «никакого оборудования», и рассказать о том, что видим. Здесь, несмотря на внешнюю простоту, перед нами стоит очень сложная задача.

На основании подобных рассуждений в наши дни возникли феноменология Гуссерля и философия Бергсона. Первая стремилась изучить и описать все феномены, из которых состоит жизнь, не признавая в ходе изучения ограничений и указаний, ни под каким предлогом, какова бы ни была его природа и насколько бы это ни выглядело законно. Вторая с удивительной дерзостью противопоставила интуицию и разум, живой и неживой мир, время и пространство. Оба эти течения стремительно и всерьез повлияли на всю современную научную мысль. Думаю, произошло это потому, что они соответствовали реальной глубочайшей потребности нашего бытия.

При рассмотрении понятия времени в частном порядке именно эти мыслители помогли нам осознать, что выражение «победить время»

вовсе не сводится к получению дополнительного времени для развлечений и времяпрепровождения; оно может быть рассмотрено лишь как критический анализ различных суждений относительно этого феномена. Как мне кажется, в наши дни, только заплатив такую цену, можно получить возможность высвободиться из рабских оков, в которых нас удерживает современная культура, навязывающая свое видение времени. В данном случае речь идет не о том, чтобы получить немного свободного времени, а о том, чтобы научиться спонтанно и свободно жить во времени. Проблема времени, несмотря на всю его абстрактность, стала, тем не менее, проблемой наиболее связанной с реальной жизнью, одной из самых личных проблем для каждого из нас.

Для меня в течение долгих лет именно эта проблема была основной отправной точкой моих собственных научных изысканий. В июле 1914 года, накануне мобилизации, я заканчивал исследование по теме «Основные составляющие понятия „время–свойство“». Выражение «время–свойство» само собой отражает, каким образом повлияли на меня, еще тогда, в те далекие годы, труды Бергсона. И с тех пор это влияние только увеличивалось. Оно было настолько значительным, что порой, перечитывая труды Бергсона, я обнаруживал идеи, которые ранее мне казались собственными, более того, иногда мучаясь сомнениями, я задавался вопросом: а удастся ли мне привнести в эту теорию что-то свое? Именно Бергсон помог мне избавиться от всех сомнений. «Подобная философская идея не может быть обоснована в течение одного дня», — писал он в своих работах. «В отличие от различных систем знаний в чистом виде, каждая из которых представляет собой труд гения, выступает в качестве блока знаний, а мы либо принимаем его, либо нет, данная идея может быть создана лишь совместными усилиями огромного количества мыслителей, наблюдателей, дополняясь, корректируясь и совершенствуясь и одними, и другими». Эти слова подтолкнули меня упорно продолжать свои изыскания.

Исследование, упомянутое выше, так и не увидело свет. Война, затянувшаяся на годы, отодвинула всю философскую мысль на задний план. Нам приходилось выживать в условиях, фундаментальные ценности которых значительно отличались от ценностей мирного времени и совершенно не были связаны между собой. Однако философская мысль никогда не угасала полностью. Иногда, под прикрытием временного затишья, она позволяла себе уместиться в нескольких абзацах. Именно так в 1915 году я сделал наброски двух исследований:

одно — о «Фундаментальных характеристиках жизненного порыва» и второе — о «Памяти и забвении»; а в течение зимы 1916–1917 годов, будучи в достаточно комфортных условиях землянки в зоне перемирия в районе Эна, я попытался завершить тезисы по работе «Феноменология смерти». В конце концов, после службы в армии, я начал составлять подробный план достаточно серьезной работы, для которой выбрал название: «Как мы будем жить в будущем (а не то, что мы знаем об этом)». Целью создания данного исследования мог стать системный анализ феноменов, обращенных к будущему, взаимосвязь этих феноменов и их взаимодействие во всем многообразии в контексте проживаемого будущего. Занимаясь этим исследованием, я все более и более полно открывал для себя фундаментальную истину, понимал тесные связи, если не сказать идентичность, существующую между проживаемым будущим, с одной стороны, и идеалом, который при желании можно обозначить как этическое стремление к хорошему и лучшему, с другой стороны.

Однако все эти исследования находились в состоянии заготовок. Во время войны мы стремились к миру, надеялись заново начать жить с того момента, когда мир был нарушен. На самом же деле настал еще один период, наполненный трудностями, разочарованием, невезением, мучительными усилиями, а во многом — период опустошения, направленный только на адаптацию к новым условиям существования. Несмотря на благосклонное затишье, философской мысли было еще далеко до возрождения. Долгие бесплодные и мрачные годы предшествовали войне. Мои труды покоились глубоко в ящике письменного стола.

Безусловно, здесь не к месту обращать внимание на психологические проблемы военного и послевоенного времени. Прошу извинить меня даже за это небольшое отступление. Обращаясь к нему, я всего лишь хотел обозначить кое-какие факты моей личной жизни, которые, как мне кажется, помогут лучше понять общее направление и процесс создания этой работы.

Война коренным образом изменила всю мою жизнь.

Изучать медицину я закончил в 1909 году, но впоследствии, увлекшись философскими проблемами, все больше и больше отдалялся от медицины; был момент, когда я хотел забросить ее полностью. Однако в годы войны пришлось снова заняться медициной, в частности — психиатрией. После войны меня поглотила профессиональная деятельность, экзамены и, конечно, рутина, что, в совокупности, абсолютно не оставляло мне свободного времени и, как результат,

душевного покоя. В таких условиях, разумеется, и речи не шло о том, чтобы немного пофилософствовать *philosophari*. Мои исследования были обращены к проблемам клинической психиатрии и психопатологии, а проекты работ о времени по-прежнему покоились в письменном столе. Но рассуждения на эту тему, редкие в силу затянувшегося молчания, не исчезли полностью: они будоражили меня как призраки прошлого, словно требуя вернуть им право существовать в мире света; именно поэтому понятия, которые изучаются в психопатологии и которые я пытался определить как понятия соединения жизни и реальности, искажались, становясь похожими на концепцию Бергсона; и все же, изменения, происходившие с понятием времени при различных формах психоза, неизменно притягивали мое внимание. Я позволял таким идеям проникать в мои труды по психопатологии, но, уверяю вас, поступал так с некоторыми сомнениями. Собранные ранее сведения о понятии времени никогда прежде не публиковались, попытка наложить их на сведения по психопатологии в любом случае была фрагментарной, не хватало базовой информации, полноты, а иногда и понимания. Может быть, в тот момент я рассчитывал отбросить проблему времени, опустив ее с «высот» философской мысли к «низам», где случаи доступны для наблюдения, в частности случаи различных патологий.

Сегодня я смотрю на это по-иному и прекрасно осознаю, что такой значимый переворот мне пришлось пережить волею судеб. Психиатрия приближена к жизни; она способна вносить поправки не в саму философскую мысль, но непосредственно в философию, которая ею руководит; теперь, перечитывая свои довоенные записи, я на самом деле считаю, что мне удалось избежать опасности сделать абстрактные, не связанные с жизнью умозаключения. С другой стороны, сам по себе факт, не исключающий возможность наложения общих знаний о времени на факты психопатологии, не только не принижает значимость последних, а, наоборот, *обогащает* их, вдыхает в них новую жизнь. Сейчас я более чем убежден: любые проявления психопатии могут быть поняты и глубже изучены под углом феномена времени, а также непрерывного сопоставления нормы и патологии, рассмотренных именно с этой точки зрения, — вот основной, если не сказать единственный, путь, дающий возможность добиться значительного прогресса в исследовании данного феномена. Изучение патологии демонстрирует нам, что феномен времени и феномен пространства проявляются в больном сознании *иначе*, чем обычно мы их себе представляем; такое изучение подчеркивает характерные черты

этих феноменов, которые, в силу незначительного различия между ними в обычной жизни, остаются незамеченными либо рассматриваются как совершенно естественные. Таким образом, патология стала для меня не только чем-то вроде крайнего средства, позволившего мне продвинуть, может, даже контрабандным путем, мою теорию, но превратилась в ценнейший источник, из которого, возможно, я и почерпнул лучшие свои знания. Сегодня я уже не смог бы работать иначе, чем меня заставила сама жизнь.

Вдобавок сказался на мне и еще один значимый виток в моей судьбе. Я много лет жил и учился в Германии, поэтому имел обыкновение писать на немецком языке. За годы войны я научился думать и писать по-французски. Чтобы написать целостное исследование, мне пришлось полностью перевести все мои предыдущие работы. «Перевести» в данном случае не совсем подходящее слово. Язык все-таки не является неизменяемым инструментом, это живой организм, если выразиться точнее — это «переносчик» того, что принято называть общими идеями и личными соображениями. При таком многообразии различных мнений в области мышления и способов его выражения, превращающихся, как кажется при первичном рассмотрении, в барьеры понимания, перед нами возникает вопрос, решить который возможно только путем четкого противопоставления определений: «глубокий» и «поверхностный». Однако иногда наша жизнь ставит перед собой задачу просветить нас по этому вопросу. И мы учимся осознавать, что так называемое «поверхностное» может иметь свой собственный глубинный смысл, тогда как, с другой стороны, глубина, слишком продвинутая вперед, рискует стать немного поверхностной. Как бы там ни было, но, когда это произошло со мной и все мои идеи и записи были разрушены, первоначально я столкнулся с такими трудностями, что мне хотелось, и даже не раз, забросить все. Тем не менее, я попытался преодолеть эти трудности и, на сегодняшний день, скорее склонен считать, что все, связанное с психопатологией, в период этого второго витка моей жизни было для меня скорее благом, чем препятствием.

Столь долгая эволюция имеет, безусловно, и некоторые отрицательные стороны. Мы привязываемся к идеям почти так же, как к людям, а иногда даже сильнее, и потом с сожалением следим за тем, как они исчезают. Но мы не в состоянии отказаться от них полностью, с того самого момента, когда они стали нам дороги, даже если они уже кажутся устаревшими, так как их появление — это один из этапов нашего личного развития; поэтому для них мы бережемся

местечко в своей работе, позволяем им проникнуть в ее содержание, несмотря на риск лишить текст ясности, наполнив лишними деталями, которых там быть не должно.

Именно по этой причине данное сочинение, в первоначальном его виде, имело не связанные между собой части, созданные в разное время в течение долгих двадцати лет. Некоторые я написал, вдохновившись проблемами философии и благодаря им, иные — изучая феномены психопатологии; одни уже были опубликованы и написаны в виде статей, другие просто лежали среди бесчисленного количества исписанных мною бумаг; видимо, поэтому с первого взгляда казалось, что эти несвязанные части представляют собой разнородную бесформенную массу.

Я нашел в себе силы объединить их в единое целое и обобщить; очень надеюсь, что мне это удалось, по крайней мере, частично.

Чтобы обозначить как-то усилия, потраченные на объединение всего этого массива, я решил использовать слово «хронология». Думаю, в данном случае оно на своем месте, хотя в обычной жизни используется в совершенно другом значении, в самом банальном из всех имеющихся. Поэтому я отказался от мысли дать такое название своей работе. Но хочется верить, что настанет день, когда мы сможем употреблять слово «хронология», понимая его глубокое первичное значение.

ЧАСТЬ I

**ОЧЕРК
О ВРЕМЕННОМ
АСПЕКТЕ ЖИЗНИ**

ГЛАВА I

СТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОНЯТИЯ «ВРЕМЯ–СВОЙСТВО» (Принцип развертывания)

1. Предварительное изучение

Когда в повседневной жизни заходит речь о времени, мы инстинктивно бросаем взгляд на часы либо смотрим на календарь, как если бы все, что имеет отношение ко времени, ограничивалось лишь определением для каждого события какой-то конкретной точки, выраженной в годах, месяцах, часах и отрезках, которые отделяют эти события друг от друга.

В клинической практике применяются точно такие же положения. В них говорится о дезориентации во времени, а чтобы доказать это, предлагают нам спрашивать больного о дате его рождения, о длительности его пребывания в больнице или о текущей дате. Точно таким же образом медицина судит о наличии брадипсихии (больные эпилепсией), принимая во внимание сниженную скорость их реакций по сравнению с реакцией нормального человека, скорость, которую можно было бы измерять в случае необходимости, используя часы, выражая значения в минутах и секундах. Вот еще раз мы сталкиваемся с той концепцией времени, что базируется на экспериментальных исследованиях возможностей оценивать, при различных условиях, измеряемые отрезки времени, а также отклонения от нормы, которые могут возникать в процессе таких измерений при наличии патологий.

В данном случае ни для кого не составит труда заметить, что здесь речь идет об *измеряемом* времени или, если выразиться языком

Бергсона, времени, *ассимилированном с пространством*. Кстати, такие выражения, как «измерение», «расстояние», «интервал», применяемые и с термином «время», и с термином «пространство», являются достаточным тому доказательством. Вместе с тем, при наличии патологии дезориентация во времени существует одновременно с дезориентацией в пространстве, как если бы оба эти вида дезориентации не были проявлением одного и того же недуга; здесь мы видим, что они существуют бок о бок в случаях галлюцинаторных помешательств или помутнения сознания, когда окружающая реальность словно приостанавливается и замещается вымышленным миром, а также в случае умственной деградации, когда по причине расстройств памяти теряется способность воспроизводить в нужное время названия мест, конкретные даты, привязанные в нашем сознании к различным событиям повседневной жизни.

Однако давайте оставим этот аспект времени. Он представляет собой слишком ограниченную основу для того, чтобы провести глубокое исследование феномена времени. И понять это не так уж и сложно.

Монотонная жизнь в окопах иногда приводила к тому, что мы забывали дату и день недели; учитывая условия, в которых мы находились, будучи вырванными из традиционного целостного уклада жизни, эта информация, если разобраться, не представляла для нас в тот момент абсолютно никакого интереса; вдобавок, приспособившись к обстоятельствам, мы создали для себя другой «календарь», более соответствующий ситуации: мы просто подсчитывали дни, прошедшие с начала нашего пребывания на передней линии фронта, и дни, которые нас отделяли от возвращения в расположение войск, чтобы передохнуть. Мы были дезориентированы во времени, в общем смысле этого понятия, что иногда соответствовало действительности; но, вместе с тем, мы начинали громко возмущаться, стоило кому-то назвать нас «существами» вне времени, если можно так выразиться. И наоборот: вдали от усеянного смертями опустошения все наши страдания были связаны со *временем*; мы не выдерживали монотонных, мучительно долгих дней, сменяющих друг друга, и боролись со *скукой* (феномен, легко постижимый, стоит только осознать, что по природе своей он тесно связан с понятием времени), которая, подобно смертоносной, липкой массе проникала внутрь нас, угрожая превратить в ничтожества. Разве никто никогда не говорил, что во время войны мы сражались не только с врагом, но и со *скукой*?

Следующий пример я позволю себе позаимствовать из детской психологии. Когда моему сыну было шесть лет, я провожал его до школы; мы вместе завтракали, после чего я выкуривал сигарету, а затем мы отправлялись в школу. Однажды утром, проснувшись позже обычного, я обратился к сыну, спокойно допивающему молоко: «Поспеш, малыш, иначе мы опоздаем». Ответ не заставил себя долго ждать: «Но, папочка, мы не можем опоздать, ты же еще не выкурил свою сигарету». В представлении ребенка отложились определенная последовательность действий; безусловно, здесь он применил свое понятие порядка действий во времени, и хотя осознавал, что время абстрактно и протекает независимо от происходящих в нем событий, с которыми оно соотносится, но все-таки ошибся.

При изучении патологий мы сталкиваемся с подобными фактами. Больной общим прогрессирующим параличом, если стадия заболевания еще не слишком тяжелая, демонстрирует способность рассказывать в правильном хронологическом порядке, чем он занимался во время войны, но в то же время не способен сообщить нам, ни когда началась война, ни когда было подписано перемирие. Что касается больных старческим слабоумием, каким бы парадоксальным это не казалось, можно отметить, что, несмотря на огромные проблемы с памятью и полнейшую дезориентацию, их мышление в рамках псевдологии и всех прочих психических проявлений всего лишь распространяется во времени; достаточно часто, в каждой фразе, которую они говорят, можно обнаружить представление о временном порядке. Хочу привести один из множества имеющихся примеров: больная в возрасте 78 лет, с признаками серьезной умственной деградации, уже не знает, ни сколько ей лет, ни когда она родилась, ни какой сегодня день, ни то, как долго она находится в больнице; но заметьте, что она говорит: «Моя мать (Ее мать давно умерла.) приходила *каждый день*, а *сегодня* не пришла; она приходила *каждый день*, по-моему, она не приходила *вчера*; но она *всегда* приходила ухаживать за мной. *До сегодняшнего дня* сыновья приходили сюда *постоянно*, а *сейчас* я больше не встречаюсь со своими внуками, как *раньше*. Когда я думаю о них, мне кажется, что прошел *целый век*, с тех пор как я их видела. Если бы я могла их видеть *два или три раза в неделю*, то знала бы, что мы виделись *недавно* и *вскоре* я их снова увижу». Итак, чтобы немного сменить круг идей, давайте вспомним о страдающем шизофренией пациенте господина Жильбера Робена, который выстрелил из револьвера в свои наручные часы

и, как минимум символически, убил таким образом время, так как считал его своим злейшим врагом.

Впрочем, не будем пока задерживаться на этих примерах, поговорим о них позже. Здесь нужно было привести их исключительно для того, чтобы доказать, что ни мысль о возможности измерять время для нормальных людей, ни понятие дезориентации во времени при наличии патологий не в состоянии изложить феномен проживаемого времени; они представляют собой лишь малую часть, всего лишь один из абстрактных аспектов, а значит, находятся очень далеко от существующей реальности и потому не могут использоваться в качестве отправной точки при полном анализе времени. Между тем, мы не занимаемся поиском этой самой отправной точки ни среди психопатологических сведений, ни в детской психологии, ни среди различных особых обстоятельств обычной жизни; все эти факты включают в себя, по сути, один из элементов отклонения от нормы или неполноценности, поэтому в данном исследовании им сразу же отводится роль вспомогательных факторов. А нам в первую очередь необходимо представить к рассмотрению феномен времени во всем его многообразии, во всей его оригинальности и со всеми специфическими особенностями.

С этой точки зрения, необходимо сделать еще одно примечание. Время, ассимилированное с пространством, как все мы с вами знаем, грешит чрезмерной статичностью. Однако необходимо, тем не менее, остерегаться, если не более того, изображений времени, которые, как мне кажется, наоборот, грешат излишним динамизмом — совершенно искусственным, как мы его представляем себе. Слишком часто феномен времени предстает в нашем восприятии в виде какого-то калейдоскопа, переливающегося у нас перед глазами разными красками каждый миг, без остановки, снова и снова, а картинки, возникающие так, иногда связаны с событиями внешнего мира, иногда с эпизодами нашей личной жизни. Таким образом, в нашу жизнь примешиваются идеи о замещении, о круговороте и безумной гонке, о бесконечной очередности, которые не привносят в нашу потребность размышлять и медитировать ни одной отправной точки с хотя бы незначительной надежностью. Я вспоминаю, какое впечатление произвело на меня описание времени в книге Циена: «Нам никогда не понять *ποῦ ὦτο*². Мы захвачены своими представлениями и своими ощущениями. Мы не можем ни остановить их, ни выпрыгнуть из

² Где следует остановиться (греч.). (Здесь и далее прим. автора.)

везущей нас вперед колесницы, чтобы остаться всего лишь зрителями. Каждая мысль, связанная с нашими представлениями, сама по себе уже является новым представлением. Как только нам кажется, что удалось уловить миг А, мы тут же становимся жертвой мига В». При таком описании почти сразу возникает желание воскликнуть: «Но это неправильно, *поў ото* существует, мы все знаем об этом в каждый миг своего существования, у нас есть возможность стать зрителем, порой нас даже призывают стать им, в чем и заключается одна из основных задач нашей жизни; а если возникают разногласия, то уж конечно они не связаны с немедленными данными сознания, которые во всем виноваты, а зависят от неправильной оценки описаний».

В одном из моих первых исследований я обсуждал данный вопрос более объективно:³

«Эта схема является результатом комплексной проекции психической реальности в конкретное время, как его понимают в контексте физики. Одного взгляда на нашу психическую жизнь достаточно, чтобы показать, что вышеупомянутая схема совершенно не соответствует действительности. Во-первых, мы не воспринимаем время только как непрерывную последовательность различных элементов нашего сознания, на чем настаивает Циен; нам также известен фактор длительности его элементов; с другой стороны, феномены, связанные с памятью, подразумевают отношения прошлое—настоящее, которые никоим образом не могут базироваться на простой последовательности фактов.

Однако здесь совсем не сказано *априори*, что в психической реальности отсутствуют феномены, подчиненные реальности последовательности во времени, в силу чего способные сами выступить в качестве отправной точки при изучении этой реальности. Иначе говоря, прежде, чем применить схему, упомянутую выше, нужно доказать правомерность *полного* проецирования психической реальности на конкретное время. В противном случае эта схема станет отображением всеобщей тенденции приравнять любой ценой психическую реальность и материальное становление».

Сегодня я, скорее всего, выразил бы свои идеи немного иначе, но суть моей мысли остается прежней. Такая разновидность калейдоскопа, о которой говорилось ранее, на самом деле — всего лишь способ приспособления к пространству и чрезмерная рационализация

³ *Betrachtungen im Anschluss an das Prinzip des psychophysischen Parallelismus.* Arch. F. die gts. Psychologie, t. XXXI, 1914.

времени. Оно здесь *разложено* на рядом стоящие пункты; после их ментального выстраивания друг за другом с достаточно высокой скоростью они представляются нам пунктами с разными состояниями сознания, которые предположительно должны там быть, и являют собой точную картину течения жизни во времени. Однако на самом деле проживаемое время совершенно не соответствует этой схеме. Синоним понятия «динамизм» кажется, тем не менее, почти совпадающим с феноменами длительности и стабильности (противоположными, по сути своей, понятиям неподвижности и смерти); кроме того, существуют феномены, которые, если бы они протекали *во времени*, содержат, помимо всего прочего, понятие времени *внутри них самих* и выступают сами по себе в качестве, так сказать, «временных знаков»; позволю себе для примера перечислить лишь некоторые из них, такие как *воспоминания*, обращенные в *прошлое*, а также *желание* и *надежда*, устремленные в *будущее* и способные создавать, даже заново создавать его для нас. Очевидно, что эти феномены ОСОБО заслуживают нашего внимания, и обращаться к ним мы будем по ходу всей этой работы; но уже сейчас становится ясно, что нам недостаточно изучить их только как нечто протекающее во времени, потому что по их *содержанию* или, более точно выражаясь, по их особенной *структуре*, они сами собой определяют общую связь проживаемого времени, а значит, именно того времени, которое мы хотим изучить.

На данном этапе вряд ли необходимо говорить, что проблема, затронутая здесь, не имеет ничего общего с проблемами, изучаемыми в физике, основанными на современных теориях относительности. Фолькельт ранее уже настаивал на необходимости обратить внимание на этот нюанс⁴.

В физике за отправную точку был принят пространственный аспект времени, в этом направлении он продвигается только от абстракции к абстракции. Что же касается нашей идеи, она продвигается в принципиально противоположном направлении; пресытившись этими абстракциями, она пытается обернуться «назад», к проживаемому времени, учитывая все его особенности⁵.

⁴ Johannes Volkelt. *Phenomenologie und Metaphysik der Zeit*. München, 1925.

⁵ Недавно появилась серьезная работа М. Хайдеггера «Бытие и время» («*Sein und Zeit*», 2-е издание, 1929). Это философское произведение, посвященное изучению феномена времени и места, которое ему отведено в жизни, имело серьезное влияние на работы по психологии и психопатологии на немецком языке. Я познакомился с книгой М. Хайдеггера, когда уже серьезно продвинулся

2. Становление

Что же такое время?

Выражаясь словами Бергсона, это «жидкая масса», волнующийся, грандиозный, чарующий, могущественный океан, который простирается вокруг меня, во мне, повсюду, а когда я размышляю о времени, заключен в одном слове: *становление*.

Я его обозначаю лишь приблизительно и конечно же не совсем точно; я это осознаю, когда говорю, что время течет, что оно идет, что оно пролетает безвозвратно, но также движется вперед, развивается, уходит в неизвестное и расплывчатое будущее.

Я признаю, что выражаю свои мысли несовершенно. Это чистая правда. Такое несовершенство, между тем, связано вовсе не с недостаточным количеством средств выражения, а с осознанием того, что становление не нуждается в необходимости быть выраженным. Это значит, что во всем своем чарующем могуществе оно не дает нам ни единой волны, от которой мы могли бы оттолкнуться, чтобы в общих чертах обозначить взгляд или суждение на этот счет. Своими волнами оно укрывает все, что мы хотели бы у него узнать; у него нет ни предмета, ни объекта, ни отдельных частей, ни направления, ни начала, ни конца. Оно не является ни обратимым, ни необратимым. Оно универсальное и безличное. Оно может быть хаотичным. И при этом оно рядом с нами, так близко, что само по себе является основой нашей жизни. Еще немного, и мы могли бы сказать, что оно и есть синоним жизни в самом широком смысле этого слова.

Обычно мы определяем время как абстрактное понятие, которое по природе своей сводится к конкретным изменениям, наблюдающимся либо в нашем сознании, либо во внешнем мире. В сущности, это совсем не так. Время предстает перед нами как *простейший* феномен, живой, всегда присутствующий здесь, рядом с нами, намного ближе, чем все конкретные изменения, которые нам удастся разглядеть во времени. Оно совершенно не позволяет себя исчерпать последовательностью наших чувств, наших мыслей, наших проявлений воли.

Я бы даже сказал, что оно ощущается во всей своей чистоте, когда нет ни единой мысли, ни единого чувства, четко обозначенного в сознании; тогда время заполняет его полностью, стирает границу между

вперед в своих исследованиях, причем настолько, что уже не мог должным образом углубить его идеи, чтобы выделить их в этой работе и обсудить общие моменты и расхождения во взглядах, которые могли возникнуть у нас.

мной и не мной, оно охватывает как мое собственное становление, так и становление вселенной или совсем короткое становление; оно заставляет их сливаться воедино и перепутываться между собой; кажется, что мое собственное «я» растворяется в нем полностью, при этом я не испытываю мучительного чувства ожидания, примешанного в мою целостную личность. Наоборот, это единственная возможность отказаться от своего «я», в сущности, не совершая акта отказа. Мы смешиваемся с могучими потоками, безликими, лишенными «гражданского состояния», без будущего, без проблем, без малейшего противостояния, испытывая чувство удовлетворенности и душевного покоя, если допустимо так сказать.

А попроси нас противопоставить становление нескольким конкретным феноменам, вряд ли бы в первую очередь мы подумали о последовательности чувств и представлений или о неслаженных телодвижениях, а значит, об изменениях *во* времени, *со* временем или *относительно* времени, точно так же, как и о развитии творческой личности, с одной стороны, и о проматывании времени, о старости и смерти — с другой.

Феномен становления основывается на идее $\pi\acute{\alpha}\nu\tau\alpha\ \rho\epsilon\acute{\iota}$ ⁶, которая, не переставая, проходит через философские взгляды со времен античности и до наших дней. Однако следует остерегаться мнения, что в этой формуле $\pi\acute{\alpha}\nu\tau\alpha$ выступает как сумма изолированных частиц, каковы бы они ни были, ибо в таком случае эта формула будет преобразована в так называемый калейдоскоп, уже упомянутый ранее. На самом деле $\pi\acute{\alpha}\nu\tau\alpha$ — простая составляющая, которая ни при каких условиях не может раскладываться на «всё», состоящее из $\rho\epsilon\acute{\iota}$ и ни из чего другого более. С этой точки зрения, скорее всего, правильнее будет сказать, $\rho\omicron\acute{\iota}\ \rho\epsilon\acute{\iota}$ ⁷, чтобы подчеркнуть, что простое становление не допускает никакого конкретного нижнего слоя. Кроме того, нельзя упускать из виду и то, что эта формула включает, как того требует дискурсивное мышление, подлежащее и глагол, тогда как становление и не содержит такого разделения, и не нуждается в этом: в нем все перемешано и ничто не может быть из него удалено.

Нам не остается ничего иного, кроме как обратить внимание на то, что становление имеет *иррациональный* характер. Даже самые простые процессы дискурсивной мысли, кажется, противоречат его природе.

⁶ Все течет, все изменяется (*греч.*).

⁷ Ро́и, течение (*греч.*).

Мы также можем выразить становление, сказав, что нам не удастся получить по отношению к нему достаточное *расстояние*, чтобы сделать его предметом наших знаний. Оно для этого *слишком близко* к нам. Желание *познать* его, проанализировать, представить его ничему не соответствует, так как каждое мгновение мы можем его проживать, ощущать — оно прямо перед нами.

Таким образом, нам удалось избежать упрека в анализе становления только с негативной стороны, выставив на обозрение его иррациональный характер. Этот упрек, по сути своей, и является выражением *главенства* дискурсивного мышления, принятого без всякой критики. Здесь вовсе не идет речь о *действительной недостаточности и полной относительности* нашей мысли в отношении феномена времени. То, что предстает пред нашим взором, является чем-то *позитивным*, в том смысле, который мы здесь определяем как основное несоответствие между феноменом становления и методами дискурсивного мышления. Становление отстраняет от себя, в силу своей природы, любое суждение, любой признак, любое подлежащее, любое сказуемое. Приспособленное к *человеку*, дискурсивное мышление оказывается неспособным обратиться к *становлению*. Становление недостижимо для знания, и не потому, что находится *позади* известного, но потому, что является, если можно так выразиться, данностью, и нет ни одного вопроса по сути его природы, который бы относился к области дискурсивного мышления.

Здесь мы обнаружили подтверждение того, что было сказано на счет иррационального характера становления, к чему приходит логика, с удивительной легкостью демонстрируя нам, что время само по себе противоречиво. Вот, например, одна из схем: «прошлое» уже прошло, его больше нет; а «будущего» еще нет; и «настоящее», таким образом, находится среди двух «ничто»; но «настоящее» — это данный момент, «сейчас» — точка, в которой отсутствует протяженность; с того мига, как «настоящее» появилось, его уже снова нет; а значит, «сейчас» тоже противоречиво, тоже является «ничем». Так реальность «сейчас» сокращается до момента и до «ничто», будучи расположенной также между двух «ничто»⁸.

Эти рассуждения, между тем, совершенно не доказывают, что время *на самом деле* является «ничем». Для этого следовало бы признать, что аргументы, которые здесь приведены, имеют не просто

⁸ Фолькельт в своих работах обращает внимание на то, какое место отводится подобным рассуждениям в философии.

абсолютное, а исключительное значение. Но об этом не может быть и речи. Сущность времени слишком богатая, оно слишком «живое», чтобы мы могли привязать время к формуле, сводящей его до «ничто». Аргументация, приведенная выше, насколько бы надежной она ни казалась, служит только для того, чтобы продемонстрировать, что время *становится* «ничем», *если* мы будем рассматривать его только с точки зрения логики; она говорит лишь то, что время иррационально, что оно способно просто сократиться до «ничто», если мы будем применять к нему принципы дискурсивного мышления, поэтому впоследствии к нему не должна, ни при каких обстоятельствах, применяться данная точка зрения.

По ходу дела отметим, что паралогизмы такого вида встречаются не так уж и редко. Именно так, отталкиваясь от принципа детерминизма в области материального реализма, мы показываем со всей необходимой строгостью, что факты психологии могут быть только вторичным явлением. На самом деле одного беглого взгляда на эти факты достаточно, чтобы доказать, что они ничего собой не представляют. Конечно, они *превращаются* во вторичные явления, *если* мы их рассматриваем, используя способ, который только что был указан. Но, по сути, ничто не может нас заставить анализировать их таким образом, и любое умозаключение, приводящее к подобным выводам, доказывает лишь одно: физическая реальность, если ее рассуждения изменяются до уровня воли, противоречит предпосылкам, на которых она основывается⁹.

Аналогичным образом, сокращение времени до «ничто» демонстрирует всего-навсего его несоответствие постулатам, на основании которых это сокращение и было выполнено, а также необходимость применения для его изучения более свойственных его природе методик.

Но в таком случае, с чего же начинать изучение времени?

3. Переход от проживаемого времени к времени, ассимилированному с пространством; его последствия методологического порядка

И вот наступает переломный момент. Будучи приверженцами философии Бергсона, мы смогли выявить иррациональный характер становления. Но как быть с возникшим основным противоречием между проживаемым временем и дискурсивным мышлением?

⁹ У меня уже была возможность акцентировать внимание на этой точке зрения в моей работе *«Betrachtungen im Anschluss, etc...»*.

Только одно решение приходит на ум. Время, если это не связано с его анализом, обладая своим особенным аспектом, требует особенной методики изучения, свойственной его природе, — как минимум для того, чтобы выделить его лучшие характеристики. Бергсон в данном случае рекомендовал интуитивный метод. Впрочем, здесь неуместно упоминать всю значимость его трудов. Похоже, сейчас перед нами возникают два пути. Мы можем, как поступал и сам Бергсон в работе «Творческая эволюция» (*«L'Évolution créatrice»*), предоставить времени более прочное и устойчивое основание, рассматривая его в качестве биологических феноменов, и таким образом прийти к понятному мнению о взаимосвязи всех событий в природе. Но точно так же мы можем попытаться основываться на знаниях о свободных феноменах. В таком случае, не придется ли нам искать выход в тупике, в который, как мне кажется, мы сами себя загнали ранее, упорно противопоставляя дискурсивное мышление и интуицию, пространство и время?

Давайте вернемся назад. Мы отвергли идею калейдоскопа. Однако эта идея могла бы возникнуть в сознании того, кто ее выдвинул. Безусловно, здесь не идет речь об истинном времени, но, тем не менее, здесь может быть один из аспектов времени. Будет ли считаться, что я признаю свою ошибку, если за точку отсчета решу принять идею о последовательности событий, и мне удастся, для себя лично, воссоздать вышеупомянутую идею о калейдоскопе? Да, порой я не просто представляю себе этот калейдоскоп, но и испытываю его самыми необычными способами. Когда ко мне подкрадываются усталость, отчаяние, разочарование, все мне начинает казаться мимолетным, эфемерным, расплывчатым. Жизнь, даже моя собственная жизнь, все, что происходит вокруг меня, как будто исчезает со временем, так что мне не удастся там даже задержаться, а размытое ощущение «ну и что теперь?» охватывает все мое существо. Это происходит нечасто и достаточно быстро проходит, но все-таки так бывает, а значит, также передает особенный аспект времени. И, если бы эти моменты, как, кстати, и более рациональное представление о калейдоскопе, не служили нам только в качестве методов сравнения, чтобы выявить строение времени во всем его первичном объеме, они не могли бы оказывать такого воздействия, не имея никакой связи с ним.

Именно по этой причине в каждом учении, пытающемся проникнуть в глубочайшую природу времени, как мы видим, возникает еще и скрытый план, своеобразный, безмолвный, но неотъемлемый

элемент, идея о пространстве. В качестве основного элемента понятия времени Фолькельт рассматривает понятие «сейчас–непрерывность» (*Jetzt–Stetigkeitsbewusstsein*), совершенно не оставляя нам возможности описывать то, какой была наша жизнь, если этот элемент не существовал ранее; таким образом, он представляет нашу жизнь, как что-то подобное мозаике, что-то непостоянное и прерывистое (*zerrissen*). С одной стороны, хотелось бы его спросить, что было бы со временем, лишенным его основного элемента, ибо он никогда не пытался рассмотреть время без оно, и на каком основании, рассуждая о времени, он вводит понятия, явно позаимствованные у пространства, например, непостоянство и прерывистость; но, с другой стороны, нельзя не рассмотреть его умозаключение как правдоподобное, по крайней мере, на основании некоторых критериев.

Становление и бытие, время и пространство, видимо, значительно сильнее связаны друг с другом и намного лучше сочетаются между собой по сравнению с тем, что мы предполагали изначально. На ум приходит мысль о пласте *пространственно-временной целостности*, который можно сравнить с органо-психической целостностью.

Физика, какой нам ее представил Бергсон, раскладывает движение на составляющие и передает его через места, которые последовательно занимает в различные отрезки времени движущееся тело. Таким образом, он вводит противопоставление отдельных точек (T , $T + t_1$, $T + t_2$ и т.д.) там, где, как мне кажется, есть только проникновение и организация, а это противопоставление искажает время, ассимилируя его с пространством. И вот здесь возникает один очень значимый вопрос: *что позволяет ему использовать подобную ассимиляцию*, причем совершенно естественным образом, без того чтобы проявить хоть какую-то минимальную гениальность на этот счет? Если бы время абсолютно отличалось от пространства, то никогда ни сама физика, ни один из ученых-физиков не достигли бы подобных результатов, такая мысль просто не посетила бы их. Кстати, давайте обратимся к нашему собственному опыту, к жизненному опыту, а также и к здравому смыслу: мы обнаружили, что, как только пытаемся *представить* себе время, в нашем сознании происходят мыслительные процессы, которые не только не лишены смысла, но которые мы можем довести до конца без возникновения каких-либо сложностей, этот процесс происходит естественным путем, практически инстинктивно, точно так же, как и в физике, в виде прямой линии.

«Без сомнения, — пишет Блондель, — чувства, которые мы переживали в течение длительного промежутка времени, необходимы для понимания того, что же на самом деле такое месяцы и годы, а объективные методы, принятые обществом для измерения времени, были бы непонятны без особого жизненного опыта, помогающего осознать, каким образом время движется и как оно заполняется реальностью. Но факт остается фактом: обычный человек, задумавшись о длительности времени, скорее представит его в виде одного длинного пути, чем в виде событий в календаре, разделенных на четко определенные участки»¹⁰.

Тесные связи между идеей о времени, ассимилированным с пространством, и о переживаемом времени проявляют себя так же, как и естественный переход от одного к другому, без каких-либо конфликтов или уловок. Если сказать, что речь здесь идет о результатах, полученных после серьезных усилий, это приведет к тому, как мне кажется, что проблему отложат на потом. Не будем учитывать, что в данном случае мы заменяем феноменологию изучения времени толкованием на генетическом уровне и таким образом совершаем что-то наподобие логической ошибки. Концепции генезиса, прогресса и эволюции являются, по сути, частью изучаемого феномена и могут отделиться от него, только развиваясь. Принятое решение или вариант, к которым мы обращаемся, в обязательном порядке предполагают, что вышеупомянутый переход должен иметь возможность реализоваться, пусть даже это будет всего лишь набросок, позволяющий выявить условия, необходимые для реализации. Законным кажется рассмотрение данного перехода не в качестве результата действия интеллектуального характера, а в качестве «ближайших сведений» сознания, в силу чего мы и позволяем ему самостоятельно оценить свои права.

Эти права заключаются в следующем: с одной стороны, время выступает как иррациональный феномен, устойчивый к любой концептуальной формулировке; но, с другой стороны, как только мы пытаемся его себе представить, он самым естественным образом предстает в виде прямой линии; *следовательно, нужно, чтобы существовали феномены, способные разместиться и выстроиться по порядку между двумя этими крайними аспектами времени*, оставив возможность перехода из одного аспекта в другой.

Итак, наши исследования сейчас получили четкую ориентацию: в качестве объекта у нас выступают промежуточные феномены, описанные выше.

¹⁰ Charles Blondel. *La Conscience morbide*. Alcan, 2^e éd., 1928, p. 214.

Путь, по которому мы будем двигаться, чтобы достичь этой цели, также проложен. Проецируя на становление хоть какое-то простое отношение рациональной природы, мы выявляем феномен, отвечающий за объединение обоих. Такие феномены — это можно предвидеть изначально — должны обладать особыми характеристиками; необходимо наличие у них, если можно так сказать, *двух граней*: одна — чтобы сохранить их временный характер и способность быть устойчивыми к методам дискурсивного мышления, дабы они могли противоречить сами себе в случае попытки сводить их полностью к отношениям рационального характера; с другой стороны, они должны проявить себя именно как переносчики отношений этого порядка, позволив тем самым сблизить их с пространством.

Я надеюсь, что последующие страницы, дадут возможность лучше разобраться в методике, которая применяется в ходе нашего исследования.

4. Становление и «бытие единства или множества». Феномен движущейся длительности и последовательности. Принцип непрерывности и повторности

Давайте сейчас обратимся к простым признакам: это «бытие единства» и «бытие множества» или, по причине его относительной простоты, «бытие двух». Попробуем объединить эти признаки со становлением. Можно заметить, что оно не только противопоставляет им основание для отказа в соглашении: здесь мы сталкиваемся с феноменом *движущейся длительности*, либо, если вам так больше нравится, с *потоком того, что длится*, а также с его *последовательностью*.

Все, что является *единством*, по отношению к становлению длится в движении или движется по всей длине; а все то, что *пара*, относительно времени последовательно идет одно за другим. Иначе говоря, все, что длится в движении, обозначается относительно времени как единица, а все, что представляет собой последовательность, обозначается как два или множество.

Такое «бытие единства» может точно так же охватывать содержимое моего сознания, будь то восприятие, чувство или любое другое состояние души, которое мое целостное «я» или другие «я», либо какое угодно событие внешнего становления или даже всего мира в целом; главное, чтобы они были рассмотрены с подходящим временным

аспектом. Здесь важно понять, что мы в данном случае рассматриваем не содержание единицы, но признак *бытия единицы* относительно проживаемого времени. Кроме того, состояние нашего сознания, а также события, которые происходят вокруг нас, длятся в движении, тогда как неизменяемые объекты внешнего мира просто длятся, в них не может проникнуть живой поток времени.

Временный характер, а вместе с тем и простейшая природа обоих феноменов, упомянутых выше, являются очевидными. Это вытекает из феномена последовательности. Что же касается феномена движущейся длительности, то здесь дела обстоят намного сложнее, как минимум из-за того, что в нашем языке нет конкретного термина, которым можно было бы обозначить данный феномен. Поэтому и возникает странное впечатление, что он состоит из двух различающихся элементов, а именно: длительность и поток. По этой причине Фолькельт определяет длительность как невременной фактор (*ausserzeitliches moment*), признавая, однако, что длительность в какой-то мере относится ко времени. Он рассматривает ее частично, основываясь на принципе: все, что является временем, должно видоизменяться, меняться, *непрерывно* двигаться; этот принцип, о котором мы уже говорили, представляет собой видение времени на уровне сознания, но никоим образом не основывается на его природе.

По сути, здесь идет речь о простом феномене, не поддающемся разделению на части. Именно на этом основано и большинство рассуждений Бергсона, касающихся различий между *мыслимой длительностью* с ее противоположностями и *проживаемой длительностью* с ее неизменяемой живой структурой. Нам не остается ничего другого, кроме как вспомнить слова самого Бергсона, где он помещает феномен длительности и последовательности в одну плоскость: «Нет значительной разницы между прошлым одного или другого состояния, они по-прежнему пребывают в том же состоянии»; или вот еще: «Возможно представить себе последовательность, не разграничивая ее, можно представить ее как взаимное проникновение, как целостность, как близкое объединение элементов, каждый из которых является показателем целого, различаясь и отделяясь лишь в мышлении, способном все разделять».

Таким образом, переживаемая последовательность, несмотря на то, что она состоит из «бытия двух», не складывается из *двух различных длительностей*, следующих одна за другой. Утверждать такое — значило бы совершить попытку разложить и рационализировать изучаемый феномен больше, чем допускает его природа. При

последовательности выделяют два события, но ни одно из них нельзя постичь независимо от другого. Это как если бы мы, стоя на вершине, откуда можно только догадываться, что собой представляют оба склона горы, но не исследовать их, в конце концов поняли бы, что находимся в месте, которое их разделяет. Точно так же движущаяся длительность не может быть разложена на множество последовательностей; иначе бы изменилась и была неправильно оценена сама ее природа. Как только речь заходит о времени, следует избегать всех поспешных арифметических действий.

Теперь стало ясно, как изучаемый нами феномен может иметь «две грани», что мы позволили себе утверждать в конце предыдущей главы.

А. — Иррациональная сторона обоих феноменов четко прослеживается на основании всего вышесказанного. Минимальная попытка, совершенная, чтобы преодолеть признаки «бытия единства» или «бытия двух», позволив им развиться, что, по сути, совершенно естественно для дискурсивного мышления, подводит нас к противоречию с образом существования этих феноменов в реальности. Они проявляют себя с рациональной точки зрения, хотя сами по себе являются противоречивыми.

Эту мысль можно подчеркнуть и более очевидным способом. Вот умозаключение, которое делается довольно часто: мы только что констатировали последовательность А и В; констатация последовательности А и В позволяет нам сказать, что А может существовать только при наличии В; последовательность устанавливает отношения между А и В; но для установления каких-либо отношений между двумя понятиями необходимо, чтобы оба эти понятия существовали в сознании; а это совершенно невозможно в случае отношений последовательности; таким образом, ни при каких обстоятельствах мы не можем утверждать, что существует *незамедлительная* последовательность двух событий. Однако мы говорим об этом каждый миг своего существования.

Психология всегда сталкивалась с этой проблемой, сводя, в силу своих установок, все решения к тому, чтобы принять мысль, что событие А оставляет мнемонические следы, которые замещаются чем-либо, когда наступает событие В. Даже опустив, что таким образом мы наделяем память способностью искусственно растягиваться, речь здесь идет всего лишь о псевдоразделении, поскольку, какова бы ни была природа следов А, необходимо, чтобы в сознании уже существовало предчувствие наступающей последовательности, дабы иметь

возможность в таком случае объяснить наличие этих следов *рядом* с В в аналогичном поперечном срезе сознания, как принято говорить; но В + следы А сами по себе не могли бы стать поводом для появления идеи о последовательности. Конечно, допустимо обратиться к сфере воспоминаний. Но в своем сознании мы не сможем найти ничего из наших воспоминаний, потому что в жизни последовательность двух событий, а также и переживаемые воспоминания, чаще всего относятся к более удаленному прошлому, выступают в качестве пустого интервала между событием, о котором мы вспоминаем, и настоящим, которому оно противопоставлено, словно они не применимы к «нынешнему» прошлому, если можно так сказать, включающему в себя незамедлительную последовательность.

Со своей стороны, в этой проблеме я не вижу ничего, кроме выражения иррационального характера последовательности как временного феномена. Умозаключение, приводящее к этой идее, на самом деле — всего лишь одна из попыток применить к понятию времени постулаты мышления, что, как мы уже видели ранее, в конечном итоге приводит к пониманию того, что время содержит противоречие внутри себя. Если я не ошибаюсь, главная идея всех этих ложных умозаключений состоит в попытке добавления к феномену времени *отрицания*, которого, по сути своей, оно не может содержать. Проживаемая последовательность — это вовсе не отношения между тем, что есть, и тем, *чего нет*. Такое отношение, как, впрочем, и любые другие отношения временного порядка, *появляется*, только когда мы хотим подчинить его разуму, а отрицание, добавленное к понятию времени, — лишь выражение неудачи, к которой, в конце концов, и приводят подобные попытки. Стоит сделать такую подстановку хотя бы раз, чтобы собственными глазами увидеть все псевдопроблемы, добавленные к понятию времени; в результате, каким же счастливым можно почувствовать себя, решая потом эти проблемы, используя, как *deus ex machina*, память в качестве посредника, своего рода рационального механического аппарата, в чем опорой становится приведенный ранее элемент — отрицание. В такой ситуации психологи обращаются за помощью к натуралистам, они рассматривают память как первичную функцию психики упорядоченной материи, порождающей сознание, которое, в частности, воспринимается как генератриса понятия времени.

Все, что было только что сказано по поводу последовательности, может быть подвергнуто *mutatis mutandis* по отношению к феномену движущейся длительности. В данном случае достаточно разложить

эту длительность на серию мгновений, следующих одно за другим. Но не будем настаивать на этом далее, дабы избежать ненужного повторения.

В. — Теперь перейдем ко *второй грани*, а именно — к характеристикам, которые возникают у нас перед глазами, когда мы намеренно сильно влияем на признаки «бытия единства и множества» и пытаемся определить их мышлением.

Естественно, после определения последовательности как отношения между тем, что есть, и тем, чего нет, мы можем представить себе целый ряд последовательностей, вновь приходя к идее калейдоскопа. Но на самом деле все происходит иначе. Если, совершая простое действие, я попытаюсь определить или представить себе проживаемую длительность либо последовательность, они обе, по причине их мобильности и временного характера, укроются от такой моей попытки. Становление никоим образом не поддается требованиям бытия. При этом наша неудачная попытка не ощущается нами просто как «неудача», как нечто, что невозможно осуществить, как нехватка средств. С позиции становления, такая неудача обладает особым оттенком, иначе говоря, имеет положительное содержание; для нас она выражена в форме феномена, именуемого *непрерывность становления*.

Будет верно, если мы попытаемся определить через мышление конкретные события с их временными характеристиками. Они ускользают и исчезают. Но, каким бы парадоксальным это ни казалось, время не может исчезнуть полностью. Мы далеки от того, чтобы испытывать смятение от такой головокружительной скорости любого из его элементов; напротив, мы можем видеть, как время *развертывается* перед нашими глазами, видим, как становление выходит за пределы, бесконечно обгоняет любую проживаемую длительность и любую последовательность, которые мы пытаемся определить, не сокращая их до «ничто», как это происходило в соответствии с принципами разума, не сокращая бесконечно огромное до невероятно маленького, а *продолжая* их, каждый раз начиная сначала. Именно сейчас мы обнаруживаем простое значение феномена *проживаемой непрерывности*, он становится понятен нам, становится правдоподобным.

Иначе говоря, по мере того как последовательности непрерывно продолжаются, мы наблюдаем не калейдоскоп или зыбучие пески, а, наоборот, отмечаем возникновение факторов *подобия, постоянства, протяженности, согласованности*, я бы даже сказал — *однообразия*, которые возникают оттуда и проникают, причем абсолютно бесконфликтно, в становление. Подобная монотонность,

возможно, однажды приведет к тому, что жизнь предстанет перед нами в серых тонах и нам будет казаться, что каждый следующий день в точности похож на предыдущий. Однако сейчас речь идет об отдаленных последствиях. Этот момент для нас с вами наступит нескоро, мы не испытываем скуки и уж тем более тревоги, о которой говорилось в теории калейдоскопа, мы чувствуем умиротворение, им наполняются наши души, когда мы ощущаем непрерывность становления. Находясь внутри этой непрерывности, мы вполне довольны, нам очень удобно так жить; а упомянутое чувство безопасности и умиротворения, по сути, соответствует среднему темпу нашей жизни относительно времени, практически доказывая тот факт, что, рассмотрев все нюансы, нам удалось точно определить истину.

Теперь мы можем перейти к более конкретному анализу. Когда речь идет о процессе восстановления двух прошедших событий, прежде всего мы максимально живо воскрешаем в памяти картинки этих событий, но у нас нет возможности таким же образом восстановить в памяти отношения последовательности, которые их связывают между собой; эти отношения мы можем пережить вновь, воссоздать, так сказать, подумав про себя, например: «Сначала было А, и только потом В», — либо применяя любые подобные схемы. Если мы пытаемся восстановить прошедшую последовательность, нет ничего проще: нужно лишь пережить новую последовательность, а это реально делать сколько угодно раз. Ничто не может этому помешать, ибо *живая* последовательность всегда при нас, причем она выступает не как изолированная и конкретная, а как нечто, способное проявляться при необходимости; именно так возникает представление о непрерывной повторяемости, о непрерывности, движимой временем.

Феномен непрерывности, безусловно, сближает нас с пространством. Но это всего лишь сближение и никак не совпадение. Проживаемая непрерывность вовсе не является примером динамизма. Дело в том, что мы ее проживаем не как явление само по себе, а скорее как видим. У нас в распоряжении нет установленной непрерывности, мы распоряжаемся только временем, которое непрерывно движется и обновляется через свои составляющие.

Точно так же, если бы непрерывная повторяемость навела нас на мысль упорядочить непрерывность по количеству элементов, то они не могли бы полностью слиться, поскольку ни один элемент из всего этого предполагаемого множества не определен достаточно для того, чтобы дать нам возможность сосчитать все элементы: каждый из них всего лишь непрерывно движется перед нами, отсюда и возникает

идея о множественности, но в то же время это подчеркивает их скоротечный и эфемерный характер. Ни один из элементов не мог бы служить естественной точкой отсчета, чтобы посчитать остальные.

Подведем итог.

Между становлением и бытием, между временем и пространством в нашу жизнь один за другим приходят феномены пространственно-временного порядка. Эти феномены объясняют нам самым простым способом, почему и каким образом возникает мышление, они могут ассимилировать время и пространство.

Феномены, изучаемые до настоящего момента, образуют словно *два* звена между временем и пространством; это — продолжительность и проживаемая последовательность, с одной стороны, и проживаемая длительность — с другой.

Я с удовольствием признаю, что в нашей жизни, наполненной гармонией, все эти разные звенья проникают друг в друга. Чтобы различить их, необходимо абстрактное усилие; но без такого усилия мы не могли бы ничего сказать о времени и ничтожно мало знали бы о прочих феноменах. Кроме того, кажется, бессмысленно пытаться уточнить, какое же из этих звеньев следует выделить, какое из них относится ко времени, а какое — к пространству. Мне так и хочется сказать: это, скорее всего, вопрос вкуса. Думаю, все мы могли бы начать с определения длительности, чтобы из него вывести последовательность и продолжительность, позволив ей сжаться до этих феноменов, — подобно тому, как начали изучение с продолжительности и последовательности, чтобы позволить им проявиться в длительности. Основная часть наших рассуждений базируется не только на представлениях о том, где размещены эти два звена, но в большей степени на условиях, подтверждающих, что их на самом деле *два*.

Связь, объединяющая эти два звена, представляет собой особый принцип, который мы обозначили как *принцип раскрытия*.

Идею о наличии *двух* звеньев мы встречаем и в работах П. М. Жане¹¹. Только он это представляет в несколько ином аспекте. П. М. Жане рассматривает проблему времени под несколько иным углом, чем я. В первую очередь в исследовании П. М. Жане речь идет об *изменениях видов поведения во времени*. В данном случае интересным для нас является тот факт, что П. М. Жане описывает *два* звена, используя термины «*неустойчивая*» и «*устойчивая*» форма времени.

¹¹ Janet P. M. *L'Evolution de la mémoire et la notion du temps*. Paris, Maloine, 1928.

Позволю себе кратко изложить его концепцию.

Рассматривая вопрос памяти, М. Жане вовсе не основывается на традиции, из-за чего возникает две точки зрения. Во-первых, он в этом не видит ни первичного феномена, ни отправной точки всех изменений понятия времени; он определяет память как чувство продолжительности, к которому оно может присоединиться только в ходе разнообразных изменений, правда, лишь претерпевая различные улучшения. Кроме того, для М. Жане память — это всего лишь способность сохранять, воспроизводить и узнавать; она представляет собой то простое бессознательное повторение действий, которое предшествует формированию склонностей и привычек у животных. На самом деле имеет место совершенно другой процесс. Память, в прямом смысле слова, присуща исключительно человеку и представляет собой особый вид поведения, тесно связанный с функциями речи, а также — с умением *рассказывать*. Основы ее мы обнаруживаем в социальном типе поведения, формирование которого началось с момента, когда человек осознал все выгоды того, что часовых он может размещать не в самом лагере, как поступают животные, живущие в группах, но *за пределами лагеря*; такой тип поведения, безусловно, требует способности предупреждать *отсутствующего* об опасности *в устной форме* либо каким-то образом отдавать ему приказы.

Получается, что умение *рассказывать* — это простейший механизм памяти. А в ходе эволюции данный механизм все более и более усложняется. Из него в первую очередь возникает способность *составлять описание*, суть которой не только в передаче простых приказов отсутствующему, но и в оценке складывающейся ситуации.

При этом умение рассказывать и описывать относится к простейшему виду памяти, так как основывается на объектах, которые *могут длиться*. Таким образом, в первых проявлениях памяти отсутствует понятие исчезнувшего прошлого. Но память продолжает развиваться, и возникает способность *составлять рассказ*. Данная способность основана на воспроизведении *исчезнувшего прошлого*, понятие, которое человечество открыло в ходе длительной эволюции, понятие, которому все сегодня безропотно доверяют, хотя даже оно спорно.

Скорее всего, первые составленные рассказы — это рассказы о победах, которые могли быть восприняты обычными слушателями, испытывающими чувство гордости и радость успеха, как если бы они сами были победителями. Этим и объясняется столь парадоксальное на первый взгляд обстоятельство, что в ряде случаев возникает некоторая *необходимость* подумать о чем-то несуществующем, а конкретно в данной ситуации — об исчезнувшем прошлом.

Основная задача рассказа — заставить живущих сейчас людей испытать те чувства, которые они могли бы испытать, если бы сами присутствовали при событии; значит, рассказ должен быть составлен соответствующим образом. Для этого в первую очередь нужно научиться располагать в рассказе события в соответствии с хронологическим порядком. При таком противопоставлении исторических и хронологических фактов возникает основной фактор: временное отношение между «до» и «после», которое и станет отправной точкой нового этапа значимого развития в изучении памяти и времени.

Здесь обозначен один очень важный этап эволюции памяти. Когда мы изучили отношения «до» и «после», когда узнали об упорядоченном объединении и хронологической последовательности событий, это открытие показалось нам столь забавным и стимулирующим воображение, что мы принялись развлекать себя составлением рассказов, чтобы впоследствии поведать их окружающим. Тут мы обнаруживаем причины возникновения *игр воображения и мифов*, которые часто встречаются у детей и среди примитивных народов.

Так память, простейшим образом связанная с действиями, постепенно превращалась в игру, поскольку составление рассказов — это не всегда простая задача, а далее она стала *неустойчивой*, все более и более укрепляясь в этой неустойчивости. Таким образом, игра воображения — это стадия памяти, развитая внутри нее самой.

Изначально может показаться, что речь здесь идет об общем правиле, тесно связанном с эволюцией человеческого поведения. Точно так же речь, тесно связанная по механизму возникновения с действием, стала впоследствии, в силу своей стимулирующей функции, игрой, видоизменившись до умения общаться, что, по сути, кроме выполнения стимулирующей функции, не имеет никакой пользы. Однако речь не могла довольствоваться подобной неустойчивой формой, поэтому возникло *утверждение*, которое снова смогло связать ее с действием и вновь наделило устойчивостью.

Что же касается памяти, то стадия, связанная с игрой воображения, для нее является всего лишь промежуточной; память не могла бы подчиниться новой практике, не могла бы не выйти из зоны неустойчивости, куда ее поместила способность играть с воображением. И здесь понятно, что она достигла своей цели. Отношение между «до» и «после» полностью относительно, ибо любое «до» могло быть «после» по отношению к другому «до»; именно такая относительность и стала основой для игр воображения. Чтобы избавиться от нее, в обязательном порядке необходимо ввести абсолютную величину, своего рода границу, относительно которой

было бы возможно ранжировать однозначным способом прошлое и будущее. И только таким образом можно вывести понятие *настоящего*.

Следовательно, неверно видеть в «настоящем» совершенно ясное и данное понятие, так как это понятие возникло значительно позже в процессе эволюции памяти и является чем-то с очень сложной структурой. «Настоящее» для памяти — то же самое, что «утверждение» для речи.

Теперь важно определиться, что же такое на самом деле «настоящее». Ранее было сказано, что оно является действием, которое происходит в настоящем. Это верно, но этого недостаточно. Все живые существа совершают действия, но не все способны представить себе настоящее; к примеру, мы можем выполнять огромное количество действий, не говоря себе, что совершаем их именно в настоящем. Получается, не существует способа, чтобы отделить настоящее от простого действия.

Когда я говорю: «это мое настоящее», — я всего лишь составляю рассказ о себе самом либо о ком-то еще, о своих действиях в тот самый момент, когда что-то делаю. Таким образом, *настоящее — это составление рассказа о действии, которое мы совершаем, в тот самый момент, когда выполняем его*. Настоящее — это особый акт, объединяющий способность составлять рассказ и действие. А так как настоящее частично включает в себя составление рассказа, то оно в обязательном порядке связано и с феноменами памяти. Это может показаться парадоксальным: каким образом поместить память в настоящее и зачем рассказывать о действии в момент его совершения? Однако именно в данном месте мы и нуждаемся в действии, позволяющем объединить в одну единую историю настоящее, прошлое и будущее, которые по отдельности являются лишь подборкой сочинений и фантазий. Настоящее вновь делает память более *устойчивой*, перемещая ее в область практических действий.

Итак, настоящее представляет собой сложное комплексное действие. Например, больные, которые боятся испытать боль, опасаются настоящего и предпочитают жить в прошлом, или еще лучше — в будущем, строя планы и не задумываясь о том, как их осуществить. Аналогично, психически неполноценные люди часто обладают фантазийной памятью, в которой присутствуют прошлое и будущее, но нет настоящего; они прекрасно живут без него, их это совершенно не беспокоит. Подобные факты еще раз подтверждают идею¹², что настоящее — сравнительно раннее приобретение, а вовсе не простой естественный процесс.

¹² П. М. Жане постоянно отстаивал данную точку зрения. Хочу напомнить, что он говорил по этому поводу еще в 1903 году в своей работе «Навязчивые состояния и психостения» («*Les Obsessions et la Psychasthénie*»), добавив лишь, что здесь идет речь о тех понятиях, которые мы не затрагиваем:

Возвращаясь к теории памяти, на сегодняшний день мы выделяем два вида памяти: первый — *фантазийная память*, в которой все относительно, прошлое и будущее не привязаны ни к какому настоящему, в силу чего проявляют себя подвижно; второй — *устойчивая память*, определяемая при помощи основной операции через образование настоящего, которое такая память обязана учитывать; ограниченная, так сказать, этим требованием, *устойчивая память* всегда, в большей или меньшей мере, более узкая, но именно она тесно связана с реальным временем во всем своем многообразии.

5. Становление и «бытие как элементарная составляющая всего». Сейчас и настоящее. Гомогенизация

В предыдущем разделе мы решили принять за точку отсчета свойства «бытия единства или множества». Теперь давайте обратимся к свойству «бытия как элементарной составляющей всего».

Спроецированное на «становление», данное свойство указывает нам на наличие феномена «сейчас».

«Сейчас» — это феномен временного характера; а если более конкретно: мы постоянно проживаем какую-то простейшую часть времени.

Совершенно очевидно, что мы не ограничиваемся только «сейчас», когда пытаемся разделить время, как могли бы поступить с любым растягивающимся объектом. «Сейчас» включает в себя многое другое, так как является основным элементом в связке время–качество. Кроме того, оно не имеет ничего общего ни с самым маленьким

«Конечная грань подобной функции реальности, та, что, вероятно, объединяет все предыдущие, представляет собой мыслительный процесс, который, к сожалению, очень мало изучен — строение времени, *формирование в сознании настоящего момента*. Время не предоставлено мышлению в готовом виде; чтобы его показать, достаточно изучить, каким образом время представляют себе дети и больные люди. Тот данный момент — недоступная точка, как говорят математики, не имеет ничего общего с понятиями, о которых мы здесь ведем речь. С позиций психометрии, настоящее — это частота, равная одной десятой секунды, что тоже не совсем соответствует нашему о нем представлению. Истинное настоящее для нас — это действие, состояние определенной сложности, которое мы можем охватить в определенном состоянии мышления, несмотря на его сложный состав и действительную продолжительность, более или менее долгую... Существует одна особая мыслительная способность, назовем ее, введя новое слово — *презентификация*, которая состоит в том, чтобы соотносить настоящее с состоянием мышления и целой группой феноменов».

измеряемым отрезком времени, какой мы можем себе представить и заметить, ни с бесконечно малой величиной, которую рассматривают в теоретической физике. В обычной жизни оно постоянно представляется нам как простейшая частица времени. Она остается неделимой, но не потому, что не поддается делению, а потому, что вопрос о ее разделении просто не имеет смысла поднимать.

Применяя дискурсивное мышление, не составит труда показать, что «сейчас» противоречиво по своей сути. «Сейчас» предстает перед нами как элемент времени, и это верно, но оно также содержит особый акцент, который способен превратить его, как мне кажется, в синоним понятия «существование»: ведь существует только «сейчас», тогда как все, чего нет сейчас, не существует; таким образом, «сейчас», будучи составной частью всего, не позволяет существовать рядом с ним никакой другой аналогичной части, но может заменить все что угодно.

Параллельно с этим, основываясь на постулатах, позаимствованных из теории пространства, легко доказать, что «сейчас» не может быть прожито как какая-то часть времени; чтобы разглядеть в пространстве образ, необходимо сначала увидеть его очертания, а затем (и не будет ли это лишь след близлежащего поля?) применить ко времени. Точно так же утверждение, что мы живем только внутри «сейчас», не является правдой и, не сомневаюсь, должно казаться невозможным, даже абсурдным.

Традиционная психология поторопилась принять данную точку зрения на вооружение; понятие «сейчас» она по-прежнему рассматривает в контексте памяти, по примеру игры со шкатулочками, вставляемыми одна в другую, когда все, что есть в жизни, словно проходит через «сейчас». Но на самом деле это не так.

Безусловно, случается, что мы обнаруживаем «сейчас» как нечто, что недавно предшествовало ему, и нечто, что должно следовать за ним, а речь — эти знания я получил благодаря образованию моего товарища Пиншона — способна самым невероятным образом отображать иррациональный характер времени и совершенно ничем не ограничена в употреблении выражений «сейчас я уже сделал» или «сейчас я буду делать». Но в данном случае мы говорим о принципиально разных отношениях, которые учитываются в пространственном мышлении; здесь мы не обнаруживаем следов ни воспоминаний, ни предвидения, в прямом смысле этого слова, ни, в общем-то, ничего, что можно было бы трактовать как границы или очертания «сейчас»; так и в жизни: четко осознавая, что настоящее уходит, мы

на самом деле не можем определить, когда оно становится прошлым; кроме того, маловероятно, что мы заметим, как будущее прорывает границы настоящего.

Расхождение между дискурсивным прошлым и феноменом «сейчас», расхождение, примеры которого мы только что привели, для нас — и понять это достаточно легко — не что иное, как выражение временного характера данного феномена. Но не стоит на этом акцентировать внимание. Сама жизнь отлично приспособлена к такому несоответствию. Последуем ее примеру, не станем задерживаться на этой псевдопроблеме, давайте посмотрим, как принцип распространения проявляет себя по отношению к «сейчас».

Если мы попробуем представить себе или определить это «сейчас», то у нас ничего не получится; оно промелькнет перед нашими глазами, но в то же время мы увидим его как нечто, разворачивающееся перед нами, освобождая место другому феномену, у которого, конечно, много общих черт с «сейчас», но есть и существенные отличия. Здесь я имею в виду *настоящее*.

«Сейчас» погружается в «настоящее» и полностью растворяется. Но «настоящее» не становится в данном случае «не сейчас»; некоторые черты «сейчас» остаются в нем. Просто это «сейчас» раскладывается на части.

«Настоящее» содержит в себе продолжительность и протяженность. И я не смог бы определить, ни где оно начинается, ни где заканчивается, я даже не смог бы определить его границы, которые, в отличие от «сейчас», имеют нечто струящееся, тягучее, эластичное. «Настоящее» для нас — это, в зависимости от обстоятельств, и настоящий момент (сейчас), и сегодня, и настоящий период, и все остальные формы настоящего, которые, кажется, вкладываются друг в друга, но при этом все же зависят от понятия «проживаемого настоящего».

Получается, что в состав «настоящего» больше не входит тот драматический момент, который мог бы охарактеризовать, особенно в нашем мышлении, понятие «сейчас». Здесь больше не возникает вопрос «быть» или «не быть». Это больше не вершина горы, где может закружиться голова, это — равнина, где мы чувствуем себя комфортно. «Настоящее» не настолько резкое, уникальное и конкретное; по сравнению с «сейчас» оно скорее намного более спокойное, более *однородное*, более умиротворяющее. Мы можем позволить себе жить в настоящем.

Чтобы охарактеризовать переход «сейчас» в «настоящее», нам захочется поднять вопрос о *гомогенизации*, обозначив, таким образом,

особую форму, под видом которой в данном случае проявляет себя принцип распространения. То, что мы понимаем под этим термином, как мне кажется, вытекает из всего, что было сказано выше. Качественные характеристики протяженности и вместе с тем однородности, как представляется, имеют общий смысл, применяемый к «настоящему», когда мы сравниваем его с «сейчас». Такая гомогенизация может быть, если я не ошибаюсь, подчеркнута и далее. «Сейчас», как мы уже заметили, имеет тенденцию достигать в какой-то мере абсолютной величины и сводить на нет все, что к нему не относится; оно проявляет способность объединить в одно целое самую близкую часть ближайшего «до» и ближайшего «после». «Настоящее», в свою очередь, является полной противоположностью «не настоящему» и находится с ним на одном уровне. То, что сейчас *существует*, и то, что не сейчас *не существует*, как мы говорили выше. Не может быть и речи о том, чтобы создавать подобные противопоставления для «настоящего». Кстати, для самого «настоящего» возможность утверждать его существование уже не кажется, в силу его растяжимости, такой очевидной, как в случае с «сейчас»; с другой стороны, когда мы рассматриваем «не настоящее», то делаем это вовсе не с целью показать, что оно не является «настоящим», а для того, чтобы обозначить, что оно им было или еще будет. Получается, здесь нет категорического противопоставления, зато еще более заметно различие между разными формами существования, а именно — между формами «настоящего» и «не настоящего». Прошрое, из которого появляется настоящее, не совсем то, что исчезло навсегда, но и не то, что существует *в прошедшем*; либо, если вам не нравится данная формулировка, прошрое — это то, что некогда *было настоящим* и просто отступило назад. Точно так же происходит и с будущим. «Настоящее» и «не настоящее», таким образом, — это нечто *подобное, одинаковое, похожее*, они обладают общими особыми характеристиками «настоящего», это их и объединяет в одно целое. Прошрое и будущее не существуют только относительно настоящего и не имеют другого значения, как и настоящее может возникать только из прошлого, к которому оно примыкает, и, в свою очередь, в обязательном порядке должно породить будущее.

Здесь нами выявлено косвенное утверждение того, что было сказано ранее: мы все-таки можем *существовать* в прошлом, целиком погружаясь в воспоминания, аналогично тому, как существуем в настоящем. Кроме того — и это уже стоит запомнить, — учитывая постоянно изменяющиеся границы настоящего, мы все время

пребываем в процессе добавления к настоящему неопределенных отрезков прошлого. Так, с точки зрения феноменологии, восстановить в памяти то, что я делал вчера, означает для меня, помимо прочего, возможность определить, что с 16 до 18 часов я работал над данной книгой, а также ощутить, в процессе написания уже конкретно этой страницы, что работа, сделанная ранее, вместе с работой, выполненной сегодня, является для меня фактом настоящего, потому что относится к одной книге; аналогично происходит, когда речь идет о разнообразии чувств, которые мы испытываем относительно прошлого: например, когда рассказываем, что делали во время войны, и пытаемся вновь пережить то, что чувствовали тогда, одновременно все еще ощущая те испытания всеми фибрами своей души и понимая, несмотря на нахлынувшие чувства, что война уже в прошлом, что она больше не является частью нашего нынешнего настоящего. В данном случае мы затронули проблему, которая связана с феноменологией прошлого.

6. Становление и «получать направление».

Феномен порыва. Принцип деления и продолжения

Противопоставив «становление» и понятие направления, мы открыли для себя *феномен порыва*. Я бы в равной степени употреблял термин «жизненный порыв», однако не старался бы отнести его, как минимум сразу, к сфере биологических фактов.

Жизненный порыв создает для нас будущее, и делает это именно он.

В жизни все, что имеет направление во времени, имеет и порыв, продвигается вперед, стремится к успеху в будущем.

Точно так же, подумав об определении направления во времени, я ощущаю неудержимый толчок вперед и вижу, как будущее раскрывается передо мной. А тот факт, что я «ощутил толчок», ни к чему меня не обязывает; он совершенно не подразумевает, что какие-то внешние силы принуждают меня смотреть вперед и стремиться к успеху, двигаясь в этом направлении; нет, он имеет совершенно иное значение: он свидетельствует, что совершенно спонтанно и изо всех сил, всем своим существом я стремлюсь в будущее, ощущая при этом всю полноту жизни, которую способен проживать в данных условиях.

Но и это еще не все. Вместе с желанием двигаться по направлению к будущему возникает немедленная потребность стремиться к успеху, идя в том же направлении, а все, что существует вокруг меня, тем

или иным образом связано со временем, то есть, при последующем рассмотрении, и с вселенной в целом.

Становление влечет за собой могущественные, однако хаотичные и мутные потоки, способные потопить все на своем пути. И только благодаря жизненному порыву и за счет него становление получает способность быть необратимым и начинает иметь *смысл*.

Это вовсе не значит, что я обнаруживаю присутствие жизненного порыва у меня лично или у кого-либо еще, *и*, вместе с тем, наблюдаю аналогичное направление во вселенной. Здесь нет места *двум* различным действиям с моей стороны: здесь не может быть ни сравнений, ни аналогий. Кстати, я, как мыслящий объект, являясь точно определенной личностью, на самом деле принимаю участие в незначительном количестве дел в данном утверждении. Оно, по сути своей, имеет скорее общее значение; здесь мы обнаруживаем только феномен жизненного порыва, который содержит в себе утверждение, что как только или когда он полностью выполнен, то и становление начнет движение в том же направлении. Иначе говоря, тезис «я продвигаюсь вперед, *и* в то же самое время мир развивается» неправомерен, но допустимо: «я продвигаюсь вперед, и мир развивается»; эти два высказывания вовсе не одно и то же. Естественно, если мы противопоставим «я» и «мир», то нам по здравому размышлению кажется, что жизненный порыв разделяется на две, четко выделенные части; однако в действительности есть только один порыв, который, возможно, и способствует возникновению только что отмеченного противоречия, хотя он один, единственный в своем роде. Здесь, кстати, мы обнаруживаем особенность, характерную для элементов системы время–качество. Продолжительность и последовательность, «сейчас» и «настоящее» остаются неизменными как для меня — мыслящего объекта, так и для вселенной, незамедлительно объединяясь в одно целое.

Жизненный порыв создает для нас будущее, и делает это именно он, говорили мы чуть выше. Однако было бы не совсем верно утверждать, что мы *знаем* о существовании будущего *и* что именно на это будущее направлен наш порыв. Нет, это не так. Будущее и жизненный порыв настолько тесно связаны друг с другом, что на самом деле представляют собой единое целое. Именно жизненный порыв подводит нас к пониманию существования будущего, он наделяет его смыслом, создает и открывает перед нами то будущее, о котором мы, наверное, кое-что *знаем*, но, как оказывается, знаем очень мало.

Захотеть закончить работу завтра до пяти часов и вместе с тем увидеть перед собой, через жизненный порыв, все необъятное

будущее — совершенно несравнимые вещи, они очень далеки по сути своей, думаю, нет необходимости убеждать вас в этом — все очевидно.

Жизненный порыв не может быть сведен до уровня проявления воли или намерения двигаться к какой-то конкретной цели, невозможно и приравнять его к комплексу волевых решений или конкретных целей, которые возникают одна за другой с течением времени. Порыв размещается выше их всех и даже руководит их появлением, при этом он всегда в поиске, в постоянном поиске цели или целей, которые позволяют ему создавать что-то конкретное. По своим первичным свойствам он *неопределенный и повсеместный* (основываясь на этом, я и посчитал возможным говорить о «порыве к...»); он является формой и обязательной составной частью любых видов деятельности, а также создает атмосферу, без которой никакая деятельность не была бы доведена до конца. Более того, жизненный порыв вовсе не истощается, когда та или иная цель уже достигнута, сколько бы ни было этих целей и как бы сложно ни было их достичь, потому что, как только эти цели достигнуты, то есть, как только они начали относиться к прошлому, жизненный порыв, все так же, с неизменной силой, совершенно не уменьшившись, движется вперед и вновь создает перед нами будущее (не из нашего мышления, но из самой нашей жизни и даже из жизни в целом).

Безусловно, такой подход идет вразрез с традиционным образом мышления. В рамках традиционной парадигмы за точку отсчета принимают конкретные отношения. Но разве это правомерно? То, что мы привыкли обозначать как «общее и абстрактное», чаще всего является наиболее простым и находится ближе к нам, чем так называемое «конкретное». Не правда ли: то, что должно восприниматься нами в качестве «конкретного», является одновременно и тем, что делает его понятным?

И это, пожалуй, не единственный пункт, по которому у нас возникают разногласия с традиционной психологией, принимающей за отправную точку ощущения, восприятия и представления; если же возникает вопрос о феноменах, наделенных чертами времени, в психологии в первую очередь говорят о памяти. В таком случае, будущее рассматривается лишь как изображение прошлого, воспроизведенное перед нами, потому что первичное действие, благодаря которому мы оказались в будущем, — это *предвиденье*. Идеальным, при таких условиях, было бы предвидеть абсолютно все. Между тем, античные мыслители утверждали, что божественным даром является вечная возможность познавать, и мы до сих пор верны этой идее. Правда

в том, что мы бы предпочли быть в вечном поиске истины. Отсюда следует, что феномен, который простейшим образом определяет фактор направления в проживаемом времени, это вовсе не память, поскольку память представляет собой нечто, воспроизводящее информацию, но при этом она в любом случае *ограничена*, ибо привязана к тому, что было в действительности. Этот феномен — определенно порыв, так как по своей природе он *безграничен*, способен создать и открыть нам во всем своем многообразии все перспективы будущего. Будущее вовсе не основано на сложившейся картинке прошлого в памяти, напротив, именно будущее, истощаясь, создает реальную картину прошлого. Едва ли возможно заставить возникнуть нечто расцветающее и богатое из того, что было истощенным и застывшим на месте. Однако, как мы уже могли заметить, прошлое вовсе не выглядит чем-то существующим в нашей памяти в примитивном виде, скорее даже наоборот; более того, невозможно постичь будущее, не добавив в него порыв, влекущий нас вперед.

Такие отношения стали понятными только после изучения того, как мы *живем*, а также нашего настоящего и будущего. Здесь, полагаю, полезным будет подчеркнуть изначальную *асимметрию*, которая возникает в жизни как раз между прошлым и будущим. Безусловно, проживаемое будущее предстает перед нами в более примитивной форме по сравнению с прошлым. Именно проживаемое будущее привносит в нашу жизнь некий фактор творчества, который, кажется, отсутствует в прошлом и, таким образом, противоречит всем аналогичным феноменам памяти. Кстати, такие же феномены не существуют и для будущего, даже недопустимы. В действительности никто из нас пророком не является, а если бы кто-то и был таковым и обладал способностью все предвидеть, то это бы вовсе не означало, что он знает все и обо всем, как нам того хотелось бы; в такой ситуации различия между прошлым и будущим стерлись бы, а нам пришлось бы задержаться в своем порыве, и мы оказались бы за пределами проживаемого времени.

Из всего вышесказанного четко вырисовывается *иррациональный* характер жизненного порыва. Тем не менее, мы можем определить его еще более четко.

Когда речь заходит о конкретных событиях, происходящих в пространстве, нам хочется знать направление движения, определить конечный и начальный пункты. В качестве примера рассмотрим поезд, который выехал из пункта А в пункт Б. Направление жизненного порыва не может соответствовать аналогичным условиям. Это не

простой порыв, «выходящий из...», это порыв, «идуший по направлению к...»; более того, двигаясь по направлению к будущему, он на своих крыльях уносит нас к неведомым землям и, в силу *неясных* для нас причин, дает нам возможность прикоснуться, если так можно выразиться, к тому, *чего нет* сейчас, к тому, что, возможно, однажды будет. Достаточно всего лишь, чтобы что-то произошло, и тут же порыв может изменить направление, ибо его направление всегда нацелено в будущее. Давайте в качестве примера рассмотрим отдельное волеизъявление: если мы стремимся к какой-то цели, то этой цели, поскольку мы только пытаемся ее достичь, *здесь нет*; однако речь идет о цели, которая полностью нас захватила, и мы всем своим существом добиваемся ее, следовательно, мы с ней находимся в некоторой степени в очень близких отношениях.

В таком случае, безусловно, мы хотим избежать трудностей, поэтому пытаемся *представить* себе эту цель. Но ведь мы стремимся не к представляемому образу, а к *осуществлению* своего желания, что и является нашим порывом, коим никак не может быть то, что вопреки здравому смыслу способно преобразовать представление в *цель, которую нужно достичь*, когда нам будет казаться, что «представления» (то есть нечто, что мы представляем себе, но чего нет) служат точкой отсчета для возникновения волевых желаний. Что же касается порыва, направленного к будущему, то он, с учетом его формы, совершенно не обладает способностью изображать через себя предметы. Между тем, всегда существовал творческий порыв, ностальгический и очень мощный, способный охватить горизонт, но не дающий никаких точных изображений.

В этом и заключается иррациональный характер порыва, «ведущего к...», — выражение, которое появилось для того, чтобы обозначить феномен временного порядка.

Однако, как таковой, он должен иметь еще и обратную сторону. Сейчас мы попробуем разобраться с ней.

Пространственное представление об объекте, движущемся из точки А к точке Б, как мы уже говорили ранее, оказывается неизмеримым. Но это его всего лишь раздвигает. А то, что ему служит в качестве оси координат, если можно так сказать, помогает ему распространяться и протягиваться. Когда я попытался наделить жизненный порыв более рациональными чертами, представить его не как какой-то порыв к какому-то Х, а как порыв от А к Б, я смог увидеть, как он раскладывается на части, распадается, распространяется прямо у меня на глазах. Он разбивается на фрагменты, подобные участкам пути,

при этом окончание одного является началом другого. Порыв, «ведущий к...», — это неопределенный феномен общего порядка; он сокращается и распадается во времени на отдельные порывы, каждый из которых, как мне кажется, стремится к своей конкретной цели и в то же время следует один за другим, выстраиваясь в прямую линию. Тем не менее — что стоит запомнить, так как именно на основании этого еще раз можно доказать особый характер изучаемого феномена, — рассмотрев его лучше, мы видим, что ни один из его участков не может быть отделен от других и не является полностью независимой единицей; кроме того, все эти единицы, собранные вместе, не могут быть приведены к сумме единиц одного порядка. Это значит, что отдельные порывы сменяют друг друга с не известной нам последовательностью, могут *двигаться друг за другом*, выстраиваться в *логические* цепочки, образовывать *структуры, картины* — именно такой феномен последовательности или структурирования и кажется нам более значимым по сравнению с его составными частями. Понятия «последовательности» и «выстраивания в цепочки» мы можем выявить только после рассмотрения отдельных фактов; само понятие намного проще присущих ему явлений, оно способно всего лишь представить среду, в которой они размещаются в определенном порядке. Жизненный порыв, безусловно, шире и выше этой среды, он руководит своими же целями, хотя представляется нам сжатым изображением, выступающим в форме разворачивания событий, как мы уже говорили ранее. Хочу уточнить: еще до того, как какая-либо цель будет полностью достигнута, мы уже демонстрируем стремление к другой цели. Всякая достигнутая цель является для нас просто одним из этапов в жизни, своего рода подготовкой для другого этапа; можно сказать, что это — своеобразная передышка в жизни, когда нам не надо выполнять задание, возникающее позже; иными словами, мы должны постоянно двигаться дальше. Однако в результате данной необходимости не возникает чувства отчаяния, для которого нужны абсолютно ненормальные условия, ибо на самом деле возникновение подобной последовательности целей и связанное с ней движение вперед являются проявлением силы, мощи, жизнеутверждающим фактом в чистом виде; именно через подобное непрерывное движение к цели жизненный порыв уносит нас на своих мощных крыльях вперед и только вперед, подальше от смерти. Даже если наши последовательные цели, собранные вместе, выстраиваются в одну прямую линию, эта линия не является прямой относительно пространства, это *наша собственная линия*, прочерченная именно нашей жизнью.

ГЛАВА II

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОГО ПОРЫВА

(Точки пересечения в становлении.

Принцип слияния за пределами

«я — мыслящий объект»,

или слияния по ту сторону личного)

1. Личный порыв

Именно жизненный порыв наделяет нашу жизнь смыслом. Как мы только что увидели, он состоит из всего самого значимого в жизни. Учитывая это, мне кажется совершенно естественным продолжить наши исследования в том же направлении.

«Я — мыслящий объект» проявляет себя именно в становлении. Но как становление осуществляет это? Данный вопрос подталкивает нас к анализу феномена: «я стремлюсь вперед и таким образом *до-стигаю* чего-либо».

В моих предыдущих исследованиях, имеющих нечто общее с этой главой, я употреблял выражение «пытается достичь» вместо «достигает». Сейчас я отдаю предпочтение более позднему варианту этого термина. Безусловно, пытаясь достичь цели, я могу столкнуться с непреодолимыми обстоятельствами, могу подвергнуться непредвиденным препятствиям, могу быть вынужден отказаться от своей задачи на полпути. В течение всего времени, что я работаю над этой книгой, мне периодически приходилось волей-неволей прерывать работу, и даже не раз; неоднократно я задавался вопросом: «А удастся ли мне вообще закончить ее когда-нибудь?»; и даже теперь, в процессе написания этих строк, я не совсем уверен, что смогу дойти до

конца. То есть я скорее пытаюсь достигать, нежели ничего не достигаю. Однако все приведенные факты имеют черты конкретного развития моей частной жизни. Они находятся в другой плоскости по сравнению с исследованиями, которыми мы здесь занимаемся. Феномен: «я стремлюсь вперед и таким образом достигаю чего-либо» намного проще, чем исследования. Это *жизненный опыт*, который дает нам возможность познать неудачи, умело использовать свои силы, измерять наши усилия. По сравнению с вероятными неудачами полученные положительные результаты будут восприняты нами как успехи; а ведь именно такие успехи ласкают наше самолюбие, а также, возможно, окажут услугу остальным. Но ни успехи, ни неудачи не могли бы существовать, если бы они не базировались на простом феномене: через мой порыв я утверждаю свое «я — мыслящий объект» и достигаю чего-либо; без подобной поддержки все это не случилось бы ни при каких обстоятельствах. В данном феномене достигать чего-либо — не является само по себе успехом или хотя бы положительным результатом; это всего лишь один из естественных и ведущих факторов, неотделимых от других. В какой-то момент моя жизнь может показаться мне полностью неудавшейся, но, тем не менее, возникнет необходимость утвердить свое «я — мыслящий объект», а также его реализацию в жизни, при этом феномен, который мы изучаем, по-прежнему будет живым перед нашим взором. Кстати, о неудаче: уж не является ли она, в конце концов, неудавшейся попыткой достичь чего-либо, тогда как само по себе понятие достижения вовсе не подразумевает попытку избежать неудачи? В любом случае, именно достигая чего-либо, а не просто пытаясь достичь, мы можем утвердиться как «я — мыслящий объект» относительно бесконечного и могущественного становления. По этой причине на данном этапе я предпочитаю более краткое «достигаю».

В психологии, безусловно, изучаемый нами феномен попытаются приравнять к понятию цели как объекта достижения, сравнив его с положительным ощущением, которое делает эту цель желанной; затем проведут аналогию с особым чувством напряжения, сопровождающим нашу деятельность, показав, как со временем, когда будут пройдены все промежуточные стадии, распределение видов деятельности, а по сути — набор составных частей уступает свое место другому набору составных частей, который на основании чувства расслабленности и совокупности факторов, связанных либо с ощущениями, либо с каким-то иным способом подтверждения

достигнутой цели, даст нам понять, что наше дело завершено. Может показаться, что в этой схеме учтено все, однако основное отсутствует. В ней не учтен личный порыв — тот порыв, что существует постоянно, создает становление и ни при каких обстоятельствах не будет, если не применять насильственные методы, зажат в рамки поперечного среза сознания; порыв, способный растягиваться, как дуга, над всеми срезами подобного порядка, которыми пытается заменить его пространственное мышление; этот порыв их консолидирует, наполняет жизнью, объединяет в одно неделимое целое, организует таким образом, что все вместе они представляют собой лишь стремление «я — мыслящего объекта», во всей его целостности, достичь цели. Именно этот порыв, а вовсе не что-то другое, мне бы хотелось изучить здесь. Поскольку жизненные феномены мы рассматриваем в рамках временного аспекта, позволим себе, так и хочется добавить «с превеликим удовольствием», все возможные отклонения от норм пространственного мышления и не дадим зажать нас в рамки поперечного среза во времени, ибо мне кажется, что его законы пытаются руководить нами всеми мыслимыми способами.

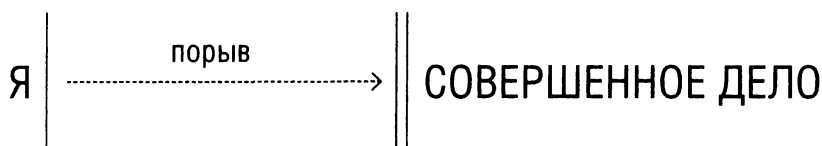
Отсюда следует, что мы вовсе не пытаемся *разделить на части* феномен, о котором ведем речь. Нас интересует в первую очередь то, что мы можем сказать о нем, приняв за основу феномены, описанные выше, особенно феномен жизненного порыва.

Кроме того, на мой взгляд, в предыдущей главе мы немного отделились от темы становления. В то время как, анализируя жизненный порыв, мы изучаем и направление во времени, и развертывание времени относительно этой оси координат, здесь нам важнее сделать более значимые акценты, показав, что «я — мыслящий объект» и совершенное дело существуют (именно с этой целью, излагая суть феномена, я выделил слова «я» и «*достигаю*»). На основании вышеизложенного кажется, что этот феномен гораздо теснее связан с *моей собственной личностью*; по сравнению с тем, что декларировалось ранее, все описанные феномены, в большинстве своем, имели значительно меньшее количество личностных характеристик. То же самое я сказал бы и о *личном порыве*, обращая внимание на тот факт, что для меня личностное ни в коем разе не является элементарной или более простой единицей по сравнению с безличностным, а скорее даже наоборот.

Методика изучения останется прежней, так как прежде всего мы попытаемся определить основные характеристики изучаемых

феноменов, приняв за точку отсчета рациональные характеристики, которые, по моему мнению, имеются у них, и далее противопоставим их становлению.

Вероятно, акцентируя «я» и «совершенное дело», мы получим дополнительное подспорье для того, чтобы отделить их друг от друга; теперь получается, что порыв движется от «я» по направлению к «совершенному делу», соединяя их между собой. Таким образом, мы незаметно приблизились к такой пространственной схеме:



Конечно же, эта схема — всего лишь подделка феномена, который мы описываем; личный порыв «я — мыслящий объект» во всей его целостности находится внутри порыва; точно так же совершенное дело в какой-то момент возникает внутри порыва и в нем же подготавливается в ходе всего своего движения вперед. Несмотря на безупречность, наша схема все же может нам кое в чем помочь: она позволяет выделить то, чем изучаемый феномен отличается от образа, которым его пытается наделить разум. Противопоставление «я — мыслящий объект» — «совершенное дело» и их слияние через порыв полностью погружены в становление; кстати, именно эту временную характеристику феномена мы и пытались вывести наружу, принимая в нашей схеме за точку отсчета поочередно «я», «совершенное дело» и наконец порыв, который их объединяет между собой.

Давайте начнем с «я». Но прежде хочу пояснить, что я в целом понимаю под принципом *слияния за пределами «я — мыслящий объект»*, или *слияния по ту сторону личного*.

Личный порыв, погруженный в становление, может существовать, только будучи обрамленным со всех сторон — и здесь мы обращаемся к пространственному изображению — каймой иррациональных критериев, далеких от того, чтобы стать в большей или меньшей мере возможным дополнением к нему во всей своей целостности, хотя, как кажется, они находятся выше порыва, что и является самой важной его характеристикой. Все, что живет, все, что способно проникнуть внутрь «я», пускает глубокие корни внутрь этой каймы, именно там находя истинные причины своего существования, и таким образом

сливается с самой жизнью. Для разума — это словно тьма; однако интуиция находит во тьме звезды. Становление — темная сторона для личного порыва, но она намного более светлая по сравнению с так называемым светом, который гордится своим отражением. Обладая огромным количеством подводных течений, неведомых и мощных, становление содержит в себе настоящий смысл жизни и смысл понятия «я — мыслящий объект». Именно благодаря всем течениям становления, через личный порыв возникает «я», переkreщаясь с ним; здесь вырисовывается изображение *точек пересечения*, точек, представленных в нашей схеме при помощи «я» и «совершенного дела». Вот эти точки пересечения мы с вами сейчас и изучим.

2. Сверхиндивидуальная характеристика. Параметры глубины и сфера бессознательного

Вернемся к вечному вопросу, послужившему нам путеводной нитью в ходе предыдущих рассуждений: каким образом личный порыв может существовать одновременно со становлением, которое, в свою очередь, удаляет из него все отличительные признаки или, выражаясь иначе, топит в своих потоках все, что встречается ему на пути? Здесь перед нами возникает эквивалент вопроса, будоражившего человечество во все века, а именно: как познать существование «я» относительно существования мира? Я употребляю термин «эквивалент», ибо, несмотря на внешнее сходство, в данном случае этот вопрос выступает в совершенно ином свете — не в области изучения *бытия*, а в области изучения *становления*. И это не совсем «я есть» или «я существую» относительно существования предмета или статичного мира, который представляет собой противоположность между внешним становлением и способностью проживать возникающую здесь собственную жизнь. Данный вопрос вовсе не связан с космосом, в большей степени это временная проблема. Посему в действительности у нас нет никакой необходимости решать ее; нам не нужно будет пытаться найти точное решение, используя метод умозаключений; нам не придется жертвовать «я» в пользу мира или миром в пользу «я»; но при этом мы будем все более и более поглощены феноменами жизни, предстающими перед нами, мы постараемся разгадать, несмотря на всю степень их сложности, место, на котором они расположены по отношению к возникшему вопросу.

Порой кажется, что ответ на этот вопрос напрашивается. Разве не бывает, когда мы в некоторых жизненных ситуациях, предаваясь

размышлениям, говорим себе, что «я», с учетом всех его способностей и достижений, на самом деле ничего особенного собой не представляет, если сравнить его с окружающим становлением? То самое ощущение «ну, и что теперь?», о котором мы упоминали ранее (глава I, § 3), в данном случае овладевает нами полностью. Больше никто из нас не является значимой составляющей, каждый — не более чем случайность; разве не так? Да, могли бы сказать мы, но только в *определенные моменты* жизни, и только *поразмыслив*. Продиктованное идеями смерти, основываясь на чем-то наподобие вычислений, в которых противопоставлено ограниченное количество деяний, совершенных в течение жизни индивида, более или менее короткой, за время его земного существования, определенного во времени и в пространстве, это размышление может стать причиной возникновения рассуждений о тщетности жизни. Однако подобные рассуждения не имеют ничего общего с естественными отношениями между жизненными феноменами. Вспомните, что я говорил по поводу порыва в будущее в предыдущей главе. На самом деле, путем некоторых операций, очень легко наполнить смыслом течение жизни, независимо от жизненного порыва, хотя исключительно он и наделяет жизнь смыслом самым простым способом, что рано или поздно приведет к противоречию между таким подходом и ближайшей информацией в сознании. То же самое происходит и здесь. Даже самый убежденный пессимист, при условии, что его позиция не является патологически нездоровой, все-таки пытается хоть что-то *сделать* со своим пессимизмом, пытается вывести его наружу, создать из него систему философских воззрений, которую можно передать остальным. Ведь в каждом из нас есть только одно простое желание — жить и действовать.

При рассмотрении в феноменологической плоскости мы также видим, что «я — мыслящий объект» очень интенсивно проявляет себя в мире. И делает это благодаря своему личному порыву. А что касается остального, то у каждого есть своя собственная манера проявлять себя, ибо вокруг всего этого существует становление. Если я определяю «я — мыслящий объект» как то, что развивается и проявляется через действия и творения (произведения), то станет очевидным, что мой личный порыв абсолютно не ограничен этим «я»; самым непосредственным образом он говорит мне, что у меня есть *роль*, которую мне необходимо исполнить, что я занимаю определенное *место* (конечно, здесь имеется в виду не в пространстве), что сам я являюсь выражением чего-то, что *значительно превышает* меня. Очевидно, у этой роли нет ничего общего с конкретной ролью, и, значит,

одна роль не может быть заменена другой. Все вышесказанное подтверждает сам факт «обладания ролью» в жизни, в общем смысле, ролью, словно изначально предназначенной мне, поскольку я принимаю в ней, как в таковой, какое-то участие, и она является составляющей частью моего личного порыва. Мой личный порыв никогда не бывает субъективным, собственно говоря, он никогда не исходит исключительно от меня и никогда не ограничивается только самим собой, потому что именно в этом порыве я ощущаю себя связанным с жизнью. Мой порыв является личным, это уже понятно, но он таковой ровно настолько, насколько превышает мою собственную личность, насколько содержит критерий *сверхиндивидуального*. Указанный критерий, несмотря на все его могущество, не только не разрушает и не подавляет мою личность, но и проявляет себя как истинная причина ее существования. При возникновении особо значимых обстоятельств в жизни и зная наверняка, что решения принимать именно мне, не испытаю ли я, где-то в глубине души, чувство, будто меня направляет какая-то неведомая сила, перед которой я ничтожен? Это подобно тьме, отражающей мое собственное изображение, когда она следует за мной и, как мы отметили ранее, оказывается намного более светлой по сравнению с тем, что принято считать светом. Позаимствовав выражение у Фрейда, но наполнив его иным значением, я с удовольствием позволю себе поговорить о *сверх «я»*, усматривая в нем не то, что может быть противопоставлено «я — мыслящему объекту», а нечто более значимое, чем «мое», если допустимо так сказать, рассуждая о «я». Когда я создаю произведение, которое мне кажется всецело личным, то есть когда мой «личный» порыв проявляется в своей самой чистой форме, не ощущаю ли я рядом с собой божественное начало? Я вовсе не утверждаю этим, будто являюсь богом; здесь подразумевается лишь то, что, ощущая внутри себя покорность, я черпаю все возможные живые силы из вдохновения и из моего творения за пределами моего «я», черпаю их из могущественной силы, значительно превышающей меня самого.

Последние фразы, возможно, заставят многих сомневаться на мой счет, ибо они могут принять меня за приверженца мистики. Другие, наоборот, начнут здороваться со мной, считая меня одним из них. Как я полагаю, и те, и другие пойдут значительно дальше моих мыслей. В данном случае я совершенно не примешиваю мистические ощущения, которые, вероятно, есть у меня, как у любого человека. Я всего лишь пытаюсь описать феномены такими, какими они предстают предо мной. Если бы мой личный порыв оказался на *оси*

координат более объемного и могущественного становления, то, утверждаясь в своем «я — мыслящий объект», я все больше приходил бы к пониманию, что становление главенствует над «я». Именно это для меня и является «ближайшими сведениями». Кроме того, на самом деле, каким бы ни было очевидное несоответствие между моим личным порывом и требованиями окружающего мира, каким бы революционным ни было мое произведение, не возникнет ли у меня где-то *в глубине души предчувствие, даже убеждение*, что, позволив своей личности раскрыться, я окажусь в полном согласии с *главной* целью моего существования, с ощущением того, что я смогу выполнить миссию, которая была мне предназначена... Сейчас я никак не могу закончить свою фразу, ибо любая, более точная, формулировка грешила бы чрезмерным рационализмом и была бы далека от истинной характеристики рассмотренных здесь отношений. Что еще более значимо: для меня эта согласованность — лишь *результат* сопоставления целей, которые я преследую, с целями мне подобных людей или с тем, что, как мне кажется, является целью для каждого; впрочем, эта цель, собственно говоря, включена как составная часть в мой личный порыв. Я ощущаю себя не только человеком своего времени и своей эпохи, но испытываю чувство, которое наделяет чертами относительности все, что я делаю, все, о чем думаю, и одновременно я олицетворяю собой дитя времени, всего становления в целом; именно из этого и вытекает *абсолютная* ценность того, чего я пытаюсь добиться в жизни. Внутри меня, во мне, существует понятие всеобщего предназначения; внутри меня, в моем личном порыве, существует понятие *сферы духовной общности* с чем-то таким, что превосходит и направляет меня, с чем-то, что является иррациональным по сути своей, и это не бытие, вполне определенное или оторванное от меня.

Итак, личный порыв содержит в себе утверждение относительно «я»; однако это утверждение не равнозначно «я существую», которое, в принципе, вторично и малозначимо в жизни. Личный порыв в большей степени касается становления, нежели бытия; он подразумевает, что «я развиваюсь через свои действия» и, развиваясь, утверждаю свое «я — мыслящий объект», мгновенно противопоставляя ему в становлении «сверх-я», что, по сути, означает «не-я». Через мой личный порыв я утверждаю свое «я — мыслящий объект», но исключительно в качестве становления в целом, которое, если возникает в нашем сознании, должно свести к «ничто» это «я», хотя на самом деле является его составной частью. Таким образом,

личный порыв состоит в некотором роде из *неделимой двойственности*, аналогичной той, что мы уже выделяли при рассмотрении понятия «направление жизненного порыва», и характер этой *неделимой двойственности* нужно умело учитывать.

Безусловно, наш разум попытается нарушить эту целостность. Научная мысль приостановила бы мои действия и удалила бы всю оставшуюся часть. Религиозное мировоззрение предполагает, что выше «я — мыслящий объект» и независимо от него существует некая сфера, которая заполнена изображениями, выполненными по образцу «я», но с увеличенной в десятки раз мощью, если можно так сказать; религия говорит о Божьих силах, наделяя их способностью направлять и помогать нам; ее храмы наполнены изображениями и статуями, которые она же обожает; в конце концов, из Бога она сделает Создателя, как если бы Он на самом деле нуждался в акте созидания, позаимствованном из людского воображения для того, чтобы и мир, и мы сами могли существовать. На самом деле, с точки зрения присутствия критерия «сверхиндивид», включенного в феномен личного порыва, в любой религии, которая по сути своей является доктриной, имеется некое *рациональное объяснение*. Такое рациональное объяснение, скорее всего, является *неотъемлемой частью* религии, потому что религия, будучи проявлением коллективного и социального, должна, как минимум в некоторой степени, «раздвигать» отношения, существующие между чистыми феноменами, и *наделять их четкими формами*, приспособляясь к основным особенным характеристикам любых проявлений этого порядка.

Для сверхиндивидуального критерия иррациональная сторона бытия выражалась через нечто похожее на раздвоение «я — мыслящий объект», через нечто наподобие проекции изображения этого «я», наделенного силой, увеличенной в десятки раз, за пределами самого «я». Однако это не единственный аспект, через который он проявляет себя по сравнению с утверждением своего «я». Что касается моего личного порыва, я самоутверждаюсь в жизни, этот порыв представляется мне в виде *глубокого* источника моей души, бьющего ключом из самого моего существа, источника, который позже, на поверхности, принимает определенное очертание в виде законченного действия. И теперь мне кажется, что становление проникает в мое «я», выдалбливая там, внутри, что-то вроде туннеля, превращает его

в неведомый ранее мощнейший источник, который будет утрачен за пределами моего «я». И *параметры глубины* моего «я» становятся мне доступны. Эту глубину, кстати, нельзя сравнить ни с одним из колодцев, так как у нее нет дна; она представляет собой нечто живое и постоянно движущееся, нечто, способное трепетать внутри моего существа, нечто, наделяющее мое существо глубиной, нечто едва уловимое, постоянно ускользающее от любопытных взглядов моего знания; нечто похожее на тоненькую паутинку, которая превращается в пыль, как только нам кажется, что мы смогли ее поймать; исчезая, она как бы покидает и само мое существо; однако именно она представляется нам самым настоящим источником жизни. Захваченная сама собой, эта глубина словно обладает некоторыми чертами безличного, но именно в такие моменты, особенно когда мы прилагаем максимум усилий, чтобы предъявить миру все, что есть у нас самого личного, мы ощущаем, как наш порыв проникает *в глубину* нашего существа. Эта глубина — и вряд ли стоит повторять еще раз — в большей степени относится к становлению, нежели к существу; более того, разве не приятнее нам обсуждать параметры (движение) *в* глубину, чем просто саму глубину?

Итак, нам удалось выявить в себе самих *поверхность* и *дно*; при этом поверхность ограничена и будто бы неподвижна, тогда как дно, напротив, не ведает истощения и находится в постоянном движении; а если мы постараемся представить себе так называемые составляющие нашей психической жизни — восприятие, ощущения, взгляды, отдельные проявления воли, — то увидим, что ни при каких обстоятельствах нам не удастся таким образом изложить все, что есть внутри нас значимого, ибо «позади» чего-либо всегда скрывается истинный источник жизни. Если, обсуждая все эти составляющие, при наличии необходимых условий, мы определим их как факторы «сознательного», где-то далеко позади них мы достаточно легко сможем определить движущуюся глубину — *бессознательное*.

Давайте разберемся. В данном случае термин «бессознательное» не подразумевает факторы, которые, по аналогии с факторами «сознательного», размещаются, по той или иной причине, над порогом сознания и, следовательно, могут быть уместны для него; то «бессознательное», о котором мы здесь ведем речь, тоже присутствует, даже более чем присутствует, в сознании, хотя обычно это игнорируется в описаниях «сознательного»; а элемент негатива, как правило, имеющийся в термине «бессознательное», значит лишь то, что глубина бессознательного, по причине его исключительно динамичного,

живого характера, не может быть ни разложена, ни разделена на части, ни точно определена с теоретической точки зрения в сравнении с составными элементами сознательного, которые по природе своей статичны. В таком случае мы, несомненно, смело можем говорить о сознании в бессознательном, не обращая внимания на противоречия, возможно содержащиеся в данном выражении.

Учитывая вышесказанное, рядом с сознанием мы можем поместить в бессознательное не сами характеристики сознательного, а осознание самого себя. С точки зрения разума, все это представляется очень противоречивым, поскольку кажется, что сознание совершает какой-то подвиг, суть которого в возвращении к причине, являющейся для него отправной точкой, чтобы превратить ее в содержание; однако на самом деле осознание себя — это не только допустимо, но, на мой взгляд, находится в тесной связи с тем, что мы ранее определили как утверждение своего «я». От себя лично должен добавить: когда речь заходит о «сознании», то прежде всего именно феномены «сознания в бессознательном» и «осознания себя» могут наделить этот термин живым смыслом, образуя, так сказать, две истинные опоры нашей сознательной жизни, основные составляющие элементы которых я бы определил как свойство сознания; однако следует сделать оговорку: в случае необходимости они также могут стать «бессознательным», будучи по сравнению с ними пустяком, чем-то вроде «уловки». В любом случае об этих элементах мы, как минимум, можем сказать, что силы свои они черпают одновременно из двух источников, а это является истинным признаком жизни, их «физической» составляющей. Именно «бессознательное», неясное и неотчетливое, как может показаться с первого взгляда, и является, по моему мнению, реальной поддержкой, первой движущей силой нашего личного порыва; благодаря ему становится допустимым, что все наши отдельные действия могут, в конце концов, основываться на положительно движущихся силах, доступных нашему сознанию, могут существовать в нашем сознании, содержать в себе всего понемногу по отдельности, а собрав их вместе, мы даем им определение «мотивация».

Параметры глубины позволяют нам проводить самоанализ (интроспекцию). Роль, которую мы отводим самоанализу и экстроспекции как критериям, применяемым для выявления различий между психической реальностью и материальной действительностью, известна; но мы также знаем, насколько быстро выясняется, что этих критериев недостаточно. Сейчас я не вижу необходимости настаивать на такой

позиции. Прежде всего нас занимает тот факт, что, каким бы образом ни воспринимались критерии обеих «спекций» интересующей нас темы, обсуждавшейся чуть выше, можно заметить, и это не только не будет ложным, а скорее окажется верным, что самоанализ и экстроспекция в равной мере являются для нас действиями, особым способом выражения отношения, наполненным смыслом. Мы все знаем, что такое самоанализ, и не будем обсуждать исключительно его, так как прекрасно представляем себе, что для нас это является практической возможностью «посмотреть на себя изнутри»; мы почти готовы поверить, что при таком рассмотрении не обнаружим так называемую «физическую составляющую» внутри нас; и конечно, мы не можем не сказать себе, заглядывая вглубь себя — и вовсе не для того, чтобы выяснить, что же «у нас внутри», а чтобы попытаться осознать происходящее с «нашей совестью», — что именно это «заглядывание в себя», пожалуй, и является самым важным действием в нашей жизни. Очевидно, что глаголы «глядеть» и «видеть» в данном случае не имеют ничего общего ни со взглядом, ни со зрением в аспекте их понимания в психофизиологии; точно так же, кстати, самоанализ и экстроспекция, как мне кажется, изначально не имели ничего общего с «восприятиями» в теории общей психологии; обе эти «спекции» по-прежнему действительно являются для нас феноменами, а феномен «внутри» при самоанализе представляется мне ведущим фактором нашей жизни. Параметры глубины именно это на примере нам и показывают.

Кроме того, они показывают нам, если мы продолжим рассуждать в том же направлении, что такое $\gamma\nu\omega\theta\iota\ \sigma\epsilon\alpha\upsilon\tau\acute{o}\nu$ ¹³ и трансформация этого изречения, начиная с того, как оно было сформулировано впервые силой человеческого гения, и до того, каким многообразием смыслов наполнило его человечество. Если принять сентенции, предъявляемые нам в качестве элементов сознания, в частности, что движущие силы всех наших поступков выстраиваются у нас в сознании и движутся, следуя друг за другом, то получается, что изречение «познай самого себя» является всего лишь заблуждением; полученное таким образом представление о нашем сознании по самой своей природе должно обладать неоспоримыми характеристиками, в противном случае мы неизбежно погрузились бы в бездну недоверия, не имея больше ни единого основания поместить эти движущие силы на более значимые позиции взамен того, что было

¹³ Познай самого себя (*греч.*).

признано неверным. Происходит это исключительно по причине наличия параметра глубины; изначально любая движущая сила кажется нам чем-то относительным, чем-то спорным, а «заглядывание» глубоко внутрь своего существа, чтобы попытаться найти там истину, на самом деле имеет смысл, очень глубокий смысл для каждого из нас. В то же время мы замечаем, что если бы *γνώθι σεαυτόν* заставляло нас с недоверием относиться ко всему, что можно считать условным, неверным, мелочным в нас самих, то оно вовсе не дало бы нам возможность обнаружить за стеной этих ограничений *прочие* движущие силы, которые, являясь частью бессознательного, были бы истинными движущими силами наших поступков; в действительности единственная цель этого изречения — наладить контакт между нами и нашим бессознательным, которое, по сути, и является истинным источником нашей жизни и без которого не может развиваться наш «истинный» порыв, то есть наше стремление к лучшему. Любая движущая сила сознательного, проявляющая себя именно таким образом, является, на основании сказанного, ложной движущей силой; истинную движущую силу можно лишь спутать с бессознательной. Учитывая эту точку зрения, заметим, что в таком случае признанная и подтвержденная добродетель прекращает быть таковой, а маска притворной скромности больше не убережет того, кто, срываясь за ней, прячет свою надменность добродетельного человека. «Обратить свой взор к собственной совести» вовсе не значит — обнаружить и подтвердить все, что там таится, то есть — дать возможность своему порыву раскрыться во всей его безупречности.

Получается, что нам, чтобы следовать по верному пути, всего-то и нужно — не думать о движущей силе наших поступков, возможно, возразите вы. Именно это и будет типичное арифметическое умозаключение, примененное в неверной ситуации. В жизни совершенно не может быть сокращений подобного порядка. Действовать без мотивов — значит действовать неведомо как, не пытаясь совершить никакого подвига, даже если нам этого и хочется. Изречение «познай самого себя» имеет принципиально иное значение. В некоторой мере оно отображает то, что мы уже не раз обозначали как «возврат к прошлому»; необходимо в значительной степени пересмотреть свое отношение к этому изречению, что возможно, лишь прилагая огромные усилия, которые, если мы абстрагируемся от того, что жизнь навязывает нам в качестве разменной монеты, приведут нас к истинному источнику настоящей жизни, скрытому внутри каждого индивида.

И, вероятно, именно здесь мы обнаружим глубочайший смысл, заключенный в необходимости отвоевывать у времени наши собственные права, потребность, которую порой мы испытываем, ощущая мучительную тоску, как уже говорилось ранее.

Теперь перед нами особенно четко вырисовывается разница между биологической и феноменологической точками зрения. Биология, основанная на теории инстинктов, может дать определение понятию «добра» только после того, как ее принудит к этому потребность социальной жизни, и только руководствуясь интересами общества в целом, чтобы сдерживать и ограничивать некоторые инстинкты. При феноменологическом анализе становления, поиски «добра», наоборот, в какой-то момент сливаются с самим становлением, становятся неразделимы с ним и представляют собой один из его основных феноменов. Безусловно, биологическое существование, социальная жизнь и прочие составляющие нашей жизни обладают различными особенными формами разделения данных тенденций, что никогда не проходит незаметно и в тишине. Для чего и каким образом это делается, мы сейчас и рассмотрим. Однако, возможно, именно здесь будет допустимо сказать: конечно же стремление к лучшему никуда не исчезнет, даже если не станет нищих, слабых, к которым нужно приходить на помощь, даже если все лишится неутолимой тяги побеждать. Ибо без этого стремления не будет ни становления, ни времени, ни жизни — все канет в бездну.

Кстати, современная биология, как мне кажется, по сути, тоже настаивает на подобном порядке вещей; мы видим, что, наряду с прочими инстинктами, она изучает и инстинкт совершенствования, а также говорит о биологическом «сознательном» («*syneidesis*»¹⁴ Монакова). Почему же наука совершает такое усилие над собой, возвращая на свое законное место основные феномены жизни? Здесь нужно отдавать себе отчет в том, что данные феномены могут быть глубоко изучены лишь в их естественном виде, то есть в том виде, в котором они непосредственно предстают перед нами. То, что для биологии представляется наиболее сложным, для нас, именно по причине такой явной сложности, оказывается наиболее простым или, во всяком случае, наиболее естественным. Если же сократить эту так называемую «сложность», дойдя до самой примитивной основы основ, мы не сумеем осознать ее, потому что, как уже говорилось ранее, идея эволюции — это всего один из аспектов феномена времени, а значит, она не может быть принята за достаточную основу для изучения.

¹⁴ Совесть (греч.).

В теории психопатологии в наше время существует огромное множество вопросов, связанных с бессознательным. Тем самым я намекаю — о чем читатель, наверно, уже догадался — на психоанализ Фрейда. Безусловно, сейчас неуместно подробно разбирать суть этой научной доктрины. Скажу лишь, что она изначально основывалась на античном высказывании *γνώθι σεαυτόν*; как само изречение, так и данная доктрина говорят нам о том, что не стоит слишком полагаться на сознательную движущую силу наших поступков. Именно здесь и обнаруживается *этическая* сторона всей фрейдистской теории. Вместе с тем, психоанализ подменяет движущие силы сознательного на движущие силы бессознательного, сформированные наподобие первых, и считает, что таким образом бессознательное истощается. В этом объяснении, очевидно неизбежном в данных обстоятельствах, заключается, помимо прочего, и его *прагматичная* сила — проявляется его могущественность в условиях коллективной жизни, как проявляется она и в теории исторического материализма, которая, безусловно, основана на других идейных подходах, хотя обе эти теории имеют несколько схожих точек зрения. Между тем, именно здесь обнаруживается и *отрицательная* черта данной теории, потому что она подменяет рациональные представления на собственно источник нашей жизни, подчиняя ему тем самым все ее ценности — от ничтожных до наивысших. С этим можно поспорить, так как психоанализ в первую очередь преследует терапевтические цели, а значит, практические. Даже не обсуждая результаты, которых он добивается, я могу сказать, что уже принял их во внимание, обсуждая его прагматичное значение. Однако в действительности в предлагаемой нам концепции психоанализ значительно превосходит практическую цель, к которой стремится, именно поэтому мы не можем отказаться от своего желания согласовать между собой наши психопатологические концепции и даже психотерапевтические приемы с нашими общими концепциями. Здесь перед нами раскрываются во всем своем первичном многообразии параметры глубины и осознание бессознательного.

На основании этой точки зрения и прежде, чем перейти к следующему параграфу, я хотел бы сделать еще одно примечание. Параметры глубины проявляют себя таким образом, что мы не в состоянии никогда и ничего *осознать* до конца; однако отсюда отнюдь не вытекает, что следует считать нашим серьезным недостатком желание познать себя, цель которого вовсе не накопление новых знаний, а, в конечном счете, восстановление контакта с тем, что в глубине нас,

что и является основой нашей жизни. То, что мы говорим о себе, касается непосредственно и в равной степени нашего отношения к другим; точно так же, на основании того, что мы *узнаем* о других, постоянно проступает бессознательное, этот неиссякаемый источник жизни. Именно этот источник, создающий тесные связи между мной и мне подобными, определяет нашу своего рода идентичность — *подобие* не по внешнему виду и поверхностному проявлению образа жизни, а на основании глубоких стремлений, недоступных для понимания и при этом естественным образом направленных на поиск положительных ценностей.

И если в заключение я скажу, что параметры глубины, а также критерий сверхиндивида, выходят за пределы моего «я», соединяются между собой вдалеке, чтобы образовать одну-единственную глубину, это уже никого не удивит. Кстати, не свидетельствуют ли оба эти критерия, что, сколько содержится становления при обозначении его права относительно того, что может быть рационального в утверждении своего «я», столько же его содержится и в личном порыве?

3. Критерий вовлечения и материальности

До настоящего момента мы рассматривали «я» из составленной нами схемы. Теперь давайте обратимся к «совершенному делу».

Когда через мой личный порыв я совершаю что-то, возникающая в результате этих действий ситуация не истощается констатацией: «Я достиг всего, чего сам для себя планировал достичь» или «Я уже кое-что сделал и закончил это действие». Здесь мы видим лишь часть, наименее значимую часть того, что в данном случае возникает перед моим взором. В то же время я вижу, что дело, совершенное мною, является, по сути, *творением* в самом широком смысле слова; естественно, это творение, будучи моим, *вписывается* в значительно отличающееся от него остальное многообразие, хотя мне оно, как *мое* творение, казалось частью многообразия намного более могущественного и обширного по сравнению с ним. Творение обладает каким-то значением, у него есть объективная или, правильнее сказать, *трансубъективная* характеристика; именно таким образом и можно определить значение понятия «персональное творение».

Для более подробного рассмотрения у нас нет необходимости вновь делать его частью многообразия, о котором мы уже говорили выше. Потому что это многообразие не является чем-то статичным или мертвым. И я вовсе не собираюсь спокойно поместить мое

творение рядом с другими, подобными ему творениями, как раскладывают товары на полках в магазине или как поступают хранители музейных фондов, вывешивая новую картину на стену. Созданное творение не имеет ничего общего с нумерацией в каталогах. Оно не может быть помещено на отведенное ему заранее место, как не может и просто занять свободное место, подходящее ему по форме. Нет, то, куда оно вписывается, — это нечто постоянно движущееся и живое. Оно вписывается в мир, находящийся *в движении*, в мир, который без моего творения будет так же богат, разнообразен и наполнен до краев, как и вместе с ним. Однако этого творения ему будет *не хватать*. Как только мое творение закончено, оно отделяется от меня и начинает жить своей собственной жизнью. Более того, оно должно меня пережить.

Если за точку отсчета мы примем противопоставление между причиной и содержанием, может показаться практически сказочным тот факт, что, черпая жизненные силы для совершения деятельности из моего собственного «я», я умудряюсь произвести нечто, способное отделиться от меня, чтобы впоследствии влиться в окружающее становление, как будто бы в соответствии с заранее установленной гармонией. Эта книга, над которой я работаю уже много лет и в которой, я чувствую это, содержится частичка моего существа, «покинет» меня, как только я ее завершу, станет томиком с надписью «Минковский»; а если она будет иметь хоть какую-то ценность, то окажет влияние, о котором я, возможно, даже не задумывался, которое, вероятно, было ничем для движущих сил, подтолкнувших меня ее написать.

Впрочем, в действительности это слияние происходит самым естественным образом и вовсе не является чудом. Если через творение я выхожу за пределы своего «я», то делаю это, не испытывая ни малейшего напряжения, заставляющего меня пересекать какие-либо границы, существующие между моим «я» и моим «не-я»; наоборот, этот выход подобен проходу через приоткрытую дверь между двумя помещениями, между моим «я» и окружающим становлением; это и есть проявление моего личного порыва либо, как еще можно сказать, процесс *сверх*проверки или, как минимум, *сверх*мотива и выведения *наружу*. С другой стороны, окружающее становление такое, какое оно есть, скорее потому, что мой личный порыв существует в интеграции с ним, а не потому, что из-за него *формируется*. Как мне кажется, именно благодаря этой интеграции он приобретает черты чего-то *реального, действительно существующего, постоянного и ощутимого*; поскольку личный порыв обладает критерием

достижения, у меня создается впечатление, что становление, в которое он погружен, является реальным; это происходит потому, что *я его достигаю, я прикасаюсь* непосредственно к нему через мой порыв, благодаря чему у меня создается впечатление, что сам он *действительно существующий* и осязаемый, так как раскрывается через созданное творение. Я даже позволю себе говорить о *материальности*, безусловно, используя это слово в очень широком его значении¹⁵, и не премину сразу же точно определить, что должно являться для него исходным материалом, в том смысле, в котором мы традиционно понимаем это выражение. Итак, получается, что материальность нужна нам лишь для того, чтобы противопоставить ее духовному, как мы уже говорили выше, разбирая «я — мыслящий объект» в личном порыве. Однако точно так же, рикошетом, эта материальность проникает в «я», где ее легко можно спутать с духовностью. То есть без личного порыва не могли бы существовать ни материальность, ни духовность, ибо обе они полностью растворились бы в хаосе становления.

Получается, в моем личном порыве существует изображение еще одного становления, которое, параллельно с моим порывом к будущему, самым парадоксальным образом словно пересекает этот порыв в процессе создания моего творения. Здесь мы употребили выражение «парадоксальным образом», поскольку на самом деле нет *двух*, не зависящих друг от друга линий, а *также* точек их пересечения; существует лишь «неделимая двойственность», аналогичная той, которую мы рассматривали чуть раньше, двойственность, которая проникает сюда, как только что было сказано, на основании создания чего-либо, материальности.

Сведения, содержащиеся в феномене создания, формируют что-то наподобие каркаса, необходимого для нашего *знания* о тенденциях, последствиях и целях самой нашей деятельности, и жизненный опыт формируется именно вокруг них. Неудачи, а возможно, и успех послужат нам в этом уроком; мы извлечем из них выгоду, научимся действовать, преследуя *определенную цель*; мы поймем, как *предвидеть* вероятные последствия, связанные с нашей деятельностью, и учитывать их. Однако у нас не было бы ни малейшего шанса получить все эти знания, если бы самым обычным способом наш личный порыв не подсказывал нам, что, в общем-то, мы можем что-то создавать в этом мире. У нас не было бы ни малейшего шанса дать

¹⁵ Разве мы отрицаем существенность факта материальных вещей?

нашим накопленным в течение жизни знаниям возможность взаимодействовать с тем, что мы хотели бы сделать, если бы изначально мы не знали, что способны реагировать и творить. Ведь мы являемся не только зрителями, а кроме того, и даже прежде всего, актерами; в данном случае «быть актером» вовсе не значит — осуществлять то, что мы могли бы узнать, являясь зрителями; нет, этот феномен содержит в себе огромное количество сведений — тех, что особым характерным образом определяют нам место относительно этого мира, прочерчивая тем самым четкие линии, так сказать, образцы, на основании которых в дальнейшем сформируются собранные нами из разных областей жизни знания. Знания эти, впрочем, не являются и никогда не будут полными; по природе своей, они в принципе не могут быть полными. Именно феномен личного порыва и наделяет их этой характеристикой. Даже самый опытный ум никогда не сможет сравниться со спонтанностью и мощью личного порыва. Кстати, у этого порыва постоянно присутствует эффект *неожиданности, непредвиденного*, которым он особенно дорожит. Все последствия нашей деятельности нельзя предусмотреть в полном объеме, так как предвидеть все — значит уничтожить саму деятельность, а следовательно, потерять к ней и вкус, и интерес. Эффект неожиданности просто необходим. Кроме того, чем больше наше творение является частью личного, тем менее предсказуемы его последствия и значение, ибо: как источник его происхождения теряется в бессознательном, так и последствия теряются в *неизвестности*. Бывают ситуации, когда ни «почему?», ни «с какой целью?» больше не имеют никакого разумного основания, но именно они и приоткрывают нам истинный смысл жизни. А наше творение, которое отрывается от нас, чтобы далее существовать самостоятельно и проникнуть в сферу бессознательного, как раз таки по факту этого отрыва делает нашу жизнь более полной и более богатой. Это можно сравнить с огромным пшеничным полем, где мы конечно же не сможем различить каждый колосок по отдельности, однако оно предстанет во всем своем великолепии перед нашим внимательным взором.

Творение, как мы уже знаем, — всего лишь этап в личной жизни и никогда не может быть доведено до конца. На основании того факта, что творение создается и сливается со становлением, оно не может быть совершенным.

Несовершенство не является результатом сравнения с другим творением, признанным лучшим, чем это, оно основано на самой

сути нашего личного порыва. Как только творение создано, кажется, что на него начинает влиять нечто, превышающее его по значимости и словно парящее над ним. Это касается всех без исключения творений, каковы бы ни были их природа и происхождение. Таким образом, творение разделяется надвое, если можно так выразиться, и превращается в отражение идеального творения, будучи лишь его слабой копией.

Несовершенство творения основывается на самой природе этих феноменов, в чем нет абсолютно ничего разочаровывающего. Мы ни в коем случае не откажемся от творения, которое изначально призвано быть несовершенным. Да мы и не смогли бы от него отказаться, так как творение остается творением исключительно потому, что, на основании своего несовершенства, оно проявляет собственную способность к совершенствованию. Дискурсивное мышление, пытаюсь разложить на составляющие описанные здесь отношения, может лишь превратить их в лохмотья. А на самом деле именно они и наделяют нашу жизнь динамизмом.

Посчитать идеальным то, что было создано, — это почти то же самое, что принести смерть туда, где есть место только для всего живого, превратить в пустыню плодородное поле существования. Законченное творение должно пробудить в нас только одно желание: двигаться дальше, прекрасно понимая, что творения, созданные позже, будут обладать точно такими же чертами относительности.

Здесь мы обнаруживаем опасность, связанную со всеми вербальными формулировками, имеющими отношение к идеальной морали. Формулировки подобного типа представляют собой сильнейшее творение личности. Через них осуществляется попытка поделиться своим живым несовершенством. Однако идеи, сформированные таким образом, умирают и становятся доктринами суровыми и пугающими, если не отталкиваются вновь от живой основы, из которой они происходят. Желание быть полезным себе подобным любой ценой заставляет нас угождать всему человечеству, заставляет довольствоваться заурядными делами, принимать мусор за ценности.

Только поддерживая постоянный контакт с живым источником нашего личного порыва и позволяя ему свободно раскрываться в нашей деятельности, мы достигнем абсолютной уверенности в том, что находимся на верном пути и можем создать творение, которое, при всей своей несовершенности, будет содействовать распространению способности к совершенствованию, а значит, в любом случае, принесет

пользу другим. И в этом заключено принципиальное отличие от безрассудных действий или занятий ерундой.

4. Критерий ограничения (потери)

До настоящего момента мы обсуждали утверждение «я — мыслящий объект», а также создание творений. Остается еще сказать несколько слов о стрелке, которой мы соединили их между собой.

Даже сейчас я вижу, как эта стрелка со всех сторон омывается потоками становления. Однако она вовсе не выглядит как хрупкий плот, движущийся по потокам становления, каждое мгновение рискуя раствориться в них; нет, она проникает глубоко в становление мощными корнями, становясь с ним единым целым. Безусловно, мой порыв к созданию творения сам творением не является, так как возникает из становления, но, будучи серой массой, наполняет его новыми красками и оттенками. Именно поэтому, в то самое время, когда всем своим существом я стремлюсь к созданию творения, мной овладевает смутное чувство, что происходит что-то еще — как внутри меня самого, так и в окружающем становлении; и это что-то — не малозначительное, не бесцветное, не то, чем стоит пренебрегать, а, наоборот, что-то такое, что в данный момент может иметь для меня такое же значение, как и сам мой порыв. За то время, что я пытаюсь создать свое творение, время проходит, унося с собой события, существование которых я предчувствовал, события, которым мой порыв помешал достичь меня. Таким образом, несмотря на все положительное наполнение, заключенное в нем, личный порыв, предоставляя мне возможность проявить себя и создать мое творение, постоянно сопровождается каким-то ощущением барьеров, «неполноты», ностальгией, желанием познать в этой жизни что-то еще. Для внесения ясности приведу пример: когда я следую за какой-то целью, значимой для меня, вместе с ощущением удовлетворения от продуктивной работы я испытываю чувство *ограничения и потери*. Да, я продвигаюсь вперед, пытаюсь развиваться в нужном направлении, но при этом, каково бы ни было расстояние до достижения цели, не отказываю ли я себе в чем-то другом, в чем-то ценном в моей жизни? В такие моменты кажется, что мой порыв уменьшился, и вовсе не потому, что он мал по сравнению с безграничностью мира, просто за пределами этого порыва у меня возникает желание связаться, и отнюдь не в той форме, которую он мне предлагает, с положительным содержанием окружающего становления. Кажется, что порыв сужает горизонт, не

за и не перед ним, а, так сказать, на своих склонах; он словно заточает меня в футляр, в то время как параллельно с ним, где-то за его пределами, становление раздает множество обещаний, возможностей, неожиданных богатств. Что это за богатства, я не смог бы сформулировать; у меня есть только неясное предчувствие их существования. Я испытываю это ощущение, потому что мой личный порыв, заполнив собой всю мою жизнь до краев, не дает мне, по сравнению с окружающим становлением, истинного ощущения полноты, к которому я стремился. Но не является ли эта полнота обманчивой? Кто-нибудь знает? Скорее всего — нет.

Из окружающего меня движущегося потока я уже слышу глухие звуки, обращенные ко мне. Внезапно возникает насущная потребность созерцать. Это происходит потому, что в своей жизни я не терплю никаких ограничений, никаких препятствий, даже если они возникают из моего собственного личного порыва. Тюрьма... можно ли ее спутать со вселенной? Для меня это недопустимо.

Безусловно, личный порыв — не только тюрьма. Критерий ограничения, который содержится в нем, вовсе не является абсолютным. Он сам в состоянии опровергнуть этот критерий или, вернее будет сказать, представить его в другом виде. Подобно отдаче при выстреле, личный порыв сам докажет свою значимость. Естественно, за то время, пока я пытался создать свое творение, огромное количество событий могло произойти как внутри моего «я», так и за его пределами; событий, от которых я отказывался, будучи поглощенным моим личным порывом. Однако он, узнав об этом, не ограничивался тем, чтобы отделиться от меня, а в некоторых случаях еще больше усиливал свое влияние при наличии подобных событий, отодвигал их, если можно так выразиться, на задний план, *перекрывал* их своей значимостью. События, о которых здесь идет речь, могли быть для меня как хорошими, так и плохими. Если, с одной стороны, я испытываю потребность вступить с ними в контакт, возможно, мне просто интересно, но, с другой стороны, я должен иметь в распоряжении средства, способные помочь мне избежать болезненных контактов, которые в результате могут случиться. Личный порыв, защищая меня от всего этого, создает убежище, где можно укрыться от таких болезненных контактов. В подобной ситуации я, оказывается, словно в предварительно созданных условиях, получаю возможность благодаря своей личной деятельности пребывать в *забытии*, не помнить разочарований, страданий и, через эту деятельность, обнаружить в себе силы жить дальше. Очевидно, изложенный таким образом критерий, который мы сейчас

изучаем, относится к психологическим фактам, позаимствованным из жизненного опыта; впоследствии они размещаются в другой плоскости. Между тем, для существования фактов подобного типа требуется, чтобы они основывались на тех жизненных феноменах, на которых сейчас покоятся. Дабы у нас возникло желание найти забвение и жизненные силы через нашу деятельность, просто необходимо, чтобы феномен личного порыва, в силу особенностей своей природы, сделал все это возможным. Он и делает это благодаря так называемому *свойству перекрывания*, которое, несмотря на парадоксальность такой оценки, является всего лишь одним из аспектов критерия ограничения. Между прочим, данный критерий относится к вторичным критериям, связанным скорее с повседневной жизнью, нежели с жизнью в целом. Следовательно, он не исключает возможность возникновения описанных нами выше, во время обсуждения вопроса ограничений и потерь, драматических ситуаций, которые возникают в результате личного порыва. Адекватная реакция на сложившуюся ситуацию должна быть обнаружена, как мне кажется, среди простейших жизненных феноменов. Именно ее поиском я и предлагаю заняться в следующей главе.

ГЛАВА III

ВИТАЛЬНЫЙ КОНТАКТ С РЕАЛЬНОСТЬЮ. ПРОЖИВАЕМЫЙ СИНХРОНИЗМ (Феномены, основанные на параллелизме. Принцип проникновения и участия)

1. Витальный контакт с реальностью¹⁶

Если придерживаться проложенного в предыдущих главах направления, которое постепенно отдаляет нас от первичного становления, чтобы наделить его более точными формами, то мы отвлечемся и от личного порыва, утратим ощущение того, что вокруг нас пустота или хаос, и откроем для себя еще один новый феномен: феномен *витального контакта с реальностью*.

Создается впечатление, что мы словно освободились от лишнего веса, давившего на нас через личный порыв по причине существующих ограничений, и теперь способны окинуть взором становление, соединиться с ним. Ощущение напряжения, которым можно описать порыв, сменяется ощущением *безмятежности и расслабленности*. Кажется, что пробел, существовавший ранее между нами и окружающей действительностью, заполнен. Кажется, что мы двигаемся вперед под влиянием становления, оно слегка колышет нас, и если мы сами себя отдадим в жертву, то ощутим все оттенки возвышенного через эту открывшуюся способность сливаться с окружающим становлением, почувствуем себя настолько близкими ему, насколько это возможно, ощутим, как растворяемся в нем, прекрасно отдавая себе отчет в значимости такого взаимопроникновения.

¹⁶ До настоящего момента, разбивая главы на параграфы, в каждом из них мы определяли один ведущий признак изучаемого феномена. Здесь все будет по-другому, мне бы хотелось обратить внимание на это отличие.

Отказ, о котором мы говорили чуть выше, не имеет на самом деле ничего конкретного и определенного. Феномен витального контакта по-прежнему подчинен личному порыву. Только позаимствовав его сведения, мы можем осознать значение этого феномена. Здесь обнаруживается противопоставление *естественного* характера, противопоставление, в котором, между тем, личный порыв занимает главенствующее место. Без всего этого, не учитывая больше личный порыв, мы обязательно окажемся в хаосе становления, ощутим себя полностью поглощенными или раздавленными им. Но на самом деле это не так; даже наоборот: мы существуем с ним в *полном согласии* благодаря глубокому взаимному проникновению, которое, вместе с тем, дает нам возможность впитывать становление в себя. Более того, витальный контакт с реальностью, вопреки его специфическим характеристикам кажущийся нам завершенным внутри него самого, самым естественным образом становится помощником личного порыва. Без такого контакта с реальностью в нашей жизни не было бы созерцания. Он может всего лишь внедриться в личный порыв, обогатив его своими жизненными силами. Он напоминает новый источник, который занимает позицию рядом с параметрами глубины; вместе они способны оживить порыв, усилить его стремление к созданию личного творения и к лучшему. Безусловно, сей источник, столь же чистый, сколь и предыдущий, не приносит нам никаких *новых знаний*, в самом точном смысле этого слова, что, однако, не может уменьшить его ценность, потому что он напрямую связан с самой жизнью, а значит, содержит в себе силы, которые сложно точно определить как не мешающие нашему движению вперед. Мы с удовольствием обсудим данную тему чуть позже и назовем это явление *вдохновением*, бьющим ключом то из глубины нашего «я», то из тесного союза, заключенного с окружающим становлением.

Очевидно одно: витальный контакт с реальностью должен обладать чертами динамизма. Здесь речь не идет ни о «прикосновении» к материальной действительности, ни о соприкосновении самой реальности с нами, ни о любом другом феномене, напоминающем отношения подобного рода. То, что мы здесь имеем в виду, — это способность *продвигаться вперед*, будучи в гармонии с окружающим становлением, ощущая себя проникающим в него и даже единым целым с ним. В данном случае, и в этом смысле, для описания изучаемого феномена мы используем термин *проживаемого синхронизма*.

Этот термин наводит нас на мысль о существовании двух параллельных линий. Он является чем-то наподобие черного варианта

параллелизма витального контакта с реальностью. Они как два периода, существующие рядом в гармонии и взаимном согласии. Однако представление о параллелизме не может в полной мере отразить сущность этого феномена. Суть в том, что здесь не идет речь об отношениях пространственного характера. Кроме того, мы видим, что обе наши линии, являясь параллельными, касаются друг друга и даже *проникают* друг в друга во время движения. Здесь обнаруживается что-то похожее на непрерывный тесный обмен между ними, хотя их совершенно невозможно спутать, что, наверное, кажется нелогичным, но нас совершенно не удивляет. Чтобы подчеркнуть эту особую характерную черту витального контакта с реальностью, мы будем здесь использовать понятие *принцип проникновения*, точно так же, как в предыдущих главах говорили о принципе разворачивания и принципе слияния за пределами «я — мыслящий объект».

Для большей ясности давайте обратим внимание на обычные феномены нашей жизни, подходящие для того, чтобы на их основании вывести главные черты витального контакта с реальностью. Получается, эти феномены послужат нам всего лишь в качестве иллюстрации, потому что витальный контакт с реальностью может быть осуществлен в исходном достаточно общем виде, и у нас нет необходимости использовать указанные феномены.

Впрочем, мы уже упоминали об одном феномене подобного порядка. Это — созерцание. Отличие слова «смотреть» от «созерцать» вовсе не заключается в более высокой степени внимания, как указано в ряде определений; нет, это скорее что-то вроде непринужденности, которая и наделяет нас способностью поглотить в полной мере то, что мы созерцаем, позволив проникнуть в нас. Между созерцающим человеком и тем, что он созерцает, существует некий *непрерывный* обмен, основанный на взаимных контактах, что-то похожее на непрерывающуюся последовательность приливов и отливов, идущих от одного к другому; этот обмен, кстати, настолько тесный, что мы не в силах понять, каким образом можно было бы разложить его на отдельные фазы; именно здесь и зарождается впечатление о существовании одновременности, в которой причина и ее содержание смешиваются между собой в гармоничном движении. Безусловно, нам будут указывать на то, что созерцание основывается исключительно на визуальном восприятии объектов внешнего мира. Однако достаточно всего лишь представить материальные оболочки объектов, находящихся в поле нашего зрения, чтобы пробудить в себе чувство созерцания; точно так же, достаточно просто представить то, что

мы созерцаем, как «отрезок» реальности, чтобы осознать, что сама по себе мысль о таком отрезке совершенно чужда созерцанию, потому что оно способно установить особый контакт с жизнью в целом, за пределами этого, так сказать, отрезка, либо почерпнуть из этого отрезка все, что было в нем действительно живого. Вдобавок мы склонны стремиться к состоянию покоя и пассивности через созерцание. Но это так называемое состояние покоя на самом деле — не что иное, как ощущение гармонии и безмятежности, появившихся в результате создания тесных связей с окружающим становлением, о которых мы уже говорили и которые значительно отличаются от настоящего покоя. Именно благодаря этому проникновению выясняется, что в созерцании нет места противопоставлению причины и ее содержания; там существует, скорее, нечто похожее на их равнозначность, ибо, если я погружаюсь в то, что созерцаю, созерцаемая вещь *оживает*, проникает в самые потаенные уголки моего существа, становится источником моего вдохновения. И если в теологии созерцание определяют как мистическое состояние, во время которого душа, забывая о внешнем окружении, направляет свой взгляд в сторону Бога, это, возможно, наведет нас на мысль о критерии сверхиндивида, описанном выше, и о двух источниках вдохновения, также обсуждаемых ранее.

Рассмотрим еще один феномен, своеобразно осуществляющий витальный контакт с реальностью, — это *симпатия*, в этимологическом смысле слова. Термином «симпатия» принято называть прекрасный дар, данный нам для того, чтобы мы могли разделять с себе подобными их радости и печали, проникать в самую суть этих явлений, чувствовать свою причастность к ним, быть с себе подобными единым целым.

У нас нет необходимости искать общие черты симпатии и витального контакта с реальностью. Симпатия не может быть мгновенной, в ней всегда есть *длительность*, и кажется, что именно в этой длительности в гармонии между собой существуют два становления, которые раскрываются рядом друг с другом. Раскрываясь, они проникают друг в друга так тесно, что две абсолютно непохожие индивидуальные жизни проникаются реальным *участием*, и вместо двух чувств, где второе является откликом на первое, мы, скорее, будем говорить об одном и том же чувстве, которое, будучи единственным, способно проникнуть в две различные человеческие жизни. Более того, симпатия обладает характеристикой чего-то законченного или, вернее, завершается сама собой; она имеет собственные ценности, ей не

нужны никакие внешние подтверждения, а значит, у нее есть некоторая основа, есть адекватная естественная реакция на окружающую ситуацию; более того, она в полной мере использует эту ситуацию, чтобы не пришлось искать что-то еще. Мы благодарны симпатии за то, что она является свидетелем нашего присутствия там, где она может, в силу обстоятельств, проявить себя не чем-то иным, а именно через саму себя; есть люди, способные прийти к нам на помощь в моменты отчаяния, а другие в состоянии лишь выразить нам свою симпатию, но именно эту симпатию мы ценим очень высоко, так как понимаем, что они могут нам дать только это.

Следует отметить, что симпатия проявляет себя особенно ярко в моменты тоски и отчаяния, возможно, потому, что они, в отличие от радостных моментов, намного сильнее воздействуют на нас, а значит, дают возможность симпатии раскрыться шире, глубже и многограннее.

Симпатия — и едва ли нужно на этом еще настаивать — значительно отличается от феноменов коллективной радости и грусти. Победа может приводить в восторг целую нацию, точно так же, как поражение может довести ее до отчаяния. В данном случае были затронуты наши всеобщие интересы: являясь членами одного сообщества, мы реагируем одинаково на одно и то же событие. Более того, окружающая ситуация служит в данном случае усилителем; однако здесь вовсе не идет речь о проникновении чувства одного человека в другого и превращении там в его собственное чувство.

Симпатия является для нас самым простым основным феноменом жизни. Это неизменяемый феномен. У него нет необходимости быть привязанным к так называемым более простым, по сравнению с ним, феноменам жизни. Классическая психология, принимая за точку отсчета то, что в этой науке называют элементарными и субъективными эмоциями, напротив, считает, что симпатию необходимо разделять на два этапа: один представляет собой осознание наличия чувства у кого-то из тебе подобных, второй подразумевает адекватную реакцию на это ответным чувством. Кстати, что касается первого этапа, рассматривая восприятие как единственное проявление реальности, можно столкнуться с непреодолимыми трудностями; заявив о разложении феномена симпатии, психология вынуждена объяснить нам, каким образом мы можем обнаружить наличие симпатии у другого человека; ей придется делать умозаключения по аналогии или применять другие приемы подобного рода, следы которых вряд ли можно обнаружить в нашем сознании. На самом деле, что может быть естественнее,

«человечнее» симпатии? Она служит нам в жизни поддержкой, самой ее основой. Наши собственные чувства существуют лишь в той мере, насколько они способны определять окружающую нас симпатию; и они не могут не делать этого, так как симпатия является действительной *основой* нашей чувственной жизни. Выражаясь другими словами, симпатия нам намного ближе, чем всевозможные остальные «патии», если вы позволите мне так выразиться, а истинная проблема заключается в том, как определить все эти «патии» по отдельности, если, изначально, они представляют собой одно неделимое целое.

После того как психология сократила нашу психику до скопления частичек, заточив это скопление у нас внутри, мы, по сути, закованы в какие-то непробиваемые латы и тщетно пытаемся из них выбраться. Симпатия наводит нас на мысль — пусть это и выглядит парадоксально, — что наша душа существует везде, только не в нас самих; повсеместно она оставляет едва приоткрытые двери, через которые может просочиться наша сущность, стремящаяся в своем естественном порыве в окружающее пространство, благодаря чему душа, испытывая простейшие чувства равнозначности и взаимности, может впитать все, что встречается ей на пути. При этом щель между створками дверей останется прежней, так что «я» совершенно не будет потревожено в свойственном ему уединении. Что касается восприятия, мы его с легкостью определяем, что уже было отмечено выше, как единственное проявление реальности, оно представляется нам одним из самых сложных и наименее естественных феноменов жизни; иначе как понять, каким образом сама наша жизнь, в которой есть только прогресс, движение, порыв, проникновение, может *остановиться* настолько, что ей удастся заметить объект, лишенный жизни? Мы бы не смогли этого сделать, не принимая во внимание особый механизм прекращения и остановки, чуждый всем изучаемым нами феноменам, механизм, так сказать, воздействующий извне. Однако еще не настал момент, чтобы определить, откуда он появляется.

В *чувстве меры и границ* мы сталкиваемся с точно таким же феноменом витального контакта с реальностью, это чувство словно живой бахромой окружает все наши принципы, делая их бесконечно человеческими и бесконечно разнообразными. Знать правила поведения — хорошо, уметь их применять — еще лучше, но применять их без всяких исключений — значит возвышать до уровня доктрины, возможно, могущественной, но при этом непреклонной, черствой и умирающей. Нужно уметь предусматривать и *особые случаи*, однако они совершенно не могут быть систематизированы; сделать это — значит

загнать их в какие-то рамки, подчинить правилам, разделить с ними свою участь. Интуиция, и только интуиция, должна руководить выбором наших поведенческих линий, она же в особых случаях должна заставить нас отступить от общепринятых правил; нам всего лишь нужно быть в согласии — на уровне чувств, конечно, а не разума — с самим собой и с жизнью в целом. Мы точно знаем, что должны сделать, хотя и не в состоянии ничего четко сформулировать; именно это и превращает нашу деятельность в нечто бесконечно податливое, бесконечно пластичное, бесконечно «человечное», не в прямом значении слова («присущее человеку», представителю отряда животных), но в том смысле, что подразумевает одну из наивысших ценностей, за пределы которых мы не можем выйти.

Получается, что это — тот же самый контакт с реальностью, или проживаемый синхронизм, выявленный нами через ощущение движения в согласии и одновременно со временем, которое бессменно нас сопровождает. То, что мы ощущаем, как внутри себя, так и за пределами своего «я», — не просто движение вперед, в общем смысле этого понятия, а еще и некий единый *ритм*, общий для нас и для окружающего нас становления; причем, каким бы ни было его отношение к событиям окружающей реальности, какова бы ни была в ней моя роль, сколько раз, занимаясь своей деятельностью, не пришлось бы мне остановиться в силу возникших непредвиденных обстоятельств, все равно, несмотря на отношение, несмотря на все преграды, чувство ритма заставляет меня ощущать биение жизни, и я иду с ней в унисон, продвигаясь вперед одновременно *со* временем.

И вновь мы можем говорить о двух телах, движущихся в одном направлении с одной скоростью. Однако это совпадение скоростей не просто крайний случай различных скоростей; они *в обязательном порядке* должны быть одинаковыми. Точно так же, как перекладина, соединяющая между собой два тела и ускользающая из ваших рук, когда вы попытаетесь дотронуться до нее, словно она сделана из тающих нитей, которые при этом не могут разорваться, как если бы они были созданы из самого крепкого в мире материала.

2. Шизоидия и синтония

Противопоставление, выявленное между личным порывом, а точнее, включенным в него критерием границ, и феноменом витального контакта с реальностью, сближает эти феномены с понятиями шизоидии и совпадения чувств.

Безусловно, в этом очевидная заслуга психиатрии, которая, в ходе своего развития, значительно раньше, чем психология, вывела понятия, вышедшие за рамки существующих концепций, выделила принципиально новое направление нашего мышления¹⁷. Кажется, эти понятия способны объяснить глубочайшую потребность обратить внимание на феномен времени, в чем мы согласны с бергсонизмом; ведь именно там они и могут найти свои основы. Кроме того, полагаю, будет полезно сказать несколько слов по поводу упомянутого развития. Чтобы углубиться в детали, мне придется обратиться к моей книге по шизофрении. Кстати, у нас еще будет возможность вернуться к данному вопросу во второй части. А сейчас мы ограничимся некоторыми тезисами. По большому счету, этот краткий пересказ совершенно не нуждается в исторической точности. Все идеи, возникшие в результате одной и той же потребности, накладываются одна на другую по ходу их появления в силу различных обстоятельств; и только двигаясь вперед, в результате многочисленных усилий, приложенных многими авторами, им удастся очиститься и достичь желаемой ясности. Однако мы вовсе не собираемся излагать здесь историю развития современной психиатрии, нам всего лишь нужно набросать схему проделанного пути с указанием преодоленных трудностей; поэтому просто рассмотрим, каким образом одна мысль может вытекать из другой, как если бы в реальной жизни они придерживались какой-то логической последовательности.

В своих нозологических изысканиях Крепелин пришел к необходимости противопоставить два обширных заболевания: маниакально-депрессивный психоз и раннее слабоумие. Каждое из них до этого имело общую клиническую картину, однако они рассматривались как отдельные заболевания. Такой синтез должен был привести к необходимости углубить знания в области психопатологии двух этих обширных групп, а в частности, выявить для каждой из них общие черты, взятые за основу клинической картины и объединяющие внешне столь разные группы. Огромную работу по изучению, в первую очередь, раннего слабоумия проделал Блейлер, выделив и различив основные и добавочные симптомы этого расстройства психики; он же ввел термин «шизофрения», чтобы каким-то образом выявить общие характеристики ее симптомов. Поиск основных симптомов отодвинул

¹⁷ М.А. Дандье был достоин того, чтобы подчеркнуть общее значение новых понятий современной психиатрии, сопоставив их с тенденциями современной философии. («*Le conflit du réel et du rationnel dans la psychologie du temps et de l'espace*». Revue Philosophique, 1930.)

на второй план выявление ярких признаков сумасшествия, таких как галлюцинации или навязчивые идеи. Общие симптомы, схожие для всех разновидностей одного заболевания, могли основываться только на нарушениях, имеющих общую природу, могли относиться только к так называемым элементарным физическим функциям — мышлению, эмоциональности, воле. Такие нарушения, в свою очередь, могут происходить на различных уровнях и способны объединять в себе более общие случаи, которые характеризуются уже не полным расстройством умственных способностей, но исключительными случаями особенностей поведения, совместимыми, несмотря на отклоняющиеся от нормы внешние проявления, с социальной жизнью. Так классификация психических заболеваний постепенно проникала в область изучения «психопатов», в самом узком смысле этого слова; некоторых из них теперь можно было определять как больных с незначительными или приостанавливающимися расстройствами, с основными симптомами наподобие шизофрении. Именно таким образом Блейлер смог ввести понятие «латентной шизофрении», понятие, через которое он хотел показать, что случаи шизофрении за пределами психиатрической больницы встречаются значительно чаще, чем может представить себе психиатр в ходе работы.

В то же время эта искусственно созданная тенденция приводила к убеждению, что для выявления различных диагнозов следует учитывать не столько наличие того или иного симптома, сколько *общую манеру проявления болезни относительно окружающей действительности*. Блейлер объяснял различия, существующие между шизофреником и больным, страдающим маниакально-депрессивным психозом, через формулу, которая получила известность еще в то время, когда он говорил, что у нас не может быть эмоционального общения с первым, но такое общение легко можно вести со вторым. У этой простой формулировки были тяжелые последствия. Она подразумевала, что отныне нам недостаточно просто общаться с больными, чтобы оценить их состояние, описать и записать, будучи «учеными», проявлявшиеся у них симптомы; от нас требовалось вступать в эту игру во всем многообразии своей личности, чтобы противопоставить ей особенность, которая, с точки зрения эмоций, вырисовывалась из полного набора реакций больного. Диагноз, построенный на простом наблюдении, уступал свое место диагнозу, поставленному на основе *проникновения*, особая значимость которого была подчеркнута Бинсвангером¹⁸.

¹⁸ «La Schizophrénie», p.72.

В результате все более и более четко проступали значимые различия как между двумя заболеваниями, так и в их течении. Шизофрения способна развиваться и создавать, за короткий или за более длительный период, характерный для нее долговременный порок; таким образом, оказывается, что она поступательно разрушает нечто важное в человеческой личности. Согласно данной точке зрения, маниакально-депрессивный психоз принципиально отличается от шизофрении; он проявляет себя в форме припадка или депрессии, в форме маниакального возбуждения, но, по прошествии более или менее продолжительного срока, исчезает, не оставляя никаких следов; после припадка личность возвращается в то состояние, в каком была изначально, не проявляя больше никаких нарушений поведения в длительном периоде. Ясперс, касаясь этой темы, говорил о течении маниакально-депрессивного психоза по «фазам». Также мы можем говорить о его циклическом течении. Безусловно, здесь речь идет об эмпирических выводах. Однако это не мешает нам сделать заключение, что шизофрения и маниакально-депрессивный психоз имеют, в основе своей, если можно применить такое выражение, две совершенно противоположные стороны человеческой личности: при шизофрении происходит ослабление связей между отдельными составляющими психической сферы, что дает нам возможность объяснить поступательное развитие этого расстройства, тогда как маниакально-депрессивный психоз обладает лишь отстраненностью, которая совместима только с патологическими изменениями в виде «фаз».

В течение своего дальнейшего развития психиатрия должна была дать еще более широкое толкование понятиям, выделенным в результате противопоставления шизофрении и маниакально-депрессивного психоза. Это толкование было изначально подготовлено как на основании характеристики основных симптомов шизофрении у Блейлера, о которой мы уже говорили ранее, так и на основании понятия эмоционального общения; и то, и другое значительно выходит за рамки случаев проявления сумасшествия. Кречмер серьезно продвинулся в этом направлении. Мы обязаны ему появлением определений для тех, кого называют *шизоиды* и *шизотимики*, а также для различных типов, сначала ненормальных, а затем уже и нормальных людей, которых, несмотря на их внешние отличия, можно отнести, в зависимости от свойственных им ярко выраженных черт, соответственно, к страдающим шизофренией или маниакально-депрессивным психозом. Генеалогические исследования дали нам еще более серьезные основания для установления тесных связей между общими чертами

поведения душевнобольных, с одной стороны, и нормальных людей с аналогичными характеристиками — с другой. В качестве путеводной нити в этом сопоставлении постоянно учитывалось наличие или отсутствие эмоционального общения с окружающей средой.

Приняв за основу исследования Кречмера, Блейлер углубился в изучение понятий *шизоидии и синтонии*. Не беря в расчет область, занимающуюся изучением свойств характера, он видел в этом выражение двух *фундаментальных жизненных принципов*. Синтония отражает принцип, который позволяет человеку жить в унисон с окружающим миром, тогда как шизоидия, наоборот, связана со способностью дистанцироваться от окружающего мира. Шизоидия и синтония, несмотря на их очевидные противоречивые характеристики, являются взаимосвязанными принципами существования и непрерывно взаимодействуют в процессе жизни, регулируя гармоничные отношения с реальностью. Именно благодаря такому их гармоничному сосуществованию проявляется максимальное равновесие, ощущается блаженство и продуктивность, к которым, как нам кажется, мы имеем право стремиться. Здесь имеется в виду, что они вовсе не противоположны друг другу, а представляют две различные стороны нашего существа, каждая из которых очень значима.

Понятно, что обе эти стороны нашего существа, с того момента как они должны характеризовать прежде всего возможные реакции и стиль поведения индивида относительно окружающего мира, уже не могут вновь стать элементарными функциями классической психологии. В данных условиях, очевидно, мы будем усиленно пытаться придать большую выразительность принципам шизоидии и синтонии, попытавшись найти в обыденной жизни феномены, способные осуществить это самым живым способом, что невозможно сделать, не прибегая к решительным мерам. В случае синтонии, кажется, симпатия является преимущественным *характерным феноменом*. Но вскоре выясняется, что симпатия в том виде, в каком мы ее представляем себе в обычной жизни, также может обладать различными нюансами: она может быть более или менее разумной, более или менее интуитивной, может быть холодной, отвратительной, может содержать в себе теплоту, а еще, оказывается, она не способна истощать феномен синтонии, так как сама является лишь одним из его проявлений. Отсюда следует, что синтония сформирована на каком-то более обширном основании. Что касается анализа шизоидии, здесь мы столкнемся с еще более серьезными трудностями. В первую очередь, чтобы добиться наибольшей вероятности утраты контакта с окружающей реальностью,

давайте обратимся к природе самих феноменов, которые представляют собой что-то вроде реакции отступления от реальности. Именно по этой причине феномен бреда достаточно долго играл значимую роль в психопатологии шизофреников и шизоидов. Идеи Фрейда помогают сформулировать еще более простое объяснение: мы наделяем шизофреников насыщенной внутренней жизнью, которая, однако, не может выйти наружу. Кстати, и сам Блейлер, чтобы охарактеризовать стиль поведения шизофреников, вводит очень важное понятие: *аутизм*, определяя его как «преобладание внутренней жизни, сопровождающееся активным уходом из внешнего мира». В данных условиях, мы не могли не попробовать превратить такое преобладание внутренней жизни в *primum movens* (*первую движущую силу*) всего процесса. С течением времени оказывается, что, при наличии клинической картины, ни бред, ни внутренняя жизнь, похоже, больше не могут в приемлемой форме обозначить характерные черты шизофренической психики. Еще хуже то, что их недостаточно и при необходимости проникнуть в более раннюю природу возникновения шизофрении, являющейся в данном случае жизненным принципом. И действительно, в такой ситуации они не могут претендовать на эту роль; первоначально они использовали очень узкую базу и, к тому же, не могут непосредственно быть противопоставлены симпатии, которая, в свою очередь, была выбрана в качестве характерного феномена синтонии. Более того, в конце концов оказалось, что нет никакой возможности, используя их, объяснять различия, выявленные ранее, между течением шизофрении и маниакально-депрессивного психоза.

Необходимо было расширить рамки. Мы приходили к осознанию, что это связано с личностной деятельностью, с тем, что действительно является в ней личным, благодаря чему мы можем понять, каким образом происходит потеря контакта с реальностью. Именно такая деятельность, как бы противопоставляющая нас окружающему миру, заставляет отказываться, как минимум мимолетно, от тесного контакта с ним: здесь нам бы хотелось оставить окружающему становлению отпечаток личностного, черпая *внутри нас самих* необходимые для этого силы и полностью *поглощаясь* своим творением. Получается, что в личном порыве вырисовывается некий элемент шизоидии. Давайте воспользуемся объяснением Блейлера, который говорил о складывающемся впечатлении, что шизоидия является первопричиной (*weiterentwickelt*) синтонии. Таким образом, мы обнаружили, где же находится та дверь, через которую, в случае отклонений от нормы, в человеческую личность проникают патологические факторы, способные

видоизменить естественный разрез обычной шизоидии до открытой раны, до пропасти, которую уже невозможно будет перейти; а человек, через свой личный порыв, то есть через то, что в первую очередь обуславливает его движение вперед, будет все глубже и глубже погружаться в пустоту своей аутистической жизни, чем и объясняется *изменяющийся* характер шизофренических расстройств. Что касается бреда, то он представляется нам как вторичное, намного более незначительное возможное проявление шизофрении, призванное всего-навсего заполнить, только в некоторых случаях и более или менее хорошо, пустоту, возникшую в результате снижения личного порыва.

На основании данной концепции я и построил в своей книге изучение психопатологии шизофрении, о которой в том труде читатель найдет расширенную информацию; здесь же я могу представить ее только фрагментарно.

Мне кажется, вам будет интересно узнать, что я считал самым главным в рукописной версии моего исследования: уже с 1915 года я полагал, что это должен быть критерий ограничения или потери, так как он выступает в качестве одной из ведущих характеристик личного порыва; то есть в моем случае все это было намного раньше, чем начали обсуждать вопрос шизоидии. Отсюда следует, что в моих феноменологических исследованиях личного порыва я совершенно не пытался вывести, тем или иным образом, черты шизоидии, позитивные в психиатрии; эти черты были сформированы в моем сознании независимо от возникновения самого понятия, таким образом, они должны были предоставить мне возможность в самой естественной форме установить связь с ними. Совместными усилиями мы двигались в одном направлении к одной цели (исключительно для того, чтобы показать это совпадение, о котором я уже говорил), доказывая тем самым, что они соответствуют глубочайшей потребности предоставить новое направление для развития как психологии, так и психопатологии, или, еще лучше — всей нашей концепции человеческой личности, как в ее нормальных проявлениях, так и в патологических.

3. Цикл личного порыва

Все, что выше было сказано об основных критериях личного порыва и о витальном контакте с реальностью, позволяет нам ввести понятие *цикл личного порыва*. Вот что я писал ранее по этому вопросу:

«Рассуждая о синтонии, мы уже изложили, каким образом нам удастся проникнуть в окружающие нас события, смешаться с ними,

звучать в унисон под их влиянием. Однако это всего лишь один из аспектов нашей жизни, он ее совершенно не истощает. На фоне этой гармонии все более и более ярко прорисовывается и проявляет себя личный порыв. Между нами и миром образуется разрыв; мы уже не хотим просто смешиваться с ним, а еще меньше хотим подстраиваться под него; мы все сильнее стремимся проявить свою личность, вывести наружу самую сокровенную составляющую своего «я», оставить свой личный след в становлении, воздействовать через свое «я» на этот безграничный мир, снова творить и создавать. Таким образом, мы сами себя противопоставляем этому миру и ощущаем, как теряем контакт с ним. Чем более этот порыв неистовый и личный, тем значимее противопоставление между нашим «я» и окружающим».

«Можно сказать, что здесь также возникает критерий шизоидии. Однако у данного противопоставления существуют границы. Порыв приводит к созданию творения (в самом широком смысле этого слова), а оно, в свою очередь, каким бы революционным ни являлось, значимо, но только при условии, что обладает некой ценностью, всегда направлено на кого-то и пытается слиться с реальностью. Творение, отделившись от нас, способно, в большей или меньшей мере, произвести переворот в окружающем становлении; при этом равновесие восстановится, а становление по-прежнему будет распространять свои мощные потоки, как и раньше. Следует обратить внимание, что существуют *пределы*, которые личный порыв никогда не сможет преодолеть. В тот момент, когда мы пытаемся создать нечто *абсолютно* личностное и не хотим ничего иного, а голос личного порыва приобретает властность и воспринимается слишком буквально, практически с полуслова, творение не становится еще более революционным или более оригинальным; вовсе нет, его значимость снижается, оно начинает напоминать результат деятельности сумасшедшего или больного; а жизнь, ни на что не обращая внимания, проходит мимо. Однако, где эти пределы, о которых мы сейчас ведем речь, насколько высокими умственными способностями нужно обладать, чтобы попытаться дать им точное определение? Дискурсивному мышлению это не под силу; только интуиция (синтония) может навести нас на эту мысль».

«Между тем и это еще не все: как только творение завершено, сразу же наступает расслабление; разрыв с окружающим исчезает; мы вновь испытываем потребность слиться с ним, проникнуть в него, почерпнуть там новые силы. Мы позволяем себе *передохнуть* какое-то время; эту передышку нельзя назвать ни бездельем, ни простоем, ни временным перерывом в работе, рекомендованным психогигиеной,

наоборот, это время богато живым содержанием; мы по-прежнему качаемся на волнах становления, утоляем жажду в его живых источниках, упиваемся прекрасным чувством — быть с ним одним целым. Затем личный порыв вновь пробуждается; очистившись, он полностью видоизменяет элементы, которые только что позаимствовал в источнике реальности, он возвышается во всем своем драматичном могуществе над этой реальностью, ищет, куда бы ему направиться, чтобы создать новое творение».

«Далее цикл повторяется, еще и еще, он продолжает повторяться бесконечное число раз, до тех пор, пока в нас теплится духовная жизнь».

Безусловно, это вовсе не значит, что наша жизнь может быть разбита на составляющие, на периоды отдыха и творчества, которые сменяют друг друга. Иначе она представляла бы собой стандартную геометрическую схему. Цикл, о котором мы здесь ведем речь, обладает более динамичным характером; он в первую очередь отображает взаимосвязь и взаимопроникновение двух основных принципов нашей жизни: личного порыва, поскольку тот образует разрыв между нами и окружающим, и витального контакта с реальностью, со всем тем, что в нем есть гармоничного и успокаивающего. Это наводит меня на мысль, что, по сути, мы стремимся посредством своего порыва достичь того, что нам и так дано благодаря витальному контакту с реальностью, нужно всего лишь быть в согласии с самим собой и со становлением; но нам приходится искать его таким образом, ибо просто контакт с реальностью не может удовлетворить наши потребности; в силу своих природных особенностей он является своеобразной основой и мишенью для порыва, однако никоим образом не может быть создан им. В этом и заключена истинная драма, но также и истинное величие нашей жизни.

Важность отдыха, в правильном значении этого слова, теперь становится понятна. Если бы только большее количество людей могло узнать, что на самом деле значит «отдыхать» и если бы только современная жизнь не пыталась отучить нас правильно отдыхать!

ГЛАВА IV

БУДУЩЕЕ

*(Феномены, возникшие на основании
выражений «еще дальше» и «за горизонтом».
Принцип вкладывания одного в другое)*

1. Общая информация

Астрономия достигла такого развития, что теперь уже способна точно определять момент, когда произойдет солнечное затмение, метеорологам удастся предсказывать погоду, мы прогнозируем развитие заболевания лежащих больных, даже в обыденной жизни мы в большей или меньшей степени знаем, что собираемся делать завтра или послезавтра, — попросту говоря, мы постоянно пытаемся предвидеть будущее. Никто не станет ставить под сомнение значимость всех этих предсказаний. В то же время мы будем сторониться одаренного субъекта, обладающего способностью предвидеть *все*, точно так же, кстати, как и обладающего уникальной памятью, запечатлевающей все подобно фото пленке, а умение воспроизводить абсолютно все вообще покажется нам чудовищным, ибо то, о чем мы только что говорили, является исключительной чертой *знания*; если оно и определит тип нашего поведения, это все равно ничего не скажет нам о том, как мы *проживаем* будущее и прошлое. Вот и обозначился вопрос, который нам следует изучить: самостоятельно ли мы узнаём, каким образом проживаем будущее?

Попытаемся ответить на него. Очевидно, что так мы не сможем охватить эту проблему полностью, потому что в данном случае мы добровольно исключим имеющиеся у нас, пусть и путанные, знания о будущем, знания, которые обогатят его через наше общее отношение к этой проблеме. Однако здесь мы прежде всего пытаемся изучить

именно способ проживания будущего, а значит, описать и разделить на группы феномены, которые никак не могут представлять собой простое отражение наших знаний, почерпнутых из прошлого и перенесенных на будущее наподобие прямой линии, являющейся продолжением этого прошлого, феномены, которые, напротив, содержат «будущее» в самих себе, образуя нечто вроде «временных знаков», что мы уже затрагивали ранее (Глава I, 1).

То, что в этом исследовании будущее идет перед прошлым, должно показаться вам вполне обоснованным, если учесть предыдущие рассуждения по поводу личного порыва, который *самым естественным образом* содержит в себе понятие *направления во времени* и доказывает, что вся наша жизнь в значительной степени ориентирована на будущее. Что касается памяти, где записаны события и уже изученные вещи, то она намного ближе к знанию, нежели к самой жизни, следовательно, может иметь лишь вторичное значение при анализе проживаемого времени. И даже если в некоторых ситуациях нам удастся *вновь пережить* прошлое через наши воспоминания или *прожить* их в прошлом, то речь идет именно о «вновь пережить» и о прожить «в», тогда как будущее мы проживаем в более прямом смысле и сразу же таким образом, что именно к нему устремлены все наши взоры.

Как только вопрос «как же мы проживаем будущее?» возник передо мной, моей первой задачей стало выделить жизненные феномены, способные дать на него ответ. Для этого нужно было освободиться от распространенных понятий вроде добровольного или рефлекторного движения сознания, репрезентации — понятий, с которыми, как я полагаю, в обязательном порядке связана человеческая деятельность во всех ее возможных проявлениях. Постепенно я пришел к этому. В результате мне удалось вывести шесть феноменов: *деятельность и ожидание, желание и надежда, молитва и моральный поступок*. Эти феномены, на мой взгляд, можно разместить на трех уровнях, которые, как мне кажется, и являются основой проживаемого будущего и участвуют, каждый по-своему, в его общей структуре. Получается, здесь речь идет о том, чтобы изучить их с данной точки зрения, определить, какие между ними существуют отношения, и выделить им место в общей группе изучаемых в этой работе сведений.

В первую очередь я должен был обдумать общие положения. Как мы уже видели, жизненный порыв ставит будущее перед нами. Кажется, по поводу будущего этим уже все сказано. Но разве так на самом деле? При изучении основных критериев личного порыва мы

уже столкнулись со значительными сложностями и не раз говорили, что наш порыв *широко открывает* перед нами будущее.

Мы смотрим на будущее и видим его *обширную* и величественную *перспективу*, которая может затеряться вдалеке. В своем величии оно доходит до таинства, однако это таинство также является неотъемлемой частью нашей духовной жизни, таким же необходимым элементом, как чистый воздух для дыхания. Именно оно превращает будущее в своеобразное хранилище сил, неиссякаемое и вечное, без которого мы больше не сможем жить.

Как же мы далеки от идеи неизменной последовательности событий и той самой прямой линии, что, в нашем представлении, должна обозначать время в этой последовательности! Размеры пространства слишком малы, чтобы на их основании постичь мощь будущего. Оно содержит в себе *протяженность*, величие, могущество. Невольно на ум приходит изображение *горизонта*, когда наш взгляд, устремляясь в бесконечность, замечает, как земля сливается с небом.

Изображение пространства всего лишь метафора — возразят некоторые. Я сам себе говорил это не раз и все же не смог себя убедить. Почему же тогда изображение горизонта и представление о будущем так хорошо сочетаются друг с другом? Они смешиваются, когда мы пытаемся различить их, и невозможно сказать, какое из двух более простое, какое из них позаимствовало составные части у другого. Безусловно, проблема разрешается сама собой, если за постулат мы примем главенство ощущений и пространства. Однако доказан ли данный постулат? Действительно ли «смотреть» — это просто видеть глазами? Или «видеть» является одной из конкретизаций более общего феномена? А пространственный горизонт, который растягивается перед нами, вернее, даже не двигается с места, когда мы перемещаемся, оставаясь при этом таким же неуловимым, хотя мы видим его так же, как и все остальные предметы, окружающие нас? Это изображение, не навязано ли оно нам со стороны, не является ли оно всего лишь театральными декорациями, просто иллюзией или, наоборот, мишенью, одновременно ускользающей и неподвижной, к которой устремлены все наши взгляды, к которой мы стремимся, не имея ни единой возможности ее достичь? Кстати, когда мы открываем глаза и говорим себе, что смотрим *перед* собой, это «перед» — просто принятое условное название, или оно содержит в себе нечто *абсолютное*, какое-то «перед» либо какое-то «вперед», реальное и необратимое, перспективу, ради которой каждый из нас готов броситься вперед? И разве в этом «вперед» время и будущее не отражены

в значительно большей степени, нежели пространство? Сколько увлекательных вопросов, которые, с учетом того, как они заданы, кажутся, уже подводят нас к ответу.

Идея об *общности времени и пространства просматривается* все более и более явно. При этом мы видим, как где-то вдалеке вырисовывается проблема *проживаемого пространства* — пространства, которое больше не может разбивать и обездвиживать время, формируя его по своему усмотрению, пространство, которое содержит время в себе, максимально оживляя его, наполняя всем тем, что является мобильным и динамичным в нем самом.

Когда, изучая будущее, мы говорим о протяженности, о перспективах и горизонте, нам кажется, что это вовсе не метафорические сравнения. Напротив, в данном случае речь идет об основных характеристиках будущего, которые ему свойственны ровно настолько, насколько и соответствующие данные пространственного порядка. Теперь нас уже не удивит утверждение, что будущее, в нашем представлении, является одной из самых *стабильных* сторон света во времени, если такое сравнение допустимо. В то время как настоящее, развертываясь, оказывается в большей или меньшей степени мимолетным, а прошлое постепенно удаляется от нас, будущее остается неизменным, оно *не изменяется*, по крайней мере, не меняется полностью. И каким бы парадоксальным нам это ни казалось, складывается впечатление, что становление не имеет влияния на будущее. Безусловно, если завтра мне должны сделать операцию, каждый миг своего существования я ощущаю приближение рокового момента, хотя на самом деле, даже с учетом того, что произойти это должно в определенное время, будущее, настоящее будущее, начнется для меня только после наступления этого момента. Будущее неисчерпаемо. И даже потоки становления не могут достичь его; постоянно стремясь к бесконечности, постоянно теряясь вдалеке, они оставляют за своими пределами некую границу, которую, несмотря на ее удаленность, отчетливо видно. Именно эта граница и наводит нас на размышления о горизонте, именно она наделяет своими чертами феномен будущего, а мы даже не можем заметить, каким образом она это делает.

Составная часть, которую мы называли «горизонтом», подводит нас к понятиям наиболее близкого и наиболее отдаленного или, избегая выражений количественного характера, к таким, как «немедленно», «промежуточно» и «горизонтально». Эти понятия будут встречаться по ходу всей главы.

2. Деятельность и ожидание

Деятельность — это открытое проявление черт живого существа; она ни в коем разе не может быть разложена на множество различных деятельностей, каждая из которых направлена на достижение точной цели; скорее она образует единую основу для всех этих деятельностей, связывая их между собой. Это главный феномен жизни. Все, что живет, — проявляет активность, а все, что проявляет активность, — живет.

Деятельность — это феномен временного характера; он является частью становления, а не бытия. Правильнее будет сказать, что он содержит в себе фактор будущего, поскольку в своей деятельности человек направлен вперед и создает будущее перед собой, а также фактор личности как активной личности или личности, ориентированной к будущему, что, несомненно, связано с длительностью как составляющей проживаемой длительности; это — *активная длительность* или, точнее, *длительность, нацеленная в будущее*. Иначе говоря, любая проживаемая длительность, которая стремится в будущее, может быть только активностью.

Думаю, вам будет интересно узнать, какое место среди остальных элементов сознания первоначально отвел деятельности Липпс¹⁹: он видел в нем «константу», основу, общую для всех чувств. Однако я бы предпочел не говорить о «чувствах» в отношении деятельности. Здесь обнаруживается феномен, который нам очень близок, который всегда у нас «под рукой» и настолько, что мы можем ощутить его на самом деле, но маловероятно, что мы способны его себе представить; будучи всегда поблизости, он являет собой скорее ближайшие сведения нашего сознания.

Захваченная врасплох, в одной из своих форм, деятельность движется дальше. Она никогда не прекращается, не останавливается и не фиксируется и таким образом касается непосредственного, *ближайшего* будущего. Именно благодаря ей у нас и формируется понятие этого ближайшего будущего. Она словно взгляд, которым можно окинуть все пространство, не утверждая при этом, что его реально охватить полностью. Но деятельность — это не простой «взгляд»; она находится в одной плоскости с «я», стремящимся к чему-то; другими словами, она является настоящей «ступенькой» и единственным способом действительно двигаться в жизни вперед. Однако, безусловно,

¹⁹ Lipps T. *Vom Fühlen, Wollen und Denken*, 2^e Auflage, 1907, p.13.

это вовсе не значит, что деятельность — единственный способ про-
живать будущее.

Чуть выше мы уже говорили об утверждении своего «я» и о творении. Сейчас мы можем использовать деятельность в качестве естественной основы для этих феноменов. Ведь только через мою деятельность я смогу создать что-то, хотя сам процесс создания не будет непосредственным образом связан с деятельностью. С другой стороны, творение, как оказалось, обладает способностью отделяться от деятельности, не будучи полностью поглощенным ею.

Временный характер, который мы недавно подчеркивали, совершенно не истощает сам феномен деятельности. За пределами будущего, кажется, имеется еще одно направление для развития деятельности; в ней самой существует «увеличение». Живое существо раскрывает себя именно через свою деятельность, и у нас даже возникает желание сказать, что оно «выросло». Хотя на самом деле «увеличение» вовсе не заключается в увеличении объемов; ведь не может быть и речи о воздушном шарике, который сам бы надувал и сдувал себя по собственному желанию. В полной мере ощущая в деятельности явное увеличение, я совершенно не ощущаю его выходящим за границы, в физическом смысле этого слова. Тем не менее, в деятельности присутствует некий «рост», и то, что «выросло», вовсе не является результатом сравнения двух статистических величин, а представляет собой лишь стремление к большему *становлению*, вместе со всем тем, что есть в нем динамичного, но без того, чтобы, в какой бы момент это ни происходило, мог возникнуть вопрос о большем *бытии*. Мы ощущаем, как раскрываемся через деятельность, оставаясь при этом неизменными по сути своей.

Теперь мы можем представить нечто похожее на сферу, *сферу нашей деятельности*, которая определена самой этой деятельностью и не имеет ничего общего с геометрическим понятием сферы, но содержит в себе некоторые общие черты с пространством. Можно сказать, что в геометрическое пространство просачивается еще одно пространство — проживаемое пространство, которое, никоим образом не прогибаясь под его жесткими правилами, умудряется придать ему свои черты. Очевидно, мы уже можем констатировать это, однако пока просто отметим, так как, мне кажется, здесь необходимо более серьезное развитие. Чтобы эта констатация стала допустимой, следует напомнить, что мы не только рассматриваем пространство и изучаем геометрические отношения, которые существуют внутри него, но и сами *живем в этом пространстве*, что вся наша жизнь, как

личная, так и коллективная, разворачивается и протекает в самом пространстве; кроме того, возможно, наряду с рациональным пространством, существует и проживаемое пространство, мы еще изучим его более подробно. В любом случае, способы, которые мы применяем для жизни в будущем, во времени и в пространстве, как уже, кстати, говорилось ранее, тесно связаны между собой; они перекликаются и даже сливаются в силу их иррационального характера.

Это и есть деятельность, определяющая свою собственную сферу. Границы сферы мне неведомы, но они не могут выходить за пределы деятельности, просто констатируя, что моя деятельность распространяется сюда, но не может двигаться дальше; нет, границы определяет сама деятельность. Именно поэтому я вовсе не ощущаю себя пленником сферы моей деятельности и не бьюсь внутри нее о стены, наоборот, я чувствую себя там очень комфортно, мне нравится свободно там находиться. Я совершенно не страдаю от того, что не могу дотянуться до солнца или спустить его на землю; моя деятельность разворачивается внутри этой сферы, получая удовлетворение. А если благодаря развитию технического прогресса мы научимся перемещаться из одной точки в другую с невероятной скоростью, сфера моей деятельности, в самом простом значении этого слова, тем не менее, останется в рамках границ, как и раньше; если я буду перемещаться поездом, самолетом или на автомобиле, управляя ими сам, моя личность станет частью механической системы, которая перемещается в пространстве с более или менее высокой скоростью; это может лишь увеличить мое ощущение могущества, но сфера моей ближайшей активности никоим образом не изменится.

Итак, деятельность содержит в себе и критерий *ограничения*. Здесь обнаруживается *динамическое* ограничение, так как оно определяется одним-единственным видом деятельности. Более того, это и *качественное* ограничение; речь идет вовсе не о блоках в однородной среде и даже не о центрах деятельности во всеобщей деятельности, но о том, благодаря чему в результате своей деятельности живое существо отделяется от чего-то, принципиально отличающегося от него, а именно — от инертной и безындивидуальной *среды*, где свободно существует и раскрывается его деятельность. Как и становление, деятельность влечет за собой возникновение понятия среды, которая, кстати, больше не относится к становлению. Для наглядности представьте себе рыбок, плавающих в воде, или животных, рассекающих воздух: и те, и другие просто передвигаются в своей среде, не оказывающей им никакого сопротивления, или, если вам так больше

нравится, передвигаются в свободном пространстве — вот и все, что они делают.

Точно так же, как и в будущем, подобное ограничение через расширение предполагает момент *ближайшего* контакта с окружающей средой. Скорее всего, здесь мы с тем же успехом можем говорить «о *пустом* окружающем», оставляя за собой право считать, что слово «пустом» в данном случае употреблено исключительно в негативном значении, при этом в нем выделена лишь характеристика среды, в которой *благополучно* разворачивается наша деятельность.

И тут меня посетила мысль: любой индивид в чем-то ограничен; логично, что и все его поступки тоже ограничены; любое чувство, по факту того, что принадлежит мне, будет ограничено мной самим; то же самое и с моей деятельностью. Но, если рассмотреть все это подробнее, мое «я» может отделиться от окружающего мира только через свою деятельность; именно в ней, преимущественно, и содержится в самой простой форме понятие ограничения моего «я». Чувства совершенно не ограничивают меня, в отличие от моей деятельности. С другой стороны, вовсе не было сказано — и я хочу напомнить, на чем настаивал в предыдущей главе, рассуждая о проникновении, — что любые проявления моего «я» являются исключительно моими собственными.

Таким образом, ограничение, рассматриваемое здесь, не имеет ничего общего с чувством бессилия, которое мы испытываем, когда сталкиваемся в жизни с тяжелыми непреодолимыми обстоятельствами. Предел моих сил — это вовсе не то же самое, что ограничение моей деятельности. Только со временем я смог понять суть существования обстоятельств и измерить объем усилий, которые могу приложить, чтобы достичь, несмотря на обстоятельства, того, чего хочу; а деятельность — необходимый мне контейнер, где я и накапливаю этот опыт. Безусловно, я откажусь поднять тяжесть весом в десять килограммов, если точно знаю, что это выше моих сил; пребывая в неведении, я бы, конечно, попытался сделать это; в случае неудачи мне было бы досадно, в случае удачи, наоборот, я испытал бы ощущение успеха и могущественности. Однако ни удача, ни поражение совершенно не изменили бы мою деятельность в ее первичном виде, они не могут поменять ее основные характеристики, которые формируют, как мы уже отмечали ранее, истинную основу нашего жизненного опыта относительно того, что мы в состоянии сделать и осуществить. Я вновь обращаю внимание читателя на то, что было сказано в начале второй главы этой книги по поводу творения. Кстати, ограничение,

о котором мы говорим, это скорее ограничение *через* деятельность, нежели ограничение *самой* деятельности; то есть у нее нет ничего общего с чувством беспомощности.

Получается, что внутри самой деятельности нет ни чувства могущества, ни чувства бессилия; она представляет собой простой и практически нейтральный феномен. Я говорю «практически», так как в ней все же есть кое-что позитивное. Иногда мы позволяем себе просто жить; кажется, что элементарная деятельность удовлетворяется сама собой, в такие моменты она сближается с феноменами синтонии и отдыха, однако отличается от них в силу ее особенных характеристик. В такие моменты она сопровождается особым колоритом, на самом деле совершенно неброским, но достаточно четким, чтоб быть заметным; этот колорит, полагаю, мы могли бы назвать: *простая радость жизни*.

Я вспоминаю, как во время войны, после тяжелых сражений, с полностью опустошенными душами, мы отправлялись отдыхать и не могли помешать себе, практически против своей воли, ощущать самое примитивное, органическое, я бы даже сказал «животное», чувство радости, связанное с любым нашим движением, с каждым жестом, пусть и самым банальным, иными словами — с деятельностью, что, по сути, доказывало нам: мы все еще живы.

Жизненный феномен, который противостоит деятельности, но одновременно разворачивается в том же плане и не является пассивным, как желал бы наш разум, — это *ожидание*.

Безусловно, здесь мы не имеем в виду ожидание конкретного события, которое, в соответствии с нашими предчувствиями, должно произойти в какой-то определенный момент, как, например, ожидание поезда, прибывающего через полчаса. Здесь идет речь о насыщенном ожидании измеряемого времени; именно поэтому ожидание — комплексный феномен. Во время ожидания я могу потратить свое время на что-нибудь еще: могу читать книгу или просто ходить взад-вперед по перрону; могу погрузиться в свои мечты или попытаться внутренне оценить, сколько времени прошло; могу выражать свое нетерпение или стоически ждать; а событие, которого я жду, может быть и радостным, и неприятным, и даже нейтральным. Но в любом из подобных случаев приходится пропустить какой-то отрезок времени, чтобы затем увидеть ожидаемое событие. Здесь мы обнаруживаем множество

перепутанных между собой критериев различной природы, как если бы оказалось, что ожидание может быть растянуто в длину таким образом, чтобы соединить отрезок измеряемого времени. То же самое происходит и с другими действиями, которым М. Жане отводил очень значимую роль в генезисе понятия времени. Здесь мы вовсе не пытаемся распутать замысловатое сплетение этих разнообразных критериев; задача нашего исследования в другом. Однако нам не хотелось бы забывать про такое «затянувшееся ожидание», ведь, воспользовавшись возможностью, которую оно нам предоставляет, можно сделать важное умозаключение общего характера: через деятельность мы стремимся в будущее, а в ожидании проживаем время, так сказать, в обратном направлении; мы видим, как будущее приближается к нам, и дожидаемся, пока это будущее (планируемое) станет настоящим.

Ожидание, будучи одной из жизненных позиций, намного более простое, оно должно уступать место затянувшемуся ожиданию, о котором мы только что говорили, и представляет собой, в своей первичной структуре, совершенно иное. Оно охватывает каждое живое существо, может приостановить его деятельность или заморозить ее, наполнив его тревогой ожидания. Оно содержит в себе критерий грубой остановки и заставляет индивида потрудиться. Можно сказать, что любое становление, сконцентрированное за пределами индивида, погружается в мощную враждебную массу, пытаясь уничтожить его; оно словно айсберг, внезапно появившийся перед носом корабля, который буквально через миг разобьется, столкнувшись с ним. Таким образом, ожидание проникает в индивида, наполняя его ужасом перед встречей с чем-то неизвестным и неожиданно возникшим, с чем-то, что через мгновение поглотит его. Простое ожидание неизменно связано с сильной тоской; это всегда волнующее ожидание, в чем, кстати, нет ничего удивительного, потому что оно представляет собой *временное прекращение* деятельности, которая, по сути, является самой жизнью. Иногда, без каких бы то ни было видимых причин, нас посещают образы смерти: смерть нависает над нами во всем ее разрушающем могуществе и приближается к нам огромными шагами; тоска и страх сжимают нас как тиски; совершенно обессилив, мы *ждем* фатального краха, на который сами себя беспощадно обрекли. Перед лицом неминуемой опасности мы дожидаемся ее, застыв на месте, словно парализованные от ужаса. Сейчас нам удалось создать одно из лучших описаний ожидания.

В таком случае ожидание имеет что-то общее с феноменом чувственной боли. Очевидно, мы можем испытывать приятные

и неприятные ощущения, можем вдыхать аромат духов и смрад зловония, пробовать фрукты со сладким или горьковатым вкусом, но чувство боли среди всех наших ощущений занимает особое место. Оно дает нам ощутить удар, нанесенный непосредственно нашим жизненным силам какой-то другой чужеродной силой, что нарушает ход всего нашего существования. А если рассмотреть подробнее, то можно заметить, что любое непосредственное воздействие среды на живого человека всегда для него болезненно. Такие воздействия оказывают на нас глубокое влияние, а ведь мы хотели просто активно жить. Однако, если заглянуть в область чувств, не обнаружим ли мы *положительный* аналог боли? Приятные ощущения, как уже говорилось, противопоставляются неприятным, но не самой боли; такой аналог следует искать в другом месте, и найти его мы сможем, как мне кажется, в положительном *своеобразном* чувстве, которое возникает в результате завершения действия или поставленной задачи. То же самое, в принципе, происходит и в случае ожидания. Оно может стать причиной возникновения нескольких ожиданий, связанных как с радостными событиями, так и с печальными, но в своем первоначальном виде всегда будет ожиданием, наполненным тоской и страхом. В нем есть нечто, напоминающее отражение, — на случай превращения в неприятное событие, если этого не произошло ранее. Здесь, как и в отношении боли, мы обнаруживаем то, что противопоставлено его отрицательной характеристике: это вовсе не приятное ожидание, а прежде всего — элементарная радость жизни, связанная с деятельностью, или, правильнее будет сказать, — удовлетворение от завершенного действия, направленного на достижение обычной цели, в самом широком смысле этого слова, действия, которое в полной мере спасает нас от отчуждения, высвобождает из тисков ближайшего окружения.

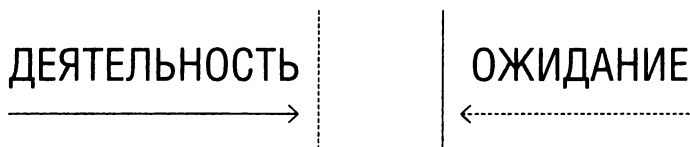
Однако, по сравнению с болью, ожидание — феномен временного порядка. В нем содержится некоторая доля будущего, и это будущее — непосредственное, ближайшее. Здесь все понятно. На основании данной точки зрения, ожидание находится в той же плоскости, что и деятельность. Но между ними существуют различия. Если в деятельности человек направлен к будущему и всячески стремится к нему, то в ожидании он поворачивает будущее в противоположном направлении и видит, как будущее со всей стремительностью движется ему навстречу. Помимо того, деятельность содержит в себе *длительность*, она сама является активной длительностью, как мы уже говорили. В случае ожидания это совсем не так. Оно, по сути своей, — всего

лишь вспышка, *мгновенная* остановка жизни, и именно так ему удастся включиться в жизнь, которая является активной по умолчанию. И, каким бы парадоксальным это ни было, в ожидании я проживаю время *мгновенно*. Таким образом, ожидание в большей мере сближается с последовательностью, как мы описали ее в первой главе, нежели с проживаемой длительностью. В ожидании нет длительности, нет организации во времени, однако есть как бы два элемента времени, *следующие один за другим*, причем следующие в особой манере: момент, который должен настать, проживается практически в одиночку в стремительном движении в моем направлении, исключая при этом настоящий момент. Здесь все акценты сводятся к моменту «Б» данной последовательности, поскольку этот момент, если можно так выразиться, поглощает все становление и не оставляет никакой возможности существовать моменту «А», который предшествует ему в форме простого предположения. Более того, не будет ли ложным, если я скажу, что через ожидание проживаю настоящее и ближайшее будущее, непосредственно связанное с ожиданием? Ведь на самом деле я проживаю лишь будущее, которое, как ни странно, стремится стать настоящим. Итак, мы видим, что ожидание имеет нечто общее с последовательностью, помещенной на границе проживаемого между двумя событиями, но отличается от нее тем, что наступающий момент в полной мере главенствует над ситуацией, а также потому, что «второе бытие» в таком случае словно бы деформируется. Но, что бы там ни говорили, ожидание, как и проживаемая последовательность, не содержит в себе никакой длительности.

Чуть выше мы уже упоминали о затянувшемся ожидании. У меня сейчас отсутствует желание объяснять причину его возникновения, однако мы можем отметить, что это ожидание значительно ближе к феномену деятельности, чем к жизненному феномену ожидания. Даже на основании того, что оно длится, затянувшееся ожидание уже приближено к деятельности, и по-другому быть не может. В нем, безусловно, имеются некоторые черты простого ожидания, в том смысле, что у него есть характеристика «временного» и оно в обязательном порядке должно завершиться, иначе само наше существование было бы просто скомпрометировано. Представьте себе собаку, почившую на могиле хозяина; безусловно, для нас, излишне сентиментальных, это пример непоколебимой верности, хотя на самом деле, что наглядно продемонстрировал М. Жане, собака всего лишь ждет, совершенно не понимая моделей поведения, которые навязаны человеку, в той или иной форме, в случаях смерти.

Здесь я бы хотел отметить, что, если бы мышление, пропитанное принципом симметрии, противопоставило бы деятельности пассивность, оно бы ошиблось. Во-первых, жизнь противопоставляет деятельности не пассивность, а ожидание, и, во-вторых, вероятность жизни в пассивности так же мала, как и вероятность жизни в ожидании, поскольку любой феномен, который длится, насыщается силами активной длительности. Таким образом, этот квиетизм, каким бы заманчивым он ни казался, является всего-навсего плодом воображения; он в высшей степени нереален и очень серьезно противоречит ближайшим данным жизни.

Если сейчас у нас возникла необходимость представить через пространственное изображение различия временного порядка, существующие между деятельностью и ожиданием, мы с радостью обратимся к схеме, представленной ниже, где можно увидеть как разнообразие направлений, в котором существует будущее, так и характеристики длительности и мгновенности действий, которые противопоставлены друг другу в двух направлениях:



Параллельно с таким различием временного характера мы можем утверждать, что существуют различия и другого порядка. В ожидании проявляется *уменьшение объемов* живого существа, одно «значительно меньшее» становление, которое противопоставляется распространению деятельности. В ожидании человек сгибается под самим собой, съеживается, пытается, скажем так, выставлять напоказ в этой схватке с враждебным окружением наименьшую часть себя, и, поступая таким образом, он отделяется от этого окружения, устанавливает свои собственные границы по отношению к нему. Едва ли нужно специально настаивать на особом динамичном, качественном и иррациональном характере этого ограничения путем сокращения ожидания, нужно лишь перенести все то, что уже было сказано по поводу его распространения.

Сейчас я не буду задерживаться на вопросе объединения деятельности и ожидания и на новых данных о структуре живого существа и его отношениях с окружением, которые могут возникнуть в результате этого объединения. В геометрии, если одна линия выходит из точки «А»

в точку «Б», та же самая линия приведет нас из точки «Б» в точку «А», не добавляя на своем пути ничего нового. Однако в жизненных феноменах все совершенно по-другому. Если при центробежном направлении живое существо способно отделиться от среды через свою деятельность, то в центростремительном направлении оно ограничивается ожиданием. Скорее всего, именно благодаря этим двум направлениям деятельность и ожидание определяют ведущее положение индивида в мире. Если в своей деятельности, которая раскрывается в пустоте, я олицетворяю собой практически все и если в ожидании, сведенном до самого простого выражения моего «я», существует опасность для меня быть поглощенным окружающим становлением и превратиться в «ничто», то именно благодаря соединившимся между собой ожиданию и деятельности я и являюсь тем, кто я есть, — существом, подверженным ограничениям, живущим в этом мире и имеющим возможность проявлять себя в нем через деятельность, а значит, способным переносить удары, обрушивающиеся на меня извне. Вероятно, точно так же при переходе из деятельности к ожиданию и в обратном направлении прерывание деятельности ожиданием позволяет нам осознать, что значит понятие активной чувствительной поверхности, места взаимного влияния моего «я» и ближайшей окружающей среды.

Впрочем, на сказанном выше я не настаиваю. Главная идея этой книги — изучение времени, особенно то, каким образом представлены жизненные феномены с интересующей нас точки зрения. А этому, как мне кажется, уже было посвящено немало страниц, и, значит, мы можем продолжать исследовать будущее. С другой стороны, наши рассуждения по поводу его распространения и сокращения уже позволяют понять, каким образом время и пространство смешиваются между собой, превращаясь, если так можно сказать, в некое проживаемое единство, единство, в котором пространство подчинено времени, а не наоборот. В физике время используется для того, чтобы проделать какой-то путь, возможно, параллельно с этим раскладываясь на отрезки преодоленного уже пространства. В жизни же, напротив, мишенью для нас является будущее; именно *в его направлении* мы движемся, а для этого нам нужно охватить пространство, которое в данном случае уже смешалось со временем и разделило с ним свои основные характеристики. Исследуя деятельность и ожидание, мы только что смогли рассмотреть, как понятие ближайшего будущего проявляется в них, одновременно относительно времени и пространства, делая их зависящими друг от друга. Все это послужит нам путеводной нитью в наших последующих исследованиях.

3. Желание и надежда

Желание и надежда размещаются как над деятельностью, так и над ожиданием. И желание, и надежда направлены в будущее, способствуют его созданию для нас. Можно сразу высказать главную мысль: желание и надежда идут дальше деятельности и ожидания, *превосходят их*, отдаляя ближайшее будущее и расширяя временную перспективу.

Такая перспектива, в той форме, в какой мы ее видим, не зависит от умения предвидеть, от возможных событий в более или менее отдаленном будущем, а вытекает из того, на что мы надеемся или чего хотим.

Однако, скажете вы, наши желания и надежды являются чем-то вроде подкладочной ткани, сотканной из тонких неосязаемых нитей, на которой разворачивается вся наша психическая жизнь; полностью состоящие из эмоционального, именно с этой частью жизни они и связаны. Данная сентенция даже не обсуждается. Точно так же во все времена поэты воспевали тайные стремления и надежды, радости и горести, постоянно волнующие человеческую душу. Так почему же мы должны оградить себя от поэтических феноменов нашей жизни, от того момента, когда они, не через свою конкретную форму, а в качестве жизненных позиций, принимают участие в общей структуре жизни? На основании этой точки зрения, феномены желания и надежды представляют собой, в рамках общей несущей конструкции проживаемого будущего, две ведущие основы. Именно с такой позиции нам и следует их изучать.

Мы сделаем это, даже не попытавшись ради малопонятного научного идеала приравнять их к так называемым простейшим чувствам или связать с какой-нибудь генетической теорией, наделяя более очевидными характеристиками в форме инстинктов, или с другими биологическими функциями. В этом нет никакой необходимости. На самом деле нас интересует вовсе не то или иное четкое желание, но желание и надежда, которые являются общими феноменами, позволяющими сказать, что всегда существует что-то, чего мы можем желать и на что можем надеяться в жизни, то, что позволяет нам подтверждать существование будущего, то, что способствует становлению общей картины жизни, в которой в особую последовательность выстраиваются все ее конкретные составляющие. Уж не обязаны ли мы существованию всего этого желаниям и, даже в большей степени, надеждам?

В повседневной жизни и желание, и надежда могут касаться прошлого. Я надеюсь, что мой товарищ не пострадал в железнодорожной катастрофе, о которой сегодня утром сообщили в газетах и список жертв которой еще не опубликован, — только бы я получил от него вести в ближайшее время. Несложно понять, что в данном случае речь идет о прошлом, но, поскольку мы с ним пока не связаны, оно больше напоминает будущее, чем прошлое. Более того, весть о катастрофе заставила меня надеяться на получение с минуты на минуту вестей от товарища; получается, в моей надежде содержится будущее. Таким образом, как только я буду нацелен на непоправимое прошлое, моя надежда, не имеющая никакого содержания, улетучится, чтобы освободить место другим чувствам — либо радости, либо отчаянию, либо сожалению.

Что касается эмоциональной окраски деятельности и ожидания, то они противопоставлены друг другу. Мы уже говорили о простой радости жизни, с одной стороны, и об ужасе ожидания — с другой. Удивляет, что, поднявшись на следующую ступеньку, мы обнаруживаем там всего два феномена, каждый из которых связан всегда лишь с положительными эмоциями: как сладко желать и надеяться! Между тем нас совершенно не беспокоит потребность наличия симметрии. Такая явная дисгармония является, по сути, абсолютно естественной. То, что в жизни имеет для нас положительное значение, вовсе не связано ни с земными благами, которые мы можем получить, ни с удовольствием, которое можем отведать; просто мы постоянно пребываем в состоянии стремления к большему, чем имеем, и всегда полны надежд и желаний. Какой прекрасной становится жизнь, когда в ней есть сладость желания и ожидания! Вывод, сделанный на основании всего сказанного, даже не стоит ставить под сомнение. «Ожидание становится удовольствием благодаря будущему, которое нам предначертано, возникающему перед нами во всем многообразии форм, но благоприятному и вероятному. Однако, если одно из самых ожидаемых явлений будущего произойдет, нам придется пожертвовать всеми остальными, а значит, мы многое потеряем. Идея о будущем, наполненном бесконечным множеством возможностей, является для нас более успешной, чем само будущее, поэтому мы находим больше очарования в надежде, чем в обладании чем-либо, в мечте, чем в реальности» (Бергсон). Особое очарование мы видим как раз в надежде, потому что именно она раскрывает перед нами будущее во всех его формах.

Возможно, я сейчас рассуждаю об оптимизме, хотя в действительности далек от этого. Оптимизм и пессимизм — вторичные

характеристики, причем обе являются составляющими жизненного опыта, и, кстати, эти два понятия никогда не смогут прийти к соглашению между собой. В любом случае, та категоричная манера, с которой оптимизм и пессимизм обычно противопоставляются друг другу, уже сама по себе доказывает, что они — часть экспериментального метода, а вовсе не созерцание жизненных феноменов через их отношения; они являются продуктом умозаключений, который возникает в рамках существования этих феноменов. И пессимизм, и оптимизм требуют постоянного развития, им необходимо опираться на факты, тогда как вопрос знания, если речь идет о желании и надежде, в жизни не возникает. Хочу напомнить вам, как я уже говорил чуть раньше по поводу чувственной боли, что он помог нам вывести фундаментальное понятие «живого существа, потревоженного внешним фактором», а затем разделить наши ощущения на приятные и неприятные. Точно так же, самое крайнее проявление пессимизма, если мы допустим его существование, совершенно не мешает констатировать, что именно надежда позволяет нам создавать перед собой будущее. Каждый из нас волен наполнить эти рамки по-своему, как оптимизмом, так и пессимизмом.

В своем исследовании «Пессимизм» (*«Pessimism»*, 1877) Джеймс Селли рассуждает о «наивном доверии» и «инстинктивной надежде» и демонстрирует нам, каким образом такое доверие и такая надежда снижаются, постепенно исчезая под влиянием «переживания, которого мы даже не предполагали, чувства отвращения, возникшего в результате глубоких ран, вызванных обманутыми надеждами». Очевидно, у этого явления есть черты жизненного опыта и общей разочарованности, более или менее обоснованной. Однако это совершенно не относится к надежде, в той форме, в которой мы ее изучаем: она не наивна и не инстинктивна, у нее нет ни одного доказательства неопытности, более того, самым значимым является то, что без нее ближайшее будущее не могло бы существовать.

Кажется, что вся наша жизнь наполнена, так сказать, «трехсторонними» противопоставлениями подобного плана. Феномен больших нагрузок может здесь быть и позитивным, и негативным, после того как предоставит фундаментальные сведения о жизни (это будет вершина треугольника), а под ним разместятся (будто у основания того же треугольника) два термина с умопостигаемой противоположностью, имеющие общие черты с обычным жизненным опытом и пытающиеся впоследствии логическим путем вписаться в обобщающий феномен. Аналогично обстоит дело с пониманием приятных

и неприятных ощущений относительно феномена чувственной боли; так же все происходит и в случае оптимизма и пессимизма или в случае доверия и недоверия относительно жизни, и в отношении надежды, которая является источником будущего.

Утверждать, что надежда — один из составных элементов прожитого будущего, — вовсе не оптимизм, но и не пессимизм. Чтобы осознать это, достаточно подняться над эмпиризмом обычной жизни. Если бы мы только знали, что значит «подняться над». Но это уже совсем другая проблема.

Что касается отчаяния, то оно представляет собой ответ на текущее событие; несмотря на характер исключительной значимости, которой отчаяние может обладать, оно является всего лишь «эпизодом» и ни на что не влияет в структуре будущего. «Грусть начинается после простого обращения к прошлому, приводит к обнищанию наших ощущений и мыслей, как если бы они содержали в себе, в том немногом, что нам дают, все возможное, а будущее в некотором роде было бы для нас недоступно» (Бергсон).

Тем не менее, давайте, не учитывая их сентиментального содержания, попробуем извлечь из феноменов желания и надежды основные характеристики, на основании которых они принимают участие в общей структуре жизни и мира. Кстати, мы уже определили ту отправную точку, что послужит нам в качестве путеводной нити, — это «еще дальше»; теперь нам нужно рассмотреть новый объект более внимательно, применяя поочередно к обоим изучаемым феноменам. Что ж, начнем с желания.

В своем желании я опережаю деятельность, я оказываюсь по ту сторону и могу двигаться во всех направлениях. Получается, радиус охвата желания значительно больше. Но что значит это «во всех направлениях»? Очевидно, здесь подразумеваются только те характеристики деятельности, которые мы отдельно выделили в предыдущем параграфе.

В своем желании я двигаюсь вперед, к будущему; так же, как и в деятельности, я проживаю время в том же самом направлении, но при этом смотрю «еще дальше» в будущее, ощущая, что между мной и более далеким будущим существуют какие-то отношения. Такое «еще дальше» желания четко проявляется, если мы противопоставим желание и деятельность феномену смерти. Смерть прерывает как нашу деятельность, так и наши желания, однако, пока я живу, у меня есть возможность через мечты заглянуть за пределы смерти, чего я не могу сделать через деятельность. Более того, когда в своей

деятельности я стремлюсь к будущему непрерывно и непосредственно, в желании мне открывается промежуточное будущее, и именно к нему направлен мой взгляд. Конечно, здесь идет речь не просто о какой-то более отдаленной точке, а о той, что расположена на прямой линии, проложенной деятельностью. Наше «еще дальше» совершенно не обладает геометрическим или линейным значением. По причине желания будущее становится словно *объемным* для меня. Это похоже на венок, который охватывает собой все имеющиеся вокруг деятельности. Здесь будет уместным вспомнить слова Бергсона по поводу надежды, процитированные выше. По сути, это «еще дальше» ни в коем разе не позаимствовано из пространственных отношений; самым непосредственным образом оно дано мне самим желанием; и сейчас пришло время задаться вопросом: если отправившись отсюда, оно не может найти свою невещественную форму в геометрических отношениях, которые кажутся абсолютно простыми для нашего мышления, вероятно, оно добровольно задерживается там, чтобы именно в этих отношениях найти первичное и наиболее адекватное свое выражение?

Однако на самом деле кажется, что это «еще дальше» вовсе не берет свое начало в невещественном пространстве, оно скорее относится к пространственно-временному единству, речь о котором велась уже не раз. Ведь именно желание раскрывает перед нами будущее намного шире по сравнению с деятельностью, вместе с тем, оно обходит сферу, присущую деятельности, так как всегда стремится выйти за пределы. Я не могу желать то, что есть у меня под рукой, и, пока живу, я желаю больше того, что имею, в чем и заключается смысл жизни.

Вы можете сказать, что мы только что оборвали непрерывную последовательность собственных рассуждений, подменив последовательностью феномен «состояния», о котором вообще не говорили до настоящего момента. Я это признаю и вернусь к данному вопросу чуть позже. Тем не менее, все наши предыдущие рассуждения побуждают нас обратить внимание на тот факт, что, в отличие от деятельности, желание всегда выходит за границы реальной деятельности и реального будущего. И если деятельность является динамическим выражением сферы, прочерченной таким образом, то «состояние» — это более статичное выражение той же самой сферы, в том самом виде, в котором она предстает перед нами, когда мы рассматриваем ее с точки зрения желания. Любое желание, если оно реализовывается, приводит к увеличению моего «состояния», моего *опыта*. Едва ли стоит пояснять, что в данном случае «состояние» употреблено в самом широком значении этого слова; оно вовсе не подразумевает обладание

каким-то имуществом ни в юридическом, ни в социальном смысле, но является именно тем феноменом, который позволяет имуществу накапливаться, так как именно благодаря ему «состояние» имеет для нас такой общий смысл. Кроме того, когда я говорю: «Сколько живу, столько и желаю иметь больше, чем у меня есть», — это вовсе не значит, что я пытаюсь бесконечно увеличивать свои ценности, как поступает скряга; именно на основании этого и обнаруживается искажение, конкретизация и крайняя материализация формулы, обозначенной выше, поскольку данная формула была здесь воспринята буквально. Никакое фактическое состояние не имеет смысла, если не дает моему желанию возможности выходить за пределы, ибо оно служит, если так можно сказать, чем-то наподобие трамплина для моей личности, для того, чтобы она могла стремиться иметь еще большее состояние, но вместе с тем и более возвышенное. Повторюсь, все эти вопросы требуют более широкого и развернутого рассмотрения, чем то, которое я могу провести здесь. Я прибегаю к ним в данной ситуации исключительно для того, чтобы показать, насколько желание обширнее и объемнее, чем деятельность.

Наверное, здесь будет уместно привести пример. Я легко запрыгиваю в воду; после этого вокруг себя я образую сферу своей деятельности, с необычайно подвижными и расплывчатыми границами (это соответствует нашему пространственному мышлению); в то же самое время я становлюсь владельцем этой сферы, находясь в непосредственном контакте с ней. Однако вдалеке я замечаю предмет, который меня искушает; сейчас я знаю, что мне принадлежит, а что нет, и мое желание, выходя за границы моей сферы, направляет все мои силы за ее пределы. Теперь уже самая обычная деятельность, беззаботная и радостная, становится более серьезной, даже более значимой, поскольку ею уже руководит желание.

Таким образом, желание обширнее и объемнее, чем деятельность. Безусловно, это вовсе не значит, что желание представляет собой деятельность II, радиус действия которой будет шире по сравнению с радиусом действия деятельности I; здесь также вовсе не идет речь о двух концентрических сферах, одна из которых может закрыть другую. В то же время, если мы утверждаем, что желание уходит дальше, чем деятельность, это не является свидетельством того, что желание на самом деле расширяет границы, прочерченные деятельностью. Во-все нет, не существует ничего, что может напоминать подобное расширение во всех изучаемых нами феноменах; ни одно изображение пространственного характера не может представить данные, которые

предоставляет нам желание. Суть в том, что через свое желание я чувствую себя вынесенным за пределы деятельности, ничего на самом деле не пересекая, это возможно исключительно потому, что у желания своя особая манера бытия, принципиально отличающаяся от деятельности, несмотря на их естественное сходство.

Желание может наслаиваться на деятельность, так как содержит ее в себе. Объединяясь, они образуют единое целое. Желание не является деятельностью, к которой может присоединиться что-то еще; оно абсолютно простое, естественное, свойственное жизни, как и заключенная в нем деятельность. А если мы рассмотрим эту ситуацию со стороны более осязаемой деятельности, желание напечалит нас, тень, укрывающую внутренний мир «я», являясь как бы *проживаемым изображением* деятельности. Чтобы проиллюстрировать это, мы можем обратиться к концепциям традиционной психологии. Если у меня возникает желание достичь конкретной цели, говорит нам психология, я в первую очередь представляю себе эту цель, а потом пытаюсь ее достичь, учитывая положительное значение, которое она имеет для меня. Приняв на время за истину все, что сказано в этой схеме, мы можем дополнить, что в ходе совершения действий, необходимых для достижения цели, желание будет сопровождать деятельность, находясь в той же плоскости, что и представление по отношению к восприятию, но гораздо ближе к представлению; а значит, в этих условиях желание будет чем-то похоже на проживаемое представление деятельности. Мы здесь добавляем слово «проживаемое», поскольку деятельность и желание на самом деле сосуществуют рядом, а эта «репрезентативная» черта проявляется в более простой и живой манере, поскольку в данном случае имеет место не обычное представление, в котором отсутствует соответствующее восприятие. Отношение «желание — деятельность» допускает существование представлений точно так же, как и теория традиционной психологии.

Иными словами, мне кажется, что желание гораздо теснее связано с моим «я», чем с самой деятельностью, ибо деятельность, по сути, скорее являет собой «я — мыслящий объект», нежели для моего «я». В желании содержится что-то напоминающее задний ход для деятельности, это движение назад направлено на самое сокровенное в моем «я», направлено внутрь, в сердцевину моей активности. Теперь мы готовы признать, что желание идет «еще дальше» по сравнению с деятельностью, как если бы оно начиналось в самом центре сферы деятельности, конечно же не в пространственном смысле, а затем выходило за пределы сферы, преодолевая их.

Подводя итог, можно заключить, что «еще дальше» желания легко применяется и к будущему, а также и к направлениям движения за его пределы и внутрь; или, выражаясь точнее, самое простое «еще дальше» желания всегда оказывается новым в случае противопоставления деятельности, под каким бы аспектом мы его ни исследовали.

Вспомним о методике, примененной в первой главе этой работы, и отметим: если противопоставить становление и признаки направления и «еще дальше», вполне разумные на первый взгляд, то можно увидеть, как перед нами возникнут феномены желания и деятельности в их естественных отношениях, именно тех, которые мы пытались подчеркнуть.

Было бы неверным завершить эту тему, не сделав одно замечание. Чуть выше мы уже могли заметить, что деятельность содержит в себе понятие длительности; здесь идет речь об активной длительности. Что касается желания, то оно не содержит длительность в том же самом понимании. По сути, его длительность — это деятельность, которая содержится в нем. Пытаясь противопоставить себя этой длительности, желание утратит ее в себе самом. Однако оно ее все-таки использует. Кажется, по сравнению с мобильностью и динамизмом деятельности, желание является более «точным» и более «прочным». Мы можем определить что-то через желание, даже то, что не определяется через деятельность, которая, по природе своей, лишь перемещается от одного предмета к другому, не имея возможности задержаться ни возле одного из них.

Это позволяет нам сделать еще одно умозаключение. Наша жизнь может быть представлена только как «одна-единственная» жизнь в форме проживаемой длительности. Развернутая во времени и ориентированная на будущее, для нас она превращается в активную или непрерывную длительность. Точно так же мы можем выразить это, сказав, что деятельность существует в каждом мгновении нашей жизни. В таком случае желание предстает перед нами как что-то более чем «эпизодическое» по сравнению с деятельностью; мы очень легко можем предположить, что в какой-то момент жизни в нас не было абсолютно никакого желания. На основании всего этого, как мне кажется, допустимо сделать самое простое заключение: жизнь без желания возможна, но совершенно невозможна без деятельности; таким образом, следует признать, что способность желать развилась как высшая функция, дополняющая деятельность, в ходе эволюции человека. Однако это заключение может вызвать споры. Оно основано на негласном постулате, что в жизни ценно исключительно то, что реально

было сделано за прожитое время. Это верно до тех пор, пока мы рассматриваем «материю» жизни; в данном случае речь может идти только о событиях, происходящих в ней последовательно, одно после другого; но, кроме материи, существует еще и форма, рамка, позволяющая событиям проникать в то явление, которое мы привыкли называть жизнью. Здесь возникают феномены, служащие в качестве обязательных основ этой жизни, однако в действительности, в ходе жизни они появляются достаточно рано, если не сказать вообще неизвестно когда. Статистика ежедневного эмпиризма ничего не говорит на этот счет. Пессимист, тщательно запоминающий все свои разочарования, признавая, что совершенно не противоречит себе, угрюмо смотрит в будущее, но на самом деле обращается к этому будущему, которое, как он полагает, не сможет дать ему ничего, кроме надежды и вдохновения. Однако в сравнении с окружающей ее материей форма кажется более пустой и холодной, что, вероятно, будет истинным для неподвижной материи, вступившей в какие-то отношения с пространством. Но это совсем не так, когда речь заходит о жизни и о проживаемом времени. Если в действительности феномены, такие как желание и надежда или молитва и идеал, которые мы вскоре рассмотрим, смогут отобразить общую структуру жизни, не будут ли они сами тем, что является наиболее значимым в ней, тем, рядом с чем материальные события нашего существования не имеют практически никакого значения? Что ж, такая структура, такая форма. Мы еще слишком далеки от того, чтобы познать их, и потому наследственный постулат, который утверждает, что все должно идти от простого к сложному, а на самом деле старающийся изо всех сил получить значимое из незначимого, далек от того, чтобы выглядеть как удивительное «сезам, откройся», способный тем самым решить все проблемы.

Сейчас мы можем вкратце разобрать, что же такое надежда.

Надеясь, я проживаю становление, двигаясь в том же направлении, что и в ожидании, то есть в направлении «будущее — настоящее», а не «настоящее — будущее». Надеясь, я ожидаю осуществления того, на что надеюсь, и вижу, как будущее движется по направлению ко мне.

Надежда уходит еще дальше в будущее, чем ожидание. Я ни на что не надеюсь ни в данный момент, ни в момент, который последует мгновенно за ним, я надеюсь на будущее, которое развернется дальше. Вырвавшись из объятий ближайшего будущего, я живу благодаря своей надежде в более отдаленном, более обширном будущем,

полном разных обещаний. И все богатство будущего открывается передо мной сейчас.

Безусловно, в повседневной жизни я могу надеяться на что-то конкретное, что может произойти завтра, и дожидаться какого-то события, назначенного на послезавтра, но это совершенно не противоречит — о чем едва ли нужно говорить — естественным отношениям между феноменами надежды и ожидания. На основании этого неоспоримым является факт, что надежда уходит дальше в будущее, нежели ожидание.

Однако надежда уходит «еще дальше» и в другом значении данного выражения. Она отдаляет нас от возможного контакта с ближайшим будущим, освобождает нас из оков ожидания, дает возможность свободно глядеть вдаль проживаемого пространства, которое таким образом раскрывается передо мной. Через надежду я предчувствую все, что может существовать в этом мире, исключая ближайший контакт, создающий ожидание между мной и становлением.

При этом любая надежда представляется напрасной изначально, ибо, как нам кажется, она может осуществиться только при контакте между мной и становлением, контакте, который, как на то указывает феномен ожидания, всегда является для нас болезненным. Вот и еще одно действительно логичное умозаключение. Надежда ни в коем разе не является линейным продолжением ожидания. Однако это совсем не значит, что я смогу сохранить для себя будущее, когда оно станет настоящим, действуя лишь напрямую. Наоборот, надежда как бы создает свободную зону вокруг нас, налаживая контакт между нами и становлением, которое разворачивается в удалении от нас. Здесь вовсе не идет речь о некой декорации, подвергающейся опасности разбиться о мое «я», по мере того как проходит время. Напротив, вся окружающая жизнь теперь разворачивается словно на расстоянии, а наблюдать за различными действиями, сценой для которых она является, мне дозволено лишь в качестве зрителя. Безусловно, эти действия могут иметь как печальный, так и радостный характер, тем не менее только надежда, и ничто другое, способна поднять занавес.

Таким образом, существует ряд различий между желанием и надеждой. Желание содержит в себе некую деятельность, тогда как надежда освобождает нас от мучительного ожидания. Из этого следует, что желание кажется нам более будничным и приземленным по сравнению с надеждой, которая содержит в себе нечто возвышенное.

Кстати, если надежда высвобождает нас из тисков ожидания, это совершенно не означает, что она его полностью исключает. Мы уже

верно заметили чуть раньше: надеясь, я *ожидаю* осуществления того, на что надеюсь. Кто знает, может, именно надежде удастся растянуть ожидание по длине, лишив его при этом изначального колорита, может, именно надежда позволяет ему охватить значительную часть становления. С другой стороны, если подробнее рассмотреть эту проблему, любая надежда, имеющая отношение к какому-то конкретному событию, держит нас в напряжении: «только бы произошло то, на что я так рассчитываю». Более того, по образцу ожидания, осуществление чего-либо, на что мы так надеемся, становится для нас схожим со временем *остановки*, тогда как, если мы желаем чего-то, осуществление желаемого является для нас лишь *этапом*, стимулом, преодолев этот этап, продолжить свой путь.

В заключение скажу: надежда так же, и даже теснее, связана в большей мере с моим «я», чем с желанием. Она дает мне возможность укрыться в моем «я», чтобы оттуда посмотреть на жизнь, которая разворачивается вокруг меня.

Таким образом, «еще дальше» надежды может быть одновременно успешно применено как для будущего, так и для направлений движения внутри и за пределы.

Прежде чем перейти к следующему параграфу, я бы хотел обратить внимание на еще один важный пункт, не связанный напрямую с проблемами, которые занимают нас в данном разделе, но, тем не менее, не становятся из-за этого менее интересными для нас. Я хочу поговорить о *подобии и родстве* между желанием и надеждой; это, по сути, интеллектуальный феномен, или, я бы сказал, вопрос, либо, еще лучше, — вопросительная формулировка. Будучи, в общем-то, утвердительными относительно самой жизни, желание и надежда не содержат в себе никакого особенного утверждения по сравнению с составляющими их элементами. В этом и заключается их отличие от других феноменов, например, от феномена воспоминаний, позволяющего нам констатировать: «это уже было», или от того, что дает нам возможность иногда говорить, ощущая в себе какую-то могущественную силу: «я этого хочу, и это произойдет». Однако такое отсутствие точного утверждения никак не характеризует надежду и желание исключительно с негативной стороны, когда мы противопоставляем их интеллектуальным феноменам. Ни в радости, ни в горе, ни в симпатии, ни в каких-либо других, подобных этим, феноменах мы совершенно ничего не утверждаем. А насчет желания и надежды, полагаю, следует сказать чуть больше. Противопоставляя их интеллектуальным феноменам, я могу констатировать наличие естественного подобия

или родства с вопросом. Это вовсе не значит, что, надеясь или желая чего-то, в то же самое время я обязательно задаю себе либо кому-то еще вопрос: произойдет ли на самом деле то, чего я желаю? Родство, о котором мы здесь говорим, отнюдь не опирается на то, каким образом развиваются отдельные события; в нашем сознании это должна быть конкретная система, установленная с феноменологической точки зрения. Таким образом, сейчас нам удалось обнаружить некоторое сходство между желанием и надеждой, с одной стороны, и тем, что я проживаю, когда мне задают вопрос или когда вопрос сам собой возникает передо мной, с другой стороны; и до тех пор, пока я на него не ответил, не будет ли это существовать исключительно в моих мыслях? Если я не ошибаюсь, указанное сходство проявляется в связи с тем, что в этом, последнем, случае я сталкиваюсь с чем-то незавершенным и неизвестным (в самом простом смысле слова), с чем-то, что дает мне право выбора среди множества возможностей, с чем-то, что имеет протяженность, некую перспективу, которая сокращается, как только ответ дан. Это сходство допускает такую возможность; если я захочу перейти от надежды или желания к какому-либо интеллектуальному определению, то самым естественным путем приду к вопросительной формулировке, а возможно, и еще дальше, превратив ее в феномен, так как сам вопрос, в общем-то, может существовать в моем сознании, но вместо понимания хаоса, в котором он пребывает, я увижу в нем глубокий смысл. Ведь, по сути, не стоит ли нам спросить самих себя: каким образом столь необычный феномен, как вопрос, может внезапно появляться в нашей жизни? «Произойдет ли то, чего я так желаю и на что надеюсь?» — это, скорее всего, и есть самый простой и естественный вопрос в жизни.

4. Молитва

Здесь в первую очередь необходимо определить суть проблемы.

Рассуждать о молитве — значит в какой-то степени апеллировать к вере, иначе, как можно молиться, не признавая существование божественной сущности, к которой мы обращаемся. Это умозаключение кажется исключительно логичным, пожалуй, даже чересчур. Есть люди, которые сомневаются в существовании Бога, есть убежденные атеисты, есть те, кто в обычной жизни никогда не молятся, поскольку либо не испытывают в этом никакой необходимости, либо считают, что вполне могут обойтись без молитвы, либо желают прежде получить доказательства существования Бога; при этом все прекрасно

представляют, что такое молитва, и вовсе не в том смысле, чтобы ежедневно коленопреклоненно совершать сей ритуал со всеми связанными с ним жестами, но в точно сформулированном значении чего-то возвышенного, выраженного в форме особого отношения, которое мы испытываем при возникновении в нашей жизни различных серьезных обстоятельств. Каждый по-своему воспринимает слово «молитва», тем самым без труда определяя для себя содержание и значение этого феномена; более того, это помогает каждому из нас сказать, какой *должна* быть молитва, молитва чистая и искренняя, которая уступает свое место лишь более или менее автоматическим словам или жестам, лишенным истинно глубинного значения.

Таким образом, возникла проблема феноменологического анализа молитвы. Рассуждать о ней с этой точки зрения — значит не считать ее атрибутом веры по той причине, что надежда, являющаяся основным феноменом жизни, в обязательном порядке содержит в себе оптимистическое отношение.

В таком случае, все видится нам в совершенно ином свете. Будет считаться неверным, если мы скажем, что в молитве присутствует только один Бог и только одно «я», обращающее к нему свою молитву; это значит — разложить на составляющие феномен, который мы выбрали для себя в качестве исследуемого. В первую очередь для нас важно то, что в своей молитве мы *поднимаемся* над собой, а также и над всем, что нас окружает, устремляем свои взгляды вдаль, к бесконечному горизонту, к сфере, находящейся за пределами времени и пространства, к сфере, полной величия, света и конечно же таинственности. Мы можем заменить таинственность идеей действующей божественной сущности. Однако эта идея совершенно не входит в феномен молитвы, который вовсе не способен утверждать хоть что-то по поводу данной точки зрения, но ставит перед нами еще одну *задачу*. И что бы ни значил принцип «каждый сам за себя», мы все же попробуем решить эту задачу, а молитва по-прежнему является для нас одним из основных феноменов жизни.

Феномен молитвы, как и феномен идеала, находится за пределами вечной битвы между верующими и свободомыслящими; последние, кстати, в большинстве своем, зависят от идеологии первых, так как, используя Бога, в которого верят первые, они превращают в символ веры свой атеизм и тем самым умудряются, отрицая то, что, по их мнению, не существует, превратить отрицание в образ действия. Именно на основании этого человечество находится в вечной власти рациональных антитез. Противопоставляя верующих и свободомыслящих,

пацифистов и милитаристов, буржуазию и пролетариат, поддерживая атмосферу борьбы и конфликтов, совершенно не беспокоясь об истинном содержании основных феноменов жизни, которые для разума, причем исключительно для разума, выражены через эти анти-тезы, человечество отказывается таким образом от поиска средств, способных преодолеть их.

Чуть выше мы уже говорили о том, что в молитве нет никакого утверждения. Однако здесь мы имеем в виду только четкое и конкретное утверждение. Как и любой другой жизненный феномен, молитва основана на утверждении самой жизни. Более того, разве мы не видим, как она внезапно появляется в нашей жизни там, где есть какая-то особая угроза для нее, например, смерть, стихийные бедствия или катаклизмы, моральные состояния, опасные для нашего «я». Кто во время войны, попадая в самое пекло резни и разрушений — впрочем, я не хочу сказать, что во время войны происходит лишь это, — не обращался к молитве, чтобы снискать хоть какое-то покровительство, не испытывая при этом ни чувства бессилия, ни чувства, возникшего после принятия религиозных догматов, а, наоборот, найдя в молитве адекватную реакцию на происходящее, ощущая свою значимость благодаря величию и могущественности молитвы. Порой в жизни случаются ситуации, когда одной лишь надежды недостаточно, она слишком слаба, — тогда мы начинаем молиться.

Итак, по сути своей, молитва является *исключительным* феноменом; мы себе полностью отдаем отчет в том, что можно действительно прекрасно проживать свою повседневную жизнь без молитвы. Молитва стоит выше всего. Несмотря на это, или, может быть, именно поэтому, она существует внутри нас самих и является составляющей общей структуры нашей жизни. Молитва не бывает мерзкой, неблагородной, мы обращаемся к ней только в исключительных, особых случаях нашей жизни. Этого ей хватает с избытком. Стоит задуматься и спросить себя: не будет ли жестоким по отношению к ней — сделать ее частью повседневной жизни, превратив в ежедневную молитву? Ведь, по сути, у нее нет ничего общего с потоком дней, в который помещена часть, всего лишь часть нашей жизни.

Однако мы занимаемся исследованием проживаемого времени, и молитва интересует нас только в этом аспекте. Значит, мы должны разобраться, есть ли у нее характеристики временного порядка и, если есть, какие именно.

По большому счету, молитва направлена в будущее. Даже то, как она задумана в религии, является тому доказательством. Прежде

всего, мы обращаемся к Богу, чтобы он исполнил наши молитвы; Бог не может ничего изменить в прошлом, точно так же, как и мы сами ничего не можем там изменить. Кроме того, первоначально молитва была просьбой о заступничестве и только со временем превратилась в знак восхваления, благодарности или мольбы о прощении. Очевидно, что в последнем из указанных случаев молитва относится к уже совершенной ошибке, это значит — к факту, имевшему место в прошлом, но даже здесь прощение относится к будущему. Именно наличие в молитве этого критерия будущего и отличает ее от всех остальных религиозных и мистических таинств, таких как отпевание, медитация или экстаз.

Мы, кстати, делаем аналогичное умозаключение, абстрагируясь от всех религий, сосредоточив внимание только на самом феномене молитвы. Достаточно вспомнить об исключительных обстоятельствах, речь о которых шла выше. Молитва оказывается для нас, если использовать биологическую терминологию, своеобразной реакцией защиты нашего существования от угрозы, нависшей не столько над нашей жизнью, сколько над жизнью в целом, такой серьезной угрозы, что избежать ее можно, только прибегнув к чему-то, находящемуся за пределами самой этой жизни, способному сохранить ее для будущего.

Таким образом, молитва должна занять свое место среди феноменов, которые мы здесь изучаем. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы определить, какое место она занимает относительно феноменов, рассмотренных ранее.

Мы говорили, что желание и надежда превосходят деятельность и ожидание. Чтобы охарактеризовать одни феномены относительно других, мы использовали термин «еще дальше», воспользуемся им и теперь. Молитва простирается еще дальше, значительно дальше желания и надежды, за те пределы, куда мы просто не смогли бы попасть, и достигает не только далекого будущего, но, дойдя «до предела», выходит за пределы времени и пространства, к *абсолютному*, а не промежуточному *горизонту*, который объединяет их в единое целое; вместе с тем, он так близко от меня, что я вижу его с особой четкостью, словно в реальности мог бы дотронуться до него пальцем, если позволительно так выразиться.

Но каким образом это «до предела» может развернуться в разных направлениях, намеченных в предыдущих параграфах? Именно данный вопрос мы и должны сейчас рассмотреть.

Молитва — это *полное проживаемое самоуглубление*. Через молитву я могу отойти от окружающего становления, могу собраться,

я возвращаюсь к самому себе. Молитва идет из самой глубины моего существа.

Господин Сегон уже с первых страниц своего труда о молитве²⁰ настаивает на том, что погружение в собственные мысли — основная характеристика деятельности, связанной с молитвой (я предпочитаю не говорить о деятельности, поскольку молитва является не одной из форм нашей деятельности, а особым жизненным феноменом). Такие выражения, как «уход от», «возврат к самому себе», «вернуться к самим себе», «обратиться к самому себе», «владеть собой через свои принципы или свой внутренний мир», очень уместны в этом случае.

В молитве содержится намного больше движения назад относительно деятельности и ожидания, чем в желании и надежде. Во время погружения в свои мысли в ходе молитвы я достигаю самых потаенных уголков моего «я», «сердцевины» моего существа. Благодаря молитве, я испытываю полное самоуглубление. Как ничтожно мала мечтательность, которую иногда считают прототипом самоуглубления, в сравнении с этим! Молитва изначально ведет меня «до предела», а самоуглубление благодаря ей доходит до максимума; ни при каких обстоятельствах я не смог бы зайти еще дальше. Очевидно, что в этом «до предела» не содержится ничего пространственного и ничего механического; в нем не идет речь о непреодолимых обстоятельствах, с которыми мы можем встретиться на своем пути. Нет, именно молитва определяет степень нашей способности к самоуглублению и самопогружению. Нам даже не приходит в голову выйти за установленные ею пределы. Двигаясь в этом направлении, мы уже коснулись горизонта, уже достигли абсолюта.

Самоуглубление «до предела» имеет и положительное, живое проявление — «искренность». Молитва не может не быть искренней; в противном случае — это уже не молитва. Таким образом, она объясняет нам «идеальное» значение искренности. Благодаря ей нашему взору изначально открывается то, что мы пытаемся найти любой ценой через *γνώσι σεαυτόν*. Она подобна синтонии, которая позволяет нам увидеть ту тесную связь с окружающим, которую мы пытаемся установить всеми силами, упорно занимаясь деятельностью. Не составит труда провести эту параллель и дальше. Как и синтония, молитва не сможет заполнить нашу жизнь полностью. При отказе от молитвы душа «погибает от своих пожеланий, усилий, ощущений, хочет всего, как если бы вообще ничего не хотела» (Молинос), она

²⁰ Segond J. *La prière. Essai de psychologie religieuse*. Alcan, éditeur, 1925.

становится словно обнаженной и пустой, лишенной всех тех сил, что наполняют ее и продвигают в жизни. Безусловно, эта «пустота» никак не связана с разумом; при ее упоминании, совершенно не возникает мысль о вазе, которую можно наполнить; она вовсе не совпадает по значению с понятием обнищания души; у нее есть свое, глубочайшее значение, ни в коем разе не игнорирующее идею исключительного богатства. Она не может быть просто заменена поступком или жизнью. Тем не менее, все это не мешает ей проявлять себя в качестве несущей основы любых душевных порывов. Помимо прочего, это также подтверждает фундаментальное понятие о том, что любой особенный мотив изначально, хоть в какой-то степени, запятнан неискренностью. Наш взгляд способен разглядеть в глубине души абсолют ее искренности.

Итак, молитва представляет собой полное проживаемое самоуглубление. Однако это самоуглубление не оставляет меня один на один с моим «я». И, как мы уже говорили, она не является ни мечтательностью, ни играми свободного разума. Напротив, имея возможность обратиться к глубинам моего существа, она выходит за пределы вселенной. В этом смысле молитва осуществляет *полный сверхконтроль проживаемого*. Так, с полувзгляда, я могу осмотреть всю вселенную, охватить ее целиком и даже выйти за пределы. Но мой взгляд не устремится еще дальше, он знает, что уже достиг того максимума, который ему доступен в данном случае. Ибо с чего вдруг возникнет желание уйти еще дальше, чем за пределы вселенной? Руководствуясь естественным ходом нашей мысли, мы сможем отождествлять это «за пределы» с понятием Бога, сможем сказать, что молитва позволяет нам ощутить присутствие Бога, того Бога, чья деятельность в обязательном порядке должна как-то проявляться в нашем мире. Сейчас между нами существует целый мир; однако этот мир не только не мешает нам общаться, но и является необходимой основой такого общения, несмотря на то, что мы как бы находимся на двух его различных полюсах.

Главное, что благодаря молитве мы можем заглянуть за пределы мира. Отсюда следует, что, если бы значимость изучаемого феномена была совместима с изображениями этого порядка, мы, через молитву, могли бы тотчас совершить кругосветное путешествие, потому что, уходя из окружающего нас становления, мы возвращаемся туда, только после того как пройдем точку, находящуюся внутри (полное самоуглубление), и точку, находящуюся где-то за его пределами (полный сверхконтроль).

Самым адекватным, как мне кажется, сейчас будет рассуждение о том, каким образом благодаря молитве мы можем подняться над собой, а также над всем, что нас окружает, то есть рассуждение о молитве как о *проживаемой абстракции*. Именно молитва дает нам первичное значение абстракции.

Остается лишь повторить то, что было сказано выше. Молитва является отдельным феноменом и не может быть разложена на составляющие. Сделать это — значит рассмотреть данный феномен за его же пределами, искажая тем самым свойство молитвы, которую следует рассматривать изнутри. «За пределами» для молитвы — это не ее *представление*, а то, что проживается самым непосредственным образом; откуда еще могло бы взяться такое представление? Молитва не основана ни на одной *идее*, например, на идее бесконечности, к которой, по мнению многих авторов, сводятся все религии; она возникает у нас в сознании, основываясь на восприятии конечных вещей; более того, она не содержит в себе идею «единого целого» (Гуйо), так как в принципе не содержит в себе никаких идей.

Именно в ходе ее ошибочного разложения на составляющие можно обнаружить сходство между проживаемой молитвой и молитвами, адресованными себе подобным. После того, как из молитвы было удалено Существо, его заменили на какое угодно существо, утверждая при этом, что молитва в обоих случаях неизменна и отличается лишь тем существом, к которому она обращена. Еще немного, и мы дойдем до «зоологического» утверждения, что молитва по сути своей — не что иное, как позиция, которую занимают некоторые домашние животные, когда пытаются попросить нас о чем-то. Однако проживаемая молитва принципиально отличается от этого. Безусловно, я могу попросить сильных мира сего о многих вещах, я даже могу умолять их сделать то, о чем я прошу. Но все эти действия и мольбы совершенно не похожи на молитву, о которой мы здесь ведем речь; у них отсутствуют основные черты молитвы, и это не только описанное выше самоуглубление. Подобные действия можно определить как поведенческие акты, молитва же таковым актом не является. И потом, разве мы просим у себе подобных, когда у нас есть другие возможности? Под натиском обстоятельств мы предпочитаем настаивать или отдавать приказы, а не выпрашивать что-то. К молитве все это не имеет никакого отношения. Что касается зоологической трактовки, с радостью оставим ее тем, кого она устраивает; с удовольствием отстранимся и от физиологов, порой действительно слишком усердных, которые с непоколебимой настойчивостью утверждают, что потребность в молитве является «видоизмененным

болеутоляющим средством». Иногда некоторые виды правды заставляют содрогнуться от ужаса тех, кому они адресованы.

Но все-таки давайте вернемся к нашему вопросу. Может показаться, что мы все еще не поговорили о времени относительно молитвы. На самом деле мы уже сказали об этом больше, чем вы думаете. Ни самоуглубление, ни сверхконтроль, речь о которых шла выше, не обладали исключительно пространственным характером; самоуглубление не является проникновением внутрь какого-то предмета, сверхконтроль не представляет собой путь, проделанный исключительно в пространстве; по своим свойствам и то, и другое ближе к становлению, чем к бытию; проживаемая абстракция вовсе не связана с объектами, размещенными в пространстве или в моем теле, а взаимодействует с *событиями*, имеющими отношение либо к моему «я», либо к окружающей жизни.

Кроме того, мы имеем возможность уточнить и временной характер молитвы. Как уже говорилось, молитва содержит в самой себе будущее, потому ей и было отведено место в данной главе. Но это еще не все. По сути своей, она также сближается как с ожиданием и надеждой, так и с деятельностью и желанием. Это происходит по причине ее отрешенности и пассивности, что, кстати, объясняет, почему она не может стать длительным отношением, не может заполнить собой жизнь; она не в состоянии разрешить свои проблемы, определить, даже в положительной степени, ни свое направление, ни свой смысл. С тем, что многие называют «исполнением молитвы», молитва так же мало связана, как и надежда с ее исполнением, ибо в жизни значительно важнее не статистика наших реализованных надежд и исполнившихся молитв, а исключительная возможность надеяться и молиться. Исполнение молитвы, прежде всего, будет содержать в себе *момент остановки*; оно напоминает занавес, закрывший собой драму, внутри которой мы проживали, тем самым положив ей конец; и если это наполняет нас признательностью, а еще обостряет другие чувства, менее конкретные и менее религиозные, все равно от былой драмы ничего уже не остается; она больше не продолжается и уступает место жизненному порыву, так как исключительно он способен, не прерываясь, прокладывать перед нами линию жизни.

Таким образом, молитва представляет собой высший уровень надежды и ожидания. Молясь, человек и надеется, и ожидает одновременно, видя, как будущее движется в его сторону и по направлению к настоящему. Но в данном случае я не только надеюсь и жду; я делаю намного больше — я молюсь; вся серьезность желания и надежды

уступает место значимости и торжественности молитвы. Мы уже говорили, что надежда превосходит ожидание и, по сравнению с ним, дальше продвигается в будущее; молитва уходит еще дальше, настолько далеко, что доходит «до предела». Молитва изначально представляется нам не просто высшим уровнем, но наивысшим. Дальше этого предела не зайти. Через молитву я могу охватить весь движущийся поток становления; я вижу, как оно направляется в мою сторону, будто выходя из сияющего мощного источника. Чуть раньше я уже говорил о потоках становления, движущихся в сторону горизонта, но не имеющих никакой возможности достичь его, оставляющих позади себя нечто, напоминающее границу. Сейчас у меня перед глазами именно эта картина. Пересекая становление, я люблюсь горизонтом и нахожу в нем неиссякаемый источник новых сил, источник, который не может измениться и уж тем более не может иссякнуть. Я вне времени. Мне открывается идея *вечности*, не в значении длительности или тем более в виде прямой линии без конца и без начала, а именно в самом позитивном ее значении. У меня не возникает ни единой мысли о начале или о конце за пределами досягаемости, ибо на самом деле я уже достиг настоящей бесконечности. Точно так же не может быть и речи о существовании прямой линии, поскольку горизонт, раскрывающийся передо мной, обладает величию, масштабностью, намного большей, значительно большей, чем я мог бы представить или описать. Вечность — единственный способ, который дает нам возможность превосходить становление, и именно потому, что она его превосходит, мы и говорим о ее временной природе. Вместе с тем, в ней самой содержится бесконечность, но вовсе не потому, что она длится до бесконечности, а потому, что она способна охватить все, что по природе своей является конечным. И если на основании этого вечность противопоставлена становлению, получается, она содержит в себе стабильность более высокого уровня и, значит, тем самым связана с пространством; можно сказать, что между стабильностью вечности и неподвижностью интеллигибельного пространства существует бездна, а сближение между временем и пространством, если это вообще допустимо, в любом случае происходит не по направлению к чему-то конечному, а путем бесконечности, или, другими словами, через промежуточное звено пространственно-временной сферы, проживаемой как таковой.

Теперь становится понятно, что молитва имеет очень большое значение, настолько большое, что мы не можем выйти за ее пределы. Величие молитвы основано не на сравнении ее с другими ценностями, а на том, что она действительно является для нас в самой

непосредственной форме наивысшей ценностью, ведь благодаря ей мы можем прикоснуться к абсолюту.

Молитва возникает при необходимости доказать наличие духовной составляющей нашего существа; такая потребность в обычной жизни в большей мере проявляется там, где само ее существование ставится под угрозу. Если подобные обстоятельства в нашей жизни не случаются, то, вероятно, у нас и не возникает потребности молиться. Допустим, счастливое общество не нуждается в молитве; однако, кто знает, может, и оно согласилось бы получить счастье такой ценой. Но тогда существовала бы совершенно иная структура жизни; в ней отсутствовала бы одна из значимых ценностей, счастье едва ли могло бы существовать.

Если сейчас, в заключение, мы попытаемся соотнести молитву с интеллектуальным феноменом, как уже делали с желанием и надеждой, то найдем у них лишь одну общую черту. Это — проблема. Мы ничего не утверждаем через молитву, поскольку всегда выходим за пределы того, что можно утверждать. И уж тем более мы не задаем себе вопросов. Однако молитва вынуждает нас собраться с мыслями и рассуждать; она раскрывает в нас еще много всего, но мы видим в ней только один ее феномен, заслуживающий, если можно так выразиться, величия и престижа; как мы уже сказали — это феномен проблемы. Безусловно, с точки зрения формальной логики такие вопросительные структуры, как «в чем смысл жизни?» или «какого цвета этот листочек?», не отличаются друг от друга. Логика говорит нам, что и в первом, и во втором случае мы имеем дело с вопросами, требующими ответов, при условии, если нам не удастся доказать, что эти вопросы лишены смысла. Хотя на самом деле здесь идет речь о принципиально разных вещах. Так как изначально существуют вопросы, сформулированные в форме проблемы, они требуют решения, а не ответа. Возможно, даже существуют проблемы, которые должны быть прожиты как таковые, без того чтобы их решения приобрили какую-то конкретную форму.

5. Исследование морального поступка

Осталось положить последний камень и завершить нашу конструкцию. Между прочим, этот камень настолько исключительный, что он не просто завершит строительство, но и наполнит его ослепительной ясностью, выраженной как в окончательной форме конструкции, так и в ее фундаменте; именно он создает опору жизни, благодаря чему

все остальные части проживания будущего получают смысл, при этом сам он неуловим и парит над каждой из них, парит выше жизни. Это *моральный критерий* нашей жизни, о котором я и хотел бы сейчас поговорить.

Какую полифонию мыслей он пробуждает, как много проблем ставит перед нами! Феномены ответственности, наказания, долга и особенно свободы находятся под завесой тайны, возникая перед нашим взором. Само многообразие этих проблем, кажется, указывает нам на то, какую значимость должен иметь в нашей жизни вышеназванный критерий. Однако здесь мы не ставили перед собой задачу написать трактат по философии; кроме того, мы не будем задерживаться на всех перечисленных проблемах; ограничимся изучением морального феномена в тех рамках, в которых он может быть нам интересен в данных условиях, в связи с чем рассмотрим, какое участие он принимает в общей структуре времени и, в частности, в структуре будущего.

Моральный акт, как и молитва, не является чем-то исключительным в нашей повседневной жизни, тем не менее он представляет собой одну из основ, на которой наша жизнь строится. Без этого феномена мы были бы аморальными личностями, не признающими никаких этических норм, и наша жизнь претерпела бы существенные изменения: погрузившись во тьму невежества, мы больше не смогли бы увидеть, как во всем своем величии перед нами разворачивается будущее, не смогли бы охватывать взглядом весь горизонт, черпая там жизненные силы своего существования; наталкиваясь на различные препятствия, мы сумели бы различить лишь несколько безликих теней, к которым были бы направлены наша деятельность и наши желания, да и то, если допустить, что такая деятельность и такое желание вообще могли бы существовать, не имея никакого порыва к лучшему. Весьма серьезно сократилось бы будущее, расстилающееся перед нами; оно бы едва существовало, бледное, лишенное жизни. Безусловно, разум говорит нам о безграничности будущего, совершенно не задумываясь о том, где же находятся источники, из которых будущее черпает свое величие; но мы проводим феноменологическое исследование, а значит, не можем согласиться с подобным подходом. Здесь речь идет исключительно о моральном поступке, который, несмотря на его редкое проявление в повседневной жизни, способен широко, так широко, как только возможно, раскрыть перед нами будущее. Встречаются феномены, существование которых является необходимым не по причине их величия, а в силу их интенсивности; стремление совершать моральные поступки присуще нам самим.

По утверждению Бергсона: «Многие живут и умирают, так и не познав истинную свободу». Это более чем верно и вовсе не противоречит тому, что, будучи действительно чем-то исключительным в эмпирической жизни, моральный поступок является не каким-то минимальным из существующих элементов жизни в целом, а самым основным. Как и молитва, моральный поступок отражается в каждом из нас. Найдется ли хоть один человек, которому мы бы осмелились заявить, что ни разу Божья искра не осветила его душу? Ну, разве только если в нем действительно нет ничего человеческого. Теперь, наряду с исключительным творением, давайте поговорим и о личных достоинствах, что можно сравнить с отнесением широко осуждаемой безнравственности к структурным недостаткам; кстати, в ситуациях, когда нам удастся стать соучастником морального поступка, мы ни в коем случае не считаем его проявлением какой-то индивидуальной исключительной особенности того, с кем разделили вышеупомянутое деяние, а убеждены, что это проявление в нас самих «человечности», которая, предположительно, нас объединяет, приводит в движение нашу жизнь. В эмпирических дисциплинах мы можем отметить, что у двух или более человек имеются *схожие* недостатки или достоинства, но нельзя сказать то же самое в отношении этической составляющей человеческого существа, так как эта составляющая, если она на самом деле «человечная», не имеет ничего общего ни с количеством, ни со статистическими данными, ни с эмпиризмом. Общая база, на которой разворачивается наша жизнь во всех ее исключительных проявлениях, является скорее безличной, нежели личной, и при этом одинаковой для всех; она всегда рядом, всегда могущественна, поэтому промежуточное для всех человеческих существ может проявляться то там, то здесь только в форме яркой вспышки; и если мы попытаемся ввести в нашу повседневную жизнь это промежуточное, столь редко встречающееся, что порой хочется отрицать его существование, оно не перестанет быть вспышкой того вечного огня, что неизменно царит над нашей жизнью, даже не нуждаясь в топливе.

Мы не обсудили здесь понятие *гений* морали, которое можно отнести к области истины, красоты и пользы; нам даже в голову не пришло его обсудить, но вовсе не потому, что такого феномена не существует, просто потенциально он присутствует в каждом из нас, или, если вам так больше нравится, над каждым из нас. Именно по этой причине мы по природе своей простодушны; мы верим в будущее, доверяем себе подобным; и только жизненный опыт учит нас относиться настороженно к некоторым из них.

Это значит, что порыв к лучшему или стремление совершить моральный поступок не могут быть связаны с особенностями характера, которые в обыденной жизни принято считать положительными, — такими, как, например, порядочность или доброта.

Порыв к лучшему формируется где-то в другом месте, у него нет, если можно так выразиться, никакой рыночной стоимости. Порядочность бывает суровой и холодной, доброта — слащавой; возможно, с социальной точки зрения это лишь повысит их значение, но они все же будут вызывать некоторые сомнения; иногда, собранные все вместе, эти положительные качества соседствуют с полным отсутствием «великодушия» — исключительной привилегии моральной стороны нашего существа; таким образом, они оказываются далеко за пределами данной характеристики. Излишне гуманные в своей ущербности, они, однако, не будут достаточно человеческими по причине отсутствия в них живой составляющей, величия, реального поиска, горизонта, продвижения в будущее. Наши так называемые достоинства, привязанные к настоящему, порой могут закрывать от нас горизонт, как это делают дурные наклонности.

Также необходимо сказать, что добро не противопоставляется злу напрямую. Безусловно, очень часто, с психологической точки зрения, моральную проблему мы подводим к идее конфликта; это как война между хорошими и плохими движущими силами, война, которая неизбежно должна завершиться победой одних или других. Но такое представление слишком пространственное и механическое. Здесь во все не идет речь о простом сведении двух сил на одной плоскости, где они пытаются сражаться. Здесь нам недостаточно геометрии на плоскости. Проживая конфликтную ситуацию подобного порядка, мы ощущаем, как разрываемся между двумя противоположными полюсами; а еще ощущаем движение — движение, которое можно обозначить как *подъем и спад*²¹ в *ровном волнообразном течении* жизни. Иными словами, важно не просто сделать выбор — направо пойти или налево; самым непосредственным образом мы ощущаем, что, предпочтя одно из этих направлений, непременно сможем испытать *подъем*, тогда как, выбрав другое, наоборот, почувствуем *спад*. Безусловно, в данном случае наше математическое мышление уже почти готово заявить, что практически в любой ситуации речь идет о сосуществовании двух направлений, горизонтального и вертикального,

²¹ Л. Бинсвангер совсем недавно опубликовал свое исследование, с исключительной выразительностью раскрывающее феномены подъема и спада (Binswanger L. *Traum und Existenz*. Neue Schweizer Rundschau, 1930).

в результате пересечения которых образуется какая-то наклонная плоскость. Однако в данном случае это будет равносильно уходу от правды и в большей мере, чем когда-либо, неверному толкованию информации, поскольку оба эти направления не могут разъединиться, они составляют единое целое. Видеть «прямую» дорогу перед собой — соответствует ощущению подъема; знать, как этим воспользоваться, — значит подняться до небес. Рассматривая добро, мы всегда наделяем его некоторой *божественностью*, тогда как зло связываем с *«преисподней»*. Вкратце, поскольку нам достаточно теоретического противопоставления добра и зла, поиск добра сводится для нас к борьбе между хорошими и плохими движущими силами; однако ближайшие сведения сознания совершенно не могут втиснуться в узкие рамки этого противопоставления; превосходя их, через ровное волнообразное движение они передают свой особый характер, как мы уже говорили ранее. Именно этот последний фактор четко различает моменты, предшествующие либо моральному поступку, либо отказу от него, что проявляется в размышлениях, которым мы предаемся в других условиях, прежде чем принять решение или сделать выбор. В этот момент я отдаю чему-то предпочтение, взвешиваю все «за» и «против», пытаюсь предвидеть, насколько возможно, последствия принятого мной решения, стараюсь реагировать самым разумным способом, учитывая свои собственные интересы и интересы мне подобных; порой бывает, что я выбираю несколько вещей из множества других; конечно, я могу ошибиться в своих предположениях и в результате разочароваться. Но все происходит иначе, когда в эту игру вступает моральный критерий; в данном случае выбора практически нет, по сути, выбор уже сделан; в таких условиях мы не осознаем разницы между добром и злом, отсутствует и само принятие решения, так как либо я изнемогаю и подчиняюсь выбору, либо ощущаю, как из глубины моего существа поднимается сила, во многом превышающая меня самого; что касается последствий, то моральный поступок в принципе их не предусматривает; он не влечет их за собой, если этот поступок не связан с раскрытием перед нами всего будущего, что дает нам в результате возможность за краткий миг охватить взглядом все величие, всю значимость и все богатство жизни.

Таким образом, получается, что зло находится в той же плоскости, что и творение. Как и творение, оно включается в реальность долго-временно и ощутимо; оно становится материальным, имеет последствия и всегда оставляет позади себя следы, «вещественные доказательства»; на обратном пути, шокируя, оно обрушивается на нас либо

в форме заслуженного возмездия, либо в форме сожалений и упреков. Что касается добра, оно выше всего этого, оно неощутимо; не существует моральных *творений*, есть только творения личные, социальные или благотворительность, которые, кстати, зачастую основаны на вещах, принципиально отличающихся от морального акта. Обратиться еще раз к моральному поступку — значит уничтожить его, начать кичиться им; а ведь он не переносит никаких внешних контактов и истощается, как только его затронут. Он никуда нас не ведет, кроме как за пределы нашего собственного «я»; он не предусматривает никаких последствий, если это не возможность, как мы уже говорили, открыть нам во всем величии будущее; он не признает никаких вознаграждений, помимо осознания полученной возможности прикоснуться к чему-то идеальному в жизни.

Теперь понятно, что существует разность уровней между добром и злом, точно так же, как существует разница между исследованием морального поступка и творением. В жизни они ни при каких обстоятельствах не могут находиться на одной плоскости. На основании этой точки зрения мы можем говорить об *асимметрии*, присущей им изначально. Нет никакой случайности в том, что в обществе существует лишь *уголовный* кодекс, ибо добро, даже в социальных отношениях, не подчиняется никакой систематизации, в отличие от правонарушений.

Зло мы начинаем учитывать только после того, как оно примет *реальную* форму, тогда как добро обладает скорее *нематериальной* ценностью; оно начинается с того момента, когда мы чувствуем в себе достаточно сил, чтобы отправиться в путь, который нам кажется правильным. Если не по нашей воле возникают обстоятельства, удерживающие нас от падения в сторону зла, мы рассуждаем о «спасении» и «счастливой случайности»; в случае добра без всякого сожаления мы говорим, что сделали все возможное и при этом не получили лично для себя никакой выгоды, но только при условии, что наши исследования морального поступка были искренними, «без обмана».

Таким образом, мы не можем ощутить моральный акт, он находится над самой жизнью, где-то в возвышенных сферах, и порой остается неизвестным. Два солдата в течение долгих дней плечом к плечу, неудобно скрючившись, прячутся в одном окопе, а вокруг — царство смерти; враг, не переставая, забрасывает окопы снарядами, готовится к атаке; изнуренные непрекращающимися бомбардировками, солдаты, кажется, уже ждут нападения, воспринимают его как избавление

от этого ужаса; и вот — газовая атака; ужас нарастает, солдаты, похоже, уже достигли предела человеческих возможностей; время течет так медленно, воздух совершенно непригоден для дыхания, несет в себе смерть; один из солдат машинально ощупывает свою запасную кислородную маску, понимая, что скоро придет время заменить ту, которая сейчас на нем; и в этот момент его товарищ говорит, что не может дышать, маска неисправна, а запасной нет; миг сомнения, недолгий; ощущение приближающейся смерти, она проплывает перед глазами солдата; но это всего лишь короткое мгновение нерешительности; молча он протягивает свою кислородную маску товарищу. Свидетели этой сцены — только мрак ночи и снаряды, сеющие смерть, и, может быть, один из них сейчас «не оставит и мокрого места» от наших солдат. История умалчивает, что произошло дальше, этот героический поступок не стал достоянием нации; он канул во мрак темной ночи, скрывшей его от нас; никаких осязаемых последствий он не вызвал и, так нигде и не сверкнув, навсегда затерялся во тьме. Один короткий миг... но разве в глубине души солдата не блеснула в тот момент яркая вспышка, позволившая ему охватить жизнь во всем ее многообразии? Произошло что-то исключительное, тогда был совершен моральный поступок. Занавес падает, зрителей нет, актеры тоже исчезли; однако остался яркий след, след, который мы ощущаем внутри нас самих; мы слышим беззвучный гимн. Моральный поступок состоялся, а ведь это единственный «поступок», оказывающий сопротивление становлению, которое угрожает затопить все в своих могучих серых потоках.

Мы сейчас прикоснулись к тому возвышенному, что сокрыто внутри нас самих. И даже если допустить, что человечество *в самом деле* способно стать лучше, надежда на то, что оно сможет иначе, скажем, более возвышенно, относиться к совершению моральных поступков, кажется мне несбыточной; и не потому, что мы считаем себя совершенными, вовсе нет; просто мы не сможем принять идею о существовании чего-то еще более идеального, чем сам идеал, предположительно, заложенный в нас, который, раскрывая перед нами обширное будущее, в принципе позволяет нам говорить о произошедших в обществе в целом либо в отдельном человеке прогрессе или положительных изменениях.

Эта характеристика подтверждает парадоксальный на первый взгляд факт: мы способны пожертвовать своей жизнью ради идеала, ощущая, что *живем*, только когда поступаем именно так; подобные ситуации порой даже необходимы, чтобы моральное стремление

было таким, какое оно сейчас; его величие заключает в себе идею о самопожертвовании.

Моральная деятельность всегда сопровождается положительными эмоциями, чувством ликования, как мы уже говорили чуть выше. Это чувство тесно связано с такой деятельностью, благодаря чему мы ее и определяем. Сознание, которое довольствуется софизмами, не станет жертвовать сведениями сознания и без колебаний превратит чувство ликования в движущую силу, стимулирующую к действию; сторонники этой позиции будут утверждать, что даже в наших исследованиях морального поступка мы проявляем себя исключительно как эгоисты, волнующиеся только о своих собственных удовольствиях; выбор всегда делается в пользу самого большого удовольствия, скажут они и в качестве примера приведут тех, кто предпочел бесчестью или вероотступничеству смерть, выбрав тем самым менее неприятное для себя. Однако в данном случае происходит подмена ролей. Чувство ликования вовсе не является движущей силой, стимулирующей к действию, а самопожертвование — способом избежать бесчестия. Что касается разумного противопоставления эгоизма и альтруизма, то они для морального феномена являются тем же, чем пессимизм и оптимизм для феномена надежды. И вновь мы сталкиваемся с «трехсторонними» противопоставлениями, которые наше сознание не способно постичь. Позитивное ощущение морального поступка витает над всем; у этого чувства нет ничего общего с рациональными противопоставлениями. Мы на самом деле не можем допустить, что сознание всего лишь играет с нами в прятки. Что касается утверждения, будто исследование морального поступка, вплоть до самопожертвования, проводится лишь ради удовольствия, мы не можем принимать его всерьез в силу непримиримых противоречий между данным утверждением и тем, что мы на самом деле чувствуем.

Ликование не является ощущением радости в прямом смысле этого слова. В основном оно заключается в том, какой, с позиций морального поступка, мы видим вселенную, раскрывающуюся перед нами во всем ее величии, в то время как мы сами непосредственным образом беспрепятственно принимаем участие в тесном слиянии с этим величием, словно совершая мощный прыжок в бесконечность. Мы объединяемся с бесконечной вселенной, в нас самих больше нет ничего, что могло бы помешать нам в этом, мы чувствуем себя *свободными*. Как же далека данная идея от всех проявлений детерминизма, как принимаемых, так и отрицаемых в форме самосознания! Она скорее напоминает чувство освобождения от всего, что принято считать

заурядным в нашей жизни, чем концепт каузальности. На самом деле больше ничего нет между нами и миром в нашем продвижении вперед; мы сливаемся с ним полностью, абсолютно, не оставляя ни единого барьера, и становимся свободными. Таким образом, эта свобода не связана с размышлением, неуверенностью или выбором, который предшествует принятию решения, она сама выдает решение, а значит, ее можно спутать только со стремлением к лучшему. Как таковая она безгранична, и не потому, что последовательно преодолевает путь, отделяющий ее от высшей точки, а в силу того, что изначально она предоставляет нам параметры «свободного человека». И потом, в противовес положениям детерминизма, она вовсе не подразумевает, что мы можем делать все, что нам нравится, то есть, в конечном итоге, все, что взбредет в голову; такое поведение будет сродни капризам, но здесь рассматривается слишком серьезный вопрос, чтобы так думать. Эта свобода означает, что мы можем свободно подняться к самым великим высшим ценностям мира, который мы воспринимаем в качестве носителя идеала, что мы можем охватить весь мир целиком. Эта свобода не позволяет ни утверждать, ни отрицать себя; она не выносит никаких сентенций; у нее нет ничего общего с «ерундой», которая пытается заменить собой содержащиеся в ней бесконечность и безграничность: утверждение самосознания приближается к ней так же незначительно, как и положения детерминизма. Кроме того, за исключением приверженцев детерминизма и самосознания, еще остается огромное количество людей, которые живут, пытаются, стремятся, действуют, чувствуют себя свободными. Им даже не приходится в голову превратить эту свободу в символ веры или тем более в тему для теоретического научного спора. Просто без нее жизнь показалась бы им невыносимой.

Ах, как бы мне хотелось четче формулировать мысли, добиться большей ясности, систематизированности в этом сочинении! В моей голове роится столько мыслей, столько рассуждений: мне кажется, еще можно так много сказать на эту тему, в силу ее особых черт; ведь она совершенно не имеет пределов и ведет нас к бесконечности. Однако нужно себя ограничивать. Не вижу смысла задаваться вопросом, не сильно ли я отклонился от основной темы. Мне казалось необходимым провести изучение морального поступка и всего того, что человеческое мышление, испытывающее потребность в симметрии и в обманчивом упрощении, присоединило к нему, представив нашему взору в виде экрана. Даже если затронутая проблема касается только роли, которую моральное стремление играет в общей

структуре нашей жизни, как не намекнуть на основные характеристики морального конфликта, на противопоставление добра и зла, а также феномена свободы. Кстати, разве не было необходимости порассуждать о феномене, который действительно находится рядом с нами, самом возвышенном и самом человеческом феномене из всех, наряду с пиетизмом, в силу его величия? Силлогизмы, верно выстроенные в соответствии с математической строгостью, а также излишне схематичные доводы, похоже, здесь не к месту; они неизменно грешат избытком «суровости». Я и так позволил себе пойти на поводу у своих рассуждений, сокращая их, насколько это было возможно. Тем не менее, все, что я сказал, остается незаконченным и недостаточным и, мне кажется, совпадает с тем, что было сказано ранее, являясь лишь необходимым дополнением; ведь, по сути, эти страницы нужны только для того, чтобы показать, что существует моральный порыв, позволяющий нам в полной мере, на самом высоком уровне осознавать самих себя; он максимально, со всей широтой, «до предела» раскрывает пред нами будущее, которое, в свою очередь, дает нам возможность, совершив ни с чем не сравнимый рывок, за одно мгновение постичь весь смысл вселенной через движение морального порыва вперед. Будучи основой и вершиной существования, он нужен, чтобы завершить наши рассуждения о будущем.

Как таковой, он является уникальным в своем роде, находится над всеми остальными жизненными феноменами и не может быть лишен, без того чтобы превратиться в «ничто», ни одной из важных, характеризующих его черт.

Занимаясь исследованием морального поступка, мы пытались избежать материального интереса в жизни, мы проникали внутрь самих себя, до самой глубины нашего существа, туда, где уже нет границ и возникает ощущение, что нас несут какие-то высшие силы; мы рассуждали, обращаясь ко всему лучшему, что есть в нас самих, тем самым проводя «контроль» светом; мы начинали *осознавать самих себя*. Стало понятно, что это осознание отнюдь не является признаком, который более или менее случайным способом присоединяется к так называемым феноменам психики, как утверждают некоторые теории. Ему приходится вступать в открытую битву и ценой невероятных усилий доказывать, что оно само, так сказать, является идеалом, которого мы можем достичь только в исключительном случае; оно идет нам на пользу, хотя это не что-то совершенное, но именно оно на самом деле способно открыть нам истинный смысл «осознания себя». Более того, моральный поступок — это единственное, что

должно характеризоваться исключительной сознательностью, по-другому быть не может. С такой целью он создается и воссоздается; моральный акт всегда будет светлым творением человека. Делать добро по привычке — недопустимо; это приводит к противоречию, хотя бы потому, что речь идет о «человеческом существе» и «человечности»; однако на самом деле здесь вообще невозможно говорить о чем бы то ни было еще. Кроме того, все максимумы, все правила поведения, все заповеди морали, несмотря на их потенциальную полезность, имеют ценность только при условии, что они задают нам задачу в «уникальной ситуации» или в «вопросе совести», решая которую мы должны быть наедине с собой, каждый сам для себя. Иначе говоря, они нужны нам лишь для того, чтобы вербовать нас, превращая в обычных солдат, и что еще более важно — в вечных солдат, не имеющих ни единой перспективы продвижения, ни единой возможности на яркий поступок (поступок и внутренняя вспышка взаимосвязаны).

Моральное стремление, всякий раз раскрываясь по-новому, представляет собой жизненный горизонт во всей его полноте и величии, горизонт, который ничто не сможет закрыть, не разрушив его полностью. Это — стремление, создающее рамки, в которых выстраиваются в виде последовательности все остальные жизненные феномены.

Попытка найти философское решение социальным проблемам предпринималась, и не раз. Но философия прежде всего должна классифицировать и помещать относительно друг друга жизненные проблемы и феномены. Что касается «мудрости», некоторые ратуют за обращение к мудрости для поиска решений, чтобы удовлетворить каждого, мы же видим в этом чаще всего лишь посредственность. Именно по этой причине некоторые авторы, стремясь к практической реализации, вынуждены создавать картину морального контракта работы или, еще хуже, обязанностей этической монархии. Отсюда следует еще один вывод: если бы человечество состояло только из индивидов, способных в любой момент вести себя в соответствии с моральными требованиями (здесь речь идет и о рабочих, и о служащих, и о монархах, и об их подчиненных), то все формы социальной жизни были бы в равной степени хороши, то есть они были бы неразличимы, а социальная проблема не существовала бы вовсе. Однако она существует, а замечания, подобные тем, о которых мы только что говорили, служат нам для того, чтобы показать, что социальные проблемы и моральные поступки существуют в двух различных плоскостях. Гражданские добродетели, несмотря на их значение, совершенно не совпадают с глубочайшим личным исследованием морального акта. И если некоторые люди

надеются когда-нибудь увидеть общество под руководством аристократии или моральной элиты, такая надежда далека от жизни. И дело не в том, что аристократия такого типа является лжеконцепцией, просто моральное стремление станет доступно каждому, а человечество, малоприспособленное к моральной элите, признает ее и наделит силой, как и любую другую элиту, но самое большое, на что будет способна эта элита, — обратиться за советом к каким-нибудь кахексичным больным или же написать коллективный научный трактат по этической проблеме, трактат, который в любом случае будет хуже произведения, написанного каждым из них по отдельности, потому что в данном случае, даже более чем где-то еще, творению необходимо проявление личности, чтобы оно получило хоть какую-то ценность. И потом, любой представитель элиты, который пытается продвинуться в обществе и получает особые права, перестает, даже по факту получения власти, быть представителем моральной элиты, в прямом смысле слова.

Будущее — это идеал, это исследование морального поступка, это исключительная реализация всего того, что есть в нас самого возвышенного; как таковое, оно не нуждается в посторонней помощи, ему подходит любая точка опоры; у него для этого достаточно сил; а если сил недостаточно, однажды оно их получит; именно это и является составляющей идеала.

6. Принцип вкладывания одного в другое

Феномены «я существую», «я владею»

и «я принадлежу к...»

Как мы уже знаем, феномены, описанные в этой главе, как бы размещены на трех разных ступеньках. Кажется, что таким образом они *воздействуют* друг на друга. И если сейчас мы попытаемся дать разумное объяснение этому распределению, безусловно, нас посетит мысль об их *вкладывании* друг в друга. Соглашусь, этот термин принято наделять исключительно пространственным значением; он наводит нас на мысль о предметах, которые вкладываются друг в друга. Мы не сможем применить данную формулу к изучаемым здесь феноменам. При этом она им частично соответствует; она могла бы, как минимум, представить одну из сторон свойственных им отношений, а именно — ту, что демонстрирует некоторое сходство с отношениями разумного порядка. Деятельность, желание, изучение морального поступка вроде достаточно понятны в рамках живого «я» и напоминают три концентрические сферы: вторая уходит дальше, чем первая, а третья, объединяя

две предыдущие, формирует вокруг них сияющий горизонт. Живое существо, следуя направлению этих сфер, проявляет себя, раскрывается, преобразуется, даже, если можно так выразиться, увеличивается в размерах, обходит свои собственные границы, вступает в контакт с отрезками отдаленного будущего, охватывает его целиком, во всем его величии, совершенно не теряя при этом свою независимость. Вот что значит воздействие, о котором мы говорили чуть выше.

Безусловно, напрашивается вопрос: а не наделяем ли мы простые метафоры значением реальных вещей? В тех случаях, когда речь идет о более далеком, о сферах, о величии, о возвышении, о горизонте, уж не имеем ли мы дело, как говорят некоторые, лишь с метафорами, то есть с пространственными изображениями, наложенными на непространственные явления? Но одновременно хочется возразить: непространственные явления не подразумевают вообще ничего, связанного с пространством, даже метафор; именно наличие метафор и указывает на общие черты, подтверждающие их достоверность; без таких общих черт они не обладали бы никаким точным значением. Мы возвращаемся к тому, что уже предвидели чуть выше: если желание «превосходит» деятельность и сводит нас с «промежуточным» будущим, а наш моральный порыв раскрывает нам будущее «во всем его многообразии», до самых его «крайних границ», то в действительности все это означает, что данные феномены содержат в себе свои собственные составляющие, которые без каких-либо уловок мы определяем понятиями «превосходить», «идти еще дальше», «быть великим». Безусловно, здесь не место утверждениям, будто деятельность достигает одного метра в длину, тогда как желание может доходить до одного метра пятнадцати сантиметров, или что моральный порыв по сравнению с желанием — это как гигант по сравнению с человеком среднего роста. Однако откуда изначально возникло стремление все соотносить с геометрическими параметрами? Не следует ли, наоборот, допустить, что над пространством, как и над временем, возвышается *простейшая сфера*, в которую включены, объединенные в единое целое, основные свойства этих феноменов, не в измеряемом и количественном значении, конечно, а в смысле качественного и живого их наполнения? Таким образом, обнаруженные свойства, пользуясь вспомогательным методом, раскрывают и количественные параметры в геометрическом пространстве. Величина или глубина, которые до этого были свойствами предмета, находящегося в пространстве, становятся в результате *чистыми качествами*, позволяющими нам говорить о величине поступка или о глубине чувства, без того чтобы в обязательном

порядке речь шла о метафорах и тем более об измеряемых свойствах наших чувств или деяний. Ведь они не содержат в себе никакой пространственности, в геометрическом значении этого слова. Тем не менее, именно на основании присущих им свойств они обладают некоторым сходством не с самим пространством, а с «пространственностью», одной из форм которой и является пространство. Принимая во внимание все, что уже было сказано в этой главе, такое предположение дает основания считать, что «еще дальше» и «до предела», послужившие нам путеводной нитью в ходе изучения жизненных феноменов, направленных в будущее, никак не могут быть просто метафорами, а являются основными характеристиками данных феноменов; я бы даже добавил, что именно сами эти феномены, а не что-то еще, и позволяют нам понять простейшее значение их характеристик. Эти же феномены продемонстрировали нам, каким образом человек проявляет себя, раскрывается, преобразуется по сравнению с пространственностью, не двигаясь с места в геометрическом пространстве. Идея о вкладывании одного в другое должна быть рассмотрена в том же направлении.

Такой принцип вкладывания позволяет нам сделать еще один шаг вперед. Все три ступени, находящиеся в области феноменов, направленных в будущее, в свою очередь, вносят в ходе движения, каждый для себя, новые особые феномены, которые, обладая более статичными и более ярко выраженными пространственными чертами, чем сами эти феномены, необходимы им в качестве основы и вследствие этого занимают значимое место в нашей жизни. Здесь я выделил три феномена: «я существую», «я владею» и «я принадлежу к...», которые, как нетрудно понять, находятся в тесных отношениях с феноменами деятельности, желания и морального поступка; они действуют относительно друг друга, как и сами эти феномены.

Безусловно, в случае «я существую» нет ни единой онтологической проблемы. Нас интересует исключительно то, как мы должны вести себя в жизни, чтобы иметь возможность утверждать свое существование.

«Кажется, что утверждение своего существования в большей мере относится к «бытию» и к пространству, нежели к «становлению» и времени, — писал я в одной из своих работ на эту тему²². — В становлении, которое, в принципе, является лишь организацией и проникновением, распространением и прогрессом, мы не испытываем никакой потребности что-то утверждать; мы в нем действуем,

²² *Etude sur la structure des états de dépression (Les dépressions ambivalentes). Archives Suisses de Neurologie et de Psychiatrie*, vol. XXVI, 1930.

ведомые прежде всего интуицией, мы проживаем эту деятельность, ощущая идеальную естественную гармонию с окружающим становлением, как если бы одно было отражением другого. Зачем в таком случае утверждать что бы то ни было, а тем более столь странное и бесполезное явление, как собственное существование, когда в действительности достаточно просто «позволить себе жить»? С другой стороны, разве «я существую» не является утверждением моего «я» в *бытии*, с точки зрения всех интеллигибельных и рациональных концепций в мире?

Похоже, что так оно и есть, если мы рассматриваем «я существую» только с логической и грамматической стороны. Но это вовсе не так, если мы сами пребываем не в области логики, а в жизни в целом, то есть в той области существования феноменов, в которой они находятся в нашем сознании. В таком случае мы замечаем, что «я существую» — это особое, свойственное ему содержимое. В жизни, через отношения с себе подобными — именно это и должно заставить нас задуматься, — мы можем проявить множество вещей, касающихся нашего «я», но при этом мы никогда не утверждаем свое существование; кажется, этот феномен больше подходит для личного применения. Кроме того, там, где понятие «я существую» действительно обнаруживается — и это происходит отнюдь не в каждый миг нашего существования, — оно всегда проявляет себя как утверждение нашего могущества; предположительно, оно уже содержит в себе то, что мы только что сделали, и то, чего собираемся достичь в жизни. Итак, можно сказать, что иногда наша деятельность испытывает потребность обозначить время остановки; таким образом, на своем пути она оставляет что-то наподобие псевдостатической остановки²³, выраженное именно в форме «я существую», чтобы затем снова охватить своими движущимися потоками. Попробую привести пример: если, когда я куда-то иду, у меня возникает потребность утвердиться в моем существовании, мне приходится на какое-то время приостановить ходьбу и напрячь мышцы, чтобы доказать самому себе, что я всего лишь *прервал* ходьбу и в состоянии тут же ее возобновить.

²³ В цитируемой работе я еще добавлял: «Такое понятие «псевдостатической остановки», на мой взгляд, может быть применено и для других феноменов; например, кажется, что отношения наподобие тех, что мы уже рассматривали, между деятельностью и «я существую», могут быть установлены и между желанием и «я владею» или даже между стремлением к лучшему (Идеалу) и «я принадлежу к какой-то общности». Данный вопрос требует более глубокого изучения, которое здесь мы провести не можем». Далее я попробую развить эту мысль.

Вполне вероятно, что «я существую» впоследствии уступит место рациональному развитию, также может случиться, что оно превратится в какое-то естественное соединение рационального и иррационального; тем не менее, в своей изначальной форме, в плане жизненных характеристик, оно намного ближе к становлению, чем к бытию...

«Я существую» не обладает динамизмом в чистом виде, поскольку, как мы только что увидели, оно обозначает момент *остановки* в нашей деятельности; но статики в нем еще меньше, именно потому, что оно обозначает всего лишь один *период* остановки, то есть, в принципе, в нем содержится достаточно движения и мощности».

Такую особую характеристику понятия «я существую» можно объяснить и иначе. Рассмотрев его под углом отношений со временем и проживаемым пространством, все это можно представить через схему «я — здесь — сейчас», в которой есть не только время, но и критерий пространственного порядка, выраженный через «здесь» и как бы усиливающий «сейчас»; с другой стороны, это «здесь» имеет смысл только по отношению к этому «сейчас», а не к какому-то другому, даже самому простому, положению в пространстве; на основании вышесказанного, оно далеко от того, чтобы поместить нас в геометрическое пространство, где все относительно и обратимо; кажется, оно способно достаточно точно определить точку *абсолюта* в пространстве, именно ту, где я нахожусь в данный момент и которая, для меня лично, является настоящим центром мира. Безусловно, впоследствии все наши знания в области геометрии и географии будут объединены вокруг этого фундаментального «здесь»; вместе с ним наши знания образуют то, что принято называть ориентацией в пространстве, которая позволяет мне говорить, что я нахожусь слева или справа от какого-то другого объекта в пространстве или что я нахожусь в том или ином городе; однако все эти знания имеют для нас значение исключительно в том случае, если они сгруппированы вокруг «я — здесь — сейчас», которое превращает их в живую основу. Но как только эта основа нарушается, не утрачивают ли знания, все еще являясь цельными, свои привычные характеристики настолько, что человек начинает, скажем так, «витать» («*Schweben*», *Karl Schneider, Storch*) в пространстве, несмотря на весь свой багаж знаний в области географии? С другой стороны, когда возникают проблемы со знаниями по причине ослабления памяти, схема «я — здесь — сейчас» по-прежнему может срабатывать. У нас еще будет возможность рассмотреть данную проблему немного подробнее во второй части этого исследования.

В любом случае в «я существую» или в «я — здесь — сейчас» выявлено тесное слияние времени и пространства, которое образует единое целое, либо, если вам так больше нравится, в них есть пространственность, но при этом нет собственно пространства. Получается, что «я существую» не может быть простым суждением, в логическом значении этого слова, состоящим в том, чтобы привнести в мое «я» существование, которое, в свою очередь, является жизненным феноменом, касающимся нашего существа в целом. Утверждение своего «я» — вовсе не только продукт нашей мысли; оно в большей мере относится ко всему нашему существу, которое именно при помощи этого утверждения определяет момент остановки, на время приостанавливает свою деятельность, напрягает мышцы, как мы уже говорили чуть выше, чтобы потом продолжить действовать.

Из этого следует, что «я существую» переводит мое «я» в этап отдыха, служит как бы центром для так называемого «большого становления», для той особой сферы, которую наша деятельность формирует вокруг него. Иными словами, вокруг «я существую» разворачивается вся наша деятельность. Таким образом, этот феномен находится между распространением деятельности и сокращением ожидания; от них он отличается отсутствием ближайшей угрозы, исходящей от окружающей реальности, и, на основании этого, содержит в себе критерий удобства и могущества, который полностью исчезает в ожидании; он очень близок к тому, чтобы самым естественным образом уступить место деятельности.

Однако, если деятельность, разворачивающаяся вокруг моего «я», обладает способностью утверждать мое существование, мы обнаруживаем, что мое «я» разворачивается вокруг того же центра, но несколько по-другому. Я вижу в этом *феномен владения*. Безусловно, как я уже говорил раньше, в данном случае не идет речь об изучении средств, при помощи которых нам удастся увеличивать наши блага в повседневной жизни, и тем более о том, каким образом развивается понятие ценности. Здесь перед нами раскрывается более простой феномен «я владею», представленный в виде основного критерия общей структуры нашей жизни, который, как таковой, является основой всех систематизированных ценностей как проявления коллективной жизни. Очевидно, что ни одно владение, ни один вид собственности не смог бы сформироваться, если бы за ним не стоял самый простой и понятный феномен «я владею». Нас же больше всего интересует, какое место занимает этот феномен среди остальных основных жизненных феноменов.

Безусловно, мы видим, что «я владею» намного шире, намного объемнее по сравнению с «я существую»; одно находится в протяженности относительно другого; одно словно образует вокруг другого сферу — это сфера владения. Конечно, как и в случае «большого становления» деятельности, пространственное объяснение распространения, о котором идет речь, здесь несущественно; но, с другой стороны, мы не можем утверждать, что в «я владею» нет никаких следов пространственности; оно превышает очерченные границы «я существую», распространяется вокруг него, прибегая к пространственному критерию, который, если не относится к геометрическому пространству, кажется, предшествует ему и является частью более простой, компактной, сжатой пространственности с большими качественными характеристиками. Тем самым мы обнаружили для своего «я» способ расширения, не являющийся ни движением, ни изменением места; именно это обстоятельство и заслуживает внимания.

Однако мы еще не до конца определили место «я владею» среди всего многообразия изучаемых здесь феноменов. Для этого нам стоит подчеркнуть, что «я владею» является для желания тем же, чем «я существую» — для деятельности. Как таковое, оно продолжает нечто подобное псевдостатической остановке, о которой мы недавно вели речь, но в данном случае его направляет не деятельность, а желание. Кстати, чуть выше мы это предвидели, говоря, что можем желать лишь то, чего у нас еще нет; желание всегда выходит за пределы владения, и более того: результатом желания всегда является получение опыта, вне зависимости от его природы и длительности. Эти истины, какими бы очевидными они нам ни казались, совершенно не передают основную суть отношений между желанием и обладанием.

Констатация того, чем я владею, как и утверждение моего существования, обозначает лишь момент остановки в жизни. Этот момент остановки может быть совместим с немного большей длительностью по сравнению с «я существую», хотя бы в силу содержащейся в «я владею» большей доли протяженности. Мы совершенно не способны надолго задерживаться в состоянии «я существую», так как нам необходимо возвращаться к длительности, однако можем посвятить немного больше времени, получая удовольствие от созерцания того, чем владеем, ничуть не ухудшая из-за этого свою жизнь. Но такое созерцание не длится слишком долго. Ведь жизнь состоит, прежде всего, из желаний, а не из подобных констатаций. Владение имеет смысл только при условии, что оно служит поддержкой нашей способности желать чего-либо. Мы должны видеть во владении лишь

желание приумножить то, что у нас есть в жизни, и не усматривать в нем никакого другого смысла. Безусловно, можно легко снизить значимость этой формулировки, превратив ее в тривиальную; тогда она будет использоваться для того, чтобы скрыть жажду наживы, алчность, постоянное желание обладать большим, не говоря уже о том, что наряду с материальными благами существуют блага духовные. Желание, хотя его результат всегда связан с получением опыта, во все не ставит перед собой цель мгновенно увеличить этот опыт, так как в первую очередь он должен быть использован для всестороннего развития личности. А владение служит ему поддержкой. Хочу дополнить: когда желание полностью подчиняется владению и совершенно не выходит за его пределы, оно передает саму свою сущность. Заниматься накопительством благ, как материальных, так и духовных, лишь для того, чтобы их стало больше, — значит отказаться развивать свои силы, а вместе с тем отказаться и от самой жизни. Что же касается выставления напоказ — перед самим собой либо перед кем-то еще — того, что у нас есть, даже не понимая, для чего это нужно, — вот худшая из целей. Ведь желание всегда выходит за пределы владения. Именно по этой причине, наверное, в тот момент, когда желание теряет свой порыв и свою решительность, его легко спутать с владением, ибо оно уже полностью поглощено им. Именно этим, скорее всего, и объясняется феноменология старческой жадности, доходящая порой до абсурда.

В конце концов, так же как «я существую» связано с деятельностью и «я владею» — с желанием, моральный порыв в ходе своего движения выявляет феномен «я принадлежу к...» или «я являюсь частью какой-то общности». Этот феномен — едва ли нужно вообще говорить об этом — совершенно не подразумевает наличия особых форм социальной жизни. Тем не менее, он является для них общей основой и делает их существование возможным. Как таковой, он состоит в тесных отношениях с моральным порывом, и эти отношения совпадают по своим характеристикам с отношениями, которые мы выделили, когда говорили о «я существую» и «я владею». «Я принадлежу к...» обладает менее исключительным и более статичным характером, а значит, более материальным и стабильным по сравнению с этим порывом; он совместим с «учреждениями»; таким образом, «я принадлежу к...» стоит на одну ступень ниже, чем сам порыв, но по сравнению с остальными феноменами, находящимися на той же ступени, он ближе к порыву: как только мы перейдем к более осязаемым критериям существования, он проявит себя в качестве его

естественной основы. Вместе с ним моральный порыв дает нам понимание одного из основных понятий — «мне подобные», и не только в смысле общего стремления к лучшему, вследствие того что есть общего у людей: приобретая актуальность, он ставит меня, пусть даже только потенциально, напротив всего человечества. Моральный поступок возможен лишь в том случае, когда существует какая-то общность, и вовсе не потому, что мои действия полезны или вредны для кого-то еще; просто, исследуя моральный поступок, приходишь к мысли о тесном слиянии именно с себе «подобными», с такими, какие они есть, либо, как минимум, с такими, какими они потенциально могут или должны быть. Если через моральный поступок я достигаю наивысшей вершины, которой только может достичь человек, мне никогда не найти там уединения, но при этом я буду как бы среди равных себе, в окружении идеальных и расплывчатых образов; однако именно они и представляют собой идеальный прототип «коллектива». В моральном поступке я сам являюсь верховным судьей, но суждение, которое я ощущаю внутри себя, сопровождается одобрительным шепотом многочисленной, безличной и невидимой толпы; это напоминает единогласное голосование, ставшее результатом плебисцита. На основании феноменологической точки зрения, как раз в этом и заключена первоначальная основа любого коллектива, любого «быть частью чего-то...» или «принадлежать к...». Точно так же реально существующие формы коллективной жизни самым непосредственным образом находятся под эгидой этого простого феномена. Именно так вся социальная жизнь, с ее непрерывным стремлением к *прогрессу*, открывает перед нами обширные перспективы и, кажется, в наибольшей степени вдохновляется моральным порывом и сближением с миром, который этот порыв строит перед нами, при этом никогда его не достигая. Так происходит потому, что она сама размещена на ступеньку ниже, а исследование морального поступка, в силу его характеристик, никогда не было делом публичным.

Через «я принадлежу к...» мое «я» продолжает свое распространение за пределы сферы владения. Однако это распространение сейчас приобретает несколько иные характеристики. «Я существую» стабильно укрепляет свои позиции; в основном оно эгоцентрично. «Я владею» проявляет себя более растяжимым относительно среды, в том смысле, что теперь оно допускает признаки большего и меньшего: в жизни я могу быть более или менее «богат» — безусловно, здесь под богатством подразумевается не количество ценностей, хранящихся в моем сейфе, а полученный мною в жизни опыт,

являющийся признаком жизнеспособности моих желаний. При этом владение, направленное на мое «я» и сконцентрированное вокруг него, вовсе не лишено эгоцентризма; в нем содержится что-то, похожее на критерий сжатия горизонта и способное частично закрыть собой горизонт; кстати, оно способно закрыть его и полностью, в том случае, если владение становится более конкретным, становится самоцелью, доходит до состояния жадности. «Я принадлежу к...» тем и отличается от владения, что совершенно не сосредоточивает вселенную вокруг моего «я», а, наоборот, дает ему возможность проникнуть в эту вселенную. В таком случае взгляд устремлен к миру, он открывает там для себя новые перспективы. Это похоже на зажженный факел, отправленный моим «я», чтобы осветить самые обширные территории, по мере того как они отдаляются от меня. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что «я принадлежу к...» является точным показателем морального порыва. Здесь речь идет не о «более или менее», но о том, что горизонт, доходящий до бесконечности, способен открыть пред нами. На примере конкретной жизни можно констатировать, что, когда мы покидаем семью, наш взгляд самым естественным образом устремляется по направлению к человечеству, тем самым открывая нам нашу способность последовательно внедряться в разные формы коллективной жизни, все более широкие и протяженные, и при этом мы абсолютно ничего не теряем — ни свою независимость, ни автономность. Мы чувствуем себя очень «комфортно», видя такую «перспективу»; она представляет собой истинную составляющую, способствующую распространению нашей деятельности и наших усилий.

Вся жизнь, такая обширная и весомая, теперь открыта для нас. Но столь же обширными и весомыми становятся и проблемы, которые она ставит пред нами. Впрочем, не менее обширным и весомым стал и наш порыв, направленный на их решение. Благодаря этому мы растем над собой.

ГЛАВА V

СМЕРТЬ

*(«Одна» жизнь и дуализм,
связанный с уходом из жизни)*

Тень опускается на становление. Смерть, подобно хищной птице, кружит над торжествующим течением жизни.

Ощущение ее приближения наводит на нас тоску.

Ах, какие же мы все-таки еще дети! Сможем ли мы когда-нибудь *жить*, не умирая?

Ничего не лишаясь в жизни, мы продлеваем ее одной лишь мыслью о том, что за пределами смерти есть еще что-то, и нам кажется, именно это и является бессмертием. Простейшая математическая операция, связанная с добавлением к жизни того, чего она лишается в момент смерти, — типичная картина, существующая в наивном сознании тех, кто своими собственными средствами, и особенно через противопоставление утверждения и отрицания, рисует нам, какой была бы жизнь без смерти. Что касается меня, когда я пытаюсь удалить смерть из жизни, мне представляется совершенно иная картина — фильм в замедленной съемке, уж простите за такое сравнение; это похоже на то, что бег жизни становится все более и более медленным, все менее и менее ощутимым, а сама жизнь будто бы вытягивается в длину, лишь изредка проявляя себя, и в конце концов окончательно замирает, становится полностью неподвижной. Уж не свидетельствует ли это, что смерть дает жизни толчок, а значит, ее удаление из жизни будет равносильно самой *смерти*?

Странно, но в повседневной жизни существует только два известных нам пути, приводящих живых в царство бессмертия. Один символизируется избранием в число членов Французской академии. Другой относится к области патологий; речь идет о больных, достигших

стадии меланхолического бреда с выраженным отрицанием: они называют себя бессмертными, сетуя при этом, что обречены на вечные страдания. В данном случае мы не видим ни жизнерадостности, ни распространения деятельности, здесь обнаруживаются только признание славы и патологическая меланхолия, несовместимая с жизнью, которая, в свою очередь, и породила идею бессмертия.

Кстати, жалобы меланхоликов порой нам кажутся, до определенного момента, конечно, допустимыми; желание умереть может возникнуть в результате чрезмерно гнетущих нас страданий; меланхолия же лишена по сути своей даже такого крайнего средства. Но ведь жизнь состоит не только из страданий; судьба должна действительно быть исключительно жестокой к кому-то, чтобы ему показалось, что его жизнь невыносима. Таким образом, желание умереть истощает положительную роль, которую смерть играет в жизни.

Я говорю о ее положительной роли в свете недавно посетившей меня идеи о жизни без конца, что, как мне кажется, приводит к полнейшему обездвиживанию, к истощению жизненного источника. Это значит, что смерть нам нужна для того, чтобы жить, отчасти даже для того, чтобы мы ее искали, если бы она не существовала.

Мы все представляем себе смерть в виде скелета с косой. Но, с другой стороны, что бы еще могло дать нам возможность оценить жизнь по достоинству, если не смерть? Что бы еще мы могли бы возложить на алтарь жизни, в ее стремлении к будущему, если бы не было смерти? Тогда бы все в нашей жизни стало тусклым, серым, не имеющим никакого смысла; и разве стоило бы вообще проживать подобную жизнь?

Так что же такое смерть?

Что бы я испытывал, предчувствуя смерть? Невольно на ум приходит ощущение разрыва, ибо она отбирает у нас дорогое нам существо. Совершенно разбитые, мы безутешны на фоне той пустоты, которой смерть наполнила наши привязанности; она лишила нас наших «ценностей», разрушила их, и в результате этого испытания мы остались в полной нищете. Однако сейчас мы не ставим перед собой цель описать эмоциональную психологию смерти; мы рассматриваем ее сквозь нашу собственную личность, а в таком случае всегда отмечается некоторая доля эгоцентризма и эгоизма с нашей стороны. Нам следует подняться выше этой характеристики смерти и попытаться

увидеть то, что в ней является наиболее общим и основным. Наше эмоциональное состояние будет очень сильно отличаться, когда речь идет о близком нам умершем человеке и когда о незнакомце; но, на мой взгляд, есть то, что всегда верно, что является общим для любой ситуации: мы все слабеем, встречаясь со смертью, мы становимся серьезными, начинаем размышлять, интересуемся, чем *заканчивается жизнь*, не просто какая-то жизнь, а *одна-единственная*. Смерть раскрывает перед нами понятие *одной жизни* и делает это, прерывая саму жизнь.

Нигде и никогда у нас больше не будет возможности наладить столь тесный контакт с понятием *одной жизни*, кроме как в ситуации, когда мы встречаемся со смертью. Кажется, что это понятие в самой простой форме раскрывает перед нами именно феномен смерти. На огромной сцене жизни мы видим, как вокруг нас происходят события, действия, столкновения, конфликты, эпизоды, исторические баталии, как личные, так и коллективные; кроме того, мы видим окружающих нас людей, некоторым завидуем, некоторых жалеем, кем-то восхищаемся, кого-то любим; но все это вместе напоминает идеальную театральную постановку, лучше которой и не придумаешь: части ее сменяют друг друга, соединяются в последовательность действий, заставляя нас трепетать, при этом сама постановка, не имеющая ни конца, ни начала, теряется в бесконечности, так как содержит в себе нечто аморфное и неопределенное. Конечно, противопоставляя одни события другим, нам удастся *восстановить* нить одной-единственной жизни, но в этом спектакле нет ничего, благодаря чему понятие жизни мгновенно раскрывалось бы перед нами. В театре опускают занавес, чтобы дать понять зрителям, что пришло время возвращаться домой, — иначе они бы не знали, закончилась ли пьеса. В жизни этот занавес заменяет смерть, именно она ставит точку, и вовсе не просто прерывая жизнь, дарованную нам свыше, как вы могли бы подумать, а в том смысле, что вместе с собой она приносит понятие жизни, понятие, способное объединить в единую искусственную целостность все то, что этой смерти предшествовало. В присутствии смерти я вижу, как *вся* моя жизнь проносится у меня перед глазами, это происходит, даже если я не осознаю все то, чему она положила конец. Совершенно не важно, в лохмотьях человек или в шикарном наряде, окружен друзьями или совсем один на своем убогом ложе, каждому смерть дает возможность осознать одно и то же: жизнь, единственная жизнь, подходит к концу. Мгновенно возникает кадр «биографии». Я ощущаю в себе неудержимое желание дать полную свободу

фантазии и, несмотря на точные знания, создаю нереальный роман, взяв за основу и значительно приукрасив эти знания, уделив особое внимание деструктивной характеристике смерти, с ее огорчениями, разочарованиями, страданиями, тяготами, которых я никогда не встречал при жизни; а если речь идет о близком мне человеке, где-то на уровне подсознания я испытаю потребность подвести итог его жизни, добавить туда больше деталей, немного пофантазировать, чтобы заполнить пустоту его души, которая каким-то магическим образом ускользала от пытливых взоров остальных. Однако все это — лишь выражение простейшего факта: именно смерть дает нам понятие *одной-единственной* жизни, и только она способна сделать это. Являясь разрушающим феноменом, смерть порождает не человека, а становление.

В силу того, что смерть способна положить конец *единственной* жизни, можно сказать, что в ней есть что-то *непоправимое*. Разбитый предмет легко заменить; сейчас мы даже обладаем способностью изготавливать все огромными партиями. Но ничем нельзя заменить жизнь; у нее *свое собственное течение*, которому не суждено повториться; жизнь уникальна в своем роде, хотя это вовсе не означает, что нельзя заменить никого из нас, живущих. Существует только феномен финала, только смерть, всегда неизменная, которой завершаются все жизни, но не сама жизнь. Землетрясение может в одночасье уничтожить множество жизней; учитывая нашу тягу к разрушению, пулемет кажется нам предпочтительнее винтовки. Но все-таки жизнь продолжается, она движется вперед. При этом нет ни человеческой, ни даже космологической силы, способной воссоздавать жизни в огромном количестве так же быстро, как эти силы разрушают их; нет силы, способной создавать жизни, потому что «одна-единственная жизнь» — едва ли нужно говорить об этом — вовсе не то же самое, что появление на свет младенца; «одна-единственная жизнь» заканчивается прямо у нас на глазах, но начинается совсем по-другому, как бы по аналогии с ее окончанием — в том смысле, что однажды ей придется завершиться. Смерть является жизненным феноменом, тогда как факт рождения — нет; это всего лишь биологический факт.

Таким образом, смерть, призванная положить конец жизни, в ходе всего ее развития постоянно *находится рядом* с жизнью. Именно она превращает продолжение или структуру жизненных событий²⁴

²⁴ См.: Глава I, § 6.

в *одну-единственную* жизнь. И ведь вовсе не рождаясь, а умирая, мы становимся чем-то целостным, становимся *человеком*. Когда речь заходит о том, чтобы проложить дорогу, нам необходимо ставить сигнальные столбики, один за другим, до самого последнего; в данном случае для нас важен именно последний столбик, и как только он поставлен, все остальные, вырастая из земли, словно по волшебству, выстраиваются вдоль всей дороги.

Смерть — это исключительно *индивидуальный* феномен, и не потому, что касается лично каждого индивида, а по той причине, что ею понятие индивида и завершается. Жизнь на этом не заканчивается, есть только одно живое *существо*, которому, чтоб быть *живым* существом, то есть существом, прожившим целую жизнь, необходимо быть смертным.

Смерть оставляет *позади себя* светящийся след, объединяющий в единое целое, в *одну-единственную* жизнь, все то, что она только что прервала.

Она оставляет позади себя очертания жизни, одной-единственной жизни, отражающейся *во всех жизнях*, одной жизни, следующей победным маршем от становления к будущему.

И этот марш продолжается постоянно, не потому, что прочие живые существа следуют за теми, кто им предшествовал, один за другим, а вследствие того, что только смерть может прервать в ходе жизни, ни в чем ее при этом не ограничивая, *одну-единственную* жизнь. Она отделяется от жизни в целом подобно тому, как сухой лист срывается с дерева: опадая, он исполняет меланхоличную песню смерти, гимн жизненным силам, давшим возможность родиться и ему, и всем остальным листьям, чтобы осенью легким дуновением ветерка они также были сорваны с дерева, что происходит ежегодно, и превратились в тлен в этом вечном круговороте.

Таким образом, жизнь не завершается через творения, которые не могут быть доведены до конца, она *заканчивается* смертью.

Приведя в качестве примера описание сухого листочка, мы сравнили его со всеми остальными листьями, которые из года в год неизменно разделяют его судьбу; как и этот листок, их уносит ветрами в том же самом направлении, к неизвестной судьбе создания, завершившего свое существование. Мы сделали это умышленно. Ведь в тот момент, когда мы сталкиваемся со смертью, она раскрывает перед

нами понятие *одной* жизни в целой жизни, а еще — и это происходит в рамках того же открытия — затрагивает нас напрямую, проникает в самую глубь нашего существа, ставит нас лицом к лицу с *нашей собственной жизнью* и с тем, что мы тоже *смертны*. Каждая смерть — это в чистом виде *temento mori* для тех, кто ее пережил. Я смертный не в силу осознания, что однажды мне суждено исчезнуть, как исчезают повсюду мне подобные, а потому, что я способен констатировать смерть, и сделать это могу лишь вследствие того, что смерть есть и во мне самом, в чем и проявляется моя идентичность с другими людьми.

Сейчас мы выявили отношения, напоминающие те, речь о которых шла в III главе. Здесь, как и там, мы видим настолько тесное проникновение, что отношения идентичности, кажется, были выявлены нами еще до того, как мы поняли, что призвана объединить такая идентичность. Рассуждая о симпатии, мы говорили, что она является более простой характеристикой по сравнению со всеми остальными «патиями»; так же и всеобщая мораль представляется более простым феноменом по сравнению с отдельными смертями, на основании которых мы могли бы попытаться вывести ее, представив в виде общего правила. Идентичность между людьми устанавливается через симпатию и через смерть; в обоих случаях один общий феномен распределяется на различные составляющие жизни.

Безусловно, смерть — исключительно индивидуальный феномен, в том смысле, что именно она прочерчивает перед нами границы *одной* жизни, но, делая это, а вернее, тем самым она в принципе разделяет *все* жизни в становлении, совершенно одинаковые с точки зрения морали. Таким образом, смерть является самым индивидуальным и самым общим или, правильнее будет выразиться, самым множественным феноменом из всех нам известных.

«Все мы смертны, все мы равны перед лицом смерти» — несомненно. Но именно в этом и заключается жизненный опыт, так и хочется сказать «эмпирический закон», которому нас обучила жизнь.

Однако, если мы обратимся к статистике, нам на ум придет интересная мысль: мы сами по-прежнему живем, и многочисленны те, кто живет вокруг нас, а еще больше тех, кто будет жить после нас; кто знает, может, до сегодняшнего дня смерть была простой случайностью. А страх смерти, которого никто из нас полностью не лишен, в принципе и должен заставить наш разум двигаться в нужном направлении. Он хорошо справляется с этой задачей в повседневной жизни, когда, рассуждая о какой-то совместной угрозе, мы практически готовы

утверждать, порой даже прибегая к нелепым отговоркам, что такая опасность скорее угрожает нашим соседям, нежели нам самим. При этом в присутствии смерти как общей нормы мы совершенно не способны так рассуждать.

Если мы и дальше будем пользоваться статистическими данными, то нас не может не посетить еще одна интересная мысль. Некоторые утверждают, что мы констатировали факт идентичности нашего «я» другим только по аналогии. В таком случае это уже вторая аналогия, похожая на отдачу оружия, которое мы можем считать смертельным, констатируя, что все остальные смертны. Но не лучше ли, в данных условиях, отказаться от этой наивной игры в аналогии? Увы, мы не чувствуем, что способны сделать это, ибо смерть изначально предстает перед нами в качестве общего феномена, который применим ко всему без исключения.

Кстати, степень достоверности, свойственная идее смертности, значительно выше степени достоверности эмпирических законов. Ценой серьезных усилий мы, возможно, и смогли бы представить, каким был бы этот мир, если бы закон всемирного тяготения перестал действовать. О смерти того же сказать нельзя. В данном случае речь идет об *абсолютной* уверенности, не позволяющей нам сделать ни единого шага в сторону сомнения. Феномен смерти изначально применяется ко всему, что может быть определено как «одна» жизнь; то есть, применительно ко всем возможным жизням, он служит образцом нашей эмпирической мысли в поиске общих законов, которые могли бы распространяться и на будущее; именно по проложенному этим феноменом основному пути и пойдет такая мысль, никогда, однако, не доходя до свойственного ей состояния абсолютной уверенности, а следовательно, и до самого феномена смерти. Ведь когда смерть появляется в становлении, чтобы отметить «одну» жизнь, данную нам изначально, в то же самое время, в силу того же действия, наступает понимание, что все жизни смертны и лишь в самой смерти заключены эти сведения.

Таким образом, смерть, как и становление, самым непосредственным образом выходит за границы моего «я». Тем не менее, она это делает иначе. Становление выходит за границы индивида, скорее, с качественной точки зрения, в силу своего могущества; а индивид может в нем утвердиться только после того, как сумеет поставить выше него нечто обширное и неосознаемое, значительно превышающее его по силе (сверхиндивидуальный критерий в личном порыве). Смерть же, наоборот, делает это спокойно, ровно, в числовом выражении,

естественно, без того чтобы возник вопрос о каких-либо числах. Множественность в данном случае представлена таким же непосредственным образом, как и единица; и, кстати, для нее оно не является итогом, в значении суммы отдельных единиц, оно — единое целое, своего рода рамка для каждой из этих единиц. Отдельный человек, наверное, прекратит жить, но вовсе не умрет.

В движении нашей жизни к будущему можно выделить *два* критерия. Первый — это движение к будущему во всем его величественном могуществе, к будущему, которое мы описали в предыдущей главе; второй — движение по направлению к смерти. Расцвет личности, достигающий почти до апогея, бескрайний горизонт, ликование и победные песни — с одной стороны; увядающие желтые листья, предел, за которым уже нет горизонта, меланхоличная мелодия, обреченность, упадок и, в завершение, смерть — с другой; или: порыв к будущему — с одной стороны, и движение к концу — с другой.

Безусловно, для нашего сознания удаление от начала пути означает то же самое, что и приближение к его окончанию. Но жизненные феномены не подчиняются требованиям нашего разума. Здесь речь идет о двух абсолютно разных позициях. В первом случае наш взгляд устремлен в бесконечное будущее, наш жизненный порыв выходит за пределы смерти, к горизонту жизни, чтобы почерпнуть там свои силы; во втором случае мы приближаемся к концу, уже никуда «не продвигаясь», поскольку только и делаем, что движемся к смерти. Ощущать себя молодым или утверждать, что стареешь, — вот примеры, прекрасно раскрывающие обе эти позиции. Мы себе полностью отдаем отчет в том, что это не имеет ничего общего с возрастом, указанным в документах. Старик может чувствовать себя молодым, полным сил и жизни, когда, прилагая усилия, он умудряется, несмотря на свою физическую немощность, подняться на самую вершину человеческой деятельности; с другой стороны, кто из нас, даже будучи двадцатилетним, в определенные моменты особой усталости не ощущал, что время ушло, а смерть уже почти на пороге.

Именно таким образом мы движемся по жизни в сторону будущего и в сторону смерти, причем эти движения, хоть и кажутся нам совпадающими, на самом деле отличаются. Одно — это все то, что обширно, бесконечно и позитивно в будущем. Другое — все то, что в жизни является ограниченным, закрытым, негативным.

Некоторые люди в такой ситуации могут с легкостью склониться в сторону эмпирических данных; и тогда они станут рассуждать о двух противоположных критериях, которые, перманентно с разной силой вмешиваясь в нашу жизнь, скорее всего способны влиять на общее состояние живого существа; в результате они будут просто счастливы от того, что им удалось определить отношения, одновременно связанные с обоими критериями или даже с двумя противоположными процессами, которые можно описать физиологическими терминами.

Но, в сущности, поступать так — значит абсолютно неверно толковать изучаемые феномены, ибо в присутствии противоположных сил в данном случае, как и в случае морального конфликта, существуют *разные уровни*. Две различные силы не могут находиться в одной плоскости. Как мы уже говорили чуть выше: я двигаюсь в сторону будущего и я двигаюсь в сторону смерти; хотя на самом деле точнее было бы сказать: *жизнь внутри моего «я»* движется в сторону будущего, а я двигаюсь в сторону смерти. Такая формулировка в большей мере соответствует нашим рассуждениям о том, каким образом мы утверждаем себя относительно становления и что для нас значит жизнь. В то же время мы лишаемся возможности приравнять изучаемые феномены к силам, в физическом значении этого слова.

Безусловно, наша повседневная жизнь может быть под влиянием то одной, то другой позиции, и это, как мы уже говорили, совершенно не зависит от реального возраста. Более того, на основании данной точки зрения могут быть выявлены еще и другие отличия — и на эту деталь было бы интересно обратить внимание, — отличия одного индивида от другого. Мы замечаем, что одни решительно принимают за проекты, которые могут привести к результатам только через десятки лет усилий или принесут какие-то плоды, лишь спустя несколько поколений; несмотря ни на что, они без колебаний превращают эти проекты в смысл своей жизни. Другие, наоборот, как только речь заходит о паре лет их жизни, которые придется потратить, чтобы добиться положительного результата, начинают сомневаться; им этот срок кажется слишком долгим, они не готовы лишить свою собственную жизнь такого временного разрыва ради будущего, которое на самом деле не является далеким, но от них все же ускользает; они словно скованы в своем порыве, довольствуются только мелкими проектами, приносящими отдачу в ближайшее время; их горизонт ограничен, сила,двигающая их вперед, слишком мала; они скорее мастерят, нежели творят, и изначально живут как бы под покровом уходящего времени и приближающейся смерти, игнорируя время,

которое развивается и которое мы сами заставляем развиваться вместе с нами²⁵. У больных, страдающих расстройствами личности, меланхолией, находящихся в депрессии, такое преобладание фактора смерти выражено еще ярче. Однако все это эмпирические сведения, которые, конечно, интересны, но они не должны дать нам забыть, что с феноменологической точки зрения смерть появляется в нашем будущем во вторую очередь, так как изначально будущее дано нам жизненным порывом. Кстати, именно по этой причине, рассуждая об эмпирических данных, мы не могли, описывая их, не внести критерий оценки; без всяких колебаний мы заявили, что два типа, о которых идет речь, не равны по значению; нам также известно, какой из них более значимый, и вывод этот сделан не на основании социальных или каких-то других аспектов, а является естественным отражением феноменов, играющих в данном случае важную роль.

Прошедшие годы накапливаются в виде тяжелой ноши. Я пригибаюсь под этим грузом. Я начинаю горбиться. Все идет на *спад*, как если бы какая-то невидимая сила тянула меня вниз, к земле, в могилу. «Физиологическая беспомощность, которая наступает в зрелом возрасте, физическая старческая слабость», — могут мне возразить. Нет, вовсе нет, дело не только в этом. Имеется в виду не только физиологический аспект старости или сопровождающая старость немощность. Признать, что мы больше не в состоянии делать все то, на что были способны раньше, всего-то года два назад, совершенно не исчерпывает ситуацию. Проблема еще и в том, что свое старение мы проживаем *изнутри*. Однако в данном случае не может быть и речи об ослаблении способностей памяти или снижении нашей тяги любить; эти факторы являются очень конкретными и достаточными. Вся прошедшая жизнь обобщается, сгущается, чтобы напомнить нам о смерти — ее верной спутнице, — и какая-то часть

²⁵ Господа Боуман и Грюнбаум, о которых я еще буду говорить чуть дальше, ранее уже настаивали на справедливости этой точки зрения. По их мнению, «комплекс времени» в нашей жизни представлен в двух аспектах: в перспективном и в ретроспективном. Манера, в соответствии с которой человеческая деятельность распределяется между двумя этими аспектами, различна для разных индивидов. До настоящего момента этому не уделялось должного внимания, однако столь исключительно важный фактор необходимо ввести в область изучения свойств характера, добавив его к популярной классификации интровертов и экстравертов.

нашего существа, кажется, стремится *вниз*, к могиле. Значит, пришло время умирать.

Конечно, это «вниз» и эта «могила» заставляют нас думать о могильной яме, в которую будет помещен наш гроб; мы уже почти готовы считать, что именно на основании погребальной церемонии у нас и возникают подобные ассоциации, которые мы впоследствии доносим до собственного внутреннего мира. Но разве действительно так? Можно сказать, что изображение могилы или, точнее, поступательного движения по направлению к ней, возникает в нас независимо от существующих обрядов погребения. Именно сейчас и стоит задать себе вопрос: не являются ли эти обряды всего лишь продолжением, конкретизацией нашего спада, который изначально присутствовал в нас самих? Мы отдаем своих умерших земле, так как еще раньше сама жизнь вынудила их склониться вниз, к земле — конечно, не в материальном смысле этого слова. Помимо прочего, приблизиться к концу — значит ощутить, что нас тянет вниз, к материи, если можно так выразиться; при этом жизнь все еще бьется внутри нас, а наш жизненный порыв, как и наша душа, совершенно не отказываясь от своих стремлений, продолжает, совершая рывки, ускользать от оков смерти и, оставаясь живым, устремляется в *небеса*.

Иными словами, если, как уже говорилось ранее, мы движемся в сторону неисчерпаемого будущего и одновременно с этим — к смерти, то у нас возникает ощущение, что одна часть нашего существа все больше и больше склоняется вниз, тогда как другая — легка, бессмертна, неосязаема, как воздух, которым мы дышим, и постоянно пытается подняться выше. В силу смерти, это напоминает *раздвоение* внутри нас самих, словно две дороги в какой-то момент начинают расходиться и удаляются друг от друга, одна из них идет вниз, а другая — вверх. Такую разновидность *дуализма* мы проживаем постоянно.

Однако нужно внести ясность. Здесь имеется в виду проживаемый дуализм, дуализм *динамической природы*. Ни при каких обстоятельствах не может быть и речи о двух частях нашего существа, которые, как два различных этапа, противопоставляются одна другой. Именно в становление одной жизни, жизни, идущей полным ходом, и проникает этот дуализм, проникает на основании смерти. Такой ход жизни, все же являясь единым целым, как бы разделяется в двух различных направлениях: одно становится все более и более уязвимым, все более насыщается осязаемыми элементами, материальными, земными, разрушающимися под влиянием времени, чтобы

потом превратиться в «ничто», стать просто материей; другое находится в состоянии неощутимого постоянного движения вперед и, кажется, все больше и больше отделяется от материи, избавляется от нее, чтобы в конце концов... Можем ли мы, заканчивая эту фразу, сказать: полностью отделиться? Конечно нет. Не будем спешить; не позволим симметрии одурачить себя. Дело в том, что все заканчивается со смертью, хотя кажется, что она затрагивает только одну сторону существования.

Динамический дуализм — полагаю, нужно еще раз обратить внимание на этот факт — содержит в себе составные части пространственного характера, такие, как верх и низ, мы не раз обращались к ним в своих рассуждениях. Однако эти составляющие ни в коем случае не могут быть подчинены простым геометрическим отношениям. Мы говорили «стремиться к могиле» и «устремляться в небеса», но эти выражения являются для нас не просто метафорами. Дело в том, что переполнение нашего существа материальными критериями на самом деле ощущается как *тяжесть*, которая прижимает нас к земле, вниз; с другой стороны, мы, напротив, ощущаем, как, ведомые своим порывом, словно поднимаемся вверх. Указанные «верх» и «низ» отличаются пространственными признаками, но здесь вовсе не идет речь об обратных и относительных отношениях, здесь имеется в виду, что в действительности и в абсолютном значении «верх» намного «выше», чем «низ». Все мы смертны, а все смертные живут на земле и смотрят на небо, что происходит вовсе не по причине воздействия силы притяжения или нашего физиологического строения; это выражает суть феноменов, на основании которых жизнь, в самом широком значении слова, обретает смысл.

Как понятие «еще дальше» для будущего, послужившее нам путеводной нитью, касалось пространственно-временного единства, так и проживаемый дуализм, похоже, относится к тому же единству; «двигаться вперед» — это одновременно и стремление вверх, в небесную сферу, тогда как движение по направлению к смерти — это движение в царство материи могилы.

К тому же, кажется, существует аналогия с критерием личного порыва; одновременно с тем, как творение закончено, мое смертное «я» включается в становление, отличающееся от того, которое руководит его природой. Данная аналогия, кстати, приведена отнюдь не с целью удивить нас: момент завершения, как оказалось, является общим признаком для обоих случаев.

Человеческий разум пресыщен проблемами дуализма. При этом такой дуализм всегда рассматривается с точки зрения статистики. Мы противопоставляем возбуждение и восприятие, а затем тщетно пытаемся вывести одно из другого. Мы рассуждаем о своем теле и об ощущениях, о наших эмоциях и о проявлениях воли, а потом силимся, не добываясь результата, заново включить в жизнь эти абстрактные явления, искусственно из нее удаленные.

Но наряду со статичной концепцией дуализма существует и проживаемый дуализм, который дает нам возможность понять, каким образом наш разум, преодолевая собственные границы, создает свои особые формы дуализма, подчеркивает необходимость сдерживания такой чрезмерной рационализации нашей жизни, чтобы впоследствии избежать псевдопроблем, к которым она приведет. Впрочем, это уже совсем другой вопрос.

Скорее всего, у нас есть возможность еще сильнее подчеркнуть проживаемый дуализм, обратившись к более конкретным данным, конечно при условии, что мы будем анализировать их только как примеры, а не в качестве эмпирической основы описываемого здесь феномена. Рассмотрим жизнь человека. Сначала период роста, развития и воспитания; человек развивается комплексно, одновременно увеличиваются его физические и умственные способности. Но тело достаточно быстро останавливается в росте и развитии, а вот душа не останавливается никогда. От творения к творению, переходя от одного этапа к другому, человек не перестает двигаться вперед. При этом, продвигая вперед свое тело, он совершенно не растет над собой, остается на месте, хотя и не становится слабее; у чемпионов по боксу очень короткая карьера, титаны ума в течение всей своей жизни создают что-то новое понемногу, в соответствии с их физическими возможностями. Безусловно, даже самые знаменитые мыслители, состарившись, как и все остальные, могут нести вздор, но в данном случае это признак физической слабости, отобравшей у индивида все его способности; к нему уже подбирается смерть. Однако старость не всегда приводит к старческому слабоумию; как уже не раз было сказано, понятие старости нельзя совместить с творческим порывом. В данном случае дуализм динамического плана, о котором мы говорим, вновь подтверждается.

Неожиданно наступает смерть; в ней мы обнаруживаем такую же особую черту, ибо после смерти от нас не остается никаких осколков, как от разбитой вазы; обязательно будут останки тела, а также что-то такое, что улетит навсегда.

Так, может быть, то, что отделяется от тела и способно его пережить, — это душа? Конечно же нет. В момент смерти жизнь завершается. Признать существование души — значит создать ее на подобие тела и тем самым продлить его существование во времени, представленном не в форме становления, а в форме бытия, рационализировать дуализм жизни в большей мере, чем позволяют изначальные данные. Кроме того, все изображения, касающиеся вечной жизни, какими бы притягательными они ни казались, основаны всего лишь на схематизации феноменов жизни и смерти, даже в тех случаях, когда они основаны на моральных факторах. Помимо собственной воли мы испытываем потребность избавиться от этих изображений, серьезно искажающих реальность.

Таким образом, после смерти не остается ничего, кроме безжизненных останков, которым суждено разрушиться, — стоит ли об этом так много говорить? Я не могу избавиться от чувства недоверия к тем, кто кичится своим материализмом и видит в отрицании проявление более «продвинутого» и «позитивного» мнения. «Продвинутого» относительно кого и чего? Может ли на самом деле движение вперед заключаться в отрицании того, что многими признается, что, напротив, должно утверждаться, так как было позаимствовано? Появляется желание сказать: если в действительности после смерти ничего нет, это будет считаться правдой лишь до тех пор, пока эту правду можно оставить при себе; нужно ревностно хранить ее в глубине своего «я», и не из-за отсутствия желания делиться ею с себе подобными, но потому, что, выходя наружу и приобретая какую-то форму, она становится смехотворной, как и все остальные формулировки, по сравнению со значимостью жизненных проблем. И, кстати, лозунг «после нас хоть потоп» является суровым последствием такого негативного, не связанного с жизнью отношения; он основан исключительно на идее смерти и навязывает нам эту идею, пока мы еще живы. Он в большей степени является словесным проявлением, нежели реальным, а значит, совершенно неприменим в жизни.

По сути, ни утверждение, ни отрицание, похоже, здесь ни к месту. С одной стороны, мы отдаем себе отчет в том, что рационализация стоит в основе утверждения бессмертия души, однако методы, которые при этом используются, кажутся нам допустимыми; с другой стороны, мы видим, что противоположное отношение сводит все к осязаемым фактам материализма, в том числе и всю жизнь, прибегая

при этом к тем же самым механизмам рационализации, хотя и на весьма заурядном уровне.

Чуть выше мы говорили, что можем допустить идею бессмертия, чтобы противопоставить ее альтернативной идее, но при условии ее ревностного сохранения внутри своего «я». Дело в том, что внутри нас стираются различия между положительным и отрицательным. Там просто нет места для таких противопоставлений. Нет ни «да», ни «нет». Там все вперемешку. Единственное рациональное определение, которое, как мне кажется, может там образоваться, — это идея *таинства* или, если вам больше нравится, формулировка *проживаемой проблемы*.

Смерть является *таинственным и проблемным* феноменом. Именно это она собой и представляет.

Смерть предстает перед нами в форме таинства, потому что в ней много неизведанного. Впрочем, завтрашний день тоже неизведанный для нас, однако мы отнюдь не воспринимаем его как таинство, ну, или как минимум, воспринимаем не в той степени. Кроме того, жизнь, не переставая, формирует перед нами вопросы о ней самой, и при этом даже она не кажется нам таинством. Дело в том, что жизнь мы проживаем, она здесь, рядом с нами, в нас самих, вокруг нас; расстояние, которое нас разделяет, недостаточно для того, чтобы мы могли расценивать ее как таинство; она раскрыта перед нами в полной мере. Смерть же, напротив, становится завершением жизни, выступает против нее, обрывает ее; она возникает перед нами живыми, ставит точку вне этой жизни, в силу чего кажется нам неизвестной, проблемной, таинственной. Для меня живого она является тем же, чем небытие — для разума. Она имеет тот же статус, что и молитва, моральный порыв, ведь они также превосходят мое «я», пока я жив, и выводят его за пределы. Таким образом, мы доказали естественное сходство между феноменом смерти, с одной стороны, и феноменами молитвы и морального порыва — с другой. Мы молимся не только для того, чтобы избежать смерти — чаще всего именно такая молитва является низкой, — но, одновременно, мы собираемся с мыслями в присутствии смерти и признаем значимость молитвы; выходит, что мы движемся в одном направлении, ведомые за пределы двумя феноменами сразу. Что касается морального порыва и его способности раскрывать перед нами будущее во всей его сияющей прозрачности, он захватывает нас так сильно, что мы готовы пожертвовать всем ради него, даже самой жизнью; у жизни есть только один выход — смерть, и этот выход необходим нам, по возможности постоянно, чтобы жить.

А наш разум, со свойственным ему культом позитивного мышления, истощается, пытаюсь ответить на то, что, по сути, является таинством. Иначе как ответить на вопрос, который кажется в высшей степени нелогичным, хотя и не лишен смысла в полной мере: чем я буду, когда меня не станет?

Получается, проблема смерти вовсе не является выражением того, что различные вопросы, которые задает смерть, слишком сложны и, в результате, превращаются в проблему. Безусловно, смерть будоражит наше воображение, но дело не в этом; она является проблемой в силу своего смыслового значения, а единственное, что может быть нам интересно, — отнюдь не способ, при помощи которого мы сумели бы раскрыть это таинство. А как оно превращается в более точный вопрос, выраженный в форме «после смерти»? Вместо того чтобы ответить на этот вопрос, мы пытаемся разобраться, откуда он взялся, причем не с психологической точки зрения, а с феноменологической. Так возникла идея, что душа не умирает в силу появления умерших во сне, а также идея о последнем «вздохе», который, кажется, забирает с собой жизнь, однако все эти объяснения носят этнографический характер, они никак не связаны с феноменологией.

Чуть выше мы смогли установить параллели между феноменом смерти и принципом витального контакта с реальностью. При этом ничего не было сказано о различиях. Ощущая симпатию, мы словно качаемся на волнах все того же становления, которое в силу этой симпатии появляется. Находясь лицом к лицу со смертью, все происходит совсем не так. Сталкиваясь со смертью, еще не своей, а другого человека, я осознаю, что сам смертен. В данном случае происходит нечто наподобие раздвоения во времени; смерть, произошедшая сейчас, станет отражением неизбежного события в будущем. Именно на основании этого чуть раньше мы говорили, что феномен смерти служит образцом для эмпирического мышления.

В будущем, которое до этого состояло исключительно из порыва и динамизма, образовалась грань. Так я получил свои первые *знания* о будущем. Я *знаю*, что умру, знаю, что когда-нибудь меня не станет.

Первая точка опоры; таким образом в становление проникает первое уточнение, возникшее — это заставляет задуматься — не как результат утверждения, касающегося либо моей собственной жизни, либо жизни мне подобных, а на основе феномена с негативной,

разрушительной характеристикой, на основе смерти. Смерть сильна тем, что обозначает одну *дату*; с точки зрения феноменологии, это первая дата, которая будет внесена в становление.

Безусловно, эта дата абсолютно неточная, если пытаться конкретизировать ее через вопрос «когда?». Смерть легко может наступить в любой миг нашего существования. В будущем она неизбежна, но все-таки дата смерти нам неизвестна до того момента, когда смерть появляется в нашей жизни, чтобы закончить ее. Такой двойственный характер смерти требует к себе уважения. Наше эмпирическое мышление, наши планы направлены на все события, которые могут произойти в будущем, на все, кроме одного, самого точного, — смерти. Конечно, я не могу не вспомнить медицинские диагнозы, но все эти диагнозы относятся к ходу развития болезни и связаны в таком случае с первым этапом смерти, а не с самой жизнью. У них нет ничего общего с тем, о чем мы вели речь. Изначально важно понять следующее: если бы еще при жизни мы заранее знали дату своей смерти, то, скорее всего, вообще не могли бы жить, а занимались бы только расчетом времени, оставшегося нам на жизнь. Не нужно знать дату смерти при жизни. Однако именно смерть предоставляет нам фундаментальные знания о том, что в будущем в обязательном порядке произойдет что-то конкретное.

Смерть внезапно ворвется в каждую жизнь; и хотя это произойдет только один-единственный раз, угнетающая мысль о неизбежности нас не покидает. «Что бы ты ни делал, а все равно неизбежно должен умереть, в то время, которое не можешь знать, ибо это заранее предопределено силой, значительно тебя превосходящей». Ни одно эмпирическое доказательство не в силах оспорить это утверждение. Оно, кстати, в большей мере соответствует действительной характеристике смерти по сравнению со всеми нашими знаниями. Оно не разрушает присущее нам неведение, связанное с этим вопросом, и предоставляет нам знания, которых у нас не просто не было, но и не должно было быть, о том, что существует сила, которая превосходит нас. Однако оно слишком отделяет от нас эту силу, в результате чего становится скорее игрой, нежели жизненной позицией.

В смерти я вижу преграду впереди себя, но в то же время и так же отчетливо, если даже не лучше, я вижу жизнь, которая продолжается потом. Это «потом» вовсе не является пустотой, как не является ни нелепым вращением звезд, ни вечной последовательной сменой биологических жизней, похожих на мою, которые в монотонном следовании одна за другой все-таки будут лишены всякого смысла, кроме

космологического движения. И уж тем более это «потом» не является наследием наивных верований наших предков, служивших для того, чтобы проще было принять разочарования и душевные страдания в жизни: речь не идет о встречах или о поощрениях там, за гранью. Я представляю себе, что это «потом» глубоко укоренилось внутри меня и даже является моей частью. Принцип выживания не возникает из ниоткуда; я ношу его в себе, без какого бы то ни было намека на наивность. Для меня смерти нет, потому что внутри меня существует нечто, именуемое «после смерти», и я чувствую себя настолько тесно связанным с этим «после», что вся моя жизнь черпает там свой смысл.

Конец света — это астрономический и биологический вымысел; с феноменологической точки зрения — это бессмыслица, ибо всякая жизнь вдохновляется тем, что есть *после* смерти, и совершенно не может существовать без нее. И конечно же это вовсе не значит, что биологическая жизнь должна непрерывно продолжаться, поскольку это всего лишь подделка реального выживания, которое существует внутри нас самих.

Так как в будущем мы сможем познать только смерть, выживание нам неведомо; но мы знаем о нем, потому что оно имеет отношение к проживаемому будущему, оно к нам намного ближе, чем смерть, оно нам дано целиком, так сказать.

«После смерти» нам так же дано в более простой форме, чем сама смерть и все, что ей предшествует. В этом и заключается первичная информация всей жизни в целом — то, каким образом она устремлена в будущее. Я в большей мере являюсь участником этого «после», по сравнению с настоящим или прошлым. Именно в нем я черпаю все свои силы, именно оно согревает мне душу. Бесспорно, такое участие не имеет ничего общего с любопытством, которое мы иногда выражаем в виде какого-то детского желания вернуться назад на несколько сотен лет, чтобы констатировать, что произошли положительные изменения, вызванные либо достижениями техники, либо расцветом социальной жизни. Это «после» не имеет ничего общего ни с сотнями лет, ни с тысячами, вообще ничего общего с измеряемым временем в целом. Оно возникает непосредственно из морального порыва, который раскрывает перед нами обширное будущее, делает это будущее доступным для нас во всем его величии, способен выходить за пределы смерти, подниматься над нами, в силу своего упорства, того упорства, что касается не каких-то конкретных форм, через которые может проявить себя идеал, а представляющего собой неиссякаемый и неизменяемый поиск хорошего и самого лучшего.

С точки зрения будущего, содержащегося во мне самом, смерть является просто происшествием, которое едва ли заслуживает того, чтобы долго на нем задерживаться; оно настолько мелкое, что, кажется, даже не существует, просто не может существовать. С точки зрения настоящего — и именно оно вынуждает так думать — смерть представляется роковым рубежом, позади которого для меня нет ничего. Эта ситуация, изначально вроде весьма противоречивая, легко разрешима, ибо через свой порыв я заглядываю за пределы смерти; а то, что я вижу проблему в том, что есть «после» смерти, оказывается проблемой, которая не требует и не имеет ни одного точного ответа.

ГЛАВА VI

ПРОШЛОЕ²⁶

Если, по аналогии с нашими действиями в отношении будущего, задать вопрос: «Как мы проживаем прошлое?» — ответ покажется нам простым. Феномен памяти, похоже, сам способен дать ответ на него.

Но давайте не будем спешить.

Для начала нам следует расширить биологическое понятие памяти, в котором говорится, что это — сохранение материальных следов, способных влиять на реакции живой материи. Поскольку мы находимся в плоскости феноменологии, будем считать, что это феномены, которые проявляются в развивающемся сознании; в нашем случае их и примем за исходную точку. Итак, расположим воспоминания перед биологической памятью и постараемся рассматривать их не только в качестве результата развития такой памяти. В первую очередь нам следует самим себе ответить на вопрос: «Каким образом и ценой каких изменений первоначального феномена произошел этот перенос феноменов памяти в область биологии?» Изначально понятно, что мнемонические следы нельзя окончательно удалить из данных сознания, касающихся памяти. У меня, кстати, была возможность настаивать на этой точке зрения в одной из моих предыдущих работ²⁷. Узнавая какой-то предмет, я выделяю в нем, если дедукция существует, то, что уже видел раньше, а не то, что оставило в моем сознании следы, подходящие, чтобы как-то охарактеризовать это воспоминание; и я даже не знаю, каким образом мог бы выделить в нем что-то еще. Повторение схожих возбуждений, возникающих в концепции биологической

²⁶ Читатель, возможно, будет удивлен, что я не изучаю прошлое сразу же после будущего. Но ведь, по сути, невозможно было бы понять прошлое, не рассмотрев феномен смерти, именно поэтому мне показалось, что правильнее будет сначала поговорить о ней.

²⁷ *Betrachtungen*. Loc. cit.

памяти, является, по сути, всего лишь изображением за пределами наших способностей к запоминанию; это кажется парадоксальным, как минимум потому, что впоследствии она сама и усложняет указанную способность. С биологической точки зрения, с того момента, как я узнаю какой-то предмет, когда вижу его во второй раз, необходимо, чтобы следы этого предмета уже остались в моей памяти с момента первого восприятия; у нас постоянно есть желание сравнивать данные в нашем сознании; ведь я вижу этот предмет во второй раз только потому, что узнаю его, то есть правильное будет сказать, что узнавать — это не что иное, как видеть во второй раз; естественно, если я вижу предмет во второй раз, то узнаю его; а то, что я считаю для себя новым увиденное собственными глазами впервые, свидетельствует, что у меня есть понятие «никогда или то, что я еще не видел».

Однако привычное понятие воспоминания также заслуживает более подробного рассмотрения, в частности по той причине, что мы его считаем единственным способом вступить в контакт с прошлым, хотя довольно быстро оказывается, что при таких условиях этого понятия недостаточно.

Изначально, как мне кажется, оно достаточно хорошо уместается в рамках его полезности. Очень полезной является в жизни способность вспоминать в нужное время то, что мы ранее выучили или испытали. Именно это и формирует наш опыт, а также определяет уровень нашей образованности. Предвидя будущее, мы даже предпочитаем выбрать мнемоническое отношение в настоящем и *сохранить в памяти* то, что имеет для нас какую-то значимость. Здесь также уместно и *отсроченное действие*, о котором говорил Жане. В таких условиях и с такими средствами память постоянно заполнена до предела; мы всегда расстраиваемся, если забываем имя, дату или то, что должны были сделать.

Этот прагматичный фактор заставляет нас быть осмотрительнее, особенно когда речь заходит о феноменологии. До настоящего момента мы с ним нигде не встречались, изучая все остальные жизненные феномены; по этой причине нас больше всего интересует общая структура жизни, а не та степень полезности, на которую в повседневной жизни претендует каждый из ее феноменов. Кроме того, в данных условиях забывание рассматривается исключительно как недостаток памяти. Его роль сводится к тому, чтобы показать практическое значение памяти; изначально оно лишено всякого положительного смысла. Впрочем, это совершенно естественно. Память действует в большей или меньшей степени автоматически, но в полной

мере оценить ее значимость мы можем, только когда начинаем ее терять или когда вдруг ее лишаемся. Тогда мы говорим о провалах в памяти, о забывчивости. Они являются вечными спутниками памяти. Если я забыл фамилию господина, которого встречал, то признаю это именно потому, что узнал его и уверен, что видел раньше, следовательно, должен помнить, как его зовут. Таким образом, забывания не может быть в тех случаях, когда речь идет об абсолютной памяти — идеале, который кажется нам допустимым в данных условиях, — а также, когда совсем не осталось никаких воспоминаний. Все более чем логично. Забывание является противоположностью памяти, оно в любом случае должно уступать памяти свое место и зависеть от нее, как зависят друг от друга отрицание и утверждение в логике. Однако в ходе своих исследований мы поняли, что следует остерегаться слишком логичных отношений. В тех случаях, где жизненные феномены очень хорошо сочетаются с требованиями дискурсивного мышления, нам хочется задать себе вопрос: если бы невзначай мы подменили истинную природу этих феноменов, не исказился бы в той или иной степени их вид? Как бы то ни было, полезно будет напомнить, что «фотографическая» память, которая выявлена у многих больных, доставляет неудобство и является скорее пугающим фактором.

Кстати, даже если уйти в сторону от прагматической концепции памяти и попытаться рассмотреть воспоминание более обширно, мы столкнемся с такими же трудностями, ибо не сможем воссоздать феномены, о которых сейчас идет речь, в их чистом виде.

Кажется, что в любом воспоминании содержится какое-то *знание*. Узнать кого-то — эквивалент того, что *знаешь*, видел его раньше; вспомнить о каком-либо событии — значит *знать*, что это событие уже произошло в прошлом. Ничего не изменится и при условии, что воспоминание может воскресить событие прошлого вместе с эмоциональной окраской, так как в данном случае речь идет прежде всего о знании, касающемся этой окраски, что, безусловно, не противоречит тому, что само воспоминание, выступая в роли этой окраски, может быть в большей или меньшей мере приятным или невыносимым. В принципе, в данном случае все сводится к знанию, касающемуся прошлого. Очевидно, память в первую очередь предназначена для того, чтобы расширять наши знания, в широком смысле этого слова. Получается, основное уже сказано. Но здесь мы сталкиваемся с ситуацией, которая отличается от всего, к чему мы уже привыкли в ходе исследования феноменов временного порядка. В силу их

иррациональности, все эти феномены довольно трудно было спутать со знанием, и только феномен смерти впервые дал нам это знание. Воспоминание, наоборот, сообщает нам то, что мы знаем о прошлом. Конечно, мы были неправы, когда *априори* не стали принимать во внимание, что единственный способ прожить прошлое заключается в том, чтобы кое-что знать о нем. Ведь тогда прошлое было бы чем-то мертвым, настоящей могилой и, значит, едва бы заслуживало того, чтобы мы его узнавали, тем более что и сама его временная природа вместе с этим упразднилась бы. В области нашего знания прошлое не имеет ничего общего с проживаемым временем. Однако на самом деле прошлое перед нами никогда не представляло как нечто, лишённое жизни; выражения «жить прошлым» или «заново переживать прошлое» являются тому подтверждением.

Внезапно перед нами возникло еще одно затруднение. В воспоминании есть две констатации: я вспоминаю о событии — значит я о нем вспоминаю, и оно на самом деле произошло. Но если воспоминание является единственным средством, которое позволяет нам вступить в отношения с прошлым, то, полагая, сказать, что воспоминание *производит* прошлое, будет столь же справедливо, сколь и принятая формулировка, что оно *воспроизводит* его. Иначе говоря, оба утверждения: «мы вспоминаем о том, что было» и «то, что было, было исключительно потому, что мы об этом вспоминаем» одинаково правомерны, и мы совершенно не понимаем, почему одному из них отдано предпочтение. Таким образом, легко понять, что любой контроль наших воспоминаний может основываться только на новом запоминании; приведу пример: если сегодня в ящике стола я найду предмет, который, помнится, я сам положил туда вчера, то в данном случае оказывается, что я не просто нашел этот предмет, а *заново* его нашел, то есть узнал его таким, каким туда положил. Любое воспоминание подтверждается только в сравнении с другими воспоминаниями — вот и еще одно обстоятельство, подчеркивающее равнозначность двух утверждений, о которых мы говорили. Хотя в действительности мы высказываемся в пользу первого, причем без колебаний. В том, что воспоминания воспроизводят прошлое, а не производят его вместе со всем, что в нем есть, кажется нам совершенно очевидным и сомнению не подлежит. Какие бы ошибки ни совершала память, они никогда не давали нам повода усомниться в *репродуктивной* функции наших воспоминаний. Надо сказать, что о приведении этого очевидного факта к согласованию с нашими воспоминаниями мы всерьез не задумывались; такое согласование можно считать реальным, только

прибегая к новым воспоминаниям, то есть оно всегда основывается на положениях, которые пытается доказать; это мнение самым непосредственным образом приводит нас к концепции, утверждающей, что воспоминания представляют собой исключительно «правдивые галлюцинации» нашей памяти, что совершенно неприемлемо, как и формулировка, при помощи которой пытаются усмотреть правдивые галлюцинации в нашем восприятии; обе эти формулировки вступают в противоречие с непосредственными данными сознания.

Проще говоря, то, каким образом мы проживаем прошлое, никак не связано ни с каким-то одним воспоминанием, ни с целым набором воспоминаний. Идея о простейшей интуиции прошлого, никоим образом не зависящая от конкретных воспоминаний, которые впоследствии дополняют это прошлое, начинает развиваться. В исключительно рациональной концепции феноменов памяти образовывается трещина, а нам открывается путь, способный раскрыть феноменологию прошлого.

Однако мы приведем только некоторые фрагменты этой феноменологии.

Как говорит г-н Пичон²⁸: «Все психологи пытались определить критерии, при помощи которых можно отличить воспоминание от изображения, воспринимаемого как существующее. Данная проблема возникает по-разному в зависимости от глубины воскрешения в памяти воспоминаний, у этой глубины несколько уровней. Для начала давайте запросим у памяти сведения интеллектуального характера, чтобы воспользоваться ими, рассказывая что-то, или в качестве аргумента; память нам предоставит их так, что мы практически и не почувствуем, что сами вызвали эти воспоминания из своей памяти. «В каком году я был на практике в госпитале Ларибуазьер?» — могу спросить я сам себя. Надо подумать: это было спустя два года после смерти моей сестры, а значит, в 1911-м. В данном случае смерть моей сестры, для меня лично, является эквивалентом 1909 года. Это *жесткий уровень восстановления событий в памяти*.

Как в случае, когда мы предаемся мечтаниям, так и во время задушевных разговоров воспоминания доходят до такой степени, что мы

²⁸ Pichon E. *Essai d'étude convergente des problèmes du temps*. Journal de Psychologie, 1931, 1–2.

ощущаем состояние, в котором были в прошлом, все формы, цвета, звуки, запахи и эмоциональную наполненность. Но только до определенного момента, именно из-за этого второго уровня восстановления событий в памяти (*уровень волнений*) воспоминания наделяются классическими характеристиками поэтичности и необычности — необъяснимые характеристики, благодаря которым воспоминания отличаются от восприятия настоящего.

Но если, погружаясь в глубины своего прошлого, нам удастся достичь третьего уровня восстановления событий в памяти (*тревожный уровень*), то мы действительно переживаем прошлое во всей его насыщенности; в результате, даже если воспоминание было приятным, возникает ощущение мучительной боли; такое прошлое, несмотря на его временный характер, можно сравнить с состоянием глубокого траура, ибо боль, вероятно, возникает в результате контраста между эндопсихическим присутствием реального прошлого и его объективным необратимым отсутствием»²⁹.

Я с радостью присовокуплю к этим словам г-на Пишона то, что сам уже чуть раньше говорил по поводу принципа гомогенизации:

«Здесь нами выявлено косвенное утверждение того, что было сказано ранее: мы все-таки можем *существовать* в прошлом, целиком погружаясь в воспоминания, аналогично тому, как существуем в настоящем. Кроме того — и это уже стоит запомнить, — учитывая постоянно изменяющиеся границы настоящего, мы все время пребываем в процессе добавления к настоящему неопределенных отрезков прошлого. Так, с точки зрения феноменологии, восстановить в памяти то, что я делал вчера, означает для меня, помимо прочего, возможность определить, что с 16 до 18 часов я работал над данной книгой, а также ощутить, в процессе написания уже конкретно этой страницы, что работа, сделанная ранее, вместе с работой, выполненной сегодня, является для меня фактом настоящего, потому что относится к одной книге; аналогично происходит, когда речь идет о разнообразии чувств, которые мы испытываем относительно прошлого: например, когда рассказываем, что делали во время войны, и пытаемся вновь пережить то, что чувствовали тогда, одновременно

²⁹ Очень часто событие, в силу его эмоциональной нагрузки, возникает в сознании в волнующей или наводящей тоску форме; только в том случае, когда с течением более или менее длительного отрезка времени был устранен внутренний конфликт, связанный с этим событием, либо после того, как его эмоциональная окраска ослабевает, мы можем сказать об этом событии, что оно «принадлежит прошлому».

все еще ощущая те испытания всеми фибрами своей души и понимая, несмотря на нахлынувшие чувства, что война уже в прошлом, что она больше не является частью нашего нынешнего настоящего».

В своей последней работе³⁰, которая стала обобщением всей его научной и духовной жизни — такое редкое в наши дни, когда принято воздвигать непреодолимый барьер между так называемой объективностью науки и духовными потребностями души, — Миньяр также обратил внимание на проблему прошлого и памяти. Ему удалось разглядеть в прошлом как бы две различные структуры: ближайшее будущее, которое является частью настоящего, и совокупность забытого. Давайте предоставим ему слово:

«Между тем, у нас есть точное понятие всего об одной части этой мелодии³¹, о той, что оказывается ближе всего к последнему достигнутому моменту. Эта часть является действительным прошлым, которое предоставлено нам в самом простом виде — словно собранным в настоящем; мы можем отличить его от гипотетического настоящего (это граница будущего) исключительно при помощи теоретических средств или доводов.

На самом деле мы прекрасно различаем среди ближайших сведений, что в нем есть лишь его частичка — действие, которое завершилось, песня, подходящая к концу. Здесь, за такой короткий отрезок времени, мы смогли раскрыть некоторые очевидные понятия об ощущении длительности. Но что в таком случае стало с самым отдаленным прошлым? С тем, что изначально не предстает перед нами во всех деталях? Как быть с прошлым, которое мы можем воскресить в памяти, но оно не возникает перед нами сразу же во всем своем многообразии? С прошлым, которое, честно говоря, является для нас всего лишь каким-то неясным ощущением целостности, вызывающей, что правда, необычные смутные отголоски? Это и есть «совокупность забытого», способная давить всей своей массой на хрупкую вершину настоящего; благодаря ей прошлое направляет наши действия в будущее, чтобы сделать ее более проникающей (а порой, увы, и чтобы раздавить)...

Самоанализ дает нам возможность сказать несколько слов о более отдаленном прошлом, о котором у нас нет такого одновременно детального и общего мнения, как о ближайшей длительности. Однако самоанализ помогает нам понять, что эта более отдаленная

³⁰ Mignard M. *L'unité psychique et les troubles mentaux*. Alcan, 1928.

³¹ Мелодии жизни.

длительность каждый миг нашего существования давит на нас самих и в значительной мере обуславливает нашу деятельность...

Установленное Бергсоном отличие друг от друга времени и развитой длительности сродни тому, что он же интуитивно узнал о ближайшем будущем, которое легко спутать с прошлым; это отличие кажется нам еще более значимым по сравнению с разницей между схематическим представлением времени и ощущением отдаленного прошлого, в том виде, в каком его рисует наше сознание. В действительности оно напоминает нам некую абстрактную целостность, способную разложиться на множество разнообразных мнений, что мы также усматриваем и в неясной реальности, содержащей в себе, но только потенциально, все события, восстановленные в памяти, какие только могут быть...»

Именно таким образом «будет рассеиваться четкое представление о ближайшем будущем, в крайнем случае, оно превратится в нечеткое представление более отдаленного будущего, частью которого эта масса и является, если такое допустимо с точки зрения внутреннего представления. Тем не менее, давайте рассмотрим, что происходит в момент сознательного восстановления в памяти давнего воспоминания. Мы не рассматриваем его в виде цепи, обвивающей дуб. В принципе, можно воспользоваться этим образом, чтобы помочь себе, но только в качестве дополнения. Мы приложим некоторые усилия — обратившись к своему внутреннему миру, — чтобы определить ту часть прошлого, которую ощущаем в себе. С этой целью в первую очередь мы будем руководствоваться особенностью того личного чувства, которое его содержит. Какой-то незначительный факт, какое-то изображение, какой-то период времени, к которому привязаны этот факт или изображение, — прежде всего они являют собой качественные свойства наших внутренних чувств. Но когда мы начинаем искать их, все не совсем так. Как только наше внимание проявило свое мнение насчет нашего личного чувства, в тот самый миг оно озаряется, а какая-то часть давнего прошлого возникает перед нами в более или менее различимой форме, с характеристиками, аналогичными не столь отдаленной длительности³². Однако некоторые другие характеристики при этом утрачиваются. Изначальное представление редко бывает четким. К тому же его достоверность весьма сомнительна. Мы чувствуем себя неловко из-за того, что взаимодействие многочисленных психологических сведений повлияло на эту

³² Соответствует нашему принципу гомогенизации.

давнюю длительность, хранящуюся среди наших чувств, и вдобавок незначительно изменило наше предчувствие. В конце концов, мы уже знаем, что оно представляет собой в большей или меньшей мере удаленное время. Если такой фрагмент, вырванный из прошлого, предстанет перед нами непосредственно в присутствии нашего предчувствия, то мы не сможем спутать его с чувством, оставшимся у нас от ближайшего прошлого, которое граничит с настоящим.

В подобные моменты в нашем личном восприятии появляются две весьма отличающиеся части длительности: одна — это настоящее и ближайшее будущее, в котором, без сомнений, предчувствие еще можно ощутить; вторая — какая-то воскрешенная в памяти часть отдаленного будущего.

Но между двумя этими разновидностями — если нам позволят прибегнуть здесь к пространственному изображению, значение которого исключительно ассоциативное, — между двумя разновидностями нашего видения длительности находится темная зона, заполненная, как туманом, смутным ощущением единства. А весь объем воскрешаемого в памяти прошлого будто окружен этим туманом, однако кажется, что прошлое проходит его насквозь и действительно неразрывно связано с ближайшим будущим».

Таким образом, мы видим, как усложняются феномены памяти, и на самом деле можем сказать, что они значительно обогащаются. Далее, что касается их положительных проявлений, воспоминание не привязано исключительно к одному изображению или воспроизведению факта; выражаясь словами Пичона, восстановление событий в памяти обладает глубиной; мы можем не просто представить отрезок нашего прошлого, но и действительно заново его прожить, а порой это прошлое со всей присущей ему тревожной могущественностью, проникает в настоящее, как бы разрывая и полностью захватывая его; или, другими словами, настоящее, в силу того, что его границы размыты и нерастяжимы, способно присоединить неопределенный отрезок прошлого. К тому же все проявления памяти, которые называют положительными, всегда находятся в «совокупности забытого», как утверждает Миньяр. Какого бы размера ни было восстановленное в памяти прошлое, какой бы ни была глубина восстановленных в памяти событий, характеризующих его, вокруг этой совокупности, гранича с ней, постоянно существует зона, обширная, но темная, однако она же и служит ей основой, позади нее всегда существует какое-то непостижимое «вперед», которое осторожно и болезненно теряется в бесконечности. Именно эта «совокупность

забытого», само забытое, кажется, и является первичным ощущением прошлого, образует нечто наподобие внутреннего слоя, на котором память выстраивает воспоминания об отдельно стоящих событиях. Таким образом, запоминание не может являться исключительно недостатком памяти. Сейчас нам раскрылось и его положительное значение. Очевидно, это значение не связано с тем, что порой в повседневной жизни было бы «полезно» забывать несущественные вещи, ничтожные подробности, чтобы запоминать исключительно то, что может быть важным для нас. Однако наша жизнь не умеет так точно различать, пользуясь «принципом экономии» или еще каким-то подобным принципом, что является важным. Для нее не существует ничтожных подробностей, или, правильнее будет сказать, в жизни нет разницы между тем, что значимо, а что не заслуживает внимания. У жизни нет никакой необходимости знать эту разницу, так как все то, ради чего она останавливается, обретает в силу этого некоторую значимость. Именно жизнь и наводит нас на мысль о том, что забывание не имеет ничего общего с особенностью обладания хорошей или плохой памятью, но из-за феномена забывания за нами образуется эта темная масса, которая лишает нас первичного ощущения прошлого. На основании вышесказанного, мнение о том, что всему предначертано забвение, кажется намного более естественным и умиротворяющим, потому что может быть воспроизведено, являясь отдельным событием. Тогда как постигнуть то, что любое отдельное событие не просто существует, но и может быть заново пережито в рамках становления?

Уже не раз у нас была возможность настаивать на том, что все феномены, в зависимости от их положительного или отрицательного значения, включены в нашу жизнь по-разному, асимметрично. И вновь мы сталкиваемся с этой асимметрией.

Давайте пока не будем учитывать моральный поступок, являющийся генератором будущего. В нем совершенно нет прошлого. Он исчезает точно так же, как и появляется, не оставляя никаких следов, не считая сияющих лучей, которые он постоянно расстилает перед нами. В нем совершенно нет истории. Он не может сообщить нам ничего конкретного о прошлом. Нужно спуститься на одну ступеньку ниже. Туда, где размещено творение. Творение включается в окружающее становление, однако, в силу своей потенциальной способности

к совершенствованию, оно никогда не бывает доведенным до конца. Возникая в жизни одно за другим, творения никогда не приходят к своему естественному завершению, так как вечно пытаются превзойти друг друга. Это происходит в силу их живого и динамичного характера, который и вынуждает нас смотреть вперед. Иногда у нас возникает желание обернуться назад, чтобы полюбоваться тем, что мы сделали, — вот и проявились особые отношения. Выставлять свои произведения напоказ, перед самим собой или перед другими, — значит видеть, как они застывают, уменьшаются, становятся блеклыми, гаснут; в то же время это значит — подтверждать свою самонадеянность, вставать в позу, которая не просто неприятна, но, как кажется, противоречит самой жизни³³. До тех пор, пока в нас теплится жизнь, мы видим, что все возникающие творения обобщаются, превращаясь в какую-то плотную массу, имеющую только одну цель — заставлять нас двигаться дальше. Пытаясь остановиться, чтобы, с учетом данной точки зрения, просмотреть свое будущее, мы ощущаем, что в нас зарождается непреодолимое чувство снова двигаться, все время двигаться вперед. Прошлое больше не представляется нам в виде последовательных этапов, каждый из которых имеет свое значение, не зависящее от других; наоборот, оно прогибается под самим собой, максимально сгущается, причем совершенно не растрачивая для этого свои силы. Так перед нами возникает концентрированное, компактное прошлое, прошлое, из которого вновь появляется наш порыв, чтобы увлечь нас в будущее. Именно в этом, а не в чем-то другом, и заключена его роль. Двигаясь в том же направлении дальше, мы могли бы вести речь о *перспективной памяти*, в которой прошлое, объединенное в один блок, выступает в форме *пройденного* или того, что должно быть «пройдено», а не прошлого в привычном значении этого слова³⁴.

³³ См., что было сказано по этому вопросу: Глава I, окончание § 3.

³⁴ В нашей личной жизни, в тот момент, когда мы прилагаем творческие усилия, «пройденное» может стать причиной возникновения терзающего чувства. Пройти, обойти то, что уже было сделано, именно такое желание охватывает нас. Этот призыв настолько жесток, что становится угнетающим. Порой возникает ощущение, что мы совершенно не чувствуем дна, что слишком вышли за пределы настоящего, мы подвергаемся опасности из-за того, что говорим вещи, которые не связаны с настоящим, а значит, могут быть непонятны сейчас, несмотря на то, что будущие поколения однажды, возможно, признают их истинными; но не затеряются ли они в небытии в силу того, что современники совершенно не станут этому следовать? На самом деле, страх напрасен, так как человеческое усилие, быющее ключом из нашего существа, не может создать в жизни разрыв или, тем более, разбиться о такой разрыв.

Такая характеристика пройденного, кажется, является чем-то естественным и простым. Она встречается и в ряде случаев, когда речь заходит о прошлом. Мы не можем просто от этого отказаться. И, наверно, у нас нет ни единой причины, чтобы так поступить. Когда нам удастся, — хотя, возможно, сейчас еще не к месту говорить о том, для чего и как нам это удастся, — выстраивать в одну линию факты и события прошлого и когда мы пытаемся установить между ними какую-то связь, то есть когда нам удастся превратить их в историю, мы почти инстинктивно располагаем эти события в каком-то порядке, особенно если речь идет о коллективных усилиях, образовании или верованиях в разрезе того, что уже пройдено. Всегда развивается только одна линия, которая, достигая настоящего, похоже, имеет единственное предназначение — стимулировать нас возобновить порыв, чтобы продолжать движение вперед. Конечно, мы склонны верить, что эта идея о продвижении вперед сама собой освобождается от фактов, накопленных в прошлом. Хотя на самом деле кажется, что факт прошлого становится таковым только потому, что может быть включен в это прошлое лишь на основе уже пройденного. Ничего удивительного, ведь такое положение вещей прекрасно сочетается с основным динамизмом жизни, в частности, с критерием следствия или структуры, который самым естественным образом раскрывается в жизненном порыве.

Этот динамизм намного лучше сочетается с критерием пройденного, чем с критерием прошлого. Он добавляет в нашу жизнь интригу. Для нас может существовать прошлое, мы можем обратиться к своим воспоминаниям, посмотреть назад, заново прожить какие-то вещи, определить в прошлом точные события либо, выражаясь более конкретно, мы можем выделить в жизни, которая является лишь движением вперед, «время», чтобы отвести глаза от этого движения и посмотреть на то, что осталось позади нас. Кстати, с какой целью мы это делаем? Безусловно, скажут некоторые, мы отрываемся от настоящего, чтобы снова окунуться в прошлое, только на непродолжительное время; но такой взгляд в прошлое, даже мимолетный, кажется нам чем-то удивительным по сравнению с решительным движением жизни вперед. Собираательная память, перспективная память, думаю, этого уже достаточно; а на основании данной точки зрения — физиологический аспект памяти, то есть память, которая служит для того, чтобы объединить весь прошлый опыт, представив его в форме *привычки*, способной впоследствии автоматически определять наше поведение в *будущем* таким образом, чтобы мы могли избежать опасности и найти подходящие

ситуации. Хочу сказать, что этот аспект, с какой стороны на него ни посмотреть, намного ближе к жизненному динамизму, чем способность отделять и определять в своем сознании конкретное событие в прошлом. Уж не являемся ли мы индивидами, которые, сами того не понимая, складывают свое прошлое, а из него инстинктивно извлекают порыв к будущему?

Другой жизненный феномен даст нам ответ на этот вопрос. Зло, как мы уже сказали ранее, находится в той же плоскости, что и творение. Оно более «материально», более осязаемо по сравнению с добром, оно внедряется в становление, после него всегда остаются следы, остаются «вещественные доказательства». Оно нацелено на факт или отдельный поступок в значительно большей степени, чем добро, в котором всегда есть нечто безличное. Конечно, к его действиям мы не сможем применить принцип перспективной памяти. Это само собой разумеется. Но зло все же не может исчезнуть, не оставив следов в прошлом, — это лишило бы его основной характеристики. Выживание в данном случае невозможно. Здесь мы обнаруживаем новый феномен — *угрызения совести*. Угрызения совести касаются прошлого и связаны только с ним. Но, кроме того, они *вырывают* и выделяют из этого прошлого один факт, одно конкретное событие, определяют его и заставляют переживать заново. Можно сказать, что именно в таких случаях и раскрывается способность самым естественным образом выделять из прошлого, этой мрачной «совокупности забытого», конкретный факт, что и является первым шагом к раскрытию собранной формы прошлого, которую в него включает перспективная память нашего порыва, наделяя характеристикой пройденного.

Безусловно, достаточно часто наши угрызения совести направлены на то, к чему они не относятся. Мы пользуемся ими, чтобы «прикрыть фасад», чтобы поважничать там, где на самом деле существует только виртуозное кривляние. Однако это совершенно не меняет истинного характера угрызений совести. Несмотря на все подделки, мы точно знаем, какими *должны* быть *искренние* угрызения совести, и мы отлично понимаем, какую роль они призваны играть в нашей жизни. С точки зрения того места, которое мы отводим в жизни себе, можно сказать, что они являются *первым воспоминанием*; именно они, в любых условиях, демонстрируют нам со всей необходимой очевидностью не только вероятность, но и *необходимость осознанных* воспоминаний.

Между тем угрызения совести включают в себя не только критерий прошлого. Они осуществляют своего рода разведку, призванную

заново открыть нам дорогу в будущее. Речь идет вовсе не о топтании на месте, а об извилистом пути, затрудняющем движение в сторону горизонта, но предназначенном для того, чтобы вывести нас на большую дорогу жизни и тем самым вновь освободить путь для раскрытия личности и для поиска морального поступка. Однако в них также есть взгляд в прошлое — здесь мы как раз и обнаруживаем тот самый пункт, который хотели отметить. Они выделяют факт из прошлого, заставляя его пережить и образуют первое воспоминание.

Ниже угрызений совести располагается *сожаление*. Мы с ним встречаемся значительно чаще, оно имеет отношение к событиям меньшей значимости, оно более заурядное по сравнению с угрызениями совести — совсем как ошибка или промах в сопоставлении с грехом. Кстати, кажется, что сожаление, в самом широком значении этого понятия, в большей мере касается событий, произошедших без нашего непосредственного вмешательства. Мы так же можем с сожалением размышлять об ушедшем прошлом. Тем не менее, у сожаления и угрызений совести есть схожие общие характеристики. Как и угрызения совести, сожаление относится к очному факту в прошлом, отражаясь в то же самое время в будущем. Очевидно, мы можем сожалеть только о том, что уже произошло, однако любое сожаление, если оно не хочет показаться бесполезным, содержит в себе «лучше было бы...», которое необходимо, чтобы повлиять на наше дальнейшее поведение либо зародить в нас надежду, что в другой раз все произойдет иначе.

Что касается воспоминаний, в привычном для нас значении этого явления или, правильнее будет сказать, в «научном» значении, то есть в виде простой реминисценции, простого воспроизведения какого-либо факта прошлого, то их следует разместить еще ниже, чем сожаление. Они лишены всякого глубокого содержания и совершенно оторваны от будущего, в силу чего эта так называемая основа памяти может показаться нам всего лишь парадоксальным и непонятным феноменом по сравнению с непрерывным движением жизни вперед. Как таковые, кстати, воспоминания постоянно погружены в «совокупность забытого».

Для личного порыва прошлое может существовать только в собирательной и компактной форме, это значит — в форме пройденного, как мы уже говорили раньше. Именно эта форма, и только она, совместима с особой динамичной природой нашего порыва. Отдельный изолированный поступок, который как бы *вырван* из целостности становления, может отделиться от этой собирательной формы прошлого лишь после того, как зло проникает в нашу жизнь. Получается, что

в некотором роде эта формулировка даже необходима, ведь только после угрызений совести мы начинаем понимать, что сознательные воспоминания в жизни являются не просто возможными, но и необходимыми. Точный факт, противопоставленный жизненному динамизму, привносит в нашу жизнь статическую характеристику. На основании этого мы можем сказать, что воспоминания о зле более статичны, чем воспоминания о добре; они связаны на значительно больший срок с каким-то фактом из прошлого и вынуждают нас проживать этот факт в прошлом значительно дольше. Однако подобная статичность является в большей мере относительной, поскольку такие феномены, как угрызания совести или сожаление, одновременно ориентированы на будущее и, в силу их особой природы, стремятся достичь только одной цели — ввести уже свершившийся поступок, несмотря на его негативную составляющую, в движение жизни вперед и к лучшему.

Асимметрия, существующая между положительным и отрицательным значением, также проявляется и в прошлом. Нет ни одного феномена с положительным значением, который был бы эквивалентом угрызений совести. Их и не может быть, иначе это противоречило бы самому смыслу жизни. Заниматься любованием прошедшего события — значит разрушить его, значит проявить ограниченность ума, надменность и самовлюбленность. Обратившись к самому возвышенному феномену нашей жизни — к свободе, — мы без особого труда сможем заметить, что эта свобода никогда не имела никакого отношения к прошлому; она никогда не появляется на основании анализа фактов прошлого, но, пользуясь всей своей могущественностью, избавляет нас от того, о чем говорят «однажды это уже было», направляя наш взгляд к бесконечному горизонту, который именно она нам и открывает. Никогда я не чувствовал себя свободным или величественным в прошлом; напротив, в прошлом мне постоянно казалось, что свобода вызывает сомнения; дело в том, что в силу своей природы она связана только с будущим. Я никогда не был свободен в том, что уже сделал, и наоборот: только в том, что я еще собираюсь сделать, может проявиться моя свобода в будущем. Получается, что именно угрызания совести образуют брешь, через которую прошлое проникает в нашу жизнь.

Чтобы еще нагляднее показать асимметрию между добром и злом, наверное, будет полезно напомнить, хоть это напрямую и не связано с нашей темой, что злопамятство и затаенная обида являются намного более стойкими чувствами по сравнению с чувством признательности. Мы раз и навсегда запоминаем все зло, которое нам причинили, тогда как в случае с добром нам постоянно нужны новые

доказательства. Дело в том, что забыть и простить намного тяжелее, чем вспомнить перенесенные неприятности.

Между тем некоторая структурная аналогия, как ни странно, возникает между прошлым и будущим. Как и в будущем, у нас были деятельность, желание, моральный поступок или ожидание, надежда и молитва, располагающиеся друг за другом; кроме того, нам казалось, что в прошлом перед нами возникали три ступени: угрызения совести, сожаление и банальное воспоминание. Однако эта аналогия далеко не полная. В случае будущего существуют высшие ступени, позволяющие нашему восторженному взгляду охватить будущее во всем его могуществе. Что касается прошлого, наоборот, мы отдаляемся от жизненных характеристик, то есть от ретро — перспективной характеристики изучаемых феноменов, чтобы в конце концов дойти до воспоминания, которое сами приближаем к неподвижной форме прошлого. А воспоминание, кстати, возникает на основании забытого, также характерного феномена прошлого, и не имеет ничего аналогичного ему в структуре будущего.

Мы смотрим назад и видим, как позади нас расстилается прошлое.

Едва ли можно рассуждать о том, что так называемое «назад» является всего лишь метафорой. Я так не считаю. Мне кажется намного более логичным, что в данном случае речь идет об истинном взгляде в *прошлое*. Возможно, однажды, когда феноменология пространства предоставит нам такую возможность, чтобы подчеркнуть особенности, свойственные для «пространства, существующего перед нами», и «пространства, существующего позади нас», которые, безусловно, отличаются друг от друга, однако незаметно пересекаются таким образом, что нам не дано заметить их соединительную линию, повторюсь, возможно, однажды мы узнаем характеристики, которые, возникнув на основании первичной формы, позволят нам вести речь о каком-то «вперед» и «назад», что мы делали ранее в отношении времени и проживаемого пространства. Впрочем, здесь и сейчас не будем касаться этой проблемы. Именно благодаря угрызениям совести в нашей жизни появляется возможность заглянуть в прошлое. Эта возможность заглянуть в прошлое, по сути своей, склонна к забыванию, более того, она склонна к забыванию в том числе потому, что самым простейшим образом, за счет освобождения от воспоминаний, стремится к автономному поведению.

Она приводит нас к прошлому забытого или, если вам так больше нравится, к обычному прошлому. Когда мы оглядываемся назад, то в первую очередь обнаруживаем прошлое в его общепринятой форме, с присущим ему особенным оттенком, видим это царство теней, безмолвия и забытого. Мы в нем блуждаем в растерянности, так как там полнейшая темнота. Там совсем нет света, нет никакого горизонта, а ко всему прочему и перспектива теряется во тьме бесконечности. Можно даже сказать, что, по мере того как мы пытаемся пройти сквозь этот мрак, тьма только разрастается; она подобна легкому туману, который постоянно изменяется, чтобы в конце концов превратиться в непроглядную ночь; взгляд проникает в нее, как в плотную массу, но ничего там не находит³⁵. Это мрачная перспектива, без горизонта и, кстати,

³⁵ Такая перспектива забытого, как мне кажется, обладает отрицательной стороной (в данном случае, кстати, слово «отрицательный» не очень уместно; учитывая, что забытое имеет положительную коннотацию, хочу напомнить о его роли в общей структуре прошлого). Ранее Л. Боуман и А.А. Грюнбаум описали перспективу забытого как его положительную сторону («*Eine Störung der Chronognosie und ihre Bedeutung im betreffenden Symptombild*» *Monatschr. Für Psych. und Neurol. Bd. LXXII, 1929*), назвав ее *простейшей перспективой в прошлом*. Они подчеркивали значимость этой перспективы, особенно настаивая на ее функциональной автономности, в частности, на ее полной независимости относительно любого хронометрического понятия, в прямом смысле этого слова. В событиях прошлого, исходя из того, насколько мы способны их воспроизводить и заново проживать, существует *простейший порядок*, который никоим образом не основывается на логических или арифметических операциях, относящихся к содержанию наших воспоминаний или к датам; однако он обладает особым уникальным акцентом, который превращает вовлечение этих событий в простейшую перспективу во времени. Чем больше взгляд отдалается от будущего, тем больше, кажется, сжимается время и тем больше события объединяются между собой в различающиеся *периоды* нашей жизни.

Автономность этой функции, выраженная в очерчивании простейшей перспективы в прошлом, особенно четко проявляется в свете психопатологических фактов. На основании этой точки зрения, Л. Боуман и А.А. Грюнбаум изучали, придавая исключительное значение каждой детали, одного больного, для которого последние двадцать девять лет его жизни (имеются в виду годы, прошедшие с того момента, как он заболел), кажется, сжались до отрезка времени, равного примерно трем-четырем годам, при этом у него не было выявлено даже незначительной дезориентированности во времени, в обычном значении этого слова. Больной прекрасно знал, что, судя по календарю, с тех пор, как он заболел, прошло уже двадцать девять лет; он ни разу не ошибся в датах, связанных с событиями, которые произошли за этот промежуток времени; однако перспектива всего этого отрезка времени как бы сжалась, а он оценивал ее без изменений; в результате его возраст и интервалы, которые разделяют различные события, вступали в противоречия с календарем. В силу такого несоответствия между временем в календаре и его собственной перспективой во времени, в течение этих прошедших двадцати девяти лет, как он сам говорил,

без границ; так как наш взгляд не обременен первым воспоминанием и даже факт нашего рождения является для него обычным биологическим явлением, он быстро движется, не преодолевая никаких препятствий, к безграничной бесконечности. Индивидуальное прошлое, без каких-либо осязаемых переходов, смешивается с прошлым в целом.

Таков общий фон, который раскрывает перед нами взгляд в прошлое (ретроспекцию). Как я уже говорил, это — *прошлое забытого*.

В данном случае забытое не является недостатком нашей памяти; оно обладает положительным значением, суть в том, что великое правило прошлого, раскрывающего взгляд в прошлое, — это, прежде всего, *правило забытого*.

Все, находящееся в прошлом, со временем подвержено разрушению, все неизбежно обречено на забвение. Мы напрасно пытаемся воссоздать прошлое, напрасно выдумываем гипотезы, растянутые на миллионы лет назад, это никак не может нарушить простейшего ощущения прошлого, ощущения, которое говорит нам, что, оглядываясь назад, мы видим, как вещи, независимо от того, насколько они были важны, медленно движутся в сторону вечного безмолвия забытого. Именно это, кстати, доказывает, что прошлое, о котором мы ведем здесь речь, вовсе не представляет собой небытие или какое-то другое его подобие пространственного порядка. В нем есть движение, динамизм, время, но в рамках того, что все вещи обречены быть забытыми. Таким образом, времени удастся сохранить свою природу; оно приходит к тому, чтобы вновь забрать то, что уже отдало, оно неизбежно потопит то, что могло всплыть в какой-то момент — способный длиться даже целый век — на его поверхности. И мы не возражаем; давайте найдем в этом правиле всеобщего забытого какое-то облегчение, подобное вечернему покою, возвещающему нам о наступлении ночи.

Как мы знаем, становление поглощает все на своем пути. Ему нужно значительно меньше, чем жизненному, творческому или

часы, особенно ночные часы, месяцы, годы, разные периоды проходили для него быстрее, чем раньше, как будто в сутках стало меньше часов, и т.д. Л. Боуман и А.А. Грюнбаум сводят такое положение вещей, полагаю, достаточно разумно, к простейшему нарушению временной перспективы (они также говорят о «темпорализации» событий прошлого), что превращает всю эту перспективу в нечто аморфное, лишенное точки отсчета для проникающего туда взгляда, а потому кажется, что там ничего не изменилось, все как обычно.

Безусловно, существует нечто общее между этим понятием простейшей перспективы в прошлом и концепцией Миньяра о восстановлении в памяти воспоминаний, являющихся совокупностью забытого.

моральному порыву, чтобы наполнить его смыслом и одновременно с этим предоставить нам возможность отделить от него что-то определенное. В прошлом мы обнаруживаем точно такое же движение времени, которое пытается, как мы уже говорили, забрать то, что было отдано, которое постепенно сокращает все до безмолвия. Однако, вместе с тем, кажется, что это движение в данном случае имеет другую форму; кажется, что оно утратило свою стремительность; теперь это движение «в замедленном режиме», оно постепенно, по чуть-чуть сводит к безмолвию все то, что было сказано; ему необходимо «время» главным образом для движения, чтобы осуществить это. То есть нет ничего пугающего, ничего драматичного; наоборот, преобладает атмосфера облегчения и даже философской безмятежности.

Это движение достаточно легко переносит существование отдельных событий и фактов, которые как бы оторваны друг от друга, размещаются и выстраиваются в линии на его поверхности. Прошлое заставляет все это двигаться в сторону забытого, что в данном случае оказывается совместимым — и только оно обладает такой способностью — с существованием отдельных фактов. Даже не зная их, мы различаем очертания этих фактов в прошлом, поскольку нам известна их судьба, их медленная естественная смерть в том же самом прошлом. Но мы все же можем их увидеть, как минимум, можем увидеть некоторые из них где-то в глубине «совокупности забытого». На такие прошедшие факты мы, кстати, смотрим без всякого удивления, считая совершенно естественным то, что замечаем их; когда мы смотрим на эти факты, они не вызывают у нас ни малейшего сожаления, ни единой проблемы. Не является ли совершенно естественным, что с момента, как в становлении появляется прошлое, мы имеем возможность увидеть его, как видим настоящее или будущее? Однако здесь нам нужны некоторые предпосылки, например, такая: ничего за пределами «сейчас» не может быть нам предоставлено мгновенно, так, чтобы проверка прошлого превратилась в проблему для нашего сознания. Ведь для него там нет ни единой проблемы.

Таким образом, мы видим, что организация прошлого имеет структуру, значительно отличающуюся от настоящего и будущего. По сути, это особый способ проживать время, способ, в котором мы пытались выявить основные характеристики. Более того, разве прошлое никак не относится к той части времени, что предшествовала настоящему, как мы привыкли считать? Это, видимо, и есть один из самых удобных приемов, чтобы дать прошлому наиболее рациональное и конкретное объяснение. Но прошлое гораздо шире, как и забывание,

представленное его традиционной трактовкой; это значит, что забывание имени или даты является лишь единичным случаем среди множества таких же малозначимых в забывании в целом.

«Прошлым ли предназначено настоящее становлению?», «Есть ли прошлое в настоящем или будущем?», «Есть ли в прошлом еще что-то, кроме исторического прошлого?» — какими бы противоречивыми эти вопросы ни казались, их изначально нельзя было игнорировать.

В переходе прошлого в настоящее нет никакой линейности. Напрасно я пытаюсь представить себе факты или события и установить между ними взаимосвязь либо в форме причинной связи, либо в виде более живых форм развития и движения вперед; напрасно я пытаюсь вдохнуть новую жизнь в эти факты и заставить их ожить прямо передо мной, это будут всего лишь обрывочные факты, оказавшиеся рядом, а настоящее, проживаемое настоящее, разумеется, не может быть оттуда удалено никоим образом. Дело в том, что у этого настоящего нет ни единой временной частицы, которая могла бы незатейливо вклиниться между прошлым и будущим, однако у этого настоящего есть особенная манера проживать время, и она значительно отличается от той, что характеризует прошлое. Настоящее не вырывает, не изолирует будущее, а объединяет, распространяет и освещает, раскрывая горизонт перед нами. В этом и заключаются перспективы, неведомые прошлому. Настоящее обладает большими, по сравнению с прошлым, размерами. Значит, прошлое и настоящее несоизмеримы. Более того, переходя от прошлого к настоящему, я чувствую, что у меня происходит радикальное изменение отношения. Точно так же в настоящем я прекрасно понимаю, что ему совершенно не предназначено стать прошлым в полной мере, и вовсе не потому, что в нем есть факты с разной степенью значимости, есть незначительные детали, не заслуживающие, чтобы их запомнили, и даже не потому, что все в конце концов будет забыто, а исключительно в силу того, что по сути своей настоящее серьезно отличается от прошлого.

Прошлое всегда представляется нам в более уменьшенном виде, лишенным чего-то по сравнению с проживаемым настоящим, хотя бы из-за характеризующих его вырывания и деления на части. Более того, какими бы обширными и детальными ни были наши знания истории, оглядываясь назад, мы не в силах сдержать чувства разочарования. Так почему жизнь не может быть просто продолжением этой бесконечной последовательности, которая, по сути, незначительна и лишена всякого смысла, последовательности событий, составляющих

историю? По сравнению с настоящим и будущим это кажется нам неточным, недостаточным. Иногда мы даже спрашиваем себя, а было ли все это на самом деле. Иногда наша попытка отнести прошлое на уровень настоящего объясняется желанием найти в прошлом еще что-то, кроме событий прошлого, которые только мы способны найти там. Напрасные усилия, как оказалось, поскольку настоящее и прошлое слишком отличаются друг от друга, они несоизмеримы, как мы уже сказали. Так, если г-н Жане принимает за основу развитие истории, которая, освободившись от догматических тенденций, становится все более и более «историзирующей историей», и считает, что однажды мы сможем прогуляться по прошлому, как делаем это в пространстве, то здесь имеется в виду, что в будущем у нас появится возможность превратить отсутствие в реальное наличие или, выражаясь другими словами, превратить прошлое в реальное настоящее, но пока это всего лишь мечты. И дело вовсе не в том, что мы сомневаемся в полезности истории или опасаемся, что однажды она не сумеет дать нам еще более полную, насыщенную деталями, захватывающую и более живую картину, чем сейчас; просто она только помогает *нам заново прожить прошлое*, но никогда не сможет дать нам шанс еще раз *жить в прошлом*, поскольку содержание прошлого в обязательном порядке сформировано на основе главных характеристик самого прошлого, а значит, совершенно не подходит для построения настоящего. Это как если бы мне сказали, что настоящее является набором фактов, которые я сегодня утром нашел в газете, или представляет собой вереницу, какой бы бесконечной она ни была, фактов такого плана.

Последнее замечание призвано помочь мне справиться с трудностями. Если действительно прошлое и настоящее так сильно отличаются друг от друга по своей структуре, тогда каким образом нам удастся установить между ними разумные связи? Я думаю, это происходит не потому, что мы видим, как настоящее становится прошлым, а потому, что, наоборот, прошлое частично захватывает настоящее, точно так же, кстати, как и будущее. Иными словами, нам удастся объединить все три формы времени, поскольку мы можем включить прошлое в настоящее и в будущее. Безусловно, при этом мы вычленим отдельные события и факты. Когда я предвижу, что буду делать завтра, то в таком предвидении совершенно нет никакого проживаемого будущего; в нем есть только прошлое или, точнее, есть только то, что станет прошлым послезавтра; а проживаемое будущее начинается еще дальше. То же самое происходит, когда мы видим, как настоящее раскладывается на

«различные факты», каким бы ни было их значение. Эта операция является лишь отражением того, что существуют, насколько нам известно, факты в прошлом или, если вам так больше нравится, отличающийся факт в настоящем, который не является тем, что он есть, потому что должен вписаться в прошлое. Это вовсе не значит, что у нас останется воспоминание о нем, так как сохранение воспоминаний зависит от нашей памяти, а также от интереса, который мы проявляем в жизни к данному факту. Тем не менее один вырванный факт не может отделиться от настоящего, потому что прошлое, обладающее своей особенной формой, каким-то образом влияет на него. Получается, что даже весь комплекс этих фактов не в состоянии истощить настоящее, именно по той причине, что они являются фактами прошлого, а не настоящего, вернее — фактами прошлого в настоящем, но не наоборот. Даже когда мы прекрасно осознаем, что являемся участниками величайших исторических событий, как, например, в случае войны, нам абсолютно ясно, что это событие, как бы оно ни было вписано в историю, для нас — лишь часть нашего настоящего и, опять же, вовсе не потому, что история никогда не сможет воссоздать эту войну со всеми подробностями, а вследствие того, что в настоящем всегда есть что-то, что не может быть забыто и, значит, совершенно не может стать частью прошлого. Участвуя в каком-то историческом действии в настоящем, мы точно знаем, что все то, что есть в нем «исторического», является только одним из аспектов того, что мы делаем и проживаем.

Таким образом, начинает казаться, что наука, с ее предположениями и прогнозами, стремится построить будущее по модели прошлого; иногда религиозное сознание пытается внести в прошлое слабый отблеск будущего; в результате, и прошлое, и будущее выходят за пределы времени, в частности за пределы проживаемого будущего, и находятся ниже, чем оно.

С удивительной четкостью в прошлое проникает новый элемент: прошлое было, но *его больше нет*.

Воспоминание родилось. *Отрицание* проникло во время. Начиная с этого момента, время само себе дало логическое объяснение.

Безусловно, для нашего сознания оба утверждения — «того, что уже было, больше нет» и «того, что только будет, еще нет» — являются отрицательными. Но давайте насторожимся и обратимся к самой жизни. Разве мы еще не научились делать это в ходе нашего исследования?

Конечно, научились. Именно так мы выявили, несмотря на логические допущения, различные нюансы отрицания. В прошлом они нам кажутся намного категоричнее, чем в будущем. Этой логике недостает коннотации утверждения, которая у нее бы имелась в значительно большей степени, если бы она была не на своем месте и могла существовать только против собственной воли и исключительно при условии, когда будущее заимствовало у прошлого его характеристики. Именно поэтому в действительности, рассуждая о прошлом, мы можем без стеснения и сомнений говорить, что «его больше нет», но не можем так говорить о будущем, поскольку в будущем полностью отсутствует — это мы уже повторяли многократно — феномен, аналогичный воспоминаниям; мы с вами никогда не были пророками и совершенно не хотим таковыми быть, да и будущее является вовсе не тем, «что будет, но этого еще нет», а тем «что может быть» и, особенно, «что должно быть»; оно всецело рождается из настоящего, оживляя его своим живым сиянием.

Исключительно с того момента, когда отрицание проникает в прошлое, перед нами возникает рациональная проблема памяти. По сути, сами воспоминания и являются ее составными элементами. Именно воспоминания самым непосредственным образом помогают нам выстроить отношения с *ближайшим* будущим. В настоящем нет воспоминаний, которые постепенно исчезают, и уж тем более нет воспоминаний прошлого, которые затеряются в бесконечности. Воспоминание всегда относится к какому-то событию, уже произошедшему «некоторое время назад», и, каким бы коротким ни было это «некоторое время назад», тем не менее, с качественной точки зрения, имелся промежуток времени, *пустой* интервал, когда прошедшее событие никоим образом не присутствовало в сознании. Отсюда следует, что, при наличии обсуждаемого события, само воспоминание противопоставляет две точки во времени: одна точка — в настоящем, другая — в прошлом, а между ними — пустой интервал, отделяющий их друг от друга. Иными словами, воспоминание дает нам понять, что какое-то событие прошлого произошло, а также, что этого события больше нет, но оно снова возникнет в нашем сознании спустя какой-то более или менее длительный интервал времени. Дело в том, что разум, как и сама природа, опасается пустоты, ведет себя настороженно, когда открываются противоречивые сведения, и прилагает все усилия, чтобы устранить их; в таких ситуациях разум обращается к мнемоническим схемам и другим концепциям подобного содержания. Мы, кстати, не можем согласиться с ним в этом конкретном случае. На данном этапе нам достаточно того, что мы смогли определить основные характеристики проживаемого времени.

ЧАСТЬ II

**ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ**

ГЛАВА I

ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Общие наблюдения

Сейчас мы переходим к психопатологическим сведениям. Безусловно, феноменология времени представляет собой единое целое; только о ней одной можно написать серьезный научный труд. Но, как уже говорилось во введении, в ходе своих исследований я выявил, что феноменологические сведения и сведения психопатологии настолько тесно сплелись между собой за годы работы, что мне просто не хватило смелости разделить их. Для меня это равнозначно тому, как если бы пришлось разделить членов одной семьи. Когда я стал психиатром, то, приняв за основу феноменологические сведения, я попытался наложить эту информацию на факты психопатологии. Такое наложение не просто возможно, но, как мне казалось, призвано выступать в качестве особой методики, которая способна расширить наши психиатрические знания. С того момента взаимосвязь феноменологии и психопатологии стала постоянным явлением. С одной стороны, феноменологические рассуждения, порой излишне абстрактные, становились, если можно так сказать, более «осязаемыми» в силу их наложения на психопатологию; к тому же отношения, которые казались столь естественными, что мы принимали их за истину, предстали под совершенно другим углом, когда психопатологические факты продемонстрировали нам, что все может быть совершенно «иначе», что психическая жизнь все еще может существовать даже в отсутствие таких отношений, имея при этом структуру, отличающуюся от той, что бывает в нормальной жизни. С другой стороны, психопатологические исследования, проведенные в этом

направлении, не раз помогали проверить феноменологические данные и дополнить их, обращая внимание на те моменты, которые находились в тени. Именно по этой причине обе части данной книги представляют собой, как минимум в силу процесса их появления, одно неделимое целое.

Однако это совершенно не значит, что они прекрасно сочетаются между собой. Рискую разочаровать тех, кто надеется найти во второй части систематичное описание всех расстройств, возникающих по очереди по причине различных ведущих жизненных факторов, которые мы рассматривали в первой части. Я не планирую прямо сейчас делать такое описание. Да и не смог бы. Как только мы оказываемся под покровительством проживаемого времени и всего иррационального, едва ли у нас получится, пусть даже любой ценой, достичь идеальной симметрии между нормой и патологией, которая представляла бы собой, в соответствии с физиологией и общей патологией, простое перечисление различных функций, сопровождаемое изучением отклонений от нормы, к каковым относится каждая из них. Когда мы имеем дело с личностью человека, не может быть и речи о создании подобной системы; более того, этого следует остерегаться; излишне структурировать данные в таких случаях рискованно, так как это может привести к тому, что они будут ложными и односторонними. Кстати, поскольку здесь мы имеем в виду столь несхожие феноменологию, с одной стороны, и психопатологию — с другой, не стоит надеяться на одинаковые перспективы. В первой части этой книги, затрагивая вопросы, связанные с организацией жизни и человеческой души, мы не раз касались метафорических струн, но делали это очень деликатно, так как были уверены, что в данном случае неуместно устанавливать непроходимые границы, а все проявления умственной деятельности являются всего лишь различным выражением одной и той же жизни, следовательно, должны учитываться там, где на самом деле нужно серьезно относиться к задаче проникновения в суть даже такого явления. Относительно психопатологии, занимаясь исследованиями, мы преследуем другие цели и сталкиваемся с другими проблемами, пусть даже нами руководят те же разумные интересы. Однако в фактах психопатологии мы обнаруживаем подтверждение имеющихся данных феноменологии, несмотря на то, что они находятся в разных плоскостях. Само противопоставление нормы и патологии, которое в данном случае служит нам в качестве основы для классификации и оценки фактов, является тому достаточным доказательством. И даже если психопатологические факты будут рассмотрены,

исходя не из особенностей этих заболеваний, а «иначе», с позиций общей структуры нашей жизни, и выявится их связь с феноменологическими фактами, как мы с вами увидим чуть позже, то все равно нам не удастся добиться идеального соответствия между двумя частями этой книги. Самым важным для нас является стремление определить, придерживаясь феноменологической точки зрения, методику, предназначенную для изучения психопатических феноменов. Именно эту цель мы и ставим перед собой. Читатель будет встречаться с этой целью в дальнейшем почти на каждой странице. Здесь мы уже начнем разбирать ее, обращаясь к некоторым примерам и наблюдениям.

2. Наша реакция на больного как способ изучения психических расстройств

А. Л., 49 лет, бывший полковник русской армии, страдает от психических расстройств уже многие годы. Был контужен во время русско-японской войны, в результате чего в его поведении начали проявляться некоторые странности; он становился неразговорчивым, сильно озабоченным, замыкался в себе, отдалялся от семьи и друзей. При этом он продолжил службу в армии и даже принимал участие в войне 1914–1918 годов. После победы большевиков в революции полковник вынужден был бежать и укрылся во Франции. Здесь ему пришлось вести почти нищенский образ жизни; чтобы зарабатывать на пропитание, он стал рабочим и редко надолго задерживался на одном месте.

Поступив в клинику, он проявил себя как вежливый и услужливый человек, был учтив со всеми. Сначала у него не обнаружили никаких психических расстройств, он жаловался только на боли в конечностях, причиной которых считал усталость, накопившуюся за последние годы.

И только спустя несколько дней, когда между нами установились доверительные отношения, он рассказал нам о своем психозе. Этот психоз был очень затяжным и, очевидно, длился долгие годы. В первую очередь он проявлялся в навязчивой идее величия и преследования, мистическом психозе и предсказывании мыслей в совокупности с очень богатым воображением. Полковник утверждал, что разработал план наступления союзников в 1918 году, что Фош назначил его верховным главнокомандующим, а также, что именно он являлся истинным творцом победы. После его службы в армии в газетах сообщали о неизвестном гении, полковник настаивал, что, безусловно, речь шла о нем. Еще он говорил, что раскрыл серьезный заговор и сообщил об этом правительству. Он признавал необычность таких утверждений и допускал, что его в связи с этим легко

можно было принять за безумца. Однако он был уверен, что именно из-за своих разоблачений и достижений во время войны стал жертвой заговора и его хотят устранить, заставить молчать. Кроме того, его пытались женить на некой мадемуазель С.; в подтверждение этой истории он рассказал целый фантастический роман: она была дочерью маркиза, ей пришлось подвергнуться ужасным испытаниям, ее многократно насиловали, прежде чем она заставила его взять ее в жены. Но он считает, что в данной ситуации его вела рука Господа. Вдобавок он наделял себя способностью в некоторых ситуациях угадывать мысли других; судя по результатам обследований, которые он проходил, в первую очередь это касалось эротических фантазий. В Париже он с удовольствием проводил время в музеях; задался целью создать серьезное произведение на тему искусства, так как открыл в себе исключительный дар понимать его. Такой психоз мало проявлялся в поведении; больной держал все в себе, он не был агрессивен, недоверчив, вел себя, как мы уже говорили выше, исключительно вежливо и корректно. Правда, он написал несколько жалоб своим сослуживцам и военному министру, но это была его единственная защитная реакция, направленная против преследователей и несправедливости в целом, жертвой чего, как ему казалось, он являлся.

Чтобы дополнить свои наблюдения, я приведу письмо, которое отправил мне этот больной после выписки из клиники:

«Мой дорогой доктор, я опять тружусь на заводе, очень занят и невыносимо устаю. Именно по этой причине от меня не было никаких вестей. У меня снова болят ноги, я всерьез опасюсь, что результаты вашей работы будут сведены к нулю.

Я живу в бедности, не наедаюсь вдоволь и ищу себе другое жилье. Мой домовладелец выпроваживает меня, он совершенно не заинтересован предложить мне комнату по лучшей цене.

Я думаю о басне «Пастух и змея». Комар, увидев, что к уснувшему пастуху подползает змея, решает спасти его; он жалит пастуха в нос и будит; тот убивает змею, но прежде, будучи еще наполовину спящим, наносит по комару такой удар, что бедняга падает замертво у его ног. Это мой случай. С эгоистичной точки зрения, я поступил подло, когда спас Францию и ее союзников, но не жалею об этом, поскольку я всегда рассматривал Францию как естественного союзника России и славян, да и сейчас так считаю. Правда в том, что Франция, хотя, в отличие от пастуха, она не спит, истязает меня и делает это совершенно сознательно, согласно заранее разработанному плану, который, кстати, не так уж и умен; но пусть нас рассудит Господь. Видя, как живое существо погибает, я всегда испытываю к нему сострадание, мне хочется спасти его. Но в данный момент,

я как будто являюсь свидетелем пожара в зверинце; прямо сейчас горит клетка с кровожадным тигром; тигр яростно борется за жизнь и жалобно воет. Мне его жаль, и я мог бы открыть клетку, но не сделаю этого, так как в первую очередь он разорвет на мелкие кусочки меня, именно меня.

Когда вы становитесь участником дуэли на шпагах, вам необходимо выявить слабые места у противника, и, наоборот, реагируя на его атаки, проявить свои лучшие качества. Моя дуэль с Францией напоминает бой двух дебютантов: я подставляю свои самые слабые места, а Франция наносит удары туда, где, как мне кажется, у меня больше всего сил, туда, где я неуязвим: одиночество, голод, лишения, и т.д. ... Моя слабая сторона — это ласка, особенно ласка любимой женщины, я всегда мечтал жениться на француженке или жить с француженкой. Мои противники сделали все возможное, чтобы для меня этот проект стал неосуществимым, и сейчас я от него отказался навсегда; это будет моя Далила. Если Господь хочет наказать кого-то, он лишает его разума. Я благодарен ему, так благодарен ему за то, что он превратил моих преследователей в идиотов; иначе я не смог бы противостоять им».

Клиническая психиатрия пытается описать симптомы, уточнить диагноз, чтобы потом, на основании этого и насколько будет возможно, сделать выводы о последующем развитии заболевания. В данном случае эти вопросы нам не интересны. Психопатология расстройств в первую очередь задерживает свое внимание на содержании психоза и на выявлении связей, которые существуют между ним и прошлой жизнью больного. Несмотря на достаточно краткий характер наших наблюдений, мы здесь найдем большое количество важных для нас сведений. Письмо полковника является тому свидетельством. Некоторые детали, изложенные в письме, не могут не шокировать. Все тяготы реальной жизни полковника, голод, лишения, тяжкий труд смешались в единое целое с его навязчивыми идеями. Одно находит объяснение и утешение в другом. Что значат эти лишения для гения, который оказал такую неоценимую услугу союзникам, да и всему человечеству, гению, который смирился с бременем неблагодарности? Не является ли все это самой обычной компенсацией за жизненные испытания? Воображение, помогающее создавать навязчивые образы, все больше расширяется и обогащается новыми деталями; больной может лишь поддаваться ему; более того, сюда вмешиваются и критерии эмоционального порядка; придумав себе романтическую историю, больной замещает ею реальную жизнь. Скорее всего, если бы изначально у нас была возможность детально

изучить прошлое больного, возможно, нам удалось бы найти еще больше связей между этим прошлым и настоящим психозом. Однако эмоциональная сторона таких психических расстройств, а также и доверительные отношения устанавливаются только при определенных условиях, как минимум на основании симпатии между врачом и пациентом, в силу общности взглядов, насколько это в принципе возможно для сумасшедшего и того, кто таковым не является. Но разве это все? А как быть с его миражами: почему они не остались в стадии компенсаторных мечтаний, а преобразовались в форму навязчивых идей с непоколебимой уверенностью в их реалистичности?

Пока этот больной находился в клинике, я общался с ним ежедневно. Я застал его за составлением географической карты, которую ему доверили изготовить; хочу отметить, работал он кропотливо. Как я уже говорил, он был исключительно корректен в своих манерах и стиле поведения, с первого взгляда ничего не могло навести на мысль, что мы имеем дело с серьезным заболеванием. Но после нескольких традиционных фраз он начинал рассказывать о своем психозе. Однажды, услышав, как он вновь заговорил на эту тему, я испытал особое чувство, чувство, которое в переводе на язык слов означало бы: «я знаю о нем все».

Это чувство навело меня на определенные мысли. Что на самом деле оно означает? Оно не могло относиться ко мне как к врачу; я в состоянии перечислить все симптомы и поставить диагноз уже после второго или третьего обследования больного. И уж тем более это чувство не относилось к проблемам, которые рассматривала аффективная психопатология; наоборот, в данном случае собранных сведений было недостаточно для того, чтобы у меня возникло подобное чувство; я почти не учитывал эмоциональное прошлое моего больного. Тогда что бы могло значить это «я знаю о нем все»?

Давайте на время забудем о пациенте, все свое внимание я хочу направить на себя самого. Меня шокирует одна деталь. Это «я знаю о нем все» совершенно не подкреплено чувством удовлетворения, как бывает в том случае, когда нам удается получить новые знания, особенно более полные знания, касающиеся какой-то конкретной темы. Напротив, я испытывал чувство мучительной тревоги, как если бы в ходе общения с этим больным во мне самом что-то надломилось. Таким образом, «я знаю о нем все» имело для меня не положительное значение, а, наоборот, означало какую-то потерю, какое-то истощение, как будто в обычных отношениях между людьми образовалась трещина.

Некоторое время я думал, что это связано с монотонной, навевающей скуку речью больного. Но я исключил такое объяснение. Мне приходится общаться со многими скучными людьми, хоть я и стараюсь их избегать. Но, в принципе, чувство скуки, которое я испытываю, сталкиваясь с ними, относится только к их манере вести себя в обществе; на основании этого мне не кажется, что их внутренний мир беден; и никогда мне в голову не приходило, что я знаю о них все; я знаю лишь то, как они себя ведут, что навевает скуку, и поэтому я их избегаю — вот и все. Но этот больной мне очень любопытен, я совершенно не пытаюсь избежать общения с ним, несмотря на то, что «я знаю о нем все».

Значит, нужно искать что-то другое. В присутствии нормальных людей мы не испытываем подобных чувств. Сколько бы мы ни пытались получить сведения о прошлом какого-то человека или добиться от него откровенности, сколько бы ни наблюдали за его реакцией, у нас никогда бы не возникло это особенное чувство, выраженное здесь словами: «я знаю о нем все». Мы можем говорить, что более или менее хорошо знаем людей, у которых часто бываем. Однако, если подробнее рассмотреть это знание, окажется, что прежде всего оно обладает практическими характеристиками и служит нам для того, чтобы предвидеть в определенных обстоятельствах реакции себе подобных, а также в соответствии с этим предвидением выстраивать свое поведение; с другой стороны, все очень относительно; в таком знании всегда есть «более» или «менее», оно никогда не бывает «абсолютным»; наоборот, оно поддерживает то «неизвестное», которое, как кажется, и является внутренним миром человека, той глубиной, где зарождаются, чтобы потом на поверхности обрести очертания, психоэмоциональные проявления, доступные нашему пониманию. Как мы уже знаем, именно эта глубина, в которой находится неизвестное, и является основой того, что связывает нас с другими людьми, с «себе подобными». В принципе, эта основа всегда остается позади всех психоэмоциональных проявлений, которые в повседневной жизни образуют сферу взаимодействия с себе подобными. Более того, наши знания, при условии, что они вообще есть, никогда не затрагивают основу; они не могут добраться до этой неизвестной глубины, такой значимой в нашей жизни. Ничего аналогичного «я знаю о нем все» здесь не может быть. Так и хочется сказать: напрасно я пытаюсь узнать о ком-то все, ибо я ничего о нем не знаю. В этом и заключается истинная ценность жизни.

Предчувствую здесь возражение: если специалисты в области психоанализа уподобят мое «неизвестное» своему бессознательному, это «неизвестное» может быть серьезно сокращено на основании сведений, предоставленных психоаналитическими исследованиями. Но это вовсе не так. Достаточно напомнить, что психоаналитические сведения диаметрально противоположны проживаемому бессознательному, как мы уже говорили в первой части этого исследования, а свои положительные силы они черпают именно в том, что является в нем негативным (*бессознательным*). В данном случае отрицание опережает утверждение, или, если вам так больше нравится, именно через отрицание жизнь в основном себя и проявляет.

Сейчас становится понятнее, к чему относится это «я знаю о нем все», которое я испытываю в присутствии моего больного. Кажется, в нем иссякли источники жизни; они стали жертвой рациональных критериев; эти критерии проникли в самые отдаленные уголки его существа, превратив источники жизни в «ничто», в форму, которую можно предъявить остальным. В его случае все оказывается как бы отражением дискурсивной мысли в плоскости рационального. А у нас возникает впечатление чего-то неподвижного, мертвого; из его настоящей жизни ушла глубина; вся его жизнь словно бы расстилается перед нами в одной плоскости, она приобрела форму конкретных идей, которые мы определяем как навязчивые. На основании такого особого обеднения его жизни у нас и создается неприятное впечатление, что мы знаем о нем все. Ослабевает глубина, сближающая нас с себе подобными; психика описываемого больного слишком близка нашему мышлению; мы видим ее во всех мельчайших подробностях, как будто это набор тем, а не театральное представление, которым руководит какая-то неведомая сила. Оторванный от общей базы, наш больной, кажется, больше не имеет ничего, что объединяло бы его с «себе подобными»; перед нами типичный сумасшедший.

Теперь давайте попытаемся определить так называемые здоровые идеи, которые мы могли бы противопоставить навязчивым идеям нашего больного. Его идее величия, как мы ее понимаем, соответствует вовсе не идея скромности и даже не идеи, касающиеся оценки нашей личности в соответствии с ее истинной ценностью. Нет, это вообще не идеи, а нечто совершенно другое: это тот самый порыв, который, в силу своего величия, заставляет нас двигаться вперед, находясь при этом в гармонии с окружающим становлением. Все то, что значимо в мире по факту следования своему собственному направлению в жизни в рамках движущейся основы, которая и представляет собой

нашу жизнь в целом, в данном случае кажется конкретным и обездвиженным, выраженным в точной, легко понятной форме величия, ставшей впоследствии бредовой. Глубинные сведения о нашей сущности — мы называем их то сверхиндивидуальным критерием, то параметрами глубины, — которые, в силу их могущественности, теряются в бесконечности, были разрушены рациональными критериями, представленными в форме обездвиженных и навязчивых идей, сформированных навсегда. Величие нашего порыва в том, что он, постоянно стремясь превзойти себя, раскрывается нам только через свое непрерывное движение вперед; великим является и ощущение, что нас ведет судьба, в тысячи раз более могущественная, чем мы, которая может выражаться лишь в нас самих, а глубина — источник нашей жизни, откуда появляются все идеи, чувства и стремления, — на самом деле бездонная, могучая и таинственная. Именно это и есть проживаемое величие, и оно не может быть другим. Наш больной *утверждает*, что он непризнанный гений, великий человек; он этого не хотел, но стал таким в результате своих исключительных поступков, на основании которых, рассмотренных в их неподвижности, он строит свое настоящее, настойчиво требуя вознаграждения. А все его идеи, замещая то, что должно быть подвижным и живым, продолжают держать в заточении прошлого отсутствующее будущее, порождая «бесперспективность», в самом точном значении этого слова. Существо, лишенное будущего в такой грубой форме, может видеть в будущем только угрозу. Когда мы сталкиваемся с такой психикой, которая кажется нам сжатой и уменьшенной до минимальных параметров, при общении с больным у нас складывается впечатление, что мы вынуждены читать его как раскрытую книгу, не содержащую в себе никакого смысла. Вместо книги жизни, где так много белых пятен, часто имеющих большее значение, чем текст, перед нами самая банальная книга: все в ней досконально понятно, все сводится именно к тем словам, фразам, вещам, которые она выражает; однако там уже нет дыхания жизни. Нас охватывает неприятное чувство; мы выражаем его, говоря, что, даже еще ничего не зная о нашем больном, знаем о нем все. Нашему сознанию уже достаточно сведений, чтобы подтвердить психическое заболевание.

Сейчас следует задать себе вопрос: а что, если сам больной не выдает такое разрушение общепринятой основы, всегда стоящей за психоэмоциональными проявлениями нам подобных, за способность нарушать чужую неприкосновенность, угадывая мысли других, которую он приписывает себе? Так же, как у нас создалось впечатление,

что мы все знаем о нем, он утверждает, что способен читать мысли других. Разница заключается лишь в том, что мы испытываем неприятные ощущения от того, что «знаем о нем все», тогда как он, пренебрегая нездоровой составляющей своего существа и пребывая в согласии с идеями о собственном величии, наоборот, видит в этом свое превосходство. Дело в том, что повсюду он заменяет живое неподвижным, иррациональное — рациональным, ощущение бесконечного — осознанием конца.

Пожалуй, остановимся на этом. Мне больше нечего сказать о больном А.Л., я наблюдал его недолго, и, когда с ним работал, большая часть сведений, которые рассматриваются здесь, существовала лишь в виде черновиков в моем сознании. Однако он меня заставил подумать о многом, и, может, в силу чувства сожаления о моем собственном прошлом, я испытал желание рассказать о нем. В остальном все, что было сказано, способствовало выбору направления, которое я определил для себя, занимаясь этими исследованиями.

3. Психологические и феноменологические сведения в случае наличия шизофренической меланхолии

Перейду к следующему наблюдению. Шел 1923 год³⁶. В это время счастливый случай или скорее даже превратности жизни вынудили меня провести два месяца с больным в качестве частного врача. Я находился с ним рядом постоянно, наблюдал за ним день и ночь. Легко представить, с какими трудностями было связано такое длительное совместное проживание; однако, с другой стороны, в результате этого были созданы исключительные условия, позволившие мне непрерывно сравнивать психику больного с моей собственной психикой, в результате чего я смог заметить особенности, которые обычно ускользают от нашего внимания.

Вот краткое клиническое наблюдение. В данном случае речь пойдет о больном, которому шестьдесят шесть лет, он страдает от меланхолического психоза, сопровождаемого затянувшейся манией преследования и бредом толкования.

У больного проявляются мания разрушения и мысли о виновности. Он иностранного происхождения и постоянно упрекает себя в том, что ранее никогда не высказывался в пользу Франции, в чем видит свое

³⁶ *Etude psychologique et analyse phénoménologique d'un cas de mélancolie schizophrénique*. Journal de Psychologie, 1923, 6.

непростительное преступление; кроме того, он утверждает, что не заплатил налоги, поскольку у него нет ни гроша. За эти преступления его ждут страшные наказания. Ему отрежут руки и ноги, а затем их выбросят на заброшенном пустыре. Его самого ждет та же участь: ему в голову вобьют гвоздь, брюшину наполнят всевозможными нечистотами, его изуродуют самым чудовищным образом, а затем в сопровождении огромного кортежа увезут на ярмарку, где он будет вынужден жить в клетке с хищниками и крысами, покрытый паразитами, дыша вонью испражнений, пока за ним не придет смерть. Все знают о преступлениях, которые он совершил, все знают о наказании, которое его ждет; все, за исключением членов его семьи, и каждый в той или иной мере будет участником этих наказаний. На него постоянно как-то странно смотрят на улице, слугам приплачивают, чтобы они следили за ним и вредили ему, во всех газетах речь идет о нем, все книги были написаны только для того, чтобы расправиться с ним и его близкими. Вся медицинская служба стоит во главе этого огромного движения, призванного причинить ему зло.

Мании разрушения, мысли о виновности и неминуемом наказании и преследовании трактуются самым удивительным образом. Как он говорит, это «политика отходов», политическое движение, которое было специально создано против него. Все отходы, все нечистоты собираются, чтобы однажды наполнить ими его живот, причем это происходит повсеместно, во всем мире. Когда кто-то курит, остается пепел, использованная спичка, окурки; после еды оставляют крошки, фруктовые косточки, куриные кости, вино и воду на дне бокалов; но главные его враги, как он сам считает, — это яйца, так как у них есть скорлупа, которую используют его преследователи для выражения их самого страшного гнева. А еще есть отходы шитья — обрывки ниток и иглы. Все спички, обрезки веревок, клочки бумаги, осколки стекла, все, что он видит, прогуливаясь по улицам, все это предназначается ему. Далее речь идет о срезанных ногтях и волосах, пустых бутылках, письмах и конвертах к ним, билетах метро, стопках газет, о грязи, которую приносят в дома вместе с обувью, воде после принятия ванны, кухонных отходах, отходах всех ресторанов Франции. Следом идут испорченные овощи и фрукты, трупы животных и людей, конский навоз, моча, каждый замеченный им предмет. Как он утверждает, слова «напольные часы» подразумевают иглы, часовые механизмы, пружины, корпуса, гири и т.д., и все это окажется у него внутри. По сути, его толкования не знают никаких границ; они касаются всего, действительно всего, что он видит и может себе представить. Несложно понять, что в таких обстоятельствах любая, самая незначительная вещь, любой жест повседневной жизни будут тут же трактованы им как враждебный поступок, направленный против него.

Такова клиническая картина. На самом деле в ней нет ничего особенного, если не считать объемы, я бы даже сказал, вселенские масштабы его мании преследования и бреда толкования. Однако этот вселенский характер болезненных проявлений является неоспоримым достоинством, если мы хотим проникнуть в суть психопатических феноменов. Когда психопатические феномены ограничены какими-то предметами или людьми, первое, с чем мы пытаемся разобраться, — найти объяснение такой избирательности; почему больному кажется, что его преследует именно этот человек, а не кто-то другой, почему, будучи в состоянии психоза, он придает особую значимость именно этому предмету, а не другому; таково *содержание* навязчивой идеи или галлюцинации, которая привлекает наше внимание; здесь необходимо учитывать аффективные критерии, совокупности и символизм, играющие важную роль в современной психиатрии. Кстати, случаи, когда содержание патологического феномена ничем не ограничено и имеет вселенский характер, можно считать подходящими, я бы даже сказал, значительно более подходящими для изучения феномена как такового, например, для изучения навязчивых идей как особого и исключительного феномена.

Если с клинической точки зрения случай нашего больного достаточно банален, то обстоятельства, в которых нам представилась возможность изучить его, банальными не назовешь. Как уже говорилось, я прожил рядом с этим больным в течение двух месяцев. У меня была возможность наблюдать за ним изо дня в день, причем не в психиатрической больнице или лечебнице, а в привычной ему обстановке. Реакция на обычные сторонние раздражители, способность подстраиваться под требования повседневной жизни, переменчивость симптомов и все особые нюансы наиболее четко проявляются в таких условиях. К этому обстоятельству присоединяется и еще одно. Мы не занимаемся исключительно медицинским наблюдением все 24 часа в сутки. К тому же мы можем реагировать на больного, как и все остальные люди, окружающие его. Чувства, которые мы испытываем к нему, сменяют друг друга: это и сострадание, и нежность, и убеждение, и нетерпение, и гнев. Именно таким образом в сложившихся условиях мы наблюдаем не только за самим больным, у нас появляется возможность практически каждый миг проецировать психическую жизнь больного на нашу собственную психику. Это подобно двум мелодиям, которые играют одновременно; они абсолютно не гармонируют друг с другом, но между нотами одной и второй устанавливается некоторое соответствие, что позволяет нам проникнуть

чуть дальше в психику нашего больного. Факты, полученные таким образом, с одной стороны имеют психологическую природу, а с другой — это факты феноменологического порядка.

а) *Факты психологического порядка. — Чередование установок и распространение психоза.* — Чуть выше мы составили клиническую картину. Однако больной не прибывает в одном неизменяемом состоянии. Я не имею в виду, что иногда он ведет себя как нормальный человек, участвует в общих беседах, никак не выдает свое болезненное состояние. Больше всего привлекает наше внимание то, что в области патологических симптомов, в зависимости от обстоятельств, проявляются различные изменения и отклонения. Начнем с того, что мы можем различать два вида отношений: порой преобладает депрессивный элемент, а иногда мы имеем дело с бредовыми толкованиями. Смена двух этих ведущих отношений происходит не совсем беспорядочно, наоборот, кажется, что она обусловлена, как минимум частично, какими-то особыми факторами и подчиняется какой-то движущей силе. Именно сейчас полезно будет противопоставить две мелодии, о которых мы говорили чуть выше. Всякий раз после сцены почти жестокости, проявившейся в большей или меньшей степени, было ощущение, что возникает потребность в расслаблении; мне хотелось сказать ему: «давай заключим перемирие», а он реагировал на все произошедшее приступом простой меланхолии; затем он начинал причитать, говорил о своих несчастьях, взывал к состраданию; в таких случаях, кстати, почти не было бредовых трактовок. Можно сказать, что в его арсенале патологических отношений истощалось что-то, помогающее ему установить контакт с «себе подобными». Чем чаще повторялись его меланхолические жалобы, стечения, тем скорее они переставали нас волновать; и все же в нашем совместном существовании сохранялись какие-то «контактные отношения» — последние попытки синтонии спастись в хаосе больной психики. Все остальные виды отношений, безусловно, существовали в условиях окружающей действительности, это были отношения нездорового толкователя и безумца. Кстати, нередко больной предъявлял мне обвинения в коварстве: с одной стороны, я — сама любезность, если речь идет о его семье, а с другой стороны, я принимаю активное участие в заговоре против него. Когда однажды меня навестили мои дети, я специально попросил их принести с собой кошелек, полный денег; оказалось, что теперь эти деньги тоже вложат ему в живот; конечно, стыдно заставляя своих собственных детей принимать

участие в махинациях, направленных против человека; в конце концов он посчитал, что я задумал убить его, и наградил меня прозвищем Деиблер (знаменитый палач). С этого момента все рухнуло, теперь мы были словно два живых существа, полностью утратившие взаимопонимание, в силу чего испытывали друг к другу враждебные чувства. Я злюсь, а он по-своему воспринимает мой гнев, наполняя его асоциальным значением; он обвиняет меня в самых худших преступлениях, а затем, как будто нарочно, сразу же начинает собирать в саду все листья и горелые спички, попавшиеся ему на глаза.

Различные формы, в которых проявляются симптомы, чередуются в метаниях между нормальным ходом жизни и больной психикой; это похоже на непрекращающееся движение приливов и отливов в море; сначала превалирует временное затишье и контактное отношение, мы в очередной раз надеемся на лучшее, но потом опять поднимаются волны, все рушится, и мы снова терпим кораблекрушение.

Наряду с таким чередованием отношений, мы можем утверждать, что у нашего больного есть какая-то интеллектуальная деятельность, связанная с его навязчивыми идеями, которая и создает видимость реальной жизни во мраке его болезненной психики. У этой деятельности особые черты. Она направлена на уничтожение всего, что могут поместить ему в живот. Как-то по неосторожности я достал из кармана билет метро. «Надо же, — задумчиво сказал наш больной, — а ведь о билетах я даже не подумал». Затем он начал говорить о железнодорожных, трамвайных, автобусных билетах и т.д.; это заняло его на несколько дней, а потом возникало еще не раз в виде короткого напоминания во время наших бесед. Такое «надо же, а ведь об этом я даже не подумал» повторялось при виде каждого предмета, который, как ему казалось, он еще не учел. Ведомый той же целью, он называл все, на что падал его взгляд, либо очень долго вспоминал другие предметы того же класса; когда по какой-то причине заходила речь о микробах, он перечислял все, которые знал: бациллы бешенства, тифа, холеры, туберкулеза и так далее. Резюме всегда было одно: все это окажется у него в животе. Аналогично он поступал и с кислотами, произнося их названия одно за другим: соляная кислота, серная кислота, щавелевая, уксусная, азотная и так далее в том же духе. Таким образом, он преследовал только одну неизменную цель. Но как уничтожить в мире все предметы, какие только можно вообразить? «Это приведет к бесконечности», — признавал он сам. У нас, кстати, еще будет возможность поразмышлять об этом. Его деятельность не ограничивалась простым перечислением, о котором

мы только что говорили; одновременно проводилась определенная работа, обращенная в прошлое. То он вспоминал о небольшом люке, который видел у парикмахера, — туда сбрасывали состриженные волосы, и тотчас с ужасом начинал рассуждать о том, что, должно быть, все эти волосы где-то складывают специально для него. То он говорил об ужине, на который были приглашены его многочисленные друзья, и принимался подсчитывать, сколько яиц могло быть израсходовано в тот день. А еще любой ценой он хотел узнать, с какого момента вступила в силу «политика отходов».

Одна из волновавших его проблем вносила более живую нотку в раздражающую монотонность болезненных идеаций. Эта проблема частично имела реальное основание. Очевидно, что на политику отходов требовалось огромное количество средств. Разбрасывать у него на пути все эти кусочки провода, осколки стекла, а затем собирать их, покупать все газеты, издавать книги, сколько же на это нужно денег! Вероятно, повсюду во Франции был организован сбор средств, а также пришлось обратиться в секретные правительственные фонды. Кроме того, он спрашивал себя: как же им удастся поместить ему в живот все эти трости и зонтики? «Мой разум тут останавливается», — заявлял он, но позже нашел решение: в его тело внедряют только частичку каждого из предметов, а то, что останется, продадут потом где-нибудь на ярмарке, чтобы повеселить чернь.

б) *Сведения феноменологического порядка.* — Именно таким образом протекала повседневная жизнь нашего больного. *Но возникает вопрос: когда произошел раскол его психики, если сравнивать ее с психикой нормального человека?* Этот вопрос подводит нас к некоторым умозаключениям феноменологического порядка.

Еще во время первого обследования стало понятно, что психика нашего больного отличается от психики нормального человека; в силу его навязчивых идей это различие кажется нам настолько серьезным, что невозможно даже представить установление хоть какой-то связи между ними. Тем не менее мы не можем довольствоваться таким отношением, которое, по сути, является агностицизмом. Современная психиатрия, прибегая к помощи комплексной психологии, уже пришла к тому, чтобы сопоставлять различные патологические изменения с критерием нормы, делая их тем самым доступными для понимания. Однако, как мы уже говорили выше, прежде всего здесь идет речь о содержании этих проявлений. В данном случае мы преследуем иную цель. Каким образом проникнуть чуть глубже в природу патологического

феномена, например, такого, как навязчивая идея? Уж не является ли она в действительности всего-навсего нарушением репрезентации или суждения? Возвращаемся к нашему вопросу: когда произошел раскол его психики, если сравнивать ее с психикой нормального человека?

Уже с первого дня нашего совместного проживания мое внимание привлекло следующее. Как только мы приехали, больной тут же заявил, что, несомненно, последняя казнь свершится этой ночью; он терзался, не мог уснуть, заставлял меня бодрствовать; я утешал себя тем, что утром он осознает тщетность своих страхов; но аналогичное поведение повторялось все последующие дни. Спустя три или четыре дня я утратил всякую надежду, он совершенно не изменил своего отношения. Так что же произошло? Будучи человеком нормальным, я очень быстро пришел к определенным умозаключениям на основании рассмотренных фактов и сделал выводы на будущее; он же не извлек из этих фактов никаких выводов насчет того же будущего, хотя они и были ему доступны. Сейчас я уже знаю, что он так и будет каждую ночь опасаться своей неминуемой казни; и он не просто утверждает это, а действительно так считает, не задумываясь ни о прошлом, ни о настоящем. Моя следующая мысль — прежде всего эмпирическая; факты ее интересуют лишь в разрезе того, каким образом на их основании можно выстроить поведение на будущее. У нашего больного продвижение вперед в сторону будущего полностью отсутствует, как отсутствует и способность обобщать, приходить к какому-либо эмпирическому правилу. Я ему говорю: «Вот видите, вы вполне можете доверять мне, когда я убеждаю вас, что вам ничего не угрожает, ведь до сих пор все мои предсказания всегда сбывались». На что он мне отвечает: «Признаю, до сих пор вы были правы, но из этого вовсе не следует, что и завтра вы будете правы», — умозаключение, против которого я чувствую себя безоружным, но которое, однако, подтверждает наличие глубокого расстройства общего отношения к жизни относительно будущего. В данном случае время раскладывается на отдельные элементы, в обычной жизни мы сами соединяем их в одно целое. Здесь могут быть возражения: не является ли такое расстройство психики, касающееся понятия будущего, естественным последствием навязчивой идеи, связанной с неминуемой пыткой?

В этом проблема и заключается. Ведь точно так же можно утверждать, что именно расстройство, касающееся нашего отношения к будущему, на самом деле является более обобщающим, а навязчивая идея, о которой мы здесь ведем речь, — всего лишь одно из его проявлений. Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Так какое же понятие времени у нашего больного, чем оно отличается от общепринятого? Попробуем уточнить это: он ощущает, как однообразные, монотонные дни идут один за другим, понимает, что время проходит, и жалуется, вздыхая: «Еще один день миновал». В такой последовательности похожих один на другой дней он установил определенную периодичность: каждый понедельник моют серебро, каждый вторник приходит парикмахер, чтобы подстричь ему волосы, каждую среду садовник стрижет газон и так далее; все это сокращает время, которое ему осталось. Только эту единственную связь он и способен установить. У него нет ни одного действия, ни одного желания, которые, сформировавшись в настоящем, были бы направлены в будущее, преодолевая последовательность серых однотипных дней. Для него эти дни сохраняют независимость, намного превосходящую привычку, и не воспринимаются как исчезнувшие в непрерывности нашей жизни; каждый из таких дней выглядит на поверхность как отдельный островок в сером море становления; благодаря этой независимости существование начинается заново; уже сделанное, уже прожитое, уже сказанное больше не вмешаются в его жизнь, как бывает у нас, поскольку у него нет желания двигаться дальше; каждый день одни и те же жалобы, одни и те же разговоры, раздражающие своей монотонностью; можно сказать, что этот человек полностью утратил понятие необходимого каждому движения вперед.

Таков ход времени. Однако наша картина еще не полная. В ней отсутствует основной элемент. *Будущее оказывается перечеркнутым* из-за уверенности в наступлении пугающего и разрушающего события, которое полностью преобладает над его отношением. Вся его жизненная энергия сосредоточена на этом неизбежном событии. Ему жаль жену и детей, обреченных на страшные мучения. Но это все, на что он способен; в повседневной жизни он больше не участвует, не движется вместе с элементами, случайно становящимися частью жизни. Когда речь заходит о том, чтобы узнать, как обстоят дела у заболевшего члена его семьи, ассоциации, которые при этом у него возникают, предельно коротки, он задает одни и те же банальные вопросы и не может продвинуться дальше. «Постоянно какие-то заезженные клише», — сокрушается его жена; а сам он, кстати, не отдает себе в этом отчета: «Все, что говорит моя жена, кажется лживым». В общем, вырисовывается картина эмоционального обеднения на фоне реальности.

Вот такое у него понятие времени. Напоминает ли оно наше и чем отличается? Очень похожие чувства мы испытываем в моменты уныния и слабости. Возникает мысль о смерти; такой прототип

эмпирической уверенности, перечеркивая будущее, управляет нашей жизнью; синтетическая картина времени распадается, превращается в последовательность однообразных дней, монотонно протекающих в безграничной тоске. Но в нашем случае это всего лишь мимолетные этапы. И жизнь, и личный порыв снова поднимаются вверх, исчезают, пролетая над вереницей одинаковых дней к будущему, которое раскрывает нам свои двери полностью, нараспашку; мы мыслим, мы совершаем поступки, мы желаем, и все это происходит за пределами смерти, которой нам все же не избежать. Только присутствие феномена, определяемого как «желание сделать что-то для будущих поколений», ярко характеризует наше отношение к жизни. Кажется, что у нашего больного отсутствует именно такое движение вперед к будущему; в этом и причина его отношения. Даже если с течением времени он немного успокоится и перестанет каждый вечер ждать последнего мгновения своей жизни, все равно ничего не изменится; он просто обозначит для себя более отдаленную дату, например, 14 июля — Национальный праздник, день армии и тому подобное; будущее для него, как и прежде, будет перечеркнуто, он строит свое настоящее на основании этого измененного будущего. Его порыв не направлен в будущее, у которого нет границ.

Мне могут возразить, что так относится к жизни человек, обреченный на смерть, а наш больной как раз страдает от навязчивой идеи, что он сам и его конечности будут истерзаны, что его ждет ужасная смерть. Но я сомневаюсь в правомерности такой аналогии. Мне никогда не приходилось встречаться с осужденными на смерть. Согласен, однако, что картина, которую мы только что нарисовали, соответствует *представлению* о том, какие чувства должен испытывать осужденный на смерть. Но разве в нас самих нет этой идеи, разве мы ее не почерпнули у себя, ведь все мы в какой-то момент будем обречены на смерть, когда наш личный порыв ослабнет, а будущее закроется перед нами? Значит, можно допустить, что отношение больного предопределено более длительным ослаблением этого же порыва; комплексное понятие времени и жизни разрушается и спускается на нижнюю ступень, которая предположительно есть в каждом из нас. Получается, навязчивая идея возникает в нашем воображении не как нечто полностью вымышленное, она присоединяется к феномену, который является частью нашей жизни, и вступает в игру в тех случаях, когда ее единство начинает прогибаться. Особая форма навязчивой идеи — навязчивая идея, связанная с телесными наказаниями — на самом деле является лишь попыткой мышления, оставшегося неповрежденным,

установить логические связи между различными камнями этого рушащегося здания.

Давайте проверим, сможем ли мы на основании этой точки зрения рассмотреть все остальные навязчивые идеи нашего больного. Начнем с мании преследования.

Личный порыв не просто определяет наше отношение к будущему, но и регулирует наши связи с окружающим пространством, а значит, принимает участие в картинах, которые мы из этого создаем. В личном порыве есть своего рода развитие; мы пересекаем границы собственного «я», оставляем свой личный след в становлении, создаем творение, способное отделиться от нас и продолжить жить уже автономно. Ко всему этому присоединяется приятное ощущение — созерцание, удовольствие, сопровождающее любое завершенное дело или любое принятое решение. Это чувство уникально. Среди других поступков у него нет ни одного эквивалента с отрицательной характеристикой. Жизненный феномен, находящийся на противоположном полюсе — это феномен чувственной боли, который, как мы уже знаем, является одним из основных феноменов, определяющих структуру наших отношений с окружающей средой: в нем самом содержится понятие воздействующей на нас посторонней силы, и мы вынуждены ему подчиняться. В силу этого чувственная боль четко противопоставлена личному порыву, способному расширяться. В таком случае мы больше не выходим за пределы, не пытаемся оставить после себя след во внешнем мире, наоборот, мы испытываем на себе влияние чувственной боли, даем ей возможность наступать на нас со всей свойственной ей стремительностью, а она заставляет нас страдать. Отсюда следует, что чувственная боль — это наше отношение к окружающей среде. Мимолетная, мгновенная, она занимает позиции и становится длительной в тех случаях, когда уже не может быть уравновешена противостоящим ей личным порывом.

Как только это единство жизни начинает изгибаться, кажется, что становление всей своей массой стремительно движется в нашу сторону, превращаясь в какую-то враждебную силу, которая может лишь одно — заставить нас страдать. В этом и выражается основное отношение к становлению; обычно оно подчиняется другим, но, овладевая вселенной, тут же наполняет ее особыми красками. «Меня лишили всего, кроме того, что необходимо, чтобы я страдал», — говорит наш больной. Ему известны только страдания, картина взаимодействия с окружающим миром для него строится исключительно на феномене чувственной боли.

Именно на фоне такой враждебной обстановки начинают возникать силуэты живых существ, событий и предметов. Все вместе они и являются выражением этого фона. «Все, абсолютно все оборачивается против меня, — стонет больной. — Все факты, даже противоположные, имеют для меня одинаковое значение; молчание, которым я окружен, свидетельствует о глубокой немой ненависти всех людей; шум рабочих на улицах напоминает о гвозде, который вобьют мне в голову; самые естественные в жизни вещи для меня — самые опасные. Ах, как же эта система хитра и отвратительна! Достаточно просто продолжать делать то, что мы обычно делаем, — умываться, причесываться, кушать, ходить в уборную, — чтобы все это впоследствии обернулось против меня». Все говорят «на одном языке, четком и понятном»; черное и белое для него значит одно и то же; все направлено против него и должно причинить ему страдания.

Хочу отметить еще и то, что в его случае нет никакого движения вперед в соответствии с общим правилом. Его отношение определяется четкой картиной вселенной, которая влияет на все окружающее его пространство. Он больше не рассматривает людей с точки зрения их личных или индивидуальных качеств, все они для него лишь силуэты, тусклые и обезображенные, на фоне общей враждебности. На самом деле его преследуют вовсе не живые люди; просто все люди превратились в преследователей, это их единственная ипостась в жизни. Сложность психической жизни живого существа в его случае отсутствует; в ней есть только схематично изображенные манекены. Понятия «одновременность», «случайность», «непреднамеренные действия» больше не существуют для этого больного; даже самый малюсенький обрывок нитки появился на его пути не случайно; лошади тоже принимают участие в заговоре, так как их навоз лежит под окнами его комнаты; какой-то прохожий курит сигарету — это знак; неполадки с электричеством — сознательная диверсия, чтобы жгли свечи, заготавливая для него еще больше отходов.

Его мышление не ограничивается конкретными объектами, оно не способно определить точные контуры каждого из них. Предмет для него — всего лишь одно из явлений общего фона; мышление больного превосходит обычное предназначение предметов, оно идет значительно дальше. Стопка газет «Фигаро», отправленная ему, сразу же навела его на мысль о таких же регулярно рассылаемых стопках, а дальше вообще обо всех газетах, которые ежедневно печатаются во Франции; кто-то из числа его близких болен бронхитом, кашляет с отделением мокроты — мой больной начинает припоминать каждый

плевок, рассуждает обо всех санаториях для больных туберкулезом, об отходах всех больниц. Я бреюсь в его присутствии — солдаты в соседней казарме тоже бреются, повсюду в армии так, и все это с одной-единственной целью.

«Стоит мне что-то сделать, — говорит он, — я тут же начинаю думать, что сорок миллионов жителей делают то же самое». Давайте еще раз вспомним, как он перечисляет предметы, которые должны оказаться у него в животе. Возможно, однажды, на основании этого, нам удастся объяснить происхождение мании величия. Что касается нас, то в данной ситуации нам прежде всего интересно определить, при каких обстоятельствах мышление человека утратило способность задерживаться на отдельном значении каждого предмета, почему оно выходит далеко за пределы, в бесконечность, как если бы сама бесконечность и описывала это значение. Сфера ближайших интересов больного не ограничена в пространстве, но перечеркнута с точки зрения будущего, тогда как у нас, наоборот, сфера ближайших интересов в пространстве ограничена, зато в будущем ей неведомы никакие пределы. Личный порыв ослаб у нашего больного, поэтому он не сможет проецировать свой порыв ни на других людей, ни на вещи; для него просто не существует этих значений. В конце концов, можно сказать, что для него и вещи, и люди почти перемешались, они говорят с ним на «одном четком и понятном языке».

Есть еще одно обстоятельство, подтверждающее такое видение жизни. Мышление нашего больного направлено не только в бесконечность, оно раскладывает на составные части все предметы, с которыми сталкивается. В данном случае напольные часы, как мы уже говорили, — это иглы, колесики, гири, ключ, более того — все это инструменты пыток. То же самое происходит с каждым попавшимся ему на глаза предметом.

В момент реакции на что-то — отнеситесь к этому особенно внимательно — его отношение разительно меняется, но как только действие завершено, он снова обращается к своим ошибочным концепциям. Я не хочу на него давить; вот что-то его заинтересовало: он встает на весы, определяет, выравнивая грузом, свой точный вес, но, закончив, тут же говорит: «И что с того? Весы — просто куски древесины и металла, все это будет помещено мне в живот».

Становится очевидным, что в данных обстоятельствах все ценности, имеющие какое-то отношение к отдельному предмету или к человеку, например, эстетическая ценность, для него не существуют,

он не способен оценивать, не может наделить соответствующим значением. «Посмотрите на эти розы, — говорит он мне, — моя жена считает, что они красивые, а для меня это всего-навсего куча листьев, лепестков, отростков и колючек».

Таким образом, предметы перепутаны и объединены в группы; различия, связанные с их отдельными характеристиками, стираются; выявляется сходство, основанное на его исключительной точке зрения. Он мыслит по аналогии, выявляя подобие там, где мы его обычно не замечаем, поскольку оно не имеет никакого практического смысла, но только не для нашего больного — он придает этому странному подобию очень серьезное значение. Мы живем в доме с тем же номером, что и у здания, в котором расположена клиника, где он находился в течение года; мой карманный календарик такой же, как был у медсестры, которая там работала; и, кстати, я, как и она, хожу по комнате взад-вперед; из этого следует, что здесь применяется та же система, что была в клинике. Ему удастся устанавливать такие подобию с невероятной скоростью; он их обнаруживает даже там, где мы бы и не стали искать. Сегодня 13 июля, канун Национального праздника; на нижнем белье, которое он надевает, вышита цифра 13; она сразу привлекает его внимание, он устанавливает взаимосвязь между этими цифрами; а на его рубашке вышита цифра три, которая входит в состав тринадцати; еще в этом году, как назло, будет три выходных дня из-за «переноса» в связи с 14 июля; все это доказывает, что он сам и его близкие будут казнены в день Национального праздника. Подобных примеров тысячи.

Я считаю, что отношение нашего больного к людям, событиям и предметам согласуется с тем, каким образом мы пытаемся рассматривать его манию преследования, и не может быть сведено лишь к отношению преследуемого к преследователям. В ходе наблюдений я заметил, что он пытается сохранить некоторую общность идей с ними. Я — человек, намеревающийся совершить убийство, и палач, но он от меня не сбегает; наоборот, мое общество для него в некотором роде спасение, так как я знаю те же вещи, что и он, а значит, он может легко говорить о них со мной; если я отсутствовал, он испытывал потребность в общении, чтобы рассказать мне о новых открытиях, которые совершил, пока меня не было. На все возражения с моей стороны он неизменно восклицал: «Ну что же вы! Вам ведь это известно так же, как и мне, даже лучше!»

Теперь у нас вырисовывается концепция. Личный порыв ослабевает, целостность человеческой личности распадается; элементы, из которых она состоит, становятся все более разъединенными, входят

в игру каждый по отдельности; понятие времени разрушается и сводится к понятию последовательности дней, похожих один на другой; отношение к окружающей среде определено феноменом чувственной боли; не остается ничего, кроме «я» самого больного и враждебно настроенной вселенной, противопоставленных друг другу; а между ними вклиниваются предметы окружающей среды; они воспринимаются последовательно; рассудок воспринимает их, превращая людей в преследователей, а неодушевленные предметы — в орудия пыток. Получается, навязчивые идеи больше не являются исключительно продуктами болезненного воображения или нарушения суждения, напротив, они представляют собой *попытку перевести на язык былой психики непривычную ситуацию, с которой столкнулась распадающаяся личность*.

И насколько бы ни был безумен наш больной, нам сложно признать, что в его голове могут возникать столь абсурдные, сумасшедшие идеи, которые он постоянно генерирует. Не является ли это для нашего мышления стимулом предположить, что в основе его идей находится какой-то естественный феномен, измененный в большей или меньшей степени, который вследствие разрушения личности получил непривычную для нас независимость? Больной пытается *объяснить* сложившуюся ситуацию, основываясь на идеях, почерпнутых из его прошлой жизни. И таким образом он дошел до навязчивых идей. Мы же изначально можем изучать этот раскол, воспринимая его идеи буквально и рассматривая их исключительно как искажение воображения и способности суждения.

Но все это только предположения. Однако, возможно, мы сумеем продолжить движение в этом направлении, чтобы понять природу феноменов, из которых складывается психическое расстройство. А пока я хотел бы сделать еще несколько замечаний насчет нашего больного.

У него проявляются мании разрушения. Нужно ли рассматривать идею, зародившуюся в голове неадекватного человека? Разве депрессивное состояние может быть объяснением возникновения таких идей? Ведь последствия печали и моральных страданий, как правило, не порождают настолько чудовищную и ложную концепцию. Возможно, нам удастся приблизиться к истине, если мы допустим, что мания разрушения является всего лишь выражением, в традиционном мышлении, нарушения феномена владения³⁷, феномена

³⁷ См.: Глава IV, § 6.

собственности. Этот феномен является дополнительным элементом нашей личности. Как мы уже говорили, он находится в тесной связи с желанием; мы никогда не желаем того, чем обладаем, а, с другой стороны, осуществление наших желаний тем или иным образом преувеличивает сферу нашего обладания. Желание всегда превышает сферу обладания, сохраняя при этом ее границы. В ситуации, когда личный порыв, а вместе с ним и желание, угасает, перед нами закрывается не только будущее, вместе с этим разрушаются и границы сферы обладания; феномен обладания исчезает, больше нет возможности присваивать себе что-то, он не проявляется как раньше; индивид трактует это расстройство способом, доступным как ему, так и другим, утверждая, что у него больше нет ни гроша³⁸. Мании отрицания, жалобы больных, что у них больше нет желудка, кишечника или мозга, возможно, тоже являются проявлением аналогичной ситуации.

Такая же концепция позволяет развить тему мыслей о виновности. Чтобы разобраться в этом, вновь обратимся к анализу основных феноменов, из которых состоит человеческая личность, ибо полученные в результате такого анализа сведения, кажется, могут пролить свет на то, каким образом возникают подобные идеи. Вернемся к тому, что мы уже обсуждали ранее, вспомнив об ассиметрии между добром и злом. Любая совершенная ошибка, любой неправильный поступок самым непосредственным образом становятся частью нашего сознания, оставляя ощутимые следы; на основании данной точки зрения, они становятся статичными; достаточно просто взглянуть назад, чтобы вспомнить о них. Кстати, единственный смысл всех совершенных положительных поступков и полученных положительных ценностей сводится для нас к осознанию того, что мы сможем поступать более разумно в будущем; такие поступки являются всего лишь этапами, которые мы преодолеваем, чтобы иметь возможность поступать более разумно в будущем. Все наше личностное развитие заключается в желании превзойти уже созданные творения. Но в тот миг, когда жизнь сознания угасает, будущее перед нами закрывается; одновременно значение совершенных в прошлом поступков, которые выполняли эту функцию, исчезает; память при этом остается невредимой, однако там навсегда поселяется и главенствует статичное понятие зла. Наш больной говорит, что он самый великий преступник мира, ему повсюду видятся «угрызения совести».

³⁸ В данном случае будет полезно напомнить, что слово «бедный» имеет также значение «несчастный», даже учитывая тот факт, что бедность вовсе не является причиной несчастья. Жалея кого-то, мы говорим о нем «бедный человек».

Может быть, действуя таким образом, подробнее изучая феномены, из которых состоит человеческая жизнь, однажды мы сумеем лучше понять невероятные проявления психических расстройств. Этой цели мы и собираемся следовать.

4. Неустойчивые включения в личный порыв и отношение «плавного полета» к реальности

Т...³⁹, красnodеревщик 37 лет, находится на лечении в Отделении профилактики психических расстройств под управлением доктора Тулуза уже восемь месяцев. Говорит, что болен около двадцати месяцев. На момент появления первых симптомов заболевания он работал со своим братом в Мулене; однажды он уехал от брата, но отправился не в Париж, где его ждала жена, а в противоположном направлении. В течение четырех месяцев он переезжал с места на место, никому не давая о себе знать. Затем вернулся сначала в Мулен, позже в Париж. Здесь он трижды совершал попытки побега и в конце концов попал на лечение в отделение доктора Лайнель-Лавастин в больнице Лаеннек; ему казалось, что вне стен больницы он неспособен действовать. Позже его госпитализировали в отделение доктора Тулуза.

Он уверяет, что прекрасно чувствовал себя во время побега, однако раскрывает нам подробности своего отсутствия весьма дозированно. С одной стороны, создается впечатление, что он в некотором роде опасается воскрешать эти воспоминания, а с другой — выражается достаточно своеобразно, не очень сдержан и последователен; кажется, он уходит от темы разговора, много болтает, но по сути говорит мало и слишком расплывчато.

Из Мулена он направился в Невер; там снял комнату, повесил на стену карту Франции и составил себе маршрут. Его преследует одно непреодолимое желание — перемещаться с места на место; он испытывает тупую ненависть в отношении Франции, желает уехать за границу, но из-за отсутствия паспорта вынужден отказаться от этих планов. Из Невера он едет в Отён, Дижон, Лион, Макон, Крёзо, в коммуну Экс-ле-Бен. Перемещаясь с места на место, он находит себе работу, благодаря чему удовлетворяет свои ежедневные потребности.

Есть у него и фантастические идеи: будучи уверен, что вскоре произойдет очередная реформа, он проникает в храм, доходит до алтаря и сам себе говорит, что протестантизм должен восторжествовать над католицизмом

³⁹ На основании наблюдений, опубликованных совместно с М.Р. Таргоула (*Encephale*, декабрь 1923).

и сменить его; затем записывает название храма в блокнот. Он наделяет символическим значением цифры 7, 17, 27 и т.д., в связи с чем пересчитывает ступени в храмах. Порой он спрашивает себя, каким образом ему, человеку, не имеющему образования, удастся довести реформу до конца, и сам же отвечает себе, что реформаторы существовали всегда, а он смог бы стать одним из них.

В Экс-ле-Бен, рассматривая отблески электрической лампочки, он задается вопросом: так что же происходит на самом деле? Его не покидает уверенность, что ему заготовили ловушку; к людям он относится с подозрением и считает себя жертвой священников и большевиков.

В Маконе ему показалось, что вода наэлектризована; опустив в воду руки, он почувствовал легкое покалывание, так происходило несколько дней подряд.

В течение этих четырех месяцев у него возникали желания, которых ранее он не испытывал; его очень тянуло к женщинам, особенно в поездках. «Я, наверно, был очень болен, — говорит он сейчас, — раз имел подобные желания». В то же время ему казалось, что его жена находится в Англии, тогда как в действительности она жила в Париже.

Еще до отъезда, в Мулене, его посещали странные мысли. У него случались беспричинные приступы ярости, которые он связывал с наличием потусторонних сил, полагая, что стал жертвой оккультных учений. Он допускал, что в этом замешаны его бывшие свояченицы (сестры его первой жены, одна из которых является женой его брата): они злятся, что он счастлив со второй женой, и, прибегая к оккультным наукам, пытаются разрушить его брак, чтобы отомстить ему.

Все это произошло еще до его госпитализации. Сейчас я хочу описать состояние больного на данный момент.

Во время проведения опроса он спокоен, выглядит серьезным и уравновешенным человеком. В отделении занимается столярным ремеслом, приносит пользу.

Поначалу кажется, что ему удастся избавиться от болезненных идей. По его словам, он понимает, что болен; осознает, что «невротическая депрессия могла стать причиной возникновения столь безумных идей». Вместе с тем ему не дает покоя мысль о страданиях, которые он причинил жене своим побегом. Сейчас у него одно желание — полностью излечиться, поэтому он старается избегать всего, что связано с христианством, так как во время приступа его посетила идея о великой реформе. Но сразу после этих слов он настойчиво попросил нас, причем многократно, подтвердить, что эта идея принадлежит исключительно ему, что мы не предпринимаем ничего против волеизъявлений и мыслей наших пациентов.

Однажды он признался, что «в полной мере не принадлежит себе, не чувствует себя свободным; ему по-прежнему кажется, что он находится в какой-то зависимости, хотя он не знает в какой; о нем слишком заботятся без всякой на то причины, и он не понимает, с чем это связано. Ему не совсем безразличны окружающие вещи. Конечно, его идеи не могут быть правдой, он допускает это, но все равно верит в них и не в силах с ними расстаться». И вновь он просит подтверждения, что все это — «невозможные вещи».

Как-то раз, прямо во время беседы, он раздраженно заявил: «Несколько дней назад я прочел статью о научной полиции; если такая наука в самом деле существует, ее следует немедленно упразднить. Если она направлена на то, чтобы проверить мою нравственность, то моя нравственность вне всяких подозрений». Он по-прежнему опасается, что на него оказывается какое-то влияние; заметив трех или четырех дремлющих людей в метро, он призадумался, уж не под воздействием ли они посторонних сил.

В его случае исчезновение идей и чувства воздействия является далеко не полным. И его поведение, кстати, тоже соответствует сложившемуся положению вещей. Каждое воскресенье он выходит на прогулку, чтобы повидать свою жену, но иногда на улице им овладевает ощущение, что его преследуют и воздействуют на него; испытывая чувство тревоги, он бегом возвращается назад в больницу. А такие «капитуляции», как он сам говорит, причиняют ему немало страданий.

Кроме того, у него случаются приступы ярости. Это «происходит по пустякам», в результате он «переходит границы», как сам говорит, «в силу своего состояния»: например, медбрат слишком громко закрыл дверь, когда он пытался уснуть. Некоторые элементы стадии безумия его болезни обнаруживаются, при более детальном рассмотрении, во время приступов раздражительности. В такие моменты он думает «упаковать чемоданы» и уехать куда подальше, желательно за границу; он признается, что у него случаются нарушения речи, к сожалению. «Никто во Франции не в силах вылечить меня должным образом!» — заявляет он, хотя, в принципе, это абсолютно не соответствует тому, что он думает, так как он доверяет этой службе больше, чем кому бы то ни было в мире.

Вот в таком состоянии он находится на сегодняшний день. Его состояние характеризуется раздражительностью, о которой мы уже говорили, и особым проявлением идей о воздействии; эти идеи, кажется, неглубокие, проявляются в основном в речах и поступках. Перейдем к анализу данного случая. Значительные изменения произошли с нашим больным, когда ему было шестнадцать лет. У него проявилась «мания к путешествиям»;

самое большое удовольствие ему доставляло наблюдение за отъезжающими от вокзала поездами. Затем он поддался своей мании и начал переезжать с места на место. Хочется охарактеризовать его состояние словом «нестабильность», однако оно не может раскрыть суть проблемы, поскольку применимо для описания поведения как страдающих истинной гипоманией, так и сумасшедших. Значит, в первую очередь мы должны разобраться с тонкими различиями. Где же скрывается истинная движущая сила такой нестабильности? Наш больной — человек серьезный и сдержанный; во время всех переездов ему удавалось неплохо зарабатывать себе на жизнь, и, как мы уже могли заметить, в то время он был подчинен высоким моральным принципам. «Если он и путешествовал, то лишь для того, чтобы увидеть что-то более красивое, ведь есть так много чудес, на которые стоит посмотреть. Он посетил замки Луары и выяснил, что они великолепны. Когда мы посещаем исторические памятники, то занимаемся самообразованием. Он никогда много не читал, но ему нравилось обучаться через беседы и поступки. Он услышал о цветочных полях на юге Франции и воспылал желанием поехать туда, чтобы увидеть их. Если бы он был богат, то, скорее всего, совершил бы кругосветное путешествие». Сейчас мы уже лучше можем его понять. Вместо того чтобы применять слово «нестабильность», в котором почти всегда присутствует мнение морали, мы приближаем состояние его психики к нашему. Кто из нас не испытывал желания «уехать куда-нибудь подальше», постоянно двигаться вперед, превзойти то, что у нас уже есть? В этом и заключен истинный подъем нашей жизни. Всякий раз подобное желание легко подстраивается под новые условия, воздействует на них и неизменно придает им новую форму, чтобы двигаться все дальше и дальше.

Точно такое же желание стоит в основе «мании к путешествиям» нашего больного, но здесь мы рассматриваем это желание как лишненное привычных связей, осложненное тем, что все происходит бесконтрольно. Оно больше не подстраивается под реальность стабильно и в соответствии с возникающими потребностями окружающей действительности, а, если так можно сказать, как бы парит над ней, приобретая более конкретную форму в виде материального «еще дальше» — форму путешествия; вследствие этого, оно отклоняется от верного направления и не приводит ни к одному положительному результату. Путешествия наделяются излишне преувеличенной значимостью; мы находим в них нечто наподобие дополнительной нагрузки на личностную энергию; а индивид, задавая таким образом направление своему личному порыву, который, кажется, тоже парит над

действительностью, ощущает ее сильное притяжение. В силу этого возникает необходимость поговорить о воображаемом *неустойчивом включении* в личный порыв. Однако это мнение вовсе не исключает гипотезу существования фактора избегания реальности, который также может стоять в основе мании к путешествиям.

Как бы то ни было, такое нарушение подстраивания под реальность в данном случае становится допустимым. Смутная тоска о дальних неведомых странах обретает для нас какую-то особую привлекательность; мы можем понять желания больного. Разница лишь в том, что это не становится линией нашего поведения.

То, как он интерпретирует причины своих перемещений, скорее всего, является еще одним подтверждением его нестабильного состояния. При этом вся его жизнь, а также и психические расстройства, могут быть объяснены на основании точки зрения, которую мы только что применили при анализе его мании путешествий.

В то же время ему свойственно проявлять значительный интерес к возвышенным идеям религиозного и морального порядка. Он отдалается от католических священников под предлогом, что они вводят в заблуждение доверчивых людей, и окончательно обращается в протестантизм. Огромное значение он придает моральным заповедям и пытается применить их к жизни. Но даже здесь создается впечатление, что чаще всего он парит над реальностью.

Первый раз он женился в 1910 году, подчинившись уговорам брата, сам он не испытывал ни малейшего желания делать это; он мечтал о путешествиях, но брат настоял, и он женился на одной из своячениц. Разочарование наступило очень быстро, так как его жена обладала скверным характером. Он бы расстался с ней незамедлительно, но она была сиротой, и он считал, что не имеет права оставить ее. В 1916 году, во время отпуска, он обнаруживает доказательства измены жены и добивается развода. После этого, через объявление в газете, он начинает переписку с женщиной, которая была старше его на 10 лет. В 1918-м они начали совместную жизнь; сначала она немного сомневалась из-за разницы в возрасте, но ему удалось убедить ее, «так как он ценил в ней лишь душевные качества. Это женщина высокой морали, жемчужина. Он никогда в жизни не был так счастлив. Он любит свою жену и живет только ради нее; если с ней что-нибудь случится, то и он духовно перестанет существовать». Более того, здесь мы сталкиваемся со стремлением не принимать во внимание одни стороны жизни, чтобы, в качестве замены, выделить другие, поднимая их на ту высоту, которая им совершенно не свойственна.

Именно по этой причине и создается впечатление полета над реальностью, о чем мы уже говорили чуть выше.

Аналогичное впечатление создается, когда мы слушаем его разговоры о работе, но в данном случае он отдает себе отчет, хотя бы частично, о состоянии, в котором находится. «Работа — это вся его жизнь, он не смог бы обойтись без нее, даже если бы у него был миллион. Однако он чувствует, что недостаточно хорош в своем деле и испытывает огромное желание стать лучшим, чем сможет удовлетворить самолюбие; он постоянно рассматривает свои творения, это его утомляет, но он слишком любит мебель, которую делает, и не в меру любит ее».

А теперь, размышляя о своей прошлой жизни, он не перестает повторять: «Я всегда парил, моим идеям было свойственно заходить слишком далеко; сейчас я хочу поправиться, пытаюсь опустить мои мысли ниже, в лоно материализма, чтобы они стали более приземленными». Невозможно четче обозначить особый вид расстройства, с которым мы столкнулись.

Комплексность, единство вселенной стоят под вопросом; в сознании у нашего больного образовалась трещина; он считает, что живет в возвышенных сферах, но при этом ощущает, что парит над реальностью, и ему никак не удастся ни достичь ее, ни укрепиться в ней. Кажется, что в его случае существует огромная брешь между «поверхностью» и «глубинным смыслом» вещей. «Да, — сказал он нам однажды, — я бы хотел видеть только внешнюю сторону вещей. Например, в музее я излишне пытался углубиться в их внутреннюю составляющую, чтобы понять, как они сделаны; а мне бы хотелось иметь возможность наслаждаться ими подобно другим людям». Такое состояние также является достаточно символичным. Вид воды его настораживает, но вода завораживает его, когда он пересекает Сену; ему кажется, что его все больше стали привлекать бездна и глубина, особенно с тех пор, как он заболел. У него нет никакого желания броситься в воду, «но он чрезмерно анализирует ее глубину, несмотря на то, что ему хотелось бы видеть только поверхность вещей».

Трещина, о которой мы ведем речь, отразилась и на восприятии им его личной жизни. Можно сказать, что в его сознании она размещается на двух отдельных этажах, дистанция между которыми неуклонно увеличивается; он больше не в состоянии их соединить.

На верхнем этаже главенствуют возвышенные идеи, моральные заповеди, различные мистические концепции, желание обучаться и видеть прекрасное, что и является движущей силой его путешествий,

а главное — идея абсолютного счастья, которое, как ему кажется, он нашел в совместной жизни и в работе. В отношении личности больного такое положение вещей следует трактовать как некое подобие мании величия. Похоже, мы слишком увлекаемся высокими материями, не задумываясь об их прагматичном значении; так же, как все идеи будто бы парят над реальностью, «я — мыслящий объект» избавилось от связей, которые соединяют его со всеми остальными смертными, и теперь тоже парит.

Идеи величия являются конкретной формой, способной доступным путем объяснить такого рода отношения. У нашего больного странные мысли начали появляться во время войны и даже значительно раньше; по его рассказам, они возникали в результате того, какие разговоры велись о нем. Однажды, когда он лег спать, один из унтер-офицеров, проходя мимо него, сказал: «Смотри-ка, а вот и Наполеон — лежит, распластавшись на брюхе». Под влиянием этих слов ростки его безумных идей стали обретать все более и более четкие формы; он решил, что вполне может быть потомком великого императора: его бабушка — незаконнорожденная дочь владельца замка, к тому же Наполеон, скорее всего, сеял свое семя повсюду. Сейчас он признает, что эти идеи были глупыми.

Таким образом, мы рассмотрели только основные сведения фазы психоза: идеи мистического содержания, мания величия, бессмысленные переезды, сформированные в психологическом прошлом больного, оказывается, и заложили ее основы, спустя многие годы выразившиеся в особом отношении к реальности.

Однако мы еще ничего не сказали о его идее воздействия. В данном случае нам снова поможет предположение о «двух этажах», которое мы сформулировали чуть раньше. Больной связывает свои приступы ярости с каким-то странным воздействием на него, исходящим извне; прежде с ним такого не случалось, «так как он был человеком широких взглядов и прекрасно отдавал себе отчет в том, что все вокруг способны ошибаться». С другой стороны, мы видели, что все идеи о воздействии на него связаны с личностью его второй жены. Преследователи злятся, что он счастлив с ней, и, прибегая к оккультным наукам, пытаются разрушить его брак, чтобы отомстить ему. Забавное утверждение, если принять во внимание, что оно абсолютно не согласуется с намерением отомстить, которым он наделяет своих преследователей. Находясь в состоянии психоза, он сам отдалается от жены, будучи уверенным в том, что она находится в Англии; он даже не пытается встретиться с ней. Его счастье, кажущееся ему

абсолютным, возможно, таковым не является. Вспомним также о желаниях, возникших у него к другим женщинам, когда он совершил побег. Он был шокирован ими, так как они совершенно не согласовывались с его моральными принципами, с «движением по прямой, которое он определил для себя». Он возвращался к этой теме многократно. Однажды даже сказал, что девяносто девять из ста мужчин, определенно, поддались бы такому соблазну. «Хотя, добавил он потом, даже поступив неправильно, к примеру, изменив жене, он не должен был бы нести за это ответственность; и винить в этом его болезнь тоже не стоило бы — виной всему воздействие со стороны, которому он подвергся».

В данном случае кажется, что идея о воздействии со стороны относится к реакциям, стремлениям и желаниям, противоречащим, по мнению больного, возвышенным идеям, в согласии с которыми он живет и которым подчинена его личность. Между элементами высшего этажа больше нет родственных связей с элементами низшего, поэтому он отвергает их как несвойственные ему. Больной объясняет все это воздействием на него извне.

Возможно, причина кроется и в излишней внушаемости больного, что он сам признает, связывая дисгармонию в своей жизни именно с этим. «Я всегда был слишком податливым, — говорит он нам, — слишком часто прислушивался к другим, чтобы сделать им приятное, в чем действительно раскаиваюсь». Приведу еще один любопытный факт. Как-то была невыносимая жара, и он пожаловался на усталость. Мы спросили его, не связано ли это с погодой. На что он ответил: «Я не хочу связывать усталость с погодой, потому что в таком случае буду вынужден всегда искать причину моего состояния души в атмосферных изменениях, а значит, стану полностью зависим от этих изменений».

Я только что представил вам комментарии, которые мы добавили к нашим наблюдениям, составленным в 1923 году. Сейчас, мне кажется, их нужно немного подправить. Сведения, касающиеся эмоциональной жизни больного, а также те, что относятся к ее общей структуре, условия, в которых его жизнь протекала, на мой взгляд, не были в достаточной мере дифференцированы относительно друг друга; они слишком перепутаны между собой. *Желать* осуществления каких-то стремлений, не исходящих от нас самих, чуждых нам, которые мы стараемся безуспешно подавить, вовсе не достаточно для того, чтобы *утверждать*, что все это так и есть на самом деле. Между желанием и бредовым утверждением огромная пропасть. В противном случае,

полагаю, мы все были бы под воздействием, в клиническом смысле этого слова. Кроме того, в первую очередь я пытался подчеркнуть особое нарушение личности больного относительно общей структуры; в основе этого нарушения стоят феномены возвышенности и глубины, которые, одержав верх над остальными, отделились больше, чем допустимо, от свойственной им области и, проникнув в повседневную жизнь, нарушили ее привычный ход; помимо прочего, еще усиливается чувство господства, возникшее в силу как внешних событий, так и внутренних стремлений, что объясняется наличием идеи о воздействии. Эмоциональный фактор имеет лишь вторичное значение, он нужен, чтобы в свойственной ему форме дополнить сформированную таким образом общую картину. Что касается общего отношения больного, у него значительно большее сходство с эпилептической конституцией, чем мы считали изначально.

5. Глишироидия

(На основании сведений мадам Минковска)

Психоз, который случается во время психических расстройств, причиной которых является эпилепсия, очень часто обладает мистическими характеристиками. Доктор Бовен обращал внимание на этот вопрос и в статье «Религиозность и эпилепсия»⁴⁰ пытается найти на него ответ: «Почему в эпилептическом психозе всегда есть какой-то мистический аспект?»

Прежде всего, он обнаруживает различие между мистическим психозом больных эпилепсией и религиозной паранойей, а также паранойей, вызванной различными дегенерациями. Выражаясь словами Режиса, в двух описанных выше случаях мы имеем дело с религиозными психозами *тщеславия*; мания величия здесь в высшей степени сформирована; а у эпилептических больных, напротив, к мистическим идеям достаточно часто присоединяются ощущения ущербности и депрессии, что сближает эти психозы по характеристикам с меланхолией. Однако почему же такая депрессия и такое ощущение ущербности склонны к мистицизму?

Господин Бовен дает свое объяснение, придя к нему по маршруту, проложенному Фере и Крепелином: «Достаточно часто встречающийся религиозный, метафизический, мистический признак психозов

⁴⁰ Boven W. *Religiosité et épilepsie*. Archives Suisses de Neurologie et de Psychiatrie, vol. IV, 1919.

большого эпилептического припадка свидетельствует об особой толковательной реакции сознания, спутанного травмами, возникающими во время эпилептических процессов. Ошеломленный впечатлениями от резкой кинестезии, рассудок мечтает о смерти, воскрешая в памяти все связанные с этим идеи, как то: картины погребения либо, например, изображения Бога. Таким образом, формируются подобные экстатические видения, наивные спектакли, напоминающие «чудеса» зрелищ для народа. Порой они действительно являют собой не просто бредовые поступки, а настоящие представления». Далее Бовен переходит к рассмотрению патологической религиозности, которая часто имеет эпилептический признак. Он пришел к выводу, что такая религиозность «основывается на бессознательном опыте, полученном во время припадков (во время ауры — непосредственно перед припадками) и дезориентаций. Такие периодические свидания со смертью, такие сильные страхи, возникающие скачкообразно, такой красочный внезапный бред, все тревожные перипетии оставляют глубочайший отпечаток в душе больного, и, вероятно, мы должны обратить на них особое внимание.

Легко проследить ход этого объяснения. Его отправным моментом является внезапность возникновения эпилептических припадков; картины погребения, изображения Бога, экстатические видения — лишь реакции, возникающие вследствие травматизма, спровоцированного этими припадками; то же самое относится и к «скачкообразно возникающим страхам, периодически наступающим свиданиям со смертью», которые приводят к духовному кризису, пессимизму, связанному с беспомощностью, и к патологической религиозности эпилептического характера; кажется, самая естественная причина всего этого заключается в первоначальном травматизме, который переворачивает с ног на голову всю жизнь больного. Такие объяснения звучат правдоподобно; они основаны на понятных нам механизмах. «Безусловно, — говорим мы себе, — наша реакция была бы именно такой, если бы мы страдали от эпилепсии», и нас удовлетворяют предложенные объяснения. Однако их правдоподобность как раз и должна заставить критическое мышление быть настороже. Можно ли обнаружить в сознании наших больных последовательность идущих друг за другом фактов, которую мы позаимствовали у собственной психики? Действительно ли они замыкаются в своей патологической религиозности, *потому что* испытывают страх из-за припадков, случающихся с ними, находят ли они в этом убежище, естественное облегчение мучений? Мы уже знаем, что нам следует избегать подобных

переносов. В случае наших больных, мы прежде всего сталкиваемся с изменениями психической жизни; и вовсе не обязательно их жизненные феномены будут окрашены так же, как и наши; то, что в нашем случае чаще всего основано на причинной последовательности фактов и эмоций, для больных людей может быть просто *выражением* глубочайших изменений, которым подверглась их психика, возникшем на основании феноменов повседневной жизни; при этом может полностью отсутствовать даже видимость «реакций», которые, как мы предполагали, у них происходят. Так почему же мы все еще ведем речь о «патологической» религиозности эпилептических больных, если все выглядит так, как нам это представляют?

За последние годы клиническая картина эпилепсии значительно расширилась. Вместе с этим серьезным изменениям подверглась концепция патогенеза ее проявлений. И если раньше была тенденция рассматривать в качестве первичных симптомов психического расстройства неожиданные реакции — судорожные кризы, эквиваленты, приступы ярости, побег, сумеречные состояния сознания с психозами и т.п., — то в настоящее время мы все чаще начинаем рассматривать такие реакции как вторичные проявления органического и психического порядка. А основное расстройство, наоборот, представляет собой особый вид замедления и заторможенности. Таким образом, именно с уровнем сознания, на котором проявляются психические нарушения, необходимо связывать психологические особенности, выявленные у эпилептиков как в период самих расстройств, так и во время ясного периода (эпилептическая характеристика).

Исследования, занимающиеся возможностью наследования эпилепсии, необходимо проводить, учитывая такие же основания. Более подробно этим вопросом занималась мадам Минковска. Взяв за основу два полных генеалогических древа, она восстановила и проследила в течение шести поколений, в одном случае — всю нисходящую линию наследовавших шизофрению (семья Ф.), а в другом — наследовавших эпилепсию (семья Б.). Не ограничиваясь исключительно клиническими задачами и наследственной передачей признаков шизофрении или эпилепсии и занимаясь сравнением двух этих генеалогических деревьев, она установила для каждого из них отношение подобия между основными чертами семейного заболевания, а также психологическими и характерологическими особенностями членов семьи, обладающих здоровым сознанием. В результате ей удалось — именно это и должно заинтересовать нас в первую очередь — раскрыть *эпилептическую структуру* (глишроидию), которую можно поставить

в одну группу с шизоидией и синтонией Кречмера и Блейлера и которая раскрывает нам в новом свете патологию эпилептических расстройств. Однако давайте дадим слово самой мадам Минковска⁴¹:

«Если мы начнем рассмотрение семей Ф. и Б. с их далеких предков, то заметим, что и те, и другие жили примерно в одинаковых условиях и принадлежали к одному поколению: предок Ф. родился в 1757 году, а предок Б. в 1761-м. Оба были земледельцами; им принадлежали территории около трех километров. Конечно, нам ничего не известно об их характерах; важным для нас является то, что оба они были больны. Ф. был душевнобольным, а Б. — эпилептиком; в этом и заключается разница между ними; данные заболевания были переданы их потомкам, что отразилось на них не только наличием основных черт психических расстройств и отклонений от нормы, но, постепенно развиваясь в худшую сторону, повлияло на судьбу обеих этих семей.

Чтобы верно подчеркнуть отличия между ними, мы сравним семьи Ф. и Б. по следующим пунктам:

1. Репродуктивная интенсивность; 2. Место проживания; 3. Профессия; 4. Отношения в семье и социальные различия; 5. Типы темперамента.

1. Обе семьи, и Ф., и Б., почти одинаково многочисленны; однако в семье Ф. отмечается серьезная разница в количестве потомков каждой ветви; в то время как у старшего сына предка Ф. мы обнаружили 340 человек, у двух его младших дочерей лишь 10 и 16 потомков; получается, что эти ветви находятся на пути исчезновения; такого разительного различия между ветвями семьи Б. не выявлено.

2. Потомство семьи Ф. выехало из родной деревни и даже из кантона Цюрих, мы установили, что они распространились и по другим кантонам: Базель, Берн, Гривон; целые ветви эмигрировали в Америку. Их ферма продана; хотя у ее последнего владельца было три сына, ни один из них не пожелал стать земледельцем. Большая часть семьи Б., наоборот, до сих пор проживает в той же деревне. И даже если они покидают ее, то стараются туда вернуться. Только несколько человек уехали в Америку.

3. Что касается профессии, немало членов семьи Ф. остались земледельцами, однако многие стали рабочими, коммерсантами, служащими; некоторые выбрали свободные профессии, стали, например, инженерами или техническими специалистами; учителей среди них

⁴¹ Minkowska F. *Recherches généalogiques et problèmes touchant aux caractères (en particulier à celui de l'épileptoidie)*. Annales médicopsychologiques, 1923.

мало. Представители семьи Б. в большинстве своем продолжают возделывать землю, они любят эту работу. Если они все же меняют род деятельности, то в основном чтобы стать педагогами, достигая порой максимальных высот в карьере. Рабочие продолжают трудиться на маленьких заводах в родной деревне. Один из представителей семьи Б. работает ветеринаром, его очень уважают в тех краях; свободное время он посвящает культуре.

4. В семье Ф. очень явные социальные различия: наряду с богачами существуют и те, что живут очень бедно и скромно. Социальный уровень семьи Б. более однородный.

Что касается семейных связей, мы можем заметить шокирующую разницу между членами семьи Ф. и Б. В семье Ф. все связи утрачены; богачи не хотят ничего знать о бедных; те, кто добиваются чего-то, забывают родителей, оставшихся в тени, которые, в свою очередь, с ненавистью и ревностью говорят о детях. Как часто мне приходилось слышать: «Мы бедные, но прекрасно себя чувствуем, они же богаты, но при этом больны» (что, кстати, соответствует правде). Они совершенно не интересуются своим генеалогическим деревом, более того — отстраняются и отрицают родственные связи; проживающие в Германии двоюродные братья и сестры даже не знакомы между собой. Чтобы добиться от них хоть каких-то сведений, в общении с ними приходится хитрить и вместе с тем быть дипломатом, дабы не ранить их самолюбие.

Как разительно отличаются от них члены семьи Б.! Они относятся к нашему исследованию с большим интересом, хорошо разбираются в родственных связях и принимают самое активное участие в составлении генеалогического древа. Они дружны, часто видятся и приходят друг другу на помощь. Это не зависит от социальных различий. И даже живя далеко друг от друга, они пытаются видаться хотя бы время от времени.

В общем, можно сказать, что в силу обозначенной в семье Ф. тенденции отделяться от своего круга социальная разница между членами семьи возросла еще больше. Тогда как члены семьи Б., наоборот, уравнивают эти различия по причине свойственной им эмоциональности. Представитель семьи Ф. прежде всего стремится утвердить свое «я»; тем самым он разрушает семейные связи. А для представителя семьи Б. личностный критерий уходит на второй план, в первую очередь он ищет поддержки в своей семье.

5. Что касается темперамента, то в семье Ф. можно выявить огромное количество различных его типов; создается впечатление, что перед

нами нечто разрозненное, какая-то рассыпавшаяся мозаика. В семье Б. все в основном однотипные.

В своей книге «Строение тела и характер. Исследования по проблеме конституции и теории темпераментов» («*Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten*») Кречмер говорит: «Шизоидные больные обладают особым типом темперамента, который характеризуется скачками, активная линия этого темперамента не волнообразная и округлая, как при синтонии, а обрывистая и неровная». Эта линия очень хорошо представляет нам в виде схемы изменения и судьбу семьи Ф.; в данном случае возможны любые скачки и неожиданности.

Теперь рассмотрим семью Б.; здесь мы сталкиваемся с удивительной последовательностью, никаких скачков, но, кроме того, отсутствуют и волнистые округлые линии, отмечается особая устойчивая связь: они не выходят за пределы своего окружения, сконцентрированы вокруг семьи, профессии и родной земли.

Если я попытаюсь составить изображение семьи Б., у меня создастся впечатление, что я имею дело с чем-то постоянным и стабильным; нет ни скачков, ни колебаний, однако отмечается сгущение и сосредоточение эмоциональных факторов. Мне на ум пришло такое сравнение: я представляю себе линию, которая идет параллельно поверхности земли, кое-где эта линия прижата к земле гириями, мешающими ей двигаться в унисон с окружающей средой.

Сейчас в качестве примера я бы хотела привести несколько типичных представителей семьи Б.

К примеру, рассмотрим поближе личность ветеринара, о котором мы уже говорили: это воспитанный и образованный человек, он хорошо разбирается в своем деле, занимается им очень ответственно; прекрасный отец и муж.

Он охотно предоставляет все сведения, которые у него запрашивают; его описания точные, правда, зачастую он задерживается на деталях и проходит мимо выдающихся особенностей; с другой стороны, нравственная оценка людей всякий раз подчеркивается заново; он хочет выполнить свою задачу и, находясь под влиянием этой миссии, исключает из рассказа яркие краски. Он скромный и не пытается привлекать к себе внимание, при этом его голос невольно становится более торжественным, и в конце концов создается впечатление, что он уже не предоставляет никаких сведений, а обучает нас чему-то.

Он прекрасный муж, но заботы, связанные с выполнением трудовых обязательств, порой заставляют его забывать о том, что жена

нуждается в отдыхе и развлечениях; он любит своих детей, дает им много свободы, в нем нет ничего, что могло бы характеризовать его как деспота, однако, навязывая всем идею обязательств, он слишком часто испытывает нехватку времени, чтобы уделить внимание тем, кто чувствительнее и слабее его...

Сестра наших испытуемых⁴², чья мать страдала эпилепсией, на своих братьев совершенно не похожа; она вовсе не считает себя великой, как они все, уже много лет трудится домработницей в одной семье, очень ответственно выполняет свои обязанности, хотя и довольно медленно; хозяева дома, где она работает, ценят ее за преданность и считают чуть ли не членом семьи; она единственная из всех братьев и сестер по-прежнему привязана к семье, во время отпуска навещает родителей; все вокруг зовут ее «милая» Алин; хочу еще раз обратить внимание на то, что у нее нет ничего общего с братьями и сестрами.

Другой представитель семьи Б. — простой крестьянин, который каждый день работает в поле, а вечером с интересом читает газету, чтобы оценить события политической жизни с этической точки зрения; лейтмотивом для него является идея о мире на всей планете.

Один из членов семьи болен, сейчас он идет на поправку после кататонического приступа, у него еще отмечается параноидальное поведение, но, с другой стороны, его очень заботят сироты войны, он их считает жертвами несправедливой судьбы и, несмотря на свой скромный достаток, жертвует этим детям немалые суммы денег. Чувствуя себя преследуемым, он пафосно рассуждает о призвании врачей, легко переходит от недоверия к благодарности и выражает им свою признательность.

Рудольф Б. совсем молодым уехал в Тироль, стал там старшим мастером на заводе. Члены его семьи говорили, что он был впечатлительным человеком, давал волю эмоциям, часто балансировал между депрессией и неистовым возбуждением, а также любил читать, особенно поэзию, и очень интересовался проблемами возвышенного плана. Он тяжело перенес смерть жены, был так потрясен, что на некоторое время пришлось определить его в клинику в Тироле.

Нам удалось найти Рудольфа Б. в удаленной деревне где-то в горах поблизости от Тироля. Он встретил нас достаточно сдержанно

⁴² Нашими испытуемыми были брат и сестра из семьи Ф., которые уже не раз находились на лечении в клинике в Цюрихе, так как страдали от периодически возникающего шизофренического психоза. Их мать была из семьи Б., она, в свою очередь, страдала от эпилепсии.

и с недоверием, но постепенно, под влиянием нахлынувших воспоминаний, пошел на контакт с нами. Начав говорить, он уже не мог остановиться, не пропускал ни одной детали, не обращая внимания на внешние раздражители; сюжет его рассказа — он сам; когда мы прощались, он так сильно сжимал наши руки, не желая отпускать, что, казалось, просто не может расстаться с нами.

Мы встретились с ним на следующий день, от его подозрительности не осталось и следа, поскольку теперь ему уже была известна цель нашего визита. Он говорил с нами о своей жизни, о том, что ему пришлось перенести как единственному протестанту в католической деревне, описывал, хотя и немного сбивчиво, содержание своих снов и видений, наделяя их пророческим значением, упомянул и болезнь нервов, которая довела его до лечения в психиатрической клинике Инсбрука.

Во время беседы им овладели эмоции, с нежностью он рассказывал о родной деревне, о своей семье. Когда мы уходили, у него в глазах блеснули слезы, он прощался с нами, как если бы мы были его родней.

Такое поведение имеет отпечаток эпилептических признаков. В истории болезни с диагнозом «амения», которую нам выслали из лечебницы в Инсбруке, содержалось подробное описание синдрома, напоминающего сумеречное состояние сознания эпилептического происхождения, а также было указано, что в прошлом у больного отмечались раздражительность, импульсивность, вспышки гнева и неустойчивое поведение.

Вот такие факты мы выявили у представителей семьи Б.

По словам Блейлера, шизоидия слишком оторвана от окружающей среды, синтон делает это в достаточной мере, а эпилептиформный синдром — в недостаточной.

В заключение можем сказать, что такое нарушение подвижности, эмоциональное сплочение, подобная неспособность оторваться от своего окружения существовали в ходе всего развития семьи Б., все это сводится к эпилепсии. Здесь мы не видим ни скачков, ни серьезных социальных различий, как в семье Ф.; члены семьи Б. не создают ничего нового, не проявляют никакой инициативы, они уже привязаны к тому, что имеют: с любовью возделывают свою землю, сберегают традиции и тем самым придерживаются в жизни непрерывной линии, которая идет от их предка и до прапраправнуков, которые и 17 лет спустя живут в той же деревне и в тех же условиях.

Теперь давайте подытожим сказанное, чтобы сделать некоторые выводы, как практические, так и теоретические.

Наше исследование позволило обнаружить один чрезвычайно важный факт: наличие в семье, где были выявлены случаи эпилепсии, индивидов, у которых не проявляются никакие клинические расстройства, отличается исключительным признаком.

Скорее всего, этот признак и представляет собой истинный фундамент возникновения основных проявлений эпилепсии. Кроме того, вероятно, он является выражением особого биологического образования, которое, в свою очередь, создает предпосылки для судорожных припадков. Предварительно я охарактеризую таких нормальных индивидов, по аналогии с шизоидией и синтонией, термином *эпилептоидия*⁴³.

Чтобы разделить эти понятия между собой, за отправную точку я считаю нужным принять то, насколько индивид может быть эмоционален.

Здесь речь идет о направленной болезненной эмоциональности, сгущающейся, сжатой, затянутой, которая легко присоединяется к предметам окружающего пространства, но не отделяется от них так же легко, когда того требуют изменения среды; она больше не подчиняется движению пространства и, если можно так выразиться, всегда опаздывает. Эпилептоид же преимущественно является существом эмоциональным (в чем его отличие от шизоида), однако эта эмоциональность характеризуется тягучестью и отсутствием движения.

Испытывая сложности с тем, чтобы двигаться в унисон с остальными людьми (как делают синтоны), эти индивиды чаще всего концентрируют всю свою эмоциональность на предметах, отсюда такая любовь к порядку; с другой стороны, не имея возможности тратить силы на то, чтобы охватить всех людей, они концентрируют свою эмоциональность на объединениях людей (таких, как семья или страна), а также на идеях, имеющих общее значение, сентиментальный или мистический оттенок (как, например, мир во всем мире, религия); в их отношениях с себе подобными индивидуальная составляющая ослабевает, преобладает моральная оценка; не отдавая себе в этом отчета, они ведут себя так, будто выполняют некое нравственное поручение или являются посланниками какой-то религии.

В интеллектуальной сфере эти люди слишком медлительны, они задерживаются на деталях, но теряют из виду основное; их не привлекают изменения и новинки; им нравится все стабильное и длительное;

⁴³ Термин «эпилептоидия» приводил к подмене понятий, поэтому мадам Минковска предложила использовать другой термин — *глишроидия*, образованный на основе греческого слова «glischros», что значит «тягучий».

они трудяги, но совершенно безынициативные, не создают ничего нового; они трепетно хранят все традиции и представляют критерии стабильности и консервативности, в положительном значении этого слова.

Если немного преувеличить, то можно сказать, что их черты характера способны привести к возникновению патологической брадипсихии (Дюкосте), к болезненной и навязчивой эмоциональности и в конце концов к эгоцентризму (что происходит в тех случаях, когда эмоциональность направлена на собственную личность индивида как на самый близкий ему объект, которому нужно минимальное количество усилий для адаптации); при этом они никогда не становятся эгоистами, в прямом смысле слова. В силу своей слишком мягкой и навязчивой эмоциональности они часто создают впечатление неискренних людей, хотя в действительности таковыми не являются.

Эмоциональность, все более и более навязчивая, сопровождаемая возрастающей брадипсихией, все меньше и меньше следует призывам, поступающим извне; достаточного ослабления нагрузки не происходит, что в конечном итоге приводит к настоящему *стазу*; он, в свою очередь, создает для человека напряженную атмосферу, перегруженную энергией, атмосферу, в которой невозможно дышать. Вследствие этого возникают гром и молнии. Стаза влечет за собой разрядку, сравнимую с взрывом, перед которой индивид совершенно беспомощен: эта разрядка поглощает его полностью, внезапно и грубо, что приводит к помрачению сознания, характеризуется особой внезапностью и жестокостью; *замедление переходит в возбуждение*; случаются приступы ярости, импульсивные поступки, побеги, длительные сумеречные состояния сознания, которые сопровождаются наступлением глубокой подавленности, психозом безличностной природы, видениями, мистическими идеями и экстатическими состояниями; на основании всех этих черт можно легко выявить сходство с эпилептоидией».

Вот такое описание дала мадам Минковска. То, что я так широко представил ее исследование, вовсе не бессмысленно. В нем шла речь о том, чтобы нарисовать как можно более живую картину глишроидии, а эта картина не могла быть создана без всех приведенных выше фактов. Ни один индивид или какая-то черта характера не позволяют нам получить точное представление о ее формировании. Мы воздержимся от того, чтобы посчитать какого-то человека эпилептоидом лишь по причине его привязанности к родной земле или потому, что, возвращаясь вечером с работы, он читает газеты, интересуется проблемами

мира на всей планете и не эмигрировал в Америку. Только проследив весь ход развития семьи Б., а также ее судьбу и особенные черты некоторых ее представителей, как имеющих заболевания, так и здоровых, мы сможем составить характерологический шаблон этой семьи.

Такой шаблон связывает воедино патологию и норму и отдаляет нас от взрывных реакций. Все это сейчас выглядит как результат общей заторможенности, которой можно охарактеризовать образ существования epileптоидов и epileптиков. Учитывая данные обстоятельства, мы не станем, как это делали все авторы, на чьи работы мы здесь ссылались, считать причиной таких взрывных характеров ни религиозность, ни мистический аспект психозов, часто встречающихся у людей, которых можно отнести в эту группу.

Однако, если мы полагаем, что это вовсе не взрывные реакции, а скорее всего заторможенность характера, характеризующая поведение всех epileптоидов, не перестанет быть правдой и то, что религиозность в данном случае, как минимум при первичном рассмотрении, становится вторичным феноменом. Если за точку отсчета принять эмоциональное отношение, учитывая, что мы определили его относительно epileптоидов как сгущающееся, сжатое, затянутое, окажется, что эмоциональность «неспособна действовать в унисон с остальными людьми, так как почти всегда направлена на предметы (любовь к порядку), на объединения людей (например, семья и страна), на идеи, имеющие значение для всех, с сентиментальным или мистическим оттенком (такие, как религия или идея мира во всем мире)». Создается впечатление, что эта последовательность принципиально отличается от той, которую когда-то составил г-н Бовен. Здесь больше не идет речь о тяжелом, болезненном «приобретенном опыте», оставляющем в душе больного глубокий след, вынуждая его искать убежище, что выражается в возникновении мистических и религиозных идей; здесь больше не идет речь о человеческом уравнивании, если можно так выразиться. Все происходит совсем по-другому; именно сама эмоциональность, с учетом ее особенностей, цепляется, мне даже хочется сказать *механически*, за все то, что ей кажется самым лучшим: предметы, объединения людей, идеи, имеющие значение для всех, и т.д. ...

В психике epileптоида между ее особенностями, выделенными здесь как исключительные, нет никакой последовательности, в прямом смысле этого слова. И дело вовсе *не в том*, что epileптоиды не способны действовать в унисон с себе подобными, к чему постоянно стремятся epileптики, а *в силу того*, что преимущественно

все они существа эмоциональные и пытаются закрепить свою эмоциональность на каких-то предметах или идеях. Мы попробуем, без нежелательных последствий, изменить это суждение на противоположное. Все характерные для эпилепсии черты образуют неделимое целое. А значит, мы не можем наделять каким-то приоритетным значением эмоциональность, как не можем и слишком отделять ее от самого живого существа, то есть от всего набора жизненных феноменов, образующих, как мы уже знаем, единое целое. Именно эта своеобразная отличительная черта шаблона эпилептоида оказывает влияние на все индивидуальные способности, определяющие *особые рамки*, в которых протекает жизнь такого человека.

Похоже, нам снова удалось привести все к одному «знаменателю», к рамкам, к *особенной структуре*, различные черты которой, какими бы они ни были, являются всего лишь частичными признаками, всего лишь *выражением*. Изначально необходимо было разобраться, что собой представляют эти рамки, чего прямо сейчас мы сделать не можем. Но мы как минимум предполагаем, где и как их искать. Если мы отнесем синтонию к витальному контакту с реальностью, а для шизоидии найдем что-то напоминающее прототип критерия потери личного порыва, значит, таким же образом можно поступить и с эпилептоидией. Впрочем, мы еще далеки от этого, как я уже сказал. Однако, возможно, функция остановки, о которой мы говорили чуть раньше (Глава III, окончание § 1), позволяет нам «остановиться на чем-то» в жизни, являющейся постоянным движением и потоком, возможно, именно она и обнаруживается здесь.

6. Психический автоматизм доктора де Клерамбо

В силу своей оригинальности работы доктора де Клерамбо на тему психического автоматизма занимают одно из ведущих мест в современной психиатрии. Его исследования касаются систематических хронических галлюцинаторных психозов. Хронические бредовые состояния, описанные Маньяном, обычно также рассматривают как тип психозов этой группы. В соответствии с классическим описанием хроническое бредовое состояние проходит четыре периода: 1. период возникновения изменений характера (раздражительность, пессимизм, ипохондрические мысли) и возникновения бредовых толкований, связанных с манией преследования; 2. период, связанный с возникновением галлюцинаций и систематизацией бредовых идей; 3. период, во

время которого возникает мания величия; 4. период слабоумия. Давайте не будем задерживаться на деталях и выделим в этой классической концепции два пункта: 1. бредовые идеи *возникают раньше*, чем галлюцинации, хотя последние достаточно часто рассматривают как более ярко выраженный признак психического раскола; 2. мания величия является *логическим* последствием мании преследования; больной, в силу *причинной потребности*, пытается объяснить ненормальную ситуацию преследования, в которой он является мишенью, и обнаруживает удовлетворяющее его объяснение: должно быть, он — лицо первостепенной важности, особенно с того момента, как против него действует целая секретная организация.

Гаэтан Гасьян де Клерамбо, чьи работы стали продолжением трудов доктора Сегла, значительно поспособствовал изменению концепций патологии этих психозов. Он выделил «психозы, состоящие в основном из автоматических поступков».

Слово «автоматизм» часто вызывает непонимание. Обычно автоматическими мы называем действия, которые часто повторяются или представляют собой навыки, передаваемые из поколения в поколение, в силу чего происходят без контроля нашего сознания; таким действием, например, может быть исполнение музыкального произведения, выученного наизусть, по крайней мере, в отношении того, что касается психомоторных характеристик. Подобный автоматизм является *психологическим*. В прямом смысле, у него нет ничего общего с *психическим* автоматизмом доктора де Клерамбо. Автоматизм, о котором он говорит, — исключительно психиатрическое понятие. Он рассматривает феномены патологического сознания; в отличие от обычной ситуации, оно уже не способно подчинить себе то, что принадлежит ему по умолчанию, и все это будто бы происходит независимо от сознания, а значит, в каком-то смысле «автоматически», что само сознание связывает с внешними причинами. Таким образом, мы подошли к патологическим феноменам галлюцинаторного феномена повторения вслух своих мыслей или полета мысли, проговаривания действий, внутренних диалогов, моторных галлюцинаций, ощущения воздействия со стороны и т.д. Перечисленные симптомы наиболее часто встречаются, когда необходимо объяснить психический автоматизм, как минимум его психологический аспект.

Кстати, в концепции доктора де Клерамбо этому аспекту не отведено главенствующее место. Доктор де Клерамбо является сторонником органицизма. Не важно, читаем мы его работы или слушаем выступления, основная часть его теории имеет направленность,

относящуюся исключительно к органицизму. По мнению доктора де Клерамбо, психический автоматизм является запоздалым осложнением каких-то инфекций или интоксикаций, произошедших ранее, проявлением «систематического и острого поражения» нервных клеток; одним из основных преимуществ своей концепции он считает то, что она дает возможность включить психиатрический синдром психического автоматизма, а вместе с ним и психозы, для которых этот синдром является отправным пунктом, в рамки неврологии и общей патологии.

Однако концепция органицизма доктора де Клерамбо этим не ограничивается. Как только произошло первичное расстройство, возникшая на его фоне вторичная идеация не связана, как минимум в большинстве случаев, с размышлениями испытуемого. Безусловно, предварительно выявленные у больного наклонности, формирующие его «первичную личность», например, параноидальные, в значительной мере содействуют тому, чтобы превратить его в сумасшедшего, а более конкретно — в одержимого; в данном случае имеется в виду реакция «рассуждающего рассудка, достаточно часто не затронутого феноменами, возникающими в его бессознательном». В соответствии с установленными ранее характеристиками, мы выделяем различные виды психозов (манию преследования, манию величия, эротоманию, мистический бред и т.д.), которые присоединяются, в зависимости от больного, к одному и тому же первоначальному расстройству, представленному, как мы уже знаем, психическим автоматизмом. Однако мы не должны подобным образом приравнять к таким реакциям, конкретно определенным характеристиками первичной личности, любые патологические идеации, которые у данного человека случаются; наоборот, основная часть этих идеаций формируется точно так же, как и первоначальное расстройство, *механически* в бессознательном (органическом), то есть напрямую, через поступательное поражение нервных клеток «проявляя себя в сознании, и только в конечном результате организовываясь и соединяясь, что является непредвиденным в натуральной форме, но навязчивым по характеристике. Итак, наряду с самим мыслящим больным, существует еще и автономная целостная идеация, которая развивается таким образом, что мы можем назвать ее *опухоловой*». Такая идеация в полной мере относится к «вторичной личности», состоящей, если можно так сказать, из всех деталей, возникающих в результате патологического процесса неврологической природы. Получается, что «на этом этапе бредовая идеация события теоретически может разделяться на две части: одна — личностная, реактивная и не

патологическая, а вторая — патологическая и нередко антагонистическая. Первая является реакцией на различные автоматизмы, тогда как вторая — *автоматизм в полном объеме*». Отсюда вытекает, что формирование мании преследования на самом деле не является результатом параноидального формирования, о котором шла речь; если мы будем рассматривать ее исключительно в плоскости движущегося вперед развития органических процессов, окажется, что она неизбежна. Однако «идея, возникшая таким образом, не наносит глубоких изменений характеру и не является достаточной, чтобы на ее основании возник *максимально*⁴⁴ преследуемый. В том случае, когда в результате мании преследования ненависть доходит до максимума, параноидальный характер, как врожденный, так и приобретенный, опережает психический автоматизм, а галлюцинаторные расстройства придают ему энную силу, и не только потому, что предоставляют больному рациональные мотивы для жалоб, но и по той причине, что постоянное взаимное влияние характера и голосов вносит в характер, в различных формах, все то, что голоса навязали ему».

Изначально у меня было желание подробнее рассмотреть концепцию доктора де Клерамбо и в деталях представить все то, что он говорит о формировании вторичной личности, о взаимообмене между обеими личностями, о последовательном мыслительном усложнении исходного психического автоматизма, но это увело бы меня слишком далеко. Настало время вернуться к моей собственной теме, а также объяснить, почему я посчитал нужным обратиться к исследованиям доктора де Клерамбо.

Как я уже говорил чуть раньше, доктор де Клерамбо — органицист. Для некоторых этого уже достаточно, чтобы недооценивать значение его мыслей. Используя одно-единственное слово «материализм», они могли бы опровергнуть всю его деятельность. Другие, наоборот, с помощью того же слова могли бы оценить его по заслугам. Что касается меня, обе эти оценки кажутся мне поверхностными. Я не являюсь приверженцем органицизма и не разделяю идеи, вдохновлявшие доктора де Клерамбо; угол, под которым я изучаю психические расстройства, совершенно другой. Однако я не мог остаться равнодушным к его исследованиям, они оказали на меня огромное влияние; его слова словно эхом отзывались во мне. Но откуда возникло это чувство, немало удивившее меня поначалу?

Прежде всего я должен сказать, что любая проблема, сформировавшаяся на основании психических расстройств, как, впрочем, и на

⁴⁴ Выделено мной.

основании проявлений нормальной психики, вовсе не кажется мне понятной, и не столько из-за необходимости выбирать между органо-генезом и психогенезом, сколько из-за того, каким образом вообще зарождается эта проблема. Ни органо-генез, ни психогенез, ни, частично, и их так называемое слияние, меня не удовлетворяют, а, скорее, создают столько же вопросов, сколько есть возможностей ответить на них, учитывая имеющуюся точку зрения. Как уже говорилось, я не органицист; но это отнюдь не значит, что я объявляю себя адептом психогенеза, как минимум в привычной для нас форме. Шоки, травмы, конфликты, даже вменяемые в вину, до сих пор кажутся мне неясными концепциями. Порой доходит до того, что я сам себе задаю вопрос: что, если все понятия, которые заведомо приняты за парадигму, будь то столкновение тел либо каких-то двух противоположных сил, являются чем-то другим, а не «материализацией» психической жизни и не выражением врожденных наклонностей, подчиняющихся любой силе каузального принципа? Нередко, когда я сталкиваюсь с так называемыми психогенетическими теориями, у меня создается впечатление, что эти теории являются «материалистскими» в большей степени, чем даже самый экстремальный материализм.

Чтобы отдельно подчеркнуть неточности, существующие в этой области, возможно, будет полезным вспомнить, что любой спиритуалист, каковым, например, был Морис Миньяр, именно в уже случившемся воздействии неврологических механизмов на нашу психическую жизнь (органопсихическое воздействие, которое бывает в патологических случаях), видит концепцию, лучше всего сочетающуюся с духовностью души, тогда как психоанализ, причисляющий себя к психогенезу, находясь под гнетом принципа универсального детерминизма, приводит, в таких концепциях общего плана, к экстремальному психологическому материализму.

Кроме того, необходимо более глубоко проанализировать феномен «генезиса». Действительно, что значит генезис в отношении психических феноменов? Я не смог бы, признаю это, ответить на данный вопрос, однако считаю, что могу, как минимум какое-то время, не заниматься этим. Пока же я попытаюсь проникнуть в суть, исключительно в настоящем, основных характеристик психических расстройств, но отложу на потом, если мне представится такая возможность, изучение законов, которые управляют их последовательностью во времени. Таким образом, сейчас я могу не учитывать противопоставление органо-генеза и психогенеза и, освободившись от этой нагрузки, свободен выявлять точки соприкосновения там, где считаю нужным. На основании этого,

работы доктора де Клерамбо предоставили мне намного больше тем для рассуждения, чем все так называемые психогенетические теории.

В концепции доктора де Клерамбо классическая формула, как он сам говорит, изменяет направление на обратное. Навязчивая идея, обусловленная механическими причинами или выражающая заранее установленные наклонности, в любом случае играет лишь вторичную роль. «Идея, управляющая психозом, не является образующей, несмотря на положения общей психологии, подтвержденные классической психиатрией». Наоборот, это комплекс симптомов, которые все вместе и образуют синдром психического автоматизма, или, как еще мы можем его называть, синдром Клерамбо, представляющий собой исходное расстройство. В данной группе психозов, с патогенетической точки зрения, можно выделить две категории фактов: «а) основной факт, это и есть психический автоматизм; б) вторичное умственное построение, только оно и заслуживает того, чтобы называться психозом». А хроническое бредовое состояние Маньяна, которое до настоящего момента рассматривалось как один из типов систематических галлюцинаторных психозов, по сути является обычным психозом *смешанной формы*, возникшим в результате симбиоза двух категорий фактов, о которых шла речь.

В этой концепции наше внимание особенно привлекают два пункта: существование *исходного расстройства*, основополагающего синдрома для целой группы изучаемых психозов, с одной стороны, и развитие, которое выражается в последовательном мыслительном усложнении, *не зависящем*, как минимум в большинстве случаев, *от сознательной рассудочной деятельности* испытуемого — с другой. Мы попытаемся сформулировать, как эти идеи согласуются с нашей методикой изучения психических расстройств в виде абстракции, составленной на основе идей органицизма. Давайте начнем со второго пункта.

Здесь мы видим, что главным образом сокращается роль, которую играет в процессе возникновения навязчивых идей логическое рассуждение или каузальная потребность больного. Это соответствует имеющимся данным. Мы напрасно говорим себе, что меланхолический психоз объясняет причины патологической депрессии, которые либо неизвестны больному либо, как в случае бредового состояния у Маньяна, больной начинает считать себя важной персоной, уверовав в то, что является объектом непрекращающегося преследования; эта гипотеза вызывает немало сомнений. Нас не убеждает, что у больных могут быть подобные умозаключения; к тому же, если бы каузальная потребность была основанием для возникновения навязчивых идей,

тогда эти идеи легко поддавались бы логическому аргументированию и, вследствие этого, изменениям, а не становились бы, как происходит в действительности, не подлежащими изменению. По сути, обращаясь к каузальной потребности, все эти концепции говорят нам, как вел бы себя *нормальный* человек, если бы столкнулся с расстройствами, которые бывают у больного; кстати, эти концепции не пытаются проникнуть в особенности психической жизни больного. Здесь будет интересно вспомнить факт, на который обращал внимание Блейлер: порой мы настаиваем на том, чтобы ограничить у больного проявление навязчивых идей; в таком случае мы можем общаться с ним как с человеком, обладающим здоровым разумом, и легко сумеем заставить его отказаться от ошибочных толкований, тогда как сам психоз остается недостижимым для всех логических доводов. Кроме того, нам кажется неудобным, особенно когда мы сталкиваемся с двумя видами меланхолической депрессии, одна из которых является психозом, а вторая нет, признать, что это различие существует, так как вторая обладает более развитой каузальной потребностью по сравнению с первой. Любая попытка сократить значение этой «каузальной потребности» до строгого минимума уже кажется нам действительным прогрессом. Исходя из таких воззрений, нас и подкупили идеи доктора де Клерамбо. Однако он считает, что навязчивые идеи возникают, хотя бы частично, механическим образом в бессознательном и внезапно появляются в какой-то момент в сознании. В данном вопросе мы его не поддерживаем. Поскольку мы, прежде всего, пытаемся постичь основные черты патологического сознания в настоящем, то для нас не может быть и речи о том, чтобы искать медленное и постепенное развитие болезни и ее различных симптомов; развитие нас интересует только в тех случаях, когда оно идет, так сказать, поэтапно, а каждый этап имеет видимые отличия от предыдущего, и мы можем допустить, что он основан на особой структуре, отличающейся от предыдущей. Патологическое изменение способно, не изменяя при этом характера, достигать новых жизненных феноменов; оно их изменит, и тогда больной, испытывая потребность не объяснять, а каким-то образом *выразить* это изменение, говоря языком стандартной терминологии аффективных расстройств, формулирует навязчивые идеи, которые не подлежат изменению и недоступны для разума. Данная проблема будет заботить нас по ходу всей этой работы; сейчас мы ограничимся лишь некоторыми замечаниями. Здесь я хочу сказать: если бы доктор де Клерамбо исключил из своих объяснений каузальную потребность и при этом утверждал, что «личностные

психоаффективные совокупности, действующие в настоящее время, или прошедшие, являются лишь вкраплениями» в психозы, я был бы с ним полностью согласен. Однако причины, в силу которых мы используем этот образ мыслей, различаются: в его понимании, речь идет о «включениях в неврологический процесс», а для меня — это прежде всего включение в созданные болезнью особые рамки психической жизни, характеристики которых еще нужно определять. Мы оба — противники так называемого психогенеза, превращающего психоаффективное содержание в «роман», в *primum movens* жизни, материализуя его по собственному желанию.

Вот почему исследования сторонника органицизма, коим является доктор де Клерамбо, столь притягательны для меня.

Точно так же происходит и в случае исходного расстройства. Пытаясь превратить его в гистологическое расстройство, де Клерамбо самым естественным образом отделился от всего, что может быть рассмотрено в качестве темы и идеи. Именно по этой причине, кстати, например, слуховые галлюцинации, попросту говоря, голоса, относящиеся к каким-то объектам, индивидуализированные и связанные с какой-то темой, для него уже являются феноменами запоздалыми, возникающими в конце психического автоматизма. Он продвигается дальше и, похоже, удовлетворяется, только когда ему удастся добраться до более простых расстройств, таких как отрывистая речь, пропускание слогов, поток слов, абсурд и бессмыслица; дело в том, что полное отсутствие тематической организации первичных феноменов психического автоматизма, кажется, указывает на то, что они являются причиной возникновения гистологического процесса, вызывающего раздражение. Элементарные галлюцинации могут объединиться только постепенно, чтобы впоследствии стать мыслительными и тематическими.

Однако для нас крайне важно, что отдельно был выделен один фундаментальный синдром, существующий независимо от его рассуждений, и что в данном случае мы сталкиваемся не с неврологическим больным, а все-таки с больным «психически». С этого момента он подходит для наших психопатологических исследований. Был ли он прежде просто неврологическим больным или нет, нам совершенно неинтересно. Какими бы увлекательными ни были неврологические концепции, одно психическое заболевание мы отличаем от другого лишь по психическим признакам и именно на основании этих признаков пытаемся проникнуть в особую структуру патологического сознания, которая их обуславливает. Только переместившись в эту плоскость, я смог в полной мере осознать значение работ доктора де Клерамбо. Он не

останавливается на каком-то одном симптоме, его концепция хронических галлюцинаторных психозов основана на фундаментальном *синдроме*. А все симптомы, которые (начиная с определенного момента) характеризуют этот синдром, такие как эхо, захват или полет мысли, проговаривание действий, внутренние диалоги, моторные галлюцинации, ощущение воздействия со стороны, далеки от того, чтобы представлять собой возможное соединение несвязных признаков; кажется, что они в большей степени образуют единое целое, нежели являются различными проявлениями одного базового изменения человеческой личности. Уточнить это изменение — и есть наша цель. Работы доктора де Клерамбо во многом способствовали прояснению этой проблемы. Однако мы еще очень далеки от ее решения. Тем не менее, начиная с этого момента, мы можем утверждать, что все проявления синдрома Клерамбо, состоящие из частей, имеют одну общую черту: они содержат в себе критерий *пространственного* порядка. Все происходит в пространстве, при этом личность человека больше не может утверждаться относительно пространства: ее глубина нарушена, она как бы разделяется надвое и теперь словно развевается на ветру, мысли и поступки повторяются, заимствуются или навязываются извне. Эта структура принципиально отличается от структуры меланхолического психоза. В данном случае, наоборот, как мы уже видели, все происходит во времени: будущее перечеркнуто ожиданием наказания или неминуемой смерти, прошлое замирает, останавливаясь на идее виновности, настоящее вклинилось между ошибками прошлого и неминуемой расплатой в будущем, оно превращается в «ничто», оно отрицается, обретая форму мании разрушения или отрицания. А такое противопоставление, в конце концов, сводится к противопоставлению времени и пространства и еще раз подчеркивает, какой интерес представляет для нас синдром де Клерамбо.

Наблюдения, сделанные в этой главе, и рассмотренные здесь вопросы, безусловно, покажутся читателям не связанными между собой. Однако мы так поступили умышленно: дело в том, что все вместе они необходимы, чтобы, выстроив их в одну линию, обозначить новые проблемы, которые возникают повсюду и все больше и больше проникают в психопатологию. Эти проблемы, а также особые методики, создающиеся на их основании, мы должны рассмотреть более подробно.

ГЛАВА II

ПОНЯТИЕ ПЕРВИЧНОГО РАССТРОЙСТВА И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

1. От симптома до первичного расстройства

Психиатрия, как и любая эмпирическая наука, прежде всего пытается определить элементарные понятия, необходимые для изучения всего комплекса феноменов, которые представляют собой предмет исследования. Более того, в начале каждого учебника по медицинской психологии мы встречаем главу «Общая психиатрия», где дается описание симптомов.

Психопатология — это, как многие любят говорить, младшая сестра психологии и физиологии, и все симптомы данной науки сформированы под влиянием двух ее старших сестер. За точку отсчета она приняла разработанные для них понятия, такие как восприятие, память, идеация, суждение, эмоциональность и т.д.; кроме того, она пытается определить патологические изменения, которым могут подвергаться эти разнообразные функции. Как следствие, психопатология рассматривает галлюцинации (нарушения восприятия), амнезию, разложение, бессвязность мышления, навязчивые идеи (одно из нарушений суждения), болезненную грусть или болезненную эйфорию, безразличие и т.д.

Выбранный ракурс изучения вовсе не является малозначительным критерием: изначально он подразумевает некое деление на группы и особую трактовку симптомов. Именно по этой причине галлюцинации различных видов описываются как варианты, относящиеся к одной группе. Мы возьмем на себя смелость сказать, что они сразу же были определены как феномены одной природы, а значит, должны иметь схожие причины возникновения, например, возбуждение соответствующих

нервных клеток. Вероятность существования значимых отклонений психологического порядка между такими различными вариантами галлюцинаторных феноменов, допустим, между зрительными и слуховыми галлюцинациями, даже не будет учтена. Точно так же все навязчивые идеи будут рассмотрены как проявления нарушения суждений, а далее разделены на подгруппы: на мании величия, мании преследования, мании виновности, мании отрицания и т.д., в зависимости от их содержания.

Определенные и разбитые на группы, в соответствии с общепринятыми психофизиологическими понятиями, симптомы относятся к более или менее искусственным границам этих понятий; они выстраиваются в ряд на одной плоскости, каждый из этих симптомов представляет собой один из возможных расколов психики. Мне кажется, что в таких условиях специальная психиатрия ограничилась бы только обычным описанием различных сочетаний симптомов, наподобие тех, которые мы получим за время практики в клинике; в любом случае, мы не станем выходить за пределы, будем искать их только среди симптомов основных и первичных расстройств.

Но в действительности все происходит иначе.

Клиническая картина говорит о частоте и о регулярности повторов некоторых совокупностей симптомов. На основании этого она определяет синдромы. Такая процедура является общепринятой для всех ответвлений медицины, что совершенно не должно нас удивлять. Однако в психиатрии мы имеем дело с психическими расстройствами, то есть с феноменами, связанными с психической действительностью, в связи с этим мы должны спросить себя: не возникнут ли в данном случае какие-то особенные проблемы?

В соматической медицине нам следует искать анатомические и функциональные предпосылки возникновения синдромов, вследствие чего синдром Броун-Секара становится для нас обозначением одностороннего поражения спинного мозга; аналогичная картина, если нам необходимо определить синдром почечной или печеночной недостаточности; характеристика симптомов не может нарушаться ни при каких обстоятельствах. Симптом — синдром — анатомо-физиологическая основа, именно таким образом развивается наша мысль.

Однако в медицинской психологии вещи меняют свой облик, как минимум частично. Безусловно, здесь мы тоже можем пытаться, особенно в более простых случаях, изначально придерживаться для какого-то изученного синдрома органической основы, более или менее гипотетической природы. Тем не менее, даже подобные органицистские стремления не могли бы со временем не принимать в расчет

важную ступень, которая существует между психическим синдромом и органическим расстройством, поскольку в данном случае мы сталкиваемся с психическими феноменами. Эта дополнительная ступень внесла серьезные изменения в изучение проблемы в целом.

В психиатрии за симптомом, и даже еще ранее, за синдромом, как мы знаем, существует *живая личность* во всей ее целостности. И необходимо, на основании симптомов, добраться до самой этой живой личности, совершив одно-единственное познавательное действие, чтобы понять, каким образом она существует; но, как бы мы ни были настойчивы, нам удастся выявить очень мало, как в области нормы, так и в области патологий. «В настоящее время, благодаря работам Равессона, Лашелье, Бутру и, конечно, Бергсона, мы уже прекрасно осознаем, что невозможно воссоздать единство, довольствуясь противопоставлением составных частей. Как отмечал Бергсон, психологические состояния не являются фрагментами «я», но являются его выражением, так как каждое психологическое состояние, в силу того, что оно относится к какому-то человеку, выражает и отображает его личность во всем ее многообразии. Именно все эти состояния вместе и нужно пытаться понять, прибегая к порыву интеллектуальной симпатии, который принято называть «бергсоновской интуицией». Объективной психиатрии недостаточно, ибо она позволяет проанализировать только искусственно отделенные друг от друга психические элементы, с которыми неправильно согласовывают существующую реальность. Однако, дополнив эту информацию порывом интеллектуальной симпатии, интуитивным усилием, мы увидим, что, если больной осмотрен, так сказать, снаружи и изнутри, все психические факты предстают перед нами как выражение одной энергии, единой и неделимой»⁴⁵. Продолжив двигаться в направлении, заданном в цитате об интуиции и интеллектуальной симпатии, мы сможем констатировать, что в психиатрии еще не раз возникнет вопрос о постановке диагнозов по средствам ощущений и проникновения⁴⁶.

Интеллектуальная симпатия, проникновение, постановка диагноза по средствам ощущений, как при работе со здоровой психикой, так и при наличии патологий, представляют собой особое действие, которое характеризуется прежде всего тем, что оно всегда происходит в настоящем, в нем зарождается, проявляется и ограничивается

⁴⁵ Ceillier A. *Recherches sur l'automatisme psychique*. Soc. de psych., 17 mars 1927, Encéphale, 1927, 4.

⁴⁶ См.: Глава III, § 2.

его пределами. Безусловно, знания, которыми мы располагаем, о прошлом человека, имеют огромное значение, когда мы формируем свое мнение о нем. Однако зачастую эти знания остаются неустребованными, если нам необходимо постичь душу человека за один раз; и получается, что они имеют лишь вторичное значение, превращаются в простые рекомендации рационального плана. Доверять кому-то на основании того, как этот кто-то поступал с нами в прошлом, отнюдь не то же самое, что пытаться постичь его, несмотря на недоверие, которое мы испытываем к нему, если в какой-то важный момент жизни он оказался искренним с нами. Каждый скажет: в первом случае — знания индуктивные, а во втором — интуитивные, вследствие проникновения. Второй метод познания, кстати, имеет не менее важное значение в жизни, чем первый; мы достаточно часто обращаемся к нему, и во многих случаях он является главным критерием, превосходящим все остальные. Сейчас нам предстоит расширить данные о нем, не покидая области психопатологических сведений.

За любой дезориентацией стоит какая-то неясность, за меланхолией скрывается подавленное состояние, за синдромом воздействия — влияние. Получается, что симптомы глубоко проникают друг в друга, а синдром больше не основывается на простом совместном и более или менее вероятном сосуществовании отдельных симптомов, так как он стремится трансформироваться в организованную живую единицу, в психологическом смысле этого слова. Клинический синдром стремится стать истинным психологическим синдромом.

Это верно и потому, что именно таким образом нам удастся различать «чистые» случаи в психиатрии, а также устанавливать фундаментальные механизмы, которые их определяют. В своих ранних работах Блейлер настаивал на частом повторении ассоциированных психозов, в частности на сочетании расстройств маниакально-депрессивной группы и расстройств шизофренической группы. Подобные сочетания встречались настолько часто, что Блейлер хотел, чтобы в каждом из произошедших случаев вечный вопрос «маниакально-депрессивный психоз или шизофрения?» был заменен на вопрос «в какой степени маниакально-депрессивный психоз и в какой степени шизофрения?». На мой взгляд, такое положение вещей вполне соответствует действительности, тому, что каждый день демонстрирует нам клиническая практика. Вместе с тем это подтверждает и наши рассуждения о роли интеллектуальной симпатии, об ощущении и о постижении различий психических синдромов. Несмотря на эмпирическую многократность сочетаний маниакально-депрессивных психозов или

шизофрении, мы вовсе не считаем, что возможно объединить их в единое нозологическое формирование, чтобы рассматривать «чистые» случаи только как не полностью сформированные проявления этого единого психоза. «Чистые» случаи, пусть и относительно редкие, останутся для нас «чистыми» случаями, которые мы легко распознаем, которые помогают нам разложить на составляющие случаи, сочетающие несколько частей. Получается, что такая «чистота» — не что иное, как выражение наших чувств в присутствии некоторых больных, когда мы пытаемся постичь их личность, когда все проявляющиеся у них симптомы «держатся», когда все они относятся к одному первичному расстройству, являются единой организованной единицей и представляют собой истинный психологический синдром.

Описанная потребность к упорядочиванию каждого психического синдрома при помощи процесса проникновения так сильно укоренилась в нас, что мы не сможем отказаться от нее, даже если столкнемся с таким изначально парадоксальным синдромом, например, с синдромом Котара, в проявлениях которого параллельно существуют противоречивые идеи, мания отрицания, мания величия и бессмертия. У нас еще будет возможность поговорить об этом.

Таким образом, мы определили, на основании чего в психопатологии возникла идея о *первичном расстройстве*. Психический синдром больше не является для нас обычным сочетанием симптомов, а представляет собой *выражение глубокого и показательного изменения человеческой личности в ее целостности*. Теперь нам предстоит изучить все эти различные изменения — сложная задача, которой мы и займемся.

В принципе, первичное расстройство в психопатологии, на анатомо-физиологическом уровне соответствует соматическим синдромам. Однако в данном случае мы имеем дело не с органами или функциями, а с живым человеком, цельным и неделимым. Наше научное мышление должно в полной мере проникнуть в эту область. Трактовка симптомов и, в общем-то, всех психических расстройств, безусловно, в такой ситуации примет на себя встречный удар.

Отсюда следует, что ипохондрические тревоги беспокойного человека и ипохондрические тревоги шизофреника являются проявлениями непохожей природы, так как психическая основа в этих двух случаях сильно отличается. Мы даже не осмелимся сказать, что оба эти пациента с преувеличенным рвением заботятся о своем здоровье, настолько сильно их личности несопоставимы. Изначально мы были почти готовы поверить, что здесь речь идет исключительно о внешнем

подобии идейного и словесного выражения первичных расстройств, которые с определенного момента не имеют ничего общего. С тем же мы сталкиваемся при проявлении мании величия у шизофреника и больного, пораженного общим параличом, или, например, при возникновении истинных и псевдонавязчивых идей шизофренической природы. Такое подобие при проявлении совершенно несхожих между собой расстройств нас удивлять не должно. На самом деле количество схем, которые могут использовать больные, чтобы объяснить свое состояние, очень ограничено. Именно поэтому они легко генерируют одни и те же мысли, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся у них внутри, именно поэтому им приходится обращаться к ограниченному количеству схем, составленных с учетом потребностей нормальной жизни, и значит, свойственных только ей. Так или иначе, они обречены выражать свои расстройства, используя одни и те же идеи для описания расстройств различной природы. Это не мешает им считать, что они полностью правы, а нас вынуждает быть начеку и не воспринимать буквально их разговоры о психике.

Весь набор симптомов, определенный общей психиатрией, отныне не может быть рассмотрен как окончательный и неизменный. Мы больше не считаем, что феномены, объединенные установленными рамками этого набора, связаны между собой, и не будем медлить, если потребуется разделить их для психологического анализа синдромов. Как уже было сказано, мы не рассматриваем манию величия шизофреника и больного, пораженного общим параличом, в качестве идентичных проявлений, а значит, не можем довольствоваться упрощенной формулой, которая утверждает, что в обоих случаях речь идет об одинаковом расстройстве суждения. При желании примеров, наподобие этого, можно привести еще очень много. Более того, клиническая практика учит нас, что слуховые и зрительные галлюцинации занимают разные позиции, как с точки зрения их диагностики, так и в прогнозировании, при этом первые в основном являются характеристикой шизофрении, а вторые — синдромом спутанности сознания. Я сильно сомневаюсь, что сторонники органицизма, даже самые рьяные, пытались соединить различия между шизофренией и галлюцинаторным помешательством с различиями нервной и церебральной локализации двух этих процессов. Сталкиваясь с такими фактами, мы прежде всего хотим понять, в чем отличие синдромов «слышать голоса» и «видеть изображения», а затем пытаемся разобраться, нельзя ли противопоставить это отличие диссоциативному характеру шизофренического процесса, с одной стороны, и общему

характеру галлюцинаторного помешательства — с другой. Оказалось, что это исследование легко может выйти за пределы изучения патологий и привести к более глубокому изучению места, которое занимают зрительные и слуховые феномены в общей структуре мира.

Более подробный анализ глубокой структуры синдромов также заставляет нас двигаться в этом направлении. При меланхолическом психозе создается впечатление, что грусть является связующим элементом, который объединяет в синтетическую систему все элементы этого синдрома: мании величия, виновности, разрушения, неполноценности, неминуемого наказания как нельзя лучше согласуются с таким эмоциональным фоном; мы даже чуть было не начали считать, что они представляют собой попытку больного *объяснить* причины грусти, которая охватила его. Как уже было сказано, мы знаем, что бывают случаи глубокой депрессии без психоза, так что вполне можем утверждать, что у таких больных каузальная потребность будет развита меньше, чем у описанных выше. Кроме того, существуют и другие печальные мысли, наподобие упомянутых ранее, которые, однако, никогда, или почти никогда, не приводят к состоянию меланхолической депрессии. Кажется, сложно довольствоваться утверждением, что причиной возникновения меланхолических идей является лишь нарушение суждения. Само постоянство выбора этих идей наводит на мысли, что данный выбор подчиняется какому-то строгому закону, который был предварительно сформирован в нормальной личности. Поэтому нам следует разобраться, не выражают ли эти идеи, вне их мыслительного содержания, а в самой глубокой структуре, несколько особенностей, которые позволяют им, в большей степени, чем другим, представлять собой истинный психологический синдром и таким образом добавляться в виде отдельного блока к депрессивному состоянию. На основании этого мы видим, как на горизонте вырисовывается новая проблема: *проникнуть дальше, за грань мыслительных элементов и даже за эмоциональные критерии синдрома, до глубокой структуры патологической личности, которая служит в качестве несущей основы как одним, так и другим*. Получается, что девиации, обнаруженные относительно структуры нормальной личности, позволят нам в конце концов установить особенности первичных расстройств, лежащих в основе различных психопатологических картин.

Многие психиатры считают, что они должны ограничиваться симптомами, другие, наоборот, предпочитают двигаться дальше и уточнять истинные нозологические формы, имеющиеся в виду — истинные

психические заболевания. В данной ситуации мы не можем отдавать предпочтение кому бы то ни было из них. Нас в первую очередь интересует то, что нозологическая точка зрения способна внести большую ясность в классификацию и значение симптомов, при этом двигаясь в том же направлении, что и синдромная точка зрения.

В центр современных нозологических изысканий мы можем поместить понятие раннего слабоумия. В первой части этого исследования (Глава III, «Шизоидия и синтония») мы уже продемонстрировали, каким образом клинический синтез Крепелина в обязательном порядке приводил к различению первичных и вторичных симптомов и к концепции шизофрении Блейлера⁴⁷. Эти два этапа были началом современного развития понятия раннего слабоумия.

Сейчас наступило время третьего этапа, наше время, и мы должны ощутить потребность еще больше упорядочить начальную концепцию шизофрении, приведя первичные симптомы к одному, единому первичному расстройству. Кстати, Блейлер очень хорошо понимал эту проблему. Но он был верен традиционной психологии и предпочел поместить первичное расстройство среди навязанных ею простейших симптомов, на основании чего создал свою теорию шизофрении, придавая особое значение нарушению ассоциативности идей. При этом именно он ввел новое понятие в симптоматику шизофрении, понятие, которое не могло быть включено в традиционную триаду психологии «разум, эмоции, воля», так как оно относилось к манере поведения личности в целом. Мы говорим об *аутизме*. Таким образом, Блейлер предчувствовал наличие особенной формы психической жизни у шизофреников, которая служит чем-то вроде рамки одновременно для разума, эмоций и деятельности, оставляя на всем этом отпечаток и определяя характерную манеру поведения шизофреников. Однако Блейлер рассматривал аутизм лишь как одно из последствий ослабления ассоциаций.

Именно в это время зарождаются современные виды исследований, которые позже довели до конца, с точки зрения психопатологии, общие сведения о шизофрении. Особая форма личности шизофреника, а не какая-то одна из ее функций, отныне является центром данной проблемы. Именно по этой причине, вдохновившись идеями Бергсона, я говорил об *утрате витального контакта с реальностью*.

Эта тенденция еще больше окрепла после проведенных современных исследований на тему *строения тел*, как психопатических, так

⁴⁷ См.: Глава III, § 2.

и нормальных, и их отношений с различными расстройствами психики⁴⁸. Мы уже научились переносить нозографические рамки на классификацию психопатических телосложений и даже еще дальше, на классификацию нормальных телосложений. На основании этого возникли понятия шизоидное телосложение, глишроидное (эпилептоидное) и синтонное телосложение. Однако психологическое строение не регулируется аналогичным образом; поведение индивида в жизни определяется также тем, насколько он подвержен воздействиям, и зависит от его личных психопатических реакций.

В данной ситуации у нас нет необходимости задерживаться на клиническом понятии телосложения. Здесь для нас важно, что это понятие, устанавливая тождественные отношения (качественные) между некоторыми клиническими картинами и существовавшими ранее строениями тел, подводит нас к тому, чтобы абстрагироваться от очевидных симптомов психических расстройств и, двигаясь дальше, выявить несколько характерных черт, которые могли бы вступить в отношения с простой особенностью поведения человека. Противопоставление между шизофренией и маниакально-депрессивным психозом в конце концов сводится к разнице в отношении больных к окружающей действительности, а такое противопоставление приводит нас к понятиям синтонии и шизоидии, которые, в свою очередь, очень далеки от того, чтобы их можно было противопоставить общепринятым понятиям разума, эмоций или воли, но при этом представляют собой два крупных «жизненных принципа» (Блейлер), способных придать особый оттенок любым поступкам индивида.

Наши усилия в области психопатологии все больше и больше связаны с поиском простейших расстройств, которые направлены на всю личность в целом, а не на какие-то отдельные ее функции. На основании этого мы можем говорить о *генераторах расстройства*, или о *первичном расстройстве*.

Наши знания в данном вопросе пока еще являются фрагментарными. Уточнить информацию мы сможем только в будущем. Однако, полагая, следует сказать несколько слов по этому поводу, как бы наметить общий план, в котором потом нужно будет исправить ошибки, так как их невозможно избежать, когда что-то находится в переходной стадии.

Среди первичных расстройств нам предстоит изучить психопатологические процессы. На данный момент нам известно два процесса

⁴⁸ См.: Глава III, § 2.

подобного плана: умственная деградация и шизофренический процесс. Первый характеризуется, прежде всего, прогрессивным ослаблением интеллектуальных способностей и четко отличается от второго, который приводит к снижению динамических критериев жизни и создает условия для особой фактической ограниченности. Вероятно, за пределами этих двух психопатологических процессов существует еще один специфический процесс эпилептического порядка, который используется в качестве базы для всех клинических проявлений эпилепсии. Однако этот процесс изучен еще меньше, чем два предыдущих. Надеюсь, познание глистроидного строения тела поможет нам определить его основные характеристики, как шизоидия помогает в изучении шизофрении.

Какими бы глубокими ни были наши знания о психологических процессах, все равно мы не можем в полной мере охватить всю область распространения первичных расстройств. Они могут проникать в личность человека как быстро, так и медленно и коварно, вызывая при этом, в каждом случае по-своему, различные виды ее ограниченности, задерживаются там и не исключают для нас возможность понять, каким образом возникли более сложные симптомы, такие как галлюцинации и навязчивые идеи. И прежде чем перейти к анализу этих симптомов, изучая каждый из них по отдельности, нам следует задуматься, не удастся ли сгруппировать их, чтобы затем соотнести по группам с особыми первичными расстройствами, в большей или меньшей мере отличающимися от психопатологических процессов, о которых шла речь. Не стоит забывать, что отныне все наши исследования должны проводиться не от периферии к центру, как это делали в прошлом, а, наоборот, от центра к периферии; тогда галлюцинации перестанут восприниматься нами как простые расстройства восприятия, а навязчивые идеи не будут расценены как простое нарушение суждения: отныне и первые, и вторые могут считаться феноменами, к которым, при определенных условиях и порой разными способами, приходит патологическая личность.

Значительное влияние на эту точку зрения, как уже говорилось, оказали исследования доктора де Клерамбо. Все симптомы психического автоматизма обнаруживаются и среди вторичных симптомов шизофрении у Блейлера; получается, нет ничего проще, чем включить все психозы на основе психического автоматизма в виды шизофрении. Однако такая мера кажется слишком простой. Здесь не может быть и речи о том, чтобы обозначить четкие границы между шизофренией и хроническим галлюцинаторным психозом в исследованиях

французской школы. Также следует упомянуть, что доктор де Клерамбо показал, что существуют психозы, начальная стадия которых — первичное психическое изменение — представляет собой набор симптомов, постоянно одних и тех же, но отличающихся от шизофренического процесса. Именно это и навело на мысль о существовании исключительного первичного расстройства.

Здесь будет полезно вспомнить, что уже было сказано выше (§ 6 предыдущей главы и чуть раньше в текущей) об отношениях, которые устанавливаются между эмоциональным фоном и навязчивыми идеями в меланхолических состояниях.

Итак, мы приблизились к тому, чтобы сделать заключение. Настало время признать, что, кроме психопатологических процессов, существуют первичные расстройства другого плана; последние действуют более грубо, если можно так выразиться, по сравнению с первыми, сразу же и радикально изменяя, в ходе происходящих психопатологических процессов или даже независимо от них, саму форму психической жизни.

Не будем надолго задерживать внимание на форме психической жизни, пока достаточно будет сказать, что она обусловлена, в нормальных условиях, способностью утверждать свое «я», в равной степени относительно пространства и времени.

Получается, что именно в области утверждения своего «я» мы можем обнаружить исключительное первичное расстройство, о котором сейчас ведем речь. На основании этой точки зрения, мне кажется, вполне уместно противопоставить синдром де Клерамбо и меланхолический психоз, как мы уже частично пытались сделать чуть выше. В обоих случаях нормальное утверждение своего «я» нарушено, хотя и по-разному.

Мы сталкиваемся с частичным разрушением личности в пространстве в первом случае и с разрушением личности во времени — во втором, если выражаться схематично. Теперь понятно, каким образом, обойдя психоаффективную составляющую психических расстройств, мы можем проникнуть в их глубокие структуры, дойдя до особой формы психической жизни, в которой они участвуют. Отсюда логично вытекает вопрос: почему синдром де Клерамбо, как минимум когда к нему не присоединяются вторичные составляющие, обладает нейтральным характером, а меланхолический психоз, напротив, тесно связан с состоянием депрессии и грусти? Пока мы не знаем ответа, но здесь возникает еще один нюанс, вероятно, даже имеющий первостепенное значение, а именно то, какие позиции занимает человеческая личность относительно времени и пространства на основании эмоций и чувств.

Теперь мы видим, в каком направлении будем исследовать первичные расстройства в области психопатологии, отличающиеся от психопатологических процессов.

Что касается определения для таких расстройств, я бы с удовольствием выбрал термин *болезненная психическая субдукция*, который был введен моим покойным товарищем и другом Миньяром⁴⁹. Этот термин, на мой взгляд, вполне уместен, так как первичные расстройства, кажется, действительно радикально изменяют даже саму форму психической жизни, перемещая ее, если можно так выразиться, на более низкий уровень и приводя к тому, что она испытывает реальный психический сдвиг. В случае меланхолического психоза мы можем говорить о *временной субдукции*, или *психическом сдвиге во времени*, а при наличии синдрома де Клерамбо — о *пространственной субдукции*, или о *психическом сдвиге в пространстве*. Кстати, чтобы избежать недопонимания, я хочу внести дополнение: применяя термин психического сдвига в отношении наших первичных расстройств второго плана, я использую его в более ограниченном значении, чем это делал Миньяр, применявший данный термин практически ко всем проявлениям психических расстройств; более того, он сделал его одной из составных частей своей концепции органо-психического отчуждения, о которой мы еще поговорим чуть позже.

В заключение составим общий план изучения первичных расстройств:

I. *Психопатологические процессы:*

- а. умственная деградация; шизофренические процессы;
- б. эпилептические процессы.

II. *Патологические психические сдвиги:*

- а. во времени (меланхолический психоз и, вероятно, любой маниакально-депрессивный психоз);
- б. в пространстве (синдром де Клерамбо).

Безусловно, речь идет о простой схеме. И никто не утверждает, что она полная. Однако на данном этапе нам ее достаточно, чтобы дальше следовать избранным путем.

Заканчивая мысль, мне хочется сделать еще одно предположение по теме патологических психических сдвигов. Я спрашиваю себя: не придем ли мы к тому, чтобы выделить в нем несколько *различных степеней*? Приведу факты, которые наводят меня на это

⁴⁹ Mignard M. *La subduction mentale morbide*. Ann. Méd. Psych., mai 1924. *L'unité psychique et les troubles mentaux*. Paris, F. Alcan, éditeur, 1928.

предположение. Что касается глубокой структуры меланхолического психоза, он напоминает ситуацию, которая создается в нормальной жизни при мысли о смерти. Такая мысль, с момента как она возникает и начинает управлять сознанием, формируя непреодолимый барьер и вызывая у нас тревогу и чувство беспомощности, сдерживает любое проявление нашего «я», любой порыв. Однако в своем отрицании жизни порой мы опускаемся и на еще более низкий уровень. В основе этого отрицания уже не стоит феномен смерти вместе со всем, что еще является в нем живым, его основа более абстрактная, более теоретическая, она опирается на идею ограничения, самоуничтожения относительно бесконечности и безграничности мира. Эта идея приобретает форму, которую можно выразить фразой «что толку?» и которую, как считают многие, следует принять. В данном случае стоит спросить себя: а что, если такое противопоставление малой и большой бесконечности, когда нас иногда сталкивает с ним сознание, не является психологической базой для синдрома Котара? Данное противопоставление поможет нам понять структуру этого синдрома, причину возникновения противоречивых идей, из которых он складывается, а также даст нам возможность расценивать его, по сравнению с простым меланхолическим психозом, как более продвинутое звено патологического сдвига психики. Конечно, изначально было видно, что синдром Котара не имеет ничего общего с философским отношением, которое, как верят⁵⁰ многие, можно применить в данном случае по причине вышеназванного противопоставления, но, возможно, он все же основан на этом противопоставлении, с той лишь разницей, что речь идет о больном сознании, а это противопоставление проникает в повседневную жизнь, выражаясь в виде психоза.

2. Первичные расстройства и органо-психические отношения

Современное направление психопатологии, безусловно, не может не повлиять на проблемы, которыми должна заниматься психология. Сейчас мы не сумеем рассмотреть все эти проблемы; достаточно будет изучить основные.

При более подробном рассмотрении органо-психических отношений становится понятно, что до настоящего времени мы

⁵⁰ Мы употребляем здесь термин «верить», так как в действительности его никогда не применяют в полной мере.

довольствовались поиском анатомо-физиологического объяснения для отдельных симптомов, и прежде всего для тех, что, как галлюцинации, кажется, находятся на окраинах психики; и еще: после того как были установлены некоторые нозологические категории, предпринимались попытки соотнести их с анатомо-патологическими или функциональными изменениями, которые рассматривали в качестве патогностических для этих болезней.

Естественно, мы не собираемся подвергать сомнению полезность данных исследований. Скорее наоборот, мы бы не смогли обойтись без них. Однако даже для тех случаев, когда мы точно знаем о характерных анатомо-патологических изменениях душевного расстройства, нам будет затруднительно установить достоверные отношения между изменениями этого расстройства и всеми психопатологическими проявлениями, из которых складывается психоз.

Похоже, понятие первичного расстройства призвано внести со временем немного больше ясности и в эту область знания. Различные первичные расстройства, представляющие, если так можно сказать, простейшие поражения психики, теперь должны служить нам в качестве отправного пункта в органо-психических гипотезах, которые обязательно возьмут за основу новые понятия, применяющиеся для этих расстройств.

В качестве примера хочу привести теорию Миньяра⁵¹ об органо-психическом отчуждении. Эта теория стремится — что полностью соответствует вышесказанному — сохранить понятие психической целостности как главного психического критерия. «Нормальный организм, — пишет Миньяр, — занимается исключительно тем, что применяет в своих интересах умение мыслить, тогда как больной организм, наоборот, обуславливает возникновение патологического отчуждения, которое в рамках психологии преобразуется в чувство или манию воздействия, столь часто встречающуюся у больных людей». Иными словами, несмотря на прекрасное самочувствие и уверенность индивида в контроле собственных мыслей, нормальное функционирование организма в его сознании связано с чувством легкости, которое сопровождает все наши поступки и столь привычно для нас, что мы его даже не замечаем; сбой такого хода действий приводит к возникновению особого вида беспокойства, из-за чего появляются мысли о воздействии. Таким образом, речь идет о «чрезмерном преобладании,

⁵¹ Mignard M. *«L'emprise organo-psychique et les états d'aliénation mentale»*. Encéphale, mai, 1922.

которое получают отдельные нейроцеребральные функции, при нормальных условиях подчиненные действию именно психических функций» (Миньяр).

Я решил привести здесь теорию Миньяра, чтобы показать, в каком направлении мы будем теперь двигаться, находясь под влиянием понятия первичных расстройств и наших органо-психических гипотез. Что касается собственно теории, то, из-за чего возникает желание свести все психические расстройства к одному органо-физическому расстройству (отчуждение и чувство воздействия), и вынуждает нас рассматривать эту теорию, согласно сказанному ранее по поводу многообразия первичных расстройств как излишне обобщенную и по этой причине несостоятельную. Но все-таки за ней остается слава представлять в данной области одну из первых попыток создания теории, соответствующей тенденциям современной психопатологии.

3. Двойственный аспект психических расстройств

Наша концепция психических расстройств, в частности психозов, также вдохновлялась идеями, рассмотренными на предыдущих страницах. Эти идеи и подвели нас к мысли, которую мы решили назвать *двойственным аспектом* психических расстройств.

На самом деле в том, чтобы описать навязчивые идеи как нарушения суждения, нет ничего значимого. Обладать в текущей жизни большим или меньшим количеством суждений — вовсе не свидетельствует, что эти суждения являются психозом. Безусловно, в интересах дела мы можем называть «суждением» все то, что ограждает нас от возникновения навязчивых идей, но в таком случае следует понимать, что это исключительно вербальная формулировка, на основании которой нет возможности получить сведения ни о природе формирования суждения, ни о генезисе навязчивых идей. Мы же, напротив, рассчитываем сделать шаг вперед, чтобы продвинуться в понимании этих идей, предполагая, что за ними скрывается феномен нормальной жизни, с той лишь разницей, что место, которое они занимают в психике, искажено так же, как и способ его выражения.

Мы уже говорили, что рассматриваем меланхолический психоз не только потому, что ассоциируем его с основанием для депрессии или с удручающими мыслями, просто нам это кажется возможным и даже необходимым, чтобы понять данный синдром в его целостности, признать, что за его психоэмоциональным содержанием стоит особая

структура, которую мы определяем как патологический сдвиг во времени. Указанная структура, кажется, руководит выбором навязчивых идей, объединяя их в один психологический синдром, и через эти идеи выявляет наиболее адекватный способ выражения их понятным образом. Итак, с точки зрения психологии, в рассматриваемом синдроме нам удалось выделить *два* различных аспекта: *психоэмоциональный и структуральный*. *Психоэмоциональный аспект*, или, правильнее будет сказать, особенно для некоторых случаев, *психоаффективный аспект*, позволяет нам лучше понять больного, установить с ним контакт на уровне мысли, а также добиться, чтобы между нами возникла симпатия. *Структуральный аспект* представляет собой глубокую основу синдрома и определяет распределение элементов в нем, а также объясняет, почему нам никоим образом не удастся повлиять на навязчивые идеи нашего больного, которые являются не чем иным, как *вторичным выражением* особенной формы психической жизни, отличающейся от нашей и проявляющейся в данном случае в виде патологического сдвига личности во времени.

Обобщим эту точку зрения. Сталкиваясь с ипохондриком, мы с легкостью можем сказать, что имеем дело с индивидом, который болезненно заботится о своем состоянии; таким образом, мы *буквально* переносим речи больного на нормальную психику; далее, придерживаясь органицизма, мы пытаемся найти причины ипохондрических тревог в проблемной кинестензии, а будучи специалистами по психоанализу, рассматриваем ипохондрию как одно из отклонений нарциссизма, возникшее на базе аутоэротизма, направленного на тело больного. Однако, возможно, не стоит слишком быстро отказываться от исходной точки. Разве ипохондрические тревоги, которые испытывает больной, всегда означают одно и то же? Мы уже говорили, что существует разница между ипохондрическими тревогами тревожного расстройства и ипохондрическими идеями при шизофрении. Если в первом случае они ближе к действительным тревогам, то во втором, похоже, являются лишь вторичным отношением, направленным на то, чтобы заполнить пустоту, которая образовалась по причине развития шизофренического процесса. Но и это еще не все. Некоторые ипохондрики, так сказать, сливаются со своими патологическими тревогами; другие, наоборот, рассматривают их как чуждые личности. Приведу только один пример: мой больной, о котором мы еще поговорим чуть позже, когда у него проявился целый ряд ипохондрических и кинестезиопатических жалоб, сказал нам: «У меня навязчивая идея оставаться таким, какой я есть, и надоедать всем своими жалобами.

Но это полностью противоречит моей сущности. Меня раздражает заниматься тем, над чем я раньше потешался. Ведь я не ипохондрик. Дело вовсе не в этом. Мне бы не хотелось придавать такое значение своим отходам, однако я представляю собой всего лишь корм и дефекации. Я животное с функциями, которое, помимо прочего, причиняет себе боль. А глобально, по жизни — мусор, требуха. У меня нет ни чувств, ни конкретных идей — одни вегетативные функции; я просто биомасса, не более». В данном случае речь, кажется, действительно идет о первичных признаках развития феномена органо-психического единства и о чувстве непринужденности и умиротворенности, его составляющем элементе; это напоминает ощущение *разрастающейся реальности*, которая захватывает личность больного и впоследствии стремится проявить себя, чего может добиться только при помощи многочисленных и разнообразных жалоб ипохондрического и кинестезиопатического характера. Кстати, остальные проявления поведения нашего больного также подтверждают это, к чему чуть позже мы еще вернемся. Для нас здесь важно то, что за одним и тем же фасадом, за одной и той же ипохондрической тревогой могут скрываться различные структуры; и если в некоторых случаях эта тревога является именно тем, чем должна являться в соответствии со своим психоэмоциональным содержанием, то есть «ипохондрической тревогой», то в других случаях она представляет собой лишь вторичное выражение особого нарушения глубокой структуры личности (разрастающейся реальности), и все это происходит в полном согласии с прочими симптомами, к которым она присоединяется, чтобы образовать особый *психологический синдром*.

По аналогии с этим мы можем сказать, что если мания неизлечимости, с психоаффективной точки зрения, является проявлением отчаяния, то в ней должно содержаться, с учетом структуры, единое и неизменное отражение настоящего в будущем, в отличие от того, что характеризует структуру нормальной личности.

Точно так же и в отношении больного, который жалуется, что подвергается какому-то воздействию, нам вновь в первую очередь следует обратить внимание на психоаффективную сторону его состояния. Однако со временем мы зададимся вопросом: что, если больной, заявляя о воздействии на него со стороны, на самом деле всего лишь выражает таким образом изменения формы своей психической жизни? Эта идея как нельзя лучше совпадает со структурой, возникшей в результате патологического сдвига в пространстве: она сближается с остальными симптомами, вместе с которыми образует синдром де Клерамбо.

Аналогично обстоят дела в психопатологии шизофрении, транзитивизма, проекции, отождествления, даже если мы не обращаем особого внимания на первичные изменения, относящиеся к утверждению человека во времени и в пространстве, что является обязательным и необходимым условием, чтобы механизмы, о которых только что шла речь, могли быть задействованы в патологическом сознании больного.

Конечно, с себе подобными мы общаемся в психоаффективном ключе и самым естественным образом поступаем точно так же и при общении с больными. Когда нам это удастся, мы испытываем особое удовольствие.

Мы уже обращались к идеям Селье⁵² и к его теории аффектов для больных, страдающих от воздействий. Основным элементом этой теории является «контраст или аффективное несоответствие». «Аффективные состояния по большей части включены в наше «я», однако некоторые изменения эмоциональности, особенно эмоциональное расхождение между прошлым и настоящим состоянием или между двумя формами настоящего состояния, разрушают баланс эмоциональной жизни и, как следствие, ощущение нашего личного единства». Такое эмоциональное расхождение в зависимости от ситуации может обладать различными нюансами: «У нормального человека расхождение во времени между двумя периодами его жизни не равно или наоборот эмоциональному оттенку. У одержимого или больного с синдромом воздействия расхождение сближено либо происходит одновременно с двумя эмоциональными этапами, стремящимися исключить друг друга. Расхождение может быть между двумя в равной степени сознательными состояниями, а иногда между двумя состояниями, одно из которых подавлено (так как здесь мы не можем говорить о бессознательном аффективном состоянии), а другое доминирует над сознанием. Первое достаточно часто характеризуется глубокими аффективными стремлениями, второе — желаемым или вынужденным отношением. Здесь имеет место борьба между тем, кем индивид является, и тем, кем бы он хотел быть. Борьба, которая у одних характеризуется победой стремлений, у других — победой воли, у некоторых — тревожным состоянием и навязчивыми идеями, а у отдельных индивидов — отрицанием всех стремлений и возникновением ощущения автоматизма». Продолжая проводить исследования в этом направлении в отношении больных, страдающих

⁵² См. приведенную ранее цитату (Глава II, § 1).

синдромом воздействия, Селье удалось обнаружить врожденную predisposition, в которой, в отличие от паранойяльного строения, преобладали «доверчивость, слабость «характера» и психического обобщения, отсутствие воли, потребность в управлении, поддержке, в чем-то чудесном».

Эснар придерживался аналогичной точки зрения. «Психоз, — говорил он, — является частным случаем автоматизма душевнобольных, который, прежде всего для психологии, заключается в присвоении третьему лицу отдельных элементов сознания, представленных в форме, чуждой моему «Я». Между тем, какова причина такого сверхгенезиса, такого персонализированного и антропоморфического неприятия некоторых мыслей?

Причина в том, что сумасшедший, в силу своих мыслей, выбирает специальное эмоциональное отношение. Принимая во внимание эмоциональное значение этих мыслей, он отказывается считать их своими. И вовсе не потому, что это ему на самом деле объективно чуждо, просто он изначально ощущал мысль о новообразовании как враждебную, неприятную, извращенную, непристойную и т.д., поэтому и гонит прочь от себя»⁵³.

Такие умозаключения эмоционального порядка допустимы. Однако они не решают эту проблему, а раскрывают лишь один из ее аспектов и, не занимаясь поиском своих собственных пределов, следуют порой ложным путем. Мне кажется, что концепцию Селье можно применять только в отдельных случаях. Даже в силу ее эмоционального характера, эта концепция останавливается на чувстве воздействия, развитого в большей или меньшей степени, и не двигается дальше. Она не дает нам представления о случаях, когда бредовое утверждение о грубом воздействии извне было изначально, при этом в прошлой жизни больного невозможно выявить составные элементы, на наличие которых указывает Селье. Более того, эта теория не может дать нам удовлетворительного объяснения, каким образом происходит переход чувства или предчувствия воздействия в его утверждение. Дело в том, что два этих явления обладают различной природой. В первом случае больной все еще говорит с нами на одном языке, во втором — он бредит, в чем и выражается радикальное изменение, которое произошло с его личностью. Если Эснар утверждает, что сумасшедший, в силу своих мыслей, выбирает специальное эмоциональное

⁵³ Hesnard A. *A propos des applications de la méthode psychanalytique à la Clinique psychiatrique courante*. Ann. Méd. Psych., mai 1927.

отношение и отказывается считать их своими, я могу возразить, что такие эмоциональные механизмы делают допустимым его *желание* не признавать эти мысли, всем нам известное желание, которое мы испытываем при возникновении различных обстоятельств, но не можем сами себе объяснить, каким образом оно возникает в нас. Именно по этой причине я допускаю, что для всех таких случаев существует одно особое первичное расстройство, или, выражаясь словами де Клерамбо, противопоставленный процесс, который в обязательном порядке вклинивается между прошлым больного и его психозом. Сталкиваясь с составным психозом, я всегда пребываю в уверенности, что имею дело со структурным изменением психической жизни, однако этот психоз является лишь одним из ее выражений.

Все дискуссии, касающиеся отношений между первичной личностью (той, что была у больного ранее) и вторичной личностью (созданной самой болезнью), основаны, как я полагаю, на незнании двойственного аспекта психических расстройств — психоаффективного аспекта, с одной стороны, и структурального — с другой. Первый аспект, более человеческий и более понятный, как кажется при поверхностном взгляде, не должен приводить к тому, чтобы мы отрицали необходимость изучения проблем, созданных вторым аспектом.

В большинстве случаев мы обращаемся к словам де Клерамбо: «Он утверждал множество вещей, и в его теории я не отрицаю эмоциональную основу; я отрицаю лишь то, что ее возникновение, ее выраженность и форма, вместе взятые, могут быть объяснены эмоциональными причинами. Если эмоциональность действительно воскрешается в памяти, общий процесс по меньшей мере увеличил это и изменил, а воспроизведение в памяти чаще всего является результатом самого общего процесса».

До настоящего момента мы в основном говорили о психозах. Однако, мне кажется, будет интересно обратить внимание на то, каким образом Анри Буйер⁵⁴ развил тему «психического состояния галлюцинации и двух ее критериев», — концепция, в которой более одного общего пункта с тем, что мы сами только что говорили о двойственном аспекте психических расстройств.

Для начала хочу привести общую ремарку, достаточно хорошо подчеркивающую тенденцию развития современной психопатологии, когда симптомы наделяются одним-единственным относительным

⁵⁴ Bouyer H. *L'état mental des hallucinés et ses deux facteurs*. Encéphale, June 1927.

значением касательно патологической личности, которая его обуславливает: «При изучении такого феномена психологии патологий как галлюцинация, — пишет Буйер, — мы часто склонны рассматривать в нем только присущие ему характеристики, абстракцию, составленную на основании самого индивида, либо анализируем исключительно феномен, как если бы все остальное было нормальным и, значит, не заслуживало нашего внимания. Но это далеко не так, все эти аномалии, происходящие с больным, сами и являются причиной того, каким образом они возникают, каков их истинный смысл. Наша ошибка заключается в том, что мы переносим их в другую плоскость, не задумываясь, останутся ли они прежними после такого переноса. Больной, страдающий от галлюцинаторного помешательства, утверждает, что является участником ужасающего действия, хотя, по мнению окружающих его людей, не происходит ничего необычного. Так в чем же заключается наблюдаемый нами феномен? Разве его причина просто в наличии пугающего видения, возникшего без каких-то явных внешних причин? Именно этот вопрос и остался в стороне, как минимум временно, а мы рассуждаем о нем, как если бы речь шла о каком-то человеке, например: «глагол „видеть“, будет значить для него то, что он значил для нас в состоянии бодрствования». Однако, описывая свои сны, мы тоже говорим: „я видел“; кроме того, мы говорим «я вижу», когда размышляем, вспоминаем что-то, фантазируем, а также, конечно, когда замечаем что-то. Значение глагола может изменяться, в зависимости от психических условий, кажется совершенно невероятным, что настолько патологическое расстройство оставляет его без изменений. Более того, это не „ужасающее действие без реального объекта“, которое представляет собой позитивный факт, а скорее „ужасающее действие без реального объекта, происходящее в состоянии галлюцинаторного помешательства“».

После такого замечательного введения в тему Буйер подходит к изучению состояний, которые принято относить к разделу «галлюцинаторных состояний»; он настаивает на том, что в обязательном порядке необходимо четко разделять два критерия, различающиеся по типу возникновения и происхождения: «1. Предварительное психическое отношение, способное приобретать у разных больных различные аффективные формы (верование, желание, опасение, навязчивая идея), несмотря на то, что они проявляются в виде идентичных действий: ослабление нормальной деятельности, концентрация внимания на изображениях, которые ранее были в числе излюбленных (особенные для каждого индивида); 2. расстройство, имеющее психологические

причины⁵⁵, всеобщее, рассеянное, случайное расстройство рассудка, связанное с нарушением органических условий, изменяющихся только по уровню, и имеющее примерно один и тот же вид у всех больных».

Первая последовательность фактов, исключительно психологических, объясняет скорее не состояние, а психическое отношение, предрасположенность. Наверное, будет правильнее назвать его «галлюцинаторная предрасположенность». Вторая — физиологического происхождения — соответствует галлюцинаторному состоянию в самом прямом смысле.

Обе эти последовательности фактов — галлюцинаторная предрасположенность (психологическая и индивидуальная) вместе с ее излюбленными изображениями, с одной стороны, и галлюцинаторное состояние (физиопатологическое и общее), с другой — не подлежат взаимным изменениям. Однако они обе в равной степени необходимы, чтобы создать галлюцинацию, так как «без галлюцинаторного состояния не бывает истинных галлюцинаций», а «без галлюцинаторной предрасположенности, способной создать некоторые излюбленные изображения, в тех случаях, когда ощущения угасают, галлюцинация будет представлять собой просто хаос».

Различие двух этих критериев психического состояния больных, страдающих галлюцинаторными расстройствами, мне кажется, совпадает с тем, что мы говорили чуть выше о двойственном аспекте психических расстройств; галлюцинаторная предрасположенность может соответствовать психоаффективному аспекту расстройства, а галлюцинаторное состояние — структурному аспекту. Кстати, то, каким образом Буйер изучает оба интересующих нас аспекта, еще раз подтверждает эту точку зрения. Не будем слишком долго задерживать внимание на идеях Буйера, достаточно заметить, что он указывает на отношения, существующие между галлюцинаторной предрасположенностью и врожденными факторами, а также механизмами эмоциональной природы (как считал и Селье, изучая больных, страдающих от синдрома воздействия); что касается самого галлюцинаторного состояния, то его он, напротив, рассматривает как феномен *sui generis*, не зависящий от индивида, способный изменить все психические функции, создавая таким образом особенную форму психической жизни. Присутствие этих двух факторов обратно пропорционально, ибо, когда развивается второй, отмечается угасание первого,

⁵⁵ Для нас не важно, имеют эти расстройства физиологическое происхождение или нет. Мы просто вспоминаем то, что уже говорили чуть выше по поводу концепции органицизма доктора де Клерамбо.

что позволяет нам утверждать: если некоторые случаи легче понять с психоаффективной точки зрения, то другие, наоборот, могут быть расценены только со структурной стороны.

В заключение хочу дополнить: мне кажется, что понятие «двойственного аспекта» пока еще имеет более общее значение. Так, например, в первой части этой работы мы старались показать, каким образом феномены, которые принято считать психическими, кроме их отдельной роли, могут участвовать в общей структуре жизни.

4. Феноменологическая компенсация

В настоящее время понятие компенсации тоже пополнилось новыми значениями.

Уже достаточно давно в психиатрии поднимается вопрос компенсации. Именно этим объясняют, например, игры воображения, возникающие во время старческого слабоумия, когда воображаемые сюжеты заполняют пустоту, возникшую в результате провалов в памяти. В данном случае речь идет о чисто *механической компенсации*. Представленная как таковая, она не является для нас проблемой. Нам достаточно констатировать ее наличие. Мы поговорим о ней чуть дальше, у нас еще будет возможность показать, что эта компенсация намного сложнее, чем мы считаем.

Значительное развитие на сегодняшний день получило понятие *аффективной компенсации*, психиатрия признала ее наличие, оказавшись под влиянием работ Фрейда. Во время психоза, как и во сне, индивид добивается того, в чем ему было отказано или от чего он отказался сам, более или менее сознательно, в процессе жизни.

Аффективная психопатология превратила психологию в более живую науку. Достаточно часто при наблюдении больных она помогает нам разгадать их поступки и слова, которые были для нас непонятными иероглифами, раскрывает перед нами новые перспективы терапии. Кроме того, нас совершенно не удивляет, что она пытается объяснить, на основании своей позиции, не только психоэмоциональное содержание симптомов, но и причины возникновения большинства психических расстройств (психоаналитические концепции).

Однако эти концепции не решают данную проблему и не определяют место, которое она может занимать среди всего комплекса наших знаний, а относительно идей, выделенных чуть выше, это место вообще не определено. Бесспорно, аффективная психопатология обращает внимание исключительно на *аффективную составляющую*

симптомов и на особую структуру психической жизни, которая их обуславливает. Но разве такая же составляющая не может стоять в основе других, принципиально отличающихся синдромов? Таким образом, все, что касается лично меня, наводит на мысль, что деятельность, связанная с ограничением, кажется мне более подходящей по сравнению с деятельностью, связанной с излишним растягиванием, так как мы можем признать, руководствуясь общим правилом, что любое понятие становится четким и ясным только с того момента, как находит его место среди остальных эквивалентных ему идей.

Аффективная психопатология, излишне увлеченная идеями генезиса, если вообще это не является ее первостепенным принципом, не признает данный аспект проблемы или, выражаясь точнее, изначально отказывается от него. Вынужденная насильственно загнать все феномены в заранее созданные рамки, она полностью подчиняет человеческое существо какой-то одной стороне его жизни. Она превращает его в *homo libidinosus*, который, как и *homo economicus*, и *homo sapiens*, да, в принципе, любой *homo* с какой бы то ни было характеристикой, перечеркивает, начиная с определенного момента, путь, ведущий к пониманию человека в общем и человека в частности.

Давайте вернемся к проблемам современной психопатологии. В первую очередь нужно определить понятие формирования, которое, как мне кажется, должно ограничить роль комплексов в генезисе психических расстройств. Это понятие должно обуславливать, как минимум в большинстве случаев, и то, как личность реагирует, сталкиваясь с эмоциональными ударами, и то, каким образом она накапливает и ликвидирует комплексы; кроме того, оно должно принять на свой счет особый характер психических расстройств там, где они случаются.

Однако нас прежде всего интересует не это ограничение. Более подробно нам бы хотелось рассмотреть отношения, возникающие между аффективными критериями и данными, предоставленными в ходе анализа психологических синдромов, который был проведен в направлении, указанном чуть выше. Мы уже частично осуществили это, говоря о двойственном аспекте психических расстройств.

Эта концепция подводит нас ближе к новой форме компенсации, которая, являясь продолжением структурного анализа психических расстройств, тоже стремится ограничить значение эмоциональной компенсации. Для такого типа компенсации я хочу предложить наименование *феноменологической компенсации*, учитывая, что прежде всего она обращается к основным характеристикам феноменов, из

которых состоит наша жизнь, а их аффективной составляющей, всегда более или менее несущественной и изменяемой от индивида к индивиду, она отводит лишь вторичную роль.

Более подробно я рассмотрел эту компенсацию, изучая шизофрению. Предлагаю вам ознакомиться с моим представлением о ней.

Основное расстройство шизофрении связано с потерей витального контакта с реальностью, что обуславливает аутистические проявления больного. На основании этого становится возможным классифицировать феномены нормальной жизни. Некоторые из них изначально представляли собой *реакции ухода от реальности*, относительно окружающей реальности (такие как бредовые мечтания, патологические капризы⁵⁶ или сожаления). Если мы обратимся к интеллектуальной деятельности, то увидим, что вопросы приводят к значительно меньшей деятельности больного, чем утверждения. Так как завершением вопроса является ответ, который должен последовать, в нем изначально есть какая-то незаконченность; искусственно лишенный своей естественной цели, он, кажется, призван сыграть промежуточную роль относительно нормального контакта с реальностью; индивид с вопросительным типом поведения, который все время задает вопросы обо всем и ни о чем, либо самому себе, либо кому-то еще, даже не задумываясь, какие на них могут быть ответы, является шизофреником. Таким образом, все эти различные феномены совпадают, в силу их промежуточного характера, с основной чертой психической жизни шизофреников, сформированной в результате потери контакта с реальностью. Нам это кажется абсолютно естественным: шизофреник с удовольствием задерживается на таких феноменах, чтобы заполнить пустоту, которую образовал в нем шизофренический процесс, и, в силу компенсаторной направленности, придать немного ярких красок аутистическому пейзажу. В этом, по-моему, и заключается прототип феноменологической компенсации, которая формирует особые рамки патологического сознания. Различные формы феноменологической компенсации при шизофрении я отнес к одной группе, назвав ее *виды шизофренического поведения*.

Безусловно, в бредовых мечтаниях больному может казаться, что его желания осуществляются; точно так же и его желания могут быть направлены на события с тяжелой эмоциональной нагрузкой. Однако еще важнее, даже более значимо, чем психоаффективная

⁵⁶ Патологический каприз был описан А. Борелем. — Borel A. «*Rêveurs et boudeurs morbides*». Journal de Psychologie, 1925.

составляющая бредовых мечтаний или сожалений, то, что эти феномены, независимо от их содержания, представляют собой форму психической активности, которая как нельзя лучше сочетается с самой психикой шизофрении. Шизофреник мечтает, просто мечтает, прежде чем помечтать о чем-то конкретном. Получается, уж лучше отдаться пустым мечтам или выбрать для себя вопросительное поведение либо поведение сожаления, чем раствориться в жизни. Кстати, порой содержание исчезает; больной фантазирует, даже не имея возможности сказать, о чем он мечтает, или, например, задает бессвязные вопросы, независимо от содержания того, что существует в его сознании, совершенно не беспокоясь ни об их прагматичном значении, ни об ответах, которые он мог бы получить. Полагаю, в данном случае речь идет скорее о феноменологической компенсации, нежели о компенсации аффективной. Это кажется допустимым. В связи с присущей шизофреникам непреклонности и свойственного им апрагматизма, а также в силу уровня интеллекта, на фоне которого эти механизмы обнаруживаются и проявляются, по сути, такие виды шизофренического поведения, если находятся в плоскости психологии, очень сильно напоминают психомоторные стереотипы. Со временем они двигаются в том же направлении, что и сам шизофренический процесс. Касательно содержания, они истощаются, сокращаются и разделяются на части, так же, как рассыпается на части личность шизофреника.

Чтобы еще лучше подчеркнуть эти отношения, давайте обратимся к нижеследующей схеме, которая отражает прогрессивное снижение нашей активности: сталкиваясь с разочарованием, мы можем пытаться осуществить наши желания в своих мечтах, однако лучше было бы рано или поздно ценой приложенных усилий найти компенсацию в реальной жизни. Ситуация может быть усугублена и еще сильнее, если в результате потери витального контакта с реальностью, какими бы ни были причины, индивид останавливается, даже без предварительно пережитого разочарования, в состоянии бредовых мечтаний и совершенно не пытается найти выход в окружающий мир. В результате такое мечтание становится самоцелью, и, даже обладая иногда эмоциональной окраской, оно затеряется среди всего прочего, полностью уйдет под волны. Но и в таком случае оно кажется более желанным по сравнению с абсолютной пустотой.

Таким образом, мы пришли к тому, чтобы признать, что в психопатологии феноменологическая компенсация играет значимую роль. Правда, во многих случаях, как, например, у шизофреников-мечтателей, она противопоставляется эффективной компенсации. В конечном

счете, кажется, что они не только должны быть разделены, но феноменологическая компенсация должна занимать преобладающую позицию.

Различные механизмы и различные виды поведения при шизофрении — бредовые мечтания, патологические капризы, вопросительное поведение или поведение сожаления и т.д. — могут исполнять одну и ту же роль, что подтверждает данную точку зрения, как подтверждает ее и то, что одни и те же комплексы могут являться основой непохожих симптомов, которые способны ограничивать роль одних через патогенез других.

5. Проблема первичных и вторичных симптомов. Стремление к психоаффективному выражению

Проблема первичных и вторичных симптомов в психиатрии дает нам возможность еще раз настаивать на двойственном аспекте психических расстройств.

И прежде всего одно примечание: способность различать первичные и вторичные симптомы не может быть в полной мере противопоставлена относящейся исключительно к клинической практике способности различать основные и дополнительные симптомы; они характеризуют частоту повторения симптомов. Основные симптомы никогда, в принципе, не должны ослабевать и совершенно не предусматривают связи, которые, в конкретно определенной болезни, соединяют различные симптомы друг с другом. Классификация симптомов, разделяющая их на первичные и вторичные, наоборот, предусматривает, что основные и дополнительные симптомы должны, тем или иным образом, *вытекать* из первичных и вторичных симптомов, здесь имеется в виду, что в ходе расстройства, между ними существует генетическая связь; такая классификация в обязательном порядке приведет нас к *теории* изученной болезни. Точно так же Блейлер в своем исследовании шизофрении в первую очередь описал основные и сопутствующие симптомы шизофрении, а проблему первичных и вторичных симптомов затронул значительно позже, в главе, которую назвал «Теория».

Безусловно, мы можем ограничиться простым рассмотрением фактов, больше ничего не предпринимая. Однако это бы означало — отказаться от самого привлекательного в науке, отказаться как от возможности совершить ошибку, так и от необходимости развиваться; это бы означало — отказаться от бесконечного горизонта в пользу

серой стены, в пользу меню комплексных обедов; и каким бы шикарным ни было это меню, оно все равно рискует оказаться в помойке.

Потребность к упрощению и к обобщению так глубоко засела в нас, что было бы неправильно не двигаться проложенным ею путем. Именно эта потребность позволила нам отличить первичные симптомы от вторичных, чтобы, в конце концов, привести нас к «теории» болезни, которую нам хотелось бы изучить. Она, кстати, стремится еще дальше и подталкивает нас объединить все первичные симптомы в одну-единую базу, то есть — в единое первичное расстройство.

По мнению Блейлера, шизофрения — это болезнь органической природы. Именно под этим углом он изучает проблему первичных и вторичных симптомов. В качестве первичных симптомов он рассматривает патологические проявления, которые, кажется, напрямую зависят от скрытого органического процесса. Сейчас мы не станем перечислять все эти проявления. Для нас важно, что, в психологическом плане, в качестве первичного расстройства он рассматривал то, что может быть связано с самим этим процессом: как мы уже знаем, он считал, что это особое расстройство ассоциаций. Затем он пытался выделить остальные основные симптомы шизофрении, такие как ограниченность логического мышления, аффективное расстройство, аутизм, психическая амбивалентность и т.д. ... Следом идет гиперструктура, которая определяется психоаффективной составляющей комплексов. Хотя Блейлер рассматривает шизофрению прежде всего как органическую болезнь, тем не менее, в своей концепции аффективными критериям он отводит достаточно важное место, рассматривая их в качестве вторичных механизмов. С тех же позиций он рассматривает патогенез некоторых сопутствующих симптомов, таких, например, как навязчивые идеи и различные галлюцинации, но делает это исключительно со стороны их содержания, не всегда принимая во внимание, что комплекс, каково бы ни было его содержание, сам собой не способен дать объяснение, с психологической точки зрения, каким образом возникли столь исключительные феномены, коими являются навязчивые идеи и галлюцинации.

На такую точку зрения не могли не отреагировать. Именно поэтому Груле⁵⁷, приведу только в качестве примера, помещает психосенсорные расстройства, а также «бредовые функции» (*Wahnfunktion*) среди первичных симптомов; по его мнению, эти симптомы совершенно не могут быть отнесены к набору комплексов и первичных

⁵⁷ Gruhle Hans W. *Die Psychologie der Schizophrenie*, 1929.

симптомов Блейлера, но представляют собой, если так можно сказать, особый неизменяемый разлом психики шизофреников.

Полагаю, что искать слабые места в столь масштабном произведении — пустая трата времени. Главное: постараться определить основные черты таким образом, чтобы раскрыть обширные перспективы для последующих исследований, случайно не разрушив то, что в этом произведении является позитивным; однако рассматривать его как окончательное и неизменное тоже не стоит. В данном случае наша задача состоит в том, чтобы, уважительно относясь к работе Груле, двигаться дальше.

В теории Блейлера есть два важных момента: 1. начальное расстройство относится к частичной фикции, имеется в виду — к ассоциативной функции; 2. вся концепция выстроена на основании понятия «болезнь», то есть жизнь шизофреника представлена в виде *патологического* изменения нормальной психики. На основании этого я бы с радостью поговорил об *анатомо-медицинской* теории. Слово «анатомический» относится не столько к отправной точке органицизма, которого придерживался Блейлер, сколько к тому, что душа человека рассматривается по частям, при этом одна из частей, с точки зрения психологии, является местом, где размещается начальное расстройство. А слово «медицинский» указывает на то, что все ситуации в контексте нормальной жизни рассматриваются с точки зрения присутствия «больного», а не «отличающегося» человека.

Сейчас становится понятно, что мы не будем вносить никаких значимых изменений в общую тенденцию этой концепции, даже если на место ассоциативной функции поставим какую-то другую функцию, например, эмоциональность или волю, в привычном значении этих слов, а затем попытаемся исключить из нее остальные «патологические» проявления шизофренической природы.

Однако принципиально отличное отношение может возникнуть относительно так называемых психопатических феноменов.

Повсюду, где бы мы ни сталкивались с психическими проявлениями, они рассматриваются нами в качестве *единства*. Это общий принцип, который совершенно не терпит исключений.

Точно так же происходит, когда мы сталкиваемся с шизофренией или с другим проявлением «сумасшествия». В данном случае имеется в виду, прежде всего, не расколотая психика, искаженная патологическим процессом, а психическая жизнь *sui generis*, образующая единое целое; нам же необходимо постичь все это.

Безусловно, психическая жизнь больных и нормальных людей различается, но пока мы должны уточнить это иным способом. Больше не стоит вопрос о расстройстве, относящемся к какой-то функции, речь идет об *общем* изменении *структуры* психической жизни, являющейся чем-то единым и неделимым. Теперь на первый план выходит не формулировка «быть больным», а формулировка «быть отличным от...», которая, вероятно, со временем, и только со временем, может быть использована в медицинских целях для обозначения любого патологического изменения. Так, развивая концепцию Груле, мы можем теперь вместо слова «менее» использовать слово «иначе».

Определим это как *феномено-психопатологическое* отношение.

Среди понятий, введенных Блейлером, есть одно, которое, бесспорно, относится к такому виду отношения. Это *аутизм*. Говоря об аутистической *форме* психической *жизни*, мы можем попытаться составить ее живую картину. Очевидно, что с прагматичной точки зрения аутистическая жизнь не согласуется с требованиями окружающей действительности, однако неевклидова геометрия с ними тоже не согласуется. Если на основании этого мы сравним такую жизнь с евклидовой геометрией, она будет представлять собой здание, части которого как нельзя лучше сочетаются между собой; несогласованность с окружающей действительностью вовсе не является критерием внутреннего разделения или противоречия. Если аутистическую жизнь рассмотреть изнутри, не будет ли она также совершенно однородной, хотя при взгляде снаружи в ней на одну «аксиому» меньше, чем в нормальной жизни?

Как мне кажется, именно таким образом понятие аутизма указало нам на все нюансы и стало своеобразным отправным моментом, направленным на то, чтобы с новыми силами заняться более глубокими исследованиями шизофренической формы психической жизни. Едва ли стоит напоминать, что аутизм ни при каких обстоятельствах не должен быть приравнен к набору комплексов и тем более к нарциссизму или аутоэротизму; он представляет собой не что иное, как особую форму психической жизни.

Проблема первичных и вторичных симптомов, или на данный момент правильнее будет сказать, первичных и вторичных проявлений, которые наблюдаются в ходе этого психического заболевания, тоже предстала перед нами в ином виде. Именно таким образом, кажется, психические стереотипы при шизофрении сослужили хорошую службу, прежде всего в качестве общего отношения, они помогли осуществить нечто, напоминающее заполнение феноменологической

пустоты, которую образовало в психической жизни первоначальное расстройство. В таком случае психоаффективному содержанию отводится только второе, а точнее даже третье, место (первое звено было сформировано общим расстройством); психоаффективное содержание не столько объясняет причины возникновения психического расстройства, сколько *ограничивает* общие виды отношения несколькими событиями либо из прошлой, либо из настоящей жизни больного, чтобы наделить эти отношения некоторой жизнеспособностью.

Безусловно, пока преждевременно пытаться объяснить этим все психические проявления, которые мы можем наблюдать у шизофреников; в частности, если обратить внимание на галлюцинаторный феномен, то можно заметить, что он совершенно не подпадает под объяснения подобного плана. Однако складывается впечатление, что нам удалось выявить новую методику, которая даст возможность разобраться, каким образом различные феномены болезненного сознания выстраиваются в последовательности.

И вновь мы приблизились к гипотезе, уже не раз сформулированной ранее по поводу маниакально-депрессивного психоза. Ни депрессия, ни состояние эйфории, ни бессвязность мышления, ни меланхолический психоз вовсе не являются первичными проявлениями в психологическом плане этого заболевания, так как все они представляют собой в некотором роде вторичное развитие эмоциональной природы, идейное и эмоциональное, особую форму психической жизни, которая и характеризуется маниакально-депрессивным психозом. Возникает вопрос: почему у одних больных шизофренией мы сталкиваемся с психическими стереотипами, тогда как у других таких стереотипов нет, почему у некоторых больных, пребывающих в подавленном состоянии, случаются меланхолические психозы, а у других их вообще не бывает? Чтобы не прибегать к каузальной потребности, что всегда достаточно проблематично в случае наших больных, скорее, верным будет соотнести эти различия с тем, что мы могли бы обозначить как *стремление к психоэмоциональному или психоаффективному выражению*. Больной может пытаться, тем или иным способом, выражать привычным для него языком идеи, эмоции, чувства, особую ситуацию, в которой он находится. А все то, что стремится быть выраженным, как мне кажется, и является более живым, более пластичным и человеческим критерием, а также и более допустимым по сравнению с каузальной потребностью, следы которой мы едва можем обнаружить в реальной последовательности событий в психических расстройствах.

Понятие стремления к выражению подводит нас к тому, чтобы уточнить значение, которое мы в него вкладываем. Обычно мы говорим о выражении, когда речь идет о том, чтобы с помощью слов, жестов и мимики выразить наши идеи, эмоции, чувства, желания — все эти критерии нашей внутренней жизни, представляющие для нас что-то «окончательное», «элементы», за которыми уже больше ничего нет. Но разве подобная концепция психической жизни соответствует действительности? После всего того, что уже было сказано в этой книге, мы скорее будем склонны поверить, что психическая жизнь каждого из нас поддерживается чем-то другим, отличным от набора идей, эмоций, привязанностей, желаний, конфликтов. Все эти проявления, в силу их точных и позитивных характеристик, не могут охватить «всё» в этой жизни. Говорят, что за всем этим стоит целый набор глубоких критериев, иррациональных, загадочных, неосознаваемых, которые нам так близки, что мы в них с радостью усматриваем истинный источник жизни, глубокий и неиссякаемый, не больно-то позволяющий точным и логичным элементам, о которых шла речь, плавать на его поверхности. Давайте назовем этот источник формой или рамками жизни и тогда сможем сказать, что конкретизация и внешние проявления этого источника теперь происходят, постепенно истощаясь, не в один, а в два этапа. Первый этап состоит из набора психоаффективных факторов нашей жизни, второй — из психомоторных проявлений (слова, жесты, мимика), о которых мы говорили чуть выше. Очевидно, что первый этап относится к нашему сокровенному в большей степени, чем второй, скорее промежуточный между настоящей внутренней жизнью и тем, каким образом она окончательно выходит наружу, чтобы, оказавшись на поверхности, погибнуть в потоках небытия. Мимика может быть более или менее экспрессивной, поскольку, учитывая данную точку зрения, все мы — актеры на огромной сцене жизни. По аналогии с этим, психическая жизнь может отличаться и изменяться от индивида к индивиду и тоже быть более или менее экспрессивной; я имею в виду, что стремление выразить психическую жизнь при помощи слов, жестов, через внешнюю деятельность и при этом ничего не оставлять в себе, тем самым оскверняя свою собственную личную жизнь, может быть более или менее серьезным, а стремление трактовать только для нас самих является источником жизни, который бьется в нас через психоаффективные критерии осознаваемой природы и точно так же может проявляться на различных уровнях. Есть люди, как бы настроенные на конфликты, благодаря которым

и наполняется их жизнь; почти все служит им поводом для конфликта; так и хочется сказать, что они стремятся совершить своеобразный подвиг. Тем не менее их жизнь не кажется нам ни более богатой, ни более глубокой по сравнению с жизнью других людей. Просто создается впечатление, что «способность создавать конфликты» в данном случае достигла максимальной точки; она возникает в результате чрезмерного стремления выражать жизнь через ее психоаффективный уровень и перестает соединяться с ней, используя в своих целях все, чем мы обладаем в жизни: нравственные и религиозные феномены, социальные феномены и т.д. ... Но есть и другие индивиды, в чьей жизни, даже во внутренней жизни, намного меньше идей, стремлений, проблем, конфликтов. Однако из-за этого их жизнь не становится более бедной; просто они намного лучше приспосабливаются к самой форме жизни и проживают ее, не испытывая потребности выражать происходящее посредством психоаффективной лексики. У них не возникает проблем, связанных с бесчувственностью, с невозмутимостью, со сдержанностью или скромностью и тем более с яростью и гневом; при этом, описывая их, мы не можем сказать, что они в чем-то ограничены. Они живут так, чтобы не мчаться по жизни, не говорить о ней ничего дурного, не впадать в мистические состояния, не лишать себя чего бы то ни было, становясь аскетами, и, конечно, не кичиться своим умом. Все их отношения уже находятся на психоаффективном уровне, а не где-то за его пределами. Они позволяют основным жизненным феноменам руководить ими, стараются приблизиться к самому смыслу жизни, делая это безмолвно, без слов и даже без «внутренней речи», возможно, потому, что им кажется неуместным объяснять, используя обычный язык повседневной жизни, значимые факты жизни в целом.

Такое стремление с психоэмоциональным и психоаффективным выражением проникает в больное сознание точно так же, как и в нормальное сознание, с той лишь разницей, что в больном сознании, расколотом в ходе повреждений, возникающих из самого жизненного источника, это стремление постоянно необходимо ему, чтобы хоть немного пополнить жизненные силы, тогда как в нормальном сознании, наоборот, стремясь захватить психику, оно рискует иссушить ее собственные источники.

Чтобы вернуть в область психопатологии различные мысли, чувства, эмоции, проявления воли (опять же относительно того, что касается их содержания, но в качестве особых видов отношения), кажется,

нужно создать *неизменяемый* блок, чтобы заполнить и выразить, в зависимости от обстоятельств, особую структуру психической жизни, которая была создана болезнью. Именно таким образом возникают ее вторичные проявления.

Но остается ли вообще хоть что-нибудь от психики, если мы поочередно отделяем от нее мысли, чувства, волевые акты, и не является ли структура, о которой мы здесь говорим, просто мифом? Да, что-то остается, даже что-то весьма существенное — остается то, как *живое «я» располагается во времени и пространстве*, разумеется, не в измеримом времени и не в геометрическом пространстве, а во времени и пространстве, которые даже без своего конкретного содержания не являются мертвыми формами, но, напротив, как мы знаем, полны жизни.

Занимаясь феноменологическим анализом таких пространственно-временных отношений, мы и сможем обнаружить основу структурного аспекта психических расстройств.

Оппозиция, которую мы создали между психоаффективным и структуральными аспектами психической жизни, как в области нормы, так и в области патологии, ни в коем разе не может быть противопоставлена существовавшей ранее оппозиции содержания: предмета и вещества, с одной стороны, и формы — с другой. Вся первая часть этой книги является тому свидетельством. Конечно, мы можем утверждать, что именно моральный порыв создает перед нами будущее во всем его величии и могуществе и таким образом определяет рамки, в которых разворачивается наша жизнь — повседневная, коллективная и научная; при этом он не предоставляет нам знания о том, откуда у нас возникает понятие будущего, так как расценивает его в качестве принадлежащей ему собственности; однако, утверждая это, мы совершенно не объясняем чисто формальные отношения, в привычном значении слова, а, наоборот, затрагиваем самые чувствительные, самые тонкие струны нашего существа.

6. Пример: анализ случая патологической ревности, развернувшейся на фоне психического автоматизма

Чтобы показать, каким образом в данном случае различные факторы — клинические, эмоциональные и структурные — располагаются, перепутываясь между собой, мы предпочли выбрать нижеследующее наблюдение:

Г-жа Л., в возрасте 35 лет, только что получила консультацию в диспансере психической профилактики. В течение долгого времени она была рабочей на одном заводе, где и ее муж трудился бригадиром смены. При первом обследовании больная жалуется, что, как ей кажется, все посмеиваются над ней, потому что она не такая, как все, что ее голова будто зажата в тиски. Однако главная цель ее визита — чувство ревности, которое она испытывает к мужу; около двух лет назад ее муж привел в дом одного из своих друзей; не понимая, каким образом это произошло, она ощутила укол ревности: внезапно ее посетила мысль, что у мужа могли быть отношения с этим человеком; с того дня она не переставая ревновала мужа ко всему и ко всем; доходило до того, что она устраивала ему «невыносимые сцены», особенно во время менструации; совершенно отчаявшись, несколько дней назад она хотела утопиться.

Муж больной женщины предоставил следующую информацию:

Они поженились в июне 1914 года. Несколько месяцев спустя его призвали в армию; он был ранен и попал в плен, так что вернулся домой только в декабре 1918 года.

До возникновения у жены этого расстройства он не замечал ничего необычного. Впрочем, припоминает, что на следующий день после свадьбы она устроила ему небольшую сцену, утверждая, что он женился на ней не по своей воле. У нее, в принципе, был очень ревнивый характер, она даже испытывала ревность к сестре, так как той удалось лучше устроиться в жизни.

После возвращения мужа из плена, с 1918 по 1925 год, временами она ощущала излишнюю нервозность, но никаких странных мыслей у нее не было.

Припадки возникли внезапно, два года назад. Однажды муж вышел всего на час, а когда вернулся, она обвинила его в нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого подобные сцены повторялись достаточно часто, они не были связаны ни с чем, могли случаться, даже если он задерживался хотя бы на пять минут. Он обращался к врачу, но назначенное седативное лечение было безуспешным, и врач выдал направление на лечение в психиатрической больнице; однако муж не спешил отправить жену в лечебницу.

Отец больной был алкоголиком, а один из ее двоюродных братьев страдал от психического заболевания.

Больная — отличный работник, прекрасная хозяйка, в доме чисто и уютно, она очень любит своих детей и мужа, если не считать сцен ревности, которые устраивает ему.

У нас также была возможность увидеть детей больной, и их внешний вид, их манеры являются подтверждением того, что мама заботится о них очень хорошо.

Во время второго посещения больная рассказала нам следующее:

В возрасте 19 лет она заболела корью; и после этой болезни в течение нескольких месяцев ей не давали покоя мысли, что над ней насмеются, что все смотрят на нее свысока, что у нее слишком сильно потеют ноги, источая тошнотворный запах, и все, определенно, ощущают это.

Примерно в то же время на ее счет распустили «сплетни», обвиняя в том, что она состояла в интимных отношениях с какой-то девушкой. Это вывело ее из себя.

Тогда же она была влюблена в молодого человека, который предпочел ей одну из ее подруг. Из-за этого она сильно ревновала.

В 23 года она вышла замуж по расчету. С самого начала ее муж был достаточно холоден с ней, да и она сама не получала с ним особого удовольствия.

Она была очень веселым ребенком, затем, когда стала девушкой, у нее случались приступы уныния, в том числе после ее несчастной любви и во время свадьбы.

В годы войны она вступила в интимную связь, что повторилось еще один раз после войны. Ей казалось, что она находится под воздействием этого человека и не в состоянии противиться его воле.

Два года назад муж усомнился в ее супружеской верности. Тогда она начала обвинять его в ответ и ревновать, совсем отчаялась и даже подумывала о самоубийстве.

Она очень хорошо помнит, при каких обстоятельствах впервые испытала ревность: ее ревность была направлена на старинного приятеля мужа; однажды, увидев, как они возвращались вместе, она уверовала в то, что у них грязная связь. С тех самых пор она ревнует своего мужа, ее ревность направлена одновременно и на мужчин, и на женщин.

Раньше у нее нередко бывали непонятные недомогания; все эти недомогания исчезли, как только ею овладела ревность. Более того, она заметила, что приступы ревности чаще всего случаются на следующий день после интимных отношений с мужем.

Мы уже почти поверили, что в данном случае речь идет в первую очередь об эротическом проявлении патологической природы у человека, который всегда был склонен к ревности. Особо не задумываясь, больная предоставляет сведения о своей интимной жизни, которые могут играть роль аффективных комплексов, она устанавливает тесную связь между своими эротическими проявлениями и своей инстинктивной жизнью. Кажется, можно допустить, что в основе психических расстройств, от которых страдает наша больная, стоят прежде всего критерии аффективного порядка.

Однако более глубокое обследование выявило симптомы совершенно иной природы. Наличие самих симптомов, а также то, каким образом все эти расстройства выстраиваются, скажем так, относительно друг друга в больном сознании г-жи Л., подводит нас к тому, чтобы подвергнуть более глубокой критике концепцию, которая была только что сформирована; эти симптомы фокусируют наши патогенетические исследования в другом направлении.

С больной мы встречались регулярно, каждую неделю, в течение многих месяцев. Предоставим ей слово:

11 мая 1927 года. На этой неделе она была спокойнее, не испытывала ревности к мужу.

Когда ей лучше, она пытается понять, что доводит ее до такого состояния. В ней самой есть что-то странное, мистическое, чужое. Она не узнает себя, испытывая такую ревность; ей кажется, что у нее никогда не было подобных мыслей; она задается вопросом: может, все это из-за влияния каких-то третьих лиц?

Ревнуя к женщине, она довольно часто испытывает неприятное чувство, полагая, что та повторяет ее действия; она видит в ней черты своего собственного «я», но больше «не находит этих черт в себе самой».

Ее не покидает убеждение, и оно абсолютно непоколебимо, что женщина, к которой она ревнует, знает все, о чем она думает, короче говоря, эта женщина заняла ее место. «Но ведь люди не могут вселяться друг в друга, вот что не дает мне покоя»; кроме того, она считает себя не такой, как все.

Когда она думает о чем-то, ей кажется, что она ведет с кем-то беседу. Когда она работает, ей кажется, что ею кто-то управляет, говорит ей, например: иди в уборную; получается, она может беседовать с ним. Она уже и не знает, принадлежат ли ей эти мысли.

С ее сознанием кто-то что-то сделал, изменил ее; если бы знать кто, она могла бы лучше обороняться.

Когда она второй раз вступила в порочную связь, у нее было ощущение, что это происходит с ней помимо ее желания. Знакомый воздействовал на нее, внушал ей свои мысли, и даже его жена помогала ему в этом. Он был безнравственным человеком. Она никогда не любила его, но что-то подталкивало ее к нему, вопреки собственной воле.

В возрасте 19 лет она часто переезжала, так как не могла смириться с мыслью, что все насмеются над ней, и из-за этого плохо себя чувствовала. Кстати, такие мысли были у нее достаточно долго, до самой свадьбы, а если честно, до того, как она впервые вступила в греховные отношения; она была привязана к этому мужчине.

В данном случае, больная устанавливает тесную связь между кри-териями аффективного порядка и причиной возникновения своих рас-стройств. Однако мы видим, как четко вырисовывается, даже не учи-тывая припадки ревности, набор признаков, которые указывают на наличие синдрома де Клерамбо: полет мысли, внутренние диалоги, проговаривание действий, мысли о воздействии извне. Кроме того, мы видим, что присутствуют механизмы идентификации и проеци-рования (замечает свои собственные действия у женщины, к кото-рой испытывает ревность), что, как известно, является составным элементом транзитивизма. Аналогичные симптомы обнаруживаются и в рассказах больной, относящихся к ее прошлому; именно таким образом, как ей кажется, она и подверглась воздействию извне, когда после войны у нее случился адюльтер.

Все вышеперечисленные особенности во время наших последу-ющих наблюдений стремятся занять все более и более значимое ме-сто в клинической картине.

18 мая. В воскресенье ей показалось, что муж совершенно изменился; у него болела голова, он был в плохом настроении. Она спрашивала себя, не превратился ли он в такого же несчастного, как и она сама.

Однажды в октябре прошлого года у нее на руках уснул ребенок; она заподозрила, что муж усыпил их обоих. Потом ей казалось, что ребенок тоже полностью изменился; знакомый, с которым она встречалась во время войны, кашлял; ей мнилось, что точно такой же кашель появился у ее сына. Она предполагала, что теперь подобным испытаниям подвергнется какая-то другая женщина.

Кроме того, и это особенно странно, ее муж менялся настолько часто, что почти не бывал одинаковым. Когда она чувствовала себя хорошо, ока-зывалось, что муж чувствует себя плохо. Порой ее одолевали сомнения: может, им обоим что-то сделали? (Плачет.) Иногда она спрашивает себя: а не муж ли — ключ к этой загадке, которую он почему-то не хочет раскрыть ей? Мать ее мужа, живущая с ними, тоже сильно изменилась за прошед-ший месяц; она все время думает о чем-то, хотя раньше постоянно болтала.

Как только старший мастер прошел мимо ее станка в цеху, ей стало до дрожи не по себе.

Ее посетила мысль, что этот мастер воздействует на блондинку, к ко-торой она ревновала.

Возможно, это и неправда, а только ее воображение. Порой ей ка-жется, что она сошла с ума. Ее душит отчаяние, поскольку она начала по-дозревать уже всех вокруг.

Нечто злобное творится с ней в отношении мужа. Приходится убеждать себя, что это совсем не она; временами так и есть. (Плачет.) В первые десять лет совместной жизни она не устроила мужу ни одной сцены. И даже если бы узнала, что он ей изменял, она бы просто не поверила. Однако в возрасте 19 лет, переболев корью, она испытывала ревность. Кстати, она никогда не понимала, почему вышла за него замуж, ей не нравились такие парни (как ее будущий муж.), и все-таки она стала его женой.

К составленной ранее клинической картине мы можем добавить несколько деталей. Больной слишком часто кажется, что вокруг происходят какие-то мистические изменения, как с ней самой, так и около нее. То она подверглась какому-то воздействию, то изменился кто-то из ее близких. В то же время естественные и банальные события, как уснувший у нее на руках ребенок, превращаются в проблему, вынуждая искать для них какие-то объяснения. Складывается впечатление, что в данном случае мы сталкиваемся с особым расстройством, относящимся к ощущению *естественного течения жизни*. События, которые обычно остаются незамеченными или считаются совершенно естественными, отделяются от этого течения с исключительной легкостью, внезапно превращаются в независимые факты и проецируются на ощущение присутствия мистики, что, как кажется, и представляет собой основу возникновения данного психического расстройства⁵⁸.

Все эти события, отделившиеся от *естественного течения жизни*, нередко являются отправным моментом для возникновения болезненных идентификаций, о которых мы говорили чуть выше. Именно поэтому в кашле своего ребенка она обнаруживает сходство с кашлем ее давнего знакомого и начинает верить, что какой-то другой женщине придется испытать все то, что испытывает она сама.

Некоторые речи нашей больной могут заставить нас считать, что она отдает себе отчет в том, что с ней происходит, как минимум частично. Хотя в действительности она по-прежнему патологически убеждена, что вокруг нее происходит что-то странное и мистическое. Она признает наличие болезни исключительно как одно из проявлений

⁵⁸ Такое впечатление о странных изменениях достаточно часто встречается во время психозов, основанных на психическом автоматизме. Именно поэтому больная, которую я описывал ранее («*De la rêverie morbide au délire d'influence*». L'Évolution psychiatrique, t. II), рассказывала, кроме всего прочего, что во время консультаций она видела своего врача в четырех или пяти разных образах: большим и маленьким, более молодым и более старым, с глазами разного цвета.

зловредных действий, направленных против нее, и по этой причине хочет, чтобы врач оказал ей помощь.

Все приведенные факты были собраны во время последующих осмотров.

1 июня. Она чувствует себя лучше. Мысли о ревности ее больше не посещали; поэтому она очень счастлива. Однако появились мысли о том, что ее осуждают за противоестественные отношения с родной сестрой. В какой-то момент они подействовали на нее, но затем она сказала себе, что кто-то поступает так нарочно, чтобы посмеяться над ней.

Это вовсе не голоса, это мысли. Она точно знает, так как раньше ей приходилось слышать голоса; они говорили, например: твой муж обманывает тебя; это было именно так, как если бы кто-то разговаривал с ней, но голос она слышала не ушами, а непосредственно мозгом.

Она возвращается к пониманию себя, затем снова теряется, а еще очень часто изменяется. Будучи в нормальном состоянии, она думает о своих родителях и чувствует себя хорошо.

В те моменты, когда она чувствует себя лучше, оказывается, что в доме тоже все улучшается.

Когда она была маленькой, ее родители без всякого стеснения обсуждали при ней всевозможные вещи. Лет в семь или восемь она слышала, как они говорили, что пономарь — человек нетрадиционной ориентации. Она совершенно не думала об этом, но на днях вдруг вспомнила.

А еще, когда она сама и ее младшие сестры были маленькими, они жили в деревне, и мама, после того как они справляли нужду, отправляла их к собаке, чтобы та вылизала им все сзади.

8 июня. На этой неделе ее не посещали болезненные мысли; она чувствует вкус к жизни, получает удовольствие от смены обоев в квартире, осознает, что напрасно изводила мужа.

Раньше она достаточно часто ассоциировала себя с человеком, с которым общалась: это сильно ее раздражало, она спрашивала себя, неужели ей суждено жить так постоянно, прицепляясь к другим. Сегодня в полдень она даже поинтересовалась у мужа, не была ли случайно им.

15 июня. Должно быть, она думала о собаке, так как ей казалось, что все вокруг с собачьими головами; сцены из детства, о которых она рассказывала, снова пришли ей на ум. Будто кто-то послал ей эти мысли напрямую. Она считает, что этот «кто-то» не здесь, а еще: что в ней сосуществуют две личности и вторая — ее копия. Всякий раз, как она смотрела на кого-то, ей казалось, что этот человек знает все ее мысли, знает, что она думала о собаке; она убедила себя, что кто-то присутствовал при тех сценах из ее детства, а сейчас использовал это против нее. Раньше она

часто вела мысленные беседы; ей говорили, например: такая-то сделала то и это; речь шла о женщине, которая, как она считала, была любовницей ее мужа. Она совершенно уверена, что здесь дело не в болезненном феномене, иначе как получается, что эта женщина двигается, говорит и смеется точно так же, как она раньше, когда ей было 19.

В течение долгих пятнадцати лет она была убеждена, что каждый ее собеседник считал, будто она источает неприятный запах. Эта мысль перестала ее преследовать только два года назад, когда у нее начали появляться мысли о ревности.

Теперь мы можем дополнить свой анализ.

Иногда у нашей больной наблюдаются черты мании преследования. Именно поэтому она считает, например, что кто-то присутствовал во время сцен с собакой и сейчас пытается использовать это против нее. Однако мания преследования проявляется только эпизодически, не фиксируется и не систематизируется на каком-то определенном моменте. Это, кстати, как нельзя лучше сочетается с общим поведением больной; она легко идет на контакт и даже слишком доверчива, совершенно не ведет себя как параноик.

В первую очередь нас интересует, каким образом прошлое проникает в большое сознание. Прежде всего, можно сказать, что больная ищет отправную точку именно в прошлом, вопреки непрекращающимся изменениям, которые, как она считает, происходят. Мы связали эти изменения с нарушением ощущения естественного течения становления; помимо прочего, они создают впечатление особого разделения собственного «я» на части относительно времени. Поэтому она заявляет, что приходит в себя, когда думает о родителях; в такие моменты она ощущает себя самой собой. Этот механизм очень легко понять: прошлое, вместе со всеми его эмоциональными привязанностями, в обыденной жизни является одной из основ понятия стабильности и идентичности собственного «я».

«Обращение к прошлому» способствует внезапному появлению воспоминаний, связанных либо с детством, либо с более поздним периодом жизни: услышанные рассказы из детства, сцена с собакой, первая любовь, порочные связи. Не обсуждая пагубные последствия, к которым могли привести эти события, мы можем утверждать, что в данном случае воспоминания подвержены патологическим изменениям, навязанным, скажем так, законами, управляющими умственной деятельностью нашей больной. Эти воспоминания легко приобретают навязчивый характер, точнее, характер пережевывания или

ментизма, а что еще хуже, они тут же объединяются с психическим автоматизмом либо даже с механизмами идентификации и проецирования, характеризующими, как мы уже знаем, уровень сознания г-жи Л., на котором проявляются психические нарушения. Вот почему, когда она вспоминает сцену с собакой, ей кажется, что у всех окружающих ее людей собачьи головы; по этой же причине, в ее представлении, у женщины, к которой она испытывала ревность, движения, речь и смех точно такие же, как были у нее в 19 лет; аналогичная картина и с тем, как раньше она воспринимала кашель своего сына, и т.д.

Кроме того, мы не можем оставить без внимания еще одно из утверждений нашей больной: по ее словам, в течение пятнадцати лет она полагала, что была нездорова, причем такие мысли у нее появились еще в 19 лет. Конечно, здесь речь может идти о ретроспективной интерпретации, но, с другой стороны, мы знаем о существовании случаев, когда подобные расстройства сохранялись на протяжении длительного времени, не проявляясь никаким видимым образом.

22 июня. Эта неделя была лучшей. Она больше не считает, что кто-то догадывается о ее мыслях или посылает свои мысли ей; кстати, у нее были приступы головных болей.

В самом начале войны она была убеждена, что у нее с мужем идентичные характеры и что сами они идентичны. На основании этого она верила, что может просматривать всю прошлую жизнь своего мужа. Два года назад муж начал делать ей упреки, обвинял в распутстве, тогда она решила, что не она, а он совершил адюльтер; получается, что именно он породил ее ревность.

Нам удалось уточнить, каким образом упреки мужа смогли стать причиной ее ревности. Думаю, в данном случае не идет речь о более или менее сознательной уловке, в основе которой стоит формула «обвиняй сам, чтобы не быть обвиненным», как могло показаться изначально; скорее всего, здесь имеет место проявление, полностью подчиняющееся болезненному принципу идентификации, этим все и объясняется.

6 июля. Порой что-то заставляет ее поступать совершенно по-идиотски. Это еще больше подталкивает ее к тому, чтобы говорить и делать глупости. Как будто она пугается кого-то или чего-то. Но патологический феномен

здесь ни при чем, наоборот, она уверена, что все это делает кто-то другой. Безусловно, этот «кто-то» должен обладать колоссальной силой воли.

14 сентября. (После длительного шестинедельного перерыва на каникулы.) В общем, она чувствует себя достаточно хорошо, считает жизнь сносной, однако в ней самой еще много странного.

Что-то все время провоцировало ее еще раз подумать над тем, что она делала раньше. Но стоит ей подумать об этом, несколько мгновений спустя все возвращается с какой-то необыкновенной силой, напоминающей обвинение.

Она подумала о человеке, который был уже мертв, и у нее создалось впечатление, что они разговаривают и этот человек отвечает ей. Потом она решила, что может говорить с привидениями. А еще считала, что у мертвого может узнать обо всем, что он делал. В цеху иногда пахнет смертью, трупами.

Она уверена, что своими мыслями соответствует другому человеку. Она пытается думать, чтобы понять, знает ли кто-то ее мысли; являясь утверждением, это всегда возвращается к ней в форме обвинения.

Она устала от того, что всем вокруг все известно о ее жизни, ей осточертело, что все знают слишком много.

Возможно, внутри нее находится призрак мертвого человека, который копается в ее мыслях. Иначе, как еще объяснить, что все знают, о чем она думает. Стоило ей только подумать о том, чтобы купить линолеум, как он тут же оказался у соседки. Получается, этой соседке удавалось завладеть тем, чего она (больная) желала, а значит, соседка обогащалась за счет ее желаний. Тогда она решила для себя, что будет думать только об ужасных вещах, чтобы это аукнулось алчной соседке.

В прошлый четверг и в прошлую пятницу она ходила и разговаривала точно так же, как бригадир.

В субботу снова стала самой собой, почувствовала себя хорошо, как в возрасте 18 лет.

28 сентября. Можно сказать, что с ней все время кто-то разговаривает и командует ею.

Она постоянно ощущает себя среди небытия, ей бы хотелось знать, откуда все это берется. У нее появляется уверенность, что это исходит от злобного человека, который относится к ней с ревностью.

26 октября. Только она подумает о чем-то, эти мысли тотчас же уходят к другому человеку. Кроме того, она считает, что мысли ей посылают; например, недавно ее посетила мысль, что она может быть беременна от собаки; эта мысль точно не ее, так как она никогда не думала о подобных безобразиях.

7 декабря. Больше не испытывает ревности. В цеху все с ней в равной степени вежливы.

Используя в речи местный диалект, патуа, она вспоминает детство, а когда говорит на французском, ей кажется, будто за нее разговаривает другой человек. «Но ведь это один и тот же человек, не правда ли?»

Недавно, при встрече с братом, она испытала такое же чувство, как в тот день, когда увидела его впервые, ей было тогда 18. (Речь идет о кровном брате, существование которого она не хотела признавать до 18 лет.)

Когда она разразилась рыданиями, то представила себя маленькой; в детстве она была очень робкой и часто плакала в школе.

Вопрос: «Эти слезы касаются каких-то воспоминаний?»

Ответ: «Нет, чувствую себя, как если бы я была ребенком».

Ей по-прежнему не дает покоя неприятный запах. Что-то заставляет ее думать о своем любовнике; видимо, внутрь нее проник другой человек, а именно — жена любовника, которая, кстати, уже мертва. Раньше эта женщина подражала ей во всем: как только она вывешивала свой ковер за окно, жена ее любовника делала то же самое; она копировала всю ее одежду, причем настолько, что через неделю у них уже были одинаковые платья. Эта женщина очень ревновала к ней.

Когда молодой человек, которого она в юности любила, женился на другой, ее тоже одолевала ревность, но то была ревность от отсутствия взаимности в любви, от ощущения, что у нее отбирают эту любовь. Сейчас все иначе. Она не любит своего мужа. Что-то другое заставляет ее ревновать.

Иногда ей кажется, что кто-то внутри нее мог бы любить ее мужа. «От таких мыслей меня выворачивает наизнанку», — говорит она, подозревая, что в ней каким-то образом оказалась женщина, которая встречалась с ее мужем. Эта женщина не такая, как все остальные; «она вроде меня» — имеется в виду, что они обе подвержены изменениям и испытывают на себе одни и те же феномены; либо, возможно, ей тоже все это кто-то сделал.

Раньше, выполняя супружеский долг, она была совершенно равнодушна и нечувствительна. А как стала ревновать, наоборот, испытывает огромное удовольствие.

14 декабря. На заводе с некоторых пор ее станок начал работать сам по себе; ничего подобного раньше не происходило.

Может, его заколдовали, думает она и уже готова поверить в это.

Она считает, что вокруг нее что-то происходит, но не понимает что.

Ей кажется, что она больше не принадлежит самой себе, заняла место кого-то другого. С ее мальчиком творится то же самое, у него случаются приступы грусти, можно сказать, что он всегда наполовину спит. Пусть все обрушится на нее, но не на ребенка. (Плачет.) Она убеждена, что ее

малышу что-то сделали. Вот уже пятнадцать дней сын ведет себя так, как она вела себя в детстве: он пугливый и скромный.

Она никогда не поверит, что все это сотворила с ней болезнь.

Она больше не знает, что представляет собой, умерла ее душа или еще жива.

25 января 1928 г. Уже некоторое время на заводе работает один китаец. Внешне и по поведению он похож на ее второго любовника, поступает точно так же; в результате, ей кажется, что она влюблена в него.

На самом деле она любила лишь однажды за всю ее жизнь, когда ей было 19 лет. Но сейчас она спрашивает себя, действительно ли сама любила того молодого человека, не была ли это ее подруга, которая находилась у нее внутри и любила его так сильно? Раньше она была уверена, что сама любила его. Даже во время собственной свадьбы она все еще думала о нем.

Должно быть, ее поставили на чье-то место, на место человека не в своем уме, либо ее муж предпочел другую женщину, воображаемую.

Это остается для нее загадкой, которую ей не удастся разгадать.

В клиническую картину, наброски которой у нас уже были, теперь мы можем добавить еще несколько деталей.

У больной возникают обонятельные галлюцинации: в цеху иногда пахнет трупами, кроме того, существуют неприятные запахи, которые посылают ей, и запахи, которые ее преследуют. Эти галлюцинации появляются у нее нередко; больная жалуется на них достаточно часто, намного чаще, чем мы отмечали в своих записях. Однажды, чувствуя себя лучше, она говорила нам, что ей отправляют приятные запахи, запахи живых цветов.

Иногда у больной проскальзывают зачатки мании величия; именно по этой причине она утверждает, например, что для воздействия на нее непременно необходимо быть очень талантливым и обладать колоссальной силой воли. Однако эта мания, как и мания преследования, которую мы уже рассматривали раньше, совершенно не фиксируется и проявляется только эпизодически.

Обратим внимание на то, каким образом больная группирует влияющие на нее патологические феномены, дабы предоставить «доказательства» их реального существования. Чтобы выяснить, знает ли кто-то ее мысли, она просто думает, и если мысли возвращаются к ней в форме обвинения, это, безусловно, доказывает, что все в курсе того, о чем она думает. У меня был другой пациент, имевший схожие симптомы, однажды он рассказал: «Я спокойно сидел в своем кресле

и вдруг услышал, как кто-то говорит: «такой-то сидит в своем кресле, у него на безымянном пальце кольцо, украшенное рубином», — и вы можете себе представить, у меня на самом деле на пальце было такое кольцо». В другой раз он услышал, как на улице кто-то заметил: «Такой-то что-то забыл», и — обстоятельство, которое доказывает, что всем известно буквально все, что с ним связано — он действительно забыл дома ключ от своей комнаты.

Порой наша больная защищает себя от того, что доставляет ей неудобство. Например, она утверждала, что ее соседке удавалось получить все то, чего она сама желала, поскольку та овладела ее мыслями, и тогда она принялась думать о самых жутких вещах, чтобы все эти ужасы случились у соседки. Аналогично больной, которого мы только что упоминали, прилагал нечеловеческие усилия, как он сам говорил, выдавая себя за другого, дабы сбить с толку своих преследователей: так, читая, он заявлял, что это кто-то другой увлеченно предается чтению.

Проекция в прошлое, о которой у нас уже была возможность поговорить чуть раньше, в данном случае проявляет себя так же ярко, как и в предыдущем. Больная постоянно связывает текущие события с событиями прошлого. Интересно отметить, что здесь имеют место не просто воспоминания, воскрешенные настоящими событиями; нет, скорее всего, это настоящая идентификация, возрождение прошлого со всеми характеристиками настоящего. Вот почему, во время визита ее брата, она видит себя такой, какой была в возрасте 18 лет, или, начав рыдать, ощущает себя маленькой девочкой. Вероятно, в этом и заключается один из эффектов раскола собственного «я» становления во времени, о чем уже шла речь выше. Живая перспектива, которая помогает рассмотреть прошлое с точки зрения настоящего, в данном случае ослабевает, в силу чего следы прошлого отождествляются с настоящим. Я уже обращался к этому в предыдущем исследовании⁵⁹. Хотя речь тогда и не шла о фактах, полностью совпадающих с теми, которые мы рассматриваем здесь, думаю, будет полезно напомнить, что, согласно гениальной концепции Пьера Жане, впечатление от «уже увиденного» не основывается на наличии ложных воспоминаний. Скорее, оно основывается на нарушении функции презентификации; ослабевание этой сложной и комплексной по строению функции влечет за собой впоследствии отображение в прошлом следов настоящего.

⁵⁹ Minkowski E. *Les regrets morbides*. Ann. Méd. Psych., novembre, 1925.

Этот факт мы пока упоминаем лишь мельком, так как сейчас настало время собрать все отдельные части воедино.

Если открыть один из классических учебников по психиатрии, например, учебник Шазлена⁶⁰, кроме описания навязчивых идей на почве ревности при алкоголизме, мы обнаружим там описание еще двух категорий патологической ревности: 1) патологическая ревность как разновидность отклоняющейся от нормы страсти, которая проявляется у неуравновешенных, а порой и слабоумных людей; 2) систематизированное ревностное безумие, разновидность хронического систематизированного безумия, основанного *исключительно* на бреде толкования.

Рассмотренный нами случай не относится ни к одной из этих категорий. У нашей больной чувство ревности возникает пароксизмально и проявляется на особом фоне психики.

Этот фон — синдром де Клерамбо, к которому присоединяются симптомы, относящиеся к механизмам идентификации и проецирования (транзитивизма).

Такое сосуществование симптомов описано не с целью удивить нас, так как они, и одни, и другие, относятся к чувству деперсонализации, или, точнее, представляют собой расстройство утверждения собственного «я» относительно пространства. В синдроме де Клерамбо отображается личная жизнь собственного «я», так сказать, снаружи, через транзитивизм, оно целиком и полностью проецируется за пределы, в пространство, и в то же время относится к другим людям. В данном случае все это напоминает повторение, как будто эхо собственного «я» — это эхо мысли.

Чтобы завершить картину, нам необходимо дополнить ее особым феноменом понятия длительности, который объясняется тем, что события появляются из естественного течения становления в большем объеме, чем нужно. Отделившись от этого течения, они либо ощущаются как невероятные и непрерывные изменения, происходящие вокруг больного и даже в нем самом, либо проецируются на его мистическую основу.

На данном этапе нас интересует, каким образом чувство ревности может быть соотнесено с уровнем сознания, из которого оно исходит.

⁶⁰ Chaslin Ph. *Eléments de sémiologie et Clinique mentales*, 1912.

На основании этого давайте начнем с констатации фактов. За больной мы наблюдали более года, в течение столь длительного периода нам удалось стать свидетелями различных изменений ее состояния. Эти изменения позволили нам увидеть, как различные описанные нами расстройства словно накладывались друг на друга в сознании больной женщины. В принципе, оказалось, что ревность была наименее постоянным симптомом; она возникала время от времени, чтобы вновь раствориться и не проявляться на протяжении долгих месяцев. Но отсутствие ревности вовсе не указывало на возвращение к нормальному состоянию. За этим симптомом стоял уровень сознания, особенности которого мы уже обозначили выше. Однако и в данном случае можно установить некую иерархию. Признаки психического автоматизма, а также и признаки транзитивизма, никогда не исчезая полностью, проявлялись в более или менее активной форме; порой они были едва различимы. Впрочем, было и то, что не проходило никогда, оставалось неизменным и даже становилось более отчетливым, когда все остальные расстройства, казалось, затихали, — это ощущение, что нечто мистическое окружает нашу больную со всех сторон. Именно по этой причине она рассказывала нам о «заколдованном» станке и постоянно повторяла, что вокруг нее есть «что-то, не поддающееся пониманию, какая-то мистика, которую она не в силах постичь».

Интересующие нас феномены размещаются в сознании больной на трех последовательных уровнях: 1) ощущение мистики; 2) психический автоматизм и транзитивизм; 3) ревность.

Однако данный факт совершенно не раскрывает того, какие связи существуют между ними. Это мы в первую очередь и хотим рассмотреть.

Доктор де Клерамбо, занимаясь исследованиями психозов на основании психического автоматизма, показал, каким образом факторы, имеющиеся от рождения, могли присоединиться к ядру этих психозов.

Не будет ли верным, если мы попытаемся отыскать аналогичную причину возникновения мании ревности у нашей больной? Некоторые факты свидетельствуют в пользу данной концепции. Муж отмечал у жены тенденцию к проявлению ревности. Но, продвинувшись немного вперед в изучении больной, мы видим, что ревность сводится у нее не только к синдрому психического автоматизма, истинного бреда ревности с добавлением мании преследования, как это бывает, например, у параноиков; дело в том, что в данном случае отсутствуют подозрительность и ревность в чистом виде. Больная

достаточно доверчива, ее ревность проявляется только эпизодически, принимая особую форму.

Это заставляет искать другие объяснения. Как мы уже видели, аффективные критерии постоянно проявляются в речах больной. Путеводная нить ведет нас, начиная от первого детского потрясения, через первое любовное разочарование, к браку, заключенному от досады, к последующим порочным связям и, в результате, к чувству ревности, а также к содержанию некоторых симптомов имеющегося психоза. Напрашивается вопрос: не будет ли в данном случае обоснованным рассмотреть аргумент в пользу исключительно аффективной трактовки этих симптомов? Селье разработал целую концепцию на тему мании воздействия; он признавал, что, прибегая к аффективному контрасту, индивиду удавалось избавиться от некоторых мыслей и ощущений, которые, в его восприятии, были навязаны ему кем-то другим. Еще несколько деталей доказывают достоверность этой гипотезы. Так, наша больная соотносит свою послевоенную связь, вызывающую у нее только самые неприятные воспоминания, с воздействием извне; она также признается, что нечто злобное творится с ней в отношении мужа, и не сомневается, что все это исходит не от нее самой; или выражается еще более четко: рассказывая об одной из своих мыслей, она сообщает, что «эта мысль не ее, так как она никогда не думала о подобных непристойностях». С другой стороны, сексуальные подробности, а также очень детальное описание ее фригидности в браке, фригидности, которая, после появления чувства ревности, сменилась на получение удовольствия, предоставляют нам возможность установить тесную связь не только с эмоциональной, в узком смысле этого слова, но и с инстинктивной жизнью нашей больной.

Сейчас у нас нет необходимости подробно обсуждать эти гипотезы. Давайте лишь вспомним, что, пытаясь найти аффективную причину возникновения расстройств, мы изначально установили достаточно серьезные аналогии, если не сказать абсолютное сходство, между психоаффективными проявлениями нормального и больного сознания; однако, не поняв, каким образом все эти различные факторы выстраиваются в одну последовательность, мы рискуем пройти мимо серьезной проблемы. В принципе, у нас нет ни одной причины, чтобы признать *априори*, что различные двигательные расстройства, связанные с притяжением или отвращением, которые может испытывать человек, не будут зависеть от ограничивающих эти расстройства *рамок*.

Как бы то ни было, кажется, есть еще один доступный способ.

Первый сдвиг в сторону психических расстройств у нашей больной произошел в возрасте 19 лет. С того момента, у нас есть серьезные основания так считать, она никогда больше не пребывала в прекрасной форме; похоже, все остальное время у нее был неясно выраженный синдром де Клерамбо; то же происходит и сейчас, когда она говорит, что ей лучше, и внешне ведет себя практически нормально. Кажется, можно признать, что различные стороны ее психики по-прежнему подчинены особой форме психической жизни, которую она ведет. Пожалуй, вполне вероятно, что патологические механизмы, контролирующие ее психическую жизнь, на нее и повлияли, особенно в период второго адюльтера, преобразовав «в любовь» то, что на самом деле было всего лишь глубоким влечением, безличным и неясным. В этом аспекте очень характерным нам представляется ее рассказ о китайце, который был нанят рабочим на завод, где она трудилась. «Внешне и по поведению он похож на ее второго любовника, поступает точно так же; в результате ей кажется, что она влюблена в него». В данном случае мы видим, что патологическое стремление выявлять подобия и совпадения появилось намного раньше, чем возникло чувство, которое, в той или иной мере, мы можем обозначить как «псевдолюбовь». В генезисе ее патологической ревности ведущая роль отводится механизму идентификации. Получается, она совершенно не заботится о том, чтобы установить разницу между свойствами и оттенками, существующую между этой ревностью и той, которую она испытывала намного раньше, когда возлюбленный нашей больной женился на одной из ее подруг, ведь его «она любила» и была очень расстроена, что он предпочел ей другую, а своего мужа не любила никогда.

Разве в действительности она испытывала чувство ревности, хотя и считает так сама? Вот вопрос, который мы должны задать себе.

Давайте вернемся к тем трем уровням, которые возникли, когда мы изучали различные патологические проявления нашей больной. Попробуем определить порядок, в соответствии с которым мы их распределили в виде естественного порядка, попытаемся разобраться, могут ли они возникать последовательно, один из другого.

Тайна — позвольте мне такое сравнение — подобна неведомой темной ночи, окружающей нас со всех сторон, а также напоминает черное, однородное, бесконечное пространство, похожее на то, которое мы видим, закрывая глаза. Ей чуждо все, что может быть центром формирования и особенно *естественной вереницей* фактов и состояний.

Однако психоаффективная жизнь не способна проникать в пустые рамки. Чтобы сохранять эти рамки в качестве несущей основы, она должна придерживаться принципов, которые согласуются с ее требованиями, то есть, прежде всего, придерживаться безличных принципов идентичности, однородности и подобия. Все эти принципы и руководят жизнью нашей больной. Ее «я» пытается утвердиться, но оно «здесь и не здесь», есть два «я», одно поставлено на место другого; окружающие ее люди проникают в него, сходства обнаруживаются повсюду, они служат для того, чтобы выявлять случаи отсутствия сходства, личная жизнь выходит за пределы, мысли пропадают и возвращаются и т.д. В этом и заключается попытка озарить кромешный мрак светом, однако она сводится к формированию мыслей, которые по-прежнему остаются под влиянием несущей основы, придерживаясь ее основных характеристик. Но все же такая видоизмененная картина намного ценнее пустоты.

Стоит только нашей больной еще хоть немного оживить уровень сознания, дополняя его аффективными критериями, кажется, это неминуемо приведет ее к возникновению чувства ревности. В действительности оно как нельзя лучше сочетается с основными чертами, которые руководят ее психической деятельностью. Ведь если через транзитивизм она идентифицирует себя с другим человеком, ставит себя *на его место*, говорит, что становится идентичной с ним, то в своей ревности она *желает быть на его месте*, желает иметь то, чем обладает другой, а у нее этого нет. Несущая основа, по сути, остается той же, разница заключается лишь в том, что во втором случае присутствует аффективный критерий, или, если вам так больше нравится, — страсть. «Я» не утверждает и через жалость; это чувство обезличивает, что, скорее всего, и отличает его от самолюбия и тщеславия. Самолюбие человека задевается, если он осознает, что является вторым, а не первым; он должен ликвидировать такую неприятную ситуацию, взаимодействуя с самим собой, личность конкурента в данном случае играет лишь вторичную роль. Касательно ревности все происходит наоборот: наши страдания от того, что не мы, а кто-то другой стал первым; в данном случае ударение падает на личность «другого», на месте которого мы бы хотели быть. Кроме того, самолюбие способно породить желание побеждать, ревность же, наоборот, вызывает желание мстить и разрушать. Получается, ревность, в силу того, что она негативна относительно утверждения собственного «я», абсолютно согласуется с принципами, которые характеризуют уровень сознания нашей больной. Психика, контролируемая

принципами подобия и идентичности, когда она обращается к аффективной сфере, сталкивается с ревностью. И все-таки это желание и страдание основаны на частичной идентификации с другим человеком, в значении вожеления того, чем обладает другой. Следовательно, в данном случае ревность представляет собой своеобразную защитную реакцию, стремящуюся заполнить аффективными факторами форму психической жизни, характеризующуюся первичным расстройством любовной привязанности. Как мы уже видели, что еще раз подтверждает нашу точку зрения, эта ревность совершенно не имеет отличительных черт, которые есть у привычной для нас ревности, это странная ревность — ревность без любви.

Давайте вспомним то, что мы уже ранее говорили о феноменологической компенсации и о типах поведения шизофреников. Попробуем двигаться в том же направлении в случае с ревностью нашей больной, попытаемся показать, каким образом она согласуется с уровнем сознания, точно определенным механизмом транзитивизма, который присоединяется к синдрому де Клерамбо. Хочу добавить, что наше объяснение данного случая, а также и всех подобных случаев, вовсе не нацелено на то, чтобы в полном объеме разрешить проблему патологической ревности.

Предыдущие рассуждения о транзитивизме позволяют нам сделать еще одно замечание по поводу его вероятного возникновения. Аналогия, существующая между этим феноменом и многочисленными проявлениями магического мышления у первобытных людей, позволила предположить, что любовная привязанность, удалив, скажем так, психические пласты, появившиеся значительно позже в ходе филогенеза, ввела в игру другие пласты, древние пласты предков, которые до этого момента были в спящем состоянии; и так встал вопрос о регрессии. Данная трактовка, какой бы идеальной она ни была, все-таки имеет подводные камни: даже не говоря о сложности подобной регрессии, можно возразить, что в первобытном образе мышления прежде всего преобладали коллективные представления, а психическое состояние сумасшедшего в первую очередь характеризуется отсутствием таких представлений. Как мы знаем, Блондель⁶¹ в своей работе «Болезненное сознание» («*La Conscience morbide*») настаивал на этом моменте. Кажется, вполне логично спросить себя, не стоит ли допустить какое-то другое объяснение. Из анализа нашего случая следует, что это, по сути, первичное расстройство; что касается

⁶¹ См. приведенную ранее цитату (Часть I, Глава I, § 3).

его принципов (идентичности, однородности, перестановки, подobia), выходя из свойственной им области, они проникают в сферу психической жизни, как если бы она была для них совершенно чужой, а не подчиняются ей как обычно. Получается, что здесь речь идет о глубоком изменении самой *формы* психической жизни, которую, как мы уже видели, больной выражает при помощи идентификации или даже при помощи психического автоматизма. Однако руководящие всем в данном случае принципы всегда оказываются под рукой, хотя обычно используются в других областях человеческой жизни. Если некоторые формы коллективной жизни первобытных людей развивались под руководством тех же принципов, это способно привести к некоторому сходству, но мы все равно не можем признать, что в случае наших больных речь идет о действительной регрессии или о возрождении древних пластов предков, и тем более о том, что наши предки в обязательном порядке должны были пройти через те же формы коллективной жизни, которые встречаются у диких племен. Мы все еще достаточно часто склонны рассматривать навязчивые идеи наших больных как их действительные убеждения, которые можно просто сравнить со своими собственными; на самом деле в таких ситуациях речь идет о способах мыслительного или психоаффективного выражения глубокого изменения самой формы их психической жизни. Именно эту форму нужно исследовать в первую очередь.

Остается сказать несколько слов о поставленном диагнозе. Безусловно, если мы будем рассматривать транзитивизм как патологический признак шизофрении, то диагноз уже поставлен. Однако поведение больной нельзя назвать поведением шизофреника. Она изначально доверяла нам, без всяких сложностей принимала наши советы, казалось, обладала правильной эмоциональностью, не переставала интересоваться деталями повседневной жизни, была глубоко привязана к своим детям и к своему жилищу, в ее идеации не было расстройств. По сути, мы не обнаружили ни недостаточности, ни развивающегося разрушения личности шизофренического типа. Похоже, это утверждение имеет более важное значение, чем мы думаем, оно позволяет признать, что расстройства могут длиться, в более или менее интенсивной степени, долгие годы, не проявляя никакого фактического дефекта. То, что мы выявили у нашей больной, хорошо сочетается как с доктриной доктора де Клерамбо о психозах на основании психического автоматизма, так и с нашей собственной идеей о шизофреническом процессе. В этом случае мы склоняемся к первому из двух имеющихся диагнозов.

Однако мы не можем оставить без внимания подходящее изменение, которое произошло в состоянии нашей больной за тот период, когда мы с ней работали. Очевидно, что больная далека от излечения; у нее по-прежнему сохраняется поверхностный синдром психического автоматизма, а ее прежние толкования не корректируются или корректируются только частично. Тем не менее, у нее заметно снижение напряжения, ее поведение во время консультаций является тому доказательством; еще более важный момент в том, что эти благоприятные изменения подтверждает и ее окружение, в первую очередь ее муж, он говорит нам, что жизнь в доме изменилась полностью. Конечно, может случиться новый срыв, но мы не должны терять надежду, что наше на нее воздействие привело в некотором роде к улучшению. Такое воздействие можно было осуществить, прежде всего, в силу отсутствия параноидального фактора, а если бы он существовал, то наше психотерапевтическое вмешательство было бы совершенно напрасным. В действительности нам достаточно быстро удалось наладить контакт, и именно благодаря повторяющимся беседам, поддержке и содействию, благодаря тому, что мы помогали ей облегчить существующие конфликтные ситуации, а также благодаря правильно подобранным рекомендациям нам удалось достичь определенного результата в случае, который с самого начала рассматривался как тяжелый, хотя мы продолжаем считать его очень сложным.

ГЛАВА III

ШИЗОФРЕНИЯ

1. Краткое изложение моей концепции

Мои первые исследования были направлены на изучение психопатологии шизофрении. Они основывались на работах Бергсона.

Бергсон противопоставляет два принципа в жизни. Разум и интуиция, мертвец и живой, неподвижный идвигающийся, человек и становление, пространство и проживаемое время — все это различные аспекты, под которыми проявляется его основное противопоставление. Ни один из них не способен самостоятельно обеспечить существование индивида, все они дополняют друг друга, но вместе с этим ограничивают, в свойственной им привычной манере, поле действия каждого. Разум следует за интуицией в достижении совместной цели, становление непрерывно распространяется на человека, а человек выдерживает этот контакт со становлением, не превращаясь в пепел. Но разве в патологии все бывает именно так? Достаточно часто патологические критерии каким-то избирательным образом обрушиваются сразу на оба принципа, о которых мы ведем речь, и в таком случае мы сталкиваемся с двумя обширными группами психических расстройств; их необходимо четко различать: одна характеризуется отсутствием интуиции и проживаемого времени, а также последовательным развитием разума и факторов пространственного порядка, другая диаметрально противоположна ей.

Первую из этих двух групп составить достаточно легко. Мы обнаруживаем ее реализацию в области шизофрении. Понятия Бергсона предоставляют нам новый аспект психопатологии этого заболевания.

Результаты своих исследований я изложил в книге «Шизофрения». Советую читателям ознакомиться с ее содержанием. Мои

исследования шизофрении могут также использоваться в качестве введения к проблемам, которые мы обсуждаем сейчас, могут поспособствовать лучше их понять.

Поэтому я позволю себе очень кратко пересказать содержание той моей работы.

Опираясь на понятие аутизма, в качестве основного расстройства шизофрении я решил принять *потерю витального контакта с реальностью*. Нам всего лишь нужно обратиться к тому, что уже было сказано на этот счет (Часть I, Глава 3), чтобы в полной мере осознать характеристику данного понятия. Впрочем, я на этом совершенно не настаиваю. Кстати, указанное понятие имеет несколько общих черт с «вниманием к жизни» Бергсона, а также близко по значению к «функции реальности» Пьера Жане; кажется, что оно находится где-то на оси координат, скажем так, между тенденциями развития философии и современной психопатологии.

Как только основное расстройство шизофрении было определено, стало возможным провести сравнительный анализ конечных состояний шизофрении, с одной стороны, и слабоумия, в узком значении этого слова, — с другой. Причина такого сравнения кроется в фундаментальном развитии этих клинических понятий. Любая приобретенная длительная ограниченность психических способностей в течение долгого периода определялась словом «слабоумие». Благодаря поступательной тенденции это обширное понятие было раскрыто, однако в нем имелось огромное количество неточностей, которые по-прежнему давали психиатрам возможность к большей части сумасшедших относиться просто как к «слабоумным», не прилагая никаких усилий, чтобы отличать одних от других, чтобы понять, что у этих больных еще осталось живого, неповрежденного и здорового. Значимое развитие понятия раннего слабоумия, произошедшее в течение второй половины текущего столетия, также является выражением этой тенденции. Истинное «раннее слабоумие», с которого все начиналось, видоизменяется под давлением Крепелина, становится обширной нозологической категорией, чтобы в конце концов дойти до понятия шизофрении, которое ввел Блейлер. За период эволюции этого понятия идея о «специфике конечных состояний» сыграла, начиная от Крепелина, очень значимую роль. Именно эту идею он и взял за основу, кроме всего прочего, чтобы сформировать единую нозологическую категорию клинических картин, которые очень сильно различаются между собой; однако все эти клинические картины были всего лишь вариантами одной и той же болезни, так как все они, спустя более

или менее длительный период, приводили к схожим конечным состояниям, но отличающимся от тех, что мы наблюдаем при органическом слабоумии. Безусловно, практически невозможно определить, используя общепринятые психологические понятия, в чем заключается данное отличие; но это не значит, что его нет и что оно не может помочь нам четко отличить, даже на конечных стадиях, давно существовавшее ранее «слабоумие» от прочих процессов дементности. Именно по этой причине, находясь под влиянием истории нашей науки, занимаясь своими исследованиями, я пришел к тому, чтобы заняться сравнительным анализом конечных состояний шизофреников и больных общим прогрессирующим параличом, выбрав их в качестве ярких представителей, имеющих органическое слабоумие.

В результате такого сравнения удалось подчеркнуть фундаментальное значение, которое имеет в жизни каждого индивида критерий «я — здесь — сейчас»⁶². Этот критерий не зависит ни от каких рациональных знаний (географических, геометрических и прочих), ни тем более от любых мнемонических образов; он является необходимой поддержкой для всех этих знаний и изображений, так как он сам представляет собой простейшее и неоспоримое доказательство жизненного динамизма. Кажется, что патологические процессы могут избирательно атаковать либо критерий «я — здесь — сейчас», либо изображения, возникающие в обычной жизни, которые образуются вокруг него. Так и возникает различие, как минимум, частичное, между конечными состояниями шизофрении, с одной стороны, и общим параличом — с другой.

Когда страдающий общим параличом доходит до стадии слабоумия, то почти всегда на вопрос «Где вы?» он отвечает: «Здесь», а если продолжать настаивать на деталях, он топает ногами или показывает рукой место, где находится. Для такого человека, пребывающего в состоянии недееспособности, возможность использовать минимальные точные знания, минимальные воспоминания «я — здесь — сейчас» происходит, так сказать, в голом виде. Шизофреник, если он вообще отвечает на поставленный вопрос, правильно указывает место своего пребывания. При этом, прекрасно *зная*, где находится, он говорит нам, что *не чувствует себя* там, не чувствует себя в своем теле, что слова «я существую» не имеют для него ясного смысла.

На менее продвинутой стадии мы наблюдаем у больных прогрессивным параличом реакции несколько более сложной структуры,

⁶² См.: Глава 4, § 6.

характер которых остается, однако, тем же. На вопрос «Откуда вы прибыли?» больной отвечает: «Оттуда, где я был прежде». Он, очевидно, дезориентирован в пространстве и неспособен назвать место, откуда прибыл, тем не менее у него все-таки сохранилась живая динамическая структура перемены места. Похожим образом, и мы с вами еще будем рассматривать это подробнее, на вопрос «Где вы?» страдающий старческим слабоумием ответит: «Я здесь *с сегодняшнего утра*» или «Я здесь *в ожидании*»; он стремится добавить какой-то временной критерий и прибегает к описаниям, когда не может поступить по-другому, в том случае, если ситуация совершенно не требует, как минимум немедленно, вмешательства критерия подобного порядка. У шизофреника, прежде всего, задет жизненный динамизм, при этом кажется, что он все больше и больше замедляется и заточает свою психику в отношения исключительно пространственного порядка. Самыми первыми, кто обратил внимание на то, что шизофреники достаточно часто заменяют союзы времени, например «когда», союзами места, например «где», были доктора Дид и Гиро. А совсем недавно Франц Фишер сообщил, что, по мере того как у шизофреников прогрессирует их расстройство, временное мышление «все больше и больше насыщается внутренней пространственностью»⁶³.

Больной, страдающий общим параличом, на вопрос «Что вы делаете?» ответит: «Я жду событий и строю планы». Его взгляд просветляется, но он больше не различает ничего конкретного, остается направленным в будущее, к движению жизни вперед. Точно так же мании величия больных, страдающих общим параличом, почти всегда представляют собой грандиозные планы, с которыми они соотносят свое окружение, планы, не знающие никаких преград, распространяющиеся на всю вселенную; кажется, что они являются выражением всепоглощающего динамизма, который лишен свойственной ему тяжести, очень сильно увеличивается, стирает все границы, охватывает как индивида, так и все его окружение, преобразовывая их в движущийся круговорот. Учитывая эти обстоятельства, нас не будет удивлять, что больные, страдающие общим параличом, и при отсутствии признаков возбуждения говорят о машинах, которые едут со скоростью 800 км/ч, утверждают, что их дети постарели на 10 лет за день или даже, если речь идет о больных мужского пола, что каждую неделю им приходится рожать детей.

⁶³ Fischer F. *Weitere Mitteilung über das schizophrene Zeiterleben*. Zentbl.f.d. ges. Neur. u. Psychiat., 1930.

У шизофренических больных мании величия имеют совершенно иные характеристики. В них есть некоторая «неподвижность». Шизофреники называют себя «Господь» или «Христос», однако их мысль замыкается исключительно на этом утверждении и не идет дальше. Они могут продолжать совершенно спокойно подметать во дворе, как если бы ничего не происходило. Такой мысли достаточно того, что она есть, она совершенно отделена от реальной жизни. На ее основании не возникает желания двигаться вперед. Шизофреник остается с этой мыслью один на один. Можно сказать, что своим возникновением такая мысль обязана тому, что поступательно человеческая личность отмирает и заменяется динамизмом, в результате которого ослабевает способность создавать концепции рационального плана. Именно по этой причине вместо иррационального ощущения могущества, что у нормального индивида связано с деятельностью и с ее нескончаемым, неистощаемым движением вперед, больной испытывает ощущение воображаемого могущества в прошлом. Он наделяет рациональными чертами все, вплоть до сверхиндивидуального критерия личного порыва, и тем самым разрушает связи, которые в жизни соединяют нас со всем многообразием становления. Наверное, поэтому порой мы говорим о присущем шизофреникам и шизоидам «тщеславии», тогда как в случае мании величия у больных, страдающих общим параличом, кажется, такая характеристика полностью отсутствует.

Поскольку у шизофреников поврежден жизненный динамизм, этим больным не просто кажется, что внутри у них все замерло, а создается впечатление, что они будто бы лишены органа, необходимого, чтобы усваивать все то, что относится к динамизму и внешним проявлениям жизни, которые они способны лишь располагать рядом. Шизофреник говорит, что его идеи «неподвижны, как статуи», или что они «статичны и не имеют тенденции к реализации»; отмечает, что во время визита его мать делала слишком «много лишних движений»; совершив путешествие, он непременно пожалуется, что поезд ехал слишком быстро, так как ему не удалось запомнить все вокзалы, все предметы, мелькавшие за окном, как если бы в действительности, чтобы воссоздать движение, необходимо было мысленно соединить их воедино с другими точками бесконечности, на которые их могло бы разложить дискурсивное мышление. Шизофреник поступает именно так; после путешествия он чувствует себя «лишенным корней» в новом месте, на основании того, что ему не удалось запомнить все промежуточные точки. То, до какого душевного

состояния может дойти шизофреник, хорошо передает в своем самоанализе одна наша больная: «Вокруг меня царит неподвижность. Вещи представляются изолированными, каждая сама по себе, ничто ни с чем не связано. Те вещи, что должны были бы вызывать воспоминания, множество мыслей, какие-то картины, остаются изолированными. Они скорее поняты, чем прочувствованы. Это как пантомимы, которые разыгрываются вокруг меня, но я в них не участвую, а остаюсь вне всего этого. Я могу рассуждать, однако мне не хватает инстинкта жизни, не удается проявлять мою активность достаточно живым образом. Я не могу больше переходить от одного к другому, но ведь мы не созданы для того, чтобы жить все время одним и тем же. Я утратила контакт со всеми вещами. Понятие ценности, сложности вещей исчезло. Между мной и ними нет потока, я не могу больше ему отдаться. Вокруг меня абсолютная неизменность. По отношению к будущему я еще менее подвижна, чем в том, что касается прошлого и настоящего. Во мне есть какая-то косность, которая не позволяет мне видеть будущее. Творческая способность у меня отсутствует. Я вижу будущее как повторение прошлого».

Чтобы подчеркнуть, чем насыщается психика шизофреника, когда из-за воздействия статичных критериев рационального и пространственного порядка ослабевает жизненный динамизм, я, прежде всего, хотел бы обратиться к термину Рог де Фюрсака, который говорил о *патологическом рационализме*, а далее, взяв за основу конкретный случай, изученный совместно с г-жой Минковска, к *патологическому геометризму и пространственному мышлению* у шизофреников.

Приведу несколько примеров. Больной заявляет нам, что в жизни учитываются только духовные ценности, а материальные значат очень мало. Очевидно, это мнение нас не шокирует. Однако, если наш больной больше не хочет, руководствуясь данным принципом, заниматься своей пасекой, хотя прежде с удовольствием посвящал ей свой досуг, с этим мы совершенно не можем согласиться. Под влиянием идеи *духовного* совершенствования он «изгоняет из своей жизни всякий *физический* труд». Точно так же обстоят дела, когда он говорит, что должен поработать в саду, чтобы помочь родителям: в данном случае он испытывает ощущение, что следует своему принципу. Так почему же мы не можем согласиться с ним? Просто здесь мы имеем дело с так называемой истиной, являющейся таковой лишь для него самого, она погибает из-за четкости, с которой должна применяться в жизни. Исчезает *ощущение меры и гибкости*, то самое, что невидимой

бахромой охватывает все наши истины, делая их безгранично подавляемыми и вместе с тем исключительно «человечными». В данных условиях нам удастся «полностью отделиться от материальности, относиться к людям безлично, «приблизиться к абсолюту», как говорил наш больной, мы достигаем *антитетического отношения*, характеризующегося глубокой патологией, которое свидетельствует о полной потере витального контакта с реальностью. В случае нашего больного, все его поведение контролируется антитезами, доведенными до критической точки. Каждому из нас известно чувство, которое мы испытывали хотя бы раз в жизни, когда возникает необходимость уединиться, ибо такое уединение приводит к глубоким размышлениям и является источником возникновения личного порыва. Наш больной рационализирует эту потребность, превращая ее в абсолютное правило: ничто не должно влиять на его рассуждения, поэтому он избегает мира, даже совершенно перестает читать, опасаясь воздействия мыслей, выраженных кем-то другим, и, в результате, все больше и больше замыкается в своем аутизме. Кроме того, следствием его размышлений является теория, которая превращает человеческую душу в кислотное воздействие на мозг. Он начинает «просеивать все через сито своих принципов», чтобы каждое слово служило для высказывания только чего-то полезного, и приходит к тому, что практически совсем перестает говорить. Прежде чем сесть за стол, он заранее определяет темы, которые должны занимать его во время приема пищи, поскольку, по его словам, он не хочет терять время понапрасну. Все, что происходит спонтанно, что не было запланировано, исключается из жизни, а то, что способствует формированию и объединению, но вовсе не движению вперед, приобретает форму деформированной мозаики, состоящей из логических восприятий и мыслительных связей, которые, кстати, абсолютно не в состоянии «сдержать удар», если сами не подпитываются из живых источников становления, и со временем все больше и больше распадаются.

Как, например, истолковывать рассуждения больного, который говорит нам, что не уверен в могуществе денег, поскольку деньги занимают *мало места*, что он не считает нужным интересоваться курсом обмена валют, ибо считает, что там «слишком много изменений, слишком большая *подвижность*»? Напротив, его внимание полностью поглощено проектом *расширения* Восточного вокзала, которому он придает первостепенное значение. Здесь, по-видимому, речь идет о чрезмерном обобщении понятий пространственного характера, что

вредит жизненному динамизму. Можно сказать, что его интересует только то, что каким-то образом относится к пространству, и он чувствует себя комфортно, лишь избегая всего, что является становлением и временем. Длительные наблюдения за больным, а также автобиография, в той или иной мере состоят из данных этого порядка. Порой на него производит впечатление какая-нибудь женщина на улице. Тогда он идет домой, садится на стул, скрещивает руки, принимает максимально симметричную позу и начинает размышлять, пытаясь решить задачу: почему женское тело производит особое впечатление на мужчин? Он полон уверенности, что «все может быть сведено к математике, даже медицина и сексуальные впечатления». Именно в этом направлении идут его размышления. А разве человеческое тело не сводится к геометрии? Но тогда, спрашивает он себя, не обладает ли высшей степенью красоты тело в форме сферы, которая является самой совершенной геометрической фигурой? Ведь она, безусловно, с точки зрения геометрии, но исключительно с этой точки зрения, находится на самом высоком уровне симметрии и гармонии. Учитывая данные обстоятельства, нас совершенно не удивит, если мы услышим, как он говорит: «Я ищу неподвижность. Стремлюсь к покою и обездвиженности. Во мне есть также стремление делать статичной жизнь вокруг меня. Поэтому я люблю неподвижные предметы, ящики и задвижки, вещи, которые всегда на своем месте, которые никогда не меняются. Камень неподвижен, тогда как Земля движется. Она не вызывает у меня никакого доверия. Я придаю значение только надежности. Поезд движется по насыпи. Он для меня не существует, я просто хочу строить насыпь. Прошлое — это пропасть, а будущее — гора. Так мне пришла в голову мысль покидать иногда один день — эту затычку между прошлым и будущим. В течение такого дня я стремлюсь совершенно ничего не делать. Один раз я не мочился двадцать четыре часа. Возродить мои впечатления пятнадцатилетней давности, заставить время вернуться назад, умереть с теми же впечатлениями, с которыми родился, совершать движения по кругу, чтобы не удаляться от основы, чтобы не быть оторванным от корней, — вот чего я желаю».

Возникшая таким образом направленность психопатологии шизофрении не могла не оказать воздействия на само понятие аутизма.

Обратимся к описанию Блейлера: «Больные шизофренией на наиболее продвинутой стадии болезни, не имеющие больше никаких отношений с окружающей действительностью, живут в своем собственном мире. Они закрыты в нем вместе со своими желаниями, которые

считают осуществленными, или со страданиями из-за преследований, в которых мнят себя жертвами. Они ограничивают любые контакты с внешним миром до минимума. Подобный отрыв от реальности сопровождается абсолютным или частичным преобладанием внутренней жизни». Благодаря этому описанию у нас отпадет необходимость определять воздействие аффективной психологии, совершенно естественное в данном случае; кстати, даже сам Блейлер, рассказывая о своем исследовании, говорил, что, с одной стороны, на него повлиял Крепелин, а с другой — Фрейд.

Как только такое определение аутизма было принято, оставалось сделать всего один шаг, чтобы представлять шизофреника как индивида, который все больше и больше поглощается своей внутренней жизнью и все меньше и меньше интересуется жизнью вокруг. Таким образом, аутизм стал практически синонимом интериоризации, а мы вновь нацелены на то, чтобы рассматривать шизофреников как бодрствующих спящих, видеть в них жертв чрезмерной работы воображения, которая, разворачиваясь, нарушает контакт с окружающей реальностью.

В один прекрасный день обязательно должна была возникнуть реакция, направленная против засилья аффективной психологии.

Несмотря на то, что она возникла как ответ на излишний рационализм, ей самой не удалось освободиться от него в полной мере. Заменив мыслящее существо на существо эмоциональное, она, точно так же, как и рационализм, подчинила психическую жизнь какой-то одной из ее функций, оставшись верной принципам ограничения и разделения на части, столь ценным в дискурсивном мышлении. Даже сама эмоциональность в каком-то роде подверглась рационализации, в результате чего были широко распахнуты двери концепциям, которые, именуя себя концепциями психогенеза, окончательно приводили к материалистской и энергетической теории человеческой души, зачастую не оставлявшей места психологическим фактам, и мы имели лишь термины, которыми их обозначают. Кроме того, либерализация аффективной психологии не могла состоять из поиска новой функции, какой бы та ни была, способной занять место эмоциональности; не могла она и вернуться к идее рационализма; необходимо было выдвинуть новую точку зрения, чтобы, с учетом провала всех концепций, «состоящих из частей», о которых сейчас шла речь, дополнить, если не сказать превзойти, эти концепции. Скорее всего, именно поэтому психология и психопатология черпали вдохновение в бергсонизме и феноменологии.

Безусловно, такая работа могла идти только очень медленно. Чтобы вернуться к нашей теме, прежде всего стоит задать вопрос: действительно ли внутренняя жизнь играет роль, которую ей отводят в психике больных шизофренией? Как только проходит энтузиазм от первого впечатления, более внимательно проведенное обследование показывает, если только удалось воздержаться от замещения комплексов своим собственным воображением, что наличие этих комплексов никоим образом не может быть принято за правило, не претерпевая никаких изменений. Считается, что некоторые шизофреники через свойственную им непоследовательность выражают свои нереализованные желания или скрытые страхи; тем не менее, не стоит исключать вероятность, что среди них есть и просто болтающие впустую. Однако и те, и другие — шизофреники. Изучая шизоидов, Кречмер достаточно четко, хотя и в виде метафоры, подчеркивал то, о чем мы сейчас рассуждаем. Некоторых шизоидов он сравнивает с «римскими виллами, ставни которых закрыты от палящего солнца, но внутри, в полумраке продолжаются праздники и пиры»; есть и другие, говорит он, за «молчаливыми фасадами» которых только «руины и пыль», монотонная пустота и леденящее дыхание аффективного безумия. Хочу отметить, что в каждом из этих случаев речь идет о шизоидах.

Получается, нам просто необходимо привести обе эти формы шизофрении и шизоидии к «единому знаменателю», то есть обнаружить одну, единую форму, которая смогла бы объединить их. Так неужели мы будем пытаться скрыться за чисто формальными отношениями и лишим психическую жизнь того блеска, что дарует ей эмоциональность, та самая эмоциональность, о которой долгое время нельзя было упоминать в науке? Нет, ведь именно так называемые формальные отношения позволили нам превзойти «конфликт» и «роман» аффективной психологии, не опасаясь вновь обратиться к черствости крайнего рационализма. Считаю нужным повторить, что мы совершенно не пытаемся отрицать роман, а стараемся его превзойти, ибо жизнь представляется нам слишком «важной», чтобы сравнивать ее с простым романом, несмотря на все то, что этот роман может о жизни поведать.

Возвращаясь к вопросу аутизма, думаю, следует отказаться от первоначального мнения, что аутизм — это прогибание под самим собой, а если точнее — под своими комплексами. По мнению Блейлера, поведение многих шизофреников, когда они, съезжившись, неподвижно прячутся под одеялом, является, так сказать, самым гибким проявлением аутизма: больной как бы пытается свести до минимума

даже *физический* контакт с внешним миром; однако, не стоит принимать такое поведение за строгое правило. Многим шизофреникам удастся выходить за эти пределы, проявлять себя, действовать; но эта деятельность происходит как бы вне окружающей реальности, которой будто бы и нет, она не имеет никакого, даже минимального, символического значения, что приводит к глубокому изменению психики. В своей книге я достаточно активно настаиваю на этом моменте. Здесь же я ограничусь одним-единственным примером. Больной, чей случай мы уже рассматривали чуть выше, когда говорили о патологическом рационализме, принимает решение протестовать против смертного приговора двум анархистам в Америке, после вынесения которого произошло много массовых демонстраций в их поддержку. Что касается нашего больного, он пишет письмо, выражающее протест, подписывается своим именем, хотя его никто не знает, при этом, несмотря на службу охраны, ему удается проникнуть прямо в здание посольства Америки, где он настаивает, что должен передать это письмо лично самому послу. Когда его, в результате, привезли в комиссариат полиции, а глава полицейского участка сделал ему строгий выговор, он был чрезвычайно удивлен. В самом желании нашего больного нет ничего патологического; более того, оно даже совпадает с идеями значительной части общества; однако это желание приводит его к совершению поступка, очень далекого от реальности, поступка, который как никакой другой обладает «аутистскими» чертами.

Конечно, Блейлер не оставил без внимания деятельность больных шизофренией, но, с теоретической точки зрения, эта деятельность подчинялась понятиям комплекса и интериоризации. В наши дни данное понятие стремится освободиться от нависшего над ним бремени, чтобы занять место, которое принадлежит ему в общей структуре психики шизофреника. Именно по этой причине, взяв за основу понятие цикла личного порыва, я говорил о *поступках, не имеющих завтрашнего дня, о застывших поступках, о поступках с замкнутым кругом, о поступках, которые совершенно не пытаются чем-то завершиться*. В то же время я настаивал, что шизофреники и шизоиды не способны наслаждаться «отдыхом» вместе со всеми присущими ему живыми и «синтонными» чертами, а также на стремлении этих больных заполнить полностью, до краев, время, которое является просто контейнером для идей и действий, определенных ранее. Хочу еще напомнить, как наш патологический рационалист, чтобы не терять ни секунды, заранее определял, о чем будет

размышлять во время приема пищи. Не желая терять ни секунды, он полностью терял контакт со временем, которое является первичным источником вдохновения и жизни.

Такой отрыв от реальности, сопровождаемый относительным или абсолютным преобладанием внутренней жизни, мы называем *аутизмом*. Развивая эту мысль, я рассуждал о двух формах аутизма — *богатом и бедном аутизме*; в данном случае термин «богатый» имеет исключительно номинальное значение; при наличии шизофренических процессов тонкие связи, соединяющие личный порыв со становлением окружающей действительности, рвутся, и мы вновь говорим об утрате контакта с реальностью. Но здесь речь идет уже о «бедном аутизме», когда жизненный порыв прекращается и полностью исчезает.

Так называемая внутренняя жизнь и сон наяву перестают считаться *primum movens* в аутизме, теперь они становятся более или менее несущественными элементами, которые предназначены для того, чтобы так или иначе заполнить пустоту, возникшую в результате развития болезни. Наряду с остальными феноменами — такими как рационализм, капризы, сожаления, вопросительные патологические стремления, также выполняющие эту роль, — он превратился в простое «шизофреническое отношение» или в «психический стереотип». Кажется, что в таком случае стоит ставить под сомнение скорее феноменологическую компенсацию, нежели компенсацию эмоциональную.

2. Исследования доктора Франца Фишера⁶⁴

Мы уже достаточно говорили о том, какую цель преследует анализ пространственно-временной структуры психических расстройств, чтобы читатель смог понять, что этот анализ не ограничивается симптомами, через которые больной *напрямую* выражает любую ограниченность, относящуюся ко времени или пространству. На самом деле это намного более обширное явление: такой анализ рекомендует в качестве наблюдения отношение проникновения, которое представляет собой пространственно-временной подслон, если можно так выразиться, любого психопатологического синдрома. Так мы смогли выделить подслон в случае меланхолического психоза, психического автоматизма, шизофрении. Однако речи больных *напрямую* относятся

⁶⁴ Fischer F. *Zeitstruktur und Schizophrenie*. Z. ges. Neur. Psychiatr., vol. 121, 1929; *Raum-Zeit-Struktur und Denkstörung in der Schizophrenie*. Z. ges. Neur. Psychiatr., vol. 124, 1930.

к тому, каким образом эти больные проживают либо время, либо пространство. Они не являются самым знаковым источником наших знаний о пространственно-временной структуре психических расстройств, но могут стать для нас бесценным подтверждением результатов, которые были получены каким-то другим способом, зачастую они помогают расширить проблему, приводят к тому, что приходится углубиться в ее изучение. Именно поэтому даже в данном кратком изложении психопатологии шизофреников мы обнаруживаем достаточное количество деталей, предоставленных самими больными, которые содержат в себе точные указания касательно времени и прекрасно сочетаются с общей концепцией, составленной на основании их психической жизни. Таким образом, мы должны быть признательны каждому психиатру, получившему новые сведения о том, как больные, согласно их собственным описаниям, ощущают и проживают феномен времени. Доктор Ф. Фишер предоставил такие данные о шизофрениках. Задача, кстати, была невероятно сложной. Прежде всего, потому, что у шизофреников личный опыт проживания времени и пространства происходит на фоне психики, глубоко пораженной болезнью. Связанный с расстройствами идеации и с разрушением, которому подвергается психика в результате потери витального контакта с реальностью, этот опыт продолжает быть зависимым; символический, переменчивый, разрозненный, как по содержанию, так и по форме, он с трудом поддается обобщению и осмыслению. В данном случае речь идет о сложностях общего плана, а именно — о мыслительном и вербальном расстройстве, которое порой превращается для психопатолога в непреодолимый барьер. Учитывая, что шизофренический процесс в первую очередь атакует, как вы уже убедились, жизненный динамизм, то и повреждения феномена проживаемого времени будут особенно глубокими. В такой ситуации время словно *обваливается полностью*, тогда как при прочих расстройствах психики изменения затрагивают *саму область времени* (психическая субдукция во времени), поэтому, работая с шизофрениками, мы сталкиваемся с расстройством, проникнуть в которое значительно сложнее. Об этом свидетельствуют и исследования доктора Фишера, в силу чего они, несомненно, заслуживают внимания. Поскольку я не могу представить здесь проведенные им исследования полностью, то хотел бы, как минимум, дать в переводе некоторые отрывки из его работ, которые показались мне исключительно интересными. Не могу сказать, что делаю это без зазрения совести, так как перевод малосостоятелен в случаях, когда речь идет о психологических феноменах, и особенно

в отношении описаний, составленных самими больными. Тем не менее, считаю просто необходимым уделить место в этой книге работам доктора Фишера, действительно представляющим огромный интерес. Попробую кратко выразить основную мысль его исследований, которая, кстати, подчеркиваю это, в полной мере согласуется с моими собственными воззрениями: он рассматривает наиболее статичный аспект проживаемого времени, а именно *глубокое смещение феномена времени с преимущественным значением прошлого времени*.

Однако давайте обратимся к личному опыту больных.

Набл. 1. «Вчера в полдень, когда подавали обед, я смотрел на маятник часов: почему бы и нам не двигаться так же, в этом было что-то особенное. Маятник не мог прийти мне на помощь, ему было нечего сказать. Как вступить с ним в какие-то отношения? Меня будто перенесли назад, как если бы что-то из прошлого возвращалось ко мне и я сам торил ему путь. Словно в 11.30 снова было просто 11 часов, и не только в том смысле, что время шло вспять, ибо со мной происходило то же самое. Но все намного глубже, не знаю, как выразить. В центре всего этого внезапно возникало что-то инородное. Опять было 11 часов, и вдруг начинало проявляться время, которое прошло уже давно, а там, внутри, был я — маленькая песчинка в центре огромной тверди; кажется, вы тоже что-то такое говорили? Так повторялось вновь и вновь: в сердцевине времени я вернулся к самому себе. Как это было ужасно. Может быть, маятник колеблется как-то не так, предполагал я, или, может, это злая шутка сиделок. Я пытался рассматривать время как нормальный, но у меня не получалось; в этот момент возникло мучительное ощущение невыносимого ожидания, возможно, желанного в прошлом, а еще ощущение того, что прошлое, придя ко мне, вышло за пределы меня самого. Это было так волнующе — играть со временем, в этом было что-то демоническое. Для человечества это могло плохо закончиться. Способны ли, например, сиделки по-прежнему правильно воспринимать время? Потом я почувствовал, что абсолютно равнодушен ко всему, но вместе с тем и волновался. Начиналось странное время. Все было перепутано, все было вперемешку, съездившись, я говорил сам себе, что должен обойтись без всего этого, даже если бы и хотел что-то сохранить. То там, то сям падали небо и земля. Я всем своим существом возжелал, чтобы это неправильное время исчезло. Затем я ощутил голод, ведь было время обеда, но не привычный для меня голод, который мне знаком, а голод тела и души, похожий на ностальгию, потребность в симпатии, желание быть понятым, получить религиозную помощь. Тут начался обед, и все стало как обычно».

Тот же больной в другой день:

«...кроме того, порой все так разделено на четыре части, что, в принципе, представляет собой одно целое. Например, птичка щебечет в саду. Я слышу птичку и знаю, что она щебечет, но одна ли это конкретная птичка и именно она ли щебечет, сказать не могу. Между тем и этим словно огромная пропасть. И я опасаясь, что мне не удастся верно соединить одно с другим. Как если бы у птички и щебетания не было ничего общего. Для меня это вовсе не размышление. Это пропасть. Птичка и то, что она щебечет... между ними такой разрыв, возможно, потому, что я сам или что-то присоединилось ко времени. Если правильно так говорить. По правде, это не время: это как бы (потерянно обхватывает голову руками)... — это только моя собственная ошибка, я не могу признать, что птичка поет иначе, чем обычно. Но, как я уже сказал, дело вовсе не в этом».

Набл. 2. «Я не знал, что смерть может быть такой. Душа больше никогда не вернется. Очень хочется найти мир. Я сейчас живу в вечности, больше нет ни времени, ни дней, ни ночей. На улице все продолжается; то там, то здесь на деревьях покачиваются фрукты. Все ходят по комнате вдоль и поперек, но для меня время не движется. Часы работают точно так же, как раньше. Но я больше не хочу смотреть на них, меня это огорчает. Время проходит, стрелки крутятся, а я не способен это представить. Порой, когда я вижу, как кто-то бежит по саду туда-сюда или как ветер гоняет листья, у меня опять появляется желание жить, иметь возможность *бегать* в душе *вместе с ними*, чтобы время снова начало идти. Но именно на этом я и останавливаюсь, мне абсолютно безразлично все, что есть там, снаружи; деревья, изображения или люди — для меня все неизменно и несущественно. В этом случае я всего лишь сталкиваюсь со временем нос к носу.

Сегодня утром я хотел пойти на веранду и вернулся назад, на самом деле все это меня совершенно не касается. Красивая скатерть или букет цветов, когда он стоит здесь, то он настоящий. Но, так как он и остается здесь, такой неподвижный, мне незачем о нем столько думать.

Мысли теперь совсем другие, в них больше нет стиля. Так каким же станет будущее? Мы не можем дожидаться его. Мы рассказываем о настоящем и о прошлом, хотя ничего уже не способны представить, и опять засыпаем. Все превращается в знак вопроса.

Время неподвижно; мы топчемся на месте между прошлым и будущим. Все так глубоко укоренилось. Раньше было вперед и назад. А сейчас этого нет. Скудное время, вытянутое в длину, и я больше не могу ничего предпринять. Есть еще очень много сложных загадок.

Все похоже на часы. Время движется, как часы; спектакль жизни похож на часы. Точно так же, как время и как часы, разделена и моя жизнь. Мне больше нечего о ней рассказать. Она идет однообразно: трапп, трапп, утро, полдень и вечер, прошлое, настоящее и будущее. Все это возвращается вновь. Каждый раз это маленькая жизнь, и потом все возвращается.

Должен ли я постоянно начинать заново? Было бы неплохо опять ощутить большой порыв в настоящем времени. Вот какой-то человек входит в комнату или снаружи захлопывается дверь, этим кто-то управляет, становится страшно, и все начинается сначала. Теперь я пытаюсь так делать достаточно часто. Но ничего не получается, потому что внутри меня все неподвижно. Время остановилось.

Что же я должен делать, когда по утрам приносят завтрак или когда после этого приходят с визитом? Разве я знаю, что и когда? Если визит закончен, его уже можно отнести и к прошлому. Никак не удастся все это упорядочить, чтобы понять, что к чему.

Это тянет меня вспять, но куда? Туда, откуда это пришло, или туда, где это было еще раньше. Это относится к прошлому. Ощущение, будто падаешь назад. Это то, что исчезает, то, что проходит. Время проскальзывает в прошлое, стены рухнули. Раньше чувствовалась основательность во всем. Слово было под рукой, а теперь приходится тянуться: неужели это время? Это приходит издалека!

Просыпаясь утром, что я должен говорить? «Исчезающее» снова здесь; именно это меня особенно терзает. Знаю ли я, где нахожусь? В смысле места — да. Но то «исчезающее» время, которого здесь нет, за какой конец следует схватить его, и когда же было вчера?! Все это проникает внутрь меня, всегда движется далеко назад, вот только куда? Время разрушается».

Набл. 3. «Я остановился; я отброшен еще дальше в прошлое словами, которые произносили в комнате. Но все это идет от меня, так и должно быть. Больше нет настоящего, есть только движение назад, и это больше чем чувство, это проходит через все. В воздухе комнаты витает огромное количество замыслов, направленных против меня. Я не обращаю на них внимания, даю своему сознанию отдохнуть, чтобы оно не рассыпалось на части.

Но существует ли все-таки будущее? Раньше будущее для меня существовало, теперь оно все больше и больше сокращается. Прошлое слишком навязчиво, оно выходит за пределы моего сознания, тащит меня назад. Должен ли я приводить примеры? Я похож на машину, мотор которой работает, но она не двигается с места. Рев мотора оглушительный, а машина остается где была.

Я подобен горящей стреле, которую выстреливают вперед, затем она останавливается, падает и гаснет, как будто в безвоздушном пространстве. Она устремляется вспять. Говоря так, я имею в виду, что будущего нет и что я отброшен назад. Я живу намного быстрее, чем раньше. Это контакт со старинными вещами. Мне в голову приходят странные мысли, они тоже отбрасывают меня назад. Это ужасно. Это пронизывает все вокруг. Я не могу думать; ничего не „склеивается“. Мои мысли еле шевелятся».

Набл. 4. «Мысль по-прежнему была неподвижной, да. И все вокруг было неподвижным, словно времени нет. Я сам себе казался существом вне времени, ясным и прозрачным во всем, что касалось душевных отношений, как если бы я мог видеть то, что у меня внутри, в глубине. Будто это математическая формула. Она тоже совершенно ясна и существует вне времени. По сути, она признает только неподвижность. При этом я слышал негромкую музыку где-то вдали и видел слегка освещенные скульптуры, переходящие в прекрасные фантастические фрески с едва уловимыми нежными оттенками⁶⁵. Все это находилось в постоянном движении, что особенно заметно контрастировало с моим самоощущением; похоже на картину и рамку к ней. Все эти движения были в некотором роде безумством по сравнению с состоянием моей души...

То, что возникало передо мной, могло быть воспоминаниями из прошлого, или я сам каким-то образом пришел к этому против своей воли. В любом случае, прошлое проносилось стремительно, а не так, как обычно. Все, что в жизни находится позади нас, по-прежнему тесно связано с нами, и мы знаем, что за чем следует. Каждый вновь оказывается внутри своей собственной личности. Я был как бы отрезан от моего прошлого. Будто ничего и не было, настолько все это походило на тени. Словно жизнь только что началась. Затем прошлое изменилось. Все перемешалось, но это невозможно было ощутить (не так, как если бы я сам перемешал события своей жизни). Прошлое сжалось, распалось, съежилось. Оно было, так сказать, бесформенным. Можно употребить это слово? А еще оно напоминало обрушившийся дощатый барак. Такая бесформенность, возникшая оттуда, захватила меня, а может — это сравнение пришло мне на ум значительно позже, — все это выглядело как картина на фоне уходящего вглубь и внезапно сжимающегося пространства, которое только сейчас было на поверхности».

Набл. 5. (Рассматривая стрелки настенных часов.) «Что же я должен сделать с этими часами? Нужно постоянно смотреть на них. Что-то

⁶⁵ Все это происходило после концерта.

подталкивает меня смотреть на них. Времени так много, а я такой разный каждое мгновение. Если бы не было часов, я бы погиб. А не являюсь ли я сам такими часами? Повсюду, повсеместно? Но я не смог бы поступать по-другому, иначе все сильно бы изменилось.

Сейчас я вновь смотрю на часы, на циферблат, на стрелки, на то, как они ходят. Они как будто разделены на четыре части, и я в этом участвую и не могу ничего поделать.

Я постоянно говорю себе, что это часы, но все это недостаточно хорошо согласуется: циферблат, стрелки, то, как они ходят. Что-то как бы сдвинуто, перемещено, и при этом все вроде на месте.

Да, есть еще кое-что. Я очень удивлен, никогда не видел ничего подобного. Стрелка то здесь, то — как бы это описать — делает скачок, что ли, и переворачивается. Постоянно. Уж не будет ли каждый раз другая стрелка? Может, кто-то стоит за стеной и без конца ставит новую стрелку, неизменно в разные места. Я должен сказать: это вовсе не часы ходят, стрелка двигается скачками и всякий раз изменяется.

Наблюдение за этими часами поглощает, затем нить, которая приводит нас к самим себе, теряется — часы уже внутри меня, я сам — часы; все опять вперемешку и все во мне. Я утрачиваю нить с жизнью, когда смотрю на стенные часы. Это побег, способ уйти от себя самого, я эфемерный. Меня здесь больше нет. Я знаю только часы с их многочисленными стрелками, которые скачут повсюду и никогда больше не смогут объединиться в одном цельном предмете.

Впрочем, хватит уже говорить о часах, но не о моей воле; сейчас меня зовут в другое место, к другому способу существования. Я — живые часы, я часы повсюду — они всегда идут и возвращаются.

Потом я вырываюсь из этого, потому что все идет вперемешку. Но снова смотрю на часы, они помогают мне, как дерево, стоящее перед окном».

ГЛАВА IV

МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ ПСИХОЗ

1. Ассиметрия шизоидии и синтонии в их отношениях с шизофренией и маниакально-депрессивным психозом

Еще в начале предыдущей главы я говорил, что понятия, разработанные Бергсоном, позволили нам предположить существование двух обширных групп психических расстройств: одна характеризуется ограниченностью интуиции и проживаемого времени и сопутствующим преувеличением критериев пространственного порядка, а вторая имеет противоположные характеристики. Первая из названных групп нам понятна: как выяснилось, по большому счету, она включает в себя шизофрению. Но со второй группой все гораздо сложнее: она, кажется, ускользнула от нас. Безусловно, сравнение больных шизофренией и прогрессивным параличом оказало нам огромную услугу, но не стоит довольствоваться этим. Уровень сознания больных общим параличом совершенно не предполагает — что очевидно — чрезмерно преобладающей интуиции и истинного жизненного динамизма, возникшего в ущерб статичным жизненным факторам; он представляет собой специальный процесс, который прежде всего характеризуется расстройствами суждения и памяти, в обычном смысле этих слов. Затем, проводя сравнение, мы использовали отношения «я — здесь — сейчас», «до и после», «настоящее и будущее» и т.д., которые, какой бы значимостью они ни обладали, на самом деле не могут быть напрямую сопоставлены с фундаментальным противопоставлением пространства и проживаемого времени, выдвинутым Бергсоном. А в отношении контакта с окружающей действительностью клиническая практика противопоставляет шизофрению вовсе не состояния

слабоумия, а маниакально-депрессивный психоз. Значит, свои дальнейшие исследования я должен направить на изучение этого психоза. Однако то, что маниакально-депрессивный психоз изначально не был определен как яркий представитель второй группы, заставляет задуматься. Не имеется ли на это серьезных причин, основанных на самой природе жизненных феноменов, к которым мы сейчас обращаемся? Уместно ли любой ценой пытаться отыскать симметрию в патологических изменениях, которым могут подвергнуться эти феномены, и не наблюдается ли в самой жизни отсутствие интуиции и проживаемого времени? Именно на эти вопросы нам и предстоит ответить.

Мы уже знакомы с двумя нисходящими рядами, установленными Кречмером: шизофрения, шизоидия, шизотимия — с одной стороны, и маниакально-депрессивный психоз, циклоидия, циклотимия — с другой. Кроме того, мы знаем, что Блейлер внес в понятия, разработанные Кречмером, важные поправки, добавив к ним понятие «синтонии». Идея колебаний, повторяющихся с большей или меньшей периодичностью между двумя полюсами циклотимии, была заменена чем-то более важным, характеризующим то, что значит быть циклотимическим, вне зависимости от фазы или стадии данного состояния. Это «что-то» и есть *синтония* — наличие аффективного контакта, способность двигаться в унисон с окружающей действительностью. В результате появилась возможность противопоставить синтонию и шизоидию, и обе они, таким образом, превращаются в *жизненные принципы*.

Здесь возникает следующая проблема: как нам удастся отделить от шизоидии и синтонии два соответствующих им психоза?

На первый взгляд это очень легкая задача. Два ряда, созданные Кречмером, кажется, указывают на то, что в данном случае речь идет лишь о разнице в уровне между элементами каждого из этих рядов. Но все не так просто. Рассматривая шизофрению, мы без труда признаем утверждение, что шизофреник в значительно большей степени шизоид, чем сам шизоид; однако можем ли мы аналогичным образом сказать, что испытывающий маниакальное возбуждение или меланхолическую депрессию является синтоном в большей мере, чем нормальный синтон? Ни в коем случае. Маньяк, точно так же, как и человек с меланхолической депрессией, если мы станем сравнивать их с шизофрениками и даже с шизоидами, продолжает контактировать с окружающей жизнью, но вместе с тем такой контакт не является увеличивающимся, наоборот, по сравнению с истинной синтонией, он уменьшающийся и деформирующийся.

Задача, поставленная нами чуть выше, значительно усложняется. И мы не можем не рассмотреть еще раз вопрос: что же такое шизоидия и синтония и каким патологическим изменениям они могут подвергнуться?

Ответ на этот вопрос, скажем так, занимает три уровня. Первый представляет собой поиск *характерных феноменов*. Речь идет о том, чтобы подчеркнуть феномены, способные предоставить нам достоверную информацию о происхождении и основных характеристиках шизоидии и синтонии. Кстати, в данном случае не может быть речи исключительно о приблизительных сведениях, о жизненных принципах, которые в обязательном порядке должны, с одной или с другой стороны, превысить феномены повседневной жизни.

Показательный феномен шизоидии — *личная деятельность*, в которой содержится — как раз в том, что в ней является личным — нечто напоминающее зачаток аутизма⁶⁶. Что касается синтонии, для нее показательными являются феномены *симпатии* (в этимологическом значении этого слова) и еще *созерцания*.

При этом между синтонией и шизоидией существует значимая разница. В отличие от шизоидии, которая основана на противопоставлении «я» и мира, всегда содержит в себе более или менее сильную степень напряжения и равна тому, что сама производит, синтония содержит в себе некую законченность и гармонию: она не нуждается в посторонней помощи, у нее есть своя собственная цель и свое собственное значение, она приносит душевный покой. Синтония могла бы представлять собой состояние абсолютного блаженства, если бы длилась дольше некоего промежутка времени и не проявила бы неспособность охватывать всю жизнь, создавая для нее структуру и прогресс. Как бы то ни было, во всех своих наиболее важных проявлениях синтония обладает характеристикой полноты — такой, что невозможно выйти за ее пределы. Мы не найдем более синтонного поведения, чем сама нормальная синтония.

Все только что сказанное позволяет нам вспомнить — а это уже второй уровень наших исследований — *структурные и формальные* свойства синтонии. Прежде всего, в ней самой содержится критерий *проживаемой длительности*. Физические страдания могут быть жестокими и немедленными; моральные страдания такими быть не могут: они рассеиваются во времени, они длятся не три минуты или пять

⁶⁶ Хочу напомнить, что уже было сказано о критерии ограничения или потери: Часть I, Глава 2, § 5.

часов — в данном случае это не имеет значения, но в обязательном порядке в них есть какая-то организация, неизменный синтез во времени. Симпатия, через которую мы воспринимаем страдания других, должна длиться постоянно, так же как и все остальные приобретения любой аффективной градации окружающей жизни. В ходе этой длительности — второй фактор, на котором стоит настаивать, — синтония содержит в себе элемент гармонии, гладкого ритма, так сказать, между собственным становлением и отрезком окружающего становления. В синтонии есть проживаемый *синхронизм*.

Теперь мы можем перейти к последнему, третьему, уровню наших размышлений, а именно — к психопатологии шизоидии и синтонии. Что касается шизоидии, раньше я стремился показать, каким образом личная деятельность была окружена чем-то вроде живой каймы, состоящей из синтонных и интуитивных критериев, и как эти критерии обозначают границы, до которых может быть доведено противопоставление между «я» и миром без серьезных последствий, а также — как они способствуют тому, что наша деятельность становится бесконечно гибкой и податливой, бесконечно человеческой и радостной. Затем я продемонстрировал, каким образом в тот момент, когда эта кайма отсутствует или прогибается, личная деятельность, которая словно вышла из своей естественной среды, приводила к увеличению зачатков аутизма, содержащихся в ней, проваливаясь в эту пропасть, становилась все более и более холодной и негибкой, пропитывалась рациональными критериями, терялась в пустой мечтательности и опускалась до уровня деятельности, неспособной обнаружить даже минимальное эхо в окружающем становлении.

По сути, как и следовало ожидать, ухудшение шизоидии проходит в паре с ослаблением синтонных критериев. Это нам объясняет — что очень важно подчеркнуть, — почему в системе психологии межличностных отношений большой семьи среднестатистических индивидов мы подразумеваем именно ослабление синтонных критериев. И, сталкиваясь с шизоидией, мы заранее не знаем, какое значение имеет шизоидия для возникновения творческого потенциала индивида. На основании этого, в области характерологии и психопатологии нам достаточно шизофрении и шизоидии, а шизотомию можно исключить, так как и шизофрения, и шизоидия характеризуются ослаблением синтонных критериев, при этом первая рассматривается в качестве ухудшения второй.

В случае синтонии все иначе. Нельзя сказать, что синтония характеризует нормального человека, не очень хорошо понимая, что

же такое на самом деле нормальный человек. Однако по-прежнему синтония самым непосредственным образом получает положительное значение, когда речь идет о психологии межличностных отношений человек—человек, она является самодостаточной. С другой стороны, в силу этой характеристики, мы не сможем признать, как уже говорилось ранее, что синтония увеличивается. Сложно представить тип поведения индивида с «излишней» синтонией. Получается, мы снова пришли к тому, что между синтонией и шизоидией существует *особая асимметрия*, которую можно считать отправным моментом для патологических изменений. Эта формула утверждает, что различие между синтонией и маниакально-депрессивным психозом заключается лишь в разнице степеней, вызванных развивающимся ослаблением шизоидного критерия. Но такой упрощенный взгляд на проблему не может нас удовлетворить, ибо все — с точностью до наоборот: изменения в данной области должны подчиняться совершенно иному закону и происходят *в рамках самой синтонии*. Так какова же природа этих изменений?

2. Некоторые рекомендации по поводу маниакального возбуждения

«Буйный больной маниакального типа», «идеальный маньяк», говорим мы, когда сталкиваемся с чистым случаем этой особой формы психических расстройств. В отличие от буйного шизоида, он продолжает быть в контакте с реальностью — что является характерной чертой его поведения; более того, по словам Блейлера, он жадно впитывает внешний мир. Мы можем добавить: он впитывает внешний мир с такой силой, что совершенно не проникает в него. Именно поэтому его физическая активность быстрее нашей активности, что сегодня, когда каждый пытается победить время и пространство любой ценой, несомненно, является преимуществом, однако это все-таки деградирующая активность. Контакт с реальностью существует, безусловно, но контакт исключительно *единовременный*, без проникновения, в нем нет проживаемой длительности. У нашего маньяка отсутствует что-то важное, отсутствует *распределение во времени*.

Буйный больной маниакального типа живет только сейчас, и именно этим «сейчас» ограничивается его контакт с окружающей реальностью; для него больше нет настоящего, а также полностью отсутствует и распределение во времени. В данном случае психическая

жизнь подверглась *субдукции во времени*, как, кстати, бывает при возникновении состояний меланхолической депрессии⁶⁷.

В качестве доказательства хочу привести слова Крепелина о бессвязности мышления, наблюдающейся у буйных больных маниакального типа: «Поскольку бессвязность мышления — лишь одно из проявлений ненормальной способности, при помощи которой такие больные развлекают себя, достаточно часто мы замечаем, что в рамках доступного им внешнего стимулирования, оказываясь под влиянием этих стимулов, их мышление обретает новое направление, что впоследствии и отражается в речи. Любой предмет, на который упал их взгляд, любая надпись, случайный звук или слово тотчас же проникают в их речь, становясь причиной возникновения целой серии похожих представлений, которые нередко связаны между собой исключительно через вербальные привычки и созвучия. Способность наблюдать и понимать ни в коем разе не будет увеличена. Скорее, даже наоборот: такие больные способны все воспринимать исключительно мимолетно и расплывчато, кажется, они не слишком беспокоятся о том, что происходит вокруг них. Однако, как только они замечают что-то, ход их мыслей, а также в большинстве случаев и поток речи тоже попадают под влияние; они выражают свое восприятие через речь, а далее, без всякой на то причины, увлекаются возникшим таким образом возбуждением». Думаю, эти слова как нельзя лучше отражают наблюдающийся у маньяков особый вид сужения, которому подвергается витальный контакт с реальностью, не подавляющий этот контакт, но превращающий его в нечто поверхностное: он становится игрушкой «сейчас», непостоянной и изменяющейся каждое мгновение.

Чтобы моя мысль стала вам более понятной, я хочу привести еще один пример, взятый не из общепринятых клинических симптомов, однако способный показать, что свободная игра настоящего, вместе с ее растягивающимися границами, у маньяков отсутствует.

На какое-то время мне удалось удержать внимание одной больной маниакального типа. Я воспользовался моментом, чтобы расспросить ее о прошлом, и узнал, что муж этой больной, ранее живший на Севере, уехал оттуда и обустроился в южной части страны, где вот уже десять лет занимается торговлей, несмотря на все сложности, с которыми ему пришлось столкнуться вначале. «Доволен ли он?» — спросили мы у нее, и в этот миг стало очевидно, что

⁶⁷ См. анализ в: Часть II, Глава I.

настоящее, заключенное даже в самой структуре вопроса, является чем-то весьма обширным и подразумевает обобщение всех усилий ее мужа в прошлом, направленных на то, чтобы добиться успеха, а также прийти к чувству удовлетворения, которое при этом всегда возникает. Однако на заданный нами вопрос «Доволен ли он?», наша больная ответила: «Когда? *В это самое время?* Я не знаю».

Просто игра слов, скажете вы, часто встречающаяся у буйных больных маниакального типа, способная объяснить их нездоровое «хорошее настроение». Однако в момент нашей беседы эта больная выглядела скорее озадаченной, маловероятно, что она предавалась подобным играм разума. И даже если это была игра слов, мы не должны забывать, что в большинстве своем игры слов далеки от того, чтобы обладать похожей структурой. В данном случае они основаны на временной основе, которую больная противопоставляет нашему настоящему с весьма своеобразной легкостью; отказ от его рассмотрения — это обстоятельство, не имеющее значения с точки зрения психологии. Кстати, подобные ответы нередко встречаются у буйных больных маниакального типа; учитывая эти обстоятельства, более чем вероятно, что они демонстрируют нам характерную черту психики таких больных.

Помню, как-то доктор Иванов-Смоленский рассказал мне о своих наблюдениях: ему удавалось на некоторое время успокаивать маньяков и даже добиваться от них адекватных ответов, обращая их внимание в прошлое, в чем, похоже, и есть некая истина. Это согласуется с нашими выводами, в том смысле, что, когда мы примешиваем прошлое, нам удается освободить маньяка от воздействия «сейчас», под которым он находится и из которого не способен создать настоящее.

Кроме того, следует отметить, что буйные больные маниакального типа, разговаривая, предпочитают употреблять конструкции настоящего времени, в отличие от некоторых буйных больных шизофреников, которые, более или менее бессвязно, а порой даже применяя гипермнезию, прибегают к выуживанию воспоминаний из прошлого.

Полагаю, структурный анализ маниакального возбуждения должен двигаться именно в таком направлении, тем более что это позволит нам рассмотреть его под тем же углом, под которым мы рассматривали меланхолическую депрессию, а именно — в качестве расстройства, относящегося к распространению во времени, или, если вам так больше нравится, в качестве проявления психической субдукции во времени. Достаточно долго клиническая практика объединяла эти клинические картины, столь далекие друг от друга при первичном

рассмотрении, в одну общую клиническую категорию. Сейчас то же самое удалось сделать и психологии, причем не в форме поверхностного противопоставления патологических веселья и грусти, а подчеркивая структурную *идентичность* состояний маниакального возбуждения и меланхолической депрессии, скрытую за психоэмоциональной разницей, которая теперь рассматривается в виде вторичного проявления этих синдромов. Мания и меланхолия представляют собой одно целое, но не потому, что они находятся на разных полюсах одного и того же ряда, — просто они основаны на *идентичной субдукции в области нормальной синтонии*.

3. Меланхолическая депрессия. Работы д-ра Штрауса и д-ра Гебзаттеля

Уже неоднократно у меня появлялась возможность настаивать на том, что существуют изменения, которым подвергается феномен времени в состояниях меланхолической депрессии; на основании данной точки зрения, я хочу обратиться к комментариям, относящимся к наблюдению, описанному мной в первой главе второй части этой книги. Исследования Штрауса и Гебзаттеля также подчеркивают характерный механизм указанных состояний.

Штраус⁶⁸ настаивает на роли, которая отводится феномену времени в анализе психических расстройств, в частности — в анализе эндогенных депрессий. За исходную точку своих исследований он взял противопоставление имманентного и транзитивного времени, сделанное Р. Хёнигсвальдом, и определяет последнее не просто как время, идентичное физическому, а как ход времени, который объединяет нас с другими людьми (*immanente und traseunte Zeit*). Оно достаточно близко по содержанию к объективному времени, но отличается от него, поскольку обладает избирательными моментами, такими как «сейчас», «сегодня», «вчера» и т.д. Параллельно Штраус также оперирует терминами «личное время» (*Ich-Zeit*), и «мировое время» (*Welt-Zeit*).

Оба эти принципа, относящиеся к проживаемому времени, гармонично сосуществуют. Но между ними возможна и асимметрия. Если личное время идет быстрее, чем мировое, то человеку кажется, что время проходит быстро, если происходит наоборот, то время тянется,

⁶⁸ Straus E. *Das Zeiterlebnis in der endogenen Depression und in der psychopathischer Verstimmung*. Monatschr. Für Psych. und Neurol. Bd. LXVIII, 1928.

и человек погружается в мрачное настроение. Подобные изменения «тонуса» имманентного времени, если в данном случае допустимо так выразиться, относительно времени транзитивного, безусловно, зависят, с одной стороны, от изменений в состоянии души, а с другой — от того, что нам предлагает интересного, стимулирующего, разнообразного окружающая среда.

Следует отметить, что именно на стадии патологических состояний, в частности — в состояниях эндогенной депрессии, контраст между двумя этими мирами особенно поражает. В патологических состояниях человеку кажется, что имманентное время значительно замедляет свой ход, даже останавливается, прошлое и будущее отдаляются, разделяются пустотой, а настоящее становится застывшим и статичным, утрачивает свою направленность. Такое изменение временной структуры оказывается между скрытым биологическим расстройством, с одной стороны, и текущими клиническими симптомами — с другой. По мнению Штрауса, это изменение является прямым следствием биологического расстройства, в данном случае — торможения, и представляет собой истинную основу различных психических симптомов, позволяя нам — только оно и дает возможность сделать это — объединить их вместе в истинную концептуальную целостность.

К каким же последствиям для психической жизни может привести такая несогласованность между имманентным и транзитивным временем?

По большому счету, наша жизнь ориентирована в будущее. В тот момент, когда происходит патологическое торможение, указанное направление подвергается глубочайшим изменениям. У людей с такими изменениями, как считает Штраус, время больше не направлено из прошлого в будущее, оно, как кажется, не изменяется вовсе и уже не связано со становлением, превращается в простую последовательность, а затем и вовсе становится бессмысленным, теряя свой временной характер. В результате исчезает возможность использовать различные ситуации в настоящем времени либо возникает ощущение необратимой нацеленности в прошлое.

Поскольку жизнь подталкивает нас двигаться вперед, в будущее, мы истолковываем прошлое, уже опираясь на новые события и ориентиры, но в нем всегда остаются нереализованные возможности. Конечно, ни личные проблемы, ни проблемы жизни в общем смысле никогда не разрешаются до конца, полностью; отсюда и вытекает их способность возникать вновь и вновь, как в жизни конкретного

индивида, так и в жизни всего человечества. Однако отсюда также вытекает и ощущение независимости, которое относится, как минимум, к прошлому. Именно на способности «исчерпывать» настоящее и на ощущении независимости относительно прошлого и происходят расстройства, обладающие чертами течения времени.

В патологических состояниях, когда становление блокируется, а будущее не наступает, прошлое может актуализироваться в качестве чувства вины. Больному не дают покоя неиспользованные варианты, нерешенные проблемы, неблагоприятные поступки. Жизнь больного начинает определяться прошлым, которое нельзя исправить. Во время текущих наблюдений установлено, что при маниакально-депрессивном психозе депрессивные состояния нередко сопровождаются различными навязчивыми феноменами, например, навязчивым стремлением считать, контролировать, пережевывать, отслеживать наименее значимые события либо внешней, либо внутренней жизни, чему также зачастую сопутствует возникновение навязчивых идей меланхолической природы. Может показаться, что в данной ситуации речь идет о двух разных уровнях, которые определены более или менее высокой степенью дробления феномена времени. В тех случаях, когда феномен времени лишь замедляется, возникают навязчивые феномены; все вместе они объясняют неспособность продвигаться вперед и «исчерпывать» настоящее. Кроме того, мы можем задуматься: не обладают ли эти симптомы и компенсаторной характеристикой? Ведь все вместе они подталкивают индивида постоянно что-то пересчитывать или не переставая записывать события, а значит, на основании этого может возникнуть мысль о движении вперед, о механическом движении времени, разумеется. Это движение вперед или, правильнее будет сказать, иллюзия движения вперед в состоянии заместить собой ослабевающий динамизм; именно по этой причине одна из больных, с которой работал Штраус, говорила, что она ощущает движение времени вперед, только когда занимается вязанием. Однако если торможение становится более сильным и личное время, кажется, полностью останавливается, то и осложнения тоже нарастают; теперь психика контролируется идеей абсолютного превосходства прошлого. Для больного это превосходство превращается в меланхолический психоз, сопровождаемый уверенностью в том, что неминуемо наступит катастрофа, а также манией разрушения, недостойности, виновности и ипохондрическими расстройствами, которые, как легко заметить, выражают факты и обязательно относятся к прошлому.

Именно по этой причине различные симптомы развития внутренней депрессии, похоже, дают объяснение возникновению глубоких изменений в структуре времени, относящихся к более или менее серьезному контрасту между имманентным и транзитивным временем.

Это утверждение не только наделило новыми оттенками изучение проблем психопатологии, но имеет и огромное практическое значение; оно может пригодиться нам в том случае, когда речь идет о специфической диагностике внутренних депрессий, сопровождаемых реактивными депрессиями, которые часто встречаются у психопатов. В данном случае отсутствует изменение времени, характерное для внутренних депрессий; больной не чувствует себя оторванным от будущего, он лишь ощущает, что в будущем ему что-то угрожает, поэтому ищет защиту либо напрямую, либо какими-то обходными путями. Эта общая характеристика обнаруживается в его опасениях, жалобах, обвинениях, которые он, будучи в отчаянии, предъявляет другим как явно, так и скрытно, через мотивы, способные подтолкнуть его к самоубийству. В отличие от ипохондрического меланхолика, для которого любое действие обречено на неминуемый провал, поскольку сталкивается с неизбежным ходом вещей, *он боится* любых болезней и ищет спасения у врачей.

В продолжение исследований Штрауса, Гебзаттель опубликовал интересное наблюдение, с которым я бы хотел вас познакомить⁶⁹.

Речь пойдет о молодой девушке, ей 20 лет, она страдает от внутренней меланхолии. Приступ длился около года и завершился выздоровлением. За время этого приступа, в течение долгих месяцев, наряду с остальными характерными для состояния меланхолии симптомами, проявлялись расстройства, относящиеся к феномену времени; эти расстройства даже занимали ведущие позиции в сознании больной. Именно они и должны нас интересовать. Вот как сама больная описывает эти расстройства:

«В течение всего дня меня преследует тревога, связанная с течением времени. Я вынуждена постоянно думать, как оно проходит. Даже сейчас, когда мы с вами разговариваем, при каждом слове я думаю: «Секунда, секунда, еще секунда». Это невыносимо и ведет к торопливости. Я всегда куда-то спешу. Это начинается с самого пробуждения и сопровождает все звуки.

⁶⁹ Gebzattel V. *Zeitbezogenes Zwangsgedanken in der Melancholie. Versuch einer konstruktiv-genetischer Betrachtung der Melancholie-symptome*. Der Nervenarzt, I Helt, 51928.

Услышав щебетание птицы⁷⁰, я не могу ничего с собой поделать, я должна считать: «Одна секунда...» Падающие капли воды приводят меня в ярость, так как я *вынуждена* постоянно думать: «Одна секунда, еще одна секунда...» То же самое и с тиканьем часов. Я не могу ездить поездом, ибо мне претит сама мысль, что нужно быть на вокзале в два часа пятьдесят минут. Это нагоняет на меня такую же тоску, как и необходимость потратить двадцать минут, чтобы дойти до точки «Х»... Столь же невыносима и мысль о браке, поскольку мне придется сказать себе, что церемония продлится один час. Я не могу понять, каким образом другие люди строят планы, связывают их с конкретными моментами во времени и при этом остаются абсолютно спокойными. В сравнении с ними я чувствую себя иностранкой, словно я больше не являюсь частью коллектива, который образуют все эти люди. Когда другие говорят, я не могу понять их или понимаю умом, но не способна постичь, как им удается говорить спокойно, постоянно не повторяя себе: «Чтобы произнести эти слова, мне понадобится столько-то секунд, затем я сделаю это и то, на что уйдет шестьдесят лет, потом я умру, но появятся другие люди, а после них еще другие, они проживут столько же, сколько и я, может, чуть больше или чуть меньше, они будут есть и спать, как и я, и все это будет продолжаться и дальше, не имея никакого смысла, еще тысячи лет».

Видя, как кто-то идет, я *должна* фиксировать каждое движение, каждый шаг: «Секунда, еще секунда...» — это меня ужасно раздражает. Такие мысли всегда со мной, иногда они выражены явно, иногда это лишь ощущение. Я часто говорю себе, что вовсе не больна, что просто мне дано какое-то знание, на которое остальные не обращают внимания, а я благодаря этому знанию сформировала для себя жизненную концепцию, похоже, неудачную, поэтому никто ее не поддерживает, хотя, по сути, она абсолютно логична; я совершенно не представляю, что можно думать как-то по-другому.

Необходимость думать именно таким образом очень беспокоит меня. И самое неприятное, что это состояние ухудшается. Ухудшается потому, что временные интервалы, которые я должна фиксировать, становятся все более и более короткими, настолько, что ощущение безумной спешки постоянно нарастает. Все началось с того, что мне никак не удавалось составить себе распорядок дня. Но вдруг появились интервалы, о которых я была обязана думать: это длилось один час, это одну минуту, это одну секунду, интервалы становились все короче и короче. Кстати, когда я вяжу, на каждой петле, при каждом движении спицы, я должна отслеживать время.

⁷⁰ Очень интересно сопоставить речи этой больной и жалобы шизофреника, которого изучал Фишер, касающиеся ощущения растягивания, которые он испытывал, когда слышал щебетание птиц.

А еще — всякие звуки и шум. Все это вместе — невыносимо, ужасно и вызывает желание покончить с собой.

Когда я говорю с вами, в первую очередь стирается слово «говорю», затем слово «стирается». Сначала стираются слова, потом — буквы. Все исчезает, превращается в обрывки.

Я не верю, что мое состояние может когда-нибудь измениться. Всякий раз, совершая какое-то движение, я должна фиксировать его: сейчас я делаю это, а теперь — то... Например, наводя порядок в шкафу, я про каждую вещь вынуждена думать: достать, сложить, убрать и т.д. В этом есть что-то пугающее, это похоже на способ совершить убийство, отсюда, наверное, и связь с самоубийством. Страшно, что при каждом движении, при каждом действии расстояние, которое отделяет меня от смерти, становится все короче. Если кто-то с радостью предвкушает наступление весны, цветение в саду, я не могу понять этого человека, так как мне всегда приходится думать о том, что, когда весна настанет, расстояние, отделяющее меня от смерти, вновь сократится и смерть приблизится. Так чему тут радоваться? При этом я не боюсь смерти, она кажется мне прекрасной, но осознание, что все проходит, а жизнь становится короче, пугает меня. Кстати, когда я вяжу, смысловая нагрузка не указывает на то, что работа продвигается, она отмечает, что в процессе вязания срок моей жизни укорачивается, а это ужасно. Поэтому я и хочу совершить самоубийство, чтобы избавиться от такой жизни, от такого образа мыслей, несмотря на то, что я очень люблю жизнь.

Вот почему мне все кажется абсурдным, не имеющим ни малейшего смысла. Отсутствие смысла заставляет страдать.

Думаю, причина моей болезни в страхе состариться. Я сидела дома, бездельничала, время шло, у меня ничего не получалось, все это нервировало меня. Когда моя сестра вышла замуж, я сказала себе: через год, через два, через три настанет и твоя очередь. Настанет моя очередь, как настает очередь всех остальных женщин. Это казалось мне нелепым. Так происходит на собраниях, когда кому-то говорят, что уже пора выступать: сейчас очередь такого-то, затем такого-то, а потом будет моя. Я выступаю, потому что подошла моя очередь, но это не имеет никакого смысла. Я радуюсь, это правда, когда мне дают что-то или когда кто-то вежлив со мной, но ужас в том, что на самом деле мне все равно, абсолютно все равно. В некоторые моменты это было настолько явно выражено, что я уже больше не могла ничего делать — ни умываться, ни одеваться, тем более что ко всему этому я была совершенно равнодушна. Например, я умею играть в теннис, я бы могла поиграть, однако не решаюсь, так как нужно заставить себя, а я не хочу, поскольку считаю, что это глупо, ведь мне постоянно придется думать: вот я подаю мяч, а теперь подает соперник, сейчас я наклоняюсь... — но зачем все это?»

Чтобы проанализировать случай этой больной, Гебзаттель сопоставляет историко-генетический (*historisch-genetische Methode*) и конструктивно-генетический методы (*konstruktiv-genetische Methode*). Первый нацелен на то, чтобы, опираясь на прошлое больного, объяснить, почему его внимание, его навязчивые идеи фиксируются именно на феномене времени или пространства. Кто знает — пожалуй, добавлю я свое мнение, — может быть, страх состариться, о котором говорит больная, с этой точки зрения и не является первопричиной. Однако данный метод охватывает лишь содержание и не касается того, почему мысль зафиксирована *навязчиво*. Здесь, считает Гебзаттель, более уместен конструктивно-генетический метод, который выходит за рамки простой «формы», отвлекается от биологических оснований симптомов, проникая в самый центр жизни. И он, если я не ошибаюсь, совпадает с методом исследования, который мы определили как феноменологически-структурный анализ.

Мы уже знаем, что наша жизнь, и Гебзаттель тоже настаивал на этом, направлена вперед, к развитию и становлению, но параллельно с этим время постоянно уносит в прошлое часть нашей личности и нашей жизни. Обычно второй момент всегда перекрывается первым, и мы редко замечаем, как уходит время и то, что оно уносит с собой. Только если ход времени блокируется, второй момент выходит наружу и начинает господствовать над человеком. Движение, устремленность личности вперед, развитие прекращаются. Те области, в которых обычно нет никакой остановки, теперь отмечены застоем. В патологических случаях фраза «кто не движется вперед, движется назад» в своем буквальном значении начинает определять жизнь больного. В нормальной жизни, в те моменты, когда наваливается усталость, у нас тоже бывает неприятное ощущение утечки времени, но в данном случае это проходящее явление; однако, когда речь идет о патологическом торможении, такая утечка главенствует над всем. А время просто утекает.

Именно этот аспект времени и руководит нашей больной. Она как бы планирует время, выходит за его пределы, но таким образом, что все внешние события ее сознание запоминает исключительно в указанном аспекте, а содержание этих фактов имеет небольшое значение; с равным успехом она замедляет самые значимые из этих событий, так как, кроме утекающего времени, ее ничего не волнует. Подобное отношение к происходящему мы обнаруживаем у уставших людей. В качестве примера Гебзаттель приводит персонажа Достоевского, который под угрозой неминуемой страшной казни предельно

точно запоминает детали, не имеющие ни малейшего значения: пуговица на форме, галстук прохожего, камни на мостовой, и т.д. «В тех случаях, когда мы не в состоянии осознавать окружающий мир активно и на основании этого образовывать его, он начинает главенствовать над нами, причем делает это под атомистическим аспектом отдельных содержаний».

То, каким образом больная записывает внешние события, является лишь естественным следствием остановки имманентного времени. При этом состояние ее души и собственный способ запоминания существуют абсолютно гармонично, в силу чего возникает впечатление, что все это истинно, все логично, что это знания, которые ей удалось добыть, знания, недоступные другим.

Смысл ее существованию придает именно направленность всей нашей жизни в будущее. В тот момент, когда эта направленность ослабевает, все кажется однообразным, глупым, не имеющим никакого смысла; возникают вопросы: «Почему так происходит? С какой целью?»

Вместе с тем, такая направленность, соотнесенность с темпоральностью особенностей окружающего мира способствует выделению этапов жизни, связанных, прежде всего, с временем начала и окончания различных действий и с их целью, если за основу мы берем реализацию своих проектов. Но когда течение времени блокируется, движение дробится на изолированные элементы, причем, по мере того как нарастает заторможенность, дробится все больше и больше. Именно эти фрагменты и фиксирует больная Гебзаттеля, когда говорит, что интервалы, которые она должна запоминать, становятся все короче.

Однако она не просто фиксирует дробление: интервалы, не отдавая себе в том отчета, определяет сама больная, которая занимает таким образом активную позицию, создавая их своей мыслью и даже в застывшем времени направляя жизнь в будущее. Вероятно, это единственный доступный ей вид деятельности; из-за этого появляются навязчивые мысли, но факт остается фактом: наша больная стремится что-то *делать*, как бы борясь с болезнью.

Среди прочих симптомов ее состояния еще один заслуживает особого внимания: это непрекращающаяся тоска, тесно связанная с мыслью о смерти. Ощущая, что время проходит, больная навязчиво думает о смерти, которая приближается к ней по мере того, как время проходит, как если бы между моментом в настоящем и смертью не было бы совершенно ничего, кроме бесцельного течения времени; это наводит на нее ужас.

Смерть предстает перед нами в двух образах. С одной стороны, смерть тесно связана с жизнью, следует за ней, словно тень; каждое завершённое творение знаменует собой окончание какого-то отрезка жизни; точно так же, вместе с любым пережитым чувством, которое достигло своего апогея, а затем пошло на спад, мы погребём какую-то частичку себя. По мере движения жизни вперёд эта «тень смерти» неотвратимо увеличивается, кроме моментов, когда кажется, что сама жизнь наконец-то смогла осуществить все то, что ей было суждено осуществить, довести до конца самым естественным образом наше индивидуальное становление. Такая смерть — составная часть нашей жизни; и мы вовсе не движемся в её направлении, напротив, это она следует за нами, шаг за шагом, как верный товарищ, который не вызывает у нас абсолютно никакого страха. Относительно жизни смерть является имманентной. Однако, наряду с этим, существует транзитивная смерть: обладая чужой и враждебной силой, она приходит издалека и жестоко разрушает нашу жизнь; она совершенно не связана с распространением жизни, наоборот, является её отрицанием; она внушает нам страх. Вполне вероятно, что транзитивная смерть — продукт нашего мышления, которое пытается конкретизировать развитие имманентной смерти аналогично тому, как поступает в отношении проживаемого времени. Но сделать это можно, лишь деформировав её, преувеличив её изображение, отделив его от естественной основы и противопоставив живому «я», что приводит нас в ужас. В те моменты, когда поток жизни натывается на преграды, имманентная смерть тоже останавливается; и тогда транзитивная смерть начинает главенствовать в сознании.

В результате человеком овладевает экзистенциальная тоска. Можно предположить, что желание совершить самоубийство — попытка больного избавиться от этого состояния. Однако следует избегать таких объяснений, которые слишком часто обращаются к элементам нормальной жизни, когда трактуют мотивы некоторых поступков больных. Конечно, иногда больные уверяют, что предпочли бы такой жизни смерть, но, с другой стороны, порой они дают комментарии по этому поводу, которые, мягко говоря, кажутся весьма парадоксальными. Так однажды больная сказала своему врачу, что после самоубийства она не умрет полностью; в другой раз она заявила ему, что самоубийство поможет ей излечиться. Как можно объяснить эти странные слова? Больная стремится жить, но также стремится и к имманентной смерти, связанной с жизнью. Как от одной, так и от другой её отделяет заторможенность, создавая перед ней непреодолимые

препятствия. Ее желание жить и постепенно умирать, будучи живой, может стать явным, только приобретя форму транзитивной смерти, под гнетом которой находится ее сознание. Именно по этой причине она таким образом пытается вернуться к жизни и рассчитывает поправиться. По сути, это все тот же механизм, что лежит в основе остальных навязчивых феноменов, от которых страдают больные с навязчивой меланхолией, как, например, в случае одержимости подсчетами. Безусловно, при противопоставлении одной цифры другой удастся достичь некоего подобия развития, но оно не будет полным. Когда имманентное время останавливается, в отсутствии всестороннего развития личности больная пытается заполнить пустоту чем-то напоминающим движение в транзитивном времени — она осуществляет движение, занимаясь подсчетами. Однако совершенно очевидно, что это не может принести ей удовлетворения, так как в действительности ее отделяет от реального развития такая же пропасть, как та, что существует между транзитивным и имманентным временем. Пытаясь достичь несбыточной мечты, больная обречена вновь и вновь повторять свои действия, и в результате подсчеты превращаются в навязчивую идею. Похоже, что навязчивое состояние, связанное с желанием совершить самоубийство, имеет ту же основу: в транзитивном времени больная пытается компенсировать то, чего из-за болезни лишена в имманентном времени.

Итак, мы с вами познакомились с идеями Гебзаттеля. Едва ли нужно объяснять, какой интерес представляет для нас его образ мыслей, а также специально обращать внимание на то, как много у меня с ним точек соприкосновения⁷¹.

⁷¹ Мне бы не хотелось завершить эту главу, не отметив недавнюю работу Л. Бинсвангера о бессвязности мышления («*Ueber Ideenflucht, Orell Fussli*», Цюрих, 1933), в которой полностью подтверждаются полученные ранее сведения, при этом раскрываются новые способы изучения структуры состояний маниакального возбуждения.

ГЛАВА V

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЫЕ ФОРМЫ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ

В этой главе я хочу привести некоторые результаты наблюдений за больными с симптомами депрессивного состояния, у которых были также выявлены и характерные механизмы меланхолической депрессии, занимающей отдельную нишу во всем многообразии психики либо соединяющейся с другими механизмами, например, с психическим автоматизмом или с шизофреническим фактором, что приводит к возникновению особых клинических картин. А еще в эту главу я включил анализ депрессивного состояния, которое в первую очередь характеризуется проявлениями. Очевидно, что все эти наблюдения не подлежат пересмотру и не закрывают вопрос о депрессивных состояниях. Они необходимы нам, только чтобы прояснить, как проводится структурный анализ, и на основании этого подчеркнуть, каким образом собирается информация.

*1. Состояния пресбиофренической депрессии*⁷²

Мы работаем с больной женщиной 68 лет, она проявляет некоторые признаки умственной деградации: ослабевание памяти, частичная дезориентация во времени (ориентация во времени еще относительно хорошо сохранена), нарушения суждения. Поведение больной в полной мере соответствует такой ограниченности; почти не переставая она пережевывает кусочки ниток и обрывки бумаги, которые подбирает повсюду, а затем съедает их; ее тело и руки испещрены царапинами. Расстройства психики не проходят уже много лет.

⁷² Это исследование было проведено совместно с доктором Тизоном.

Как и все остальные старики, она все еще проявляет способность заниматься адекватной деятельностью, но лишь эпизодически, при этом, в соответствии с тем, на что я уже обращал внимание вслед за Курбоном⁷³, она ограничивается настоящим и, более того, направлена исключительно на конкретные предметы ближайшего пространства. Так, например, она запоминает все мельчайшие детали своей повседневной жизни в платной психиатрической клинике: то приходит сообщить нам о шуме, который издает ее соседка по комнате, то, услышав, как мы зовем сиделку, говорит, что минуту назад видела ее там-то и там-то. Причем делает это не задумываясь, без какой бы то ни было цели. Она с таким рвением рассказывала обо всем, даже если ее не просили, что в конце концов стала всех раздражать и получила прозвище «болтушка».

С психомоторной точки зрения, в поведении больной проявляется в некотором роде возбуждение: она не может сидеть на месте, ходит туда-сюда, шныряет повсюду, вмешивается в вопросы, которые ее совершенно не касаются, тем самым подвергая невыносимым испытаниям терпение остальных больных и даже персонала⁷⁴.

Однако в клинической картине преобладает депрессивный фон. Она стонет, причитает, жалуется на все. Кроме того, мы наблюдаем у нее ипохондрические идеи, которые доходят до мании отрицания, мании разрушения, некоторых видов мании преследования: по ее словам, она уже плохо видит, больше не ходит в уборную, не мочится, у нее пусто в животе, она не замечает ничего, кроме бумаги и тряпья, у нее свищ и рак заднего прохода, ее разум атрофирован, в голове нет никаких мыслей, мозг наполнен водой, у нее больше нет денег, не считая последних сорока су в кармане, нет никакой одежды, кроме той, в которой она сейчас, у нее больше нет квартиры, нет фамилии, нет адреса, одним словом — нет ничего; ее заставляют страдать, пытаются отравить вином, которое подают во время обеда, ей в еду добавляют ингредиенты, ухудшающие зрение; особо коварны сиделки,

⁷³ В следующей главе у меня будет возможность обсудить этот вопрос.

⁷⁴ Такая особая «любопытность», относящаяся к конкретным вещам, достаточно часто встречается у больных данной категории; так ведет себя и эта больная: она заходит в соседние палаты, чтобы посмотреть, что там происходит, даже не осознавая в полной мере зачем. Или еще пример: больной открывает дверь своей палаты, как только слышит, что кто-то идет по коридору, либо заглядывает в тарелки других больных, чтобы посмотреть, что в них, вовсе не испытывая чувство тревоги или подозрительности и не страдая от мании преследования, в результате которой возникает такое специфическое поведение.

хотя она сама никогда не делала никому ничего плохого, ее не в чем упрекнуть, но все вокруг сердятся на нее и вредят ей.

В принципе, эти навязчивые идеи не представляют собой ничего особенного. Тем не менее, наверное, будет уместно хотя бы на миг обратить внимание на то, что все жалобы больной относятся только к настоящему; выражение «все становится хуже и хуже», которое столь часто встречается в речах ипохондрических меланхоликов и содержит некий критерий длительности, а также идеи о неизлечимости или угрозе смерти, в которых присутствует некий элемент будущего, у нее не наблюдаются. И даже если мы намеренно подталкиваем ее в этом направлении, она не изменяет себе: на вопрос «считает ли она свое состояние неизлечимым», она отвечает, что не знает, что это мы, учитывая положение дел, должны знать.

Наряду с описанными выше навязчивыми идеями, больная жалуется и на другие неприятные явления, причем эти жалобы встречаются значительно чаще, даже преобладают в психопатологической картине, с которой мы работаем.

Стоит ей кого-то увидеть, как она сразу начинает причитать: «Каким образом я, по-вашему, отвезу всех этих больных к себе домой? Я не могу, ведь у меня всего сорок су». Это повторяется бесконечно с незначительными вариациями, например: «Неужели я могу взять их всех к себе, где мне найти столько кроватей? У меня нет даже смены нательного белья, у меня ничего нет». В течение многих лет одна и та же песня. Никакие беседы не дают результата.

В то же время, хотя за долгое пребывание в платной психиатрической клинике ни разу не поднимался вопрос о ее переводе в другое место, она очень боится, что ей придется уйти отсюда, к чему ее подталкивают все вокруг, при этом она не переставая утверждает, что не в состоянии даже выходить. Приведу несколько примеров: «Ах, нет, вы бы хотели, чтобы я уехала, но куда мне податься, у меня нет ни комнатки, ни квартиры, ничего. Мне некуда идти, я никого не знаю, у меня нет жилья, ничего нет». — «Ну вот, снова эти больные, а если сегодня вечером мне помогут убраться прочь? Объясните же, что происходит, я ничего не знаю; почему все хотят всучить мне этих больных, где, по вашему мнению, я их размещу?» — Вр.: «Получается, вы не хотите оставаться здесь?» — Пац.: «Хочу, просто все обернулось совсем по-другому». — Вр.: «Вы здесь скучаете?» — Пац.: «Да нет же, но меня в любом случае вышвырнут отсюда». Когда на прощание ей говорят «до свидания», она отвечает: «Вы хотите, чтобы я уехала?» Однажды она остановилась у окна, посмотрела на крыши

внизу и заявила: «Невозможно пройти по этим крышам, нет никакого выхода; вы действительно думаете, что я проберусь по ним?»

Затем она начала причитать, так как ей показалось, что все вокруг уходят, сбегают от нее, оставляют ее одну. И здесь ограничусь лишь несколькими примерами. Она смотрит в окно, наблюдает за сиделками, которые ходят во дворе, и говорит: «Ну что ж, вы вот так уйдете, одна за другой. Больше никого нет. Я не знаю, где находится *железная дорога*». — Вр.: «Какая железная дорога?» — Пац.: «Та, которой пользуетесь все вы. Разве не правда, что все вы собираетесь уехать? Зачем играть в какие-то игры?» — «Все выглядят так, словно хотят сбежать, отвернуться от меня. Неужели дело в моей болезни? Я ничего не знаю. Почему так необходимо, чтобы в определенный момент все уехали? Неужели действительно уедут все? Что делать. Я не знаю, что и подумать». — «Я живу у вас, но в скором времени вы собираетесь уезжать. Куда, по-вашему, я могу отвезти всех этих людей? У меня больше нет дома, а в кармане всего лишь сорок су. Вы выглядите так, будто тоже собираетесь уехать, как и все остальные. Начальство уже уехало, не правда ли? Куда, на ваш взгляд, я могу поехать? Кажется, что уезжают все вокруг; куда они все едут? Вы-то должны это знать. Я никогда не уезжала далеко. Я не была ни в Германии, ни где-нибудь еще; я не приехала издалека, я местная, вы можете это проверить. Все ошибаются на мой счет, они принимают меня за кого-то другого. Никто из уезжающих специалистов не выглядит так, будто собирается просто в путешествие». — «Все уезжают, оставляют меня с больными. Что, по-вашему, я могу сделать, имея всего лишь сорок су при себе? Я не знаю, где *вокзал*, где *железная дорога*, я никогда не уезжала из дому». — Вр.: «Почему бы вам не остаться здесь?» — Пац.: «Сиделки уходят отсюда, я слышу, как они говорят «до свидания». Кроме того, все выглядят так, словно готовятся к отъезду».

Это всего лишь ее жалобы, а не типичные идеи ипохондрического типа и даже не мания разрушения и не мания преследования; такие жалобы делают ее случай уникальным. Значит, именно их мы и должны изучить более подробно.

Мне кажется, структуру этих жалоб разобрать очень легко. В их основе мы обнаруживаем:

1. Чувство беспомощности, которое в данном случае трактуется каким-то особенным образом, а именно — через неспособность забрать к себе больных либо через невозможность выйти из окна или по крышам соседних домов.

2. Впечатление, что окружающая среда исчезает, удаляется относительно ее собственного «я» (ей кажется, что люди собираются покинуть клинику, хотят уехать на поезде и т.д.).

3. Впечатление, что, несмотря на постоянные жалобы по поводу смены места пребывания и участие во всеобщем передвижении, сама она совершенно неспособна сделать это.

Едва ли нужно настаивать на том, что указанные три фактора тесно связаны между собой: соединяясь, особенно в речах больной, они, по сути, образуют неделимое целое, создавая ощущение, что *между ее собственной жизнью и окружающим становлением существует разрыв, сопровождаемый чувством беспомощности.*

Конечно, жалобы, которые мы рассматриваем сейчас, в случае нашей больной достаточно часто смешиваются с маниями разрушения и преследования. Традиционная психопатология, все еще хранящая верность этим простейшим понятиям, безусловно, самым естественным образом выведет указанные мании на первый план и не станет даже рассматривать элементы клинической картины, которые нас в данном случае интересуют как в большей или меньшей степени смежные детали, подчиняющиеся классическим навязчивым идеям. И, кстати, такая концепция имеет право на существование: невозможность взять с собой остальных больных, похоже, является логическим следствием мании разрушения; а то, что она видит, будто все уезжают, но сама не способна этого сделать, разве не напоминает обычный страх из вредности быть всеми брошенной и остаться наедине со своей судьбой, в чем можно усмотреть один из простых вариантов мании преследования? Вероятно, с клинической точки зрения такого способа суждения вполне достаточно, однако, на мой взгляд, он не всегда в полной мере охватывает проблему с точки зрения психопатологии. Как мы уже говорили, проявления, которые мы пытаемся проанализировать, в данном случае — самые характерные. А кроме того, распределить симптомы в соответствии с традиционными разделами (мания разрушения, мания преследования и т.д.) — разве это какой-то подвиг в области психологии? Данный вопрос, кажется, является лучшим доказательством того, что различные «навязчивые идеи» — всего лишь простое фиксирование феноменов, ни о генезисе, ни о реальном значении которых для патологического сознания нам ничего не известно. Более того, думаю, сложно во имя этих рамок, сформированных в большей или меньшей мере условно, отказаться от пути, который, я считаю, открывается перед нами, когда мы проводим собственные психологические исследования.

Давайте вернемся к нашему анализу.

Чтобы определить положение рассматриваемых психопатологических проявлений, нам следует обратиться к феноменам нормальной психики, в основе которых лежит ощущение того, что между жизнью индивида и окружающим становлением существует разрыв.

Учитывая возраст нашей больной, можно предположить, что она *чувствует старение*.

Мы уже знаем, что оно представляет собой и какова его структура⁷⁵. Безусловно, в данном случае речь идет об особом чувстве проживаемого старения, которое мы испытываем внутренне.

На основании данной точки зрения, быть молодым означает не только возраст — двадцать лет, например, но и — ощущать себя в полном расцвете сил, способным живо двигаться вперед. Это период, когда планы не ограничиваются приближающимся временем. В расчет принимается одна-единственная формула: «На реализацию всех этих планов у меня *еще будет* время». Мы чувствуем, что развиваемся, движемся вперед, знаем, что удаляемся от начальной точки, однако понимание, что вместе с тем мы приближаемся к финалу, совершенно не разрушает ощущение счастья от осознания того, что мы молоды.

Тогда как состариться — наоборот, означает остановиться, стать аутсайдером, быть вынужденным размышлять о том, «на осуществление чего у нас в жизни времени уже не осталось», ощущать свое приближение к финалу.

Именно таким образом ощущение того, что мы приближаемся к финалу, однажды врывается в наши души. В результате мы начинаем понимать, что же значит слово «стареть».

Впрочем, познав однажды это чувство, мы отнюдь не постоянно находимся в его власти. Наша деятельность, активность, наш личный порыв в значительной степени уравнивают его; конечно, они не способны в полной мере исключить возможность наступления безмятежной старости. Тем не менее, оно дает нам возможность понять значение слов «стареть», «приближаться к смерти», поскольку, в большей или меньшей степени, воздействует на нашу жизнь.

Давайте подытожим, еще раз перечислив основные черты этого особенного феномена: я остаюсь позади, я больше не поспеваю за окружающей жизнью, темп ее развития слишком быстр для меня, по этой причине я отстаю, отдаляюсь от нее, будучи не в состоянии

⁷⁵ См.: Часть I, конец Главы 5.

угнаться за ее движением вперед. В таком случае я в конце концов сталкиваюсь одновременно и с ощущением, что *между моей собственной жизнью и окружающим становлением существует разрыв*, и с *чувством беспомощности*⁷⁶, а кроме того, достаточно часто возникает и чувство отчаяния, в основе которого также стоит изучаемый нами феномен.

Итак, мы приблизились к тому, что, по нашему мнению, является первичной основой всех жалоб больной.

Это вовсе не означает, что она находится под полнейшим контролем ощущения старения, как все мы, кстати. Между нормальным сознанием и различными формами патологического сознания существует огромная разница, поэтому мы не можем напрямую перенести феномены одного состояния в плоскость другого. Однако мы все же считаем, что различные психопатологические синдромы, возникающие в болезненном сознании, в данном случае изначально были сформированы в нормальном сознании, а в силу такой их структуры в нормальном сознании можно подобрать для каждого из них соответствующий феномен. Возможно, здесь будет уместно позаимствовать термин, использующийся в физике, который позволяет, исключая идентичность, обозначить особое сходство звуков, что позволит нам в дальнейшем говорить о *гармонических феноменах*.

⁷⁶ Это чувство беспомощности отличается от чувства торможения, с которым мы сталкиваемся при депрессивных состояниях. Чувство беспомощности знакомо нам и по той причине, что мы можем испытывать его в обычной жизни. Я хочу написать статью, ее план полностью готов, однако проходят недели и месяцы, а мне никак не удается довести статью до конца. Я заторможен, я болезненно ощущаю это. Точно такое же ощущение заторможенности, только в значительно большей степени, проявляется при возникновении депрессивных состояний патологического характера; простейшие действия, которые мы совершаем в повседневной жизни — подъем, умывание, одевание, — кажутся абсолютно невыполнимыми. Больной страдает от этого и жалуется на свое состояние.

Чувство беспомощности, о котором идет речь в данной ситуации, имеет более обобщенную природу, оно более абстрактное, если допустимо так сказать. Оно не совсем связано с невозможностью достичь желаемого, возникшей в силу внутренних причин. Скорее, оно зависит от того, что мы больше не можем двигаться в одном направлении с жизнью, потому что сами находимся в стадии угасания, тогда как жизнь, наоборот, продолжает развиваться не престаивая. Иначе говоря, это ощущение не менее живое, не менее проникающее во все сферы. А возможно, оно даже сильнее.

Кстати, Крепелин настаивал на том, что при инволюции меланхолии чувство торможения отсутствует, и именно это чувство он считал отличительной чертой данного состояния в сравнении с депрессивными состояниями циркулярного психоза.

Психопатологические феномены нашей больной относительно ощущения старения именно таким феноменом и являются. Это чувство служит данным феноменам, так сказать, в качестве прототипа в нормальной жизни, делая их более понятными, позволяет объединить их в единую живую общность, а значит — превращает их в истинный психопатологический синдром. Полагаю, этот феномен вполне уместно будет обозначить термином *центробежный синдром*, поскольку при ощущении старения складывается впечатление, что жизнь ускользает от нас, а нашей больной кажется, будто все, что ее окружает, исчезает и избегает ее.

Таким образом, проводя структуральный анализ, нам удалось немного продвинуться вперед, установив родственные связи между ощущением старения и особенным синдромом, который мы так тщательно пытаемся изучать углубленно.

Однако это всего лишь первый этап нашего анализа, ибо пока речь идет о том, чтобы уточнить, в чем различие между этими двумя феноменами.

Конечно, различие заключено не только в том, что феномены, в основе которых лежит разрыв, существующий между «я» и окружающим становлением, контролируют психическую жизнь нашей больной, а ощущение старения, несмотря на всю его значимость, у нас самих на самом деле проявляется только эпизодически. Кроме того, и это, по-моему, значительно более характерная особенность, не стоит игнорировать, что такой разрыв проникает в *материальную и конкретную* сферу, образованную ближайшим окружением, а также всякими незначительными интересами повседневной жизни. В данном случае мы можем говорить о том, что этот разрыв *конкретизируется и материализуется* каким-то необычным способом. Такую материализацию мы обнаруживаем в утверждениях больной, когда она жалуется, что неспособна принять у себя других больных или пройти по крышам, что все вокруг уезжают, бросают ее, хотят уехать поездом и т.д. Можно сказать, что она пытается воспринимать и трактовать все, что видит, учитывая этот разрыв между своим «я» и становлением.

По сути, именно в материализации скрыто основное искажение ощущения старения в ее случае, так как, о чем мы, кстати, уже упоминали, само это ощущение обладает исключительно общими и абстрактными характеристиками и напрямую не относится ни к одному конкретному факту нашего существования. А у нее, наоборот, оно проникает в конкретные события и предметы и отражается исключительно в них.

Полагаю, здесь абсолютно недопустимо говорить о символическом выражении ощущения старения, ибо иначе действительно могла бы идти речь о символах, которые не являются ни общепринятыми, ни часто используемыми, ни понятными. Кажется, мы вплотную приблизились к истине, когда признали, что столкнулись с настоящим ослаблением структуры человеческой личности, которая, кроме всего прочего, объясняется разрушительным проникновением феномена (ощущение старения) в чуждую для него сферу (в сферу конкретного ближайшего окружения).

Эта материализация прекрасно согласуется с основной характеристикой, периодически проявляющейся как в других симптомах нашей больной, поскольку все они ограничены конкретным настоящим, так и в признаках ее умственной деятельности, о чем уже шла речь чуть выше.

Такая конкретизация является одним из отличительных признаков наряду с меланхолической депрессией, которая, как мы знаем, также основана на разрыве личного становления относительно становления окружающего, но в данном случае этот разрыв образуется несколько иначе, а значит, обуславливает другой синдром.

Симптомы, обнаруженные у нашей больной, далеко не единичны. Конечно, они не всегда достаточно четко проявляют себя в клинической картине, но нередко присоединяются к традиционным признакам тревожной депрессии или меланхолического психоза. Однако их нельзя рассматривать так же, как другие аналогичные явления, присоединяющиеся к остальным феноменам, которые могут проявляться в большей или меньшей степени; будучи *sui generis* (своеобразным) выражением нарушения структуры человеческой личности, они требуют рассмотрения в качестве отдельной группы в психической семиологии.

Приведу еще пример. Больная в возрасте 62 лет ведет себя очень тревожно, безостановочно стонет, однообразно жалуется, что ее мысли стали беспорядочными, что ее голова сжата, что ей не дает покоя царящий в голове хаос, что она неправильно считает, будто ест больше, чем необходимо, что у нее проблемы с пищеварением, что ей уже не удастся поправиться, что она больше ничего не знает, что никогда не выйдет из такого состояния.

Вместе с тем, мы обнаруживаем у больной симптомы, подчеркивающие объяснение окружающих событий в рамках центробежного движения, движения, за которым она не может следовать, которое оставляет ее позади, изолирует от мира.

Именно по этой причине, хотя рядом с ней постоянно кто-то находится, она утверждает, что останется здесь совсем одна, что ей придется провести долгие годы в одиночестве, и даже окна будут закрыты. Она уверена, что «все уйдут». Как только, глядя в окно, больная замечает проходящую сиделку, она сообщает: «Вот такая-то (указывает фамилию) уходит, и вы все тоже вскоре уйдете, все уйдут». «И куда же?» — спрашиваем ее мы. «Каждый в свою сторону, — отвечает она, — а я останусь здесь одна». Стоило мне направиться к выходу, она стала умолять меня: «Не уходите, ведь я останусь одна; моя сиделка (та, которая не оставляет ее одну) собирается уехать, она планирует *уехать на поезде*». Если сиделка берет ключи, больная сразу же заявляет: «Она взяла ключи, она уносит ключи от дома!» — и все другие действия сиделки объясняет аналогичным образом. Еще она утверждает, что здание ее корпуса находится в другом часовом поясе по сравнению с остальными корпусами: допустим, в ее корпусе еще полдень, а в соседнем — уже пять часов дня; кажется, так она пытается более конкретно материализовать ощущение разрыва, которое мы рассматриваем.

К этому же классу фактов можно отнести и другие проявления, например, такие, как жалоба больной на то, что корпус, в который ее поместили, нежилой, что из него эвакуировали всех людей, и т.д.

Ощущение разрыва с окружающим становлением мы замечаем и в страхе опоздать, не оказаться в установленном месте вовремя: такого рода страх, относящийся к самым обычным явлениям повседневной жизни, часто наблюдается при развитии старческой депрессии. Так, один больной, только закончив обедать, тут же начинает выяснять, когда будет ужин, из страха, что может опоздать. Другой больной за два часа до начала завтрака заявляет, что должен успеть к столу, поэтому у него уже нет времени принять душ, что в действительности заняло бы не более четверти часа.

Все эти феномены представляют для нас огромный интерес, так как, с одной стороны, они образуют отдельную группу феноменов, а с другой — являются доказательством глубинного изменения структуры личности, в силу чего имеют исключительное значение.

2. Психический автоматизм в соединении с меланхолическим психозом

Сейчас мы с вами рассмотрим случай тревожной меланхолии, соединившийся с синдромом воздействия. Больная в возрасте 52 лет. Характеризуется беспокойным темпераментом, повышенной эмоциональностью.

Ранее приступов не было. В стадии менопаузы. Болезнь началась около двух месяцев назад: грусть, смятение, приступы рыданий, навязчивая идея недостойности и виновности, патологическая тревожность, страх приближающегося и неминуемого страшного наказания, грозящего ей самой и ее близким, тяга к бегству (однажды ночью она сбежала к своей сестре, которая проживает в двадцати километрах от ее дома), попытка совершить самоубийство. В силу этих обстоятельств муж и два старших сына решили отправить ее в платную психиатрическую клинику. Изначально, кроме признаков тревожной меланхолии, у нее проявлялись симптомы, характерные для психического автоматизма: ее заставляют говорить, она совершает поступки, находясь под воздействием внешних сил, ее мысли воруют и повторяют. Такое состояние сохраняется уже несколько месяцев, чередуясь с периодами относительного спокойствия и бурно проявляющегося тревожного волнения. Часто она вскакивает с мыслью, что ее сыновья убиты; она кричит, разбивает окна, пытается выброситься из окна. Требуя скорейшего наказания для себя и своих близких, чтобы наконец прекратились ее страдания.

Как мы уже отмечали, проявления банальной меланхолии осложняются симптомами, которые не вписываются в стандартную клиническую картину такого расстройства. Давайте чуть дольше задержимся на этих симптомах.

Больная словно находилась под гипнозом, как будто какой-то человек завладел ею и заставлял делать все, что пожелает. У нее самой не было сил противостоять этому. Так, во время своего побега к сестре, за ночь она прошла пешком двадцать километров, хотя едва ли смогла бы пройти даже один километр, когда еще пребывала в нормальном состоянии. В ту ночь ей казалось, что в нее словно вселился демон, такие ужасные вещи она была вынуждена делать и говорить. Ей пришлось даже лгать, например, она рассказывала свояченице, что видела, как ее сыновья дерутся. Какая-то неведомая сила заставила ее уйти из дома. Она знает, насколько легко загипнотизировать человека, слышала об этом от врача. У нее крадут мысли, чтобы затем повторять их вновь.

Ей кажется, что ее дети не выглядят как прежде, она считает, что они тоже находятся под влиянием.

А еще ее как бы обыскивают, выясняют все, что она когда-либо делала, даже будучи ребенком. Кто-то пытается узнать ее мысли, чтобы с их помощью причинить ей боль. Это дьявол. Из глубин ее сознания выудили все, что происходило с ней тридцать, сорок лет назад. Кто-то копается в ее жизни в поисках ошибок и неблагоприятных поступков. Ей внушают: «Ты сделала то, ты сделала это», твердят о деяниях, в совершении которых она не уверена. Вечером ей показалось, что с ней говорили, заставляли ее признаваться во всех мыслимых и немыслимых грехах. Она

взмолилась: «Достаточно, или вы доведете меня до смерти». Сила, намного превосходящая ее, управляет ею, обвиняет ее, обзывает по-всякому. Это как изощренная пытка, словно у нее вырывают сердце и тело раздирают на части. Уж лучше умереть.

Когда она была ребенком, ей тоже казалось, что кто-то воздействует на нее. Так, если она не очень усердно молилась, то и задания в школе выполняла значительно хуже.

А сейчас уже невозможно понять, правда ли все то, что она говорит, или это всего лишь галлюцинация. Она слышит одновременно много голосов. Они звучат прямо в ее голове. Ей кажется, что один из ее сыновей совершил убийство, а у другого не все в порядке с документами. Ее преследует мысль, что они оба отправятся на каторгу. Ночью она слышала пять выстрелов, как если бы кого-то застрелили.

Похоже, врач приходит лишь для того, чтобы выяснить, о чем она думает. «Есть врач, но кроме него, есть еще и судья. Вы знаете все, вам известно все, конечно, мои слезы вас абсолютно не трогают».

Ее сыновья будут убиты. А сейчас их пытаются очернить. Это возмездие за смерть Филиппа Доде, с чьим мнением не совпадало мнение ее отца. Все это проделки Церкви, так как ее муж неверующий. Это проделки политиков. Церковь выступает против государства. Они ненавидят друг друга. «Почему на земле так много зла? Есть действительно ужасно жестокие вещи. Почему вокруг так много ненависти? Почему меня преследует злой рок?»

Ей кажется, что она причинила зло каждому в этом мире. Когда один из пациентов психиатрической клиники подошел к ней, она решила, что виновата и в его болезни.

Раньше она так вовсе не считала, но однажды начала все это отчетливо осознавать. На Рождество колокола стали звонить не так, как обычно. После посещения кладбища она еще три дня ощущала трупный запах. Как-то, будучи в Париже, она увидела иностранца, бельгийца, который смотрел на нее и что-то помечал в блокноте. А два года назад, когда ее сына призвали в армию, ему выдали гимнастерку не такого цвета, как у всех остальных. Почему? Сплошные неразгаданные тайны повсюду. Кто-то зафиксировал оконный шпингалет при помощи шпильки для волос (правда). Шпилька грязная. Это знак: ее хотят очернить.

Мания воздействия извне, возникающая при состоянии меланхолии, описана доктором Коде⁷⁷. У одного из больных, за которым он

⁷⁷ Codet H. *Idées d'influence au cours d'un état mélancolique*. Ann. Méd. Psych., mars 1923.

наблюдал, она была выражена в виде расстройства, «вызванного» — воспользуемся термином Логре — состоянием меланхолии. Внешняя ситуация, определенная таким состоянием, кажется больному настолько странной, что, по словам Коде, «за неимением внешних стимулов, больной вынужден искать другое объяснение, чтобы удовлетворить потребность *каузальной последовательности*». На основании этого Коде выдвигает гипотезу «о *воздействии извне*». Что касается трактовки возникновения самой внешней силы, то у его больного она сформировалась в результате прочтения нескольких брошюр о распространении гипноза.

Так же и наша больная, чтобы подтвердить реальность своих идей о воздействии извне, ссылается на врача, когда говорит о том, как легко загипнотизировать человека. Каузальная потребность прослеживается и в ее речах; она спрашивает себя: как, принимая в расчет ее слабость, ей удалось бы найти в себе силы, чтобы пройти пешком двадцать километров, если бы она не была ведома инородной силой, намного ее превосходящей. Однако у нашей больной, в отличие от случая, описанного Коде, мания воздействия извне сопровождается рядом расстройств, относящихся к психическому автоматизму (захват и повтор мыслей, вербальный автоматизм, слуховые психические галлюцинации, обонятельные галлюцинации и т.д.), а сами эти расстройства занимают такое важное место в клинической картине, что мы не можем рассматривать их исключительно в качестве простой объяснительной гипотезы, придуманной больной.

Прежде всего, в данном случае речь, похоже, идет об истинной *комбинации* психотических проявлений, относящихся к двум различным первичным расстройствам, каждое из которых в патогенезе клинической картины сохранило свое собственное значение. В этой комбинации присутствуют как симптомы, относящиеся к меланхолии, так и симптомы, связанные с меланхолией. Отсюда возникает вопрос: что, если сосуществование и сплетение двух категорий расстройств и определяет особенности изучаемого случая?

Чаше всего бредовые проявления меланхоликов ограничиваются собственной личностью больного, находятся в тесной связи с понятием времени и относятся к прошлому и будущему: прошлое представлено манией виновности, а будущее — ожиданием неминуемого наказания. Настоящее словно вклинивается между ошибками прошлого и расплатой за них в будущем, поэтому кажется, что оно превратилось в «ничто». Первоначально не существовало никакого развития психической патологии в пространстве. Больная, жалуясь на

свою беспомощность, отстраняется от нее посредством бреда, представленного в виде мании разрушения, недостойности или отрицания, исключая любую возможность создания положительных отношений с окружающими предметами в настоящем.

Психический автоматизм обладает совершенно иными характеристиками. В данном случае в патологической психике преобладают настоящее и пространство. Необычные ощущения, на которые указывает больная, охватывают ее, так сказать, на месте, в настоящем, в тот самый момент, когда они появляются. Вместе с тем, стремление к «получению пространственных характеристик» уходит настолько далеко, что даже самые сокровенные критерии психической жизни, например ощущение спонтанности либо мысли об этом, проявляются в форме захвата мыслей или даже в виде мании воздействия извне в пространстве, которое может быть как реальным, так и вымышленным.

В случае нашей больной бредовые проявления относятся не только к структуральному блоку, характерному для меланхолического психоза. Наоборот, они отделяются от него, достигают настоящего, проникают в бесконечное пространство. Больная чувствует свою вину за страдания остальных больных, которых видит перед собой *прямо сейчас*. Таким образом, в настоящем она создает истинную меланхолическую трактовку. В результате, ей кажется, что она причиняет зло всем окружающим (при этом она не считает себя самой виновной среди всех злодеев, которые когда-либо существовали в мире). Более того, мы видим, что возникают трактовки, обращенные к настоящему и прошлому (шпилька, при помощи которой зафиксирован оконный шпингалет, грязная — значит, ее хотят очернить; иностранец поглядывал на нее и делал пометки; два года назад ее сыну выдали гимнастерку не такого цвета, как у других, и т.д.), навязчивые идеи безличного характера (противостояние Церкви и государства, провоцирующее всевозможные беды), более или менее конкретные στεγνания, связанные со злым роком, с неминуемым возмездием ей и ее близким, с распространением непреодолимой злобы... Все эти проявления содержат в себе меланхолический оттенок и, в силу их особой структуры, изначально хорошо согласуются как с психическим автоматизмом, так и с трактовками, которые возникают исключительно в случае традиционного меланхолического психоза.

С другой стороны, больная поведала нам, что, как ей казалось, кто-то «обыскивал» ее прошлое, пытаясь таким образом навредить ей, что у нее «вырывали сердце», обращаясь к событиям, произошедшим

десятки лет назад, что какие-то голоса обвиняли ее за поступки, в совершении которых она даже не была уверена (и это наряду с самообвинением, конкретным и четко определенным). Здесь мы видим, что составные элементы психического автоматизма присоединяются к меланхолическому психозу и в некоторой степени даже могут частично отражать имеющиеся у больной навязчивые идеи.

Как бы то ни было, на основании всего, что уже было сказано, мы полагаем, что в данном случае речь идет об истинной *комбинации* патологических проявлений, относящихся к двум различным первичным расстройствам, которые, сохраняя свою относительную автономность, переплетаются между собой и оказывают друг на друга взаимное влияние.

Пациентка покинула психиатрическую клинику четыре месяца спустя, ее состояние улучшилось, но она не излечилась. У нас не было возможности отследить последующее развитие ее болезни, чтобы, в частности, увидеть, подтвердился ли благоприятный прогноз, который мы сделали, основываясь на преобладании меланхолических факторов.

3. Психический автоматизм и сенестопатия

Теперь обратимся к результатам еще одного наблюдения. В данном случае напрямую не стоял вопрос ни о психическом автоматизме, ни о меланхолической депрессии. Здесь речь пойдет о сенестопатии. Однако это одно из тех самых первичных расстройств, которые мы называем нозологическими формами. Они не стали нам ясны, пока мы не сравнили их между собой. Только установив родственные связи, отношения подобия и различия, нам удалось выявить независимые черты для каждого из них и выделить им место в совокупности наших психопатологических концепций.

В первую очередь психический автоматизм поражает ощущение свободы и личную жизнь, связанные с нашим внутренним миром (захват, повтор или полет мысли, проговаривание действий, ощущение воздействия и т. д.). Между тем существует феномен, который полностью соответствует невозможности других проникнуть в нашу личную жизнь, это может быть как невосприимчивость нас самих, в общем, так и невосприимчивость к собственным чувствам, например, таким как зрение или осязание своего физического «я». Безусловно, имеется в виду не то, что наши чувства проявляются недостаточно, а, скорее, врожденная особенность органа-психического строения, которая

руководит как сознанием телесного «я», так и осознанием направленности чувств во внешний мир⁷⁸. Самоанализ не предоставляет нам знания о том, что происходит внутри нашего тела, в физиологическом значении этого слова, но позволяет постичь суть нашего «я».

Здесь просматривается параллель между обширной областью знаний и психическим автоматизмом. В принципе, мы можем рассчитывать на то, что нам удастся выявить и соответствующее расстройство психики, однако в данном случае за точку проникновения следует принимать не невосприимчивость личного «я» для других, а невосприимчивость физического «я» индивида к его чувствам. В качестве примера давайте обратимся к конкретному случаю.

Пациентке 58 лет. Ранее у нее уже было три приступа депрессии в возрасте 18, 28 и 40 лет, они сопровождались навязчивыми феноменами и психическими слуховыми галлюцинациями. Настоящий приступ начался шесть лет назад. С того момента состояние постоянно ухудшалось: если в течение нескольких первых лет еще наблюдались периоды относительного спокойствия, то сейчас таких периодов уже не бывает. При этом характеристики самих психических расстройств не изменились. Уже два года она прикована к кровати в результате перелома шейки бедра, который никак не срастается. Она не переставая жалуется, стонет, вздыхает. Ее не оставляет мысль о неизлечимости и скорой смерти. Отчаяние. Порой она по два дня ничего не ест и даже не говорит; основанием для такого поведения называет усиление ее страданий. Она достаточно легко идет на контакт с окружающими. Множество феноменов.

Хочется обратить особое внимание именно на указанные проявления. Мы наблюдали эту больную в течение трех лет; сейчас можно кратко описать ее жалобы, так как нам уже удалось их сгруппировать, что позволит избежать ненужного затягивания:

а). «Нечто разрывает мое тело. У меня шевелится все, с ног до головы. Ощущение настолько странное, что даже непонятно, есть ли у меня еще кровь в венах. В любой момент это нечто проникает в мои зубы и обвивает их. Мне кажется, что вскоре я рассыплюсь на кусочки, которые разлетятся во все стороны. Нечто вырывает то, что *выше* моих зубов, а раньше вырывало только десны. У меня болят ноги и все тело.

Я словно опутана тонкими нитями, их не менее десяти тысяч, и они растягивают меня. Такое чувство, будто мои ноги вытянулись в длину, что вырывает их *за пределы* меня самой, как если бы нити тянули их во все стороны.

⁷⁸ Понятие активной чувствительной поверхности. См.: Часть I, Глава 4, § 2.

Я ощущаю, как правая ягодица отделилась от моего тела. Вчера ягодицы поднялись очень высоко мне на спину, достали почти до лопаток, даже до шеи. А сегодня еще хуже, сегодня они поднялись уже выше моей головы, так что казалось, словно рот находится в животе, а зубы в ягодицах.

Я не уверена, что это по-прежнему мое тело. Скорее, это мешок страданий. Сомневаюсь, есть ли у меня кожа — вместо кожи один сплошной покров, сотканный из мук. И рта больше нет: там, где он был, теперь лишь скопище боли. Похоже, я лишилась рук и ног — они раздроблены. А челюсти, кажется, вырваны.

Когда я слышу проезжающую машину, у меня возникает непонятное ощущение, что в этой машине все разбито и сломано. В звоне колоколов я чувствую дисгармонию, словно они не настроены. Все, что шевелится, все, что движется, производит на меня странное впечатление. Кажется, что все повреждено и изуродовано, так же, как мое тело».

б). «Каждый второй день мое тело становится твердым как дерево. А сегодня оно *плотное* как эта стена. (Показывает на стену.) Вчера мне непрерывно казалось, что мое тело — это *черная* вода, даже чернее, чем дымоход. (Показывает на дымоход.) Можно сказать, что оно наполнено водой, которая *ужасно* *воняет*. Позавчера, глубокой ночью, я пылала, мое тело было *огнем*, а сегодня оно — *холод*, все, что я ощущаю, — это холод. Моя кожа на удивление *толстая и плотная*. Тело *грязное и черное*, оно становится все чернее и чернее. Я вижу себя так, словно мои ноги доходят до самой головы, я вижу себя такой же черной, как и этот дымоход. (Показывает.) Однажды я горела *светло красным огнем*, а сегодня огонь *черный*. Мое тело мне кажется совершенно черным, но порой у меня бывает и противоположное ощущение, когда я словно могу *видеть свое тело* *насквозь*. Мое тело *черное*, но иногда оно становится *светлым*. Это тяжело объяснить. Порой мне кажется, что я могу видеть свой живот *насквозь*, кажется, что он *прозрачный*. Вчера у меня кожа была тяжелая, сегодня она *прилипла* к телу. А еще в моем теле все *закупорено*. Вчера я страдала от жары, испепеляющей мои внутренности, она была *черной, грязной, отвратительной*. Во мне все покрыто черной вязкой кашцей, как грязью. У меня внутри все так *плохо*, что я фактически считаю себя больной. А сегодня я слишком *сухая*. По плотности мои зубы напоминают перегородку этого ящика стола. (Показывает.) А плотность в животе ощущается даже в ногах. Можно сказать, что все мое тело *плотное, склеенное и скользкое*, похожее на этот паркет. (Показывает.) Мне кажется, что мой *череп белоснежный*».

в). «Вчера мои нервы были слишком *длинными*, они расползались во все стороны. А живот вчера был *невероятно огромным*, величиной

с кровать, и ягодицы тоже были намного шире. Но сегодня у меня маленький животик и *маленькие* ягодицы. (Дни маленького и большого живота сменяют друг друга достаточно часто, кстати, даже она сама разделяет дни в зависимости от ее ощущения размера своего живота, на основании чего она говорит о днях маленького живота и днях большого живота.) Я ощущаю чудовищную *глубину* у себя во рту. Она доходит до самого сердца, и с каждым днем эта глубина становится все больше и больше. Мое небо *слишком высоко*. Вчера был день большого живота, и казалось, что *огромные* куски проникали мне в живот и во все тело. А сегодня живот маленький, и внутри меня все *крошечное*, совсем-совсем крошечное. Кроме того, сейчас я получаю маленькой силы удары в голову, тогда как вчера сила ударов была огромной. В день большого живота ноги, плечи — все намного больше. В день большого живота мне кажется, что руки и пальцы удлиняются, а в день маленького живота — наоборот, укорачиваются. Все словно входит внутрь меня, куда-то в живот. Вчера голова уплотнилась в *области уха*, она казалась больше, чем в действительности, а сегодня она стала *миниатюрной*. Мое тело совершенно *плоское*. Но сегодня я не *плоская*, как накануне, скорее, мне кажется, что я невероятной глубины. Вчера можно было сказать, что и мое тело, и моя фигура были очень *широкими*, а сегодня они такие маленькие и такие сжатые. Мне кажется, что мой рот растянут *в длину*, а не *в ширину*. Никогда еще у меня не было живота настолько вытянутого *в длину*, как вчера, но при этом он был *узкий*. Сегодня он *короткий*. Сегодня зубы *большие-большие*, вчера, наоборот, они были *крошечные-крошечные*».

Сенестопатические жалобы этой больной позволяют нам усмотреть аналогию между ними и патологическими изменениями личного «я», рассмотренными в понятии психического автоматизма доктора де Клерамбо. Однако необходимо уточнить некоторые моменты этой аналогии. Руководствуясь характером расстройств, на которые указывает больная, мы изначально были готовы отнести их к проблемам органического проявления, поместив в раздел «кинестезия» с высокой или низкой степенью проблематики (здесь, кстати, возникает и вопрос о вызывающем у нас сомнения при здоровой психике ощущении овладения, когда приходится объяснять проявления психического овладения у больных, страдающих психозами, в основе которых лежит автоматизм). Но проблема все еще не исчерпана. Вдали от этого вся психологическая составляющая, вся *ментальная* часть, самопроизвольно оказывается, таким образом, вычеркнутой из исследования. Дело в том, что, кроме недомоганий сенестопатического

характера, на которые жалуется больная, также следует обратить внимание на свойственную ей особую манеру выражения своего плохого самочувствия. Кажется, что это еще одно, отдельное расстройство или, как минимум, основная часть первичного расстройства, которое в данном случае проявляет себя.

Получается, мы можем сказать, что все эпитеты, использованные больной для описания ее странных ощущений, являются всего лишь *сравнениями*, нацеленными на то, чтобы трактовать состояние, которое едва ли возможно как-то определить. Но что, если эта «величайшая роскошь образов и сравнений», отмеченная Дюпре еще в его первых работах о сенестопатах, как раз и является характерным признаком расстройства со стороны психики, который можно обозначить термином сенестопатия, не будет ли это тем самым простейшим расстройством? Так почему же нашей больной недостаточно было сказать, что она испытывает ужасно неприятные недомогания, не поддающиеся объяснению? Каким образом возникает такая странная тяга пытаться все объяснить, даже те вещи и явления, которые объяснить невозможно? Откуда такое многообразие сравнительных образов, выходящее далеко за пределы преследуемой цели, что побуждает нашу больную говорить о прозрачности или черноте ее тела, о воняющей воде в нем, о белоснежности черепа? Почему она заимствует все эти «сравнения», используя чувственные характеристики внешнего мира, которые очень сильно отличаются от так называемой нормальной синестезии? Каким образом возникла эта необходимость обозначать объекты внешнего мира, с которыми она непрерывно сравнивает свои ощущения, как если бы просто не могла поступать по-другому? Почему, вместо того чтобы сказать, что ей не удастся определить, в каком месте тела болевые ощущения особенно мучают ее, она ищет местоположение этих болей за пределами своего тела, во внешнем мире? Мне кажется, если мы во всем этом обвиним исключительно активно действующее воображение нашей больной, то не сможем получить убедительного объяснения. Сложно признать, что синестезия постоянно так сильно будоражит воображение, да еще и направляет его таким странным маршрутом, который мы только что указали. Кстати, больная — мы много раз ее спрашивали об этом — вовсе не считает, что употребляет в описаниях своего состояния сравнения. Она полностью исключает подобную трактовку. «Когда я кладу руки под одеяло, — отвечает нам она, — я вижу, что они черные, черные, как этот дымоход». То же самое относится и ко всему остальному; для нее самой о сравнении не может быть и речи.

Я охотно признаю наличие у нее симптомов сенестопатии, однако, кроме этого, наблюдается еще и *патологическое стремление дополнить*, скажем так, *свои расстройства чувственными и пространственными деталями и таким образом стереть особое место, которое в нашем сознании принадлежит телесному «я» относительно внешнего мира*. Боль — это феномен исключительно субъективный, одновременно и в равной степени воздействующий на окружающее пространство.

Наша больная говорит (группа жалоб «а»), что ее тело рассыпается на кусочки, которые разлетаются во все стороны; она винит части своего тела в необычном размещении одних относительно других, это доходит до того, что ей кажется, будто ягодичцы находятся *выше* ее головы. Боль, которую она испытывает, охватывает все ее тело вплоть до кончиков ногтей и даже распространяется еще дальше, создавая ощущение, будто у нее что-то вырвано *над* челюстью, что ее растягивают при помощи невидимых нитей «*за пределы ее самой*». Таким образом, боль, сосредоточенная внутри ее тела, выходит за его пределы куда-то во внешний мир: ей кажется, что все звонящие колокола расстроены, что у всех проезжающих мимо автомобилей какие-то неполадки, что все вокруг никуда не годно, как и ее собственное тело. Стремясь вырываться за пределы, ее боль стирает границы между личным «я» и «не-я». И в то же время сознание физического «я» в буквальном смысле насыщается чувственными характеристиками — визуальными, тактильными, обонятельными, пространственными и прочими, — которые, по сути, являются для физического «я» совершенно чуждыми (жалобы типа «б» и «в»).

Сознание физического «я» в данном случае подвергается изменениям, напоминаям те, что характеризуют психический автоматизм относительно внутреннего «я». Напрашивается вывод: если при наличии психического автоматизма больной жалуется на вторжение в его личную психическую жизнь, то в большинстве случаев при синестезии, с точки зрения *психопатологии*, физическая личная жизнь нарушается самим больным.

Параллель, которую мы сейчас провели, станет более очевидной, если мы дополним наблюдения, проведенные ранее, новыми сведениями и опишем еще одну группу расстройств, выявленных у нашей больной и пока не упоминавшихся.

г). «Мои нервы болтают со мной, говорят мне, что завтра будет еще хуже. Порой они только и делают, что невнятно бормочут, тогда я не могу понять их. Еще год назад я их и видела, и слышала, я их видела в образе

мужчин и женщин, стоящих у изголовья моей кровати, они сказали мне, что являются моими нервами. Они болтают у меня внутри. Внутри меня раздается голос: «Господа Бога не существует, иначе ей не пришлось бы так страдать». Разве это говорю я сама? Я так не думаю. Вчера мои бедные нервы снова болтали со мной, рассказывали мне, что я буду делать, когда поправлюсь. Я спрашиваю себя, уж не насмеются ли они надо мной? Маленький нерв говорил тоненьким нежным голосочком. (Улыбается.) Может, это и глупо, но так и было. Мои нервы намного лучше помнят мое прошлое, чем я сама. Они напоминают мне о моей свадьбе, о молодости. Вчера мои нервы разыгрывали меня, говорили, что мне не стоило ложиться. Вначале я считала, что эти голоса идут из моего живота, но теперь они повсюду, движутся из одного конца тела в другой. Раньше это были нежные голоса, а сейчас они могли бы вас напугать. Я даже не знаю, может, это мои собственные мысли. Мне кажется, что все, к чему я прикасаюсь — простыни, рубашка, — повторяют то, что говорят мои нервы. Даже проходящие трамваи делают то же самое.

Нервы в моем животе копируют меня во всем. У них есть даже рот. У себя в животе я вижу женщину, которая ходит так же, как и я, прихрамывая».

Мы видим, что у нашей больной наблюдаются расстройства, которые с любой точки зрения могут быть сравнимы с феноменом повторения мыслей вслух и, возможно, с проговариванием действий. Разница лишь в том, что, вместо конкретизирования в форме ментальных разговоров в определенном пространстве, они, так сказать, принимают обратное направление, обладают центробежными характеристиками, находятся внутри тела человека, в нервах и в животе, но простираются еще дальше, контактируют со всем, чего касается больная, распространяются даже на проходящие рядом трамваи и в конце концов приобретают конкретную форму мужчин и женщин, которых больная видит у изголовья своей кровати.

Сходство с психическим автоматизмом, таким образом, становится абсолютно полным. Мы уже почти готовы поверить, что в данном случае речь идет об одном и том же психическом расстройстве, которое основывается то на сознании личной психической жизни, то на сознании особого личного телесного «я».

Конечно, это сходство не является объяснением. Однако при этом мы не утрачиваем интереса к выявленной параллели, она подчеркивает существование особенного расстройства. Оно определяет ощущение физического недомогания или внутренних нарушений и в обоих случаях подтверждает наличие *психического* расстройства через

существующую тенденцию трактоваться в патологическом сознании особым нарушением *естественных границ* «я» (непроницаемость личного «я» для других и непроницаемость телесного «я» для себя самого), что приводит к поражению «резервных зон» критериями чувственного, рационального и пространственного порядка, которые в нормальной психике для них абсолютно чужды.

Думаю, сейчас самое время среди всего многообразия психических расстройств выделить место для некоторых случаев синестезии, например, для случая нашей больной, и определить, что он располагается не рядом с неврастенией или психастенией, а скорее на уровне психозов, в основе которых лежит психический автоматизм, и здесь, прежде всего, имеется в виду хронический галлюцинаторный психоз, изучаемый французской школой. Хроническое ухудшение состояния обоих психических расстройств, а также часто встречающиеся расстройства синестезии при хроническом галлюцинаторном психозе свидетельствуют в пользу данной концепции. (Кроме того, если рассмотреть это явление с точки зрения психологических и генеалогических исследований, кажется, существуют тесные связи между некоторыми ипохондрическими психозами и параноидальными формами шизофрении; разница лишь в том, что в первом случае «физическая боль» в представлении психики нашей больной занимает то место, которое во втором случае занимает «враждебное отношение окружающих условий».)

4. Амбивалентные депрессии

Сейчас речь пойдет о молодом мужчине 26 лет, выпускнике высшего учебного заведения, который до настоящего момента чувствовал себя хорошо и даже воевал. Как он сам говорит, его ярко выраженное депрессивное состояние возникло в результате трудностей интимного характера, а также переутомления, длившегося около года, что внешне проявлялось в инертности и почти полной бездеятельности. Мне представилась возможность наблюдать этого больного на протяжении всего приступа. Так как больной прекрасно анализировал сам себя, я воспользовался этим, чтобы практически изо дня в день записывать его жалобы, а также и особенные черты в его поведении. Однако, чтобы избежать повторений и бессмысленно длинного пересказа, я приведу жалобы этого больного не в хронологической последовательности, а сгруппированные в зависимости от их природы. Кстати, обратите внимание: на протяжении всего приступа клиническая картина совершенно не изменялась.

А. ИПОХОНДРИЧЕСКИЕ И СЕНЕСТОПАТИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

«У меня такое ощущение, что моя голова и мои пальцы распухли. Свист у меня в голове не прекращается никогда. Я живу в аду, и он становится все ужаснее и ужаснее. Я чувствую себя все хуже и хуже. Я пугаюсь любого шороха. Мое эмоциональное волнение настолько сильное, что я едва сдерживаю себя, чтобы не натворить чего-нибудь. После еды у меня случаются приступы удушья. Чтение вслух утомляет меня. Даже голоса людей мешают мне. Кажется, у меня прекратились вегетативные функции. Что-то напоминающее тесные объятия не дает мне переваривать пищу. Я могу сходить в туалет, только когда спокоен, когда совершенно расслаблен. Чтение вызывает у меня желание помочиться. Я чувствую себя отравленным. Произнесение слов причиняет мне боль. Это какая-то разновидность общего паралича, словно мне заблокировали голову. Я ощущаю невыносимую жесткость в области затылка, холод внутри. Должно быть, это болезнь спинного мозга. Это медленная агония. Наверное, было бы лучше, если бы меня прикончили. Мне кажется, я все больше и больше распухаю. Кажется, что мои глаза выходят из орбит, а нервная система жарится у меня внутри. Боль, которую я испытываю, настолько живая, что становится бессознательной, и тогда я равнодушен ко всему. Меня не покидает мысль о безумии. Я не переставая занимаюсь самоанализом, так как где-то слышал, что сумасшедшие не способны сами себя анализировать. Мои глаза горят, я больше не могу читать. Любой шум причиняет мне нестерпимые мучения; я слышу их очень хорошо, ужасно громко, как если бы у меня в ушах были усилители. Кроме того, мне постоянно кажется, что окружающие меня люди слишком грубые. Я нуждаюсь в тишине, покое и отдыхе. Только тишина позволяет мне установить минимальный контакт с окружающим миром. Я не могу дышать, когда хожу. Я почти уверен, что моя болезнь неизлечима. Порой я спрашиваю себя: чего же я жду? Наверное, того момента, когда все будет еще хуже».

Б. ЧАСТИЧНОЕ КРИТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕНОСИМЫХ РАССТРОЙСТВ И ОЩУЩЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЮЩЕЙСЯ РЕАЛЬНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

«Моя навязчивая идея состоит в том, что таким, как сейчас, я буду всегда и буду всех донимать своими жалобами. Это полностью противоречит моему естеству. До того как я заболел, дома я был в некотором роде «уравновешивающим элементом»; у нас в семье все отличались вспыльчивостью, портили себе кровь по пустякам; я же по большей части проявлял

невозмутимость и успокаивал остальных. (Родители больного подтвердили эту информацию.) Меня жутко раздражает, что сейчас я стал причиной их нервозности. Меня раздражает, что мне приходится заниматься вещами, которые я раньше просто игнорировал. Но я не ипохондрик. Все эти вещи волнуют меня вовсе не по этой причине. С превеликим удовольствием я бы хотел не придавать столь важного значения своим походам в туалет, ведь моя жизнь не может ограничиваться только поеданием пищи и дефекацией. То, что меня действительно убивает, — это отсутствие каких бы то ни было потребностей. Я перестал быть человеком, пополнив собой фауну — действующее животное, которое, помимо прочего, причиняет себе боль. Мне кажется, что моя жизнь — это всего лишь жизнь моих внутренних органов. У меня нет ни ощущений, ни каких-то конкретных идей. Мне кажется, я — просто бесформенная масса с вегетативными функциями».

В. ОСЛАБЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ СОБСТВЕННОГО «Я»

«Я больше не ощущаю себя самого. Я не существую. Когда со мной говорят, у меня такое чувство, что говорят с умершим. Мне нужно взглянуть на себя, чтобы убедиться, что это я. В моем восприятии самого себя я — отсутствующая личность. В общем-то, я выгуливаю свою собственную тень. Мне постоянно кажется, что я уже не являюсь тем самым человеком, который лег спать накануне и который проснулся. Ощущение, что я существую, появляется, лишь когда я ложусь в постель, но и это ощущение не совсем явное. Я больше не чувствую, что мое тело принадлежит мне, я вообще его не чувствую. Мне кажется, что здесь, в этой комнате, я нахожусь не у себя дома, вдобавок — даже не принадлежу себе. Я не существую, я бесплотный, я все больше и больше становлюсь бесплотным, я все меньше и меньше существую; раньше, когда я слышал подобные утверждения от кого-нибудь другого, меня это тоже забавляло. (Последнюю фразу он добавил, заметив, что я улыбнулся.) Глядя в зеркало, я не узнаю себя, не узнаю своего отражения, я уже и не помню, каким раньше видел себя в зеркале». Как-то я его спросил, выходил ли он из дому накануне. Он ответил: «Конечно же я не выходил, все это похоже на то, что кто-то другой выходил, а я — нет». Однажды, когда мы беседовали с ним в его комнате, он резко прервал разговор, чтобы заявить: «У меня такое впечатление, что я — это какой-то другой человек, который сидит на стуле и болтает, но, в общем-то, не соответствует мне. Думаю, в моем случае непозволительно употреблять выражения «я» и «меня»; они абсолютно не согласуются ни с чем конкретным, относящимся ко мне».

Г. ПЕРЕНОС НА ДРУГИХ ОСЛАБЛЕНИЯ СОБСТВЕННОГО «Я»

«Когда я выхожу из дому, люди, которых я вижу, кажутся мне призраками. Когда я слышу их голоса, меня изумляет, что они могут говорить. Я удивляюсь и восхищаюсь тем, что остальные способны делать что-то».

Д. ЖАЛОБЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОКРУЖЕНИЕМ

а) Воздействие событий, разговоров и людей.

«У меня такое чувство, что, когда вы настаиваете, я должен подчиниться вашей воле и сделать то, чего вы требуете. Это ужасно раздражает — не иметь собственной воли, будто я чья-то «зверюшка», но я не способен противостоять этому, вы подавляете меня. Я уже не отваживаюсь самостоятельно ничего делать, пока вы не попросите об этом. Все, что я делаю, я делаю бессознательно. Если вы настаиваете, чтобы я выходил из дому, — я выхожу. Я больше совершенно не могу сопротивляться — это ужасно! После ужина, когда остальные встают из-за стола, я автоматически следую за ними, ведомый их движениями. Я всего лишь отражение других. Вернее — отражение шевеления других, я отражаю их шевеление; именно их шевеление заставляет шевелиться меня самого, самостоятельно шевелиться я не могу. Я злюсь на вас, так как нуждаюсь в вас. Мне кажется, что я нахожусь во власти каждого и вообще всего вокруг. Слова сами собой пропитывают мой разум, а затем оказывают влияние на мои поступки. Так, однажды врач сказал мне, что послеобеденная сиеста пойдет мне на пользу. С тех пор я больше не могу обойтись без послеобеденного сна и действительно чувствую себя после этого лучше. В принципе, на меня воздействует звучание слов. Так, я воспринимаю слово «лечиться», которое произносит кто-то другой. Во время общения говорить меня заставляет именно мой собеседник. Я похож на призрака, на околдованного призрака, которого автоматически притягивают различные события, происходящие вокруг».

б) Ощущение того, что другие отдаляются, невозможность доверять им, а также достучаться до них, используя собственную речь, в результате расхождения между разговорами и тем, что они должны выражать.

«Мне кажется, в этой жизни я — мусор; думаю, я слишком сильно отделился от всех остальных. Ощущение, что я совсем один. Разговоры с кем бы то ни было кажутся мне чем-то чуждым, воздушным, неосязаемым. Мои речи больше не соответствуют моим мыслям. В результате, я обречен на то, что

меня никто не понимает. Если я говорю и если постоянно повторяю одно и то же, это напоминает тик, возникающий в результате беспомощности, которая овладевает мной, поскольку я не способен объяснить, чего хочу. Так, чтобы это было понятно остальным. Кстати, все то, что я сейчас сказал вам, — неправда. Как же отвратительно, что из-за этого жуткого феномена я не могу доверять врачу. Мне кажется, я говорю противоположное тому, что хотел бы сказать. Раньше я мог довериться кому-то, а сейчас уже нет, я больше не могу правильно выражать свои мысли. Вы не чародей и не сможете понять меня, если мне не удастся донести до вас, что я думаю. Я почти уверен, что вы слишком далеки от истины! Мне кажется, я не в состоянии объяснить вам, как сильно нуждаюсь в покое. Когда вы уходите, у меня возникает необходимость откорректировать все то, что я вам говорил. А еще мне постоянно кажется, что я так и не сказал вам самого важного. Внутри меня сидит какая-то болезненная сила, я вас совершенно запутал, вы совершенно ничего не сможете понять о моем состоянии. Как же это невыносимо — не иметь возможности выразить то, что хочется сказать! Когда я говорю с другими, я тщательно подбираю слова, но при этом меня не покидает ощущение, что я несу всякую ерунду. Чем больше я нервничаю, тем меньше мне так кажется. Мое отношение, мои разговоры абсолютно не выражают ни то, что я думаю, ни то, что чувствую. Именно это несоответствие мне никак не удается объяснить. Бывает, я говорю что-то, о чем вообще не думал. Меня не покидает чудовищное ощущение, что слова, которые я произношу, будут восприняты с противоположным значением. Я спрашиваю себя, правда ли то, что я рассказываю. Мне постоянно кажется, что я обманываю вас. Я бы хотел довериться кому-нибудь, но не могу, как же это ужасно! Я все больше и больше убеждаюсь в том, что обманываю людей. Сейчас я ощущаю себя актером в восхитительной комедии. С тех пор как я болею, мне все время кажется, что кто-то поймал меня с помощью лассо и, чем больше я сопротивляюсь, тем сильнее затягивается петля».

Е. ЖАЛОБЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАССТРОЙСТВАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

а). Амбивалентность⁷⁹.

«Я чувствую, что внутри меня каким-то чудовищным образом противостоят друг другу два разных феномена. Например, когда речь идет

⁷⁹ У этого больного амбивалентность проявляется достаточно часто; мы с ней не раз встречались, анализируя его речи, приведенные выше, встретимся и в дальнейшем. Кстати, среда и окружение больного во многом характеризуют его манеру держаться, особенно когда он говорит, что любое его желание пресекается возникновением противоположного желания.

о том, чтобы выйти на улицу, я, с одной стороны, ощущаю потребность подышать свежим воздухом, а с другой — необходимость отдохнуть. С одной стороны, я посылаю вас к черту, а с другой — вы даете мне возможность испытывать чувство безопасности. В этом и заключается непрекращающийся дуализм внутри меня самого. Едва начав делать какие-то движения, я тут же испытываю непреодолимое желание остановиться и расслабиться. Поэтому я иногда выгляжу как слабоумный. Я встаю, чтобы открыть окно и подышать воздухом, но затем сразу же закрываю его. Потребность в отдыхе похожа на какую-то антагонистическую силу, которая противоречит всем остальным потребностям. Собравшись сделать что-то, я не делаю это. Сейчас я подумываю о том, чтобы обуться, одеться и пойти прогуляться вместе с вами, но именно поэтому не обуваюсь. Пока я еще был здоров, мне часто говорили, что у меня противоречивое сознание. И правда, довольно часто я утверждал противоположное тому, что говорили вокруг меня все остальные; однако это не было противоречием в прямом смысле слова, это был всего лишь способ выиграть время, чтобы лучше проанализировать то, о чем шла речь. Сам для себя я обозначил это явление как «время для обороны», но то, что я испытываю сейчас, — это совсем другое». (Получается, что даже сам больной подчеркивает отличительную особенность феномена амбивалентности.)

б). Негативизм (проявляется только эпизодически).

«Чем чаще вы мне говорите, что нужно вставать, тем меньше вероятность, что я последую вашим словам, это болезненно, но я больше ничего не могу сделать».

в). Отсутствие ощущения законченности и последовательности действий. Воздействие поступков в состоянии выполнения, отсутствие способности останавливаться. Невозможность устанавливать единую линию поведения и придерживаться ее.

«Меня не покидает ощущение незаконченности. После того как я сделаю что-то, мне постоянно кажется, что я этого не делал, что бы там ни было. Вещи, которые я уже сделал, кажутся мне как будто мертвыми. Я больше не соотношу их с настоящим. У меня отсутствует ощущение законченности, поэтому мне не удастся отделиться от действия, которое я совершаю. Я могу часами играть на пианино, не зная, когда стоит остановиться. (Окружающие подтверждают это.) Включившись в какую-то беседу, я уже не могу перестать говорить. Мне кажется, что мои слова не соответствуют моим мыслям и идеям, так как

я не чувствую, что могу прервать свою речь; получается так, словно мои мысли блуждают у меня в голове сами по себе. И, в любом случае, у меня совершенно отсутствует ощущение, что некоторые вещи ограничены. Занимаясь чем-то, я как бы ведом действием, которое совершаю. Я не могу пресечь его. Поэтому возникает впечатление, что меня поглощает зияющая бездна. Когда я ввязываюсь в какое-то дело, у меня не остается ни ощущения границ, ни ощущения длительности. Когда я делаю что-то, мне кажется, что я при этом не присутствую, в силу чего и не могу оценить длительность этих действий. Я постоянно боюсь, что в своих поступках перейду грань нормы. Я опасюсь спонтанных реакций, поскольку не уверен, буду ли в состоянии сдерживать их. Когда я прогуливаюсь, то чувствую, что словно какая-то инерция подталкивает меня продолжать делать одни и те же движения и идти дальше. И тогда у меня возникает ощущение, что я не способен сменить направление. Теперь у меня отсутствует что-то такое, что подталкивает вперед. Это и является причиной отсутствия логической последовательности в череде совершаемых мной поступков. Когда я занимаюсь чем-то, я не в состоянии представить себе, какое действие должно идти следом за предыдущим. Единственное удовлетворение, которое я теперь могу получать, возникает, когда я прикладываю какое-то усилие. Но это как если бы я прикладывал усилия ночью. Мое теперешнее состояние противоречит тому, каким я был раньше. Мне всегда нравилось ставить перед собой конкретную цель, знать, в каком направлении двигаться. А сейчас — это просто движение вслепую. У меня полностью отсутствуют движущие силы, силы, которые могли бы приводить к совершению каких-то поступков. Иногда я ощущаю необходимость встать с кровати, а затем не знаю, что делать дальше. Из-за этого мне кажется, что я поддаюсь идиотским желаниям, например, вставать с кровати, выходить из дому и т.д. А еще меня особенно удручает то, что бессознательные вещи стали сознательными, например, все движения, которые я выполняю, когда отправляю естественные потребности или занимаюсь гигиеной. В результате у меня складывается впечатление, что я постоянно беспокоюсь о мелких деталях, таких как посещение туалета, принятие ванны и так далее, никогда при этом не уделяя внимания значимым вещам. Я больше не в состоянии доводить дело до конца, это ужасно! Так, например, я звоню в колокольчик, чтобы попросить горничную закрыть окно, но когда она приходит, я не говорю ей об этом, я спрашиваю ее: не кажется ли ей, что в комнате слишком холодно, — и не имею ни малейшего поползновения сказать то, что собирался».

Ж. НАРУШЕНИЕ ПОНЯТИЯ ВРЕМЕНИ⁸⁰

а). Ощущение сдвига относительно ритма окружающего становления.

«С самого начала моего приступа мне всегда казалось, что моя болезнь связана со временем. Я чувствовал себя оторванным от жизни. У меня такое ощущение, что время уходит, но я при этом не следую за его движением, а двигаюсь в противоположном направлении. Я потерял временные ориентиры, из-за чего нахожусь в состоянии, которое можно выразить словами «быть воздушным». Свои действия я мысленно переношу на время дня, а не наоборот; то есть, сделав что-то, например одевшись или выйдя на улицу, я понимаю, который теперь час; хотя обычно все происходит в обратном порядке: зная, который час, я должен понимать, что мне необходимо выполнить то или иное действие. Кажется, что время проходит очень быстро, для меня — быстрее, чем для других, слишком быстро, и это просто чудовищно. И тогда я испытываю желание действовать, но моя реакция на это желание отличается от реакции нормальных людей, ибо в тот же миг у меня внезапно возникает феномен остановки, что приводит к полнейшему упадку сил. Я ощущаю что-то вроде отрицательного движения относительно хода времени, ощущаю негативную пустоту. Я испытываю острую потребность приплыть к берегу как обломок судна, но мне это не удастся. И тогда меня охватывает тоска, мне страшно за самого себя, однако это не духовный страх, это страх животный, страх дикого зверя, которого больше нет».

б). Неспособность соединиться с движением.

«Я не в состоянии соединиться ни с движением, ни со скоростью смены событий, которые происходят вокруг меня. Когда рядом со мной что-то делают, я чувствую себя совершенно дезориентированным, так как не способен следовать за этим движением. Когда я выхожу на улицу и вижу, как рядом проходят другие люди, я испытываю ощущение остановки, поскольку мне не удастся следовать за их движениями ни взглядом, ни через восприятие. Дерево я вижу, а вот машину, которая движется, не вижу. Из-за этого страдание, возникающее при обычной ежедневной прогулке, такое жестокое, что я даже не могу выразить его словами. Только тишина и отдых

⁸⁰ Вопрос времени уже поднимался, в частности в предыдущем параграфе; больной жаловался на расстройство, связанные с понятием длительности и последовательности действий. Очевидно, что в психике больного все симптомы, которые мы пытаемся разделить, чтобы описать их в системе, перепутаны между собой. По этой причине время от времени нам придется повторяться, излагая свои наблюдения.

дают мне какую-то минимальную возможность вступить в контакт с окружающим миром. Когда мне говорят, что уже поздно и я должен поспешить, чтобы, например, принять ванну, это приводит меня в полнейшее замешательство, порождает одно-единственное желание — быть в ванне».

в). Разложение времени на элементы, отсутствие проникновения и организации последовательных фактов во времени.

«Я живу одновременно. Я утратил ощущение длительности. Мне кажется, что передо мной пустота, пустота в ближайшем будущем. Каждый новый миг моей жизни я воспринимаю так, словно свалился с неба. Просто чудовищно, какое количество ощущений и впечатлений я пережил вчера во время прогулки. Когда я совершаю какое-то действие, мне кажется, что это последнее действие, которое я могу совершить. Когда я делаю что-то, у меня такое чувство, что я уже не смогу сделать ничего другого, а это конкретное действие, например, поход на ужин, я совершаю в последний раз. Делая заметки для вас, я неизменно думаю, что последняя заметка наиболее значима. Я не помню, что вчера выходил из дому, я это просто знаю, и мне кажется, что сегодня я выйду на улицу в последний раз».

г). Неспособность принимать «синхронное» участие в событиях окружающей реальности.

«Когда я беру газету, у меня всегда возникают неприятные ощущения. Дата напоминает мне о ходе времени, а кроме того, в газете я обнаруживаю события, в которых не принимаю участия. Меня увезли из психиатрической клиники, однако я остался в стороне от этого события как бессознательное существо. В течение всей болезни меня не покидает ощущение пустоты. Я чувствую, что время уходит, но я не осознаю ценность ушедшего времени. Весь этот год, пока длится моя болезнь, не представляет для меня никакой ценности. Я так и остался на начальном этапе болезни, словно все остановилось, ничего не изменилось, не произошло с тех пор. За столом я рассказываю об одном из своих товарищей, говорю, что в былые времена навещал его, и тут же мне кажется, что все это происходило вчера, как если бы периода моей болезни никогда и не было».

д). Отсутствие понятия продвижения во времени, которое обычно связано с повторным выполнением похожих действий, и воздержание повторяющихся поступков.

«Я больше не ощущаю, каким образом один день сменяет другой. Не ощущаю, что просыпаюсь по утрам. Я полностью утратил чувство пробуждения. Я больше не испытываю перехода к пробуждению. Поэтому мне

кажется, что я нахожусь в состоянии сомнамбулизма или летаргического сна. Единственное мое ощущение по утрам — это шум, который я слышал накануне; таким образом, я тут же оказываюсь в том же пространстве; я испытываю тревогу от того, что меня ждет еще один точно такой же день. Раньше, просыпаясь, я представлял себе, каким будет начинающийся день и что мне предстоит делать в течение дня, а сейчас не могу — у меня отсутствует ощущение того, что я проснулся. С самого утра, едва открыв глаза, я воспринимаю окружающий мир так, словно все начинается заново — бесконечное повторение одного и того же. Сначала я различаю шумы, которые слышу каждое утро, затем возникают мысли-воспоминания, например, о неизменной утренней ванне, о ежедневном визите врача и тому подобном. Больше мне ничего не приходит на ум. Вечером, ложась спать, я думаю о том, что завтра прочитаю вам заметки, описывающие мое состояние, которые я сделал в течение дня, думаю, что после завтра захочу объяснить вам то же самое и что так будет изо дня в день. Поскольку я неоднократно ходил с вами на прогулку, и всякий раз мы посещали Люксембургский сад, теперь, стоит мне только выйти на улицу, меня словно что-то ведет туда, как если бы я не мог отправиться в другом направлении. Уже несколько дней я снова начал обедать вместе с родителями, и сейчас меня не покидает ощущение, что когда-нибудь я смогу поступить по-другому. Пока же мне кажется, что я не смог бы прожить, не принимая ванну, не делая зарядку, без всех этих вещей, не имеющих особого значения, которые я привык делать ежедневно».

е). Расстройство функции презентификации⁸¹. Ослабление согласованности между прошлым, настоящим и проживаемым будущим. Отсутствие проекции прошлого и воздействие воспоминаний; опережение и остановка поступка, планируемого интеллектуальным изображением этого поступка.

«В настоящем я нахожусь исключительно в своих мыслях: ни при помощи чувств, ни через эмоциональность я там не оказываюсь. Прошлое стало для меня наваждением. Это похоже на то, словно события моего прошлого, как в кино, следуют друг за другом, я не соотношу их с настоящим, я здесь всего лишь зритель. Перед тем, как вы должны прийти, я всегда заранее обдумываю, что буду говорить вам. Я никогда не бываю в настоящем. Нередко внутри меня самого происходит что-то похожее на перемещение событий прошлого. И тогда я вижу, как события прошлого

⁸¹ Это выражение я позаимствовал у доктора Пьера Жане, чтобы напомнить, каким образом он описывает и представляет функцию презентификации.

проходят передо мной с присущей им значимостью, как если бы это были события настоящего. Своего рода полусон из прошлого. Это ужасно, но вместе с тем это приносит мне облегчение. Непрекращающееся чередование событий прошлого происходит внутри меня самого. Оно становится для меня наваждением и замедляется, только когда мне удастся каким-то образом действовать. Вчера, направляясь к столу, я испытал настоящую «галлюцинацию», будто передо мной мой отец, и все это происходит, когда я еще не был болен. По сути, я заболел из-за потребности ощутить независимость, чего всячески пытался добиться. Порой, во время обеда, что-то подталкивает меня завести беседу об ошибках, которые, как мне кажется, совершил мой отец, когда я заболел и до того; я испытываю некую потребность поспорить с ним. Воскрешая какие-то воспоминания, я чувствую, что они «уносят» меня. И не могу остановиться. Это настоящие галлюцинации, относящиеся к моему прошлому. Я вижу, как картинки из прошлого проплывают передо мной. Я говорю себе, что это невозможно, что все это пережил я сам. Воспоминания, проплывающие передо мной, скорее являются изображениями, нежели мыслями. У меня вообще нет мыслей в прямом значении этого слова. Мной руководят «мысли-воспоминания». Когда я предлагаю сделать что-то, например, предлагаю близким пойти поужинать в столовую, мной руководит мысль о том, чтобы сделать что-то такое, что я мог делать до того, как заболел. Но, «погрузившись» в предложенный мною феномен, я замечаю, что предложил нечто, ничему не соответствующее. Я вспоминаю о вещах, которые мог делать раньше, однако предложенная мною вещь не соответствует моему действительному желанию. Моими решениями руководят мысли-воспоминания. Когда зашла речь о враче, я попросил, чтобы пригласили именно вас, так как вас я уже видел раньше. Я склонен все соотносить с прошлым. Например, делая за столом кому-то замечание, я тут же невольно пытаюсь соотнести его с каким-то событием из прошлого. Так, например, когда я говорил вам, что был нейтрален, слово «нейтральный» воскрешало в моей памяти мысль о благожелательном нейтралитете, вопрос которого очень часто поднимался во время войны. Точно так же, когда меня спрашивают о чем-то, чтобы ответить, я пытаюсь вспомнить картинки из прошлого.

Я только что пообещал дать вам книгу, но на этом и остановился; когда я говорю о будущем, то сам этого не осознаю; для меня будущее не значит ровным счетом ничего. Вы приглашаете меня посетить вместе с вами салон. Это потрясает. Я уже заранее вижу себя в этом салоне. Я заранее предчувствую, как там все будет. Это останавливает меня, и точно так же все происходит с любыми другими действиями, которые мне необходимо совершить. Я не могу действовать. Вот каким образом все обычно

происходит: я испытываю какое-то желание, это желание влечет за собой возникновение эмоциональной мысли, а затем за дело принимается воображение, которое позволяет мне все проживать заранее. Такая работа воображения сопровождается расходом энергии, поэтому, когда я начинаю какое-то действие, сразу же происходит его остановка; одновременно с этим я проживаю в некотором роде прошлое. Любое движение я совершаю исключительно на основании мысли о том, какое движение будет следующим: так, например, я делаю зарядку, думая, что затем буду принимать ванну, после чего принимаю ванну, поскольку знаю, что потом пойду завтракать, и т.д. Вы посоветовали мне тратить около получаса в день на описание моих мыслей, и я делаю записи, но только чтобы дожидаться, что будет после этого. Каждое мое действие происходит в ожидании того, что за этим последует какой-то отдых».

ж). Воздействие времени: неизбежность. Ощущение того, что уже слишком поздно. Наплыв мыслей с сожалениями.

«Во время моего второго пребывания в психиатрической клинике я дышал плохо и только когда у меня была такая возможность; это пагубно сказалось на моем здоровье. Кроме того, посещение доктора С... еще в самом начале болезни... также имело для меня пагубные последствия. Пребывание в клинике уничтожило меня. С того момента я и попал в «засаду». Я прилагал все усилия, чтобы не казаться безумным, но это лишь неправильно ухудшило мое состояние. А возвращение домой окончательно добило меня; я сам попросил, чтобы меня отправили домой, но транспортная служба работала недостаточно хорошо, и возникло недопонимание. Дома можно было немного расслабиться, однако я перестарался; в тот момент, когда я мог бы чем-то заняться, делать мне было нечего, а сейчас уже слишком поздно. Я чересчур долго ждал, чтобы заговорить, теперь же болезнь не дает мне выразить все, что я хочу. Я постоянно живу с мыслью о том, что мне не следовало возвращаться домой. И что стоило бы вернуться в клинику. Но поздно. Все уже свершилось, я не в силах ничего изменить; как же это ужасно — говорить себе, что все могло быть по-другому! Я стал сердиться на прошлое и немного на людей за то, что они способствовали развитию такого прошлого. С тех пор, как я заболел, меня преследуют упреки и сожаления. Я ощущаю постоянную потребность искать «ошибки» в том, что уже произошло, пытаюсь понять, почему началась моя болезнь, и всякий раз прихожу к выводу, что это случилось по моей собственной вине. Меня не покидает необходимость отыскать в прошлом ответственных за все происходящее, найти ответственных за возникновение моей болезни. Я испытываю непреодолимое желание предъявлять претензии всем, в том

числе себе самому. Я не могу «стерпеть» то, что меня отправили в психиатрическую клинику, даже не предупредив заранее. Мне часто приходит мысль, что следует упрекать за это родителей. Я злюсь на отца, не поговорившего со мной по-мужски. Нужно было объясниться с ним еще тогда, как только я заболел, но я не смог сделать этого. А теперь, что бы я ни говорил, что бы ни повторял, все это превращается в наплыв мыслей с сожалениями. Я цепляюсь за прошлое, движимый идеей, что навсегда останусь таким, как сейчас. Мне больше ничего не остается. Мои страдания невозможно описать, они связаны с тем, что я постоянно сам себе внушаю, что всегда буду таким. Ведь, если мое состояние останется без изменений, а время продолжит свое движение, это, по сути, значит только одно — дальше все будет хуже и хуже».

Мы перечислили все симптомы, расположив по группам и подчеркнув их основные характеристики. Думаю, однако, необходимо сделать еще несколько комментариев, чтобы в конце концов можно было вывести синтетическую концепцию всего комплекса психических расстройств, которые проявляются у нашего больного.

Кстати, сам он называет себя *больным во времени*: действительно, большая часть его симптомов напрямую связана с феноменами, имеющими черты проживаемой длительности.

С учетом такой последовательности идей в первую очередь возникает *ощущение отрыва относительно окружающего становления*. Больной даже упоминает о том, что ему кажется, будто относительно времени он движется отрицательно, что он направляется против движения Земли. Что касается самого времени, больной полагает, что в его конкретном случае оно утекает значительно быстрее, чем у всех остальных, что оно убегает от него «ужасно» быстро. Все это подтверждает, что *проживаемый синхронизм*, существующий между нашей деятельностью и окружающим становлением, представляет собой одно целое, неделимое и до такой степени значимое, что в случае его отсутствия мы будем ощущать не только некое чувство отставания от существующей жизни, но и само становление перестанет для нас придерживаться привычного ритма; оно утрачивает всякий смысл, размеры, ужесточается, возвращается к простейшей и хаотичной форме существования, видоизменяется до жуткого круговорота событий, сметающего все на своем пути, как если бы это была какая-то враждебная сила. Отсюда и возникает «животный страх, страх дикого зверя, которого больше нет», как описывает его наш больной.

Расстройство проживаемого синхронизма проявляется еще и по-другому. Оно относится к ощущению невозможности принимать участие в окружающих событиях *в качестве современника*. Даже когда наша деятельность прекращается по той или иной причине, такое участие не нарушается окончательно, и наша психическая жизнь не подвергается глубоким изменениям. Будучи прикованными к кровати, мы можем страдать от осознания, что не способны принять участие в значительных проявлениях коллективной жизни, или из-за того, что нам придется отложить на более поздний срок, а может, и навсегда реализацию планов и проектов, важных для нас лично, однако это страдание является выражением тесного проявления всего того, что происходит вокруг нас. Мы будем продолжать движение вперед вместе со временем. Время не станет для нас пустотой, оно сохранит *все свое значение* — реальное, а вовсе не ограниченное, которое ему порой отводит современная жизнь, сводя его до выражения «время — деньги», именно то значение, когда оно предоставляет возможность принимать участие в окружающих событиях в качестве современника. Ощущение участника, о котором мы сейчас ведем речь, не имеет ничего общего — едва ли стоит убеждать в этом — с элементом «присутствия», связанным с нашим восприятием людей и предметов. Обладая динамической природой, оно напрямую связано с проживаемым временем, его легко можно принять за ощущение солидарности с окружающим становлением, с синхронным движением вперед. У нашего «больного во времени» исчезло ощущение, что он принимает участие в событиях окружающей действительности, даже в тех, которые относятся непосредственно к нему, он безучастен к этим событиям, время кажется ему пустым, у него исчезает понятие значимости ушедшего времени.

Иными словами, у нашего больного не получается жить, а ведь именно это, выражаясь словами Бергсона, «*является новым в любом историческом периоде*». Каждое утро, просыпаясь, мы привычно выполняем одни и те же рутинные действия, коим нет числа, но при этом явственно ощущаем пробуждение, «реальное» пробуждение, уведомляющее нас о наступлении «нового» дня — не просто какого-то дня, численно отличающегося от предыдущих, а действительно нового дня, который нам предстоит прожить. Это ощущение не покидает нас до самого вечера, несмотря на все то, чем данный конкретный день может напоминать предыдущие. *В пространстве мы стремимся к подобию и идентичности, а во времени проживаем новое и непохожее*. На самом деле редко случаются

по-настоящему «знаковые» для нашей жизни дни. Однако каждый день является «новым» для нас, и в таком случае он не может не быть «знаковым»; именно поэтому последовательность таких дней, по сути, представляет собой то, что мы могли бы назвать жизненной перспективой. Даже если в определенных условиях монотонность жизни воспринимается нами как нечто угнетающее, внутри нас самих существует особый феномен, благодаря которому мы можем трактовать свое состояние: это *скука*, скука, отнюдь не лишённая жизни, так как за ней скрывается желание. Что касается нашего больного, он не сетует на скуку, он жалуется на то, что у него полностью исчезло чувство пробуждения и осталось лишь ощущение, что *все начинается сначала* (а не начинается что-то новое), что *все бесконечно вечное*, ему кажется, что он постоянно находится в одной и той же плоскости, что он словно пребывает в состоянии сомнамбулизма или летаргического сна⁸². Чтобы внести ясность, хочу отметить следующее: на мой взгляд, душевное состояние нашего больного относительно скуки равносильно двойственности, в прямом значении этого слова, относительно сомнений. Через сомнения мы признаем существование двух противоположных возможностей. Несмотря на то, что ни одна из этих возможностей не появляется внезапно, они все же объединяются между собой и предстают в виде «сомнения»; но при двойственности две эти возможности постоянно существуют параллельно друг другу, они никоим образом не организованы. То же самое происходит и со скукой: так называемая монотонность прожита, но в случае нашего больного она главенствует над всем, начинает диктовать «свои правила игры». Аналогичные проявления мы наблюдаем и в том, что больной полагает, будто, чем бы он ни занимался, над ним доминирует повторяемость похожих фактов; именно по этой причине, после того, как он совершал одинаковые прогулки много раз, ему начало казаться, что с тех пор его словно что-то подталкивает идти в одном и том же направлении, как если бы он был неспособен выбрать другое. В данном случае это не что иное, как одна из форм ненормального воздействия, которому, по его мнению, он подвергся, на что чуть позже мы еще обратим внимание.

⁸² Хочу напомнить, что в одной из своих недавних работ «Эволюция памяти и понятия времени» (*L'évolution de la mémoire et de la notion du temps*) доктор Пьер Жане настаивает на том, что ни сумасшедшим, ни психастеникам чувство скуки неведомо, данную особенность он связывает с отсутствием у этих больных усилий, что характерно для их образа жизни.

Остановившись в своем собственном динамизме, наш больной, похоже, лишен и органа, необходимого, чтобы *ассимилировать*, чтобы замечать все то, что *является движением* или изменением вокруг него самого. «Дерево я вижу, а вот машину, которая движется, не вижу», — признается он, напоминая тем самым некоторых шизофреников, описанных мной в других моих книгах. Конечно, нам вполне может быть достаточно утверждения, что мы замечаем передвижение предметов при помощи органов зрения, но эта формулировка верна только наполовину, так как, чтобы замечать передвижение предмета, необходимо еще и переносить визуальные изображения на ощущение движения времени, или, если вам так больше нравится, на ощущение проживаемой длительности, которая выступает в качестве неперменной основы для запоминания всего того, что принято считать движением, динамизмом и жизнью. Наш больной является лучшим тому доказательством. Безусловно, он может «видеть» точно так же, как и мы с вами, однако он жалуется на свою неспособность «соединиться ни с движением, ни со скоростью смены событий, которые происходят вокруг». Более того, единственным условием для «установления минимального контакта с окружающим миром» он считает покой и тишину, но разве они способны на это? На самом деле, наоборот: «торопиться» — именно тот феномен, в котором время может, так сказать, быть противопоставлено самому себе, что для нашего больного означает полностью выйти за его пределы и приводит к полнейшему хаосу.

В результате у нашего больного создается впечатление, что *он живет одномоментно*, что каждый новый миг он воспринимает так, словно «свалился с неба», что в его ближайшем будущем — «пустота», что любое его действие — «это последнее действие», которое он может совершить. Такое разложение проживаемого времени на составные части оказывает на него настолько сильное влияние, что, даже когда он ведет свои записи — забавная деталь, заслуживающая особого внимания, — именно последняя из сделанных им замечаний кажется ему наиболее важной.

Переход между прошлым, настоящим и будущим подвержен аналогичному распаду. Этот переход больше не происходит нормально, все звенья одной цепи оказываются раздробленными и одновременно сменившими свое место. Настоящее утрачивает привычное значение, становится всего лишь «идеей», прошлое преобразовывается в «круговое движение» воспоминаний, приобретающее «навязчивую форму» истинной «галлюцинации из прошлого»; вместе с тем,

события этого «прошлого» проживаются с такой значимостью, как если бы они были «настоящими», а будущее моментально истощается в интеллектуальном видении проецируемых поступков. Такое положение вещей можно достаточно легко объяснить, при условии, однако, что мы не будем упускать из виду живое воспоминание: оно представляет собой не только отголосок какого-то события из прошлого, чего-то, что уже случилось и чего больше нет, но, прежде всего, напоминает о событии, которое принадлежит прошлому и из которого вышло *это* настоящее. Точно так же и наши планы: они возникают не просто в результате обычного видения фактов и событий будущего, но в первую очередь являются тем, что было создано самим будущим, которое, опять же, возникло из *этого* настоящего. Именно такая *динамическая функция вовлечения* и нарушена у нашего больного. При этих условиях воспоминание может происходить только на основании того, что в нем самом является статичным, таким образом, оно претерпевает полную деформацию по отношению к перспективе в проживаемом времени и почти механически начинает диктовать свои правила, в конце концов присваивая себе характеристики настоящего. Последний пункт, похоже, можно рассматривать как противоположность феномена «дежавю», который изучал доктор Жане: он считал, что этот феномен следует отнести не к наличию какого-либо представления, исходящего из прошлого, а к нарушению функции презентификации, вследствие чего реальное восприятие, лишенное необходимой поддержки, которую как раз и оказывает эта презентификация, словно погружается в прошлое, в большей или меньшей мере нечеткое и расплывчатое. Подобная «презентификация прошлого», или «еще проживаемое» — это феномен, достаточно часто встречающийся в моей практике.

Кажется, прошлое может проникнуть в сознание нашего больного, лишь приобретая ту форму, которую мы только что определили. Однако все же стоит учесть один подводный камень. Нам не дано овладеть тем видением мира, каким обладает наш больной, и на основании факта нарушения функции презентификации мы не способны признать, что воспоминания, или, точнее, остаточная возбудимость, совершают самостоятельное движение в голове больного, как если бы они существовали сами по себе. Будучи психологами, мы стараемся избегать подобных изображений, изначально рассматривая глубину проблемы. Мы признаем, что в основе нашего осознания времени оказываются два отдельных, отличающихся друг от друга элемента, один из которых имеет динамическую природу,

а другой — статическую, причем в нормальной жизни они тесно связаны между собой. Вполне вероятно, что в условиях патологии в таком идеальном синтезе элементов образуется разлом, проявляющийся в сознании больного в форме существования двух различных принципов, которые не согласуются между собой и противопоставляются друг другу. Нашему больному не удастся *вновь соединить то, что на самом деле может быть только единым целым*, или, если вам так больше нравится: *то, что не может быть разъединено*. Иными словами, у него распалось то, что в жизни представляет собой нерушимое единство. Возможно, это и является основным критерием особой структуры его психической жизни, критерием, который представляет собой истинное первичное расстройство, в психологическом значении, и образует базис наблюдаемых у больного психопатических проявлений. Учитывая данные условия, все, что он говорит о том, каким образом проживает прошлое, является всего лишь попыткой превратить это первичное расстройство в нечто допустимое и понятное остальным. Так, например, статический критерий, который стал излишне не зависящим от всего остального и чрезмерно объемным, может выражаться, отражаясь в прошлом, в виде галлюцинаций и кругового движения прошлого, что мы рассматривали чуть выше.

Однако, какой бы ни была трактовка, которую мы даем тому, каким образом больной проживает прошлое, одно кажется нам совершенно очевидным: такой образ жизни создал исключительно благоприятные условия как для того, чтобы вновь и вновь мусолить конфликты прошлого, так и для того, чтобы вновь сожалеть о содеянном. Дело в том, что, сожалея, мы удаляемся от ощущения подавленности и останавливаемся лишь потому, что из потока жизни смогли удалить один факт прошлого, но при этом в течение более или менее долгого времени мы остаемся привязанными к нему, словно находимся в его власти. В сожалении есть небольшая одержимость прошлым, а эта характеристика как нельзя лучше сочетается с общими рассуждениями нашего больного о прошлом. Довольно часто он говорит с нами о потребности быть независимым, которую испытывал до того, как заболел, и о конфликтах, которые в результате этого возникали между ним и его отцом, жалуется, что его «преследуют упреки и сожаления», что он постоянно чувствует необходимость отыскать «ошибку», причину произошедшего, что стремится винить во всем прошлое, а также людей, связанных с этим прошлым. Однако в таких разговорах мы обнаруживаем вовсе не выражение реальных

комплексов или указание на роль этих так называемых комплексов в этиологии существующего состояния. Скорее всего это просто попытка придать хоть какую-то жизнеспособность психической форме, определяющей состояние нашего больного, сопровождаемая эмоционально окрашенными феноменами, после того как из всего многообразия этих феноменов было выбрано то, что в силу их естественных характеристик лучше всего приспособляется к основным чертам рассматриваемой психической формы.

Подтверждением данной концепции является и то обстоятельство, что сожаления больного участвуют в общих изменениях, которым подвергается его психическая жизнь. Они больше не имеют привычной окраски. Даже он сам прекрасно осознает это и необычайно точно трактует свое состояние, говоря о «тиках» и о «ментизме сожаления». Точно так же дело обстоит и с нашей ревнивицей: сравнивая свою патологическую ревность с обычной ревностью, она определяла ее как «ревность без любви».

Сейчас самое время задаться вопросом: а что, если это *ощущение неизбежности*, непоправимого *«слишком поздно»*, беспощадного превосходства прошлого как относительно теперешнего состояния, так и относительно будущего, которое обретает форму полной уверенности больного в своей неизлечимости, становится всего лишь простым повторением прошлого? Что, если это ощущение не является выражением такого же положения вещей, не является основным изменением, которому подверглась структура проживаемого времени? Я склонен поверить в это. Хочу напомнить, что, кроме всего прочего, говорит в своем исследовании Стаус: «Ровно настолько, насколько увеличивается заторможенность и замедляется поток времени в целом, увеличивается и могущественное влияние прошлого».

До настоящего момента мы говорили только о прошлом, однако будущее также подвергается глубочайшим изменениям. Эти изменения мы уже описали в разделе наблюдений, обозначив их как «опережение и остановка поступка, планируемого интеллектуальным изображением этого поступка». Аналогия с расстройством, относящимся к прошлому, представляется мне достаточно весомой: похоже, и в данной ситуации больному не удастся объединить принципы, которые, по сути, не могут быть разъединены, тогда как в нормальной жизни предвидение желаемых результатов не блокирует наши планы, напротив, является с ними единым целым, даже без того, чтобы возникал вопрос о каком-либо объединении в прямом смысле этого слова. Что касается видимого различия, когда, с одной стороны, возникает

круговое движение воспоминаний, а с другой — рассматриваемое опережение, а не круговое движение предвидения, то такое различие является не чем иным, как выражением *фундаментальной асимметрии*, которая, с феноменологической точки зрения, существует между прошлым и будущим. Мы вновь проживаем прошлое в своих воспоминаниях, но совершенно не проживаем будущее через предвидение, однако мы его строим в каждое мгновение своей жизни через повседневную деятельность, через ожидания, желания, надежды, планы, решения и, в конце концов, через стремление к лучшему. У меня уже была возможность настаивать на существовании такой асимметрии.

Кстати, у нашего больного отмечается в некотором роде нечеткая попытка приспособиться к тому, каким образом он воспринимает время. Именно по этой причине, с одной стороны, он жалуется на одержимость прошлым, а с другой, как мне кажется, пытается превратить прошлое в некую опору, подобие движения, чтобы, так сказать, наметить себе действие; он позволяет «мыслям-воспоминаниям» руководить собой, в полной мере испытывая на себе их главенство. Лишенный естественной перспективы на будущее, он замещает указанный пробел интеллектуальным изображением последовательности действий, и поэтому ему удастся совершить движение только через «мысль о движении, которое последует».

Ремарки сделаны, давайте вернемся к анализу симптомов. Совершенно естественным является тот факт, что расстройства, связанные с понятием времени, идут в паре с расстройствами, относящимися к сознательной деятельности. Нам известно, какое место отведено личному порыву в структуре понятия времени. Так, когда больной утверждает, что «у него нет ничего, кроме того, что проецируется вперед» (имеется в виду — в будущее), что, когда он принимается за какое-то дело, у него нет «ни ощущения границ, ни ощущения длительности», что, «когда он делает что-то, у него складывается впечатление, будто он при этом не присутствует, а значит, не может оценить продолжительность действия», когда он говорит об «отсутствии понятия логической цепочки при следовании его действий друг за другом» или об отсутствии «направляющей линии», — во всех этих проявлениях мы не усматриваем ничего, кроме дополнения к расстройствам, описанным выше.

Однако, занимаясь исследованиями дальше, нам предстоит встретиться с симптомами, которые при первичном рассмотрении не подчиняются понятию проживаемой длительности.

Среди этих симптомов на первое место выходят те, что каким-то образом относятся к феномену «я существую».

У нас уже была возможность представить этот феномен ранее, он является всего лишь *псевдостатическим* хранилищем нашей деятельности. Поэтому нас совершенно не удивляет, что мы встретились с ним сейчас.

Мне кажется, есть еще один феномен, относящийся к нашей деятельности, феномен примерно того же плана, что и «я существую», и чем-то связанный с ним. Это *феномен завершения или осуществления*. «Я сделал», или, скорее, «я только что сделал», обозначает момент псевдостатической остановки в деятельности, в непрекращающемся распространении которой «я существую» занимает аналогичное место. Хочу также отметить следующее: «я только что сделал» никогда не являлось обозначением окончания в прямом смысле слова, оно фиксирует лишь окончание «этапа», а это значит, что в нем содержится призыв вновь приложить силы, чтобы превзойти поставленную перед собой цель.

Таким образом, феномен утверждения существования и феномен завершения в большей мере относятся к явлению динамизма, нежели статики. Сейчас нам становится понятно, как ослабевание жизненного динамизма, проникая в самую суть, достигает именно этих феноменов. Все вышесказанное достаточно четко просматривается в жалобах нашего больного; думаю, нет никакой необходимости воспроизводить их еще раз. Добавим лишь одно: жалобы, связанные с тем, что ему никогда не удастся через деятельность достичь «ощущения законченности», почувствовать себя «словно проваливающимся в бездну», что он не способен выявить границы, завершить свое действие, являются всего лишь выражением точно такого же положения вещей.

По-прежнему руководствуясь симптомами, которые проявляются у нашего больного, мы пришли к тому, чтобы еще немного поговорить о содержании феномена «я существую». Кстати, на мой взгляд, в этом феномене нет никаких ярко выраженных признаков, которые со временем ему приписало наше дискурсивное мышление. В феномене «я существую» почти нет динамизма в чистом виде. Как мы уже отмечали, он определяет момент *остановки* в нашей деятельности; статического в нем и того меньше, так как он знаменует собой именно *момент* остановки, а значит, потенциально в нем содержатся огромная мощь и движущая сила. К тому же он не является утверждением «я» в его исключительно материальном значении и уж тем более в его психическом или духовном виде. По сути, он является

и тем, и другим одновременно. Хочу особо подчеркнуть, что мы не смогли бы придумать ничего лучше, чем воспользоваться выражением «*органо-психическая солидарность*» (Бергсон), однако, при условии все же, что особое ударение будет падать на слово «солидарность», ибо в «я существую» *нет* ни органического, ни психического, *ни* объединения их *обоих*, но есть *солидарность*, которая содержит в себе в виде зародыша два различных направления. Занимаясь исследованием «я существую» в виде «я — здесь — сейчас», мы можем сказать, что в нем содержится как понятие времени, так и критерий пространственного порядка, а именно «здесь». С другой стороны, это «здесь» обретает свое значение только в отношении «сейчас», причем оно далеко от того, чтобы поместить нас в геометрическое пространство, где все относительно и обратимо, для нас оно определяет абсолютную точку в пространстве — ту, в которой мы находимся в данный момент, которая является для человека действующего истинным центром мира.

Итак, в случае нашего больного мы наблюдаем, что ослабление «я существую» происходит в паре с повреждением солидарности. Именно поэтому, с одной стороны, он говорит об *ощущении увеличивающегося материализма*, жалуется, что способен лишь на «поедание пищи и дефекацию», живет «жизнью своих внутренних органов», представляет собой «бесформенную массу с вегетативными функциями», являясь лишь «действующим животным, которое, помимо прочего, причиняет себе боль», тогда как, с другой стороны, он чувствует себя «*нематериальным и воздушным*».

Поскольку обычно не существует объединения в прямом смысле слова, а есть только солидарность, мы можем констатировать, что нашему больному не удастся соединить между собой два критерия, которые в действительности невозможно отделить друг от друга. Здесь уместно было бы сказать о *патологическом дуализме*, добавив при этом, что нормальный дуализм вообще не существует и что в жизни дуализм может быть исключительно патологией.

Традиционная философия достаточно часто приходит к своим общим концепциям, используя методику разделения на части и затем извлечения. Именно на основании этого она говорит о материализме или спиритуализме, а порой закладывает постулаты солипсизма, исключая из ближайших данных возможность существования других индивидов, тем самым безмолвно признавая, что такое удаление ничего не изменит в том, каким образом мы проживаем наше «я», а также, что критерий «быть одним

среди других» имеет очень важное значение. Таким образом, она не принимает в расчет основные виды отношений, многочисленные, разнообразные и весьма сложные, существующие между различными жизненными феноменами. Именно психопатология занимается тем, чтобы расставить все точки над «і». В таком случае — например, в случае нашего больного — мы узнаем то, во что превращается проживаемый материализм и что представляет собой проживаемый дуализм. Это доказывает нам, что в жизни не бывает ни дополнений, ни сокращений, что ни при каких обстоятельствах она не может быть сведена к арифметическим действиям. Когда каким-то образом поражаются органо-психические отношения, речь идет не о разделении и не о сокращении, а о глубоких изменениях всей структуры жизни. Кроме того, аутистский мир шизофреников, возможно, является лучшим ответом на постулат солипсизма. Я почти склонился к тому, чтобы утверждать, что различные психопатологические синдромы экспериментальным путем осуществляют возникновение истинных философских систем, в полной мере подчеркивая их несогласованность с ближайшими данными жизни⁸³.

Рассмотренные под этим углом *«ипохондрические жалобы»* нашего больного в гораздо меньшей мере кажутся реальными «ипохондрическими опасениями», поскольку в них, без сомнения, существует только адекватное, насколько это возможно, психоаффективное выражение особенного расстройства, которое он сам признает и трактует как ощущение увеличивающейся материальности. То обстоятельство, что больной воспринимает эту ипохондрическую тревожность как нечто чуждое его личности, навязанное ему извне, подтверждает данную точку зрения.

В конце концов мы столкнулись с точно таким же патологическим дуализмом, о котором уже говорили чуть выше, когда обсуждали взаимодействие с окружающей реальностью. С одной стороны — это *ощущение воздействия*, которое могут оказывать и предметы, и люди, а с другой — *ощущение отдаления* от тех же самых людей и предметов.

⁸³ В данном случае, думаю, было бы интересно вспомнить, что доктора Р. Таргула и П. Рубенович не так давно (*Encéphale*, февраль 1930) представили результаты своих наблюдений за одной больной шизофренией, страдающей от эхопраксии, которая обладала частичным сознанием, а чтобы объяснить происходящее, говорила: «Мне кажется, что у отдельного человека нет причин для существования; поэтому, когда я вижу, как кто-то совершает какой-то жест, я повторяю его, некая сила подталкивает меня на это, и затем я чувствую себя менее одиноко».

Можно сказать, что все составные элементы жизни нашего больного, исходящие извне, в частности разговоры, жесты и поступки других, напрямую «затрагивают» его, полностью овладевают им, словно он настолько «связан» с ними, что, сами лишенные жизни, они проникают в безжизненное тело. Именно по этой причине он постоянно чувствует себя «загруженным», «ведомым», жалуется, что «слова как таковые пропитывают его сознание и оказывают влияние на его функции», что он просто «отражение других», что он «отдан на растерзание остальным, как околдованный призрак, автоматически привлекаемый различными событиями, происходящими вокруг него». Окружающие люди также кажутся ему призраками, и это является неоспоримым подтверждением того, что мы постоянно чувствуем себя солидарными с психическим состоянием себе подобных.

Однако, выражая таким образом свое ощущение воздействия, или, иначе говоря, *увеличивающийся контакт* с окружающей действительностью, наш больной постоянно жалуется, что чувствует себя одиноким, словно он изолирован от всего мира, и неестественно удаленным от всех остальных. При такой же последовательности мыслей он также ощущает, что расстояние, отделяющее его от остальных людей, постоянно увеличивается: ему не удастся приблизиться к ним, совершая естественные действия, направленные на них. Его одолевает неприятное чувство, что никому нельзя доверять, и в то же время он постоянно, но безрезультатно, борется с собственным бессилием, поскольку не может быть понят другими. Случается, наш больной испытывает «ужасные ощущения», будто он обречен на то, чтобы, вопреки собственному желанию, обманывать свое окружение и считать, что все «слова, которые он произносит, должны быть восприняты с противоположным смыслом». Что касается его способности описать все то, что он ощущает, на данном этапе мы можем рассматривать ее не в качестве основного критерия, а в качестве последствия, своего рода отражения, которое является второстепенной проекцией его собственного душевного состояния, глубокой неспособностью «достичь» окружающего мира. Любой из нас знает: когда речь заходит о личной жизни, оказывается, у каждого есть что-то скрытое в глубине, что-то, что невозможно и никогда не будет возможно выразить словами; и никто не жалуется, считая это совершенно естественным и необходимым. А у нашего больного все наоборот: ощущение неспособности достичь других, кажется, создало для него иллюзию преодоления особых необъяснимых состояний, которые он пытается описать, конечно же безуспешно.

Вполне вероятно, что патологический дуализм, описанный выше, когда мы рассматривали сферу взаимодействия с окружающей действительностью, находится в тесной связи с нарушением ощущения законченности. Так как наряду с «я существую» есть еще и органо-психическая солидарность, сам феномен законченности содержит в себе солидарность между «я» и окружающим миром. Для выполнения своей деятельности *я достигаю* окружающего мира. Действие или творение, которые возникают в результате моей деятельности, в момент завершения отрываются от моего «я» и становятся частью «не-я», по-прежнему, однако, продолжая принадлежать мне. В данный момент деятельность имеет неделимую связь с обоими. Когда поражается феномен законченности, это легко может привести к ощущению нарушения естественного взаимодействия с окружающей средой, особенно в отношении нашей способности *достигать* окружающего мира через деятельность, *прикасаться* к нему, если можно так выразиться, но при этом *удерживая его на некотором* (проживаемом) *расстоянии* от нас.

По поводу того, что принято называть двойственностью, хочу напомнить, что я уже говорил в моем первом исследовании по шизофрении, описывая этот симптом: я рассматривал его в качестве естественного последствия от ослабления витального контакта с реальностью, в результате чего «да» и «нет», которые в обычной жизни тесно связаны друг с другом и способны хорошо организовываться между собой, чтобы достичь чего-то позитивного, оказались противопоставлены друг другу, превратившись в не зависящие друг от друга и неусвояемые категории. На данный момент, на основании всего сказанного, я склонен видеть в такой двойственности у нашего больного одно из проявлений разрушения психики, которое мы определили термином «патологический дуализм» и которое проявляется в неспособности объединить то, что в жизни является единым целым и не может быть разделено полностью. Если же расширить понятие двойственности, отождествив его с патологическим дуализмом, мы можем приписать ему большинство описанных ранее расстройств. Именно это, кстати, и натолкнуло меня на мысль порассуждать об «амбивалентной депрессии».

Хочу добавить еще одно наблюдение, которое мне удалось сделать, работая с больной 37-летней женщиной: я курировал ее в течение многих месяцев, занимаясь этим параллельно с предыдущим случаем; проявляющиеся у нее симптомы, пусть даже в несколько приглушенном виде, имели некоторые общие черты с теми, что были описаны выше.

С клинической точки зрения этот случай считается значительно более сложным по сравнению с предыдущим, так как отличается наличием фактора инсценирования, который еще больше все усложнял. При этом мы не могли свести ее симптомы к фактору истерии, ибо сам по себе он не является достаточным для того, чтобы объяснить причину их возникновения, даже если осложняет прочие критерии. Пока эта пациентка не заболела, она глубоко интересовалась оккультными науками и теософией, придавая им огромное значение. Затем она начала утверждать, что эти науки «настолько развили ее мозг», что отныне она чувствует в себе способность даже на сочинение музыкальных произведений, чего раньше не делала никогда. Данное обстоятельство, как мне кажется, может объясняться особым словарным запасом, который она использует для описания своего душевного состояния во время депрессивного расстройства; однако этого недостаточно, чтобы мы могли расценивать ее жалобы исключительно в виде вербальных образований, возникших на основании того, что она могла слышать во время сеансов, которые так часто посещала. В результате наблюдений за этой больной обратная трактовка фактов кажется мне более правдоподобной: имеется в виду, что именно шизоидный критерий, являющийся основным критерием ее образа поведения, и объясняет потребность больной интересоваться чем-то сверхъестественным, что, в свою очередь, привело ее к изучению оккультных наук.

Мадам Л. проживает отдельно от мужа; у него, кстати, также наблюдаются странности характера, мы могли констатировать это по результатам многочисленных совместных бесед. У больной есть 11-летняя дочь, к которой, кажется, она очень привязана, даже, возможно, с долей эйфории.

Наследственный анамнез отягощен: два кузена покончили жизнь самоубийством, еще один скончался от «неврастении» после десяти лет болезни; мать — женщина странная, «наполовину безумная», как говорит сама больная.

Заразившись шесть или семь лет назад сифилисом, больная получает регулярное лечение. Последние анализы на реакцию Вассермана были отрицательными, и на сегодняшний день нет никаких особых признаков этого заболевания.

Приступ депрессии начался около года назад. Тогда ее муж вернулся из длительной дальней поездки; они начали вести разговоры по поводу образования дочери. «С этого момента все и началось. Она заплакала и испытала ощущение раздвигания. Разговаривала с мужем, но думала

о чем-то другом. В ней было два человека. Это привело ее в ярость. В сознании что-то изменилось». Она стала подавленной, инертной, неактивной. Затем «начался приступ лихорадки», что еще больше усугубило ее состояние. Во время приступа она «вставала по ночам и кричала», однако ей удавалось успокоить себя «силой воображения, силой мозга». После приступа она увлеклась «астральными материями», почувствовала себя сильнее, однако затем впала в еще более сильную депрессию, чем раньше. Она попыталась излечиться, обратившись к гипнотизеру, но попытка провалилась, ибо «ей не удавалось вести себя так, как было нужно».

В течение долгих месяцев больная находилась в психиатрической клинике. На момент выписки ее состояние улучшилось, и, как мы смогли убедиться, год спустя улучшение состояния сохранилось. Потом мы потеряли эту больную из виду.

Во время ее пребывания в психиатрической клинике больная была подавлена, вела себя неактивно, дни напролет не вставала с кровати или сидела в шезлонге; все ее жалобы были монотонными и всегда одинаковыми. Некоторые из них мы приведем в качестве примера, воспользовавшись записями, которые были сделаны в ходе наблюдения.

24 мая 1924. — «Я не могу собой руководить; моя мысль останавливается каждый миг.

Прежде чем оказаться здесь, я находилась в другой клинике, но сумела сбежать оттуда. У врача была какая-то особенная манера воздействовать на мозг, которую я не могла выносить. Из-за этого он посчитал меня истеричкой. Он воздействовал на меня, не давал мне возможности говорить. Я ощущала контакт прямо у себя в голове. Если я болтаю, то у меня начинаются головные боли. Испытывать такие страдания здесь, на земле, это уж слишком. Чувствовать, что в этом есть какой-то собственный здравый смысл, но не иметь возможности придерживаться его, — просто ужасно.

Мне кажется, что я необъятно огромных размеров, как дом.

Можно сказать, что мои слова у меня в голове. (Показывает на макушку.)

Также у меня были обморочные состояния, проблемы с дыханием.

Мне кажется, что вся моя жизнь находится внутри моей головы и, если я сделаю еще хоть одно движение, голова разорвется.

Все это чары, гипноз, все, что происходит, навязано извне неким особым способом.

Сейчас меня уже не тянет ни к чему.

Когда кто-то проверяет мою реакцию головного мозга, оказывается, что ее нет.

У меня ощущение, что во мне чего-то слишком много, а чего-то не хватает; нужно, чтобы так не было.

Сегодня утром несколько минут я не могла узнать сиделку, которая помогала мне принять душ.

Вступая с кем-то в контакт, я теряю рассудок; те, с кем я пытаюсь общаться, значительно сильнее меня.

Я болтаю с вами и ощущаю, как что-то привлекает мое внимание в другом месте. (Показывает в противоположную сторону.)

Чем больше я прилагаю усилий, тем менее я реальна.

Я борюсь, чтобы избавиться от огромного количества грязи, которая проникла в меня.

Я испытываю ощущения в желудке, словно что-то тянуло меня за пределы, а затем возвращало обратно.

По сути, я не чувствую себя больной, но я больна. Нужно бороться в двух направлениях.

Я сплю раздвоенно: сплю и внутри себя страдаю; я сплю, но есть что-то, что не спит.

Я постоянно вижу двойной мир.

Я олицетворяю собой всех людей; так, например, когда вы рядом со мной, я становлюсь вами, когда кто-то другой, я частично являюсь им».

27 мая — «Я сплю без сна.

Умная мысль возникает в затылке (показывает), затем в области лба происходит пробуждение (показывает).

Я вижу, и я не думаю.

Я чувствую, что изменяюсь каждое мгновение.

Я думаю, и я не думаю.

Я говорю, но внутри думается как-то по-другому.

Я чувствую, что все сгущается в мозжечке (показывает); кажется, что если бы мне вскрыли череп, то оттуда бы все это вышло, и тогда я была бы спасена.

Я не могу отойти от болезней других больных, которых вижу здесь, вокруг себя. (Объясняет, что она как бы поглощает их болезни.)

Я больше ничего не чувствую, ничего не слышу.

Когда я говорю, мне кажется, будто что-то говорит у меня внутри.

Когда я слышу что-то, это не проникает внутрь меня самой.

Я больше не могу бороться. Я не знаю, как реагировать, я совсем запуталась.

Я вижу и ощущаю собственного мужа у себя внутри. Мне кажется, что его голова уснула внутри моей головы.

Я вижу это, хотя и не вижу его.

Я совсем не такая, какой была пять минут назад.
Мысль здесь (указывает на голову), но ее там нет.
Мысль раздавлена в моей голове.

Я пытаюсь привязаться к чему-нибудь, но теперь у меня это больше не получается.

Я думаю во сне, так мне думается и не думается.

Силы уходят через рот, с воздухом, через лоб.

Как только кто-то проходит мимо, я перестаю быть собой, этот кто-то проникает в меня.

В моей голове нет никаких мыслей, ничего, кроме того, что можно увидеть, и еще — осознание, что это так.

С одной стороны, я говорю, а с другой — не вижу себя говорящей.

(Вопрос: сохранилось ли у вас понятие существования?) — Я делаю вещи, не понимая, что делаю. Это происходит внутри меня, без того, чтобы я существовала. Нет, у меня отсутствует понятие существования. Я делаю, но не знаю этого; как машина, которая едет сама по себе.

Нужно, чтобы я была совершенно без движения, чтобы могла ничего не видеть, ничего не слышать, и тогда мысли вернутся.

Сон успокаивает нервы, но он совершенно ничего не значит для головы.

Ах, как же я страдала вчера! Я уже не испытываю никаких болей, но при этом они у меня есть.

Чем чаще я выдыхаю, тем больше силы уходят от меня; когда я выдыхаю, это приводит к удушью; поэтому я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть.

Сегодня ночью мне думалось затылком. (Показывает.)

Я говорю и страдаю. Я страдаю. Отчего — на самом деле не знаю.

Поскольку мне не хочется думать, перебирать что-то в голове, я все раздавила там — мои мысли, мои нервы. (Сопровождает свои слова движениями, что, кстати, делает достаточно часто.)

Я болтаю, ничего не ощущая. Не знаю, кто заставляет механизмы внутри меня делать это. Как говорят в теософии, я одержима бесами. Нечто живет внутри, но живет по-другому.

Это мысль поверх мысли.

Внутри меня происходит настоящее психическое выключение.

Я ощущаю невыносимый зуд во всем позвоночнике, затем нервы вынуждают меня упасть на колени. Вчера я ощутила смерть в верхней части предплечья, а потом и в двух пальцах.

Я бы хотела реагировать своей второй частью.

Когда я в моей комнате, у меня создается впечатление, что я сама себя путаю со всем домом, сама являюсь домом. У меня нет четкого понятия вещей.

Мое состояние изменяется каждую минуту».

28 мая. — «Мысль покидает меня, следуя за людьми, которые проходят мимо. И после этого во мне, внутри, случаются приступы — в сердце, в желудке, в ногах и т.д. Я больше не могу терпеть. Ах, как же мне больно!

Все, что я говорю вам, еще вернется ко мне, и я буду бороться с этим, в моем сознании.

А сейчас, после того как вы принудили меня говорить, я все болтаю и болтаю.

Когда я веду себя по-другому, как минимум мои мысли... (Не заканчивает фразу.) ...и потом, я не знаю как, не могу выразить их правильно.

Здесь все сжато (показывает на лоб) словно стальным обручем.

Это больше никогда не вернется, я страдала уже слишком много.

Порой я испытываю боль в груди. (Показывает.)

Теперь я еще стала плохо видеть.

Вы совершили насилие надо мной, вынудив меня болтать, и сейчас я как подопытный зверек; у меня случаются непроизвольные реакции. Что можно сделать, чтобы заставить это двигаться или заставить остановиться, я понятия не имею.

Вчера, когда пришла дочь, я испытала дурное предчувствие, мое тело стало словно каменным. Раньше я ощущала внутри себя хоть какое-то малейшее шевеление, оно подталкивало меня обнять ее; пусть и небольшое, так как я ничего не чувствую, но все же оно присутствовало, а вчера я будто окаменела.

Я сама себе не доверяю, во мне так много изменяющихся состояний. Я все еще надеюсь, но доверия совсем не осталось.

Мысль о том, что можно вот так лишиться сознания, это ужасно! Я слишком хорошо вижу свою беду, свое несчастье. Я страдаю.

(Вопрос: вы чувствуете себя раздвоенной?) — Если бы это была всего лишь раздвоенность! Я повсюду. Я больше не существую, жизнь больше не существует, есть только машина».

29 мая. — «Сегодня у меня болел нос, но это физическая боль, это ничего не значит. Я испытываю духовную боль.

(Вопрос: вы ощущаете, как проходит время?) — У меня не осталось никаких понятий, я утратила понимание всего.

Все прерывает мои мысли. Все, все прерывает и изменяет меня саму. Ничего не вернется, поэтому я совершенно отчаялась.

У меня есть голова, но ее нет.

Мысль уходит, когда я в таком состоянии.

Я страдаю, я общаюсь с вами, но я не здесь.

Вместо того чтобы смотреть на вещи просто, я, скорее, вижу, как они естественно удаляются.

Я потерялась «наполовину».

Вот здесь у меня мрамор. (Показывает на лоб.)

Я спиритуалистка, но боюсь утратить свою духовную часть.

Когда я становлюсь кем-то другим (другим человеком) внутри моей головы, я больше не чувствую себя самой собой».

30 мая. — «Мне кажется, что мой голос исходит из затылка. Когда я говорю, кто-то болтает, болтает повсюду, внутри и снаружи.

Мне нужно, чтобы я была одна, но чтобы я не была одна.

Я болтаю внутри и снаружи.

Каждый миг все изменяется.

Для меня все превращается в наваждение: человек проходит мимо, а затем я вижу его вновь.

А еще все превращается в контакт с внешним миром: так, когда вы говорите, в моем случае это приводит к судорогам лица.

У меня есть только мысли, которые приходят извне, мысли, которые приходят и уходят.

Смех других вынуждает меня смеяться, это причиняет мне боль.

Я делаю заново то, что делают другие люди.

Я не страдаю, но вместе с тем страдаю.

Сейчас мне повсюду видится красный цвет, это плохо.

Теперь я уже не я, так как только что кто-то прошел рядом со мной. (Наша больная устроилась в шезлонге в саду; еще одна больная действительно прошла мимо нее.) Я стала этим человеком, я иду вместе с ним.

Я бы хотела увидеть дочь; я так говорю, но не чувствую этого.

Порой я ощущаю себя совершенно замороженной, полностью покрытой льдом.

Я разнервничалась, засыпая, даже не зная причины, однако причина все же была, так как я отдавала себе в этом отчет.

Страдать, не испытывая вместе с тем никаких страданий, — это так ужасно!»

2 июня — «Я больше не думаю, мысли выходят. (Указывает на свой лоб.) Все уходит. Когда я думаю, у меня создается впечатление, что все спускается из моего мозга в горло. Простой ночью я видела, как двойник моей мысли развалился на кусочки. Это ужасно. Я проникаю в каждого человека, который проходит мимо, и они тоже проникают в меня».

3 июня. — «Во мне все отвердело, все высохло. У меня больше нет души. Как же я страдаю, как я страдаю!

Временами я страдаю и не страдаю.

Я болтаю с вами, но не ощущаю того, что говорю.

Внутри меня что-то думает. Мысль переходит в живот, и тогда я испытываю там боль и невыносимый зуд.

Вчера весь день я находила в мозгу других людей. Я больше не могла существовать. Я была ими.

Я чувствую, что во мне все застыло. Именно это слово правильно выражает сложившуюся ситуацию. А еще мне страшно, и я испытываю тревогу.

Чем больше я реагирую, тем больше запутываюсь. Это не я сама, это другие люди, которые, проходя мимо, вынуждают меня реагировать».

6 июня. — «Мои воспоминания похожи на видения; они проплывают у меня перед глазами. Во мне все слишком раздроблено.

Вы прервали мою идею.

Именно в ходе болезни духовные идеи начали развиваться как никогда прежде.

Когда вы смотрите на меня, это придает мне сил.

Вчера во мне не было ничего от меня самой, я не существовала.

Болтовня во мне происходит даже без мыслей.

Любая мысль воздействует на меня, а затем пытается превратиться в действие. Худо ли бедно, мозг совершает движение, и все во мне движется.

Когда кто-то проходит — это конец. Я становлюсь им. Я получаю контакты повсюду.

То мое состояние, в котором я пребывала раньше, стоит у меня перед глазами. Это ужасно. Мне нужно изгнать его».

10 июня. — «Когда я говорю, я такая, какой вы меня видите, но у меня внутри все спит.

Моя мысль постоянно уходит за пределы.

Я вижу вещи, но я их не вижу, так как моя мысль больше не здесь.

Мне уже невдомек, я ли это, живу ли я вообще.

Такая, какой вы видите меня сейчас, это не я, поверьте.

Я знаю некоторые вещи, но я их не ощущаю.

Боль возникает из мозжечка, из спинного мозга.

У меня внутри все черное, все прогнило.

Этой зимой я слишком много реагировала.

Я страдаю, а накануне я страдала совершенно по-другому».

6 июля. — «Затылок одновременно мягкий и очень жесткий.

Мои глаза были закрыты и открыты.

Я есть, и меня нет.

Что-то движется и не движется внутри, но все движется снаружи.

Когда я дотрагиваюсь до чего-то, начинается болтовня.

Это возвращаются душевные страдания, теперь они относятся к наружному. Страдания без повода, и все это за пределами меня самой; или все это в моей голове.

Все вынуждает меня говорить, добро, зло, все, что за пределами, это ужасно.

Я ощущаю, что возвращаюсь к себе, но совсем не к себе.

Сон убивает меня, комната убивает меня, все, что снаружи, убивает меня, все вынуждает меня думать, но это не настоящие мысли.

Так что же я вижу перед собой? Я вижу пустоту, я не вижу ничего.

Ночью перед моими глазами расстилается озаренное звездами небо, нет, все происходит за пределами моего зрения, это лишает меня сил.

Иногда я чувствую, что вновь возвращаюсь к себе самой, но даже самая маленькая вещь способна снова все нарушить.

Что-то думается, что-то останавливается, можно сказать, что порой останавливается и мозг».

Мне кажется, читателю не составит труда выявить общие черты между этим случаем и тем, что мы наблюдали у предыдущего больного. Однако это далеко не полное сходство. Общие черты прежде всего относятся к феноменам, которые мы изучали во второй части теоретического раздела, а именно — к понятию «я существую» и к тесно связанным с ним факторам. Таким образом, у этой больной мы обнаруживаем черты описанного выше «патологического дуализма», двойственность которого была всего лишь одним из проявлений. Кстати, расстройства, напрямую относящиеся к проживаемому времени, как, например, разрыв относительно окружающего становления или ограниченность презентификации, совмещенная с изменениями структуры прошлого и будущего, которые идут с ней в паре, отходят на второй план, хотя не исчезают полностью. Вместе с тем, проявления ценестезии, похоже, приобретают более серьезный уровень, получают менее живую, менее «реальную» окраску и указывают на более глубокие изменения личности, чем в предыдущем случае (ощущение того, что она необъятно огромная, как дом; мысль раздавлена в голове; силы уходят через рот, через лоб; голос выходит из затылка; внутри все черное, все прогнило).

Мне кажется, можно бесконечно говорить о расстройствах, относящихся к взаимодействию с окружающей действительностью, которое в данном случае доходит до ощущения слияния с людьми и предметами, до жалобы, что она «проникает в других людей, а другие люди проникают в нее». Кроме того, когда мы слышим, как наша

больная говорит, что «все для нее превращается в контакт с внешним миром», а «все, что происходит, навязано извне неким особым способом», мы понимаем, что здесь недалеко до мании воздействия.

Оба наши наблюдения не могут совпадать в полной мере. Один случай, на основании некоторых моментов, ближе к эндогенному депрессивному состоянию, другой — к мании воздействия. Однако депрессивные критерии и общая черта симптомов, относящихся к двойственности, несомненно, важны для нас, так как в обоих этих случаях мы ведем речь об «амбивалентной депрессии». Сопоставление двух этих случаев по схожим составляющим и различиям дает нам возможность лучше понять структуру некоторых синдромов, а также их сочетаемость.

ГЛАВА VI

ВИДЫ ГИПОФРЕНИИ⁸⁴ ДЕБИЛЬНОСТЬ — СОСТОЯНИЯ СЛАБОУМИЯ

1. Дебильность.

*(Исследования Э. де Греффа о личности
страдающего дебильностью⁸⁵)*

В ходе проведения клинического обследования, используя специально предусмотренные вопросы, мы говорим о скудоумии индивида. И ставим диагноз «дебильность». Общеизвестные тесты дают нам возможность определить уровень этого скудоумия, выражая его в форме психического возраста больного. Таким образом мы можем определить *дефект*, и нас это вполне удовлетворяет; мы даже не задумываемся о том, чтобы задаться вопросом: каковы же особенности психики, с которой мы имеем дело? Проведя замеры относительно среднего допустимого уровня, мы определяем, что это индивид отсталый, ниже нас по развитию, — вот и все.

Однако, будучи психологами, мы все же стремимся продвинуться чуть дальше в своих исследованиях, с радостью пытаемся трактовать его реакции, уловки, поведение и весь его образ жизни, который является механизмом, позволяющим ему компенсировать и уравнивать свою неполноценность. Попросту говоря, мы негласно признаем, что он осознает свою неполноценность, а затем полагаем, что

⁸⁴ Этим термином я определяю состояния, которые в соответствии с общепринятой концепцией характеризуются любой неполноценностью интеллектуальных способностей, либо врожденной, либо приобретенной.

⁸⁵ De Greeff É. «*Essai sur la personnalité du débile mental*», Journal de Psychologie, mai 1927.

сможем лучше его понять, если припишем ему то, что сами сделали бы на его месте, чтобы компенсировать такой изъян, если бы нам удалось, сохранив разум, быть слабоумными.

Это двойная ошибка: с одной стороны, мы довольствуемся констатацией слабоумия, а с другой — пытаемся углубиться в познание неполноценной психики, приписывая ей, не внося никаких изменений, механизмы, позаимствованные из функционирования нормальной психики; именно против совершения такой двойной ошибки, как мне кажется, все больше и больше протестует современная психопатология.

Кстати, когда мы сталкиваемся со слабоумным, еще до того, как подтверждаем этот диагноз на основании объективных методов, у нас возникает какое-то особое чувство, отражающее наше стремление выйти на один уровень с больным. При проведении клинического опроса ассистенты могут поставить диагноз «дебильность», просто учитывая изменения, произошедшие в определенный момент в интонации голоса их преподавателей, в том, каким образом те ведут себя с больным, как задают ему вопросы или дают советы, даже если вопросы напрямую не относятся к оценке психического уровня пациента. И если в такие моменты мы попробуем понаблюдать за собой, то придем к выводу, что ведем себя так не потому, что укрепили свои знания в течение долгих лет работы с психическими отклонениями, а делаем это интуитивно. Более того, именно на основании интуитивного подхода базируется предположение о наличии дебильности, предположение, которое превращается в убеждение, если подкрепляется в ходе последующих наблюдений, не создавая при этом ни малейших разногласий в психологии межличностных отношений между нами и нашим больным. Если мы замечаем, что выбрали ложный путь, что наш стиль поведения непонятен больному или даже шокирует его, руководствуясь интуицией, несмотря на все результаты, полученные в ходе тестирования больного, мы отказываемся от этого ложного пути, а также и от диагноза «дебильность», который предполагали изначально. Но если выбранный нами стиль поведения подтверждает наше предположение, мы чувствуем себя с таким больным «комфортно», как если бы нашли в себе необходимые элементы, чтобы, насколько это возможно, оценить его умственные способности относительно нашей собственной психики. Таким образом, мы уже склонны считать все это доказательством того, что дебильность представляет собой *особую форму* психической жизни, которая,

при всем ее отличии, все же доступна для восприятия нашей интуицией, как минимум до какого-то уровня.

Однако все это основано на интуитивном подходе в чистом виде, что не позволяет нам хотя бы минимально изложить суть особенностей психической жизни больного, страдающего слабоумием. А нам все же хотелось бы иметь возможность обсуждать это.

На данном этапе я предлагаю задержаться на работе де Греффа, в которой он рассматривает *личность* больного, страдающего дебильностью. Указанная работа полностью попадает в рамки наших исследований, поэтому я вкратце перескажу ее и попытаюсь в меру сил сохранить особую манеру выражения мыслей автора.

Как говорит де Грефф, у него была возможность исследовать больных, страдающих дебильностью, не только сидя за столом и составляя тесты, но и через живое общение, *тесно и длительно контактируя с ними* в колонии семейного типа в бельгийском городе Гел; он наблюдал за тем, как они ведут себя в различных жизненных ситуациях, в семье, общаются между собой, работают, видел их спокойными и разъяренными, в периоды покорности и неповиновения. Все это дало ему возможность разработать проблему *общей психологии* дебильности. Именно там он быстро осознал, что, обращая внимание *исключительно на недостаточность*, невозможно полностью объяснить психологию и поведение дебильности. Слабоумный живет и реагирует как *полноценный человек*. *Он захвачен самим собой, своим внутренним миром*. Он не чувствует себя лишенным чего-то, а видимые нарушения восстанавливает его *собственное равновесие*. Имеющиеся умственные особенности в полной мере *удовлетворяют* его личность, она является такой, какой они позволили ей стать. У него самого в последнюю очередь возникает ощущение осознания своей неполноценности. Всех людей вокруг он оценивает на основании собственного состояния, так же, как и нормальные люди оценивают его относительно самих себя. *При этом ошибаются и он, и они*.

Исследования де Греффа можно разделить на три основных пункта: 1) каким видит себя сам дебильный; 2) как он воспринимает остальных людей; 3) его неспособность предвидеть. Безусловно, в данном случае речь не идет о каких-то случайно выбранных трех пунктах; чуть позже мы убедимся, что все эти пункты образуют единое целое и дают нам реальную возможность проникнуть максимально глубоко в особенную структуру психики больных, страдающих дебильностью.

Опыты показывают, что дебилы не только не ощущают себя хуже, чем окружающие их люди, а скорее наоборот: они выделяются среди остальных и считают себя даже более важными, чем те, кто превосходит их.

Любые предположения, касающиеся так называемых процессов компенсации у больных, страдающих дебилностью, рухнули под таким напором. Нет ничего, что необходимо компенсировать, поскольку у них отсутствует осознание своей неполноценности, ибо они, напротив, полагают, что превосходят других.

Можем ли мы расценивать такое их отношение как надменность? Конечно же нет. Надменность сопоставима с человеческим интеллектом так же, как и с человеческим безрассудством, и, кстати, безрассудство далеко от того, чтоб быть синонимом дебилности. В данном случае следует говорить об особенном *состоянии сознания*, а также о причинах возникновения в этом сознании концепций, которые только что были рассмотрены, так как они значительно отличаются от тех, что в обычной жизни приводят либо к надменности, либо к покорности. Такая концепция является всего лишь одним из выражений нижележащих уровней состояния сознания, именно их и необходимо рассмотреть подробнее прежде всего.

Страдающий дебилностью и нормальный человек воспринимают себя среди своего окружения абсолютно по-разному: первый утверждает, что видит только тех, кто хуже него, второй отличается стремлением признавать равенство других. Это не значит, что первый скромнее второго, просто нормальный человек отдает себе отчет в значимости существования других людей и в необходимости признавать это, как минимум внешне, тогда как больного, страдающего дебилностью, пятнадцать или двадцать лет существования ничему не смогли научить.

В таком поведении в первую очередь проявляется полученная в ходе развития способность индивида *изолировать* свою личность от психического состояния и поступательно освобождаться от простейшего эгоцентризма, *предугадывать* особенности личностей других не на основании своей элементарной личности, отягощенной различными психическими состояниями, но через *свою особенность, автономность и собственное значение*. Безусловно, не стоит путать эту способность с верным или ошибочным *суждением*, которое формируется у нас о нас самих или о других; эта способность значительно более примитивна и представляет собой необходимую основу. У больного, страдающего дебилностью, не существует суждения в прямом

значении слова, его личность развита не настолько, чтобы возник предмет оценки или суждения.

Восемнадцатилетний имбецил, пожелавший увидеть родные края, Люксембург, уехал из Гела ранним утром и рассчитывал вернуться обратно к ужину. Вечером его остановили на границе с Голландией. Он отправился по первой попавшейся ему дороге.

Безусловно, подобные случаи можно объяснить, утверждая, что в таких ситуациях речь идет о недостаточности суждения, однако данное объяснение неполноценно.

В действительности этот имбецил был жертвой заблуждений. Он не определил заранее, ведет ли дорога в Арлон. Он даже не задумался о том, чтобы *выбрать* какую-то дорогу. Мысль, что дорога, по которой он идет в надежде осуществить свою мечту, могла быть не той, что ему нужна, даже не промелькнула в его мозгу. Он полностью слился со своим желанием, подчинил ему все. Чтобы объяснить, что, вероятно, происходило с ним в тот момент, мы могли бы предположить следующее: эта дорога, думал он, должна привести меня в мою страну, с того момента как я воспользуюсь ею, мое желание начнет осуществляться. По сути, его «выбор не был неправильным», он просто вообще «ничего не выбирал».

Таким образом можно объяснить его поступки, кажущиеся нам абсурдными. Они не являются результатом неверного или неидеального решения, как нам хочется считать, это продукт *фатального провала психики с полностью отсутствующим суждением, которое мы рассматриваем как ложное.*

Слабоумные, так же, как и дети, совершенно не отделяют себя от своих желаний, планов, от радостей и печалей. О себе самих у них имеется только нечеткое представление, подчиненное безупречности, к которой привело их развитие, в данном случае развитие их личности, а представление о близких им людях пропорционально тому, какое есть у них о самих себе, пропорционально их собственному уровню сознания.

Теперь мы можем понять, почему для слабоумных все остальные люди имеют такое незначительное значение, хотя сами они уступают им в развитии. Дело в том, что они находятся под воздействием потоков своего психического состояния и не способны абстрагироваться в полной мере, чтобы контролировать это и иметь возможность признавать независимое существование других людей, уметь ставить себя на их место.

Если вкратце, все это далеко не значит, что их личности обладают каким-то сверхразвитием, *параметры, через которые они себя*

оценивают, наоборот, указывают на неоформленность и не-полноту их сознательного «я».

Нередко страдающий дебильностью индивид выбирает себе товарища из числа остальных слабоумных своей группы, но даже в таком случае, восхваляя его ум, утонченность, силу и, довольно часто, недостатки, он все равно убежден в своем превосходстве над ним.

Безусловно, мы могли бы попытаться усмотреть в подобном выборе желание, в большей или меньшей мере направленное на «защиту своего „я“», ведь контакт с такими друзьями не способен привести к интеллектуальному унижению.

Однако у страдающего дебильностью человека полностью отсутствует чувство превосходства, вопрос о «защите своего „я“» даже не возникает. Более правдоподобной кажется другая трактовка. Чем более ярко выражено состояние дебильности у больного, тем менее он способен понять и оценить нормального человека. *Максимальный уровень ума и достоинств в его случае располагается не там, где он на самом деле существует, а там, где его интеллект определяет этот максимум.* Он выбирает себе друга из числа других слабоумных не из желания чувствовать свое превосходство над ним, а потому, что, как показывают проведенные исследования, в его представлении такой человек является олицетворением более правильной деятельности по сравнению с той, которую он наблюдает у прочих людей. Зачастую страдающие дебильностью больные считают, что их сиделки превосходят врачей и судей из колонии.

В ходе исследований был также выявлен еще один критерий иного порядка, более обширный относительно того, каким образом слабоумные расценивают других людей: это *длительность* контакта таких больных с человеком, которого они оценивали выше остальных. Чем дольше длился указанный период, тем более высокой становилась их оценка в отношении этого человека. Безусловно, мы не можем определить, какая доля приходится на данный критерий, учитывая, что он не может рассматриваться отдельно от других факторов, участвующих в наблюдении. Тем не менее, по-прежнему верным остается тот факт, что страдающие дебильностью больные в большей мере ощущают воздействие извне. В данном случае, полагаю, допустимо признать, что, не имея в полной мере возможности отделиться от потоков психических состояний во времени, такой больной использует длительность в качестве оценки значения, при этом он путает часто повторяющееся, или, если вам так больше нравится, привычное, с другими значениями, в которых на самом деле нет подобной зависимости.

Мы еще вернемся к этому вопросу, когда будем рассматривать неспособность к предвидению у страдающих дебильностью больных. Однако здесь, мне кажется, необходимо еще раз указать, что такие больные демонстрируют особенную структуру психической жизни, которая приводит к тому, что они воспринимают мир иначе, чем нормальные люди, причем находят этому логическое объяснение. Мы с вами уже можем предположить, что данная структура обладает каким-то *временным* аспектом, так как она относится к неспособности абстрагироваться от того, что является конкретным в непрерывном потоке наших психических состояний, и не дает возможность выделить из этого потока свою собственную личность, изначально в него погруженную. Все, что написано далее, нацелено как раз на то, чтобы подчеркнуть этот аспект.

Будучи неспособным абстрагироваться от собственных психических состояний, с которыми он себя идентифицирует, больной, страдающий дебильностью, запутывается в своем психическом содержании, но вместе с тем *он запутывается и в длительности*, представленной этим содержанием.

Длительность является средней величиной времени, в ходе которого формируются рассматриваемые желания, радости, горести, планы, дела и за пределами которого, ввиду отсутствия всего этого, больные, страдающие дебильностью, не могли бы представить своего существования. Их способность предвидеть оказывается чрезвычайно уменьшенной.

Целая серия экспериментов была проведена с участием таких больных в возрасте старше 15 лет, которым, кроме того, уже исполнилось минимум восемь лет на момент окончания войны. Их спрашивали, помнят ли они что-то о войне, сколько времени она длилась (сколько лет) и какое количество дней это заняло. Можно было предположить, что, совершенно не умея считать, они попытаются представить в виде цифр свое впечатление о длительности указанного периода, а так как требовалось определить еще и количество дней, соответствующее количеству лет, о которых их спрашивали, они смогут назвать только то количество дней, какое максимально существует в их сознании и какое они способны представить за один раз. Этот максимум показывает пределы «я» во времени, или *временной горизонт* изучаемого больного.

Если говорить о годах, то ответы варьировались от двух до десяти лет, а относительно количества дней, соответствующих этому количеству лет, больные, у которых изначально отсутствует понятие счета, могли назвать не больше двадцати дней.

Аналогичными были ответы и на вопрос о том, сколько времени они провели в колонии, если определять это в годах, месяцах и днях.

Таким образом, страдающие дебильностью больные не понимают значения длительности времени, их временной горизонт едва превышает несколько дней. Проще говоря, мы можем сказать, что разумное «я» больного, страдающего глубокой формой дебильности, представляет максимум двадцать дней; например, если изобразить настоящий момент в виде верхней точки волны, то эта временная волна распространяется на поверхности на десять дней вперед и на десять дней назад.

Получается, что больной, страдающий глубокой формой дебильности, словно заточен в короткий промежуток времени. Кстати, идентичную ситуацию мы можем обнаружить и в психологическом развитии нормального человека. Восьмилетнему ребенку известны все временные характеристики, однако на практике мы обнаруживаем, что ребенок этого возраста совершенно не проявляет никакого интереса к событиям повседневной жизни, которые должны произойти в течение ближайшего месяца, какими бы важными они ни были. И если предоставить его самому себе и он пожелает посадить в землю семена, наблюдать за ними он будет не более восьми дней, а когда спустя это время они не прорастут, тут же перестанет думать о них. Точно так же каникулы, длящиеся восемь дней, изначально покажутся ему чем-то бесконечным, ибо по истечении этой недели *его не ожидает ничего, что могло бы полностью принадлежать ему*. Но если ребенку уже пятнадцать лет, то, чтобы он испытывал ощущение бесконечной длительности каникул, они должны длиться больше месяца. Итак, выясняется, что *временное развитие* «я» занимает достаточно длительный период. Только в возрасте между двадцатью и двадцатью пятью годами год становится для нас целостной единицей, и лишь ближе к сорока годам человек может одновременно представлять сразу несколько временных периодов.

Трехлетний ребенок со средним развитием понимает слово «завтра», но для него это происходит совершенно не так, как для нас с вами, поскольку едва ли он способен выстроить последовательность между двумя идущими друг за другом приемами пищи. «Завтра» для него имеет примерно такое же значение, как час смерти для прекрасно себя чувствующего взрослого человека. Для пятилетнего ребенка «завтра» — это день, следующий за тем, который он проживает сейчас, хотя все еще очень далекий от этого «сейчас». А для взрослого человека «завтра» отнесено на несколько часов, отделяющих его от

данного момента, для него это неминуемо, это почти что настоящее. Во всех трех упомянутых случаях слово «завтра» употребляется в значении, указанном в словаре: день, следующий за тем, в котором мы существуем; однако в обозначенных выше представлениях об этом дне сходство отсутствует. Точно так же, если мы заведем с ребенком разговор о конце света или о смерти, это либо вообще никак его не взволнует, либо он захочет столкнуться с этими явлениями в ближайшее время. Вот еще пример: событие, которое должно произойти через час, полностью поглощает сознание трехлетнего ребенка, тогда как для сорокалетнего человека, печальное или веселое, оно имеет незначительную ценность. Именно поэтому, будучи детьми, мы убежали из родительского дома, стремясь навстречу опасностям, чтобы пережить мгновенное приключение или избежать наказания.

Иначе говоря, в каждый период нашего существования жизнь представляет собой некоторую длительность, или, правильнее будет сказать, *сгущение* длительности: как таковую, эту длительность мы не замечаем, и на самом деле она не может быть оценена напрямую. Однако в любой момент многообразие дел, забот, удовольствий, тягот и радостей присутствует в нашей психике в более или менее сознательной форме (*потенциальная длительность «я»*). Чем меньше эта длительность, тем значительнее любое событие в обозначенное ею время, и чем больше становится эта длительность, тем сильнее все, что можно сравнить с ней, стремится к сокращению.

Учитывая данную точку зрения, можно констатировать, что больной, страдающий дебильностью, ведет себя как ребенок. Его временной горизонт очень ограничен. Он видит перед собой лишь настоящее, а все остальное практически за пределами его восприятия. Именно это и объясняет его поведение в большинстве ситуаций, поведение, которое кажется абсурдным с позиции взрослого человека.

Итак, помимо психического возраста, нам удалось определить еще один критерий степени дебильности индивида, а именно — значение потенциальной длительности «я», находящейся в прямой связи с уровнем развития личности. Это приводит к возможности классифицировать больных, страдающих дебильностью, в зависимости от уровня развития их личности.

Кстати, на самом деле нет идеальной взаимосвязи между задержкой психического возраста и реальной дебильностью в жизни. Безусловно, существуют критерии разного уровня, и, принимая во внимание их многообразие, можно обнаружить какую-то взаимосвязь, но мы не должны судить об одном, учитывая что-то другое, так как

всегда нужно учитывать *два составных элемента*: уровень психического развития и состояние личности. На основании первого мы определяем склонности, а второе указывает нам на то, каким образом они могут использоваться; именно этот, второй, элемент является наиболее значимым с социальной точки зрения. И если среди всего населения в целом психиатры выявляют меньшее количество людей с дебильностью, нежели педагоги или теоретики, это происходит исключительно потому, что, занимаясь оценкой, психологи учитывают особенности личности во всем ее многообразии, как в статическом, так и в *динамическом состоянии*. Между тем первое может существовать только в силу существования второго, а значит, именно психиатры правы в данном случае.

Такова суть концепции де Греффа. Хочу еще раз напомнить, что все вышесказанное — это его мысли, и, чтобы верно передать их, я почти дословно приводил его рассуждения. Никто не должен упустить оригинальность и значимость его исследования. Однако позволю себе добавить некоторые комментарии.

Де Грефф вовсе не ограничивался оценкой уровня дебильности в зависимости от количества лет относительно психического возраста, он пытался с натуры познать особенности *личности* больного через его особую манеру существования, через само его существо. Изучив, каким образом больной, страдающий дебильностью, оценивает сам себя, как он воспринимает других и относится к будущему, де Грефф попытался привести все эти проявления к единому знаменателю, как мы привыкли говорить, или к единому первичному расстройству, первостепенному состоянию формы психической жизни, которую ведет такой больной.

Суть этого первичного расстройства состоит в том, что больному не удается отделить себя от чего-то конкретного. Однако «конкретное» в данном случае имеет более *динамичное* значение, чем многообразие конкретных предметов, и подразумевает движущийся поток, который образует структура наших психических состояний во времени и относительно которого наше «я» ценой огромных усилий достигает успеха в утверждении своей независимости. В первой части данной книги мы, кстати, попытались показать, как это происходит⁸⁶.

Дело в том, что больной, страдающий дебильностью, слишком поглощен этим «конкретным», ассоциируя с ним себя; кроме того, он не способен постигать личности других людей и, так сказать, используя

⁸⁶ См.: Часть I, Глава 2.

то, что имеет, переоценивает свою собственную личность и не признает значимость других. Так что не следует упрекать его в надменности, ведь нормальный человек вкладывает в это слово совершенно иной смысл, поскольку достаточно полно познал личности других людей и ему удалось наделить свою собственную большей значимостью, чем она заслуживает, тогда как у больного, страдающего дебильностью, условия, необходимые для оценки других людей, попросту отсутствуют.

Особая характеристика психической жизни такого больного особенно ярко выражается через его непредусмотрительность, которая не является единичным случаем, так как, по сути, здесь речь идет не о том, что он недостаточно хорошо пользуется своей способностью предвидеть что-то, а о том, что у него этой способности вообще нет. Даже обладая некоторыми интеллектуальными понятиями, относящимися к будущему, он совершенно не может включить их в свою жизнь. Просто не в силах сделать этого, ибо для него *потенциальная длительность «я»* (де Грефф) слишком мала.

И если сейчас задаться вопросом, к какому из основных критериев времени, выделенных нами в первой части данной книги, нужно отнести потенциальную длительность «я», выведенную де Греффом, в первую очередь мы подумаем о категории *настоящего*. Уже не раз мы настаивали на его динамической характеристике, обращали внимание на его изменчивые и эластичные границы, благодаря которым настоящее способно растягиваться на два более или менее объемных отрезка объективного времени, при этом ничего не теряя из свойственных ему характеристик. Более того, мы уже видели, что оно может содержать в себе составные элементы прошлого и будущего, но делает это особым способом, значительно отличающимся от того, каким образом прошлое присутствует в нашей памяти или будущее принимает участие в нашем умственном предвидении будущих событий. В конце концов, мы можем констатировать, что это динамическое настоящее является основой всей нашей жизни и определяет ее масштабность. Примерно такие же характеристики обнаруживаются и в потенциальной длительности «я». Не настаивая на этом, хочу лишь напомнить, что и у самого де Греффа расширение длительности происходит независимо от памяти и от представлений, относящихся к будущему.

При этом следует остерегаться подводных течений. В силу того, что де Грефф, занимаясь сравнением нормального человека и больного, страдающего дебильностью, смог установить некоторую градацию

потенциальной длительности «я», а также, обращаясь к данным детской психологии, поведал нам о постепенном развитии этой длительности, легко может возникнуть мысль, что заданная однажды шкала дней, недель, месяцев и лет четко определена, а значит, способность любого человека к самосовершенствованию заключается в том, чтобы все больше и больше растягиваться в рамках этой шкалы. Таким образом, потенциальная длительность могла бы стать измеряемой количественной величиной. Нам всего лишь нужно было бы измерять точное количество дней или недель, которые уже продлились для каждого отдельного индивида; в данном случае это превратится в простой замер способности включать в свое поведение рациональную мысль о времени. Такая методика неизбежно привела бы нас к статичности, которой грешат все тесты, и к измерению уровня психического возраста.

На мой взгляд — полагаю, что я не предаю точку зрения де Греффа, объединив ее с собственной позицией, — потенциальная длительность «я» обладает исключительно «количественными» характеристиками, будучи лишь одним из общепринятых элементов того, как индивид воспринимает себя относительно времени. А человеческое развитие не выражается в виде арифметической прогрессии количества дней, недель или месяцев, которые включает в себя потенциальная длительность, так как его необходимо рассматривать исключительно в виде постепенно сменяющих друг друга этапов, причем каждый из этапов представляет собой особую форму психической жизни. Мне кажется, на основании данной точки зрения, допустимо спросить себя: что, если идеи, которые были высказаны в главе «Будущее», и три выведенные нами ступени, характеризующие то, каким образом мы проживаем будущее, не смогли бы привести нас к подобным умозаключениям? Как бы то ни было, считаю, что количество дней или лет, выражающее временной горизонт индивида, играет вторичную роль, а значение, которое придают этим дням или годам, скорее всего, зависит от временного горизонта изучаемого индивида. В качестве примера исключительно могущественной личности де Грефф приводит Леопольда II, способного адаптироваться к значительно более длительным отрезкам времени, чем обычный человек, по причине чего он был не понят народными массами. О его роли в истории имеются только смутные сведения. Однако я не думаю, что временной горизонт Леопольда II растягивался на столетия; вероятно, в силу внешних факторов и окружающего становления, каким-то интуитивным образом он сумел развить свою личность

настолько, что его творения пережили творца, или, правильнее будет сказать, что в нем самом в сжатой форме содержался какой-то отрезок становления, который в последующие годы еще сильнее был выставлен напоказ в измеряемом времени.

2. Психология старости.

(По материалам М.П. Курбона)⁸⁷

Прежде чем перейти к моим собственным исследованиям, касающимся старческого слабоумия, в качестве предисловия я бы хотел привести некоторые сведения из работы Курбона о психологии старости. По мнению Курбона, существует *не связанное со слабоумием снижение* психических способностей, характерное для нормальной стареющей психики, которое в обязательном порядке необходимо отличать от старческого слабоумия в чистом виде.

Не связанное со слабоумием снижение психических способностей при старении заключается в общей ограниченности эмоциональности, интеллектуальной деятельности и памяти, а уровень старческих умственных способностей в конце концов сводится к полной отстраненности от людей и предметов, постоянному забыванию прошлого по мере его образования и к беззаботному восприятию будущего. Больной, не обладающий ни воображением, ни памятью, обречен на существование в вечном настоящем и погибает от безучастности ко всему, словно автомат, который по привычке одинаково срабатывает на все разнообразные механизмы реагирования. *Это период безмятежности и жизни в вечном настоящем.*

В качестве примера Курбон приводит подробное описание болезни одной 80-летней женщины благородного происхождения, наблюдавшейся в его отделении. Мы не будем приводить все детали; нам достаточно восстановить общую картину, составленную Курбоном.

«Умственные способности этой старой женщины представляли собой парадоксальную смесь восхитительной потери памяти и сохранившихся разрозненных суждений (что наделяло снижение способностей ее психики чертами слабоумия). Она не знала своего возраста, какой сегодня день, дату своего рождения, как называется место ее пребывания, какой период времени она уже находится здесь. Она не просто забывала имена окружающих ее людей, а время от времени даже

⁸⁷ Courbon P. «Sur la psychologie de la vieillesse». Journal de Psychologie, 1927, pp. 455–463.

не узнавала их. Она не знала, живы ли еще ее сестра и племянница. Не могла найти свои вещи, так как не помнила, где их оставила. Но при этом ее поведение очень хорошо адаптировалось к обстоятельствам, в которых она оказалась. Ее речь представляла собой великолепную шутивную болтовню с большим количеством возражений и частым употреблением слова «кстати». Осознавая свои проблемы с памятью, она никогда не выражалась абсурдно.

В любой ситуации она могла определить лишь характеристики, которые приближали эту ситуацию к аналогичным. Именно таким образом она определяла социальную и физическую категорию людей, но не каждого индивида в отдельности. Она уважительно вела себя с монахинями, была благосклонна к медсестрам, ворчлива со служащими мужского пола, равнодушна к старикам, к детям относилась по-матерински, а к больным — предупредительно. И совершенно не представляла, знакома ли со своим собеседником и кем ему приходится — родней или чужим человеком.

По этой причине она кокетливо приветствует обоих своих врачей, но совершенно не отличает одного от другого, называя их близнецами; если ее навещает один, она никогда не спрашивает его о втором, и когда врач пытается уточнить, узнает ли она его, отвечает: «Вы мой, а другой — он другой». Ложное узнавание случается редко, так как ее эмоциональность очень ограничена, она замыкается в себе, как только ей указывают на это.

Ее беседы с врачом напоминают поединок на шпагах, причем обычно она парирует все уловки, которые использует врач, чтобы заставить ее врасплох, уличив в противоречии или глупости. «Раз и навсегда я сказала вам, что у меня нет памяти. Уж не хитрите ли вы, когда утверждаете, что я что-то забыла? Фи, какая бестактность для мужчины вывести разговор в ту плоскость, где женщине нечего ответить. Безусловно, я не просто старушка. Однако это очень глупо, что врачу приходится поднимать больной настрой, вместо того чтобы огорчить ее, упорно пытаясь доказать ей снижение способностей ее мозга. Время, в течение которого я нахожусь здесь? Абсолютно не представляю, впрочем, это не важно, поскольку мне здесь нравится, а смерть может прийти за мной сюда, как и в любое другое место, когда Богу это будет угодно. Где мы находимся? В милom местечке, название которого не имеет значения, так как монахини любезны, а врач знает, что значит быть идеальным, особенно если он не строит из себя школьного учителя, постоянно что-то спрашивая. Далеко ли отсюда море? Достаточно далеко, но не очень, время

в пути, чтобы доехать до него, покажется коротким, если я буду в такой приятной компании, как вы».

По несколько раз за день она обращается к одной и той же девушке, называя ее «мадемуазель», переживая из-за ее возможной печали, из-за того, что ей пришлось покинуть братьев и сестер. Та, в свою очередь, всякий раз отвечает, что уже замужем, воспитывает прекрасного малыша, и долго рассуждает о детстве и о его образовании. Но эта сцена повторяется при каждой встрече.

Иногда она обращается к играм воображения с наполнением, но делает это скрытно, ограничиваясь острой необходимостью.

Она никогда не входит в часовню с непокрытой головой. В гостиной, в столовой, на кухне, во время визитов и повсюду она ведет себя абсолютно корректно, как и должно быть.

Ее настроение почти не омрачают мелкие происшествия повседневной жизни: упрек сестре за срезанные глицинии, обвинение сиделок в краже вещи, которую сама случайно потеряла, отказ от смены постельного белья и т.д.; кроме того, обычно она *безмятежна* и с улыбкой подчиняется всем правилам, установленным в доме. С ней говорят, от нее уходят, на нее вновь обращают внимание, ее ведут на прогулку, провожают до гостиной, к ней приходят сестра и племянница или обе не появляются месяцами — ничто не может нарушить ни ее спокойствия, ни ее общительность. «Мне не остается ничего, кроме как дожидаться смерти, но я жду терпеливо и с удовольствием», — констатирует больная в беседе с врачом. По сути, она полностью равнодушна ко всему, что есть на этом свете, и не испытывает особого вдохновения от того, что есть на том свете.

Единожды высказав более или менее пикантные соображения по поводу происходящих происшествий, она переводит разговор на свою молодость, когда, работая в магазине брата-книготорговца, могла проявить свой талант, которым ей хочется похвастаться: она обладала уникальной способностью без наводящих вопросов подобрать для каждого клиента книги, отвечающие его вкусу. Однако она не в состоянии вспомнить ни одного названия книг. А если такая беседа продлится еще немного, она будет считать, что по-прежнему работает в магазине и, как только немного отдохнет, вернется туда, чтобы снова обслуживать клиентов.

Получается, *она живет в настоящем*. У нее нет мыслей о будущем, а воспоминания о прошлом, не успев появиться, тут же обретают форму настоящего. Такая выраженная неспособность к антиципации и такое несовершенное обращение в прошлое обуславливают

возникновение ее беззаботности, которая, в принципе, не является равнодушием, на самом деле — это безмятежность. Безмятежность и отсутствие любопытства на эмоциональном уровне, относительная недостаточность суждения на интеллектуальном уровне — характерные элементы такого снижения интеллектуальных способностей, которое, несмотря на интенсивность нарушений памяти, не попадает в разряд слабоумия.

Как таковая, с учетом приспособленности к существующей ситуации и утраты воспоминаний, наша дружелюбная восьмидесятилетняя старушка представляет собой идеальное воплощение исключительного сенсорно-моторного существа Бергсона. Ей удалось сохранить набор «обдуманых заранее механизмов, которые гарантируют возникновение соответствующего ответа, подходящего для различных видов запросов. Она проигрывает свой прошедший жизненный опыт, не имея об этом ни малейшего представления». Кстати, она утратила возможность запоминать и выстраивать в логическую последовательность в соответствии с хронологическим порядком все ее предыдущие психические состояния. *У нее больше нет памяти. Она отвечает, понимает, реагирует по привычке*, а не в силу мгновенно возникающих рассуждений. Она маневрирует в постоянно возобновляющемся настоящем, практически не осознавая прошлого и полностью игнорируя будущее.

Существование такого полнейшего равнодушия к прошлому и будущему, к людям и предметам, с сохранением приспособления к настоящему, по-видимому, является не чем иным, как нормальным результатом умственного развития человека, когда организм, пощаженный болезнью, ощущает на себе физиологическое истощение в силу возраста. Подобное состояние выявляется у большого количества стариков, хотя, может быть, и не в такой явной форме, когда их начинают упрекать в эгоизме. Однако они скорее «настоящисты», так как в их случае на высший уровень выходит способность думать только о настоящем моменте, который изучал Ж. Полан, введя неологизм презентизм. Обещанное Мечниковым безмятежное ожидание смерти «в результате прогрессивного развития гигиены и медицины, когда все будут умирать только от старости», как нельзя лучше соответствует данной ситуации».

Такова концепция Курбона. Правда, я вновь не смог воздержаться от того, чтобы внести некоторые ремарки.

В представленной картине в глаза в первую очередь бросается нарушение функций памяти. Но не составит труда понять, что это не

может в полной мере раскрыть особенности поведения нашей восьмидесятилетней старушки, точно так же, кстати, как и общепринятое выражение «впасть в детство» не может дать четкого представления о происходящем.

В данном случае утрата памяти, как мы уже могли заметить, не приводит к болезненному осознанию своей неполноценности; наша «милая старушка» не жалуется: «О, Господи, я больше не знаю этого, я это забыла», — напротив, она ведет себя безмятежно. Потеря памяти совершенно не объясняет и беззаботность относительно будущего, или, как говорит Курбон, отсутствие воображения. Больше нет никаких забот, связанных с будущим, даже в их самой простой, я чуть было не сказал «животной», форме, вроде мучительного вопроса «что со мной будет?» или в виде страха смерти. О смерти больная говорила, но при этом была абсолютно невозмутима, как если бы не могла представить смерть в отношении себя самой. Таким образом, получается, что расстройства памяти не являются отправным моментом для возникновения прочих проявлений, которые были отмечены у этой больной; наоборот, можно сказать, что они представляют собой всего лишь один из признаков, выражающих ее образ существования. Отказавшись от общепринятых концепций, мы могли бы задаться вопросом: не будет ли более обоснованным утверждать, что она больше не использует свою память, так как уже извлекла из нее все, что могла? По сути, в ее случае память скорее мешала ей, нежели выполняла какие-то другие функции.

Итак, мы охотно соглашаемся с тем, что на первый план Курбон выводит равнодушное отношение к людям и вещам, а также с его утверждением, что эта больная живет исключительно в настоящем. Однако здесь необходимо уточнить некоторые моменты. Мы все способны, более или менее явно, в течение длительного или короткого отрезка времени проявлять свое равнодушие к людям либо к вещам; при этом мы возвышаемся над повседневной жизнью, чтобы затеряться среди абстрактных домыслов, которые уводят нас в сферу абсолютно неизведанного, но такого притягательного, полного, обладающего живой действительностью; мы даем волю своей фантазии и переносимся в воображаемый мир, который очаровывает нас и благодаря своему неисчерпаемому многообразию приводит в трепет. О равнодушии такого рода в отношении нашей больной не может быть и речи, так как и люди, и предметы отдаляются от нее, сама жизнь ускользает, а все живое, кажется, исчезает в тот же миг. В данном случае узнать кого-то — не стандартный акт воспоминания, как

нас обычно учат, а стремление восстановить и понять, не является ли это потенциальным отрезком истории, желание вновь пережить, восстановить в своем представлении вероятную картину жизни, которая происходила в прошлом и продолжается в будущем. Но если жизнь ускользает, такого распознавания не происходит, и вовсе не потому, что исчезли мнемонические следы, просто, чтобы это произошло, необходимы важные предварительные условия, а их уже нет. Похоже, что в такой ситуации может сохраниться и распознаваться только общее. Более того, фиксированная память, которая навязывает нам строгую последовательность жизни в ее непрерывном движении к будущему, больше не проявляет себя там, где это движение достигло своей крайней точки, тогда как воспоминания о давно произошедшем все еще могут возникать. Это никак не связано с тем, что они лучше закрепились по сравнению с недавними воспоминаниями, а происходит по той причине, что, в силу их отдаленности, они будто оторваны от настоящего, помогают ему, так сказать, держаться на плаву, дают возможность отказаться от настоящего, абсолютно не нарушая его. Полагаю, лишь такой ценой можно достичь постоянной безмятежности в жизни.

Мы только что говорили о настоящем. Как говорили о нем, когда размышляли о «потенциальной длительности „я“» де Грейфа, и не раз в предыдущих главах. Уж не слишком ли мы заблуждаемся насчет этого термина? Очевидно, что в данной ситуации настоящее имеет совершенно иное значение. В проживаемом настоящем, в действительном настоящем, всегда присутствует некоторая доля воспоминаний, страданий, радости, желаний, мечтаний, планов, а также в нем есть — это необходимо, чтобы дать логическое объяснение некоторым вещам — прошлое и будущее. Настоящее даже способно, обладая безграничной силой, охватить все прошлое и, в особенности, все будущее еще до того, как поглотит некоторые слабые, отдельно существующие элементы. Именно благодаря такому могуществу, которым обладает настоящее, мы имеем возможность, придерживаясь позиции де Грейфа, охарактеризовать страдающего дебильностью больного относительно нормального человека. Очевидно, что у нашей больной ничего подобного нет. Мы практически готовы заявить: в ее настоящем есть только настоящее; в нем нет движения вперед, в нем нет и самой жизни. Однако из-за этого ее настоящее не становится точечным; оно не сводится к понятию «сейчас», как бывает у маньяка: в таком настоящем есть протяженность, но она определяется не непрерывной организацией событий или психических состояний, а исключительно

внешними *ситуациями*, которые учтены не в виде обрывочных сведений, а во всем их многообразии и к которым больная приспособилась при помощи установленных ранее общих связей или еще доступных ей общих сведений. По этой причине, мне кажется, будет не совсем правильно сравнивать ее с сенсорно-моторным существом Бергсона. Так как старый человек никак не реагирует на физиологическое стимулирование, исходящее извне, он реагирует на ситуации во всей их целостности, непрерывно вычленяет их и использует в качестве основы для своей психической жизни. Как я и предвидел, именно это и отличает его от маниакального больного в фазе возбуждения, который совершенно не осознает существования настоящего и реагирует не на ситуации в целом, а на отдельные слова или отрывочные факты.

3. Несколько наблюдений по поводу психопатологии старческого слабоумия.

Мы знаем, что у стариков могут наблюдаться разнообразные психические расстройства различной природы. Так, например, у больных, страдающих маниакально-депрессивным психозом, даже в очень преклонном возрасте могут случаться приступы меланхолической депрессии или маниакального возбуждения, с клинической точки зрения ничем не отличающиеся от их предыдущих приступов. Не так давно Ашиль Дельмас описал случаи галлюцинаторного хронического психоза, которые проявились в преклонном возрасте, но развивались без признаков снижения умственных способностей. Кроме того, мы знаем, старение может привести к обострению шизоидного поведения, а именно, выражаясь словами Кречмера, к смещению соотношения от психоэстетического к анестезирующему типу. И без слов понятно, что все эти расстройства психики, которые мы наблюдаем у стариков, должны быть клинически отделены от старческого слабоумия в чистом виде, не сопровождающегося ослаблением умственных способностей, что и является основной отличительной чертой. Безусловно, в ходе развития истинного старческого слабоумия мы можем столкнуться с депрессивными состояниями, с манией преследования или предъявления претензий и т.д., которые в данном случае являются вторичными или побочными симптомами, однако нередко эти симптомы обладают особой характеристикой (сумасшествие) и будут присоединяться к ослаблению умственных способностей, что значит — к первоначальному психическому расстройству изучаемого заболевания.

Прежде всего, нам бы хотелось изучить основу старческого слабоумия. Мы займемся этим в соответствии с избранной направленностью, проводя все остальные психопатологические исследования. Мы не ограничимся простой констатацией наличия у больных, страдающих старческим слабоумием, расстройств памяти и суждения, попытаемся подчеркнуть то, что в их случае *остается неповрежденным* заболеванием, а также, что именно обуславливает свойственные им психические проявления, которые, какими бы неполноценными они ни были, не способны в полной мере объяснить все особенности психической жизни таких больных.

Давайте начнем с примера.

Речь пойдет о 74-летней больной. В специальном отделении, куда ее привезли родные, она находится несколько дней; чтобы приехать сюда, ей пришлось оставить квартиру на улице Ренн, в которой она жила многие годы.

Только увидев нас, она сразу начала рассказывать, что совсем недавно сняла новую квартиру, а до этого очень долго жила на улице Ренн. Но она никак не может вспомнить номер дома.

Вопр. — «Когда вы уехали из квартиры?»

Отв. — «Два года назад».

Вопр. — «Куда вы отправились после этого?»

Отв. — «Сюда, где я нахожусь сейчас».

Вопр. — «А здесь вы где?»

Отв. — «Вот этого я не знаю, ах да, знаю, я здесь. (Обводит взглядом комнату.) С того самого момента, как пережила все эти сложности».

Вопр. — «Как давно вы здесь?»

Отв. — «Восемнадцать месяцев или даже два года».

Вопр. — «Так все же вы здесь, это где?»

Отв. — «Там, где я сейчас живу».

Вопр. — «Когда вы планируете вернуться в свою квартиру?»

Отв. — «В ближайшее время. Недавно вместе с племянницей мы ездили посмотреть эту квартиру». (Племянница действительно не так давно приезжала навестить ее, но они вообще никуда не выходили.)

Вопр. — «Так все же вы здесь, это где?»

Отв. — «Это всего лишь комната, ничего больше. Меня сюда поместили временно».

Вопр. — «А кто эта женщина?» (Больная проживает в комнате с другой больной.)

Отв. — «Она временно работает у меня горничной. Мне с ней сложно. Она злая. Но теперь все это ненадолго. Через два дня я уеду к себе. Я сдала

квартиру за шестьдесят франков, но в ближайшее время увеличу цену. (Больная начинает выдумывать.) Как только я вернусь, мы сразу переедем. Сегодня утром приезжал мой сын. (На самом деле сегодня сына она не видела.) Он мне сказал: «Я нашел кое-что интересное недалеко от Северного вокзала». А завтра он вернется за мной».

Вопр. — «Но ведь вы не видели его сегодня утром».

Отв. — «Значит, это было вчера вечером. Мне кажется, здорово оказаться в новом доме. Он сказал мне: «Там-то ты точно будешь счастлива». Я смогу забрать всю свою мебель из мебельного хранилища. Когда он говорил со мной, то выглядел таким довольным».

Вопр. — «А где находится эта квартира?»

Отв. — «Здесь неподалеку, совсем рядом с Северным вокзалом. Это та самая квартира, в которой я жила раньше. И как раз она была свободна. На улице Ренн».

Вопр. — «Позвольте, но ведь улица Ренн неподалеку от вокзала Монпарнас, а не возле Северного вокзала».

Отв. — «Ну, может быть, и возле вокзала Монпарнас. Какой же у меня хороший сын. Он был так рад, что эта квартира оказалась свободна».

Вопр. — «Скажите, а кто я?»

Отв. — «Я не помню вашего имени. Я часто вижу, что вы пишете что-то, вот и все». (Я делаю пометки в присутствии больной, но лишь второй раз.)

Вопр. — «Вы видели, что я писал что-то?»

Отв. — «О да, много раз. Вот прямо сейчас вы пишете, и до этого тоже писали, чуть раньше. Вы и живете здесь поблизости, недалеко от Северного вокзала».

Вопр. — «Так вы знаете меня?»

Отв. — «Я знаю вас уже очень давно. Сын сказал мне: «Там все точно так, как ты и оставляла». Более того, там все та же консьержка. Она тоже будет рада видеть меня. Какое счастье, найти ту же прислугу, которая была у нас до этого на протяжении двенадцати лет».

Вопр. — «Как долго вы здесь находитесь?»

Отв. — «Я здесь уже восемнадцать месяцев, а может, и больше».

В следующий раз наша больная фантазировала на другую тему: «Сегодня утром приехал мой сын, он ушел буквально пять минут назад. Попросил у меня денег и забрал все, что было в шкафу. Кстати, это повторяется уже в течение трех недель, просто невероятно!»

Вопр. — «В течение трех недель?»

Отв. — «Он приходил сегодня утром, и вчера, и позавчера. Просил у меня шестьдесят франков. Я сказала ему: «Ты вечно просишь денег». У него всегда так. Как-то раньше он попросил у меня сто пятьдесят франков.

Уже дважды я давала ему немалую сумму, а он все недоволен. Уходя, он сказал мне: «Я хочу, чтобы в ближайшее время ты дала мне больше денег». Завтра я должна ехать в Париж, я так счастлива. За мной все еще сохраняют квартиру. Я поеду туда, когда уйду отсюда. Я проплакала полдня. Если бы вы только слышали, как он говорил со мной».

Обратите внимание на некоторые ответы этой больной, полученные нами за время ее пребывания у нас.

Вопр. — «Как дела?»

Отв. — «С сегодняшнего утра все хорошо».

Вопр. — «Вы меня знаете?»

Отв. — «О да, и очень давно. Я знаю вас уже около двух лет. Мне кажется, я знаю вас с незапамятных времен. Разве это не вы приезжали, еще туда, на улицу Де Терн?»

Вопр. — «Вы меня уже видели раньше?»

Отв. — «О да».

Вопр. — «Где?»

Отв. — «И здесь, и в других местах. Постойте, я не сумасшедшая, память еще при мне».

Вопр. — «А где вы меня видели?»

Отв. — «На улице, у себя на родине и вон там. Позавчера мы с вами немного прогулялись».

Вопр. — «А кому принадлежит этот дом?»

Отв. — «Вот этого я не знаю. Но не думаю, что он принадлежит моим детям».

Вопр. — «А что здесь находится?»

Отв. — «Здесь... но я же приезжала сюда и раньше, всегда во второй половине дня».

Вопр. — «Как давно?»

Отв. — «В течение двух месяцев. (Показывает на больную, которая живет с ней в комнате.) И вот эта тоже со мной, и уже давно».

Вопр. — «Как вы себя чувствуете?»

Отв. — «Пока что не очень весело».

Вопр. — «Почему?»

Отв. — «Потому что мне здесь не нравится, но в ближайшее время я перееду. Дети мне уже что-то присмотрели, чтобы забрать меня отсюда. И, кстати, я часто езжу к ним на ужин. Но сегодня мне было как-то не по себе. Я думаю, они скоро должны прийти. Я не собираюсь оставаться здесь. Я хочу вернуться в свой прежний дом. В последнее время дети были со мной довольно долго. А затем, может быть, я поеду к ним, так как частенько они приезжают ко мне на ужин. Я не слишком тоскую, потому что

меня навещают. Более того, несколько дней назад я уходила отсюда, посетила мессу. Раньше у меня была здесь молоденькая служанка, но она вышла замуж⁸⁸.

И вчера, и позавчера я ходила встречаться с детьми, а почти сразу после этого приехала Луиза».

Результаты наблюдений достаточно банальны. На самом деле в данной ситуации речь идет о типичном случае обычного старческого слабоумия. Здесь в форме ярко выраженной дезориентации во времени и пространстве очень четко проявляется ограниченность, а также серьезные нарушения памяти; вместе с тем мы выявляем ложное распознавание и многочисленные выдумки — наиболее ярко выраженные симптомы этого случая. Безусловно, сейчас мы не ставим перед собой цель еще раз вспоминать сами симптомы, известные всем, так что наиболее подробно я бы хотел изучить психическое состояние нашей больной. Прежде всего в данном случае нас интересуют те психические механизмы, которые не повредило заболевание, которые отражаются в остаточных признаках ее психической жизни.

Мы можем без особых усилий констатировать, что фундаментальное понятие «я — здесь — сейчас» осталось нетронутым и все еще действует. Именно это понятие при полном отсутствии воспоминаний, а значит, и любых точных знаний, дает ей возможность отвечать на наши вопросы, когда мы спрашиваем ее о месте, в котором она находится: «я здесь, где нахожусь», или: «я здесь», и она обводит взглядом свою комнату, или: «там, где я теперь живу». Этому «здесь — сейчас» противопоставлено «к тому времени — до или после», которое представляет собой понятие, способное подчинить себе все, что не является «здесь — сейчас». Данное утверждение в полной мере соответствует тому, что мы говорили по поводу ослабления интеллектуальных способностей, когда сравнили между собой конечные состояния больных, страдающих параличом и шизофренией.

Вероятно, теперь мы можем углубиться в своих исследованиях. На основании этих рассуждений мы выявили *тенденцию, характеризующуюся постоянным соотношением со временем*. Если бегло просмотреть все ответы нашей больной, мы заметим, что они кишат выражениями временного характера, такими как: *когда-то, с тех*

⁸⁸ Это ее выдумки. Разговор состоялся несколько недель спустя после поступления больной: за все время она ни разу не покидала наше заведение.

пор как, всегда, через два или три дня, в данный момент, пять минут назад, много раз, вчера, позавчера и т.д.

Тенденция, о которой мы говорим, неоднократно проявлялась и по-другому. Достаточно часто, отвечая на вопросы, наша больная использует категории временного характера, даже если в вопросе об этом не спрашивалось; ее ответы порой нас очень сильно удивляли именно по этой причине. Когда мы спросили ее, где она находится, она сказала: *«с того самого момента, как я пережила все эти сложности»*, или вот еще: *«меня поместили сюда временно»*. Больная, живущая с ней в одной комнате, — это ее *«горничная на некоторое время»*. Когда мы спрашивали ее о здоровье, она сказала: *«с сегодняшнего утра все хорошо»*, хотя, по сути, ее «сегодняшний» день ничем не отличается ни от вчерашнего, ни от позавчерашнего.

Даже выдуманные ею истории точно так же являются подтверждением все той же тенденции. Во все времена было принято рассматривать выдуманные истории, возникающие при старческом слабоумии, в качестве механизмов компенсации, на основании этого мы говорили о выдумывании для заполнения отсутствующих сведений. Однако для столь частого заполнения на самом деле необходимо, чтобы за этим стояла достаточно сильная тенденция, которая подталкивала бы больного к такому заполнению, необходимо, чтобы понятие времени, обладающее пустой формой четких мнемонических воображений, контролировало сознание и стремилось все заполнить собой любой ценой. Больные, страдающие старческим слабоумием, выдумывают не только для того, чтобы хоть что-то отвечать на задаваемые вопросы. У них не проявляется синдром Ганзера или любой другой схожий синдром, они не стремятся до бесконечности расширять свой рассказ какими угодно новыми деталями, как делают больные, имеющие склонность к патологическому вранью. Они всегда выдумывают *особым образом*, исключительно *во времени* и так объясняют существование особенного фактора, способного воскрешать в памяти понятие прошлого и времени в общем, независимо от памяти.

По сути, это значит — представить в другом аспекте утверждение, что в мышлении нашей больной нет никакого распространения в пространстве. Она им больше совершенно не пользуется, ну, или использует его лишь относительно. На основании данной точки зрения можно сказать, что выявлена существенная разница с шизофреническим мышлением, когда больной чувствует себя удобно только при наличии того, что является пространственным и абстрактным. В качестве примера хочу напомнить вам о пациенте, описанном ранее.

Больной, у которого отмечалось слияние депрессивных и шизофренических симптомов, утверждал, что ему в живот планируют вложить все существующие отходы. Исходя из этого, он объяснял все, что видел перед собой. Стопка газет «Фигаро», которую он получал каждое утро, тотчас же навела его на мысль о стопках всех экземпляров этой газеты, которые рассылались ежедневно, а затем и о стопках всех газет, выходивших каждый день во Франции. Билет на метро навел его на мысль обо всех билетах, используемых на железной дороге, в метро, в автобусах, в трамваях и т.д., точно так же, как увиденная им мокрота привела к началу рассуждений о всей мокроте, собранной во всех клиниках, где находятся туберкулезные больные, а затем и об отходах всех больниц. Между таким образом мышления и образом мышления, который мы наблюдаем у нашей больной, огромная пропасть, равная той, что отделяет проживаемое время от рационального пространства.

Безусловно, в речах больной проявляются критерии пространственного характера. Очевидно, иначе быть и не могло. Но, если рассмотреть их подробнее, роль этих критериев размыта, она вторична. В них нет абсолютно ничего геометрического, если так можно сказать. Они подчинены времени, в том значении, в котором возникают, доходя до краткой формы противопоставления между *здесь* и *где-то в другом месте*, и представляют собой исключительно элемент, необходимый чтобы выразить какое-то *изменение* или *движение*, способное установить связь между настоящим и прошлым. В данном случае *здесь* и *к тому времени* не могут быть противопоставлены друг другу в точно таком же поперечном разрезе времени, как, скажем, когда мы говорим: у нас идет дождь, а где-то в другом месте погода хорошая. Наоборот, здесь они используются исключительно для того, чтобы ввести нечто, наиболее вероятно существующее, из динамизма в жизни самой пациентки. Именно по этой причине, несмотря на ее собственные слова, что она находится тут уже более двух лет, больная утверждает, что видела меня здесь и где-то еще, в другом месте, здесь и там, на улице Де Терн; аналогично, кстати, чтобы оживить «здесь», она выдумывает, что раньше приезжала сюда каждый день после обеда.

На основании сказанного мы можем более детально рассмотреть все, что имеет черты времени и определяет как истинную структуру выдуманных историй нашей больной, так и остальные свойственные ей проявления.

Когда я сравнивал шизофреников и больных, страдающих от общего паралича, я обращал внимание на частоту использования у них

следующих выражений: *только что, тотчас же, в последнюю очередь, давеча*, я также подчеркивал, что в их психической жизни ведущее место занимает понятие *ближайшей последовательности*. Вместе с тем, вслед за Тизоном, мы говорили, что их психику захватывает простейший динамизм, который прежде всего обращен к *будущему* и в начальных стадиях такого расстройства объясняется возникновением мании величия и фантастических планов. При тяжелой стадии болезни мы также сталкиваемся с подобным динамизмом: «Я в ожидании событий и строю планы», — такие ответы дают нам порой эти больные, когда мы спрашиваем их, чем они занимаются.

Несмотря на схожее преобладание факторов, имеющих черты времени, в психической жизни больных, страдающих старческим слабоумием, все иначе.

Здесь мы видим, что над всем господствует *прошлое*. То, как часто они прибегают к выдумке, уже является тому доказательством. Безусловно, из разговоров нашей больной будущее не исключено полностью, однако, если рассмотреть его подробнее, оно всецело подчинено прошлому. Больная установила связь между прошлым и будущим, на которое просто проецирует свои выдумки (сын только что приходил и еще придет завтра; он взял у нее деньги и, уходя, попросил, чтобы она дала ему еще денег, и т.д.). Она также рассчитывает на скорое возвращение в свое отдаленное прошлое (в квартиру, где прожила достаточно долго и где встретится со своей служанкой, своей мебелью, своей консьержкой и т.д.); можно сказать, что таким образом она выражает некоторую обеспокоенность за *стабильность* вещей и явлений.

Что касается структуры самого прошлого, в выдуманных рассказах нашей больной мы легко можем различить элементы двух различных порядков. Там постоянно возникает *ближайшее* прошлое: она *только что сняла* квартиру, *только что ходила* ее смотреть вместе с племянницей, ее сын *только что ушел*, всего пять минут назад. Но, вместе с тем, в почти неизменной форме мы обнаруживаем идею однородной *непрерывности* в становлении, причем в различных проявлениях. Именно по этой причине больная пытается проецировать настоящее далеко в прошлое; таким образом ей удастся *переоценивать* отдаленность недавних событий и несколько дней спустя после приезда говорить, что в отделении она находится уже около восемнадцати месяцев или два года⁸⁹.

⁸⁹ Подобное переоценивание длилось недолго; по прошествии нескольких месяцев больная, наоборот, стала серьезно недооценивать длительность своего пребывания у нас; она начала говорить, что находится здесь около двух недель,

Думаю, понятно, что точно такие же мысли обуславливают возникновение *ложных узнаваний*. Ложное узнавание и выдумывание принято считать банальными факторами, указывающими на развитие старческого слабоумия. Но само по себе расстройство памяти не является постулатом, указывающим на наличие того или другого. Когда больной старческим слабоумием заявляет, что знаком с вами уже давно, что видел вас и здесь, и где-то еще, он всего лишь пытается внести стабильность и однородность в окружающее его становление. Однако, полностью лишившись способности контролировать память, он растягивает настоящее до безграничных размеров, удаляя из него — это утверждение подводит нас к тому, что мы говорили чуть выше по поводу работы Курбона, — все, что может быть в нем новым, всю *актуальность*, все то, что для него является «сейчас». Безусловно, мы не хотим поместить в одну плоскость выдумывание, свойственное больным, страдающим старческим слабоумием, и синтонию, но их противопоставление поможет нам подчеркнуть природу возникновения выдумывания. Если больной с деменцией заявляет вам, что знаком с вами, сопровождая свои слова (это, кстати, происходит практически всегда) дружелюбной мимикой, то сенильный больной просто устанавливает с вами эмоциональный контакт. Проникая в область поврежденной памяти, такой контакт становится безличным и утрачивает актуальность, делая ее исключительно *частью разворачивающегося времени*. В данном случае развертывание выходит за пределы своих естественных рамок, теряя на основании этого естественную окраску, которая всегда определяется существованием мгновенного настоящего в отношениях между прошлым и проживаемым будущим.

В остальном, в качестве варианта той же идеи о непрерывности, мы можем отметить *повторение похожих событий*, очень активно проявляющееся у нашей больной. Когда я писал что-то, она сказала мне, будто видела, как я делал это *уже много раз*; она также утверждала, что раньше приезжала сюда *каждый день после обеда, несколько дней назад* посещала мессу, *часто* навещала своих детей; рассказывая о сыне, который этим утром приходил просить денег, она добавила, что такое происходит уже в течение *трех недель*, а когда

а порой утверждала, что всего несколько дней. Свою собственную личность она относила еще дальше в прошлое. Только поступив к нам, она была совершенно неспособна назвать свой точный возраст, при этом заявляла, что значительно старше нас всех, тогда как теперь говорит, что ей 26 лет. Более того, в выдуманных ею историях появился ее отец, который умер уже достаточно давно.

мы акцентировали на этом внимание, заявила, что он приходил сегодня утром, а также *вчера и позавчера*, что уже *дважды* она выдала ему значительные суммы, но с ним *всегда так*.

Здесь самым интересным для нас является то, что психологическая жизнь, сформированная на основании ограниченности памяти, контролируется не точечным «сейчас», как могло показаться, а, наоборот, как минимум в некоторых случаях, принципом развертывания в пространстве, функционирующим, так сказать, впустую.

Уже раньше я обращал внимание, что различные понятия, обладающие чертами времени, располагаются где-то между основным понятием проживаемой длительности, установленным Бергсоном, и временем, приравненным к параметрам пространства в физике. А у нашей больной все понятия, относящиеся к обеим изучаемым областям, все еще активны, следовательно, мы можем вкратце охарактеризовать проявления ее психики относительно времени, обращая внимание на преобладание прошлого, сопровождаемое одновременным проникновением понятия ближайшей последовательности, с одной стороны, и понятий длительности и повторяемости — с другой. Наряду с *динамизмом*, имеет место тенденция, отмеченная некоторой *стабильностью и непрерывностью* в становлении.

Исходя из этого, можно сказать, что, вероятно, существует серьезная разница между больными с деменцией и больными, страдающими общим параличом; проявления психики у последних, преобладание будущего, стоящего как-то отдельно, кажется, подвержено особому влиянию, которое оказывает понятие ближайшей последовательности. Именно таким образом нам удалось сделать заключение, что за одним и тем же аспектом ограниченности, которым в данном случае являются серьезные нарушения памяти, могут скрываться факторы различной природы и даже различного порядка.

В заключение этого анализа хочу сделать еще одно дополнение. В своем исследовании психологии старости Курбон по поводу описанного им заболевания, кроме всего прочего, говорил, что его больная «живет в настоящем». Вот и наша больная довольно часто стремится показать, что находится *в настоящем*, контролирует существующую ситуацию. Так, увидев, как мы входим в комнату во время обеда, она начинает извиняться перед нами, огорчается, что ее не предупредили заранее о нашем визите, и просит, чтобы ей позволили пригласить нас к столу и подали нам дополнительные порции. Кстати, порой такая активность в прошлом доходит до уровня серьезных осложнений, что не может не удивить, если мы задумываемся об

интенсивности нарушений памяти. Приведу пример. Как мы уже говорили ранее, больная проживает в одной комнате с другой старушкой. Однажды, в то время, когда я расспрашивал свою пациентку, эта вторая старушка безостановочно разговаривала и сильно мешала нам. Наша больная попыталась заставить ее замолчать. «Если вы не заткнетесь, — обратилась она к ней, — этот господин накажет вас». Затем она подошла ко мне, сделала условный знак и добавила тихим голосом: «Я нарочно сказала ей это, чтобы запугать ее». Такое поведение содержит в себе настоящее в полной мере и, по сути, не имеет отношения ни к какому точному воспоминанию, но предполагает высокоразвитую способность построения и комбинирования в настоящем.

Безусловно, я не хочу утверждать, что механизмы, о которых мы говорили выше, в обязательном порядке обнаруживаются у всех больных, страдающих старческим слабоумием. Однако я все же полагаю, что обозначенные нами особенности представляют собой основную характеристику психической жизни таких больных. Это умозаключение сделано не только на основании достаточно долгих наблюдений за нашей больной (здесь я привел лишь незначительную их часть), оно основывается также на многочисленных наблюдениях за другими больными подобного типа.

В качестве примера я хочу привести высказывания еще двух больных, но не буду комментировать ничего, кроме выражений, обладающих чертами времени.

Г-жа С., в возрасте 78 лет; в отделении она находится в течение трех дней.

Вопр. — «Как давно вы здесь?»

Отв. — «Уже пятнадцать *дней* или три *недели*».

Больная плачет и причитает. «*Мать* приходила ко мне *все эти дни*, но *сегодня* не пришла. Она приходила *каждый день*. Кажется, она не приходила *вчера*. Один раз — это случайно, я могу это понять. Но *она всегда* приходила позаботиться обо мне. *Вчера* я в первый раз не виделась с ней. Мои сыновья не пришли сюда ночевать. *До этого момента* они *всегда* приходили сюда ночевать, *с тех самых пор*, как я нахожусь здесь. А *вчера* я пошла к ним комнату, но их там не было. Я прекрасно понимаю, в каком я состоянии; моя бедная голова исчезает. Меня *никогда* не отправляли на лечение, я *всегда* была вместе с родителями. А *затем* я вышла замуж, все это принесло мне очень много огорчений. *Всякий раз*, сомневаясь, стоит ли что-то делать, я обращалась за советом к матери».

Вопр. — «А ваша бабушка?»

Отв. — «Я не знаю, умерла ли уже моя бабушка, у нас семья долгожителей. У меня есть два брата, они окончили военную школу Сент-Сир. Они *все еще* живы... Но *теперь* я не знаю, где они. Поскольку мать не пришла сегодня утром, нет никаких оснований считать, что она придет *сегодня после обеда*. *Сейчас* я не вижу своих детей так же часто, как *раньше*. Двое из моих детей прошли обучение в Сент-Сир. (Вероятно, путает детей и братьев.) *Раньше*, когда я была в кругу своей семьи, мне было интересно все, тогда как *сейчас* меня ничего не интересует. *Сейчас* я настолько похудела, что с пальца *спадает* обручальное кольцо. Бабушка сказала мне, что нужно его снять».

Вот еще несколько фрагментов из разговоров с этой больной:

Вопр. — «Как давно вы здесь?»

Отв. — «В течение трех месяцев. (На самом деле три дня.) Знаю, что я не в своем уме, но стараюсь контролировать себя, чтобы не сказать какую-нибудь глупость. Мне нужно видеть родных *время от времени*. У меня больше нет памяти; когда я думаю о родных, мне кажется, прошло *сто лет*, с тех пор как я их видела».

Вопр. — «Когда умерла ваша бабушка?»

Отв. — «Не так давно».

Вопр. — «Не так давно?»

Отв. — «Да, *примерно* в то время, как я оказалась здесь. Я уже ни в чем не уверена. *Раньше* меня охватывало уныние, но *сейчас* этого не случается. Если бы уныние охватывало меня *два или три раза* в месяц, я могла бы сказать себе, что уже испытала это *раньше* и *вскоре* опять испытаю».

Вопр. — «Вы меня давно знаете?»

Отв. — «О да, я знаю вас *уже давно*; *уже очень давно*, я вас *тогда же* узнала».

Вот еще несколько типичных выражений этой больной:

«Когда я приехала сюда, моя мать еще не должна была умереть. Если бы только я могла *регулярно один раз в месяц* видеть внучат! *Раньше* я *часто* виделась с внуками, а *теперь практически все время* остаюсь одна. Сам Господь Бог устроил нашу встречу *сегодня утром*. Вы знаете, кто привез меня сюда, но я не помню; это тот же человек, который *мог бы* меня увезти. *До этого* сюда приехала моя кузина; я думаю, вы знакомы с ней. *До приезда* сюда я была *там*, а моя кузина *там*».

Вопр. — «Когда вы меня видели?»

Отв. — «Разве я вас видела не в Париже? Но я уже знала вас *до* этого. Должно быть, я видела вас *здесь раньше*. Мне кажется, когда у меня случилась лихорадка в Париже, вы видели меня и мою мать. Я болела, и она была со мной».

Вчера меня приходили навещать внуки. (На самом деле ее навещала только одна из внучек.) Я думаю, она *скоро* уедет. Я видела ее *вчера*, но смогу ли я еще раз увидеть ее *до того, как* она уедет? Не живет ли она *здесь*, та, которую вы видели *вчера*... (я ее не видел) уже и не помню ее имени. Я видела их вчера после обеда, но откуда они приехали, куда собирались?»

А вот еще одна больная, страдающая старческим слабоумием: ей 77 лет, она достигла стадии полного упадка всех видов активности, ее жизнь сведена к вегетативному состоянию, она уже не узнает своих детей, в основном произносит только короткие фразы, в большей или меньшей степени понятные и целостные. Некоторые из них я пометил:

«Он *только что* вернул владельца дома, а потом, *после этого*, женщин. — На *данный момент* это всё? — *Осталось* немного, один раз, один раз с половиной. — *Здесь* у меня есть маленькая рыбка лобан, я *собираюсь* ее отпустить *тотчас же*. В *сию секунду* я собираюсь ее отпустить, я хочу дать ей уйти».

Вопр. — «Сколько вам лет?»

Отв. — «Я родилась в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году. (На самом деле в 1850-м.) Мне бы очень хотелось, чтобы это было *подольше*».

Вопр. — «Чья это кошка?» (Больная играет с кошкой.)

Отв. — «Я не считаю, что видела ее *до этого*».

Сегодня утром я не видела никого. — Я *раньше* говорила, что хочу положить его. (Гребень, который она держит в руке.) — Это вы, господин Бийяр? — Я *здесь* не знаю никого, кроме меня; к моей кухне *вон туда*. — Мы кушаем *здесь утром*, а *потом* уходим».

Вопр. — «Скажите мне что-нибудь».

Отв. — «В *данный момент* я пытаюсь. Это закончено, но это *все еще* не закончено. — Я говорю вам: нет смысла ждать. Поскольку мы должны завтракать, а *потом*...» (Не заканчивает фразу.)

(Я прошу больную присесть.) «А *потом*? Мы были созданы для этого. Мы были здесь вместе с детьми. Они у нас не *часто*».

Вопр. — «А где ваши дети?»

Отв. — «Они здесь, в доме, просто они приходят и уходят».

Вопр. — «А ваш муж?»

Отв. — «Я почти уверена, что встречаюсь с ним *каждый день*».

Вопр. — «А где же он?»

Отв. — «Он здесь, в доме. В *такое* время его все еще нет. Он вот здесь, напротив, он *все еще здесь*».

Сегодня меня должны переодеть. — Мы не собираемся оставаться *надолго*, мы останемся на *четыре или пять дней*, и *потом* — все.

Ах, я собираюсь увидеться с мужем и детьми. — *Вчера* я была в *процессе* работы».

Вопр. — «Нужно ли вернуться навестить вас?»

Отв. — «Не *сегодня*».

Вопр. — «А когда?»

Отв. — «В любой другой день, не важно в какой».

Все эти примеры подтверждают теории, рассмотренные выше, а именно — теории о том, что следы психической деятельности, которые мы наблюдаем у больных, страдающих старческим слабоумием, основываются прежде всего, если не исключительно, на основных жизненных факторах, обладающих чертами времени.

4. Бред отрицания у больного, страдающего общим параличом.

(Бред и память)

Рассматривая бред как одно из нарушений суждения, мы должны будем рассматривать память в качестве одного из необходимых условий. Только если во времени произошла ошибка суждения, тогда она трансформируется в бред. Любой бред устойчив во времени и, значит, не может обойтись без памяти. Точно так же все происходит и в тех случаях, когда мы признаем наличие первоначального бредового опыта, который принято называть бредом интуиции; такой опыт может перерасти в бред лишь в том случае, если память сохраняет его как таковой. Обычно мы наблюдаем, что любой бред каким-то образом организуется во времени. В свои бредовые рассказы больной пытается вводить прошлое, для нас он это делает в виде истории. Психоз иногда все больше и больше растягивается в прошлом, приобретая вид ретроспективной деятельности. И наконец, достаточно часто больной говорит о своем нормальном прошлом, которое предшествовало началу бредового периода. Кроме того, мы совершенно не удивляемся, замечая, как бредовые проявления поступательно истощаются, когда способности памяти становятся все более и более ограниченными, аналогичным образом это происходит, если личность все более и более раздробляется на части. Однако распад происходит по-разному: во втором случае — это общее ослабление жизненного тонуса психической жизни, которое подрывает единство

«бредовой личности», необходимой, как минимум в некоторой степени, для любого бреда; а в первом — одно из средств для поддержания целостности этого единства, памяти, которая будет ослабевать. Таким образом, любой сумасшедший, дошедший до конечной стадии заболевания, кажется, не способен бредить. Этому учит нас ежедневный опыт. А если нам приходится рассуждать о «бреде слабоумия», то исключительно для того, чтобы указать, что на основании некоторых признаков бред позволяет распознать начало развития процесса ослабления умственных способностей, и это не противоречит тому, что сформированная деменция обычно подавляет бред.

Но все будет выглядеть по-другому, если хотя бы в качестве гипотезы мы признаем, что бред — вовсе не расстройство суждения или логики, что он является мыслительным или психоэмоциональным *выражением* особой подструктуры низшего уровня психической жизни, созданной болезнью. В таком случае бред больше не должен в обязательном порядке складываться из отдельных бредовых опытов, связанных друг с другом в сознании пациента; он может представлять собой лишь структурное изменение, для которого разные виды опыта возникают или не возникают, исходя из существующих обстоятельств, в частности, в зависимости от функционирования памяти, которая всегда формируется в сознании больного, что можно назвать «историей» бреда. Иначе говоря, в данном случае память больше не является обязательным условием для возникновения бреда, однако она все же способна расширить или обогатить его, являясь вторичным фактором во времени, точно так же, как она делает это для любой важной мысли в нормальной жизни.

Учитывая все эти условия, я не мог не обратить внимания на один очень интересный случай. Мне удалось наблюдать больного, страдающего общим параличом, который после неудачной попытки вылечить от малярии очень быстро перешел в состояние полнейшего слабоумия с многочисленными расстройствами памяти, доходящими до такой степени, что он был полностью дезориентирован во времени и пространстве, никого не узнавал, не мог запомнить ни одного, даже самого элементарного, события повседневной жизни. С другой стороны, у него проявлялись навязчивые идеи с манией отрицания, которые серьезно контрастировали с обширными нарушениями памяти, обозначенными выше; причем он почти никогда не противоречил себе, хотя, казалось бы, эти расстройства должны исключать любые длительные проявления его психической жизни, как патологического характера, так и нормальные.

Мания отрицания проявлялась не только с наступлением стадии общего паралича. Еще раньше ее проявления отмечались в ходе лечения больного от малярии. Но бредовые идеи рано или поздно исчезли: либо лечение подействовало, либо потому, что больной перешел в состояние деменции. Такие случаи встречаются не так уж и редко, хорошо известно, когда после заражения малярией паралич меняет свою форму и развивается скорее как шизофрения особого параноидального характера; однако в таких случаях кажется, что процесс развития слабоумия сдерживается, хотя и всего лишь на некоторое время.

Наш конкретный случай нельзя отнести ни к одной из этих категорий. Мании отрицания, на основании сведений, которые мне удалось получить, начали проявляться у этого больного во время приступов болотной лихорадки при малярии, но результаты ее лечения были недостаточными настолько, что после нескольких сильных приступов больной впал в состояние полного слабоумия. Именно в этом и заключается контраст между почти полным ослабеванием функций фиксированной памяти и бредовыми проявлениями неподвижности ярко выраженной устойчивости.

Данные проявления выражаются в первую очередь в том, что больной отрицает свою идентичность, а вследствие этого и свою человеческую сущность. Будучи врачом по профессии, он неизменно повторяет, что не является доктором Л.М. (имя и фамилия), что он даже не человек, а механическое устройство или вообще ничто. Мы напрасно пытаемся заставить его врасплох, сбить с толку, едва ли нам удастся заставить его противоречить самому себе. Напротив, кажется, он проявляет «последовательность в своих мыслях» или в умении сочетать что-то, что совершенно не попадает в рамки с фоном общего ослабления интеллектуальных способностей и должно быть ярко выражено, и это весьма наглядно характеризует его манеру вести себя. Например, когда его спросили о дате рождения, он тут же ответил, совершенно не задумываясь, что не мог быть рожден, так как человеком не является, что он — механическое устройство, а значит, его изготовили. Из тех же соображений он утверждает, что не может иметь никаких ощущений, поэтому не испытывает чувства голода, ибо ему не нужно ни пить, ни есть, поскольку у него нет желудка, и т.д.

В течение какого-то периода времени он даже отказывался от питания, а затем, когда, поддавшись напору сиделки, снова начал есть, то объяснил, что согласился, чтобы использовать механическое устройство, то есть себя, для уборки со стола и мытья тарелок.

Осмысление таких настойчивых бредовых проявлений приводит в замешательство. По причине того, что они возникли на основе предыдущего бредового состояния, мы не можем не задаться вопросом: почему же это остаточное явление все еще сохраняется в среде полного опустошения, которое сформировалось на основе достаточно выраженной ограниченности памяти? Точно такой же вопрос был задан и нашему больному, поскольку он возник на основе продуктов работы его воображения. Кстати, порой воображение «приукрашивает» его манию отрицания, и тогда больной говорит, что механическое устройство, которым он является, существует в единственном экземпляре, что, должно быть, оно было изготовлено американцами, а затем заброшено во Францию. Правда, все это он говорит будто между прочим, как о чем-то несущественном; страдая амнезией, впоследствии он никогда не возвращается к этой теме, в противовес идеям, которые повторяет изо дня в день, абсолютно не противореча себе. Безусловно, с учетом данных обстоятельств, наиболее допустимой является гипотеза о том, что эти идеи — всего лишь почти *механическое* выражение нижележащей структуры, способной, в случае нормального функционирования памяти, обогатиться деталями и таким образом вторично сформировать исторический сюжет, который, в силу нарушений памяти, может быть легко выражен, причем с удивительной стабильностью, так сказать, в голом состоянии.

На основании приведенных выше рассуждений, мне бы еще хотелось очень быстро пройти по некоторым вопросам, возникшим у меня в ходе более детального обследования этого больного.

У меня нет возможности привести в этой работе все записи, которые я делал в течение какого-то времени, работая с ним практически изо дня в день. В качестве примера приведу лишь одну из наших бесед:

30 июня 19... (Добрый день, М.Л.)

«Я не М.Л. Я не человек. Я не собственник, не человек, вы это прекрасно видите. Я не являюсь человеком.

(Но кто же вы?)

Я — ничто, какое-то механическое устройство.

(И как давно вы — механическое устройство?)

Я никогда не был человеком. Какой-то Л. был человеком, но, где он, я не знаю. Я понятия не имею, где Л. Мне неизвестно, как поступили с помещьем Тилей (собственность больного), что сделали со всем этим. Я не знаю, уничтожен ли тот человек, уничтожено ли поместье Тилей.

(Как давно?)

Я всегда говорил, что я не человек. Не знаю, почему меня поместили сюда, но я не человек. Если бы я был человеком, то не находился бы здесь. Поместье Тилей принадлежало семье Л., но я-то не человек, я не имею никакого права заниматься поместьем Тилей.

(Где вы были вчера?)

Вероятно, здесь. Когда Л. был человеком, он владел поместьем Тилей, но я не знаю, где Л.

(Как давно вы являетесь механическим устройством?)

С этого момента, вот только что обратил внимание, что я — механическое устройство.

(А вчера?)

Вчера я не смотрел. Я вовсе не М.Л. Л. было лет пятьдесят, тогда как я — механическое устройство, а у механики нет возраста. Говорят, что Л. был женат на Сесиль М. (верно), но у него не было жены. А я — механическое устройство.

(Разве Л. умер?)

Должно быть, он умер в пятьдесят с небольшим. Он продал поместье Тилей, он продал все.

(Когда вы родились?)

Не знаю, как я появился на свет. Я не являюсь человеком, следовательно, я не рождался.

(А кто изготовил это механическое устройство?)

Это ужасно злое чудо. Его просто изобрели. У механических устройств нет возраста.

(Давно ли существует это устройство?)

Всегда так было, но понял я сегодня, я сказал себе: это же механические руки».

В принципе, каждый день происходит почти одно и то же. Но в этой проблемной монотонности ярко прослеживается любопытный разум наблюдателя.

Изначально не стоило отказываться от мысли о наличии искаженной синестезии. Даже наоборот, некоторые детали выступают в поддержку данного предположения. Довольно часто больной смотрит на свои руки и говорит, что их цвет изменился, или начинает их ощупывать, или просит, чтобы их ощупывали, утверждая, что его руки сделаны из меди, что вместо костей у него рычаги, что его суставы двигаются механически.

Однако все эти сенестопатические жалобы не раскрывают нам полную клиническую картину. Да и сама синестезия — понятие, до

конца не уточненное, следовательно, только на ее основании невозможно разобраться в существовании всех разнообразных форм выражения сенестопатических жалоб⁹⁰. Точно так же это понятие не может объяснить и преобладание отрицания в психике индивида, и ту протяженность, которой обладают мании отрицания у нашего больного, так как они выходят далеко за пределы синестезии в чистом виде, а значит, ставят перед нами другие вопросы. Итак, могут ли характеристики этой протяженности изначально привлечь наше внимание настолько, чтобы нам удалось, чисто гипотетически, привести весь комплекс расстройств к какой-то одной органической причине?

Больной пригласил меня, а также и свою медсестру, чтобы ощупать наши руки, после чего заявил, что мы, как и он, являемся механическими устройствами.

«Все мы, втроем, — сказал он, — относимся к одной и той же категории. Вскоре вам об этом скажет механик: вот три механических человека».

Как-то раз, сидя в саду, он указал на трех больных пожилых женщин, сидевших напротив него:

«Я думаю, это старушки, но они ими не являются. Это собрание ложных старушек.

(Кто же они в таком случае?)

Это не старушки, они такие же статистики, как и я.

(А вы кто?)

Я ничто. Это не человек, это ничто. Это не человек. Оно может даже подписи имитировать (делает жест рукой), но это не доктор Л. А это статистики, которые очень похожи на мать и сестру Л. Они положили себе в уши вату (верно, у одной из больных в ухе ватный шарик), но это не женщины. У них ненастоящие кольца».

Вот еще несколько примеров того, каким образом наш больной выражает свои мании отрицания:

«Нет, это не Л.М. У меня больше нет собственного мнения, нет ни французского языка, ни английского, у меня больше нет родины, идеально. У меня больше нет родного дома. А здесь мы случайно, временно. На данный момент у меня нет ни цвета, ни мнения, ни дома. Нет, нет ничего: ни политики, ни чего бы то ни было еще. Я и не доктор, и не медик. У меня нет возраста, это феномен. У меня нет даты рождения. Я не

⁹⁰ См.: Глава 5, § 3.

испытываю потребности ни пить, ни есть, так как я не человек, у меня нет желудка. У меня больше нет ни копейки. Это не человек, это ничто. Я не являюсь ни Л.М., ни медиком, ни владельцем поместья Тилей. Я и не человек, и не механическое устройство, я в небытии. В каком уголке земли, в каком уголке пространства? Я ничего не знаю.

У доктора Л. были кольца, у меня их нет. Раньше во Франции было золото, а теперь его нет.

В жизни случаются абсолютно ненормальные вещи. Господину Л. помешали заниматься такими вещами. Во Франции, как и здесь, тоже случаются ненормальные вещи. Поместье Тилей было переделано, и здесь все переделано. Не только доктор Л., но и вся Франция переделана. Поместье Тилей было переделано даже без того, чтобы Л., настоящий его владелец, мог узнать об этом, чтобы люди могли узнать об этом. Дело сделано. И поместье Тилей, и земли переделаны, да так, чтобы люди этого не поняли.

Я — механический человек. Рассчитывали, что удастся избавиться от всей семьи Л., избавиться от Франции, ну что ж, смотрите, из этого ничего не вышло. Л. не подчинился, и другие тоже не будут подчиняться.

Железные дороги и прочее — всему этому уже пришел конец. Больше нет людей. Есть только магнетоны, но на сегодняшний день все уже почти разрушено. Л.М. мертв. Все это не существует. Все это — магнетоны, железную дорогу, Эйфелеву башню во Франции — установили, а вот людей уничтожили. (Показываю ему дом напротив.) Нет, все это уже ничего не значит, больше ничего не осталось, что можно было бы разместить там. Существуют вагоны, но больше нет людей, которых можно было бы поместить в них. Существует электричество, но больше нет потребности освещать что-то. Больше нет ничего».

Полагаю, не нужно слишком долго предаваться рассуждениям, чтобы на данном этапе констатировать: мании отрицания нашего больного распространяются в соответствии с тем, что ранее мы решили называть *принципом вкладывания одного в другое*. Мы видели, что в мышлении больного этот принцип проявлял себя практически ежесекундно. Вместе с тем, его мышление смогло сохранить социальный характер, в частности, в форме отождествления больным себя со всеми остальными людьми, и в большей мере отражает прагматический тип, обращаясь либо к действиям (подпись), либо к идее о полезности вещей. Эти особенности в полной мере соответствуют тому, что мы с вами уже знаем о психопатологии больных, страдающих общим параличом; в данном случае они контролируют мании отрицания, точно так же, как в других случаях контролируют прочие проявления

при общем параличе. Таким образом, они еще раз подчеркивают все возможные различия, существующие между ходом мыслей у таких больных и ходом мыслей, который характерен для шизофреников, им свойственны лишь смежность и противопоставления, поэтому им удастся придать абстрактную и мертвую форму даже самым человеческим вещам в нашей жизни. С вашего позволения, мне бы еще хотелось процитировать слова одного шизофреника: «Нужно испытывать жалость к каждому, а также к Африке и Австралии». Мы даже не можем представить себе более явный контраст с тем, как мыслит наш больной, пытаясь сохранить в чистом виде свои мании отрицания, несмотря на полнейшее крушение его интеллектуальных способностей, и обладая при этом живыми социальными характеристиками.

Однако давайте продолжим анализ. В первую очередь наше внимание должен привлечь проблемный вопрос: осталось ли что-то от феномена времени в сознании нашего больного, практически полностью лишенного памяти, и если да, то что именно?

В связи с этим хочу напомнить вам его ответы во время консультации:

«(Давно ли существует это устройство?) Всегда так было, но понял я сегодня».

Вот еще несколько примеров аналогичных ответов:

«(Как давно это является механическим устройством?) Я только что заметил. (А вчера?) Возможно, вчера я этого не замечал. Нет, вчера я этого не говорил.

Я только что заметил, что я — не человек, а механическое устройство.

(А кем вы будете завтра?) Завтра будет все то же самое. (А вчера?) Вчера было то же самое, и завтра будет то же самое.

(Как давно вы являетесь механическим устройством?) Всегда так было. (Как давно вы узнали об этом?) Прямо сейчас.

(Как давно вам известно, что вы — механическое устройство?) С этого момента».

Периодически больной высказывает предположение, что Л.М. уже мертв, а на вопрос: «Давно ли Л.М. умер?» — он, не колеблясь, не изменяя ответа, говорит: «Ах, нет!»

Получается, относительно того, что существует, одновременно и постоянно проявляют себя две категории: все то, что было всегда или является таковым уже давно, и то, что только-только произошло. Эта,

последняя, категория применима прежде всего к констатации вещей, к их фиксации в сознании больного. И, кстати, отсутствует еще одна категория — то, что было начато или зафиксировано в какой-то конкретный момент ближайшего прошлого; прошлое из воспоминаний не возникает вовсе по причине ограниченного функционирования памяти.

Больной не помнит даже того, как накануне рассказывал нам, что он не человек, а простое механическое устройство или вообще ничто. В его собственном восприятии, он это только что заметил. Итак, если в данном случае мы говорим о бреде по причине наличия стойких ошибочных идей, которые проявляются у нашего больного, нам следует добавить, что эти идеи образуют бред лишь «снаружи», то есть только для нас; а «изнутри», наоборот, не может быть и речи о бреде в общепринятом значении слова, так как у больного мании отрицания проявляются каждый раз заново, он не соотносит их ни с каким аналогичным опытом из прошлого. Таким образом, эти идеи являются не расстройствами суждения, которые непрерывно продолжают во времени, а чуть ли не механическим выражением нижежающей патологической структуры.

Однако прошлое не исчезло полностью; наш больной использует его по крохам и соотносит с Л.М. Как только всплывает воспоминание, затем, в течение какого-то времени, оно между прочим будет проявляться в его речах, будет сохраняться, будет настойчиво возникать.

Именно по этой причине однажды, когда больного спросили о жизни Л.М., он вдруг сообщил нам год и место его рождения, населенный пункт, где тот учился в лицее и где изучал медицину, название его дипломной работы, военную часть, в которой Л.М. проходил службу в армии, да вдобавок весьма подробно рассказал о его семье. С того момента такие сведения время от времени проскакивали в беседах с ним. Между прочим, они вовсе не были лишены навязчивых идей; поэтому всякий раз, когда предоставлялся случай, он отказывался признавать факт бракосочетания Л.М. и Луизы С. (имя его жены), обвиняя порой семью С. в различных, направленных против него поступках. У нас еще будет возможность поговорить об этом.

А сейчас мне бы хотелось привести пример того, каким образом воспоминания воскрешаются в его памяти:

«Я не знаю, зовут ли меня Л.М. Можно что угодно совершить от имени Л., а потом сказать, что это был я. Номер шестнадцать. (Почему номер шестнадцать?) Так было обозначено его место в строю в коллеже. Он должен это прекрасно знать, доктор Л., или как его там; место Л.М. в строю

было обозначено под номером шестнадцать. Он должен это прекрасно знать. Когда он жил на полном пансионе у варнавитов, ему было обозначено место в строю под номером шестнадцать, чтобы его могли узнать в Ажене. (А после коллежа?) После коллежа он поселился в Париже, на улице Мадам... не помню, какой там был номер. А потом он уехал в больницу Питтье-Сальпетриер. У него был так называемый дядюшка, владелец столярной мастерской недалеко от Северного вокзала. Вместе они ходили на охоту. (А после этого?) После этого ему пришлось вернуться в Б. (Место, где он практиковал.)»

Как-то в другой раз, сказав нам, что во Франции есть музыка, электрические провода, металлическая колючая проволока, орудия, наука, не так уж и плохо развитая, он добавил, что от всего этого уже почти ничего не осталось, а потом продолжил:

«Была медь, было все. Но сейчас больше ничего нет, остались только воспоминания. А было всего понемногу. Было немного ртути в термометрах, немного дигиталина, были орудия, в тот самый момент, в тот самый момент все было. (Когда же это?) Все это было при жизни Л.М., все это было. (Когда?) Начиная с тысяча восемьсот семидесятого года. Он пользовался всем этим, он ходил на охоту, бывал в Альпах, он всем этим пользовался, книгами, романами. А сейчас больше ничего нет. Раньше были куропатки и кролики. Была нормальная жизнь. Раньше были золотые монеты, были купюры. (До какого момента?) Это было лет пятьдесят назад; тысяча восемьсот семьдесят пять плюс пятьдесят (Считает.) — в тысяча девятьсот двадцать пятом. Он, должно быть, уже под землей. Все уже завершилось, конец света уже наступил.»

Таким образом, для нашего больного доктор Л.М. не является каким-то абстрактным персонажем, от которого в памяти не осталось ничего, кроме имени и фамилии. Нет, обрывки воспоминаний, относящиеся к его собственной жизни, все еще имеют место и время от времени внезапно возникают в сознании больного, что может произойти как спонтанно, так и после наводящих вопросов. Однако эти воспоминания проявляются редко, думаю, потому, что в них больше нет никакого смысла, поскольку прошлое полностью оторвано от настоящего. Получается, в данном случае категория «то, что было, все еще существует», или «то, что было, дало возможность появиться тому, что есть сейчас», отсутствует полностью. Возвращаясь к своему прошлому, больной не имеет ни единой возможности дойти до настоящего. Это подобно бездне, разверзшейся у него на пути; он

больше не способен перейти ее и наталкивается на небытие. Вероятно, именно это и является одной из первопричин возникновения его маний отрицания. Прошлое и настоящее разворачиваются рядом друг с другом, не имея никакой собственной позиции, так же как утверждение и отрицание. В силу этого, используя остатки своего разума, он начинает перечислять все то, что было в прошлом, чтобы, переходя к настоящему, сказать, что от прошлого ничего не осталось, что больше ничего нет. Он также часто говорит об «окончании всего», об «остановке всего» или о «конце света, который происходит прямо сейчас». Кроме того, он совершенно не признает, что Л.М. мог бы *в какой-то момент* трансформироваться в механическое устройство, но делает это между прочим, не устанавливая ни малейшей связи с существующим положением вещей; напротив, он нередко утверждает, что М.Л., должно быть, умер и уже погребен, и, как мы с вами могли заметить, соотносит это с недавним прошлым, в соответствии с постулатом: «то, что есть, только что произошло»; касательно настоящего момента он, не переставая, твердит, что ничего нет, а сам он для всего и относительно всего пребывает в небытии.

Мне кажется, на основании данной точки зрения, его нижеследующие слова весьма характерны:

«Я немного почитал. У меня была небольшая книжечка по истории. Почитав немного, я позабавился. (Была ли клиентская база у Л.?) Клиентов нет. Я отчасти интересовался тем, какой раньше была роль врачей. У меня есть несколько томов древней истории, я чуть-чуть почитал о роли врача. Это история Франции. Однако, представьте себе, все они были тогда анархистами, что очень важно. История становится все более серьезной».

По мере того как прошлое уточняется настолько, что приобретает конкретную форму истории Франции (книга по истории Франции, вероятно, была в библиотеке нашего больного), попытка перейти от прошлого к настоящему тут же воспринимается его сознанием как катастрофа, в данном случае выраженная анархистами, что позволяет ему соединить конец света и небытие.

Подобный отрыв прошлого относительно настоящего имеет последствия: оказывается, что отношения между прошлым и настоящим приобретают крайнюю форму — утверждение, отрицание; и мы можем также констатировать, что у нашего больного прослеживается тенденция при утвердительных ответах использовать формы прошедших времен:

(Где вы сейчас?) «Я *полагал*, что я во Франции.

(А кто я?) Мне кажется, *вы давали* хорошие советы.

(Поместье Тилей принадлежит Л.М.?) Оно *было* у Л.М.»

Когда его расспрашивали о лечении дифтерии, он ответил: «*Использовали* сыворотку, но сейчас уже не используют».

Итак, отношения между прошлым и настоящим мы уже определили, но есть еще одна деталь, которая привлекла мое внимание. В речах больного я не раз отмечал присутствие подобных фраз:

«Я *спокойно* жду событий.

Я не делаю ничего, я жду конца света.

По чуть-чуть происходит конец света.

Раньше были медицинские факультеты, были и фармацевты. А сейчас там нет никого. Это происходило *по чуть-чуть*.

Раньше были магнетоны, но все это уже *практически* разрушено.

Во Франции была музыка, во Франции было электричество, во Франции была металлическая проволока, во Франции была наука, во Франции была медь, во Франции было золото. Все это было не таким уж и плохим. Мы беседуем о том, какую роль играла Франция, какую роль играли римляне. (А сейчас?) Все это было, осталось только совсем чуть-чуть золота, *немного* меди и т.д. Пока еще есть доказательства того, что человечество обладало наукой, электричеством и... (А сейчас?) Сейчас не осталось совсем ничего, хотя все было».

Возможно, именно в этом и проявляется засилье структур прошлого, в частности то, что мы с вами решили называть «правилом забывания» (Глава 6). По мере того как с течением времени воспоминания *поступательно* подвергаются разрушению и медленно уходят в небытие, разрушение в существующем настоящем приобретает форму, которая порой выглядит не как жестокая, ужасающая катастрофа (что мы наблюдали у нашего больного), а как медленное спокойное исчезновение, постоянно оставляющее позади себя едва заметные пыльные следы. Можно ли сказать, что это простое совпадение, или, наоборот, следует выявить более тесные связи между двумя такими разными проявлениями деменции, я не знаю. Конечно, последнее представляется мне более привлекательным, хотя, возможно, здесь мной руководят лишь мои собственные желания. Когда-нибудь вновь раскрывшиеся факты привнесут большую ясность. Но на данном этапе я не мог отказать себе в том, чтобы привлечь внимание к этой детали.

Для завершения анализа хочу привести еще два наблюдения.

Чуть раньше я уже говорил, что мания отрицания сохранялась у нашего больного с невероятной настойчивостью, причем он совершенно не противоречил себе. В общем-то это правда; однако то тут, то там в разговорах больного прослеживались незначительные противоречия, касающиеся его мыслей, противоречия, которые, даже в этих редких случаях, казалось, имели скорее вербальную, нежели реальную природу. Именно такое, ярко выраженное упорство и наделяло ошибочные идеи нашего больного характеристиками истинного бреда. А теперь обратимся к моим записям. Первую я сделал после того, как у больного случился внезапный приступ, и в течение нескольких дней не могло быть и речи о проведении любых психиатрических наблюдений; но потом больной понемногу стал приходить в себя, и я вновь начал записывать его разговоры; кстати, в тот день он казался еще более взволнованным, чем обычно. Вначале он говорил о чтении книги по истории Франции, которая была у него дома, затем перешел к анархистам; чуть выше я уже приводил примеры этих разговоров. А потом он продолжил:

«Я чуть-чуть прогулялся. И слегка *устал*. Я был в больнице. Все *очень плохо*. Вчера у меня поднялась температура. (Скажите еще что-нибудь.) На данный момент я не знаю ничего. Я был уставшим, а затем... (Не заканчивает фразу.) Раньше я *был уставшим*. Меня охватывает печаль, когда я вижу, что не поправляюсь, что я здесь в таком состоянии. Все время быть в таком состоянии, не имея возможности сделать что-либо, это очень печально. Я ни на что не годен, оттого и печалюсь. (Как давно?) Всегда, и это печально. Я *бы хотел* сделать что-нибудь, существовать постоянно. (Что вы хотите сделать?) Я бы не хотел быть таким. (Возраст?) Мне, вероятно, пятьдесят с чем-то лет. (Верно.) И все-таки как же это меня огорчает — видеть себя таким, ни на что не годным. Мне, должно быть, пятьдесят с чем-то лет. Пятьдесят два или пятьдесят три года. Я родился девятого февраля тысяча восемьсот... уже и не помню, когда. Мне нет семидесяти лет, нет... (Улыбается.) Мне пятьдесят с чем-то. Я родился в тысяча восемьсот семьдесят пятом. Нет, мне не семьдесят лет. (Ваше имя?) Л.М.»

Вот что я записал в следующий раз:

«Нахожусь ли я здесь или где-то еще, не имеет никакого значения. (Затем больной рассуждает о своих предполагаемых наследниках, выглядит разгневанным, даже пребывает в ярости, говорит быстро, жестикулирует.)

Я предпринял все меры предосторожности, чтобы захват поместья Тилей ни к чему не привел. (Далее он использует будущее время, например, говорит «я поеду», но эту фразу я не сумел полностью записать.) (Кто вы?) (Отвечает очень категорично.) Я Л.М., владелец поместья Тилей, а все С. (семья его жены) — ничтожества. Они сказали, что Л.М. наградил Луизу ветряной оспой. Поместье Тилей было разрушено, а документы, подтверждающие право собственности, были сожжены. Если это произойдет во второй или в третий раз, Л.М. отомстит за себя. Дом в Париже был полностью разрушен. Всех квартиросъемщиков предупредили. Л.М. разорил семью С., он разорил Луизу⁹¹. (После этого больной воскрешает в памяти еще несколько деталей, связанных с полком, где он служил, с варнавитами и т.д.)»

В первом случае меня больше всего поразило относительно верное употребление грамматических времен. Можно сказать, что, пусть и частичное, возобновление функций осознания ситуации и своего «я» в данном случае идет в паре с поступательным восстановлением проекции в прошлом (*я устал, я был уставшим*) и одновременно с зачатками властного желания (*я бы хотел сделать что-нибудь*).

А во втором случае больной категорично заявляет, что он — Л.М., и не выказывает ни одной из свойственных ему маний отрицания. Однако разница с тем, каким обычно мы видим его, не ограничивается только этим. Параллельно мы констатируем полное изменение отношений: больной злится, похоже, винит кого-то, жестикулирует, проявляет тягу к мщению и нанесению ущерба.

В обоих случаях исчезновение мании отрицания идет в паре с возникновением целой группы других феноменов: составление перспектив в прошлом — в первом случае, и отношение, проявляющееся в требовании, — во втором. На основании этого можно предположить, что отсутствие мании отрицания никак нельзя списать, даже в первом случае, на улучшение состояния или на исчезновение расстройства суждения. Оно относится к изменению общего отношения индивида к жизни, того самого отношения, которое раньше могло точно так же выражаться в виде ошибочных суждений, как мы видели во втором случае. Такое предположение, на мой взгляд, в значительно большей степени соответствует психической ограниченности больного и подтверждает нашу теорию о том, что навязчивая идея не зависит от расстройства суждения и наряду с остальными проявлениями является лишь выражением глубокого изменения самой структуры психической жизни.

⁹¹ Интересно вспомнить, что обычно пациент отрицал брак Л.М. с Луизой С.

ГЛАВА VII

ИЗ ПСИХОПАТОЛОГИИ ПРОЖИВАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА⁹²

1. Понятия проживаемого расстояния и масштабности жизни и их применение в психопатологии.

Разработанное понятие проживаемой длительности позволило психологии и психопатологии достичь значительного прогресса. Однако на основании этого факта проблема пространства оказалась вынесенной на задний план. И, между прочим, по-другому быть не могло. Исследования времени, основанные на трудах Бергсона, брали за точку отсчета фундаментальную оппозицию живого и мертвого, интуиции и интеллекта, и наконец — времени и пространства. Именно эта оппозиция особенно выделяла феномен времени, проживаемого во всей его специфичности, тогда как пространство, наблюдаемое лишь в математическом и рациональном аспекте, использовалось в качестве — извините за выражение — уродца, который призван оттенять значимость времени. Такой вид пространства, изначально лишенный жизни, мог быть малоинтересен как для психологов, так и для психопатологов. Не стоит отрицать, он был пригоден для изучения расстройств, относящихся к пространству, при апарксии, при агнозии или астереогнозии, однако все эти патологические проявления

⁹² Эта проблема существует уже достаточно давно. Однако и в прежние времена многочисленные предположения на ее счет высказывались в каждой работе. В данном случае я ограничусь своим собственным вкладом в эту проблему, но хочу указать на огромную лепту, которую внес в нее мой товарищ Людвиг Бинсвангер: Binswanger L. «*Das Raumproblem in der Psychopathologie*». Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, vol. 145, 1933.

находились в одной плоскости с разновидностями паралича или нарушениями чувствительности; имея неврологическую природу, они всегда представляют собой какую-то ограниченность в способностях человека, но не относятся к структуре человеческой личности в целом так, как в наши дни ее пытается изучать психопатология. Аспект пространства «смерть», кажется, *априори* исключает возможность существования каких-то более глубоких изменений этой личности в истинно пространственной природе; отсюда такое занижение роли пространства при проведении исследований структурного характера.

Между тем, наряду с проживаемым временем существует и *проживаемое пространство*, не сводящееся к геометрическим отношениям, а связанное с протяженностью и перспективой, в которой разворачивается жизнь человека. Для нас самих пространство не сводится исключительно к геометрическим отношениям. Мы устанавливаем эти отношения, как бы отводя себе простейшую роль любопытных зрителей или даже ученых, но все же находимся за пределами пространства. *Мы живем и действуем в пространстве*, и именно в пространстве проходит как наша личная жизнь, так и коллективная жизнь человечества. Чтобы жить, нам необходима протяженность, перспектива. Поэтому проблема нерационального, нематематического и негеометрического пространства не менее актуальна, чем проблема времени.

Безусловно, можно решить эту проблему, утверждая, что все, что в пространстве является проживаемым, сводится к времени, или, иначе говоря, что для нас существование в пространстве не значит ничего иного, кроме введения в него проживаемой длительности. Тем не менее, противопоставление времени и пространства в его первоначальной форме больше не может удовлетворить нас, так как *априори* вовсе не шла речь о том, что все феномены, вместе со всем тем, что в них живого, в обязательном порядке обладают прежде всего временной природой, а не пространственной. Как мы с вами уже могли заметить и увидим еще не раз, на самом деле все совсем не так.

Именно в таком ракурсе перед нами возникает проблема проживаемого пространства, пространства иррационального, или, если вы позволите мне так выразиться, нематематического и негеометрического.

Проблема пространства представляется мне даже более сложной, чем проблема времени. Это связано с тем, что при изучении пространства у нас нет того контрастного фона, функцию которого само пространство выполняет по отношению к времени. Поскольку эту роль в случае нерационального пространства не может выполнять

пространство геометрическое, такое исследование теряет ориентиры, заставляя нас невольно отклоняться в сторону, чтобы изучить происходящие с пространством изменения и через них постараться найти тот порядок, который этим изменениям предстоит. И все же я попытаюсь разобраться с проблемой проживаемого пространства, не забывая, впрочем, что на данном этапе речь может идти лишь о попытке.

Между прочим, в ходе моих предыдущих научных изысканий я уже сталкивался с этой проблемой. На самом деле мы отлично продемонстрировали, что понятие «я — *здесь* — сейчас» сохранялось и было весьма действенным в случае больных, страдающих общим параличом, несмотря на их дезориентацию в пространстве (в клиническом понимании), тогда как у шизофреников, наоборот, оно полностью утрачивало свое значение. Критерий исключительно пространственного порядка «здесь» в понятии «я — *здесь* — сейчас», таким образом, оказывается отнесенным в разряд иррациональных критериев жизни и, следовательно, противопоставлен умопостигаемому пространству. Данное утверждение на первый взгляд может показаться противоречивым, но после некоторых размышлений оно, несомненно, приобретает значимость, ибо человек действующий включает в «здесь» из понятия «я — *здесь* — сейчас» (как, кстати, и в «сейчас») нечто *абсолютное*, вопреки видимой относительности и обратимости пространственных отношений любого рода в геометрическом значении. Получается, что, по сути, проблема проживаемого пространства, или пространства иррационального, стоит перед нами точно так же, как и в том случае, когда, рассуждая о принципе вкладывания одного в другое, мы говорили о распространении «я» в пространстве, не перемещая его с места на место, или когда пытались соотнести синдром доктора де Клерамбо с одним из видов психического погружения в пространство⁹³.

⁹³ В своей недавней статье (Dide M. *Variations psychopathiques de l'intuition durée-étendue*. Journal de Psychologie, mai-juin, 1929) М. Дид очень четко обрисовал проблему интуиции протяженности. Он, кстати, изначально предоставил интуиции протяженности психологическую поддержку, предположив, что она зависит от синестезических и кинестезических критериев. «Проблема пространства, — пишет он, — может видоизменяться в зависимости от того, рассматриваем мы ее с точки зрения конкретных представлений о внешнем мире, изложенном на основании перспективных сведений, или обращаемся к интуиции протяженности, созданной при помощи индивидуальных отношений между синестезическими и кинестезическими критериями». Таким образом, оказывается, что оба аспекта пространства четко отделены друг от друга, сохраняя все свое значение, независимо от физиологических толкований, которые могут быть этому даны.

А сейчас я попытаюсь еще больше конкретизировать проблему проживаемого пространства и сделаю это, в частности, подробно изучив феномен *расстояния*.

«Интервал, который разделяет две точки во времени или в пространстве», — общепринятое определение расстояния. Нет никакой необходимости задерживаться на этом определении, ведь все мы достаточно хорошо знаем, что имеется в виду, когда речь идет о расстоянии, которое отделяет друг от друга две точки или два объекта. Такое расстояние имеет исключительно количественный характер, оно измеряемое, обладает чертами пространства и, на основании этого, чисто статическими характеристиками. Безусловно, объекты могут перемещаться, они удаляются или приближаются друг к другу, и расстояние между ними изменяется. Однако это никоим образом не меняет их сущность, так как в любой миг мы можем представить местоположение предметов, одних относительно других, изобразив это в виде геометрической фигуры и выразив расстояние в метрах или сантиметрах. Думаю, все абсолютно понятно, и едва ли стоит сейчас прибегать к аргументации Бергсона по поводу физической концепции движения в целом, которая очень глубоко была представлена в его «Опыте о непосредственных данных сознания» («*Essai sur les données immédiates de la conscience*»). Прежде чем оставить этот аспект изучаемого феномена, давайте просто добавим, что расстояние между предметами бывает сведено практически к нулю. В таком случае мы имеем право утверждать, что эти объекты соприкасаются. С другой стороны, расстояние между объектами может быть свободным, а может быть занято другими объектами (например, расстояние между двумя домами заполнено другими домами либо представляет собой свободную площадку), однако это никак не изменит характер геометрического интервала, который отделяет друг от друга два рассматриваемых объекта.

Но что, если «расстояние» имеет совершенно иной вид? В данном случае речь идет о *расстоянии-качестве*, или о *проживаемом расстоянии*.

Для начала попытаемся рассмотреть феномен «преодолеть расстояние, чтобы достичь определенной цели» (например, добраться до площади Согласия, чтобы посмотреть на статуи, которые там находятся). Безусловно, этот феномен не может быть исчерпан исключительно методом противопоставления последовательно преодоленных точек в пространстве, как происходит с движением неорганизованного тела. Если по какой-то причине приходится на полпути отказаться от

того, чем я занимался, это вовсе не будет равносильно тому, что мне наполовину удалось достичь цели, к которой я стремился. Получается, что в данном феномене есть что-то еще, а именно — проживаемая длительность и организация во времени. Каждый миг в скрытом виде содержит в себе все фазы, которые уже прошли, а также все фазы поступка, который пока еще находится в стадии выполнения, превращая все это в одно неделимое целое.

Таким образом, все, что в нем есть живого, относится исключительно к проживаемой длительности, в том значении, каким наделял ее Бергсон. Расстояние участвует в этом второстепенно: в первую очередь для него важна физиологическая составляющая нашего существа, оно измеряется в зависимости от мышечного напряжения, которое нам необходимо приложить.

Но расстояние может обладать и другим значением, абсолютно не связанным ни с одним из перемещений, ни с одним из пройденных маршрутов, в силу чего оно будет в большей степени относиться к проживаемому пространству, нежели ко времени, будет одним из его составных элементов, располагаясь при этом в той же плоскости, что и «здесь», о котором мы только что говорили. Именно этот аспект расстояния и должен интересовать нас прежде всего.

Я смотрю перед собой, я вижу предметы и людей, в большей или меньшей степени отдаленные от меня. Но еще я вижу, как вокруг разворачивается жизнь и как эта жизнь бьет ключом во всех направлениях. Я — участник этой жизни, но она непосредственно не «касается» меня, в прямом смысле слова; я не чувствую себя зависимым от нее, и, как мне кажется, в этой независимости содержится некоторая пространственность, что-то вроде расстояния, отделяющего или, скорее, даже объединяющего меня с этой жизнью. Передо мной всегда существует что-то вроде *свободного пространства*, в котором, абсолютно не стесняя друг друга, развиваются моя деятельность и моя жизнь. Мне в нем *комфортно*, я чувствую себя свободным в этом пространстве; *непосредственный контакт*, в физическом значении, между моим «я» и окружающим становлением отсутствует. Мой контакт с окружающим становлением происходит за счет, вернее «при помощи», расстояния, которое соединяет нас друг с другом.

Или вот еще: перед самим собой я помещаю мое собственное «я — здесь — сейчас», однако, поступая так, я не утверждаю место, занятое в данный конкретный момент моим телом в пространстве, где все относительно и изменчиво. Я не утверждаю свое существование относительно материальной реальности, которое начиналось бы там,

где заканчивается мое тело, или на каком-то измеряемом расстоянии от него. И конечно, я не утверждаю его исключительность, как если бы за пределами моего «я» существовало бы только небытие. На самом деле я утверждаю «я — здесь — сейчас» относительно окружающего становления, *дистанцируюсь* от него, но будучи объединенным с ним той «сферой достатка», в которой может разворачиваться моя жизнь.

Это расстояние полностью отличается от геометрического расстояния, что, полагаю, понятно без лишних слов. Оно имеет исключительно *качественный* характер. Его нельзя преодолеть в прямом смысле, поскольку оно перемещается вместе с нами, изначально соединяя то, что не разделяет, оно не разрастается и не уменьшается, если объекты отдаляются, у него нет пределов, нет ничего количественного. Оно не становится больше в пустыне, где бескрайние пески уходят за горизонт, и не уменьшается на шумной улочке, где всякий раз приходится интуитивно уворачиваться от идущих навстречу прохожих; отличие лишь в том, что в первом случае может возникнуть неприятное ощущение одиночества в непривычных условиях, далеких от тех, в которых протекает обычная жизнь. Это расстояние не является пространством в геометрическом смысле слова, однако в нем все же есть некоторая пространственность, ибо человек живет в пространстве и вся окружающая жизнь тоже разворачивается в пространстве.

На основании вышесказанного, вероятно, можно подумать, что, по сути, проживаемое расстояние — это не что иное, как ощущение свободы. Но я так не считаю. Ощущение свободы присутствует и в проживаемом времени; к тому же решение, что я чувствую себя свободным, принимается после некоторых рассуждений. Таким образом, это ощущение связано с моральной стороной человеческого существа, тогда как проживаемое расстояние, или, если вам так больше нравится, сфера достатка, возникает, только если принятое решение начинает осуществляться; это происходит на уровне органо-психического единства в плоскости деятельности.

Ощущение свободы никоим образом не может быть отнесено к свободе передвижения в материальном и физиологическом смысле. Если я нахожусь в заточении, очевидно, что я больше не могу двигаться так, как мне этого хочется, более того, я отделен от жизни, но стены, которые отделяют меня от нее, не являются преградой для жизни, она легко разворачивается, уходит куда-то вдаль, в космическое пространство.

Итак, феномен проживаемого пространства тоже начинает немного проявляться. Однако нам стоит приложить некоторые усилия, чтобы он стал еще более явным. Как этого достичь? Безусловно, лучше всего было бы изучить изменения, которым этот феномен может подвергаться, и выявить, какое положение вещей противопоставлено предыдущему.

Чуть выше мы говорили о том, что расстояние между двумя объектами бывает сведено практически к нулю, и тогда они соприкасаются. Так не стоит ли нам двигаться в этом направлении и поискать аналогии? Известно, что мы можем прикасаться к объектам или ощущать на себе их контакт, но в данном случае очевидно, что речь здесь идет только о наших сенсорных функциях, которые не имеют ничего общего с проживаемым расстоянием. Я, к примеру, могу быть «тронут» до глубины души, даже до слез, если увижу, как ребенок рыдает у изголовья кровати больной матери, но это явление — симпатия (в этимологическом значении слова), которая заставляет меня ощутить на себе эмоциональную окрашенность ситуации, — никак не касается феномена проживаемого расстояния; симпатия включается в игру вовсе не ценой проживаемого расстояния. Точно так же, при совершении какого-то коллективного усилия, я могу ощутить себя значительно более солидарным, намного «ближе» к другим, чем это бывает обычно, однако, и в этом случае тоже, прежде всего речь идет о единстве через действие, направленное на достижение одной и той же цели. Разворачивающееся во времени, это действие, по сути, не способно ограничить проживаемое расстояние и, уж тем более, не может быть противопоставлено ему. Значит, разнообразные формы «прикоснуться» или «быть тронутым» не помогут нам уточнить особенности феномена, который мы сейчас изучаем. Придется искать в другом месте.

Данное мной описание проживаемого пространства начиналось следующим образом: «Я смотрю перед собой, я вижу предметы и людей, в большей или меньшей степени отдаленные от меня. Но еще я вижу, как вокруг разворачивается жизнь...», и т.д. По сути, я обращался к тому, что обычно мы называем визуальным пространством⁹⁴ или, выражаясь точнее, к *ясности* этого визуального пространства,

⁹⁴ Говоря о визуальном пространстве, в данном случае я его понимаю в феноменологическом, а не в физиологическом смысле; меня совершенно не беспокоит, можем ли мы видеть это пространство, а также, чем оно является для наших глаз, и я *априори* не признаю, что оно полностью может быть отнесено к комплексу наших оптических ощущений.

образующего несущую основу, на которой разворачиваются и моя собственная жизнь, и жизнь остальных людей, а также устанавливается контакт с окружающим становлением при помощи проживаемого расстояния. Однако ясность не всегда является несущей основой нашей жизни; ведь мы живем и ночью. Может, стоит мельком обратить свои взгляды и в эту сторону? Итак, непроглядная ночь, крошечный мрак, я уже не вижу ничего перед собой; тьма обволакивает меня со всех сторон, проникает в само мое естество, *касается* меня намного более тесно, чем это делает ясность визуального пространства. Безусловно, «непроглядная ночь» в данном случае рассматривается не как полное отсутствие света или что-то лишаящее возможности видеть; она рассматривается здесь в положительном значении, мы даже можем позволить себе сказать, что рассматривается ее материальность, способная проникать куда угодно и значительно более осязаемая, чем чистая ясность визуального пространства. Сама по себе ночь не является чем-то мертвым, просто у нее есть своя собственная жизнь; в ночи я могу услышать крик совы, оклик товарища, могу заметить где-то вдали волну блуждающего света, но все эти впечатления формируются в плоскости, серьезно отличающейся от той, которую образует ясное пространство. Эта плоскость, находящаяся в *исключительных, единственных в своем роде* отношениях с моим живым «я», будет предоставлена ему особым способом, полностью отличающимся от того, каким образом формируется плоскость в ясном пространстве, а такие слова, как «расстояние» и «прикасаться», полагаю, достаточно красноречиво подчеркивают существующую разницу. Сама темная ночь также имеет кое-что более личностное относительно моего «я»; я оказываюсь с ней один на один; она в большей мере «принадлежит мне», нежели ясное пространство, ибо оно принадлежит всему обществу, если можно так выразиться. То, что было сейчас сказано о темной ночи, не является исключительной, свойственной только ей одной характеристикой; те же характеристики мы можем применить и к понятию густого непроглядного тумана, который обволакивает нас точно так же, как и тьма, изолирует нас от всего остального и проникает в самую глубь нашего естества. По большей части мы сталкиваемся почти с тем же, когда, пытаясь сконцентрироваться, закрываем глаза, чтобы абстрагироваться от того, что видим и что знаем об окружающих нас вещах, и погружаемся в мир звуков, наслаждаясь музыкальным произведением. В данном случае, кстати, слуховое пространство охватывает нас и проникает в наше естество точно так же, как черное пространство;

в отличие от визуального пространства в нем больше не будет ни свободного пространства, ни чего-то «рядом», ни перспективы, ни горизонта, ни проживаемого расстояния⁹⁵.

Все вышесказанное заставляет нас двигаться в направлении неизученных областей, которые на первый взгляд кажутся такими же непроходимыми дебрями, как и далекие девственные леса; ведь мы делаем только первый шаг, двигаясь в сторону феноменологии пространства, рассматривая различные его аспекты, касаясь феноменологии ясного и черного пространства, или, иными словами, пространства визуального и пространства слухового. Уверен, однажды нам удастся углубиться в изучение этой проблемы и почерпнуть оттуда все то ценное, что скрыто в ней, чтобы лучше понять и познать нашу жизнь.

Однако уже сейчас мы видим, какая разница между геометрической концепцией пространства, для которой существует лишь одно единое пространство, и феноменологическим анализом, рассматривающим различные формы пространства и возможную вариативность пространственности; попытаемся особо выделить две из них.

Давайте для начала вернемся к понятию проживаемого расстояния. До настоящего момента мы изучали это расстояние в контексте его отношений с «я». Но чем, на основании данной точки зрения, отличаются все остальные живые существа? Проживаемое расстояние является одним из их основных приспособлений. Таким образом, мы можем конкретизировать его, проецировать за пределы, применять к целой группе живых существ. Нам удалось приблизиться к феномену *масштабности жизни*.

Итак, жизнь, которая разворачивается вокруг нас и частью которой мы являемся, обладает *масштабностью*.

Эта масштабность не идентична моральному величию идеала, столь вожаденному в любом сообществе; в отличие от него, она расположена на более высоком уровне и обладает чертами пространства. Но,

⁹⁵ На конгрессе в Штутгарте (апрель 1930) доктор Эрвин Штраус сделал доклад о «Значении различных категорий пространства для развития двигательных функций и восприятия». Он противопоставил слуховое и визуальное пространство, на основании чего выявил характерные черты, которые отличают эти пространства друг от друга. То, что он решил принять за точку отсчета в исследовании, не полностью совпадает с моим мнением, учитывая, что на первый план он выводит перцептивные и двигательные характеристики, относящиеся к пространству. По этому вопросу можно также посмотреть: Straus E. «*Die Formen des Räumlichen. Ihre Bedeutung für die Motorik und die Wahrnehmung*». Nevrenarzt, 1930, № 11.

несмотря на это, она также не идентична бесконечной протяженности астрономического мира, обладающей исключительно геометрическими характеристиками, которая порой может заставить нас испытывать ощущение чего-то грандиозного. По сути, она не связана и с мыслью о бесконечном пространстве; однако у нее есть связь с богатством и разнообразием индивидуальных жизненных проявлений, резвящихся в пространстве, которое существует перед нами и охватывает собой отдельные проживаемые расстояния.

Я выхожу на улицу, я встречаю определенное количество людей, но каждый человек, будучи составной частью одного целого, следует своим путем и своим мыслям; мы расходимся в противоположных направлениях и все же словно связаны друг с другом, не «касаясь» один другого, в узком значении этого слова. Дело в том, что наша жизнь разворачивается в пространстве и является одним из его фактов. Получается, само пространство способствовало тому, чтобы мы превратились в некое объединение, но при этом между нами сохраняется какое-то свободное пространство, проживаемое расстояние, отягощенное индивидуальными возможностями, что и позволяет каждому из нас проживать в пространстве свою собственную, отдельную жизнь. *Масштабность жизни* основывается именно на этом.

И если сейчас мы с вами обратимся к существующим рациональным концепциям, то концепции непредвиденного, случайного, совпадения, смежности представляются мне наиболее родственными и в большей степени придерживающимися феномена проживаемого расстояния.

Давайте вернемся к ранее приведенному примеру: на улице мы сталкиваемся с огромным количеством людей, но нас совершенно не волнует, почему мы встретили их на своем пути; мы принимаем подобные встречи как нечто естественное и без малейшего колебания говорим: «Это чистая случайность»⁹⁶. В таком утверждении мы не

⁹⁶ Сейчас мне бы хотелось напомнить вам, что в одном из моих первых исследований, касающихся аутизма, проведенных совместно с доктором Рог де Фюрсаком (Minkowski E., De Fursac R. «*Contribution à l'étude de la pensée et de l'attitude autistes*», Encéphale, 1923), я уже настаивал на первостепенном значении понятия «случая» в жизни индивида. Вот что мы с ним говорили по этому поводу: «Понятие «случая» играет первостепенную роль в нашей жизни. Чтобы осознать это, достаточно рассмотреть все события, которые принято называть не имеющими значения (например, все возможные встречи с разными людьми, знакомыми и незнакомыми, происходящие каждый миг вокруг нас, когда мы выходим из дому). «Вопрос случая», — скажем мы, если кто-то спросит нас о причинах происходящего; мы сами не придаем никакого значения подобным фактам. С другой стороны, понятие «случая», когда мы его

усматриваем никакой неполноты знаний о передвижениях и вероятных причинах, определяющих путь встреченных нами людей. Наоборот, с учетом ситуации данная констатация кажется нам в полной мере адекватной и соответствующей ощущению непринужденности, которое для нас самих определяет причины нашей личной движущейся основы, будучи с ним одним целым. Я бы даже сказал, что эта движущаяся основа, со всей ее масштабностью, является необходимостью, и без нее мы бы уже не смогли жить.

Получается, используя другую форму, мы говорим сейчас почти то же, что и раньше, а именно, что концепт, полностью противопоставленный изучаемым жизненным феноменам, представляет собой феномен каузальности и детерминизма. Наполненный тем, что в нем является безличным, включающий в себя характеристики вселенской необходимости, ближайшего контакта и идентификации, он движется навстречу феноменам расстояния и масштабности жизни и способен лишь разрушить их.

Я всегда пытаюсь подкрепить психологические данные фактами психопатологии, или, по правде говоря, чаще всего именно эти факты и наводят меня на мысль подчеркнуть некоторые новые понятия, относящиеся к структуре нормальной психики. Так же было и в случае проживаемого расстояния. По-моему, сейчас абсолютно логичным кажется то, что я говорил о психопатологических данных, которые подтолкнули меня уточнить и углубить понятие проживаемого расстояния, являющегося одним из основных критериев нашей жизни.

Для начала приведу, пожалуй, свидетельство, действительно однажды поразившее меня. Речь пойдет о шизофренике, которого я вел в течение нескольких лет, пока он находился на лечении в диспансере

действительно проживаем (например: «Вот это да, какая приятная случайность, встретить тебя здесь!»), самым непосредственным образом соотносит нас с окружением. Речь идет о становлении, которое значительно превышает нас самих, которое охватывает нашу личность, при этом не уделяя ей ни малейшего внимания (например, в отличие от концепции каузальности и вселенского детерминизма)».

На сегодняшний день в этом высказывании ничего нельзя изменить, если только так называемые «не имеющие значения» события действительно не являются таковыми, как минимум все вместе; дело в том, что они могут представлять собой точно такую же необходимую для нашей жизни основу, как и воздух, которым мы дышим, и даже один из ее составных элементов, тот, что мы определили термином «масштабность жизни».

профилактики психических заболеваний. Его болезнь медленно видоизменялась, не отмечалось никаких ярко выраженных расстройств — галлюцинаций, навязчивых идей или кататонического синдрома; этот больной характеризовался прежде всего фактической недостаточностью, заболевание представляло собой растущую неспособность приспосабливаться к окружающей реальности и, впоследствии, заниматься любой методичной работой. В конце концов наш больной осознал, что все его попытки состояться в профессии, к которой готовила его учеба, провалились, он вынужден был отправиться жить обратно к себе в деревню, где, совершенно ничего не делая, находился рядом с шизоидной матерью без малейшего шанса найти с ней общий язык. Деревенский кюре не раз пытался наставить его на путь истинный, конечно же безрезультатно, но больной высоко ценил такое благосклонное к нему отношение и был за это очень признателен кюре. Кроме того, он сохранил положительный эмоциональный контакт и со мной, порой посещал меня в диспансере или писал мне письма. Именно благодаря этому в определенный момент мне удалось констатировать у него возникновение тенденции соотносить события, происходящие вокруг, с собственной личностью: он был уверен, что объявления о лекциях, развешанные при входе в диспансер, предназначались именно ему; предпочитая не видеть их, он сомневался, стоит ли приходить на консультацию, однако не превращал свойственное ему восприятие данного в истинную манию преследования, вероятно, потому, что в его конституции отсутствовал параноидальный критерий.

Я на несколько месяцев потерял его из виду, как вдруг однажды он явился на консультацию. Ему пришла в голову мысль, что, должно быть, я встречался с кюре, который заботился о нем, и что мы обсуждали его, о чем он мне и хотел сообщить, но ни одного вразумительного мотива, который мог бы стать основанием для возникновения подобных мыслей, ему привести не удалось. Его просто посетила такая мысль, вот и все; он, кстати, так и придерживался ее, несмотря на все мои возражения.

Помню, это очень сильно поразило меня: я отметил странную мысль больного, на тот момент еще даже точно не понимая для чего; просто интуиция подсказывала мне, что чуть позже у меня появится интерес поразмышлять над этим.

Безусловно, предположение, что два человека, которых мы хорошо знаем, могли бы где-то встретиться, незначай или намеренно, чтобы поговорить о нас, само по себе ничем не примечательно. Казалось бы,

оно даже не заслуживает того, чтобы мы заострили на этом внимание. Однако, имея в виду случай нашего больного, все же стоит задуматься.

Дело в том, что в нормальной жизни такое предположение всегда ставится под сомнение и должно быть проверено. Оно зависит от движущегося потока нашей жизни и в силу обстоятельств может быть сохранено как таковое, а может быть отклонено, причем без нанесения хоть каких-то минимальных повреждений самой форме психической жизни. Но в случае нашего больного речь вовсе не шла о предположении, которое могло быть более или менее мотивированным и, тем не менее, включалось в нормальное течение жизни; нет, у нас изначально сложилось впечатление, что у него предположение представляло собой ведущее изменение, характерное обеднение психики. Согласен, нелегко привести научные доказательства того, что все происходило именно так. Однако в психопатологии, да и в психологии тоже, наша интуиция и наша способность проникать внутрь явления не могут считаться не заслуживающими внимания, малозначительными категориями. Они учат нас тому, что за вербальными, эйдетическими и порой даже эмоциональными формами, схожими между собой, нередко скрываются разнообразные сведения.

А у нашего больного, как выяснилось, именно это могло мне сказать банальное с виду предположение, которое, повторю, выдвинул он сам. Несколько событий, несколько персонажей, имеющих место в его психике, все еще наделенной аффективной окраской, больше не проецируются и не могут существовать в проживаемом расстоянии, в масштабности жизни, они словно бы сблизилась, сжались подобно конгломератам в пространстве; можно сказать, что они подчинились какой-то силе, которая пытается заставить их войти друг в друга, уничтожить, соединить в единый клубок, если можно так выразиться. И, поскольку в жизни «познакомиться и пообщаться» является простейшей общепринятой формой сближения людей, именно в этой форме у нашего больного выразилось стремление к созданию конгломератов в проживаемом пространстве. Другими словами, отсутствие масштабности жизни является характерной чертой его психики.

Такая трактовка, кстати, как нельзя лучше сочетается с патологическим стремлением нашего больного соотносить все со своей собственной личностью (например, объявления повесили специально для него). В данном случае, кажется, речь действительно идет об ограниченности проживаемого расстояния, вследствие чего возникает впечатление, что окружающая жизнь самым непосредственным

образом «касается» индивида и находится с ним в прямом, почти материальном контакте.

Еще один пример я позаимствовал из наблюдений за больной, страдающей шизофренией в далеко зашедшей стадии — с галлюцинациями, психозами и полной оторванностью от реальности; в течение долгих лет она пребывает в одном и том же состоянии в психиатрической клинике. Однажды она рассказала мне следующее: «Прогуливаясь вчера в саду, я заметила, что один из больных, находящихся в этом заведении, имеет незначительное сходство с человеком, которого я знавала раньше; и тогда я направилась к нему, чтобы спросить его, не был ли он знаком с тем человеком». В данном случае мы сталкиваемся с хорошо известной характеристикой (даже не пытаюсь уточнить структурную основу этой особенности, ограничимся тем, что определим ее как расстройство идеации) шизофренического мышления, которое часто довольствуется «незначительным сходством», чтобы установить тесные отношения, доходящие до идентичности между людьми или предметами. Но, с другой стороны, мы видим такую же тенденцию, как и создание конгломератов в пространстве, что вновь выражается при помощи факта «знакомиться». Как мы с вами уже отмечали, данная тенденция основана на ограниченности проживаемого расстояния. Самое время задаться вопросом: а что, если идентификация, основанная на незначительном сходстве, так часто встречающаяся у шизофреников, тоже возникает в результате аналогичной ограниченности?

Сейчас я хочу представить вам шизофреника, расстройство которого развивается очень медленно, в течение многих лет, оно сформировано на фоне гиперестезической шизофрении, в том виде, как ее описывал Кречмер. У этого больного нет ни галлюцинаций, ни навязчивых идей, однако, чтобы защитить свою чрезмерную чувствительность от всех возможных жизненных ударов, он постепенно удаляется от реальности, все сильнее и сильнее отдаваясь ярко выраженному аутистическому типу поведения. Он не лишен писательского таланта и ранее даже опубликовал несколько эссе. Затем публикации, в данном случае это значит — реализация, перестали его интересовать; теперь он уже долгое время работает над своими произведениями, когда может, и пока не закончил еще ни одного, даже не задумываясь над тем, чтобы как-то использовать их. Об этом больном я рассказывал в своей книге «Шизофрения», где цитировал его высказывание, которое является яркой характеристикой происходящего с ним нарастающего ухода от реальности: «У меня всегда была тяга к литературе. Я пытался писать и опубликовал когда-то несколько

литературных этюдов. Потом я отказался публиковать свои работы и стал писать для себя. Я бы даже отказался письменно фиксировать мои мысли, но незаписанная мысль легко превращается в дым и улетает от нас навсегда». За такой изоляцией и таким отстраненным поведением, в редкие моменты, когда он соглашался излить душу, нам удалось выявить его преувеличенные сомнения по поводу незначительных речевых ошибок, которые, как он сам говорил, были допущены им и которые могут заставить людей отвернуться от него.

Однажды, когда ему было не по себе, мать, не имея возможности дожидаться его личного врача, послала за районным врачом; тот выписал ему седоброл, препарат, который чуть раньше был также выписан личным врачом этого больного. Некоторое время спустя больной пришел ко мне; он был совершенно потрясен и после незначительных сомнений решился довериться мне, рассказав о причине своих переживаний. Прекрасно понимая и зная, что седоброл — весьма популярное лекарство, применяемое при лечении неврозов, он считал, несмотря на всю неразумность своей гипотезы, что два этих врача предварительно где-то сговорились по его поводу. При этом он вовсе не сделал вывод, что у них был какой-то злой умысел, напротив, он даже готов был признать, что взаимная договоренность между ними пойдет ему на пользу. А просил он лишь об одном: «Если есть что-то, что ему следует узнать о своей судьбе, пусть его пощадят, так как он неспособен выносить сильные эмоции».

Больной, которого я описал совместно с доктором Рог де Фюрсаком⁹⁷, используя по отношению к нему термин «патологический рационализм», приехал повидаться ко мне в диспансер несколько лет спустя. В общем-то его состояние было таким же, как и ранее, с той лишь разницей, что он стал еще менее сосредоточенным и активным, а в силу этого его социальные неудачи только увеличились. В ходе разговора я напомнил ему, что он рассказывал мне о путешествии в Германию. Он был удивлен и никак не мог поверить, что я действительно помню наши давние беседы, несмотря на то, что, сидя прямо перед ним, я пролистывал его личное дело; нет, сказал он мне, помимо меня, он никогда никому не говорил об этом путешествии, кроме еще одного человека, а значит, возможно, тот человек приходил ко мне, чтобы поговорить со мной об этом.

В принципе факты, которые я использую здесь, невероятно банальны. Но то, каким образом я их трактую, значительно отличается

⁹⁷ Об этом больном я рассказывал в главе «Шизофрения».

от традиционной трактовки. Конечно, мы можем поступить так же, как делали всегда, сказав, что эти факты подтверждают наличие расстройства идеации и суждения; однако это уже почти избитая истина, применимая ко всем психическим расстройствам, хотя она вовсе не раскрывает никаких глубинных процессов особых психических расстройств, с которыми мы сталкиваемся. Более того, я считаю, что такие расстройства необходимо рассматривать в виде проявления глубочайшего идеационного поражения, нанесшего урон как самому «я», так и его жизненным силам, что мы и делали чуть раньше, рассуждая о проживаемом расстоянии и масштабности жизни.

Такая манера анализа ситуации выступает в поддержку высказанного нами чуть раньше предположения, что иррациональное в нашей жизни не сводится исключительно к проживаемой длительности, что мы можем обнаружить его и в пространстве без какого бы то ни было соотношения с критериями времени.

Используемые факты чрезвычайно просты, что уже было сказано выше. Именно по причине простоты мы и решили обратиться к ним сейчас, ибо они как нельзя лучше подходят для того, чтобы подчеркнуть основные существующие отношения, которые мы изучаем. Использование их выгодно нам по той причине, что ни одно из них не сопровождается манией преследования в прямом значении этого слова. Однако, если рассмотреть данные расстройства подробнее, оказывается, что они легко могут трансформироваться в манию преследования, именно это обстоятельство и должно привлечь наше внимание. Для такой трансформации достаточно, чтобы параноидальные наклонности, конституциональной или любой другой природы, начали заставлять психическую деятельность больного двигаться в этом направлении, вызывая глубокие изменения в его психике, те самые, которые мы пытались указать. Кажется, что подобные изменения представляют собой обязательную основу, так сказать, нижний опорный слой мании преследования; получается, что они сами и есть особая форма патологической природы психики, форма, способная породить, при совпадении некоторых условий, манию преследования⁹⁸. Едва ли стоит вам напоминать, что в контексте нашего исследования мы склонны обнаруживать во всех маниях психоэмоциональное выражение серьезнейших изменений самых глубоких и крепких

⁹⁸ Мне кажется, в данной ситуации очень важно напомнить вам, что аналогичное мнение уже высказывал доктор де Клерамбо, когда рассуждал на тему отношений, существующих между синдромом психического автоматизма и манией величия, которая присоединялась к нему в некоторых случаях.

структур психики. Что касается мании преследования, такое изменение, я полагаю, состоит как раз в сжатии, в конгломерации в пространстве живых сил окружающего становления, которые, полностью сместившись, теперь направлены против «я». Это напоминает движение металлической крошки в магнитном поле, когда все частички ориентированы в одном направлении; однако при этом значительно сокращаются их возможности по сравнению с расположением частиц металлической крошки, случайно брошенной на лист бумаги; конечно, в такой системе творится хаос, особенно для сознания, привыкшего к точности, но в то же время появляется множество вариантов, разнообразие чего-то непредвиденного и живого «чувственного сознания». Есть и еще одно обстоятельство, способное подкрепить правильность такого положения вещей: в нормальной жизни мании преследования противопоставляются вовсе не идеи о доброжелательном отношении, не последовательность мыслей, подкрепленных неприязнью либо доброжелательностью, не какой-то конкретный объект из идеационной области, а то самое ощущение непринужденности, которое мы испытываем относительно окружающей нас жизни, со всем, что оно может содержать в себе хорошего и плохого, то самое ощущение непринужденности, которое тесно связано с феноменом проживаемого расстояния, или масштабности жизни.

Изучая этот феномен, мы уже говорили, что ближе всего к нему концепции непредвиденного, случайного, совпадения, смежности. А пример нашего литератора еще раз подтверждает это предположение; кажется, у него полностью отсутствует понятие случайности, или, как минимум, оно больше не включается в его способы восприятия фактов. Мысль о том, что одно и то же лекарство могло быть назначено двумя различными врачами просто в силу игры случая, даже не пришла ему на ум. Во время совместных исследований с Рог де Фюрсаком, которые не раз цитировались в этой книге, мы уже настаивали на отсутствии понятия случая в умозакключениях нашего больного, на основании чего нами было сформулировано предположение, что исчезновение этого понятия в обязательном порядке должно привести к жизненной концепции, близкой к той, которой придерживаются больные, страдающие манией преследования. По нашим стопам пошел и де Греефф⁹⁹, в высказываниях которого присутствуют соображения, аналогичные тем, что мы не так давно приводили, говоря о мании

⁹⁹ De Greeff É. «*Abstraction morbide et désagrégation de la personnalité*». Journal de Neurologie et de Psychiatrie, 1927, № 3.

преследования. Не углубляясь в описания самого пациента, ограничимся простым цитированием больного такого типа, чьи слова обладают исключительными характеристиками: «Чего же вы хотите, — говорил он, — все, что является непредвиденным, для меня — условно, согласованно».

Однако давайте вернемся к психопатологическим феноменам, они проще и, как мне кажется, по большей части относятся к проживаемому расстоянию. Мы отнюдь не утверждали, что «познакомиться и увидеться, чтобы поговорить о ком-то» — единственный идеационный аспект, при котором может проявляться ограниченность проживаемого расстояния; напротив, вероятно, она может выражаться и разными другими способами.

Уже описанная ранее больная, страдающая шизофренией в тяжелой форме, как-то раз поведала нам следующее: «Вчера я занималась вышивкой в парке; это было в воскресенье, рядом со мной прошел один больной, и я услышала, как он что-то бормотал; возможно, он был шокирован тем, что я работала в воскресенье; а затем у меня заболел глаз — вот какие последствия имело его бормотание». Понятий «случайного совпадения» или «смежности» мы здесь, похоже, не наблюдаем, а два факта — бормотание больного и боль в глазу, — отделенные друг от друга и во времени, и в проживаемом пространстве, для нее тесно связаны, как будто, кроме этого, больше вообще ничего и не было; это похоже на короткое замыкание в каузальных цепях, к которым мы постоянно обращаемся в повседневной жизни, однако они всегда должны поддерживать контакт с живой основой, то есть с окружающим становлением, существующим вокруг нас.

Если я не ошибаюсь, то большая часть ипохондрических занятий, наблюдающихся у шизофреников, а также свойственные им проявления внушаемости и участия, относятся к точно такому же механизму. Например, больной жалуется нам, что из-за психотерапии у него констипация, а в газете «Кристиан Сайенс Монитор» рекомендуют избавляться от этой проблемы мысленно, там говорится, что послабление произойдет при материальном (сексуальном) мышлении и что необходимо посетить маленькую комнатку, так как в ней мозг сожмется и будут возникать мелкие мысли. Еще этот больной много думает о воздействии температуры на сознание. Или однажды, услышав, как какой-то мужчина говорил о хлориде магния, он спросил себя: а что, если и ему принимать это средство? Он также считает, что принужден страдать, пока французы будут оставаться под Германией, потому что у него немецкие корни. Если больной говорит

нам все это, то мы с вами, как мне кажется, имеем полное право задаться вопросом: не идет ли в данном случае речь лишь об идеационном выражении ограниченности проживаемого пространства, в силу чего возникает ощущение, что окружающие события касаются индивида и воздействуют на него намного сильнее, чем это бывает обычно, причем сам индивид участвует в них очень тесно, что само по себе является ненормальным?

2. Проблема галлюцинаций и проблема пространства.

*(Некоторые рассуждения по вопросу
возникновения галлюцинаций)*

Порой совершенно невозможно устоять, чтобы не отклониться от строгих последовательных методик, навязанных нам наукой, если очень хочется выставить на обсуждение некоторые свои соображения, не дожидаясь того момента, когда они будут иметь под собой крепкое обоснование. Хотя, по сути, чем мы рискуем в такой ситуации, следуя своему желанию? В любом случае, все ошибаются. Конечно, все это может показаться нам существенным, если свое собственное заблуждение мы будем рассматривать как серьезную ошибку. При этом наше «я», являющееся борцом по натуре, едва ли может приспособиться к отношениям, которые ему навязывает позиция абсолютной осмотрительности; подчас оно стремится ошибаться и, если это происходит, не всегда соглашается признавать свои ошибки. Так, может, на самом деле нет ошибок, имеющих большую ценность, чем те, что нам представляют под видом науки, может, временами они — всего лишь разменная монета истины?

Полагаю, необходимо сделать некоторые ремарки, чтобы уточнить сущность приведенного ниже наблюдения. Если на основании одного-единственного наблюдения я сейчас затрагиваю столь сложную проблему, которую мы привыкли называть «галлюцинациями», то я вовсе не ставлю перед собой цель изучить ее во всех возможных аспектах, да еще и предоставить точные сведения, касающиеся природы их возникновения; я делаю это с единственной целью — повторю еще раз: выставить на обсуждение некоторые свои соображения общего характера, сформировавшиеся у меня в ходе этого исследования.

Главное сказано, перейду к наблюдению.

Речь пойдет о талантливом художнике 38 лет от роду. Небогатый скромный человек, он жил в Париже на стипендию, которую ему

выплачивал промышленник, серьезно увлекшийся его творчеством. Казалось бы, усердно работавшего художника ждет успех, как вдруг, два года назад, он перестал заниматься творчеством, а его странное поведение начало привлекать внимание. Некоторое время спустя товарищи художника попросили меня обследовать их друга. Я навещал его несколько раз. Вот что он говорил мне по поводу своего состояния:

29 января 1928. — Все это началось в июле 1926 года. В это время он переехал на другую квартиру и внезапно услышал голоса. С того самого момента он их слышал постоянно, они не умолкали никогда. Речь этих голосов сопровождалась болевыми ощущениями, как если бы кто-то колот его иглой. Он подумывал о полиции. У него в голове словно сгустился туман. Помимо его воли эти голоса заставляют его улыбаться; они говорят забавные вещи; а он, в силу своей слабости — у него всегда был мягкий характер — улыбается. Вместе с тем, он ощущает какие-то толчки, какое-то колебание в висках. По вечерам он часто мерзнет, несмотря на жару на улице. Когда голоса активизируются, под ним, как ему кажется, сверкают искры. На улице его полностью обволакивает какой-то шепот, а когда он в комнате, разговоры ведутся громко. Голоса говорят на французском, на русском, на иврите, но так, будто на этих языках говорит немец. Кроме того, он ощущает сквозняк в области головы, хотя на самом деле этого быть не может. Голоса советуют ему совершить самоубийство, говорят про револьвер. Еще у него из носа выделяется какая-то странная влага, голоса твердят ему, что это кровь. Они настаивают: «Возьми бритву и положи конец своим страданиям». А также говорят: «Твое лицо покрыто кровью, твое лицо черное». Он ощущает сексуальное возбуждение; это похоже на радиоволны, охватывающие все органы; а потом его словно опустошают при помощи насоса, он испытывает что-то, напоминающее вспышку в области сердца. После еды он ощущает возбуждение в кишечнике, и все это сопровождается разговорами. Однажды, когда он ехал в метро, у него возникло чувство, что ему в грудь, с правой стороны, вогнали отвертку; затем он увидел три точки, по цвету напоминающие кровь. Как-то ночью ему показалось, что кто-то вынимает его глаза из орбит, приговаривая: «Открой глаза пошире»; после этого предметы, окружавшие его, словно увеличились в размере, раздулись. Потом он ощутил жар в области плеча. Он больше не может читать, так как за ним повторяют все, что он читает, или даже повторяют для него; выражая протест, он перестал читать вовсе. По той же причине он забросил поэму, над которой работал; за ним повторяли

все, что он писал. Когда он пишет картины, каждое движение руки сопровождается гомоном голосов. Так работать совершенно невозможно, ему не удастся завершить ни одной картины. Он рисует тела, которые даже не собирался изображать. В июне 1927 года он почувствовал себя немного лучше; ему удалось закончить картину, но эта картина абсолютно не сочеталась с циклом, начатым ранее, частью которого она должна была быть. И все это происходит с человеком, утверждавшим, что он знает все о своей жизни. Он начал записывать, что говорят голоса. Мужской голос с хрипотцой, как ему кажется, — это голос молодого человека, который пытается изображать старика; хотя, может быть, говорит и старик. «Смотри-ка, попал!» — радостно восклицает голос — и он тут же ощущает удар. «Ты умрешь от разрыва сердца, — пророчит голос, — я тебя уничтожу». Он считает, что все это исходит снаружи, а не изнутри его самого, считает, что в нем хотят уничтожить художника. Однако у него нет врагов. Все его друзья уверены, что это галлюцинации (он говорит об этом спокойно, без раздражения). В его еду попадают всевозможные нечистоты, ему хотелось бы понять, откуда они берутся. Он предполагает, что с улицы. Он отличается закрытым нравом. Он всегда любил одиночество.

4 февраля. — Он пришел к выводу, что те же самые голоса разговаривают и с его друзьями, понял это, когда заметил, как они улыбаются. Он видит сияющие точки на своей одежде, особенно на головном уборе. У него болят зубы, а голоса твердят: «Вот и наказание для тебя». С ним разговаривают с презрением и отвращением, как говорили его отец и мать. Ему велят: «Прокляни своих родителей и обратись». Где найти причину всему происходящему, чтобы в конце концов прекратить это бесчестье? По какой причине и откуда все это идет? Сексуальное возбуждение образуется снаружи. Форма его лба постоянно изменяется. Если все должно остаться таким, как есть, то очень печально; он совершенно не может работать; это лишает его свободы. Его раздражают все истории о шпионах. Он смог нарисовать тела людей, о которых его предупреждают голоса (больной показывает два своих рисунка); вот гримасничающая фигура, которая причиняет ему больше всего страданий, а вот еще маленький старичок, однако он не видел их тел: чтобы нарисовать их, ему пришлось приложить усилия. Это лишает его свободы, как если бы рядом всегда находились разные люди; он лишен свободы как в своих движениях, так и в речах. Он постоянно спрашивает себя: откуда это взялось? Он никогда никому не сделал ничего дурного, так как же найти причину возникновения этих столь враждебных голосов? Иногда он отвечает голосам, порой недоброжелательно, порой с оскорблениями; именно эти

голоса и научили его оскорблениям, ибо раньше он боялся так выражаться. Те, кто говорят с ним, — грубияны или, как минимум, хотя бы таковыми казаться.

8 февраля. — Он предполагает, что все это, кроме самих разговоров, началось значительно раньше, должно быть, еще в 1922-м; в то время он изнывал от жары, хотя на самом деле никакой жары не было; он весь был буквально покрыт потом, а потом будто бы ощутил удар в сердце, боли в желудке, жар внутри.

Когда он отсутствует, кто-то входит в его комнату. Голоса обсуждают темы, которые никто, кроме него самого, не мог знать; ему напоминают о событиях его прошлой жизни, часто о совсем незначительных событиях, например, о том, что когда-то у него на лбу была шишка. Откуда бы они могли знать, что ему следует сходить в туалет (смеется); какая нелепость! Откуда они знают, что он делает, о чем думает? Он считал, что сексуальные контакты могут помешать ему в работе, поэтому воздерживался от них. Он испытывает сексуальное возбуждение, но уверен, что это возбуждение приходит извне. Он спускается в метро и ощущает, как начинает засыпать; «что бы это могло значить?». Разговоры имеют «руководящий» характер, однако самый великий из безумцев все еще самостоятельно ориентируется и владеет собой. Голоса говорят ему: «Ты больше не вернешь себе свою свободу». Когда он ложится спать, появляются светящиеся феномены, красноватое сияние. Он ощущает слабость в руках, испытывает жар в груди. Голос говорит: «Когда ты жил на улице Н., я сто десять раз сыграл со смертью». Он слышит голоса, и, вместе с тем, его начинает подташнивать, ему что-то давит на сердце. Голос говорит: «Мне нравится уничтожать людей».

18 февраля. — «Самое ужасное в этом во всем — то, что я лишен свободы». Светящиеся феномены продолжают появляться. В течение всего дня, не прекращаясь, он видит две точки, а вечером свет небесно-голубого цвета, который идет от окна, доходит до его кровати, это похоже на свет прожектора. Он видит его, даже когда лампа уже погашена. Ночью на потолке он видит светящиеся круги. А утром ему говорят, что его фотографировали. Когда он заходит в кафе, вокруг него образуется какой-то туман, он начинает дрожать; потом ему будто наносят удар в сердце, после чего он начинает кашлять. Когда голоса становятся более многочисленными и частыми, атмосфера вокруг него словно пропитывается этим, кажется, что все в огне; это приводит к чему-то, напоминающему сжатие сердца и легких изнутри, а голову окутывает туман. Кто-то в это время обещает: «Я подтолкну тебя сделать выстрел». Еще голоса говорят: «Если ты отправишься на операцию, то уже не вернешься». Эти слова проникают прямо

через уши, даже когда он лежит на боку, на ухе. В последнее время он заметил, что при кашле у него в ухе слышится незначительный свист. Небесно-голубой свет проходит даже сквозь одеяло. Однажды он смог посмотреть сквозь одеяло и увидел под ним скелет. Он постоянно ощущает уколы в сердце и в легкие; это принуждает его смеяться против собственного желания. Его окружают четыре или пять человек; он видит их, но не так, как реальных людей; он видит их на поверхности и не в облике настоящих тел. Кажется, что все это создали гипнотизеры и организаторы спиритических сеансов. Может статься, что на одной из стен, к которой подведено электричество, нарисовали его портрет; кто-то разговаривает с портретом, а ему приходится слушать все это. С того момента, как начались разговоры, ему постоянно кажется, что они идут со стороны; в конце концов нужно найти, откуда идет все это. Наверное, самым правильным было бы обратиться в полицию, чтобы они положили конец его волнениям.

Вот такие сведения мне удалось собрать в ходе нескольких обследований, на которых я присутствовал. Хочу добавить, что эти «голоса» были значительно более частыми, чем может показаться из описания. Они существовали практически постоянно. У больного появилась привычка записывать все, что они говорили ему, — это было его единственное занятие, а может, даже своеобразная реакция защиты против воинственного присутствия данных феноменов, — его пометки заняли несколько толстых тетрадей. Периодически он слышал голоса даже во время наших с ним бесед.

После этих нескольких осмотров я не мог полностью выпустить больного из виду; мы с ним жили в одном квартале и нередко встречались на улице. Его состояние не изменилось. Не в силах работать, он влачил жалкое существование, выживал только за счет денежной помощи, которая давала ему возможность не умереть с голоду. Иногда, в кафе, «заморив червячка» овощной похлебкой, служившей ему обедом, он оставался сидеть за столом и записывал в свои тетради то, что говорили голоса. И, кстати, до настоящего момента он ни разу не проявил ни одной защитной реакции, которая могла бы нарушить общественный порядок, вероятно, никогда и не поступит подобным образом. Однако, с другой стороны, вероятно, так происходит потому, что он не занимается никакой деятельностью, не выполняет никаких поручений и продолжает жить отдельно от общества, лицом к лицу со своими патологическими феноменами, никого не стесняя при этом. Как-то раз, взбешенный одним из друзей, который предрек ему смерть от изнеможения, спровоцированного отсутствием

средств к существованию, он пришел в ярость; я видел, что его хотели поместить в специальное учреждение, но компетентные органы ответили, что по причине его исключительно спокойного и неагрессивного настроения нет никаких оснований вмешиваться. В конце концов, скорее всего они были правы.

С клинической точки зрения этот случай не представляет собой ничего интересного. Я даже не буду систематизировать симптомы, не стану обсуждать диагноз. В данном случае мне интересен иной аспект происходящего.

Сидя напротив больного, я понимаю, что являюсь проводником моих собственных мыслей и что мне не хочется записывать хорошо известные симптомы; я заставляю себя понять эти симптомы на основании моей собственной психики; я наблюдаю за тем, что сам испытываю в присутствии больного, пытаюсь выявить несоответствия между нашими психиками, и тогда вижу, как передо мной возникают различные проблемы, которые появляются в свете такой двойной совместимости, если вы позволите мне так выразиться, в свете такой двойной психопатологии, существующей в каждом миге живой психологии.

Больной говорит, что слышит голоса, идущие извне. Я верю, что «слышит», но не верю тому, что именно, по его словам, он слышит, и я начинаю рассуждать о галлюцинациях.

Это происходит абсолютно естественно. Ни на один миг я не сомневался по поводу правильности моих собственных ощущений, у меня даже не было мысли пригласить кого-то, чтобы рассудить нас. Я по-прежнему уверен в объективности реальности, которую вижу и слышу. Любая теория галлюцинаций незаметно приводит к трансформации восприятия в «истинную галлюцинацию» или, скорее, в галлюцинацию, которая была признана истинной либо на основании повторяющихся предыдущих опытов, либо по причине соответствия этих непохожих восприятий таким теориям, находящимся в противоречии с ближайшими данными нашего сознания, которое является для нас первоисточником в данном случае.

Если бы я попытался представить себе галлюцинацию, опираясь на реальность, то смог бы сделать это, только представив ее в форме внезапного события, быстрого, как вспышка, и тут же растворившегося при встрече с неудержимой, не требующей никакого контроля *мощью* сенсорной реальности. Именно это мы и видим, когда происходят так называемые истинные галлюцинации, как в нормальной жизни, так и при ненормальных условиях (например, при раздражении нервных

окончаний)¹⁰⁰. Но это не случай нашего больного. Сам он, кстати, не пытается контролировать голоса при помощи других чувств и не беспокоится о том, чтобы узнать, слышат ли их остальные, скорее даже напротив: кажется, он достаточно легко приспособился к тому, что все остальные их не слышат. По этому поводу я вспомнил одну больную, страдающую от галлюцинаций, которая, говоря со мной о голосах, спросила: «Так, значит, вы их не слышите?» — и, после того как получила отрицательный ответ, ничуть не удивившись, сделала вывод: «Значит, их слышу только я одна». Наш больной не задает подобных вопросов; похоже, ему это несколько не интересно. Правда, однажды он высказал предположение, что его друзья слышат те же голоса, что и он, обосновав это тем, что они улыбались, однако он вовсе не считает, что все остальные, оказавшись рядом с ним, тоже должны слышать их. Его даже не посещала мысль убедить меня в том, что и я должен бы их слышать. Получается, что, скорее всего, галлюцинации нашего больного являются частью *десоциализированного*¹⁰¹ мира, который, с большим или меньшим успехом, заимствует свой чувственный характер из объективной реальности. Мы сейчас говорим о десоциализированном мире, а не о мире субъективном, так как наш больной наделяет эти голоса, по сравнению со своей собственной личностью, объективными и внешними характеристиками, полностью игнорируя проблему их коллективного или социального воздействия. Безусловно, со временем больной пытается определить, кто бы мог беспокоить его, даже подумывает о том, чтобы как-то обезопасить себя; так он реагирует на эти голоса социально, но очевидно,

¹⁰⁰ В данном исследовании термин «галлюцинация» я применяю в самом широком значении этого слова. Здесь мы используем общепринятое противопоставление истинных галлюцинаций и псевдогаллюцинаций и собираемся характеризовать именно первые. Достаточно редко их различают на основании тех характеристик, которые мы сейчас будем перечислять; непрерывно длящаяся галлюцинация имеет все шансы оказаться лишь псевдогаллюцинацией; она не может быть ничем иным, кроме как выражением психической основы, претерпевшей глубочайшие изменения. А то, что голоса слышатся непосредственно ушами или прямо в голове, является отличительным признаком этого — в данном случае я полностью согласен с положениями диссертации, которую недавно защитил Лелон (Lelong P. «*Le problème des hallucinations*». Thèse de Paris, 1928), — но для нас особого интереса не представляет, здесь речь скорее идет о смежных чертах, нежели о ведущей характеристике.

¹⁰¹ Е. Гельма, занимаясь исследованиями галлюцинаций и навязчивых идей (Gelma E. «*Les Hallucinations auditives sont-elles entendues par les malades comme des sons perçus par un Sujet normal?*» и «*Les limites de la croyance morbide*». Strasbourg, 1923 et 1929), также настаивал на этом критерии десоциализации.

что такое поведение не имеет ничего общего с исключительно коллективной характеристикой, которой обладает в нормальной жизни адекватно воспринимаемая реальность.

Таким образом, в случае нашего больного речь идет не только о нарушении восприятия, но и о глубинных изменениях формы психической жизни, одним из выражений которой является галлюцинация. Данное утверждение как нельзя лучше сочетается с тем, что слуховые галлюцинации больного сопровождаются целой серией других патологических проявлений, с которыми, кажется, эти галлюцинации находятся в гармонии и вместе с которыми образуют не какой-то набор смежных симптомов, а, наоборот, одно неделимое целое. Именно об этом *целом* мы и ведем речь, нам следует определить его положение относительно феноменов нормальной жизни.

Десоциализация не распространяется на единство воспринимаемой реальности; она далека от того, чтобы претендовать на глобальность. Галлюцинаторные феномены не заставляют больного сомневаться в реальности своих ощущений, не заставляют вводить их в его мир галлюцинаций. Он по-прежнему способен видеть то, что существует вокруг него, слышать то, что ему говорят, точно так же, как и раньше. Он умеет делать скидку на обстоятельства. Иногда это явно прослеживается в ходе наших бесед, когда он заявляет: «Постойте-ка, за то время, пока мы с вами разговаривали, мне сказали то-то и то-то, откуда бы все это могло взяться?» То есть в данном случае галлюцинации накладываются на восприятие реальности.

Именно по этой причине, когда я нахожусь в его обществе, у меня складывается впечатление, что в нем самом, в зоне восприятий, словно существуют два различных мира — нормальный и с патологией, однако ни один из них не был сформирован в ущерб другому, так как, в общем-то, ничего не изменилось и не исказилось в нем самом.

Отсюда на ум приходит мысль о *диссоциативном* расстройстве, но это диссоциативное расстройство не может быть противопоставлено ни тому явлению, которое мы называем идейным нарушением, ни нарушению элементарных психических способностей, а характеризует наше однозначное и однотипное отношение к воспринимаемой реальности. На основании данной точки зрения, это расстройство значительно отличается от общего расстройства такого отношения, в том виде, в каком мы сталкиваемся с ним при состояниях спутанного сознания или галлюцинаторного помешательства, при которых, кстати, галлюцинаторные феномены, если таковые случаются, имеют совершенно иные параметры.

Как мы с вами уже видели, мир патологий не формируется в ущерб нормальных феноменов того же порядка, скорее, он противопоставляется им. Возникает впечатление, что мы имеем дело с *неопродуктивностью*, если воспользоваться выражением Эснара. Однако мы не должны забывать, что сама по себе болезнь не способна создать ничего нового и что видимая непродуктивность впоследствии может быть всего лишь выражением нижележащего расстройства, которое нам необходимо определить.

Чтобы нормально воспринимаемая реальность испытывала на себе галлюцинаторную непродуктивность, глубокие изменения психической жизни обязательно должны дать возможность возникнуть такому особому способу существования в мире восприятий. Необходимо, чтобы произошли изменения, если вы позволите так выразиться, *допустимых отклонений* воспринимаемой реальности через ее отношения с больным. Чуть выше мы уже говорили о десоциализации. Теперь можно рассмотреть все более подробно. Если мы испытываем уверенность — а это, как уже было замечено, и есть ближайшие и элементарные данные, — что остальным людям доступно то, что мы видим или слышим, так же, как и нам, то одновременно у нас имеется понимание, что через свое восприятие мы *расходуем* часть той реальности, которую видим, вместе со всем тем, что можем воспринимать в ней. И эта часть представляет собой единое целое. Отсюда вытекает ее характеристика *целостности*; иными словами, в ней не может содержаться ни одного предмета, который ускользнул бы от нашего зрения или слуха, ничего, что может быть воспринято другими отлично от нашей собственной способности восприятия. Для наших органов чувств там нет никаких «чудес»: за тем, что мы действительно воспринимаем, не скрывается ничего особенного; там есть все, что доступно и находится в зоне досягаемости. Мы чувствуем уверенность в своих силах относительно этой реальности. А наш больной не только обвиняет во всем собственное восприятие, он еще проецирует его на реальность, которая при нормальных условиях истощается тем, что в ней есть осязаемого.

Поэтому мне трудно воспринимать то, о чем говорит больной (и почему бы просто не принять его способность слышать голоса как самый естественный феномен?); я также не признаю, что он может обладать «шестым чувством», и рассматриваю его исключительно как «одержимого», как «психически больного», в силу чего у меня складывается впечатление, что существует какое-то изменение в допустимом

отклонении¹⁰² воспринимаемой реальности, что в нем самом словно присутствуют два отделившихся друг от друга противостоящих мира¹⁰³. А поскольку каждый из этих двух миров наделен свойствами пространственного характера, следуя идее «двойной совместимости», мы задумываемся о *двух пространствах*, противопоставленных друг другу в восприятии нашего больного, что для нас является естественным отражением того, каким образом он воспринимает реальность.

Впрочем, похоже, мы зашли в тупик, так как на самом деле существует только одно пространство, и на первый взгляд нам кажется невозможным представить, как это пространство, даже в нашей субъективной жизни, способно само раздвоиться и противопоставиться себе. Да, кстати, и наш больной проецирует свои галлюцинации в том же самом пространстве. Но как выйти из этого тупика?

Прежде всего, давайте попытаемся уточнить особую *структуру* патологического мира нашего больного.

Его мир состоит из элементов чувственного порядка. Это непрекращающиеся голоса и разговоры, которые он слышит постоянно, но также еще и уколы, и удары, подобные «взрыву в сердце», и боль как от «загнанной ему в грудь отвертки», и сквозняки, и ощущения холода или жары, и вспышки в нижней части головы, и светящиеся феномены, сверкающие точки, красное сияние или небесно-голубой свет, красные светящиеся круги на потолке, и человеческие фигуры, которые воспринимаются не как настоящие тела, а как силуэты на плоской поверхности.

Эти чувственные элементы объединены общей чертой: все они, в большей или меньшей степени, *недолговременные*, они возникают, чтобы исчезнуть, приходят и уходят, сменяя друг друга, не образуют что-то стабильное, незыблемое, как, например, *объекты*, которые мы обычно видим. Выявив эту общую черту, мы смогли приблизиться к проблеме *организации* чувственных элементов между собой. Мы уже отметили одну характерную для них черту, когда говорили, что в патологическом мире нашего больного не существует объектов, в прямом значении слова. Значит, организация чувственных

¹⁰² Эта модификация толерантности в основном является не чем иным, как уменьшением силы воспринимаемой реальности, о которой мы говорили выше.

¹⁰³ Кроме того, следует отметить, что эти два мира не имеют такой же степени реальности; в болезненном восприятии мира есть что-то фиктивное, создается впечатление симуляции, и поэтому пациент полагает, что голос, который он слышит, принадлежит молодому человеку, имитирующему голос старика, или что на идише пытается говорить немец.

элементов происходит вовсе не в том смысле, который характеризует мир восприятий. Однако эти элементы не изолированы, что, в принципе, могло быть очень даже возможно; для нашего больного они являются частью единства, к которому он подбирается, когда устанавливает *тесную связь* между феноменами, происходящими *одновременно*¹⁰⁴. Именно по этой причине он утверждает, что разговоры *сопровождаются* уколами, что *одновременно с тем*, как у него из носа выделяется какая-то особая мокрота, голоса говорят ему, что это кровь, что *одновременно с тем*, как он слышит голоса, у него бывают приступы тошноты или он ощущает тяжесть в сердце, а раздражение кишечника либо происходящие вспышки *сопровождаются* разговорами. Я считаю, что именно в этом и заключается очевидная разница по сравнению с воспринимаемой реальностью; каждый из нас достаточно легко может ощутить укол или увидеть вспышку, не сближая эти феномены с разговором, который мы слышим в то же самое время. Мы достаточно хорошо представляем себе *изолированные* объекты, одновременное сосуществование которых может быть случайным. Все остальные отношения — это отношения, существующие в патологическом мире нашего больного. Понятие «в то же самое время» служит здесь для того, чтобы сблизить и объединить феномены разного типа, которые, кажется, каждый по-своему, могли бы претендовать на независимое существование. В данном случае имеет место конгломерация фактов, аналогичная уменьшению масштабности жизни, о чем мы говорили в предыдущем параграфе. В остальном следует отметить лишь то, что отношения, установленные таким образом, на самом деле не являются каузальными, в прямом значении этого слова. Прежде всего, в данном случае речь идет о каком-то особенном объединении, как если бы рассматриваемые феномены зависели от одних и тех же стоящих за ними *таинственных сил*.

Полагаю, именно эти таинственные силы и являются основанием, на котором вырисовываются чувственные феномены, объединяющиеся между собой так, как мы только что подчеркнули. Это подтверждается и тем обстоятельством, что индивид, столкнувшись

¹⁰⁴ В своей «Общей психопатологии» («*Allgemeine Psychopathologie*», 1913, Глава II, § 4) Ясперс говорит, что такие *одновременно возникающие аномальные ощущения* еще описаны мало, но встречаются довольно часто, особенно при параноидальных процессах, и что в данном случае речь идет об истинных *дополнительных ощущениях*, а не об известных нам объединениях звука и цвета, выявленных при воспроизведении (цветовой слух, синопсия и т.д.).

с такими феноменами, словно дезориентирован и пытается постичь тайну, с которой он оказался лицом к лицу. Вот почему у нашего больного выделение мокроты из носа превращается в кровотечение, а факт сонливости в метро получает исключительное значение, становится точкой отсчета для начала рассуждений о мистическом характере произошедшего; отсюда и установление отношений между потребностью плевать и патологическим миром, влиянию которого он подвержен, и приписывание сексуального возбуждения воздействию некой силы, исходящей извне¹⁰⁵. Теперь, уточнив принципы, регулирующие организацию составных элементов его патологического мира, мы должны понять, какое место сам он отводит себе относительно этого мира. Прежде всего, очевидно, что патологическая реальность больного не имеет определенного местоположения, но способна обволакивать его со всех сторон. Именно поэтому, когда он на улице, что-то похожее на шепот *обволакивает его полностью*; именно поэтому он чувствует себя лишенным свободы, как если бы *вокруг* него всегда присутствовали люди; в кафе *вокруг него* существует какой-то туман, а сам он дрожит; и когда голоса становятся более многочисленными и частыми, атмосфера *вокруг него* как бы пропитывается этим, всё будто в огне, что приводит к чему-то, напоминающему сжатие сердца и легких изнутри, а *вокруг его головы словно образуется туман*.

Однако патологический мир не просто распространяется вокруг индивида, обволакивая его со всех сторон. Между ними устанавливается значительно более тесный контакт — настолько тесный, что границы практически стерты. Патологический мир проникает в самого индивида, выводит наружу все, что у него есть интимного и личного, так что он как бы растворяется в таинственной обстановке, которая его обволакивает, становится с ней единым целым. Такое сокращение интимности, личностного характера «я», на мой взгляд, и объясняет возникновение жалоб нашего больного, касающихся того, что его лишили свободы, заставляют улыбаться или делать рисунки против воли, что эти голоса «руководят» им, а все, что он читает, все, что он пишет, все, что делает, и все, о чем думает, повторяется где-то в другом месте или сопровождается разговорами. Единственная мысль, к которой он пришел, чтобы объяснить свои ощущения, заключается в том, что на одной из стен, куда подведено электричество, нарисовали его

¹⁰⁵ Аналогично с тем, что было сказано чуть выше: Глава 2, § 6.

портрет, а он слышит разговоры, адресованные этому портрету, что, мне кажется, лишь подтверждает сказанное выше¹⁰⁶.

Таковы основные черты структурного порядка, свойственные патологическому миру нашего больного. Сейчас речь пойдет о том, чтобы изучить их более углубленно с феноменологической точки зрения.

Чуть раньше я уже обращал внимание на понятие *гармоничных феноменов*. Теперь передо мной стоит проблема поиска соответствующего феномена в структуре нормального сознания — несущей основе возникшего патологического мира нашего больного.

Поиск этого феномена подвел меня к изучению *двух способов проживания пространства*.

Чтобы различить эти два способа проживания пространства, я вернусь к тому, о чем уже говорил раньше, — к понятиям «ясного пространства» и «черного пространства». В данном случае, выбирая эти термины, мы не подразумеваем ни физические условия, которые создает либо ясность, либо темнота, ни физиологические условия, необходимые для того, чтобы я мог видеть, слышать или ощущать как ночью, так и днем. Я полностью абстрагируюсь от этих условий и ухожу в плоскость феноменологии: здесь имеется в виду, что я пытаюсь найти и подчеркнуть основные характеристики обоих феноменов, о которых идет речь и которые, в нашем понимании, обладают чертами, имеющими отношение к пространству. И если все-таки для отображения двух способов проживания пространства мы выбрали именно эти термины — «ясное пространство» и «темное пространство», — то дело тут исключительно в том, что ясность дня, с одной стороны, и непроглядность темной ночи — с другой, помогают нам как нельзя лучше проиллюстрировать оба изучаемых феномена, представляя их, скажем так, в самом чистом виде. Однако, как мы с вами уже видели, контраст между двумя этими феноменами не ограничивается исключительно контрастом между «ясным» и «темным», в физическом или физиологическом значении; он выходит далеко за пределы этого контраста и содержит целую серию критериев другого порядка.

¹⁰⁶ Интересно вспомнить здесь мимоходом, что пациентка, которую я ранее описал (*Evolution psychiatrique*, t. II), использовала гипотезу такого же рода, чтобы объяснить свои ощущения. Так, она рассказала нам, что однажды почувствовала, как что-то обожгло ее лицо, и при этом пахло жареными каштанами; в то же время ей казалось, что дождь струится по ее лицу. «Может быть, — добавила она, — в этот момент человек, проходивший под дождем мимо продавца жаренных на гриле каштанов, внушил мне свои мысли».

Я открываю глаза, и тогда ясное пространство во всем своем многообразии раскрывается передо мной. В этом пространстве я вижу различные краски и разнообразные отблески света, это понятно; но точно так же я вижу в нем объекты, обладающие четкими очертаниями, я вижу расстояние, которое отделяет их друг от друга, или то, что «совсем рядом», все это устанавливает между ними тесные связи, с пространственной точки зрения. Я вижу предметы, но, по большей части, я вижу *пустое* пространство, пространство *свободное*, находящееся между предметами, и это пространство, кстати, я вижу так же хорошо, как и предметы, которые в нем находятся. Здесь есть протяженность, есть «пространство», хочется сказать мне, когда я нахожусь в этом ясном пространстве. Безусловно, предметы кажутся более материальными, чем само пространство, тогда как оно представляется мне более мимолетным и менее осязаемым;¹⁰⁷ и все же я не воспринимаю его хуже, просто в данном случае оно служит лишь формой, основой для предметов, находящихся в нем, предметов, которые доминируют над ним в силу их большей материальности.

Конечно, сказанное сейчас вовсе не означает, что это пространство должно сводиться исключительно к визуальным феноменам. Мы можем воспринимать в нем и звуки, но эти звуки будут относиться к *объектам*, находящимся в пространстве; именно по этой причине я могу слышать тиканье часов, стоящих на столе, или слова, произнесенные людьми, сидящими напротив меня.

В этом пространстве все *ясное*, точное, естественное, не создающее проблем.

Я тоже нахожусь в этом пространстве и, как минимум одной из сторон моего существа, становлюсь *подобным* окружающим меня предметам; как и они, я занимаю какое-то место в этом пространстве относительно других предметов, находящихся в нем. Я, так сказать, «вхожу в их ряды», а пространство, которое объединяет нас всех, выполняет работу по *выравниванию*. Таким образом, пространство становится «общественным местом», как я уже говорил. Я делю его со всем, что оно содержит в себе; оно мое ровно настолько, насколько принадлежит и всему, что в нем находится; я занимаю в нем лишь милое маленькое местечко. Именно в этом пространстве я *вижу*, как мне подобные смотрят, передвигаются, действуют, живут так же, как и я. Ясное пространство — это пространство, которое изначально *социализировано*, в самом широком значении. Именно

¹⁰⁷ Не в чувственном, а в феноменологическом смысле этого слова.

в этом пространстве, кстати, не зная никаких препятствий, развивается и моя деятельность, в нем я всегда нахожу необходимое для нее место; и еще раз повторю: в первую очередь это пространство характеризуют понятия расстояния, протяженности и масштабности.

Находясь в этом пространстве, я не полностью отдаюсь ему. Я сохраняю тайные места моего существа, которое принадлежит мне одному и отрицает пространство. А слова *экстро-* или *интроспекция*, на самом деле являющие собой процесс заглядывания за пределы и внутрь, имеют смысл исключительно относительно ясного пространства.

Давайте представим темную ночь, настолько темную, что в ней ничего не видно, а еще лучше — попробуем создать абсолютную темноту, закрыв глаза и, насколько возможно, абстрагируясь от всего, что знаем, от всего, что можем вообразить, находясь в ясном пространстве. Эта темнота не является исключительно обычным отсутствием света, как известно, в ней есть нечто положительное. Она кажется значительно более материальной, более «насыщенной», чем ясное пространство, которое, как мы с вами уже видели, стирается на фоне материальности находящихся в нем объектов. Безусловно, как таковое, это пространство не разворачивается передо мной, но оно касается непосредственно меня, обволакивает меня, сжимает в своих объятиях, проникает в меня, проходит меня насквозь, так что даже хочется сказать, что мое «я» для темноты является проницаемым, при том, что оно совершенно непроницаемо для ясности. Получается, что относительно темноты мое «я» не самоутверждается, оно сливается с ней, становится с ней одним целым. Основное отличие в способе проживания ясного пространства заключается именно в этом. Но не только.

В ясном пространстве все отчетливо, точно, понятно, а в черном пространстве все мрачно и загадочно. Мы ощущаем себя словно в присутствии чего-то неизвестного, в положительном значении; именно такой феномен «таинственности», кажется, лучше всего и самым непосредственным образом объясняет эту характерную черту проживаемой темноты.

Указанная черта свойственна и самой ночи, однако в данном случае она распространяется на все, что может происходить в темноте. Так как в ней что-то все же может происходить, абсолютная темнота вовсе не означает абсолютного небытия. Темнота может внезапно ожить, даже без того, чтобы особой, свойственной ей атмосфере был нанесен какой-то удар. Ночь полна сюрпризов и тайн. Вспышка света,

искра могут возникнуть в ней, рассеять темноту подобно падающей звезде, чтобы затем потухнуть. В ней могут разноситься шепот, звук, голос; в ней может возникнуть леденящее дыхание; порой она даже может наполняться шепотом и шумом. Безусловно, как только мы сумели определить эти шумы — что происходит практически интуитивно, — как только соотнесли их с предметами или с людьми, мы смогли ввести в наше черное пространство представления, возникающие из ясного пространства, и тогда темнота становится не такой непроглядной. Но все это вторичные операции, они не должны помешать нам изучать жизнь ночи с ее оригинальными простейшими характеристиками. Итак, все, что происходит ночью, кажется нам относящимся к тайне, которая характеризует ее; все может казаться нам даже более мимолетным, более скоротечным, чем она сама, так как сейчас она сама является предметом, материей, тогда как все то, что происходит в ней, — всего лишь случайность; именно поэтому она служит не формой, а транспортным средством для всех этих случайностей, сближает их друг с другом, объединяет в единое целое, не заботясь об их совместимости и всякий раз заново проецируя их на тайную основу, которая является ее сущностью.

И все-таки, имеет ли темная ночь что-то общее с пространством? Я думаю: да, только это особенное пространство. Безусловно, оно не может быть аналитическим. По сравнению с ясным пространством, в нем не будет понятий «рядом», «на расстоянии», «поверхность», «протяженность», в прямом значении этих слов. Но в нем все же есть кое-что пространственное: в нем есть *глубина*, только это не та глубина, которая может быть связана с шириной и высотой, это одна-единственная уникальная характеристика размера, изначально определяемая как ширина; она похожа на непрозрачную безграничную сферу, все радиусы которой равны и имеют одну и ту же характеристику глубины. А глубина эта остается черной и таинственной.

Возможно, чтобы нагляднее проиллюстрировать такое положение вещей, нам придется еще раз обратиться к понятию проживаемого пространства (см. предыдущий параграф). Находясь в концертном зале, я закрываю глаза и отдаюсь прослушиванию музыкального произведения. В данном случае существует расстояние, однако для звуков не может быть ни «рядом», ни «расстояния», ни «протяженности»; я буду охвачен этой музыкой со всех сторон, звукам даже удастся добраться до моего «я», до самой глубины моего естества, они смогут изменить это пространство, так же как и меня самого, превратив его в однородную звучащую сферу, если можно так выразиться,

а я буду вибрировать от контакта с этими гармоничными звуками, наполняющими меня подобно тому, как это делает и вся окружающая обстановка.

В этом пространстве, как и в пространстве темной ночи, я не могу определить свое место относительно звуков, которые слышу, и уж тем более относительно предметов, что легко делал в ясном пространстве. Это пространство не может быть социализированным. Оно будет только моим, даже не требуя от меня стать субъективным, в общепринятом значении этого слова; так будет потому, что я дам субъективные характеристики всему происходящему. Лишенный ясности, я не узнаю, разделяют ли его со мной остальные, ведь, чтобы понять, слышат ли другие так же, как я, необходимо *видеть*, ибо, только имея возможность видеть, я могу определить, что другие тоже видят те же предметы, которые вижу я; это значит, что пространство принадлежит им ровно настолько, насколько оно принадлежит мне. Чтобы побыть с мелодией один на один, мне достаточно закрыть глаза; чтобы побыть один на один с картиной, мне нужно попросить директора музея запретить доступ к ней всем остальным посетителям.

Сейчас мы уже можем сказать, что *патологический мир нашего больного сформирован по модели черного пространства*.

Однако это еще не всё. Феномен черного пространства является частью жизни, а значит, в нем нет ничего ненормального; так почему же мир нашего больного стал «патологическим»?

Здесь мы сталкиваемся с проблемой отношений, существующих в нормальной жизни между ясным и черным пространством. Поскольку в нормальной жизни они достаточно хорошо согласуются между собой, патологическая характеристика может проявляться лишь в случае нарушения этих отношений. Даже не желая того, чтобы разобрать данную проблему, я все-таки попытаюсь указать, каким образом она должна или, вернее, не должна быть исследована¹⁰⁸.

В психологии принято говорить о двух видах пространства: о воспринимаемом и представляемом, или, иными словами, об объективном и субъективном пространстве. Однако, как мы уже не раз отмечали, такие общепринятые противопоставления совершенно не могут

¹⁰⁸ Сейчас мне бы хотелось напомнить, что А.А. Грюнбаум еще много лет назад представил очень интересное исследование, в котором дал новые точки зрения, касающиеся психопатологии пространства («*Pseudovorstellung und pseudohalluzination. Beitrag zur Pathophysiology des Gegenstandsbewusstseins*». Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, Bd. 37).

быть применимы к нашим двум способам *проживания* пространства, которые были особо подчеркнуты выше. Кстати, есть еще один способ продемонстрировать, что противопоставление воспринятых и представляемых вещей, точно так же, как субъективных и объективных, является недостаточным в том случае, когда речь идет о проживаемом пространстве.

Хочу еще раз вернуться к ситуации, которая была описана чуть выше. Я сижу в своей комнате и смотрю перед собой. Мой взгляд охватывает все, что находится в комнате, доходит до двери и стен и на этом останавливается. Но я знаю, что пространство продолжается намного дальше, что оно существует и за стенами, и за дверью. Это и есть пространство наших представлений, скажете вы. Что ж, хорошо, отвечу вам я, такое предположение может оказаться верным, если речь идет о том, что мне нужно представить себе вещи, находящиеся в соседней комнате, вещи, местоположение которых я знаю, потому что уже видел их раньше. А если мне неизвестно, что находится в соседней комнате? В любом случае, лично для меня пространство будет двигаться дальше, не ведая препятствий, но при этом все еще оставаясь здесь; в моем восприятии оно будет не представляемым, а исключительно проживаемым, точно таким же, какое существует у меня перед глазами. А вот вам и подтверждение: вдруг я слышу резкий звук за дверью; разве на основании того, что возник этот звук, пространство, являвшееся ранее исключительно представляемым, вновь переходит в область воспринимаемого? Конечно, мы можем утверждать это в интересах дела, однако такое утверждение никогда не будет соответствовать ближайшим данным сознания; более того: между ним и этими данными возникнет противоречие, так как в реальной жизни мы не отмечаем никакого перехода, никаких изменений в способах проживания пространства до и после возникновения звука. Точно так же все обстоит с пространством, которое существует позади нас¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Несколько таких замечаний достаточно четко показывают нам, как мне кажется, что общепринятое противопоставление восприятий и представлений является недостаточным, чтобы понять, какие основные характеристики имеет патологический мир нашего больного. Более того, они помогают обосновать теорию, что критерии, которые обычно применяют для того, чтобы отличить истинные галлюцинации от псевдогаллюцинаций, а именно, слышатся они ушами или непосредственно в голове, является всего лишь вторичной и смежной характеристикой изучаемых феноменов; черное пространство изначально намного больше проникает в меня, обволакивая со всех сторон, нежели ясное пространство; различия между «внутри» и «снаружи» и, впоследствии, между

Сейчас самое время спросить себя: чтобы наиболее адекватным способом охарактеризовать отношения, существующие между двумя способами проживания пространства, можно ли сказать, что ясное пространство оказывается включенным в черное пространство или что оно встроено в него? Это помогло бы нам постичь вероятность возникновения изменений патологической природы в области отношений между ними. Именно по этой причине в данном случае мы позволили себе говорить о *наложении* двух рассматриваемых нами пространств.

Чтобы еще раз подчеркнуть, какую роль в нашем исследовании призвана сыграть психопатология пространства, я решил позаимствовать несколько примеров из исследований шизофреников доктора Ф. Фишера¹¹⁰ и, прежде всего, нижеследующее описание относящегося к пространству особенного расстройства, которое было сделано одним из его больных: «Я знаю лишь то, что этот осенний пейзаж (больной находился рядом с ним), не изменяя своего места, проник сюда раньше из другого пространства. Такого нежного и такого незаметного. Вряд ли мы смогли бы заметить его. А второе пространство было темным, или пустым, или пугающим — трудно сказать, какой из этих эпитетов больше всего соответствует правде. Время от времени казалось, что одно из пространств двигается, а затем они проходили друг друга насквозь. Они пересекали друг друга. Я не знаю, каким образом. Неправильно было бы говорить только об одном пространстве. То же самое происходило и со мной. Это был непрерывный опрос в отношении меня, порядок, указывающий мне отдыхать, или даже умереть, или продолжать движение вперед». В другой раз этот же больной описывал свои ощущения: «Помещение, в котором я находился... я все еще видел его, но был к нему абсолютно равнодушен. Казалось, что пространство растягивается, увеличивается до бесконечности, и в то же самое время оно словно было лишено своего содержания... Я чувствовал себя одиноким и покинутым, беспомощным, неспособным удовлетворить себя самого, предоставленным бесконечному пространству, которое, несмотря на мимолетный характер, угрожающе разворачивалось передо мной. Для меня изначально оно являлось дополнением к моей собственной пустоте и крахом моей души... Перед собой я видел кружение, или, правильное

органами чувств играют в данном случае лишь незначительную роль, поскольку предназначены исключительно для внешнего восприятия.

¹¹⁰ См. прим. 64.

будет сказать, я чувствовал себя вертящимся в узком и ограниченном пространстве. Этот круговорот был одновременно движущимся и неподвижным. Одномоментно рухнули время и прежнее осязаемое пространство, о котором я говорил выше, оно отделилось, как будто являлось функцией другого пространства».

Еще один больной говорил так: «Воздух все еще здесь, он проходит сквозь предметы, находящиеся в комнате. Однако сами предметы здесь не находятся. Иногда это выстраивается в какой-то порядок — то, как я должен думать о различных предметах: балка на кровати, подушка, стена, окно и так далее. И всякий раз то, о чем я подумаю, исчезает. Одно пустое место присоединяется к другому, но все по-прежнему здесь. А иногда бывает, что вокруг пусто. Безбрежное море, каким является вселенная, пустеет так же, и тогда мне становится страшно»¹¹¹.

Все это заставляет задуматься. Но однажды приходит время остановиться.

Чтобы завершить этот параграф, я бы хотел, как уже делал ранее, в предыдущих параграфах, сказать только одно: цель этого исследования состоит лишь в том, чтобы выставить на обсуждение мысли, на которые натолкнул меня мой больной. У этих идей все еще отсутствуют необходимые многочисленные уточнения, однако, возможно, они могли бы указать нам, как минимум в общих чертах, направление, в котором должны двигаться наши исследования.

¹¹¹ Не так давно Ф. Фишер вернулся к изучению этого вопроса в работе «О восприятии пространства при шизофрении» («Ueber das Räumliche in der Schizophrenie». *Versammlung der Südwestdeutschen Neurologen und Psychiater*, Baden-Baden, 1931).

ПОСЛЕСЛОВИЯ

Александр Минковский

«Порядочный человек» Эжен Минковский

Когда мне вручили медаль, присужденную отцу еще при жизни, я решил написать на ней одну из его любимых фраз, которая иллюстрирует образ мышления моего отца: «Человек создан для того, чтобы обрести человечность».

В то время, где-то в 50–60-х годах, эта мысль казалась мне почти прописной истиной, я находился в самом разгаре собственного «биологического» периода, мое сознание, обеспечивая мне лишь «безопасность», было столь примитивным, что это даже мешало думать.

Сегодня, находясь на пенсии и занимаясь проблемами психического будущего детей, переживших стресс во время войны или после природных катаклизмов, я признаю, что придаю этой его мысли особое значение, ибо сейчас в нашем лишившемся гуманности мире «технократов» она настолько истинна, как никогда прежде. Чаще всего солидный «человечный человек» из стран «третьего мира» не имеет ни таких мыслей, ни таких приоритетов.

Если бы четвертый возраст приходился на детство, то я был бы очень рад оказаться в этом возрасте, так как теперь понимаю, что было для меня самым дорогим в мире — мои родители, Эжен Минковский и Франсуаза Минковска, неразлучная пара, существующая ныне только в воспоминаниях. Если я стал детским психиатром, чтобы гарантировать улучшение состояния сирот — жертв циклона в Бангладеш, уцелевших при «Красных кхмерах» в Камбодже, выживших после решающих боснийско-хорватских столкновений, — то этим я обязан именно Эжену Минковскому, и именно благодаря матери,

Франсуазе, я вступил в ряды оказывающих помощь детям и отчаявшимся матерям.

Когда я был ребенком, Эжен Минковский, по натуре очень сдержанный человек, воспитывал меня практически без слов; он отличался особой формой благородства — любовью к ближнему.

Основную часть своих каникул мне довелось провести в психиатрических клиниках в Швейцарии, а по воскресеньям я чаще всего бывал в клинике Святой Анны, общаясь с теми французскими психиатрами, которыми восхищался: с Полем Гиро, с братьями Абели, чуть позже с Домезоном. Именно в клинике Святой Анны моим родителям удалось укрыться, когда в Париж вошли немецкие войска, затем еще раз, во время освобождения Парижа, им там предоставили кров, а отец был назначен интерном, самым старым интерном, когда-либо работавшим в парижских клиниках.

Журнал «Эволюция психиатрии» («L'Évolution psychiatrique») был для меня в детстве любимым чтивом. Еще вспоминается Сенанк, тюремный психиатр, которого вовремя смогла известить моя сестра, когда наших родителей арестовала дома французская полиция: он помог им не попасть в лапы немцев, а потом пережить депортацию.

Кроме того, именно отец показал мне горы, мир безмолвия и медитации, где, шагая по извилистым тропам, я, маленький мальчик, протягивал ему руку, чтобы защитить его от головокружения.

Все это привело к тому, что на службу в армию, а затем и на войну я отправился вместе с альпийскими охотниками. Делая это почти незаметно, именно отец был моим учителем, он привил мне вкус к риску, и в горах и повсюду своим примером он дал мне понять, что отдача является одним из самых ценных поступков в нашей жизни, раскрывая в нас жизненно необходимую потребность — энтузиазм.

Мой отец добровольцем ушел на войну в 1914-м, он участвовал в битвах при Вердене и на Сомме в качестве врача батальона. Вот и меня он превратил в солдата, за что я ему в самом деле признателен. По правде говоря, хоть это может показаться странным, солдаты, несущие службу в горах, были моими любимыми собеседниками, а чуть позже к ним присоединились еще и монахи, в частности дон Граммон, настоятель аббатства Ле-Бек-Эллуэн, вместе с которым я участвовал в военной кампании в Норвегии в 1940 году.

А еще он передал мне свой иудаизм. Тот самый, что сегодня уже исчез, тот, что исповедовали в еврейско-польской диаспоре, тот, что является одной из форм культуры и духовности, которых так не хватает этому миру. Не могу утверждать, что я достойный носитель этого необычного течения, но я стараюсь, насколько возможно, искать свои корни и истоки, помимо прочего, подражая отцу, любившему рассуждать о «растерянном еврее».

Короче, я всем обязан Эжену и Франсуазе Минковским. И если кто-то утверждает: «Я очень хорошо знал вашего отца», неизменно говорю: «Это лучшее, что вы могли сделать в своей жизни». А этот «кто-то» уже привычно для меня заводит речь о том, что мне никогда не достичь уровня Эжена Минковского, на что я отвечаю: «Полностью с вами согласен. Постараюсь сделать все возможное — в лучшем из миров».

Жанин Пийяр-Минковская
Эжен Минковский: взгляд в прошлое

Начав писать эти строки, я вдруг осознала, что сегодня годовщина смерти моих дорогих родителей, ибо судьбе было угодно, чтобы, с интервалом в двадцать два года, они умерли в один и тот же день — 14 ноября. В детстве поведение отца мне казалось одновременно жестким и мягким. Он очень мало говорил, всегда был поглощен своей работой, не зная в этом никаких пределов, поскольку никогда не переставал думать о ней: в принципе, он происходил из такой среды, где уважение к изучению слова, книге и аксиологии было традиционным явлением. С течением времени и наступлением дня сегодняшнего я смогла намного лучше постичь истинный глубинный смысл жизни моих родителей, и главным образом моего отца, так как в этой книге речь идет прежде всего о нем.

Я постараюсь сделать все возможное, чтобы, когда вы лучше его узнаете, у вас возникли хоть какие-то ассоциации.

Еще подростком отец выбрал для себя особенную линию поведения в жизни, от которой так никогда и не отклонился, она была для него источником этического вдохновения на протяжении всего его долгого существования. Он презирал внешние проявления и любил только то, что скрывалось внутри. Будучи выходцем из зажиточной семьи, он просто ненавидел светские утехы, а когда его отец, богатый варшавский банкир, заставлял сына посещать званые вечера, его принимали там за дурачка.

В 1905 году, после требований польских студентов, выступавших за обучение на польском языке, Варшавский университет был закрыт.

Отец решает продолжить учебу. Сначала он отправляется в Университет Вроцлава, который в то время был немецким, а затем в Университет в Мюнхене, где получает диплом

доктора медицины. Однако факультет в Варшаве все еще был закрыт, а для будущей карьеры требовалось сдать Государственные экзамены на русском языке, и он успешно делает это в Казанском университете в 1907-м.

Именно здесь произошло событие, после которого отец познакомился со своей будущей женой. На самом деле мама оказалась практически в такой же ситуации, и друзья посоветовали ей познакомиться с Эженом Минковским, чтобы не отправляться в одиночку в длинное путешествие в разгар зимы. Мама постучала в дверь комнаты, где жил Эжен Минковский, и лицом к лицу встретила с молодым человеком, очень озабоченным результатами предстоящих экзаменов, при этом он ей весьма серьезно сказал: «Если вдруг я провалюсь, то у меня уже заготовлены гвоздь в потолке и веревка, чтобы повеситься».

Нужно было придумать что-то другое, дабы напугать маму, ведь она тоже очень волновалась перед предстоящими экзаменами, а такое поведение юноши посчитала скорее странным...

Они поженились в 1913-м, все было словно в сказке, и Франсуаза Минковска стала его спутницей жизни. Отважно она разделила с ним все тяготы совместного бытия. Когда разразилась Первая мировая война, они смогли укрыться у моего дядюшки, который попросил великого мэтра Эйгена Блейлера¹¹² взять брата на работу в качестве ассистента в Бургхельцли. Этот день для отца стал знаменательным, он принял решение посвятить себя не математике или философии, а психиатрии.

В начале 1915 года мои родители вместе оставляют теплое местечко в клинике и направляются в Париж, где отец решает вступить в ряды французской армии в качестве военного врача.

Если углубиться в историю, то доктор Андре Фрибур-Блан¹¹³ предоставил нам следующие факты:

«В один серый осенний день в сентябре 1915 года Управление медицинской службы 32-й военной части сообщает о прибытии в Сент-Илер-о-Тампль в Шампани сверхштатного врача, направленного Управлением медицинской службы армии. Его звали Эжен Минковский — врач из резерва, добровольно вступивший в ряды

¹¹² В историческом плане, это способствовало возникновению ложного равенства: Минковский = Блейлер, что совершенно неверно.

¹¹³ Просто история о дружбе, рассказанная в «*Homage à Eugène Minkowski*». Брошюра, издана *Groupe Evolution psychiatrique* в честь семидесятилетия моего отца.

армии до окончания войны. (...) Казалось, взрывы снарядов совершенно не взволновали его, хотя он приехал непосредственно из Парижа; для себя я сразу же отметил присущие ему спокойствие и смелость, что не могло не вызвать мою симпатию к нему». Военный врач, он два года провел на фронте, в первых рядах, участвовал в битвах при Вердене и на Сомме. Именно тогда и произошло знаковое событие. Как-то в дождливый пасмурный день отец упал прямо в грязь, а один солдат-фронтовик подбежал и протянул ему руку, не дав увязнуть в грязи. Отец усмотрел в этом символ солидарности: та протянутая рука, а может, и само происшествие, привели к тому, что он принял решение остаться во Франции.

Все это время моя мама, совсем одна во всем мире, оторванная от Польши, с невероятной энергией противостояла всевозможным трудностям, которые постоянно множились, и 5 декабря 1915 года подарила миру моего брата, хотя так бедствовала, что сейчас даже невозможно себе представить это. Отец вернулся с фронта только после военной оккупации Германии, из-за чего не имел возможности присутствовать и при моем рождении, в 1918-м.

После возвращения, получив мамино одобрение, он принимает решение остаться во Франции, которая казалась ему тогда краем психиатрических клиник. Он возобновляет обучение медицине, тратит на это еще 4 года, чтобы получить специализацию. Мама соглашается вести такую непростую, но совместную жизнь, наполненную надеждами. Диссертация отца на французском языке «Понятие утраты витального контакта с реальностью и его применение в психопатологии»¹¹⁴ — это не только диссертация как таковая, но также и диалектическое ядро «Проживаемого времени», ибо уже там была заложена основа его будущих исследований...

Я не могу позволить себе задерживаться на всех событиях, которые происходили до начала Второй мировой войны, просто потому, что ограничена во времени. Отец писал, практиковал, работал сверх нормы в одной из платных клиник, где он оставался, чтобы получать стабильную зарплату.

Кроме работы в клинике, он занимался частной практикой, писал, при этом всегда пребывал в полнейшем спокойствии. Франсуаза же, напротив, была более импульсивной, взрывной, даже во время научных собраний. Например, еще до войны некий доктор

¹¹⁴ Jouve, Paris, 1926.

Рюден в своем выступлении говорил о необходимости стерилизации «психических больных»¹¹⁵, из-за чего мама пришла в ярость, в первую очередь по этическим соображениям, которые, как мне кажется, актуальны и сегодня; к тому же, согласно ее наблюдениям, наследственность в данном случае не соответствовала линейной модели «дегенерации» и могла перепрыгивать через три, даже четыре поколения, как минимум при эпилепсии. Во время Второй мировой войны, которая навесила на всех нас желтую звезду, мама жила, опасаясь возмездия, изо дня в день мы приходили в комиссариат, чтобы подписать бумаги с грифом «Французская Республика». После поражения Франции и прихода немцев, несмотря на многочисленные предложения, отец отказался отправиться в свободную зону или добыть для всей нашей семьи поддельные документы, заставив нас признавать свое еврейское происхождение до самого конца, хотя прежде его никогда не волновали еврейские проблемы. Отец Дюнуа дал ему определение «растерянный еврей». Будучи верно преданным линии, которую он сам для себя избрал, а также своему чувству солидарности, отец становится председателем французского отделения еврейской гуманитарной организации ОСД (Общество спасения детей), и при помощи целой цепи¹¹⁶ последователей, в которую входили католики, протестанты и евреи, им удается спрятать тысячи еврейских детей. В 1945 году Эжен напишет следующие строки: «Спасение детей, коим я занимался с 1933-го и до декабря 1944-го, проходило под знаком ОСД, так как меня удостоили чести быть его президентом. (...) ОСД не просто Общество спасения детей, как принято говорить в наши дни, ибо никогда не следует забывать о его прошлом и то, что изначально ОСД было создано врачами в России как Общество охраны здоровья евреев (...). Еще до оккупации в 1940 году нам удалось тайно эвакуировать в южные регионы так называемой «Свободной зоны» еврейские детские дома и детей, оставшихся без родителей, которые нашли убежище в наших собственных домах на окраинах Парижа (...); к концу войны

¹¹⁵ Cesari G. «Critique de la raison délirante», Anthropos, Paris, 1984.

¹¹⁶ «Du temps de l'étoile jaune», неброская брошюра (1945), состоящая всего из 45 страниц, представляет невероятный интерес для историков, изучающих Сопротивление. В ней подчеркивается роль не только медицинского полка, но и значение тех, кто работал в мэриях, а также настоящих героинь — «Мадемуазель Симон Хан (...) и всех прочих гражданских служащих, которые помогали нам уберечь детей от преследователей» (р. 20).

среди руководителей я остался один. (...) Более двух тысяч детей, не говоря уже о взрослых, были переправлены силами ОСД на юг, избежав преследования. Более тридцати гражданских служащих и рабочих ОСД (...) были депортированы. Не могу также не вспомнить о невероятном героизме Жака Салона, арестованного в Лионе: его пытали в тюрьме Монлюк, подвергали пыткам водой и огнем, но он не сказал ни слова, не «выдал» ни одного человека...», зная при этом, что его жена тоже была депортирована.

Кроме того, отец отправился добровольцем в качестве врача после погрома на «Зимнем велодроме» («Вель-д'Ив»); об этой трагедии недавно напомнил С. Кепес, который, пытаясь смягчить страдания, не назвал ни одной жертвы варварских действий пентенистов. Исходившее от отца спокойствие защищало нас настолько, что, даже трепеща от ужаса, и мама, и я повсюду следовали за ним, чувствуя себя огражденными от любой опасности. Однако это длилось недолго; смерть, которая увела с собой Леви-Валенси и Диду¹¹⁷, да и многих других, в том числе медсестер из Святой Анны, в 1943 году постучала и в наши двери, отец описал это событие так:¹¹⁸ «Прежде всего нужно было выжить. И мы выжили благодаря нашей дочери, а также доктору Мишелю Сенаку (из группы *L'Évolution psychiatrique*). 23 августа 1943 года, на рассвете, два офицера полиции по вопросам евреев явились к нам в дом, чтобы арестовать нас по доносу, согласно которому мы не носили желтые звезды. Просто слова, никаких доказательств. Впрочем, тогда было бы странно пытаться предъявить доказательства. Полицейские, молоденькие офицеры, начали с того, что объявили себя антисемитами, считающими необходимым с честью выполнить свой долг. Казалось, наша судьба предрешена. Концлагерь Дранси, депортация, страдания, и никаких имен (...). Я и сейчас вижу, как моя мать, стоя на коленях, молится, взывает к Богу (...). Полицейские сказали нашей дочери, которая находилась (...) вместе с нами, чтобы она удирала, «как будто они ее не видели» (...) Оказавшись на улице, она бросилась за помощью к нашему другу Сенаку (...). Сенак, оседлав свой велосипед и заручившись поддержкой М. Стора из Всеобщего союза евреев Франции (UGIF), сделал все необходимое, чтобы как можно быстрее попасть в префектуру полиции, и успел вовремя: нас, в результате, не увезли

¹¹⁷ Mangin-Lazarus C. «L'absence de maurice Dide», in «Nervure», mars, 1991, t. 4, 2.

¹¹⁸ «Du temps de l'étoile jaune», p. 12–13.

прямо из квартиры, а около четырех часов удерживали там, затем отвели в полицейский участок на улице Гайете, куда последовал телефонный звонок из префектуры, и по приказу «сверху» нас оставили на свободе».

Это чудо, за которое мы обязаны доктору Сенаку. Это на самом деле было чудом, ведь каждый знает, чем заканчивалась отправка в концлагерь. В те тяжелые годы, даже в самые трагические моменты, нам удалось выжить именно благодаря нашим французским друзьям.

Старость отца была трудной, он мог мириться с ней, только работая. Отец жил изолированно, допускал присутствие лишь доктора Фюрся и жены. О родителях у меня сохранились самые прекрасные воспоминания: две дополняющие друг друга стихии — буря и спокойствие. Рассказывая об отце, я бы хотела отметить, что у него были минимальные потребности, но даже за этот минимум он испытывал искреннюю признательность. Его никогда не оставляло чувство юмора. Он прекрасно говорил, его слова с удивительной точностью передавали суть мыслей. Вселенной он предъявлял свое скрытое богатство, а его девизом было: «Человек создан для того, чтобы обрести человечность».

Мои родители умерли в своем собственном доме, и я бесконечно благодарна за то время, которое мне посчастливилось провести с ними. В заключение хочу сказать спасибо за помощь нашему другу Ф. Алену, вдохновившему меня на эти изыскания, а также Фредерику Поли и Франку Эдану, который сумел все согласовать и сделал максимум возможного для издания книги. Надеюсь, все это будет опубликовано. Ж. Лакан¹¹⁹ одним из первых признал авторитет и заслуги моего отца, великий Балве¹²⁰, будущий участник движения Сопротивления, двигался в том же направлении (1936). Чуть позже появились работы Ж. Габеля¹²¹ и Р.Д. Лейна¹²², которые содержат явные

¹¹⁹ Lacan J. «Compte rendu de Le temps vécu» in «Recherches philosophiques», 5, 1935–1936, p. 424–431.

¹²⁰ «Le Sentiment de dépersonnalisation dans les délires de structure paranoïde». Thèse, Lyon, 1936.

¹²¹ Gabel J. «La Fausse Conscience: essai sur la reification», Paris, Éditions de Minuit, 1936, «L'œuvre d'Eugène Minkowski et la philosophie de la culture» in «Evolution psychiatrique», 56, 2, 1991.

¹²² «Le moi divisé» и особенно Laing R.D. «Minkowski and Schizophrenia», «Review of Existential Psychology and Psychiatry», IX (1963), 195–207.

признаки диалектического мышления, присущего моему отцу. Желаю студентам ознакомиться с этой книгой, так как после разгрома традиционного мышления, неизбежного вследствие прочтения всех трех томов «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам», это на самом деле будет полезно.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| ВВЕДЕНИЕ. <i>Проживать время: Эжен Минковский</i> | 5 |
| ПРЕАМБУЛА. <i>Взгляд в прошлое в связи с переизданием «Проживаемого времени»</i> | 15 |
| ПРЕДИСЛОВИЕ..... | 20 |
| Часть I. ОЧЕРК О ВРЕМЕННОМ АСПЕКТЕ ЖИЗНИ | 29 |
| Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОНЯТИЯ «ВРЕМЯ–СВОЙСТВО». <i>(Принцип развертывания)</i> | 31 |
| 1. Предварительное изучение..... | 31 |
| 2. Становление..... | 37 |
| 3. Переход от проживаемого времени к времени, ассимилированному с пространством; его последствия методологического порядка..... | 40 |
| 4. Становление и «бытие единства или множества». Феномен движущейся длительности и последовательности. Принцип непрерывности и повторности..... | 44 |
| 5. Становление и «бытие как элементарная составляющая всего». Сейчас и настоящее. Гомогенизация | 54 |
| 6. Становление и «получать направление». Феномен порыва. Принцип деления и продолжения..... | 58 |

| | |
|---|-----|
| Глава II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОГО ПОРЫВА (Точки пересечения в становлении. Принцип слияния за пределами «я — мыслящий объект», или слияния по ту сторону личного)..... | 64 |
| 1. Личный порыв..... | 64 |
| 2. Сверхиндивидуальная характеристика. Параметры глубины и сфера бессознательного | 68 |
| 3. Критерий вовлечения и материальности..... | 79 |
| 4. Критерий ограничения (потери) | 84 |
| Глава III. ВИТАЛЬНЫЙ КОНТАКТ С РЕАЛЬНОСТЬЮ. ПРОЖИВАЕМЫЙ СИНХРОНИЗМ. (Феномены, основанные на параллелизме. Принцип проникновения и участия) | 87 |
| 1. Витальный контакт с реальностью | 87 |
| 2. Шизоидия и синтония..... | 93 |
| 3. Цикл личного порыва..... | 99 |
| Глава IV. БУДУЩЕЕ. (Феномены, возникшие на основании выражений «еще дальше» и «за горизонтом». Принцип вкладывания одного в другое)..... | 102 |
| 1. Общая информация | 102 |
| 2. Деятельность и ожидание..... | 106 |
| 3. Желание и надежда..... | 116 |
| 4. Молитва..... | 127 |
| 5. Исследование морального поступка | 136 |
| 6. Принцип вкладывания одного в другое. Феномены «я существую», «я владею» и «я принадлежу к...»..... | 147 |
| Глава V. СМЕРТЬ. («Одна» жизнь и дуализм, связанный с уходом из жизни) | 157 |

| | |
|------------------------|-----|
| Глава VI. ПРОШЛОЕ..... | 176 |
|------------------------|-----|

| | |
|---|------------|
| ЧАСТЬ II. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ..... | 199 |
|---|------------|

| | |
|---|-----|
| Глава I. ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ | 201 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| 1. Общие наблюдения..... | 201 |
| 2. Наша реакция на больного как способ изучения психических расстройств..... | 203 |
| 3. Психологические и феноменологические сведения в случае наличия шизофренической меланхолии..... | 210 |
| 4. Неустойчивые включения в личный порыв и отношение «плавного полета» к реальности..... | 225 |
| 5. Глишроидия. (<i>На основании сведений мадам Минковска</i>) | 233 |
| 6. Психический автоматизм доктора де Клерамбо | 244 |

| | |
|--|-----|
| Глава II. ПОНЯТИЕ ПЕРВИЧНОГО РАССТРОЙСТВА И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ | 253 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| 1. От симптома до первичного расстройства..... | 253 |
| 2. Первичные расстройства и органо-психические отношения | 265 |
| 3. Двойственный аспект психических расстройств..... | 267 |
| 4. Феноменологическая компенсация..... | 275 |
| 5. Проблема первичных и вторичных симптомов. Стремление к психоаффективному выражению | 279 |
| 6. Пример: анализ случая патологической ревности, развернувшейся на фоне психического автоматизма..... | 286 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Глава III. ШИЗОФРЕНИЯ | 307 |
|-----------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| 1. Краткое изложение моей концепции | 307 |
| 2. Исследования доктора Франца Фишера | 318 |

| | |
|---|-----|
| Глава IV. МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ ПСИХОЗ..... | 325 |
| 1. Ассиметрия шизоидии и синтонии в их отношениях с шизофренией и маниакально-депрессивным психозом..... | 325 |
| 2. Некоторые рекомендации по поводу маниакального возбуждения..... | 329 |
| 3. Меланхолическая депрессия. Работы д-ра Штрауса и д-ра Гебзаттеля | 332 |
| Глава V. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЫЕ ФОРМЫ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ..... | 342 |
| 1. Состояния пресбиофренической депрессии | 342 |
| 2. Психический автоматизм в соединении с меланхолическим психозом | 351 |
| 3. Психический автоматизм и сенестопатия..... | 356 |
| 4. Амбивалентные депрессии | 363 |
| Глава VI. ВИДЫ ГИПОФРЕНИИ. ДЕБИЛЬНОСТЬ — СОСТОЯНИЯ СЛАБОУМИЯ | 397 |
| 1. Дебильность. (<i>Исследования Э. де Греффа о личности страдающего дебильностью</i>) | 397 |
| 2. Психология старости. (<i>По материалам М.П. Курбона</i>) | 409 |
| 3. Несколько наблюдений по поводу психопатологии старческого слабоумия..... | 415 |
| 4. Бред отрицания у больного, страдающего общим параличом. (<i>Бред и память</i>)..... | 428 |
| Глава VII. ИЗ ПСИХОПАТОЛОГИИ ПРОЖИВАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА | 442 |
| 1. Понятия проживаемого расстояния и масштабности жизни и их применение в психопатологии..... | 442 |
| 2. Проблема галлюцинаций и проблема пространства. (<i>Некоторые рассуждения по вопросу возникновения галлюцинаций</i>) | 460 |

ПОСЛЕСЛОВИЯ

Александр Минковский.

«Порядочный человек» Эжен Минковский 480

Жанин Пийяр-Минковская.

Эжен Минковский: взгляд в прошлое 483

Эжен Минковский

**Проживаемое время.
Феноменологические и психопатологические
исследования**

Редактор Е. Пучкова

Корректор О. Наренкова

Компьютерная верстка С. Новиков

Подписано в печать 25.07.2018. Формат 60×90/16

Печ. л. 31. Тираж 1000 экз. Заказ 7189

«Издательский дом „Городец“»

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 17, к. 1

www.gorodets.ru, e-mail: info@gorodets.ru

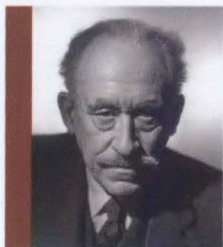
тел.: +7 (985) 8000 366

Отпечатано в АО

«Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

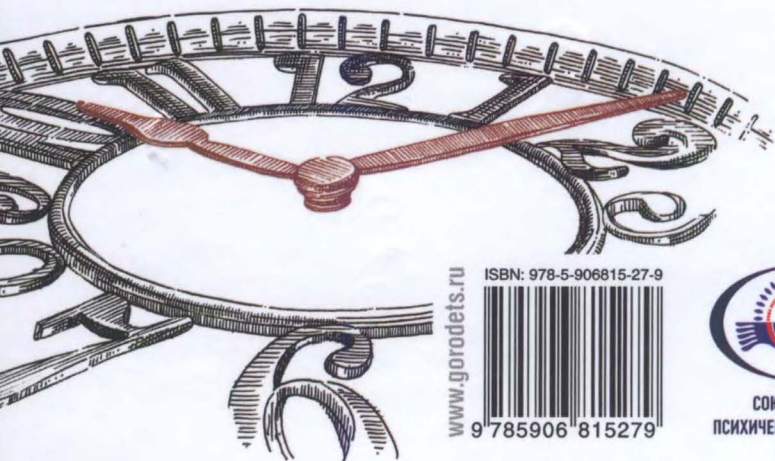
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59



Эжен (Евгений) Минковский (Minkowski, Eugène) (1885–1972) — выдающийся французский психиатр польского происхождения.

В марте 1915 года Минковский приехал в Париж, вступил во французскую армию. На войне начал писать заметки под общим названием «Смерть» («La mort»), которые позже в переработанном виде вошли в книгу «Проживаемое время» («Le Temps vécu», 1933).

Вслед за Бергсоном он развивает идею о том, что психопатологические феномены можно понять, исходя, с одной стороны, из феномена времени, поскольку «проживаемое время» есть, по сути, синоним самой жизни, «становления» в бергсоновском смысле, а с другой — из сопоставления нормального и патологического. Опираясь на идеи Бергсона и Гуссерля, он разработал своеобразный вариант философской антропологии, в основе которой лежит понятие проживаемого времени, и видел задачу человека в том, чтобы научиться спонтанно и свободно жить во времени. Минковский стремится определить природу различия между психикой больного и здорового человека. Исследование расстройства психики осуществляется психиатром путем «интуитивной симпатии», т.е. проникновения в сознание человеческой личности, что позволяет понять больного и правильно вести лечение. Наряду с таким интуитивным знанием необходим, по Минковскому, и феноменологический анализ самой структуры синдрома и бредовых идей, пространственно-временных отношений, в которых существует человеческое «я».



www.gorodets.ru

ISBN: 978-5-906815-27-9



9 785906 815279



СОЮЗ ОХРАНЫ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ